

ЗОЛОТАЯ КЛАССИКА



ГЕНРИК
СЕНКЕВИЧ
КРЕСТОНОСЦЫ



Annotation

В томе представлено самое известное произведение классика польской литературы Генрика Сенкевича.

- [Генрик Сенкевич](#)
 - [Генрик Сенкевич и его роман «Крестоносцы»](#)
 - [Часть первая](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [XV](#)
 - [XVI](#)
 - [XVII](#)
 - [XVIII](#)
 - [XIX](#)
 - [XX](#)
 - [XXI](#)
 - [XXII](#)
 - [XXIII](#)
 - [XXIV](#)
 - [XXV](#)
 - [XXVI](#)
 - [XXVII](#)
 - [XXVIII](#)
 - [XXIX](#)

- [XXX](#)
- [XXXI](#)
- [XXXII](#)

○ [Часть вторая](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)
- [XVII](#)
- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [XX](#)
- [XXI](#)
- [XXII](#)
- [XXIII](#)
- [XXIV](#)
- [XXV](#)
- [XXVI](#)
- [XXVII](#)
- [XXVIII](#)
- [XXIX](#)
- [XXX](#)
- [XXXI](#)
- [XXXII](#)
- [XXXIII](#)
- [XXXIV](#)
- [XXXV](#)

- [XXXVI](#)
- [XXXVII](#)
- [XXXVIII](#)
- [XXXIX](#)
- [XL](#)
- [XLI](#)
- [XLII](#)
- [XLIII](#)
- [XLIV](#)
- [XLV](#)
- [XXVI](#)
- [XLVII](#)
- [XLVIII](#)
- [XLIX](#)
- [L](#)
- [LI](#)
- [LII](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)

- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)

- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)

- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)

- [139](#)
 - [140](#)
 - [141](#)
 - [142](#)
 - [143](#)
 - [144](#)
 - [145](#)
 - [146](#)
 - [147](#)
-

Генрик Сенкевич
Крестоносцы

Генрик Сенкевич и его роман «Крестоносцы»

Генрик Сенкевич — самый знаменитый в мире из польских писателей. Его творчество уже более ста лет пользуется заслуженной популярностью у читателей не только в Польше, но и далеко за ее пределами. Оно, несомненно, принадлежит к вершинным достижениям польской и мировой литературы. Наряду с другими крупнейшими польскими писателями второй половины XIX века — Элизой Ожешко и Болеславом Прусом — Сенкевич сыграл ведущую роль в развитии реалистического направления в польской прозе.

Жизнь и творчество Сенкевича пришлись на эпоху, когда Польша, поделенная в конце XVIII века между Россией, Австрией и Пруссией, давно уже не существовала как самостоятельное государство. Страны-захватчики проводили политику русификации и германизации польских земель.

В 1863 году, незадолго до литературного дебюта Сенкевича, в русской части Польши вспыхнуло национально-освободительное восстание, которое было жестоко подавлено. На патриотическую шляхту, главную силу восстания, обрушился град политических и экономических репрессий. Это было уже второе восстание (первое — в 1830–1831 годах), которое потерпело поражение. Польское общество пребывало в унынии. Казалось, у Польши нет никаких перспектив на свободное развитие, на сохранение национальных традиций и даже на укрепление свободлюбивого духа, всегда отличавшего поляков. Как свидетельствуют современники, женщины тогда годами ходили в трауре, носили строгие платья, в моде были патриотические медальоны, перстни и брошки в форме цепей и кандалов, с изображением распятого орла в терновом венце. Когда же молодой Сенкевич начал выступать с публицистическими статьями, направленными против антипольской политики царизма, он вынужден был печатать их за рубежом и под псевдонимами. Парадоксально, но писатель формально был русским подданным, и в 1904 году французское правительство наградило его орденом Почетного легиона, как... русского писателя.

В этих условиях литература тем более была призвана играть сплачивающую роль и, поддерживая духовное единство нации, обеспечивая непрерывность развития ее культуры и языка, содействовать росту

национального самосознания, а значит, и свободолюбивых устремлений. Сенкевич оказался тем писателем, которому «время и место» предопределили важную историческую роль — самой жизнью его творчество было направлено на «поддержание духа» соотечественников. Он стал вдохновенным выразителем стремлений польского народа к независимости, писателем, который в качестве главной ценности жизни поляка утверждал идею любви к своей земле, что в сочетании с выдающимся художественным талантом и определило его особое место и значение в истории польской и мировой культуры.

Генрик Сенкевич родился 5 мая 1846 года в обедневшей шляхетской семье на Подляшье, в деревне Воля Окшейская. Детские годы он провел в деревне, близко наблюдая крестьянскую жизнь. Эти впечатления позже, когда он начал писать, послужили материалом для его ранних рассказов — вспомним хотя бы многократно изданный на русском языке рассказ «Янко-музыкант» (1879) о трагической судьбе талантливого деревенского мальчика, до смерти забитого невежественным мужиком.

Учиться Сенкевич отправился в Варшаву, где окончил гимназию, а в 1866 году поступил вначале на медицинский, а затем на филологический факультет Главной школы (с 1869 года Императорского Варшавского университета), который и окончил. Еще на студенческой скамье Сенкевич занялся журналистикой — в 1869 году опубликовал свою первую театральную рецензию. После окончания Главной школы он становится сотрудником журнала «Нива» и «Газеты Польской», в которых печатает фельетоны, литературно-критические заметки и новеллы. Уже первые художественные произведения (две новеллы под названием «Юморески из портфеля Воршиллы», 1872, а затем и другие рассказы и повести), превосходные по форме и воплощавшие авторские идеи служения истине и родине, общественной пользе, принесли писателю известность. «Шедевр с эстетической точки зрения» — так отзывался о повести Сенкевича из деревенской жизни «Эскизы углем» в 1877 году Болеслав Прус. В переводе на русский язык повесть была напечатана в 1880 году в июньском номере журнала «Отечественные записки» М.Е. Салтыкова-Щедрина с примечанием: «Автор этих эскизов, Сенкевич, принадлежит к числу талантливейших современных польских писателей».

В становлении писательского таланта Сенкевича не последнюю роль сыграло прекрасное знание им русской литературы. Знание русского языка он вынес из гимназии, где преподавание велось на русском, а в университете посещал лекции по истории русской литературы. В его

произведениях встречаются мотивы, в которых узнаются сюжеты и типы из произведений русских писателей, а в языке исследователи отмечают русизмы. Известный историк польской литературы Петр Хмелевский писал в 1910 году, когда известность Сенкевича была уже мировой: «Мы не знаем точно, сколько и какие книги русских авторов прочитал молодой Сенкевич, но не вызывает сомнения его тесное знакомство с произведениями Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Тургенева. Влияние Гоголя и Тургенева на раннего Сенкевича неоспоримо. Обладая по своей натуре склонностью к *сатирической шутке* (курсив мой. — В.Х.), он у Гоголя учился искусству, если можно так выразиться, пользоваться ею; а художественно совершенные повести и новеллы Тургенева развили и укрепили в нем врожденное умение чувствовать красоту природы и склонность к предметному изображению людей и событий».

Сенкевич высоко ценил творчество Пушкина, Гоголя, Льва Толстого. В 1908 году в статье, посвященной восьмидесятилетию Толстого, он писал: «Толстой — самое высокое дерево в лесу русской литературы. Это такой талант, который мог взрасти только на русской почве. За ним целые столетия русской исторической и общественной жизни».

Сенкевич много путешествовал, подолгу жил в разных европейских странах, неоднократно посещал Италию и Францию. В 1876–1878 годах он был корреспондентом «Газеты Польской» в Соединенных Штатах Америки. Из наблюдений над европейской и американской жизнью родились его путевые очерки и заметки, которые до сих пор заслуженно считаются образцами жанра, а также повести и рассказы.

В 1890–1891 годах Сенкевич путешествовал по Африке (Египет, Занзибар). Итогом этого путешествия были не только два убитых им на охоте гиппопотама и заболевание малярией, но и «Письма из Африки» (1891–1892) и приключенческая повесть «В пустыне и пуще» (1911). В ней действуют польский мальчик Стась и восьмилетняя англичанка Нелли. Во время восстания в Судане против англичан в 1885 году они становятся заложниками суданских магометан, но бегут из плена и совершают длительное и трудное путешествие по Африке. Четырнадцатилетний Стась спасает себя и своих друзей и в завершение высекает на скале Килиманджаро слова из польского гимна «Еще Польша не погибла».

В 70—80-е годы Сенкевич создал подлинные шедевры новеллистики — «Янко-музыкант» (1879), «Из дневника познаньского учителя» (1879), «Ангел» (1880), «За хлебом» (1880), «Фонарщик на маяке» (1881), «Бартек-победитель» (1882), «Сахем» (1883) и другие. Еще при жизни писателя, в 1911 году, польский критик Антони Потоцкий верно писал о том, что даже

если бы по какой-то фатальной причине от творчества Сенкевича сохранились одни новеллы, его имя навсегда осталось бы в литературе.

Каких бы сюжетов ни касался в своих рассказах и повестях писатель, будь то отношения крестьян и помещиков, скитания польских эмигрантов на чужбине, онемечивание польских школ, вырождение аристократии или даже печальная участь индейцев в Америке — во всех произведениях он стремился пробудить в читателе чувство патриотизма, сознание личного долга перед родиной, лишенной национальной самостоятельности.

Прекрасные возможности для воплощения этих идей предоставлял жанр исторического романа, к которому и обратился Сенкевич в пору расцвета своего таланта. Очевидно, что без интереса к прошлому, без исторического самоощущения, без конкретного знания истории своего народа и ее места в общей истории человечества не бывает созидательного чувства любви к своей земле. Видимо, поэтому в наиболее острые периоды истории и возникает потребность в особом переживании «связи времен», которую способна удовлетворить только литература.

В 80-е годы появляется знаменитая трилогия Сенкевича на сюжеты из польской истории XVII века: «Огнем и мечом» (1884) — о борьбе шляхетской Речи Посполитой с восставшей Украиной времен Богдана Хмельницкого, «Потоп» (1886) — о сопротивлении поляков шведской интервенции, «Пан Володыевский» (1888) — об отпоре турецкому нашествию. Этот цикл исторических романов произвел на читателей огромное впечатление — несмотря на то что в нем были представлены отдаленные времена, он пробуждал и поддерживал волю народа к сопротивлению захватчикам.

Трилогия принесла Сенкевичу славу, какой не имел до тех пор в Польше ни один из польских писателей.

Казалось бы, трудно представить более удачную судьбу — читательский успех, всенародная слава, известность за пределами Польши. Но одновременно с этим личная жизнь писателя складывалась трудно и даже трагично. В тридцать пять лет он впервые женился, но через четыре года овдовел. В сорок семь лет он решился на новый брак, но его девятнадцатилетняя жена сбежала через две недели после свадьбы, и через три года все закончилось разводом. В пятьдесят восемь лет Сенкевич женился на сорокалетней Марии Барской, которая влюбилась в писателя еще в 1888 году и ждала его шестнадцать лет. Отголоски этих переживаний нашли отражение в произведениях писателя не только на современные темы — личный опыт чувств дал ему огромный психологический

материал, спроецированный и на исторические сюжеты. В его исторических романах жили, страдали, боролись, умирали живые люди, и именно это привлекало к ним читателя, вызывало в современниках особое ощущение истории как переживания жизни, в которой есть взаимозависимые прошлое, настоящее, будущее.

В 90-е годы Сенкевич продолжал напряженную работу над новыми историческими романами. В 1896 году появился его роман «Quo vadis?» (в русском переводе «Камо грядеши?»), который принес ему мировую известность и был удостоен в 1905 году Нобелевской премии. Этот роман из истории гонений на христиан в Древнем Риме при Нероне привлек к себе внимание читателей не только ярким и красочным изображением быта и нравов языческого Рима, но и вызывавшим массу ассоциаций с современностью сильным эмоциональным протестом против деспотизма.

В 1900 году был издан роман «Крестоносцы», о котором еще пойдет речь.

Наряду с историческими шедеврами Сенкевич тогда же создал ряд романов из современной жизни: «Без догмата» (1890), «Семья Поланецких» (1894), «Омуты» (1910). Лучший из них — психологический роман «Без догмата», в котором написан портрет польского декадента, проанализированы причины деградации личности молодого человека, не находящего применения своим способностям. Жизнь «без догмата», без чувства общественного или патриотического долга приводит главного героя романа Леона Плошовского к катастрофе в личной жизни и в конечном итоге к самоубийству. Роман высоко оценили Лев Толстой, Чехов и Горький, причислив его к лучшим достижениям европейской прозы своего времени. 18 марта 1890 года Толстой записал в дневнике: «Вечером читал Сенкевича. Очень блестящ».

Произведения Сенкевича были переведены на многие иностранные языки, изданы большими тиражами в европейских странах, в Америке, Азии и Африке (в Египте). Огромным успехом пользовались романы Сенкевича и в России, где они издавались сразу, как были написаны, иногда переводились чуть ли не по корректурным листам. По популярности у русских читателей и месту, которое его книги занимали в круге чтения российского интеллигента, а значит, влияли на формирование общественного сознания, Сенкевич соперничал тогда с такими гигантами мировой литературы, как Лев Толстой и Эмиль Золя. Первые русские переводы произведений Сенкевича появились в 1880 году и с тех пор издавались в России бесчисленное количество раз. Начиная с 1899 года на русском языке вышло полтора десятка собраний сочинений Сенкевича

(последнее, в девяти томах, — в 1985 году), а роман «Крестоносцы» выдержал более двадцати пяти изданий.

В последние годы жизни Сенкевич много сил отдал организации помощи полякам — жертвам Первой мировой войны, основав для этого в Швейцарии специальный комитет. В Швейцарии, в местечке Ве́ве, писатель и скончался 15 ноября 1916 года. В 1924 году его прах был перенесен на родину и погребен в Варшаве в склепе кафедрального собора Святого Яна.

Роман «Крестоносцы» был задуман Сенкевичем в 1891 году, работал он над ним в 1896–1900 годах в Польше (Варшаве и Закопане), в Австрии, Франции, Швейцарии и Италии. С 1897 года, по мере написания, главы романа печатались в варшавских журналах «Слово» и «Тыгодник иллюстрированы», а также в «Дзеннике познаньском». Отдельным изданием книга вышла в 1900 году.

Роман воскрешал героические традиции совместной борьбы поляков и литовцев с Тевтонским орденом на рубеже XIV–XV веков.

Тевтонский орден, или Орден крестоносцев (крестоносцы носили белые плащи с черным крестом), был немецким католическим духовно-рыцарским сообществом, основанным в XII веке, в эпоху крестовых походов. Захватив Поморье, орден стремился к дальнейшим территориальным приобретениям за счет Польши и Литвы. Литву он пытался покорить под предлогом необходимости христианизации язычников. Польша добивалась воссоединения своих исконных земель и объединения с Литвой для совместного противостояния тевтонской агрессии. Решающая схватка с крестоносцами произошла под Грюнвальдом 15 июля 1410 года. Наряду с польскими и литовскими полками в ней участвовали и покрыли себя славой и три русских полка Смоленской земли.

Грюнвальдская битва, которая завершает роман «Крестоносцы», привела к крушению Тевтонского ордена и на долгое время обеспечила безопасность Польши и Литвы. Она сломила военно-политическую силу немецкого рыцарства, стремившегося покорить Восточную Европу, и стала символом мощи польского народа и его непокорности в борьбе за свободу. Понятно, как актуальны были эти чувства для поляков, до свободы которых оставалось еще почти два десятилетия.

Сверхзадачей Сенкевича, как и в трилогии «Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Володыевский», было укрепить «польский дух», на этот раз на историческом примере победы над крестоносцами, вдохновить поляков на отпор прусским милитаристам. Как раз в 70—90-е годы XIX века под

руководством рейхсканцлера германской империи Бисмарка проводилась особенно ожесточенная политика насильственной германизации польских земель. Духом патриотического протеста были проникнуты в эти годы произведения многих польских писателей — повесть Болеслава Пруса «Форпост» (1885), рассказ Марии Конопницкой «Глупый Франек» и ее поэтические произведения «Грюнвальд», «Ходили тут немцы», «К границе», «Присяга» и др., а также рассказы и повести Сенкевича. Против прусских гонений на поляков Сенкевич выступал и как публицист. В своих статьях он писал о Бисмарке как о политике, который «в международных отношениях знал только насилие», о том, что «история свидетельствует: здания, воздвигнутые только на тирании, злости и глупости, никогда долго не стояли» и потому «немецкое государство, будь то Пруссия или какое-нибудь другое, которое бы затеяло войну со славянами, уготовило бы себе неизбежную гибель».

По словам Сенкевича, роман «Крестоносцы» возник из переживаемого им «чувства национальной гордости, противостоящей современной доле народа». Эти мысли писателя явились и творческим импульсом, и основой концепции его нового исторического романа.

Тема борьбы с крестоносцами издавна привлекала польских писателей, и в ее разработке Сенкевич имел ярких предшественников. К ней обращались великие польские романтики: Адам Мицкевич в романтических поэмах «Гражина» (1823) и «Конрад Валленрод» (1828), Юлиуш Словацкий в поэме «Гуго» (1830) и пьесе «Миндовг» (1832). Романтические сюжеты этих произведений строились на актуальных для поляков проблемах: верность и измена, патриотизм, гибель за свободу отчизны. Именно с них в польской литературе началось освоение исторического жанра и героико-патетических мотивов на материале национальной истории.

Ближайшим предшественником Сенкевича в изображении борьбы народов Польши и Литвы с тевтонским рыцарством был Юзеф Игнацы Крашевский. Из более ста романов этого известного писателя несколько посвящены борьбе с крестоносцами, в том числе роман «Крестоносцы. 1410. Картины из прошлого» (1882), появившийся за восемнадцать лет до романа Сенкевича. В рецензии на этот роман Сенкевич отмечал, что в нем «политическая история всюду преобладает над археологией и бытовой стороной тогдашней жизни — всюду выступает на передний план... Не история является фоном, на котором автор рисует судьбы героев, но именно они только как бы прибавлены — в силу романического требования — к событиям, непомерно их превышающим».

В своем романе Сенкевич пошел прямо противоположным путем. У него в центре повествования оказываются как раз судьбы частных лиц, переплетенные с большими историческими событиями. Образ эпохи он стремился воссоздать в поступках и переживаниях представителей разных социальных слоев польского общества, прежде всего шляхты. Сделать это было нелегко даже такому опытному историческому романисту, как Сенкевич. «Как тема для исторического романа, — писал он, — эта была во всех отношениях самой трудной из всех разработанных мною. Описывая времена Нерона, располагаешь таким богатым историческим материалом, что не знаешь, за что приняться сперва, хотя эта эпоха удалена от нас почти на две тысячи лет; между тем о XV веке у нас совершенно нет подобных источников; хотя он ближе к нам на пятнадцать столетий, мы знаем о нем непомерно мало, так что почти все надо угадывать интуитивно. Как думал и чувствовал римлянин в первом веке нашей эры, мы знаем превосходно, а как думали и чувствовали поляк и литвин времен Витовта, на этот счет возникают тысячи сомнений».

Тем не менее писатель блестяще справился с поставленной задачей и не погрешил против исторической правды. Работая над романом, Сенкевич изучил множество источников, в первую очередь обширную «Историю Польши» (1455–1480) первого польского историка Яна Длугоша, трехтомную монографию Кароля Шайнохи «Ядвига и Ягелло» (1855–1856), работы польских историков XVI века Марцина Кромера и Марцина Бельского, древнейшую польскую хронику Галла Анонима (начало XII века), труды многих других польских и зарубежных историков XIX века.

Для передачи колорита эпохи Сенкевич изучал древние городские акты, в которых, по его словам, «в латинских или немецких текстах часто встречались свидетельские показания поляков. Там я нашел множество старых выражений и давно исчезнувших форм. Немало дал мне и гуральский диалект в Татрах». Великолепный стилист, Сенкевич использовал язык древних актов и диалект горцев, в которых сохранились лексика и формы старопольской речи, не для воскрешения языка минувшей эпохи, а для умеренной, доступной современному читателю архаизации повествования (в целом сохраненной и в русском переводе).

Фабула романа лишь на первый взгляд кажется простой. Его центральный герой, юный Збышко, влюбляется в Данусю, и история этой любви становится стержнем, на который нанизываются бесчисленные приключения, происходящие с героями. Важнейшим из них является похищение девушки крестоносцами, которое втягивает в интригу многих людей, влечет за собой целую цепь событий. Дануся погибает, а Збышко

обретает счастье с Ягенкой. Частные эпизоды столкновений главных героев романа (Збышка, его дяди Мацька, отца Дануси, Юранда) с крестоносцами — это звенья одной цепи борьбы польского народа с исконными врагами, которая увенчивается решающей победной битвой.

В романе разворачивается панорама подлинных событий, в которых принимают участие как исторические лица, так и вымышленные герои. Многочисленные персонажи романа — а их более двухсот — разделены на два лагеря: польско-литовских защитников свободы и их врагов — крестоносцев. Каждый из лагерей возглавляют исторические личности, обрисованные с разной степенью глубины. Своим присутствием в романе они подтверждают истинность исторической коллизии, которая служит фоном повествования и причиной частных конфликтов. Приведем важные для понимания романа сведения о некоторых реальных лицах.

Против «безбожной» тевтонской политики разбоя выступает в романе страж христианской справедливости польский король Владислав Ягелло (ок. 1350–1434), бывший великий князь литовский Ягайло, который в 1385 году в замке Крево заключил союз между Польшей и Литвой. В 1386 году он обвенчался с польской королевой Ядвигой, принял католичество и стал польским королем, положив начало польской королевской династии Ягеллонов. Его жена Ядвига (ок. 1374–1399), королева Польши (1384–1385), в четырехлетнем возрасте была обручена с восьмилетним австрийским князем Вильгельмом из рода Габсбургов, но позднее этот брак был расторгнут. Ядвига наделена в романе Сенкевича чертами христианского самопожертвования, кротости, даром ясновидения. Она способствовала крещению Литвы и объединению ее с Польшей и благодаря своему христианскому милосердию почиталась в народе святой. Кстати, уже в наши дни, в 1997 году, папой римским Иоанном Павлом II Ядвига была причислена к лику святых.

Великий князь литовский Витовт (Витольд, Витаустас) (ок. 1350–1430) — двоюродный брат Владислава Ягелло. Соперничая с ним, Витовт неоднократно прибегал к помощи крестоносцев, но, получив в 1392 году в свое правление всю Литву, помирился с братом. Во время Грюнвальдской битвы он командовал литовскими отрядами.

Януш I (ок. 1340–1429) — князь Мазовии (именно он сделал столицей княжества Варшаву). В 1409–1410 гг. организовал вооруженные отряды для борьбы с крестоносцами в помощь Владиславу Ягелло. Более активное участие в событиях романа принимает его жена Анна Данута (1360–1448).

Историческую достоверность придают роману и многочисленные образы действительно существовавших польских рыцарей, сведения о

которых Сенкевич почерпнул из исторических хроник. Все они искусны в ратном деле, мужественны и физически сильны. Это легендарный Завиша Чарный из Гарбова, герба Сулима, «рыцарь без страха и упрека», образец рыцарских достоинств. Завиша, как пишет о нем Сенкевич в романе, был «самым грозным из всех поляков» в Грюнвальдской битве. В 1428 году он был убит в турецком плену. Это и Якуб из Кобылян (ок. 1380 — после 1419), и играющий заметную роль в повествовании Миколай Повала из Тачева, «обладавший нечеловеческой силой», и умелый предводитель краковской хоругви польского войска под Грюнвальдом Зындрам из Машковиц (ум. ок. 1414 г.), и другие рыцари. В романе упомянуты и многие реальные духовные лица — епископы и архиепископы, а также воеводы, старосты (королевские наместники), каштеляны (правители замка с округой), королевские и княжеские придворные — стольники, подчашии, ловчие, мечники и др.

На другом полюсе — предводители Тевтонского ордена: Конрад фон Юнгинген, великий магистр ордена в 1393–1407 годах, сменивший Конрада на этом посту его брат Ульрих, убитый под Грюнвальдом, некоторые другие крестоносцы.

Исторические личности присутствуют в романе на втором плане. Читатель знакомится с ними, понимает их историческое значение, но в «непосредственное общение» с ними не входит. На первом плане действуют вымышленные герои, и именно в раскрытии их характеров проявился необычайный повествовательный дар Сенкевича, его умение создавать яркие, живые образы людей далекого прошлого с их психологически достоверными и, как мы сказали бы теперь, глубоко мотивированными переживаниями и поступками, а также поражающие эпической силой батальные сцены. Именно через сложные перипетии судеб персонажей «история со стихийной силой вливается в роман», как писал сам Сенкевич о своем творческом методе, восходящем к приключенческим романам Вальтера Скотта и Александра Дюма.

Хотя роман и называется «Крестоносцы», в центре повествования не тевтонские, а польские рыцари, шляхта. Крупным планом даны ее представители — Збышко, Мацько и Юранд. Именно эти «тенденциозно выразительные персонажи» (по определению польской критики), каждый со своей судьбой, каждый со своим неповторимым характером, в первую очередь воплощают этос польского рыцарства, который определяется любовью к родной земле, заботой о чести своего имени, верностью своему слову, Богу и присяге. Индивидуальным судьбам и поступкам героев, их личным горестям придается обобщающий смысл.

К важнейшим чертам польского рыцаря Сенкевич относит физическую мощь и личное мужество. Збышек выжимает сок из дерева, Повала из Тачева сгибает стальной тесак, рыцари прыгают в полном облачении через коня, охотятся на лютых зверей, участвуют и побеждают в многочисленных рыцарских ристалищах, поединках и битвах.

В стремлении верно передать кругозор и психологию людей изображаемой эпохи Сенкевич описывает и их предрассудки, оставшиеся от времен язычества и вновь приобретенные (например, вера в леших, домовых и упырей, которым надо оставлять еду и питье, чтобы они не причинили вреда, поверья о злых духах, дьяволе и чертях, рассуждения о полномочиях разных святых на небесах). Создавая психологически достоверные портреты своих героев, он наделяет их индивидуальными чертами. Збышко — молод и горяч, восторжен и упрям; Мацько — умен, хитер, но и жаден («алчный до земли и мужиков»); Юранд переживает трагическую ломку своих представлений о справедливости, и т. д. Идеализируя в целом польских рыцарей, Сенкевич позволяет себе и иронизировать над своими героями. Например, подражая западным рыцарям, Збышко вызывает на поединок несогласных с тем, что его избранница прекраснее всех других женщин, и прибавляет доску с этими словами к стенам городов, где ему пришлось бывать.

В соответствии с реалиями эпохи Сенкевич описывает беспощадность, мстительность, ожесточенность рыцарей по отношению к врагам. Таков один из наиболее ярких героев романа — Юранд. Но изувеченный Зигфридом де Лёве, Юранд в конечном итоге побеждает своего злейшего врага не жестокостью, а гуманностью, отпуская своего палача и палача своей дочери Дануси на все четыре стороны и отдавая его на суд Божий (который не замедлил свершиться: Зигфрид сходит с ума и вешается на дереве).

Польская шляхта борется за правое дело. В этом убеждается странствующий рыцарь де Лорш из Лотарингии. Поначалу он примкнул к крестоносцам, полагая, что «на тевтонской границе обитают сарацины». Осознав истину, он переходит на сторону Польши и обретает в новой своей отчизне личное счастье. Находит в Польше новую родину и чех Глава (Гловач). Когда-то взятый в плен отцом Ягенки, он становится оруженосцем Збышка и доблестно сражается вместе с поляками против тевтонов. «Гловач, — писал об этом персонаже выдающийся польский историк литературы Ю. Кшижановский, — вырастает в польское рыцарство, и сыновья или внуки арендатора Спыхова, возможно, только в геральдической легенде сохраняют память о своей родословной».

Польская шляхта, сочетавшая соблюдение рыцарского кодекса чести с сознанием своего священного долга защищать родину от разграбления и уничтожения, противостоит в романе, как это было и в действительности, крестоносцам. Тевтоны выдавали себя за оплот христианства, но на деле, как показывает Сенкевич, препятствовали крещению Жмуди и разжигали распри между соседними княжествами, чтобы иметь постоянный предлог для захватов и грабежей. Стремясь к расширению своего господства, они не гнушались ни вероломством, ни клятвопреступлением. Называя себя рыцарями, на деле они нарушали все рыцарские заветы. Алчность, жестокость, интриганство крестоносцев в романе олицетворяют образы Куно Лихтенштейна, Гуго фон Данфельда, Ротгера, Зигфрида де Лёве и других. Эти образы также индивидуализированы. Сатирически обрисован в романе Гуго фон Данфельд, похотливый монах, упивающийся своим могуществом, почитающий вероломство за доблесть, а грабеж и глумление над противником — за священный долг рыцаря. Еще более выразителен демонический образ де Лёве, продавшего, как считают некоторые герои романа, свою душу дьяволу (что согласуется с народными представлениями о крестоносцах как о чернокнижниках, поклонявшихся сатане).

При всем том Сенкевич старался в изображении крестоносцев избежать явной односторонности. Молодой тевтонский рыцарь Ротгер столь же искренен в своих религиозных убеждениях, отважен и силен, как и Збышко, с которым он вступил в смертельный поединок. Но в отличие от Збышко Ротгеру, воспитанному в традициях ордена, ничего не стоит ложно поклясться рыцарской честью или именем Христа. Конрада фон Юнгингена Сенкевич наделяет позитивными чертами и даже верным пониманием того, что «здание, воздвигнутое на чужой земле и на чужих обидах, основанное на лжи, жестокости и кознях, не может быть долговечным». Но Конрад не может совладать с беззакониями ордена, он вынужден разделять его безнравственные принципы. В этом образе писатель выносит безжалостный приговор всему Тевтонскому ордену.

Безусловно верно, что роман Сенкевича — это историческое поучение о неизбежности краха агрессора, яркая страница польской истории. Но вместе с тем столь же очевидно, что это и роман об общечеловеческих страстях, о больших и могучих чувствах, переданных с необычайной экспрессией. «Историческая отдаленность и огромная эмоциональная близость», — написала о романе Мария Конопницкая сразу после его появления. Испепеляющей человека жажде ненависти и мести, безграничным страданиям и несчастьям масштаба античной трагедии, боли, страху, отчаянию, смерти в романе противопоставлены любовь,

верность, дружба, доброта, милосердие, святость, жизнь.

Именно на основе высоких моральных стремлений и побуждений, на принципах справедливости должны, по Сенкевичу, строиться отношения между людьми и народами. Патриотизм для Сенкевича — это уважение национального достоинства всех народов. «Я принадлежу к тем людям, — писал он, — которые считают, что идея отчизны должна занимать первостепенное место в душе и сердце человека, но лозунгом всех патриотов должно быть: *Через отчизну к человечеству*, а не: *Для отчизны против человечества*».

Роман «Крестоносцы» по праву считается вершиной творчества Сенкевича. Он переведен более чем на тридцать языков, в том числе практически на все европейские, а также на японский и китайский. Этот ставший классикой роман был экранизирован в 1960 году известным польским режиссером Александром Фордом.

Каждая эпоха вычитывает из романа Сенкевича прежде всего то, что созвучно ей. Нашему времени необходим постулат писателя «*Через отчизну к человечеству*», разве что расширенный сегодняшним опытом — и к каждой отдельной человеческой жизни.

В.А. Хорев

Часть первая

В Тынце, в корчме «Свирепый тур», принадлежавшей аббатству^[1], сидела за столом кучка народу и слушала бывалого рыцаря, который вернулся из дальних стран и рассказывал теперь о том, в каких переделках довелось ему побывать на войне и в дороге.

Бородатый, плечистый, богатырского роста, в полном расцвете сил, рыцарь, однако, был очень худ; волосы у него были убраны под шитую бисером сетку; на кожаном кафтане отпечатались кольца панциря; за наборным поясом, сплошь из медных блях, торчал нож в роговых ножнах, на боку висел короткий дорожный меч.

Рядом с рыцарем сидел за столом длинноволосый юноша с веселым взглядом, видно, товарищ его или оруженосец, потому что и он был одет по-дорожному, в точно такой же помятый панцирем кожаный кафтан. Кроме них, за столом сидели двое шляхтичей из окрестностей Кракова да трое горожан в алых остроконечных шапках, языки которых свешивались набок до самых локтей.

Хозяин корчмы, немец, в светло-желтом колпаке с зубчиками по нижнему краю, наливал гостям из жбана в глиняные кружки сыченное пиво и с любопытством прислушивался к рассказу о военных подвигах.

С еще большим любопытством слушали рыцаря горожане. В те времена ненависть, которая при Локотке разделяла горожан и рыцарство^[2], стала уже угасать, и горожанин не гнул так спину перед паном, как в позднейшие века. Пан еще ценил его готовность *ad concessionem rescipiunt*^[3], и в корчмах нередко случалось видеть, как купцы запросто бражничали с шляхтой. На них взирали даже с некоторой благосклонностью, потому что денег у них всегда было побольше и они обычно платили за своих благородных сотрапезников.

Итак, сидели в корчме горожане с шляхтичами и вели беседу с рыцарем, время от времени подмигивая хозяину, чтобы тот наполнил кружки.

— Сколько свету видали вы, благородный рыцарь! — воскликнул один из купцов.

— Да, немногим из тех, что съезжаются сейчас отовсюду в Краков, привелось столько увидеть, — ответил приезжий рыцарь.

— И пропасть же народу туда съедется! — продолжал горожанин. — Великое торжество и великое ликование в королевстве. Толкуют, и, верно,

не зря, будто король всю опочивальню королевы повелел покрыть парчой, шитой жемчугами, и ложе убрать таким же балдахинном. Игрища и ристалища будут, каких доселе не видывали.

— Кум Гамрот^[4], не перебивайте рыцаря, — заметил другой купец.

— Да я, кум Айертретер, не перебиваю, я только думаю, рыцарю тоже любопытно узнать, что народ толкует, ведь и он, наверно, едет в Краков. Мы нынче все равно не успеем вернуться в город, потому что ворота запрут, а ночью вошь спать не дает, так что успеем наговориться.

— Вам слово, а вы десять. Стареее, кум Гамрот!

— Ну, штуку мокрого сукна я еще одной рукой подниму.

— Эва! Такого, что, как сито, насквозь светится.

Однако дальнейшие споры прервал странствующий рыцарь.

— Это верно, — сказал он, — что я останусь в Кракове, слышал я про ристалища и охотно попытаю на них свою силу, да и племянник мой тоже, хоть и юн годами и безус, а не одного панцирника поверг уже на землю.

Гости бросили взгляд на юношу, который весело улыбнулся и, заложив за уши длинные волосы, поднес к губам кружку пива.

— Да и захотели бы мы вернуться, — прибавил старый рыцарь, — все равно некуда.

— Это как же так? — спросил один из шляхтичей. — Откуда же вы родом и как вас зовут?

— Меня зовут Мацько из Богданца, а это сын моего родного брата, зовут его Збышко. Герб наш Тупая Подкова, а клич Грады!

— Где же он, ваш Богданец?

— Эх, сударь, спросите лучше, где он был, потому что нет уж его. Еще во время войны Гжималитов с Наленчами сожгли дотла наш Богданец, так что один только старый дом остался; все, что было, забрали, а слуги наши разбежались. Одна голая земля осталась, мужики, которые жили по соседству, и те ушли дальше в леса. Отстроились мы с братом, отцом этого хлопца, да на другой год вода все снесла. Потом брат умер, и остался я после его смерти один с сиротою. Подумал я тогда: нет, не усидеть мне здесь! А в ту пору народ толковал про войну, шла молва, будто Ясько из Олесницы, которого король Владислав после Миколая из Москожова^[5] послал в Вильно, спешно набирает по всей Польше рыцарей. Отдал я землю в залог достойному аббату, нашему родичу, Янеку из Тульчи, купил на деньги доспехи, коней, снаряжился, как положено, в военный поход, посадил на меринка парнишку, которому было в ту пору двенадцать лет, и айда к Яську из Олесницы!

— С подростком?

— Да он в ту пору и подростком-то не был, но крепкий был парнишка. Бывало, в двенадцать лет упрет самострел в землю, прижмет животом да так натянет тетиву рукоятью, что и англичанин — мы их под Вильно видели — лучше не справится.

— Такой был сильный?

— Шлем за мною носил, а как стукнуло ему тринадцать, так и щит стал носить.

— Немало довелось повоевать вам.

— Все из-за Витовта. Сидел князь у крестоносцев, и каждый год делали они набеги на Литву под Вильно. Разный народ шел с нами: немцы, французы, англичане — они самые меткие лучники, — чехи, швейцарцы, бургундцы. Рубили они леса, замки по дороге строили, да всю Литву огнем пожгли, мечом посекали, так что весь народ, который живет там, хотел покинуть родную землю и искать другой, хоть на краю света, хоть среди детей Велиала, только бы подальше от немцев.

— Да и мы тут слыхали, будто все литвины хотели уйти с детьми и женами, но только не верили этому.

— А я сам все это видел. Эх, эх! Не будь Миколая из Москожова, Яська из Олесницы да, не в похвальбу сказать, нас вот с ним, не было бы уже и Вильно.

— Это мы знаем. Вы замка не сдали.

— Да, не сдали. Вы вот послушайте хорошенько, что я вам скажу, человек я служилый и в войне искушенный. Еще старики говаривали: «неукротимая Литва», — оно и верно! Ловко литвины дерутся, но не с рыцарями им в поле силами мериться. Вот когда кони немцев в трясине увязнут или лес дремучий кругом, ну, тогда дело другое.

— Немцы добрые рыцари! — воскликнули горожане.

— Они стеной стоят, плечом к плечу, и так собачьи дети закованы в железную броню, что сквозь забрало одни глаза только и видно. И лавой валят. Ударят, бывало, на них литвины и рассыплются кто куда как песок, а нет, так немцы сомнут их и растопчут. Не одни у крестоносцев немцы, — сколько есть народов на земле, все у них служат. Ну и храбрецы! Пригнетса это рыцарь к луке, наставит копье и перед битвой один ринетса на целое войско, как ястреб на стадо.

— Господи! — воскликнул Гамрот. — А которые ж из них лучше всех?

— Это смотря по оружию. Из самострела лучше всех англичанин стреляет, он панцирь стрелой навывлет пробьет, а в голубя попадет на сто шагов. Чехи страх как секирами рубятся. Что до двуручного меча, так тут

немец никому не уступит. Швейцарец железным чеканом легко расколет шлем; но нет лучше рыцаря, чем из французской земли. Этот бьется и конный и пеший и при том так и сыплет дерзкими словами; только его все равно не поймешь, потому тараторят французы, будто в оловянные миски бьют, а так народ ничего, набожный. Они нам через немцев передавали, будто мы, христиане, защищаем язычников и сарацин, и слово дали доказать это в рыцарском единоборстве. Вот такой Божий суд должен быть между четырьмя ихними и четырьмя нашими рыцарями, а встреча назначена при дворе Вацлава^[6], короля римского и чешского.^[7]

Любопытство шляхтичей и купцов было так возбуждено, что они даже шеи вытянули и давай расспрашивать Мацька из Богданца:

— Кто же там будет из наших? Говорите скорей, не томите!

Мацько поднес ко рту кружку и выпил пива.

— Э, — ответил он, — за наших не бойтесь. Ян из Влощовы будет там, каштелян добжинский, да Миколай из Вашмунтова, да Ясько из Здакова, да Ярош из Чехова — все славные рыцари, отменные храбрецы, им не впервой драться на копьях ли, на мечях ли или на секирах. Будет на что поглядеть и что послушать, потому, как я уже сказал, французу ногой на горло наступи, а он все дерзкие слова говорит. Они всех переговорят, а наши, как Бог свят, всех побьют.

— Честь и слава будет нашим, только бы Господь их благословил, — сказал один из шляхтичей.

— И святой Станислав^[8], — прибавил другой. Затем, повернувшись к Мацьку, он снова стал расспрашивать: — Нуте-ка, расскажите нам обо всем! Вы вот прославляли отвагу немцев и иных рыцарей, говорили про то, как легко они одолели Литву. А разве с вами им не было потрудней? Разве они так же охотно шли и против вас? Даровал ли вам Бог победу? Наше оружие славьте!

Но Мацько из Богданца не был, видно, бахвалом. Он скромно ответил:

— Кто вновь прибывал из дальних стран, те с охотой шли против нас, но только раз-другой, бывало, попробуют и поостынут. Неукротим наш народ, и нас часто укоряли за эту неукротимость. «Смерти, — говорят, — не страшитесь, а сарацинам помогаете, гореть вам за это в геенне огненной!» А мы еще лютей становились, потому ведь неправда все это! Король с королевой крестили Литву, и всяк на Литве поклоняется Иисусу Христу, хоть не всяк и умеет. Известно, что и наш все милостивейший король, когда в Плоцке в кафедральном соборе повергли на землю идола, повелел ему огарок поставить, и ксендзам пришлось уламывать короля, что

не годится так поступать. А что ж говорить о простом человеке! Многие так себе думают: «Повелел князь креститься, я и окрестился, повелел Христу бить поклоны, я и бью, но чего же мне старой нечисти творожку жалеть, не кинуть ей печеной репы, пены не плеснуть с пива? Не сделаешь этого, лошади падут или коровы опаршивеют, молоко станут с кровью давать, а то и урожай пропадет». Многие так делают, потому и попали под подозрение. Да ведь они это все по невежеству, из страха перед нечистью. В старину этой нечисти лучше жилось. У нее были свои леса, свои просторные лесные хаты, верховые кони, да и десятину брали божки. А нынче леса повырублены, есть нечего, по городам в колокола звонят, вот вся нечисть и зарылась в самых дремучих борах да и воет там с тоски. Пойдет литвин в лес, так его там то один, то другой божок за полу кожуха дергает: «Дай!», говорит. Некоторые дают; но есть и такие смельчаки, что не только не хотят давать, но еще и ловят их. Один насыпал в воловий пузырь пареного гороху, так туда тотчас тринадцать божков и залезло. А он заткнул их рябиновым колышком да и понес в Вильно продавать францисканцам; ну, те охотно дали ему двадцать скойцев, лишь бы расточить врагов имени Христова. Я сам этот пузырь видал, еще издали от него шел богомерзкий дух — это все бесстыдная нечисть со страху перед святой водой...

— А кто посчитал, что их там тринадцать было? — живо спросил купец Гамрот.

— Литвин считал: он видел, как они лезли. Да по одному духу можно было узнать, что они там сидят, ну а колышек никому вынимать не хотелось.

— Экое диво какое! — воскликнул один из шляхтичей.

— Да, всякого дива я там насмотрелся. Народ хороший, ничего не скажешь, но только все у них особенное. Лохматые все, разве только какой-нибудь князь у них волосы чешет; едят печеную репу, почитают ее за самое лучшее кушанье, от нее будто храбрости прибавляется. В лесных хатах живут со скотиной вместе да с ужами; в питье и в еде никакой меры не знают. Баб ни в грош ни ставят, зато девушек очень уважают, верят, что владеют те великой силой: стоит будто девке натереть человеку живот сухой черникой — и колик как не бывало!

— Коли девки красавицы, так не жаль, если и живот схватит, — воскликнул кум Айертретер.

— Про то Збышка спросите, — заметил Мацько из Богданца.

Збышко залился таким смехом, что лавка под ним заходила ходуном.

— Есть и красавицы, — сказал он. — Разве Рынгалла^[9] не была

красавицей?

— Это что за Рынгалла такая? Прелестница, что ли? Ну же, рассказывай!

— Как, вы не слыхали про Рынгаллу? — спросил Мацько.

— И не слыхивали.

— Да ведь это сестра князя Витовта, жена Генрика, князя мазовецкого.

— Что вы говорите! Какого князя Генрика? Был один мазовецкий князь Генрик^[10], плоцкий епископ, но он умер.

— Он самый. Рим должен был разрешить его от обета, но смерть раньше его разрешила; видно, не очень порадовал он Господа Бога своим поведением. Ясько из Олесницы послал меня к князю Витовту с письмом в Риттерсвердер как раз тогда, когда плоцкий епископ князь Генрик приехал туда к князю от короля. На ту пору Витовту воевать уже наскучило, Вильно он все равно не мог взять, ну а нашему королю наскучили родные братья с их распутством. Увидел король, что Витовт побойчее и поумнее их, и послал епископа уговорить князя оставить крестоносцев и покориться ему, за что посулил отдать под его власть Литву. Витовт, охотник до всяких перемен, благосклонно выслушал посла. Начались тут пиры да ристалища. И хоть другие епископы этого не одобряют, князь Генрик охотно садился верхом на коня и показывал на ристалищах свою рыцарскую силу. Князя мазовецкие все богатыри, даже девушки из их рода легко ломают подковы. Выбил князь один раз из седла троих рыцарей, в другой раз пятерых, а из наших меня свалил, да у Збышка конь под его натиском прынул и сел на задние ноги. Все награды вручала князю прекрасная Рынгалла, перед которой он в полном вооружении преклонял колени. И так они полюбили друг друга, что на пирах епископа оттаскивали от нее за рукава отцы духовные, которые приехали с ним, а Рынгаллу удерживал брат Витовт. И говорит епископ: «Я, мол, сам разрешу себя от обета, а папа, если не римский, то авиньонский^[11], подтвердит разрешение, но венчаться я должен незамедлительно, иначе сгорю!» Тяжкий это был грех, но Витовт не хотел противиться, чтобы не оскорбить королевского посла, — и они справили свадьбу. Потом уехал в Сураж, а там в Слуцк, к великому горю Збышка, который, по немецкому обычаю, избрал княгиню Рынгаллу госпожой сердца и дал обет быть верным ей до гроба.

— Все это так, — вдруг прервал его Збышко, — да люди потом стали говорить, будто княгиня Рынгалла, пораздумав, решила, что не пристало ей быть женою епископа, который жениться женился, а снять с себя духовный сан не желает, что не может быть над ними благословения Господня, и

отравила мужа. Я как услышал про то, попросил одного благочестивого отшельника под Люблином разрешить меня от обета.

— Что он отшельник, это верно, — смеясь, возразил Мацько, — но вот благочестив ли, не знаю, потому мы в пятницу приехали к нему в лес, а он рубил медвежьи кости да так сосал мозг, что только кадык играл.

— Да, но он говорил, будто мозг — это вовсе не мясо, и сосет он его с особого соизволения, потому как насосется, так во сне ему бывают чудесные видения и на другой день он может пророчествовать до самого полудня.

— Ну-ну! — сказал Мацько. — Прекрасная Рынгалла теперь вдова и может потребовать, чтобы ты служил ей.

— Понапрасну будет стараться, я себе выберу другую госпожу и буду верен ей до гроба, а там и жену себе добуду.

— Ты добудь сперва рыцарский пояс.

— Эва! Да разве после родин не будет ристалищ? А до ристалищ или после них король не одного рыцаря опояшет. А я против всякого выйду на бой. И епископ не победил бы меня, если бы мой конь не сел на задние ноги.

— Найдутся там получше тебя.

Тут шляхтичи из-под Кракова начали кричать:

— Господи, да ведь перед королевой не такие, как ты, будут выступать, а славнейшие рыцари мира. Состязаться будут Завиша из Гарбова, да Фарурей, да Добко из Олесницы, да Повала из Тачева, да Пашко Злодзей из Бискупиц, да Ясько Нашан, да Абданк из Гуры, да Анджей из Брохотиц, да Кристин из Острова, да Якуб из Кобылян!.. Где тебе мериться с ними силами, ведь против них никто не устоит ни при чешском, ни при венгерском дворе. Что ты болтаешь, будто ты лучше их? Сколько тебе лет?

— Восемнадцатый год, — ответил Збышко.

— Да тебя любой ногтем пришибет.

— Посмотрим.

— Слышал я, — сказал тут Мацько, — будто король щедро награждает рыцарей, которые возвращаются с литовской войны. Кто из вас краковский, — скажите, правда ли это?

— Ей-ей, правда! — ответил один из шляхтичей. — Всему свету известна щедрость короля, только пробиться сейчас к нему будет трудно — ведь в Кракове полным-полно гостей, которые съезжаются на родины и крестины, желая воздать честь и хвалу нашему государю. Ждут венгерского короля, приедет, говорят, римский император и всякие князья и правители, да и рыцарей будет тьма, всякий ведь надеется, что не уйдет от короля с

пустыми руками. Толкуют, что прибудет сам папа Бонифаций, который тоже ищет милости и помощи у нашего государя против своего авиньонского недруга. Нелегко будет достигнуть к королю в такой толпе, но уж если поступишься и припадешь к его стопам, то он щедро вознаградит тебя, коли ты этого заслужил.

— Я припаду к стопам короля, потому что заслужил, а случись еще война, опять пойду воевать. Взял я кое-какую добычу, да и князь Витовт меня не забыл, не беден я, но скоро уже состарюсь, а как сил-то убудет, захочется и мне иметь спокойный угол.

— Король не оставил своей милостью тех, кто вернулся из Литвы от Яська из Олесницы, они все сейчас как сыр в масле катаются.

— Вот видите! А я в ту пору не воротился — все еще воевал. Надо вам сказать, что немцам дорого обошелся союз короля и князя Витовта. Князь хитростью захватил заложников, а потом как ударит на немцев! Он разрушил и предал огню замки, перебил рыцарей, истребил пропасть народу. Немцы хотели отомстить вместе с Свидригайлом^[12], который бежал к ним. Опять начался великий поход. Сам магистр Конрад^[13] выступил с большой ратью. Немцы осадили Вильно, пытались с высоченных башен пробить тараном стены замков, пытались добыть замки изменой — не удалось! А на обратном пути столько их полегло, что и половина назад не вернулась. Выходили мы в поле и против Ульриха из Юнгингена, брата магистра, самбийского правителя^[14]. Но Ульрих в страхе бежал со слезами, и с той поры настал мир, и город теперь отстраивается. Один святой монах, который мог босыми ногами ходить по раскаленному железу, пророчествовал, будто теперь Вильно до светопреставления не увидит под своими стенами вооруженного немца. Но если так оно будет, то чьих же рук это дело?

При этих словах Мацько из Богданца вытянул свои руки — широкие, непомерной силы, а прочие, качая головами, стали поддакивать:

— Да, да! Это он верно говорит! Да!

Но тут разговор оборвался из-за шума, долетевшего с улицы в окна, из которых вынули бычьи пузыри, так как ночь спустилась теплая и ясная. Издали донесся звон оружия, человеческие голоса, фыркание коней и песни. Все в корчме удивились, так как время было позднее и луна уже высоко поднялась в небе. Хозяин-немец выбежал во двор корчмы, но не успели еще гости осушить последние кружки, как он еще поспешней вернулся назад и крикнул:

— Едет какой-то двор!

Через минуту в дверях появился слуга в голубом кафтане и алой шапочке. Он остановился на пороге, окинул взглядом присутствующих и, увидев хозяина, сказал:

— Вытрите столы да зажгите огонь: княгиня Анна Данута остановится здесь на отдых.

С этими словами он повернулся и вышел вон. В корчме поднялось движение: хозяин стал звать слуг, а гости в изумлении воззрились друг на друга.

— Княгиня Анна Данута, — сказал один из горожан, — это ведь дочь князя Кейстута, жена Януша Мазовецкого. Вот уж две недели как она в Кракове; это она, верно, ездила в Затор^[15] в гости к князю Вацлаву, а сейчас возвращается оттуда.

— Кум Гамрот, — сказал другой горожанин, — пойдемте на сеновал, для нас это слишком высокая компания.

— Нет ничего удивительного, что они едут ночью, — заговорил Мацько, — днем такая жара, но чего это они заехали в корчму, ведь монастырь под боком?

Затем он обратился к Збышку:

— Родная сестра прекрасной Рынгаллы, понял?

А Збышко ответил:

— И мазовецких панночек с нею, верно, без счета!

II

Но тут в корчму вошла княгиня, женщина средних лет, с улыбающимся лицом; она была одета в красный плащ и узкое зеленое платье с позолоченным поясом, который спускался вдоль бедер и внизу был застегнут большой пряжкой. За княгиней шли придворные панны, одни постарше, другие совсем еще девочки, все в веночках из лилий и роз, многие с лютнями в руках. Некоторые несли целые букеты свежих цветов, нарванных, видно, по дороге. За паннами показались придворные и пажи, и в корчме стало шумно. Все вошли оживленные и веселые, громко разговаривая и напевая, словно в упоении от ясной ночи и яркого сияния луны. Среди придворных были два песенника, один с лютней, другой с гусями у пояса. Одна из девушек, совсем еще молоденькая, лет двенадцати, тоже несла за княгиней маленькую лютню, набитую медными гвоздиками.

— Слава Иисусу Христу! — сказала княгиня, остановившись посреди корчмы.

— Во веки веков, аминь! — с низким поклоном ответили присутствующие.

— А где хозяин?

Услышав, что его зовут, немец выступил вперед и, по немецкому обычаю, преклонил одно колено.

— Мы остановимся у тебя отдохнуть и подкрепиться, — сказала княгиня. — Поторопись, а то мы голодны.

Горожане успели уже выйти из корчмы, а оба местных шляхтича, Мацько из Богданца и молодой Збышко, поклонились еще раз и хотели было тоже выйти, чтобы не мешать княгине и ее свите, однако Анна Данута остановила их:

— Вы шляхтичи и нам не помешаете! Познакомьтесь с придворными. Откуда Бог несет?

Те стали называть свои имена, гербы, кличи и деревни, из которых они были родом. Услыхав от Мацька, откуда он с племянником возвращается, княгиня всплеснула руками.

— Ах, как кстати! — воскликнула она. — Расскажите нам про Вильно, про моего брата и сестру. Приедет ли князь Витовт на родины и крестины?

— Князь хочет приехать, да не знает, сможет ли; потому он и послал с ксендзами и боярами серебряную колыбель в дар королеве. С этой

колыбелью приехали и мы с племянником, мы ее охраняли в пути.

— Так колыбель уже здесь? Хотелось бы мне ее посмотреть. Она вся из чистого серебра?

— Вся из чистого серебра, но ее здесь уже нет. Ее повезли в Краков.

— А что же вы делаете в Тынце?

— Мы завернули сюда в монастырь к аббату, нашему родичу, хотим отдать на сохранение святым отцам всю нашу военную добычу и дары князя.

— Это вам Бог послал. Велика ли добыча? Но, скажите, почему брат не уверен, что сможет приехать?

— Он готовит поход на татар. ^[16]

— Я это знаю; одно меня смущает, королева не пророчила счастливого конца этого похода, а все ее пророчества всегда сбываются.

Мацько улыбнулся:

— Эх, благочестива государыня наша, ничего не скажешь, но ведь с князем Витовтом пойдет множество наших рыцарей, отменных храбрецов, против которых никто не устоит.

— А вы не пойдете?

— Ведь меня послали с другими колыбель охранять, да и пять уж лет, как я не снимал доспехов, — ответил Мацько, показывая на отпечатки панциря на своем лосином кафтане. — Но дайте только отдохнуть, и я опять пойду, а нет, так племянника Збышка отдам пану Спытку из Мельштына ^[17], который поведет в поход всех наших рыцарей.

Княгиня Данута бросила взгляд на рослую фигуру Збышка, но тут разговор оборвался, так как в корчму вошел монах и, поздоровавшись с княгиней, стал смиренно укорять ее за то, что она не прислала в монастырь гонца с вестью о своем прибытии и остановилась не у них, а в простой корчме, где находит приют даже простой человек, что же говорить о таком почетном госте, как супруга князя, предки и родственники которого оказали монастырю столько благодеяний!

Но княгиня весело ему возразила:

— Мы сюда заехали только размяться, утром нам надо ехать в Краков. Мы выспались днем и ехали ночью по прохладе, петухи уж пели, и я не хотела будить благочестивую братию, да еще с таким народом, который больше думает не об отдыхе, а о песнях да плясках.

Но монах продолжал настаивать на своем.

— Нет. Мы уж здесь останемся. Послушаем светских песен, время и пролетит незаметно, а к утрени придем в костел, чтобы день начать с

Богом.

— Служба будет о здравии милостивейшего князя и милостивейшей княгини, — сказал монах.

— Князь, супруг мой, приедет только через четыре-пять дней.

— Господь Бог и издалека ниспошлет ему благоденствие, а пока позвольте нам, смиренным, хоть вина принести вам из монастыря.

— Благодарствуем, — ответила княгиня.

Когда монах вышел, она тотчас крикнула:

— Эй, Дануся! Дануся! Встань-ка на лавку да потешь нашу душеньку той песней, которую ты пела в Заторе.

Придворные мигом поставили лавку посреди корчмы. Песенники сели по краям, а между ними стала та самая девочка, которая несла за княгиней лютню, набитую медными гвоздиками. Косы у нее были распущены по плечам, на голове веночек, платье голубое, башмачки красные с длинными носками. Стоя на лавке, девочка казалась маленьким чудным ребенком, словно фигуркой из костела или рождественского вертепа. Видно, не впервые приходилось ей стоять вот так и петь перед княгиней, потому что она не обнаруживала ни тени смущения.

— Ну же, Дануся, ну же! — кричали придворные панны.

Взяв лютню, девочка подняла голову, как пташка, когда хочет запеть, и, полужакрыв глаза, затянула серебряным голоском:

Ах, когда б я пташкой
Да летать умела,
Я бы в Силезию
К Ясю улетела!

Песенники тотчас стали вторить ей, один на гусельцах, другой на большой лютне; княгиня, которая ничего так не любила, как светские песни, стала покачивать в такт головой, а девочка снова затянула тоненьким детским голоском, свежим, как у пташки, когда весной она поет в лесу свою песенку:

Сиротинкой бедной
На плетень бы села:
«Глянь же, мой соколик,
Люба прилетела».

И снова заговорили ей оба песенника. Молодой Збышко из Богданца, который с детских лет привык к войне и ужасным ее картинам, в жизни ничего подобного не видывал; коснувшись плеча стоявшего рядом с ним мазура, он спросил:

— Кто это такая?

— Панночка из свиты княгини. Немало песенников увеселяют наш двор, но эта маленькая певунья всех милей княгине, и ничьих песен она не слушает так жадно, как ее.

— И не диво. Я думал, это ангел, не нагляжусь на нее. Как же ее зовут?

— Да разве вы не слышали? Дануся. Отец ее Юранд из Спыхова, могущественный и храбрый комес^[18], прославленный рыцарь, в бою он выступает впереди хоругви.

— Экая краса невиданная!

— Любят ее все и за песни, и за красу.

— Кто ж ее рыцарь?

— Да она ведь еще совсем дитя.

Дануся снова затянула песенку, и разговор оборвался. Збышко глядел сбоку на ее светлые волосы, на приподнятую головку, на полузакрытые глаза, на всю ее фигурку, залитую огнями восковых свечей и лунным сиянием, лившимся в растворенные окна, — и все больше и больше дивился. Ему казалось, что он уже где-то видел ее, он только не помнил — во сне ли или где-то в Кракове на окне костела.

И, снова тихонько толкнув придворного, он спросил у него, понизив голос:

— Так она из вашего двора?

— Мать Дануси приехала из Литвы с княгиней Анной Данутой, та выдала ее тут за графа Юранда из Спыхова. Красавица она была и знатного рода, княгиня любила ее больше всех своих придворных панн, да и она любила княгиню. Потому и дочку назвала Анной Данутой. Но пять лет назад, когда немцы под Злоторыей^[19] напали на наш двор, она умерла со страху. Княгиня взяла тогда девочку — и с той поры воспитывает ее. Отец тоже часто наезжает ко двору и радуется, видя, что девочка его здорова и окружена любовью. Но только как ни взглянет он на нее, так всякий раз слезами и обольется, вспомнив свою покойницу, а вернувшись домой, мстит немцам за тяжкую обиду. Так любил он жену, как никто во всей Мазовии своей жены не любил, — и тьму немцев он за нее уже перебил.

У Збышка мгновенно зажглись глаза и жилы вздулись на лбу.

— Так немцы убили ее мать? — спросил он.

— И убили и не убили. Сама она померла со страху. Пять лет назад был мир, никто про войну не думал, все жили спокойно. Без войска, с одной только свитой, как всегда в мирное время, князь поехал в Злоторыю строить башню. И тут, не объявляя войны, без всякого повода, вторглись в наш край предатели-немцы... Позабыв страх Божий и все благодеяния, оказанные им предками князя, они привязали его к коню и угнали в неволю, а людей поубивали. Долго томился князь в неволе у немцев, только когда король Владислав пригрозил им войною, страх объял их, и они отпустили князя. Но во время набега скончалась мать Дануси, со страху подкатило у нее к самому сердцу и так сдавило в горле, что она померла.

— А вы, пан рыцарь, были при этом? Скажите, как вас зовут, а то я позабыл.

— Зовут меня Миколай из Длуголяса, а прозвище мое Обух. Я был во время набега. Видал, как один немец с павлиньими перьями на шлеме хотел привязать мать Дануси к седлу и как она на глазах у него побелела на веревке как полотно. Меня самого алебардой рубанули, вот и шрам остался.

С этими словами он показал глубокий шрам на голове, который тянулся из-под волос до самой брови.

На минуту воцарилось молчание. Збышко снова вперил взор в Данусю.

— Так вы говорите, — спросил он, помедлив, — у нее нет рыцаря?

Однако ответа он не дождался, так как в это мгновение песня оборвалась. Один из песенников, толстый парень, поднялся вдруг с лавки, и она качнулась набок. Дануса, пошатнувшись, взмахнула ручонками, но упасть или соскочить с лавки не успела — Збышко ринулся, как лев, и подхватил ее на руки.

Княгиня в первую минуту вскрикнула от страха, но потом весело рассмеялась.

— Вот и рыцарь Данусе! — воскликнула она. — Подойди, рыцарь молодой, и отдай нам милую нашу певунью!

— Ловко он ее подхватил! — слышались возгласы среди придворных.

Збышко направился к княгине, прижимая к груди Данусю, которая обняла его одной рукой за шею, а другую подняла с лютней вверх, чтобы не раздавить свой инструмент. Все еще испуганное лицо ее озарилось улыбкой. Приблизившись к княгине, юноша опустил перед нею Данусю на пол, а сам преклонил колени и, подняв голову, с удивительной для его лет смелостью сказал:

— Быть по-вашему, милостивейшая княгиня! Пора этой прекрасной панне иметь своего рыцаря, пора и мне иметь свою госпожу, красоту и

добродетели которой я бы прославлял, потому, с вашего дозволения, я хочу дать обет этой панне и остаться ей верным до гроба.

Удивление изобразилось на лице княгини, однако не речь Збышка поразила ее, а внезапность всего происшедшего. Правда, рыцарские обеты в Польше не были в обычае, но Мазовия, лежавшая на немецком рубеже и часто выдавшая рыцарей даже из дальних стран, знала этот обычай лучше, чем другие польские земли, и часто следовала ему. Княгиня слышала о нем еще при дворе своего великого отца, где все западные обычаи почитались законом и образцом для самых благородных воителей, поэтому в желании Збышка она не нашла ничего оскорбительного ни для себя, ни для Дануси. Она даже обрадовалась, что милая ее сердцу придворная начинает пленять сердца и взоры рыцарей.

— Данусенька, Данусенька, — обратилась она, повеселев, к девочке, — хочешь иметь своего рыцаря?

Дануся сперва три раза подпрыгнула в своих красных башмачках, встряхивая распущенными косами, а затем, обняв руками шею княгини, воскликнула с такой радостью, точно ей посулили забаву, дозволенную только взрослым:

— Хочу! Хочу! Хочу!..

У княгини от смеха слезы выступили на глазах; вместе с нею смеялась вся свита. Высвободившись наконец из объятий девочки, княгиня обратилась к Збышку:

— Ну что ж, давай, давай обет! В чем же ты ей клянешься?

Хотя все кругом смеялись, Збышко хранил непоколебимую серьезность и так же серьезно, не поднимаясь с колен, произнес:

— Клянусь по прибытии в Краков повесить щит на корчме с пергаментом, на котором монах-краснописец четко напишет, что панна Данута самая прекрасная и самая добродетельная из всех девиц, какие только живут во всех королевствах. А кто станет мне в том перечить, с тем клянусь драться до тех пор, пока сам не погибну или он не погибнет, а нет, так сдается.

— Отлично! Видно, ты знаешь рыцарский обычай. А еще что?

— А еще... От пана Миколая из Длуголяса я узнал, что матушка панны Дануты испустила дух по вине немца с павлиньим гребнем на шлеме, потому я даю обет сорвать с немецких голов несколько таких павлиньих чупрунов и сложить их к ногам моей госпожи.

При этих словах княгиня перестала смеяться и спросила:

— Ты что, не на шутку даешь этот обет?

А Збышко ответил:

— Так, да поможет мне Господь Бог и Крест Святой; свой обет я повторю ксендзу в костеле.

— Похвально сражаться с лютым врагом нашего племени, но мне жаль тебя, ты молод и легко можешь погибнуть.

Но тут приблизился Мацько из Богданца, который, будучи человеком старозаветным, только пожимал плечами, слушая княгиню и Збышка, но сейчас счел уместным вмешаться:

— Не тревожьтесь о том, милостивейшая пани! В битве смерть может настигнуть всякого, а для шляхтича, стар ли он, молод ли, сложить голову в бою — это славная смерть. И не в диковинку война моему хлопцу; хоть и юн он годами, а не раз уж довелось ему биться и конному и пешему, и на копьях и на секирах, и на длинных и на коротких мечах, и со щитом и без щита. Новый это обычай, чтобы рыцарь давал обет девушке, которая пришлась ему по сердцу; но я не стану корить Збышка за то, что он посулил своей госпоже павлиньи чупруны. Лупил он уже немцев, пусть еще их взлупит, а что проломит при том несколько голов, так это только послужит к вящей его славе.

— Да, я вижу, что он не робкого десятка, — сказала княгиня.

Потом она обратилась к Данусе:

— Садись-ка на мое место, ты сегодня у нас первая особа, только не смейся, нехорошо.

Дануся села на место княгини; она хотела казаться серьезной, но голубые глазки ее смеялись коленопреклоненному Збышку, и она не могла удержаться, чтобы от радости не болтать ножками.

— Дай ему перчатки, — сказала княгиня.

Дануся достала перчатки и подала их Збышку, который весьма почтительно принял их из ее рук и, прижав к устам, сказал:

— Я приколю их к шлему, и горе тому, кто осмелится посягнуть на них!

С этими словами он поцеловал Данусе руки и ножки и поднялся с колен. Но тут его оставила прежняя серьезность, сердце юноши преисполнилось великой радостью от того, что отныне весь двор будет почитать его зрелым мужем; потрясая перчатками Дануси, он весело и вместе с тем запальчиво воскликнул:

— Эй, сюда, псы с павлиньими чупрунами! Эй, сюда!

В это мгновение в корчму вошел тот самый монах, который приходил уже раньше, а с ним двое других, постарше. Монастырские служки несли за ними ивовые корзины, наполненные баклагами с вином и собранными на скорую руку лакомствами. Вновь пришедшие монахи, приветствуя

княгиню, снова стали упрекать ее за то, что она не заехала в монастырь, а она снова стала объяснять им, что, выпавшись за день, путешествует со своей свитой ночью по холодку, поэтому в отдыхе не нуждается и, не желая будить ни достославного аббата, ни святых монахов, решила остановиться в корчме, чтобы немного размяться.

Обменявшись множеством учтивостей, порешили наконец на том, что после утрени и ранней обедни княгиня со свитой позавтракает и отдохнет в монастыре. Гостеприимные монахи пригласили вместе с мазурами краковских шляхтичей и Мацька из Богданца, который и без того намерен был отправиться в аббатство, чтобы оставить там на хранение военную добычу и дары щедрого Витовта, предназначенные для выкупа Богданца. Но молодой Збышко не слышал приглашения — он бросился к своим повозкам, стоявшим под охраной слуг, чтобы переодеться и предстать перед княгиней и Данусей в более приличном наряде. Сняв с повозки коробка, он велел отнести их в людскую и стал там переодеваться. Торопливо причесав волосы, он убрал их под шелковую сетку, шитую янтарем, а спереди настоящим жемчугом. Затем он надел белый шелковый полукафтан, расшитый золотыми грифами, с нарядной оторочкой понизу, поверх кафтана подпоясался двойным золоченым поясом, на котором висел короткий меч с насечкой из серебра и слоновой кости. Все на нем было новое, все сверкало и не носило никаких следов крови, хотя было захвачено в поединке у молодого фризского рыцаря, служившего у крестоносцев. Затем Збышко надел красивые штаны с одной штаниной в продольные зеленые и красные полосы, другой — в фиолетовые и желтые, а наверху — в пеструю шахматную клетку. Надев после этого красные башмаки с длинными носками, красивый и нарядный, он направился в общую комнату.

Когда он остановился в дверях, все просто ахнули. Увидев, какой красавец рыцарь дал обет служить ее Данусе, княгиня еще больше обрадовалась. Дануса в первое мгновение кинулась к Збышку, как серна. Но она не успела добежать до него; красота ли юноши, изумленные ли возгласы придворных остановили ее, только за какой-нибудь шаг от него она замерла, потупив вдруг глазки, и, вся вспыхнув, сжала в смущении ручки и стала перебирать пальчиками. За ней подошли к Збышку другие: сама княгиня, придворные, песенники, монахи; все хотели получше рассмотреть юного рыцаря. Мазовецкие панны глаз с него не сводили, и каждая из них жалела теперь о том, что не она стала его избранницей, старшие дивились пышности его наряда, так что Збышко очутился в кругу любопытных; стоя посредине, он с самодовольной улыбкой чуть-чуть

повертывался на месте, чтобы все получше могли его рассмотреть.

— Кто это такой? — спросил один из монахов.

— Рыцарь, племянник вот этого шляхтича, — ответила княгиня, показывая на Мацька, — он только что дал обет служить Данусе.

Монахи этому тоже не удивились, так как подобные обеты ни к чему не обязывали. Рыцари часто давали обет замужним женщинам, а у родовитой знати, знакомой с западным обычаем, почти не было дамы, которая не имела бы своего рыцаря. Если рыцарь давал обет девушке, то он вовсе не становился ее женихом: напротив, она чаще всего выходила замуж за другого, он же, если отличался постоянством, оставался верен ей, но женился тоже на другой.

Несколько больше удивил монахов возраст Дануси, да и то не очень, так как в те времена шестнадцатилетние отроки становились каштелянами. Самой великой королеве Ядвиге в ту пору, когда она прибыла из Венгрии, едва минуло пятнадцать лет, а тринадцатилетние девочки выходили тогда замуж. Впрочем, в эту минуту взоры были обращены не столько на Данусю, сколько на Збышка, и все слушали Мацька, который, гордясь своим племянником, рассказывал, каким образом юноша добыл столь богатое платье.

— Год и девять недель назад, — рассказывал Мацько, — пригласили нас в гости саксонские рыцари. У них гостил один рыцарь из народа фризского, который живет далеко, у самого моря, а с ним сын, года на три постарше Збышка. Как-то на пиру сын рыцаря стал, глумясь, говорить Збышку, что нет, мол, у него ни усов, ни бороды. Збышко, хлопец горячий, не стал его слушать, схватил за бороду и всю ее ему вырвал, за что мы дрались после на смерть или на неволю.

— Как же это вы дрались? — спросил пан из Длуголяса.

— Отец вступился за сына, я — за Збышка, вот мы и дрались вчетвером при гостях на утоптанной земле. Уговор у нас был такой, что победитель заберет и полные повозки, и коней, и слуг побежденного. Бог пришел нам на помощь. Порубили мы фризов, хоть и нелегко далась нам победа над этими сильными и храбрыми рыцарями, и добычу захватили богатую: четыре полные повозки, в каждую по паре мерингов запряжено, да четверку рослых скакунов, да девять человек прислуги, да на двоих отборные доспехи, каких у нас, пожалуй, и не сыщешь. Правда, мы помяли в бою шлемы, но Господь кой-чем другим нас вознаградил — взяли мы целый кованный сундук дорогого платья; то, что сейчас на Збышке, тоже было в этом сундуке.

Тут оба краковских шляхтича и все мазуры стали с бóльшим

уважением поглядывать на дядю и племянника, а пан из Длуголяса, по прозвищу Обух, сказал:

— Я вижу, вы народ решительный и смелый.

— Теперь мы верим, что этот юноша добудет павлиньи чупруны!

А Мацько смеялся, причем в суровом лице его было что-то хищное.

Монастырские служки добыли тем временем из ивовых корзин вина и лакомства, а служанки стали вносить блюда дымящейся яичницы, обложенной колбасами, от которых по всей корчме пошел сильный и смачный дух свиного сала. При виде яичницы и колбас гостям захотелось есть, и все двинулись к столам.

Однако никто не садился, прежде чем княгиня не займет свое место; она села посредине, велела Збышку и Данусе занять места рядом напротив нее, а потом сказала Збышку:

— Тебе полагается есть из одной миски с Данусей, только не жми ей под лавкой ноги и не касайся ее колен, как делают другие рыцари, — она для этого еще слишком молода.

Он ответил княгине:

— Если я и стану это делать, милостивейшая пани, то разве только через два-три года, когда Господь позволит мне выполнить обет и когда созреет эта ягодка; что ж до того, чтоб жать ей ножки, то этого я не мог бы сделать, если бы даже захотел, — ведь они у нее не достают до полу.

— Это верно, — сказала княгиня, — приятно, однако, знать, что ты учтив в обхождении.

После этого все занялись едой и воцарилось молчание. Збышко отрезал самые жирные куски колбасы и подавал их Данусе, а то и просто клал ей в рот, а она, довольная, что ей прислуживает такой нарядный рыцарь, уплетала колбасу за обе щеки, моргая глазками и улыбаясь то ему, то княгине.

Когда гости опростали блюда, монастырские служки стали разливать сладкое ароматное вино — мужчинам помногу, женщинам — поменьше; но рыцарскую свою учтивость Збышко особенно выказал, когда внесли полные чаши присланных из монастыря орехов. Там были и лесные, и редкие в те времена грецкие орехи, привозимые издалека, на которые гости накинудись с такой жадностью, что по всей корчме слышен был только треск скорлупы на зубах. Однако напрасно было бы думать, что Збышко помнил только о себе, он предпочел показать княгине и Данусе свою рыцарскую силу и воздержность, нежели, набросившись с жадностью на редкое лакомство, уронить себя в их глазах. Набрав полную горсть лесных или грецких орехов, он не разгрызал их зубами, как делали другие, а

раскалывал, сжимая своими железными пальцами, и подавал Данусе очищенные от скорлупы ядра. Он придумал даже забаву для нее: вынув ядро, он подносил руку к губам и дул на скорлупу; под могучим его дыханием скорлупа взлетала под самый потолок, Дануся хохотала до упаду, так что княгиня, опасаясь, как бы девочка не подавилась, велела Збышку прекратить эту забаву; видя, как рада Дануська, княгиня спросила у нее:

— А что, Дануся, хорошо иметь своего рыцаря?

— Ах, как хорошо! — ответила девочка.

Она коснулась розовым пальчиком белого шелкового кафтана Збышка и, тут же отдернув руку, спросила:

— А завтра он тоже будет моим?

— И завтра, и в воскресенье, до гроба, — ответил Збышко.

После орехов подали сладкие пироги с изюмом, и ужин затянулся. Одним придворным хотелось поплясать, другим послушать песенников или Данусю; но у Дануси под конец стали слипаться глазки и клониться от дремоты головка; раз-другой она еще взглянула на княгиню, на Збышка, протерла еще разок кулачком глазки — и, с великим доверием опершись на плечо своего юного рыцаря, тут же уснула.

— Спит? — спросила княгиня. — Вот тебе и «дама».

— Она и во сне мне милей, чем другая в танце, — ответил Збышко, сидя прямо и не двигаясь, чтобы не разбудить девушку.

Однако Данусю не разбудили даже музыка и песни. Одни притопывали ногами в такт музыке, другие вторили ей, гремя мисками, но чем больше был шум, тем крепче она спала, открыв, как рыбка, ротик.

Дануся проснулась только тогда, когда запели петухи, зазвонили колокола в костеле и все поднялись с лавок с возгласами:

— На утреню! На утреню!

— Пойдем пешком во славу Божию, — сказала княгиня.

И, взяв за руку пробудившуюся Данусю, она первая вышла, а за нею высыпала вся свита.

Ночная тьма уже поредела. На востоке светлело небо. Узкая золотая полоска зари, с зеленой каймою сверху и алой внизу, разливалась на глазах. Луна на западе словно отступала перед ней. А заря становилась все алее, все ярче. Мир пробуждался, омытый сильной росой, радостный и отдохнувший.

— Бог дал хорошую погоду, но жара будет страшная, — говорили придворные.

— Не беда! — успокаивал их пан Миколай из Длуголяса. — Выспимся в аббатстве, а в Краков приедем под вечер.

— Пожалуй, опять прямо на пир.

— Там и нынче что ни день гуляют, ну а после родин да ристалищ пир пойдет горой.

— Посмотрим, как себя покажет рыцарь Дануси.

— Э, да ведь они богатыри!.. Слыхали, как они рассказывали про свой поединок с двумя фризами?

— Может, к нашему двору пристанут, вон о чем-то совещаются.

Мацько и Збышко в самом деле держали совет; старик не очень был рад, что все так сложилось; идя позади свиты и нарочно отставая, чтобы потолковать с племянником на свободе, он говорил ему:

— Сказать по правде, никакого проку для тебя я во всем этом не вижу. Уж как-нибудь я пробьюсь к королю, ну хоть с этим двором, может, что-нибудь и заполучим. Очень мне хочется замок небольшой или городок заполучить... Ну да посмотрим. Богданец, само собой, выкупим, потому чем отцы наши владели, тем и мы должны владеть. Но откуда взять мужиков? Аббат поселил там новых, но ведь он их назад возьмет, а без мужика земле грош цена. Вот и смекай, что я тебе скажу: ты там обеты давай кому хочешь, но с паном из Мельштына иди к князю Витовту воевать против татар. Коли затрубят в трубы до родин, не жди, покуда королева родит и начнутся рыцарские ристалища, а выступай в поход, потому там может быть добыча. Ты знаешь, как щедр князь Витовт, а тебя он уже знает. Отличишься, богатые дары от него получишь. А что всего важнее — даст Бог, захватишь уйму невольников. Татар на свете тьма-тьмущая. В случае победы по полсотни, а то и больше на брата придется.

Тут Мацько, алчный до земли и мужиков, раз мечтался:

— Боже ты мой! Пригнать с полсотни невольников да поселить в Богданце! Расчистили бы кусок пущи. Поднялись бы мы оба. Знай, нигде так не разживешься, как там!

Но Збышко покачал головой:

— Эва! Наторочить конюхов, которые жрут конскую падаль и к земле не привыкли! Какой толк от них в Богданце?.. К тому же я дал обет добыть три немецких гребня. Где я их найду у татар?

— Дал обет по глупости, такая и цена твоему обету.

— А моя рыцарская честь? Как с нею быть?

— А как было с Рынгаллой?

— Рынгалла отравила князя, и отшельник разрешил меня от обета.

— Так тебя в Тынце разрешит аббат. Аббат получше пустытника, тот не на монаха, а больше на разбойника смахивал.

— Да не хочу я.

Мацько остановился и спросил, видно, разгневавшись:

— Что ж будем делать?

— Поезжайте к Витовту сами, я не поеду.

— Ах ты, мальчишка! А кто к королю пойдет на поклон?.. И не жаль тебе моих косточек?

— На ваши косточки дерево свалится, и то не ломает их. Да хоть и жаль было бы вас, все равно я к Витовту не поеду.

— Что же ты будешь делать? Останешься сокольничим или песенником при мазовецком дворе?

— А разве плохо быть сокольничим? Коли вам слушать меня неохота, а поворчать приспичило, ну что ж, ворчите.

— Ну куда ты поедешь? Что ж тебе, наплевать на Богданец? Ногтями будешь землю ковырять? Без мужиков-то?

— Неправда! Ловко вы это придумали с татарами. Слыхали, что на Руси говорят? Татар, мол, столько найдешь, сколько их полегло в бою, а полонить никого не полонишь, потому в степи татарина никому не догнать. Да и на чем я буду гнаться за ними? Уж не на тех ли тяжелых жеребцах, которых мы захватили у немцев? Как же, догонишь на них! А какую добычу я возьму? Одни паршивые тулупы. То-то богачом вернусь в Богданец, то-то назовут меня комесом!

В словах Збышка было много правды, и Мацько умолк; только через минуту он заметил:

— Но тебя наградил бы князь Витовт.

— Это еще как сказать: одному он дает слишком много, а другому ничего.

— Ну тогда говори, куда поедешь?

— К Юранду из Спыхова.

Мацько в гневе передернул пояс на кожаном кафтане и бросил:

— А чтоб ты пропал!

— Послушайте, — спокойно сказал Збышко. — Я говорил с Миколаем из Длуголяса, и он мне рассказал, что Юранд мстит немцам за жену. Я пойду на помощь ему. Ведь вы сами говорили, что мне не в диковинку драться с немцами, что я знаю их повадки и знаю, как одолеть их. Да и там, на границе, я скорее добуду павлиньи чупруны, а вы знаете, что павлиний гребень какой-нибудь кнехт на голове не носит, — выходит, коли Бог поможет добыть гребни, то поможет взять и добычу. Ну а тамошний невольник — это вам не татарин. Такого поселишь в бору, век не пожалеешь.

— Да ты, парень, что, ума решился? Ведь сейчас нет войны, и бог

весть когда она будет!

— Ах, дядюшка! Заключили медведи мир с бортниками — и бортей не портят, и меду не едят! Ха-ха! Да неужто вы не знаете, что войска не воюют и король с магистром приложили к пергаменту свои печати, но на границе-то вечные стычки. Угонит кто-нибудь скотину, стадо, так за одну корову жгут целые деревни и осаждают замки. А разве не угоняют в неволю мужиков и девок? А купцов на больших дорогах? Вспомните старые времена, о которых вы сами мне рассказывали. Разве плохо было Наленчу, когда он захватил сорок рыцарей, ехавших к крестоносцам, посадил их в подземелье и не отпускал до тех пор, пока магистр не прислал ему полный воз гривен? Юранд из Спыхова тоже только тем и занят, и дело на границе всегда найдется.

Минуту они шли в молчании. Тем временем совсем рассвело, и яркие лучи солнца осветили скалы, на которых было выстроено аббатство.

— Бог везде может послать счастье, — смягчился наконец Мацько, — помолись, чтобы ниспослал тебе Свое благословение.

— Это верно, все в Его воле!

— И о Богданце подумай, ты ведь не уверишь меня, что хочешь ехать к Юранду из Спыхова не ради этой свиристелки, а ради Богданца.

— Вы мне этого не говорите, не то я рассержусь. Не стану отпираться, гляжу не нагляжусь я на нее, не такой я дал ей обет, как Рынгалле. Случалось ли вам встречать девицу краше ее?

— Что мне до ее красы! Лучше, как подрастет, женись на ней, коли она дочка могущественного комеса.

Лицо Збышка осветилось юношеской доброй улыбкой.

— И то дело. Не нужна мне ни другая госпожа, ни другая жена! Вот состаритесь вы и заноят ваши старые косточки, так еще понянчите наших с нею детей.

При этих словах улыбнулся и Мацько и ответил, совсем смягчившись:

— Грады! Грады! Пусть же посыплются тогда градом детишки. В старости радость, по смерти спасение подай нам, Иисусе!

III

Княгиня Данута, Мацько и Збышко уже бывали в Тынце, но некоторые придворные видели его впервые. Подняв глаза, они в изумлении смотрели на величественный монастырь, на зубчатые стены, которые тянулись вдоль скал над обрывами, на высокие здания, которые громоздились то по склону горы, то за острогом, отливая золотом в лучах восходящего солнца. При первом же взгляде на эти великолепные стены и сооружения, на эти дома и хозяйственные постройки, на сады, лежавшие у подошвы горы, и на тщательно возделанные поля, которые с высоты открывались взору, можно было сказать, что тут за столетия накоплены неисчислимые богатства, непривычные и удивительные для жителей бедной Мазовии. И в других местах были старинные богатые бенедиктинские аббатства, например, в Любуше на Одре, в Плоцке, в Могильне, что в Великой Польше, но ни одно из них не могло сравниться с тынецким, владения которого были обширней многих удельных княжеств, а доходы могли возбудить зависть даже у тогдашних королей.

Придворные диву давались, иные просто глазам своим не верили, а княгиня, желая скоротать время и поразвлечь своих приближенных панн, попросила одного из монахов рассказать старинную и страшную повесть о Вальгере Прекрасном^[20], которую ей уже рассказывали, хоть и не очень подробно, в Кракове.

Заслышав об этом, панны тесной стайкой окружили княгиню и медленно направились в гору, в лучах утреннего солнца подобные движущимся цветам.

— Пусть брат Гидульф расскажет о Вальгере, он ему как-то ночью явился, — сказал один из монахов, поглядывая на другого, человека преклонных лет, который, сгорбившись, шел рядом с Миколаем из Длуголяса.

— Неужто вы, святой отче, видели его собственными глазами? — спросила княгиня.

— Видел, — угрюмо ответил монах. — Бывает такая пора, когда, по воле Божьей, он может покидать преисподнюю и показываться миру.

— Когда же это бывает?

Старик бросил взгляд на других монахов и умолк, — существовало поверье, будто дух Вальгера является тогда, когда в монашеском ордене портятся нравы и монахи больше, чем следует, помышляют о земных

благах и мирских утехах.

Никто из них не хотел в этом признаться, но призрак, по поверью, предвещал также войну или иное бедствие, и брат Гидульф, помолчав с минуту, промолвил:

— Явление его не сулит добра.

— И я не хотела бы увидеть его, — крестясь, сказала княгиня. — Но почему же он в преисподней, если только отомстил за свою тяжкую обиду?

— Да будь он всю жизнь праведником, — сурово возразил монах, — все равно был бы осужден на вечные муки, ибо жил в язычестве и не очистился святым крещением от первородного греха.

Брови княгини мучительно сжались при воспоминании о том, что ее великий отец, которого она любила всей душой, умер тоже язычником и должен вечно гореть в геенне огненной.

— Мы слушаем вас, — сказала она, помолчав.

— Жил-был в языческие времена, — повел свой рассказ брат Гидульф, — могущественный граф, за неописанную красоту прозванный Вальгером Прекрасным. Весь этот край, что глазом его не окинуть, принадлежал графу, а в походы он водил не одно пешее войско, но и по сотне копейщиков, ибо все рыцари на запад до самого Ополя и на восток до Сандомира были его вассалами. Счету не знал он своим стадам, а в Тынце была у него башня, доверху набитая деньгами, как нынче в Мальборке у крестоносцев.

— Знаю, есть у них такая башня, — прервала его княгиня Данута.

— Богатырь он был, — продолжал монах, — дубы вырывал с корнем, и в мире не было красавца, равного ему, и никто не мог сравниться с ним в игре на лютне и в песнях. Случилось ему быть при дворе французского короля, и полюбила его королевна Гельгунда; дабы прославить имя Господне, король-отец хотел отдать дочь в монастырь, а она бежала с графом в Тынец, и стали они жить во грехе, ибо ни один ксендз не хотел обвенчать их по христианскому обряду. Жил-был в ту пору в Вислице Вислав Красивый из рода короля Попеля. В отсутствие Вальгера учинял он набеги на тынецкое графство. Вальгер разбил его и увел в Тынец в неволю, невзирая на то что всякая жена, раз увидев Вислава, готова была отречься от отца с матерью и мужа, лишь бы только утолить с ним свою страсть. Так оно случилось и с Гельгундой. Придумала она для Вальгера такие оковы, что хоть богатырь он был и дубы вырывал с корнем, а не мог их разорвать, и отдала мужа Виславу, который увез его в неволю в Вислицу. Но Рынга, сестра Вислава, заслышав в подземелье песню Вальгера, вспылала любовью к нему и выпустила из подземелья, и он, порубив мечом Вислава

и Гельгунду и бросив их тела на съедение воронам, вернулся сам с Рынгою в Тынец.

— Разве он худо поступил? — спросила княгиня.

Но брат Гидульф ответил:

— Когда бы принял он святое крещение и Тынец отдал бенедиктинцам, может, Бог отпустил бы ему грехи его, но граф этого не сделал, и земля пожрала его.

— Да разве бенедиктинцы уже были в королевстве?

— Не было бенедиктинцев, в королевстве одни язычники жили.

— Как же мог он принять святое крещение или отдать Тынец?

— Не мог — и потому осужден на вечные муки, — важно ответил монах.

— Верно! Правду он говорит! — раздалось несколько голосов.

Тем временем все приблизились к главным вратам обители, где княгиню ждал аббат с целой свитой монахов и шляхтичей. Светских лиц — «экономов», «адвокатов», «прокураторов» и всяких служащих ордена, — в обители всегда бывало немало. Да и шляхтичи, в том числе богатые рыцари, по довольно редко применявшемуся в Польше ленному праву брали в лен необозримые монастырские земли и в качестве «вассалов» охотно пребывали при дворе «сюзерена», где у подножия Престола Господня легко было заполучить дары, льготы и всякие блага часто за небольшую услугу, удачное словцо или просто под веселую руку всемогущего аббата. Многих вассалов привлекли из дальних мест готовящиеся в столице торжества, и те, кто по причине большого съезда не нашел где остановиться в Кракове, устроились в Тынце. По этой причине *abbas centum villarum*^[21] встретил княгиню со свитой еще более многочисленной, чем обычно.

Это был мужчина высокого роста, с сухощавым умным лицом и выбритой макушкой, окруженной венчиком седеющих волос. На лбу у аббата виднелся шрам от раны, полученной, видно, в молодости, когда он был еще рыцарем, пронзительные глаза надменно смотрели из-под черных бровей. Как и прочие монахи, аббат был одет в рясу, но поверх нее наброшена была черная, подбитая пурпуром мантия, а на шее висел на золотой цепи золотой же, осыпанный драгоценными камнями крест — знак достоинства аббата. Вся осанка изобличала в нем человека, привыкшего повелевать, надменного и самоуверенного.

Памятуя, однако, что супруг княгини происходил из того же рода князей мазовецких, что и короли Владислав и Казимир, а по женской линии и ныне царствующая королева, повелительница одного из величайших

государств в мире, аббат почтительно, даже с некоторым подобострастием приветствовал княгиню. Переступив порог врат обители, он низко склонил голову и, благословив Анну Дануту и всех ее придворных маленьким золотым ковчежцем, который держал в правой руке, сказал:

— Приветствую тебя, милостивейшая госпожа, в смиренной нашей обители. Да ниспошлют тебе здравие и благоденствие святой Бенедикт из Нурсии, святой Маурус, святой Бонифаций, святой Бенедикт из Аниана и Иоанн из Фтоломеи^[22], покровители наши, вкушающие вечное блаженство, и да благословят тебя семь раз на дню во все дни живота твоего!

— Они не могут не внять мольбе столь славного аббата, разве только если глухи, — учтиво сказала княгиня, — тем более что мы прибыли сюда к обедне и предадим вся своя и себя в руки их.

С этими словами княгиня протянула аббату руку, которую тот, преклонив по придворному обычаю колено, поцеловал как рыцарь; затем они вместе проследовали во врата обители. Их, видно, уже ждали с обедней, в ту же минуту зазвонили колокола и колокольчики; трубачи в дверях костела затрубили в честь княгини в громкие трубы, литаврщики ударили в огромные литавры, кованные из красной меди и обтянутые кожей, рождающей громозвучное эхо. На княгиню, которая родилась в языческом краю, всякий костел все еще производил сильное впечатление, а тынецкий в особенности, ибо немного было костелов, равных ему по великолепию. Тьма наполняла глубину святыни, лишь у главного престола трепетали огни светильников, мешаясь с блеском свечей, озарявших позолоту и статуи святых. Вышел священник в облачении, поклонился княгине и начал литургию. Благовонный фимиам кадил тотчас заструился густыми, мягкими волнами, окутал священника и престол и, плавно уносясь ввысь, придал храму еще большую торжественность и таинственность. Анна Данута откинула голову и, воздев руки, стала жарко молиться. Но когда раздались звуки редкого еще в ту пору органа, то потрясая своды храма величественным рокотом, то наполняя его ангельскими голосами, то разливаясь как бы в соловьиной песне, княгиня подняла очи горе, на лице ее, вместе с благоговением и страхом, изобразилось бесконечное блаженство, — и могло показаться, что это святая в чудном видении озирает разверстое небо.

Так молилась рожденная в язычестве дочь Кейстута, которая, как и все другие люди в те времена, в повседневной жизни запросто поминала имя Господне, но в доме Божиим с детским трепетом и смирением устремляла взор к таинственному и предвечному Вседержителю.

Так же усердно, хотя и с меньшим трепетом, молился весь двор.

Збышко опустился с мазурами на колени позади седалищ ксендзов — к алтарю прошли только придворные панны с княгиней — и передавал себя в руки Господа. Время от времени он бросал взгляд на Данусю, которая, полузакрыв глаза, сидела около княгини, и думал о том, что стоило, разумеется, стать рыцарем такой девушки, но что и обет он дал ей нешуточный. Сейчас, когда хмель выветрило из него, он призадумался, как выполнить свой обет. Войны не было. Правда, в стычке на границе легко было наткнуться на вооруженного немца и убить врага или самому сложить голову. Об этом Збышко и говорил Мацьку. «Так-то оно так, — думал он, — но ведь не всякий немец носит павлиний или страусовый чуб на шлеме». Из гостей крестоносцев разве только графы, а из самих крестоносцев разве только комтур, да и то не всякий. Если войны не будет, годы пройдут, куда он добудет три гребня; тут он вспомнил еще, что, не будучи посвящен в рыцари, может вызывать на поединок только непосвященных. Правда, он надеялся получить рыцарский пояс из рук короля на ристалищах, которые должны были состояться на крестинах, он ведь давно его заслужил, — ну а что же дальше? Он поедет к Юранду из Спыхова, будет помогать ему, перебьет сколько сможет кнехтов — и конец. Кнехты крестоносцев — это не рыцари с павлиньими перьями на головах.

Видя, что без особой на то милости Божией он не много может сделать, Збышко в смятении и тревоге начал молиться:

«Поддай, Господи, войну с крестоносцами и немцами, недругами нашего королевства и всех народов, кои на нашем языке хвалят имя Твое святое. Нас благослови, а их сотри с лица земли, ибо не Тебе, но царю тьмы они служат и злобу против нас таят в своем сердце, особливо за то, что король наш с королевой крестили Литву и возбраняют им сечь мечом рабов Твоих. Покарай их за злобу сию.

А я, грешный раб Твой Збышко, каюсь перед Тобою и, взывая к пяти ранам Твоим, молю Тебя: ниспошли мне поскорее троих знатных немцев с павлиньими чубами на шлемах и, по милости Твоей, помоги убить их насмерть. Ибо оные чубы обещал я панне Дануте, дочери Юранда и рабе Твоей, и поклялся в том рыцарской честью.

Ото всего, что найдется еще при убитых, я отдам десятину святой Церкви, дар принеся и Тебе, Иисусе сладчайший, и хвалу воздав Тебе, Господи, дабы ведал Ты, что не напрасно, но от чистого сердца дал я обет сей. Истинно так, Господи Иисусе, помоги же мне, аминь!»

По мере того как Збышко молился с благоговением, он так умилился сердцем, что дал новый обет: после выкупа Богданца пожертвовать на церковь весь воск, который за год дадут пчелы в бортях. Он надеялся, что

дядя Мацько не станет этому противиться, а Иисус Христос будет особенно рад свечному воску и, чтобы получить скорее жертву, тотчас ему поможет. Эта мысль показалась Збышку такой удачной, что душа его преисполнилась радостью: теперь он был почти уверен, что Господь услышит его молитву и что в самом непродолжительном времени вспыхнет война, а если и не вспыхнет, так он и без войны как-нибудь добьется своего. Он ощутил в руках и ногах такую великую силу, что в эту минуту готов был один ударить на целую хоругвь. Он подумал даже, что раз уж дал обеты Богу, так и Данусе можно прибавить парочку немцев. Юношеский пыл толкал его на этот шаг; однако победило на этот раз благоразумие. Збышко побоялся излишними желаниями испытывать терпение Господа.

Однако он еще больше укрепился в своих надеждах, когда после обедни и продолжительного отдыха, на который удалился весь двор, послушал за завтраком разговор аббата с Анной Данутой.

В те времена супруги князей и королей по причине своей набожности, да и потому, что магистры ордена щедрой рукой раздавали им дары, оказывали крестоносцам всяческое расположение. Даже благочестивая Ядвига, пока была жива, удерживала занесенную над ними длань своего могущественного супруга. Одна только Анна Данута ненавидела их лютой ненавистью за тяжкие обиды, причиненные ими ее семье. Когда аббат спросил, как обстоят дела в Мазовии, она стала горько жаловаться на орден:

— Как могут обстоять дела в княжестве, когда у него такие соседи? Словно бы и мир: шлют один другому посольства и письма, и все-таки нельзя быть спокойным за завтрашний день. Ложась вечером спать, никто на границе не знает, не проснется ли он в оковах, или с острием меча на горле, или с пылающей кровлей над головой. От предательства не спасут ни клятвы, ни печати, ни пергаменты. Случилось же так под Золоторей, когда во время самого полного мира крестоносцы захватили и увели в неволю князя. Они говорили, будто этот замок может быть опасным для них. Но ведь замки строят не для нападения, а для обороны, и какой же князь не имеет права сооружать или перестраивать их на своей земле? Не примириться с орденом ни слабому, ни сильному, потому что слабого он презирает, а сильного стремится одолеть. За добро он платит злом. Разве есть в мире орден, который в других королевствах был бы осыпан такими милостями, как крестоносцы у польских князей, а чем отблагодарили они за это? Ненавистью, набегам, войною и вероломством. И тщетны все пени, тщетны все жалобы самому престолу апостольскому, ибо, закоснев в упорстве и гордыне, они не внемлют даже папе римскому. И теперь вот они

прислали посольство на родины и крестины, но лишь для того, чтобы отвратить от себя гнев могущественного короля за все то, что они учинили в Литве. Сердца же их полны умыслом стереть с лица земли королевство и все польское племя.

Аббат внимательно слушал, покачивая головой, а затем сказал:

— Мы знаем, что во главе посольства в Краков приехал комтур Лихтенштейн, брат ордена, коего весьма почитают за славный род, храбрость и ум. Вы, милостивейшая пани, может, скоро его увидите, ибо вчера комтур прислал мне весть, что он посетит Тынец, желая поклониться нашим святыням.

Услышав об этом, княгиня снова стала жаловаться:

— Толкует народ, — и так оно, верно, и есть, — что быть скоро великой войне. Воевать будут Королевство Польское и все народы, которые говорят на языке, похожем на польский, с немцами и орденом. Предсказала будто войну какая-то святая...

— Бригитта^[23], — прервал княгиню ученый аббат. — Восемь лет назад ее причислили к лику святых. Святой Петр из Альвастра и Матвей из Линкепинга записали ее пророчества, в которых и впрямь предсказана великая война.

Збышко при этих словах затрепетал от радости и, не в силах удержаться, спросил:

— А скоро ли будет эта война?

Но аббат, занятый разговором с княгиней, не расслышал его, а может, притворился, что не слышит.

— Радуются и у нас этой войне молодые рыцари, — продолжала меж тем княгиня, — но те, кто постарше и порассудительней, вот что говорят: «Не немцев, говорят, мы страшимся, хоть велика их гордыня и сила, не копий их и мечей, но страшимся мы, говорят, святынь крестоносцев, ибо все силы людские ничто противу них».

Анна Данута со страхом взглянула на аббата и прибавила, понизив голос:

— Сдается, есть у них подлинное древо Креста Господня; как же воевать с ними?

— Прислал им его французский король, — подтвердил аббат.

На минуту воцарилось молчание, затем заговорил Миколай из Длуголяса, по прозвищу Обух, человек бывалый, искушенный опытом.

— Был я в неволе у крестоносцев, — сказал он, — и случалось мне видеть процессии с этой великой святыней. Но, кроме нее, есть у крестоносцев, в монастыре в Оливе, множество других первейших

святынь, без коих ордену не достичь бы такого могущества.

Тут бенедиктинцы, вытянув от любопытства шеи, стали спрашивать у него:

— Скажите же, что это за святыни?

— Есть у них край ризы Пресвятой Девы Марии, — ответил пан из Длуголяса, — коренной зуб Марии Магдалины и головешки неопалимой купины, из коей сам Бог Отец явился Моисею, есть рука святого Либерия, а что до костей прочих святых, так их на пальцах рук и ног не сочтешь...

— Как же воевать с крестоносцами? — со вздохом повторила княгиня.

Аббат наморщил высокий лоб и после минутного раздумья сказал:

— Трудно с ними воевать уже по одному тому, что они монахи и носят крест на плащах; но ежели они погрязли во грехах, то и святыням может показаться мерзостным пребывание среди них, и тогда они не только не придадут крепости ордену, но отнимут ее у него, дабы перейти в более благочестивые руки. Да хранит Господь Бог кровь христианскую, но коли уж начнется великая война, то и у нас в королевстве найдутся святыни, кои на войне нашими станут заступниками. Недаром вещает глас в пророчестве святой Бригитты: «Я поставил их, яко тружениц пчел, утвердил на рубеже земли христианской; но они восстали против меня. Ибо не пекутся они о душе и не щадят плоти народа, который обратился в веру католическую. Они в рабов его обратили, не учат заповедям Божиим и, лишая его святых тайн, обрекают на вечные муки, горшие тех, кои терпел бы он, коснея в язычестве. А воюют они для утоления своей алчности. Посему придет время, когда будут выбиты зубы у них, и отсечена будет правая рука, и охромеют они на правую ногу, дабы познали грехи свои».

— Дай Бог! — воскликнул Збышко.

Слушая слова пророчества, прочие рыцари и монахи также ободрились, аббат же обратился к княгине:

— Посему уповайте на Господа Бога, милостивейшая пани, ибо не ваши, но скорее их дни сочтены, а пока с чистым сердцем примите сей ковчежец, в коем хранится палец ноги святого Птоломея, одного из покровителей наших.

Протянув трепещущие от счастья руки и преклонив колена, княгиня приняла ковчежец и прижала его к устам. Радость ее разделяли придворные, ибо никто не сомневался, что от такого дара снизойдет благодать на всех, а может, и на целое княжество. Збышко тоже был счастлив, ему казалось, что война должна вспыхнуть тотчас после краковских торжеств.

IV

Было уже далеко за полдень, когда княгиня со своей свитой выехала из гостеприимного Тынца в Краков. Рыцари в те времена, направляясь в гости к знатной особе, при въезде в большой город или замок надевали часто бранные доспехи. Правда, искони так повелось, что, проехав ворота, рыцарь должен был тотчас снять доспехи, причем в замке сам хозяин, по обычаю, говорил гостю: «Снимите доспехи, благородный рыцарь, ибо вы прибыли к друзьям». Все же въезд в полном боевом снаряжении почитался более пышным и возвышал рыцаря в глазах окружающих. Ради этой пышности и Мацько со Збышком надели добытые у фризских рыцарей великолепные панцири и наплечники, блестящие, сверкающие, протканые по краям золотом. Миколай из Длуголяса, который и свету повидал на своем веку, и на рыцарей насмотрелся, да к тому же был весьма искушен в военном деле, тотчас признал работу славнейших в мире миланских бронников; выковать себе такую броню могли лишь самые богатые рыцари, и стоила она целого состояния. Он заключил отсюда, что фризские рыцари принадлежали у себя, видно, к знати, и с тем большим уважением стал глядеть на Мацька и Збышка. Одни только шлемы у них, хоть и неплохие, все же не были такими богатыми, зато рослые кони, покрытые красивыми попонами, возбудили у придворных удивление и зависть. Сидя в непомерно высоких седлах, Мацько и Збышко с высоты взирали на весь двор. Они держали в руке по длинному копыю, на боку у них висел меч, у седла торчала секира. Правда, щиты они удобства ради оставили на повозках, но и без щитов у обоих был такой вид, точно они не в город ехали, а выступали в бой. Оба они держались неподалеку от коляски, в которой на заднем сиденье ехали княгиня с Данусей, а на переднем — почтенная придворная дама Офка, вдова Кристина из Яжомбкова, и старый Миколай из Длуголяса. Дануся с большим любопытством глядела на закованных в латы рыцарей, а княгиня то и дело вынимала из-за пазухи ковчежец с реликвией и подносила его к устам.

— Страх как любопытно взглянуть на косточку там, в середине, — произнесла наконец она, — но сама я не открою ковчежец, чтобы не оскорбить святого. Пусть откроет епископ в Кракове.

— Э, лучше уж не выпускать его из рук, — заметил осторожный Миколай из Длуголяса, — уж очень это соблазнительная штука.

— Может, вы и правы, — после короткого раздумья сказала княгиня, а

затем прибавила: — Давно никто не доставлял мне такой радости, как достойный аббат, и своим подарком, и тем, что рассеял мой страх перед святынями крестоносцев.

— Мудрые и справедливые речи он говорил, — сказал Мацько из Богданца. — Были и под Вильно всякие святыни у крестоносцев, уж очень они хотели убедить чужих, что воюют с язычниками. И что же? Увидели наши, что ежели поплевать в кулак да рубануть сплеча секирой, так и шлем и голова пополам. Грех сказать, святыне помогают, но только тем, кто с именем Божиим идет на бой за правое дело. Так вот я и думаю, милостивейшая пани, что случись великая война, то, хоть все немцы станут крестоносцам на помощь, мы разобьем их наголову, потому народ наш велик, да и силы в костях Иисус Христос даровал нам побольше. Что ж до святынь, то разве в Свентокшижском монастыре нет у нас древа Креста Господня?

— Правда, истинная правда, — сказала княгиня. — Но у нас оно хранится в монастыре, а они свое в случае надобности возят с собой.

— Все едино! Нет пределов для Всемогущего.

— Так ли это, скажите? — спросила княгиня, обращаясь к мудрому Миколаю из Длуголяса.

— Любой епископ это подтвердит, — ответил тот. — До Рима тоже далеко, а ведь папа миром правит. Что же говорить о Боге?

Эти слова окончательно успокоили княгиню, и она перевела разговор на Тынец и его красоту. Мазуры дивились не только богатству монастыря, но и богатству и красоте всего края, по которому они сейчас проезжали. Кругом раскинулись большие зажиточные села с густыми садами; они опоясались липовыми рощами; на липах виднелись гнезда аистов, а пониже — борти под соломенными стрешками. По обе стороны большой дороги тянулись нивы. Ветер клонил по временам еще зеленое море хлебов, в котором, как звезды в небе, мелькали светло-синие васильки и красные маки. Далеко за полями темнел кое-где хвойный лес, веселили взор залитые солнечным блеском дубравы и ольшаники, травянистые сырые луга, где над болотцами кружили чибисы; а там снова холмы, облепленные хатами, снова поля; видно, жило тут много народу, любившего трудиться на земле, — и весь край, насколько хватает глаз, казался землею обетованной, обителью спокойствия и счастья.

— Это земли короля Казимира, — сказала княгиня. — Жить бы тут и не умирать.

— И Христос такой земле улыбается, — заметил Миколай из Длуголяса, — и благословение Божие почиет над нею; да и как же может

быть иначе, коли тут, когда ударят в колокола, не найдешь уголка, куда бы не донесся звон! Известно, что злые духи этого не терпят и бегут в глухие боры к самой венгерской границе.

— Вот мне и удивительно, — вмешалась в разговор пани Офка, вдова Кристина из Яжомбкова, — как это Вальгер Прекрасный, о котором рассказывали монахи, может являться в Тынце, где семь раз на дню звонят в колокола.

Миколай на минуту смешался и только после некоторого раздумья сказал:

— Неисповедим промысл Божий, это первое, ну а потом примите во внимание, что Вальгер всякий раз получает на то особое соизволение.

— По мне, все едино, только я все-таки рада, что мы не ночуем в монастыре. Да я бы, верно, умерла со страху, явись мне вдруг из преисподней этот великан.

— Ну, это еще как сказать. Говорят, будто он писанный красавец.

— Да будь он хоть раскрасавец, не хочу я его поцелуя — у него ведь рот серой пышет.

— А откуда вы знаете, что ему тотчас захотелось бы вас поцеловать?

При этих словах княгиня, а за нею пан Миколай и оба рыцаря из Богданца разразились смехом. Их примеру последовала и Дануся, хоть и не знала толком, чему они смеются. Тогда Офка, повернувшись лицом к Миколаю из Длуголяса, в гневе сказала:

— Да уж, по мне, лучше он, чем вы.

— Эй, не выкликайте волка из лесу, — весело ответил мазур, — ведь он, дьявол, часто шатается по большой дороге между Краковом и Тынцем, особенно к ночи; а ну как услышит вас да явится в образе великана!

— Сгинь, сгинь, сатана! — воскликнула Офка.

В эту минуту Мацько из Богданца, который, сидя верхом на рослом коне, видел дальше, чем княгиня и ее спутники, сидевшие в карете, натянул поводья и сказал:

— Господи Боже мой, да что же это такое?

— Что там?

— Из-за холма навстречу нам выезжает какой-то великан.

— Свят, свят, с нами крестная сила! — воскликнула княгиня. — Не болтайте попусту бог весть что!

Но Збышко приподнялся на стремянах и сказал:

— Клянусь всеми святыми, это великан. Не иначе как Вальгер!

При этих словах возница в страхе осадил лошадей и, не выпуская из рук вожжей, начал креститься, так как он уже заметил со своих козел

впереди, на ближайшем холме, гигантскую фигуру всадника.

Княгиня привстала было, но тотчас села, переменившись от испуга в лице; Дануся спрятала голову в складках ее платья. Придворные и песенники, которые ехали верхом за княгиней, услышав злое имя, сбились толпой вокруг ее кареты. Мужчины еще как будто смеялись, хотя в глазах их светилась тревога, но дамы побледнели; только Миколай из Длуголяса, который и на коне бывал, и под конем бывал, по-прежнему хранил безмятежное выражение; желая успокоить княгиню, он сказал:

— Не бойтесь, милостивейшая пани. Ведь солнце еще не село, а хоть бы и ночь уже наступила, святой Птоломей справится с Вальгером.

Тем временем незнакомый всадник, поднявшись на косогор, осадил коня и замер на месте. Он был ясно виден в лучах заходящего солнца и казался действительно великаном. Расстояние между ним и свитой княгини составляло не более трехсот шагов.

— Отчего же он стоит? — спросил один из песенников.

— Оттого, что и мы стоим, — ответил Мацько.

— Он смотрит так, точно хочет кого-нибудь выбрать из нас, — заметил другой песенник. — Знал бы я, что это не злой дух, а человек, подъехал бы да хватил его лютней по голове.

Женщины совсем перепугались и начали громко молиться. Збышко, желая похвастаться перед княгиней и Данусей своею отвагой, сказал:

— А я поеду. Что мне Вальгер!

Дануся закричала со слезами:

— Збышко! Збышко!

Но он тронул коня и погнал его вперед, уверенный, что, даже встретив подлинного Вальгера, пронзит его насквозь копьем. А Мацько, у которого были острые глаза, сказал:

— Он кажется великаном оттого, что стоит на холме. Здоровенный детина, но самый обыкновенный человек, и только. Эва! Поеду и я, а то как бы у Збышка не дошло с ним до ссоры.

Тем временем Збышко, пустив коня во всю рысь, раздумывал, сразу ли наставить копье или подъехать поближе и поглядеть сперва, что же это за человек стоит на холме. Он решил сперва поглядеть и тотчас убедился, что поступил правильно, так как по мере приближения незнакомец на глазах у него становился все меньше и меньше. Высоченный детина, он сидел верхом на коне, еще более рослом, чем жеребец под Збышком, но был не выше человеческого роста. К тому же он был без доспехов, в бархатной шапке колоколом и в белом полотняном плаще, предохраняющем от пыли, из-под которого выглядывал зеленый кафтан. Всадник стоял на холме и,

подняв голову, молился. Видно, и коня он остановил для того, чтобы кончить вечернюю молитву.

«Хорош Вальгер, нечего сказать!» — подумал юноша.

Он подъехал уже так близко, что мог бы достать незнакомца копьем; но тот, увидев рыцаря в великолепных доспехах, благожелательно улыбнулся и сказал:

— Слава Иисусу Христу!

— Во веки веков!

— А что там, под горой, не княгиня ли мазовецкая со свитой?

— Она самая.

— Так это вы едете из Тынца?

Однако ответа не последовало, потому что Збышко в это самое мгновение был так ошеломлен, что даже не расслышал вопроса. С минуту времени он стоял окаменелый, не веря собственным глазам, — в какой-нибудь сотне шагов от незнакомца он увидел десятка полтора всадников с рыцарем во главе, который ехал впереди их, закованный в блестящие латы, в белом суконном плаще с черным крестом и в стальном шлеме с пышным павлиньим чубом на гребне.

— Крестоносец! — прошептал Збышко.

При виде крестоносца Збышко подумал, что это Бог, услышав его молитву, посылает ему в своем милосердии того самого немца, о котором он просил в Тынце, что надо воспользоваться милостью Божией; не колеблясь поэтому ни единой минуты, не успев даже додумать до конца все эти мысли и прийти в себя от изумления, он пригнулся в седле, вытянул на высоте в пол конского уха копье и, издав родовой клич: «Грады! Грады!» — понесся во весь опор на крестоносца.

Тот тоже изумился, придержал коня и, не хватаясь за копье, которое торчало у его ноги, воззрился на всадника, как бы недоумевая, неужели тот и в самом деле хочет напасть на него.

— Наставляй копье! — кричал Збышко, вонзая в бока коню железные концы стремян. — Грады! Грады!

Расстояние между Збышком и крестоносцем стало уменьшаться. Видя, что всадник и впрямь мчится на него, крестоносец вздыбил коня и схватился за оружие; казалось, копье Збышка вот-вот разлетится от удара в грудь рыцаря; но вдруг чья-то рука переломила его, как сухую тростинку, у самой руки Збышка, затем та же рука с такой страшной силой натянула поводья его коня, что тот всеми четырьмя копытами врылся в землю и стал как вкопанный.

— Что ты делаешь, безумец? — раздался густой грозный голос. — Ты

покушаешься на жизнь посла, ты оскорбляешь короля!

Збышко взглянул на незнакомца и узнал в нем того самого великана, которого приняла за Вальгера свита княгини и испугались все ее придворные дамы.

— Пусти меня на немца! Кто ты такой? — воскликнул Збышко, хватаясь за рукоять секиры.

— Убери секиру! Ради всего святого! Убери секиру, говорю тебе, не то я сброшу тебя с коня! — еще более грозно закричал незнакомец. — Ты оскорбил его величество короля и будешь предан суду.

Затем, повернувшись к всадникам, сопровождавшим крестоносца, он крикнул:

— Ко мне!

Но тут подоспел Мацько, лицо которого выражало тревогу и гнев. Он тоже прекрасно понимал, что Збышко совершил безрассудный поступок, который может иметь для него дурные последствия; однако готов был вступить в бой. Неизвестного рыцаря и крестоносца сопровождало не более полутора десятков всадников, вооруженных копьями или самострелами, так что двое рыцарей, закованных в броню, могли сразиться с ними не без надежды на победу. К тому же Мацько подумал, что если уж в будущем им грозит суд, то, может, лучше уйти от него, прорвавшись сквозь кучку всадников, и укрыться потом где-нибудь, пока не пронесет тучу. Лицо у него перекосилось, он стал похож на волка, готового укусить, и, втиснувшись на коне между Збышком и незнакомцем, спросил, хватаясь за меч:

— Кто такой? По какому праву?

— По такому праву, — возразил незнакомец, — что король велел мне следить за безопасностью этих мест, а зовут меня Повала из Тачева.

Взглянув на рыцаря, Мацько и Збышко тут же вложили в ножны свои наполовину вынутые мечи и опустили головы. Не страх их объят, нет, — они склонили головы перед славным и хорошо известным именем Повалы из Тачева, родовитого шляхтича и могущественного вельможи, владевшего обширными землями под Радомом, и в то же время одного из самых славных рыцарей королевства. Певцы воспевали его в песнях как образец отваги и чести, прославляя его имя наравне с именами Завиши из Габрова и Фарурея, Скарбека из Гуры и Добка из Олесицы, Яська Нашана, Миколая из Москожова и Зындрама из Машковиц. К тому же он в эту минуту представлял до некоторой степени особу короля, и напасть на него было равносильно тому, что положить голову на плаху.

Опомнившись, Мацько с почтительностью в голосе сказал:

— Честь и хвала вам, пан рыцарь, вашей отваге и славе.

— Хвала и вам, пан рыцарь, — ответил Повала, — хоть я и предпочитал бы познакомиться с вами не при таких тяжелых обстоятельствах.

— Это почему же тяжелых? — спросил Мацько.

Но Повала обратился к Збышку:

— Что же ты, молодец, натворил? На большой дороге, под боком у короля, учинил нападение на посла! Да знаешь ли ты, что ждет тебя за это?

— Он напал на посла по молодости и по глупости, — возразил Мацько, — больно прыток, думать не любит. Но вы не станете судить его сурово, когда я расскажу вам его дело.

— Не я его буду судить. Мое дело только заковать его...

— Как заковать? — окинув всех мрачным взглядом, спросил Мацько.

— По повелению короля.

После этих слов воцарилось молчание.

— Он шляхтич, — произнес наконец Мацько.

— Тогда пусть поклянется рыцарской честью, что явится на суд.

— Клянусь честью! — воскликнул Збышко.

— Хорошо. Как вас зовут?

Мацько назвал свое имя и герб.

— Если вы из свиты Анны Дануты, то просите ее ходатайствовать за вас перед королем.

— Нет, мы не придворные. Мы едем из Литвы от князя Витовта. И уж лучше бы нам не встречаться ни с каким двором! От этой встречи беда стряслась над хлопцем.

И Мацько стал рассказывать обо всем, что случилось в корчме, — и о том, как они встретились с двором княгини, и о том, как Збышко дал свой обет. Тут старик внезапно так разгневался на племянника, по легкомыслию которого они попали в столь тяжкую беду, что, повернувшись к нему, воскликнул:

— Лучше б тебе под Вильно погибнуть! О чем только ты думал, щенок?

— Да ведь я, — ответил Збышко, — давши обет, помолился Иисусу, чтобы он послал мне немцев, и дары ему пообещал. Ну, как завидел я павлиньи перья да плащ с черным крестом, тотчас голос услышал в душе: «Бей немца, это чудо!» Вот я и бросился на него, — да и кто бы не бросился?

— Послушайте, — прервал Збышка Повала. — Я не желаю вам зла, ибо ясно вижу, что юноша провинился не столько по злобе, сколько по

легкомыслию, свойственному его возрасту. Я бы рад ничего не видеть и ехать дальше, будто вовсе ничего не случилось. Но только сделать это я могу, если комтур пообещает, что не пожалуется королю. Попросите его об этом: может, и ему жаль станет хлопца.

— Лучше под суд идти, чем кланяться крестоносцу! — воскликнул Збышко. — Недостойно это моей шляхетской чести.

Повала из Тычева сурово посмотрел на него и сказал:

— Нехорошо ты поступаешь. Старшие лучше тебя знают, что достойно и что недостойно рыцарской чести. Меня народ тоже знает, и все-таки, скажу тебе, я не постыдился бы за такое дело просить прощения.

Збышко смешался, но, оглядевшись кругом, сказал:

— Земля тут ровная, вот бы только немного утоптать ее. Чем просить у немца прощения, лучше мне сразиться с ним конному или пешему, на смерть или на неволю.

— Глупец! — прервал его Мацько. — Как ты можешь сразиться с послом? Ни тебе с ним, ни ему с таким молокососом драться нельзя. — И он обратился к Повале: — Простите, благородный рыцарь. Мальчишка за войну совсем от рук отбился, и пусть уж он лучше с немцем не разговаривает, а то еще нанесет ему новое оскорбление. Я с ним буду говорить, я его буду просить, а если после окончания посольства комтур захочет вступить на ристалище в единоборство, то и я сражусь с ним.

— Это рыцарь знатного рода и со всяким не станет драться, — возразил Повала.

— Как так? Что же, я не ношу пояса и шпор? Со мною и князь может выйти на поединок.

— Это верно, но вы ему этого не говорите, разве только если он сам об этом заговорит, а то я боюсь, как бы он на вас не разгневался. Ну, да поможет вам Господь Бог.

— Пойду за тебя отдуваться, — сказал Мацько Збышку. — Ну, погоди же ты у меня!

И он подъехал к крестоносцу, который остановился в нескольких шагах от них и, сидя неподвижно, словно чугунный монумент, на своем рослом, как верблюд, коне, с величайшим равнодушием слушал весь разговор. За долгие годы войны Мацько научился кое-как изъясняться по-немецки и стал теперь на родном языке комтура рассказывать ему обо всем происшедшем, ссылаясь на молодость и горячность своего племянника, которому почудилось, будто это сам Бог прислал ему рыцаря с павлиньим чубом; старик наконец попросил крестоносца извинить Збышка.

Лицо комтура даже не дрогнуло. Прямой и неподвижный, он, подняв

голову, с таким равнодушием и вместе с тем презрением смотрел на Мацька стальными глазами, точно перед ним был не рыцарь и даже не человек, а заборный столб. Владелец Богданца заметил это и хотя оставался по-прежнему вежливым, но в душе, видно, стал возмущаться; он говорил все более принужденно, и загорелые щеки его покрылись румянцем. Было видно, что, столкнувшись с такой холодной надменностью, он с трудом сдерживается, чтобы не заскрежетать зубами и не разразиться негодованием. Это не ускользнуло от внимания Повалы, и, будучи человеком доброго сердца, рыцарь решил прийти Мацьку на помощь. В молодости, когда он тоже искал рыцарских приключений при венгерском, австрийском, бургундском и чешском дворах и имя его прославилось по свету, Повала научился немецкому языку и сейчас обратился к Мацьку на этом языке тоном примирительным и вместе с тем шутливым:

— Видите, пан рыцарь, благородный комтур полагает, что все это дело пустое и слов не стоит тратить. Не в одном нашем королевстве, везде отроки безрассудны, но рыцарь, да еще такой, не станет воевать с детьми с мечом в руках или преследовать их по закону.

Лихтенштейн при этих словах встопорщил свои рыжеватые усы и, не проронив ни слова, тронул коня и поехал вперед, минуя Мацька и Збышка.

От слепой ярости у них волос стал дыбом под шлемами и рука рванулась к мечу.

— Погоди же, тевтонский пес, — процедил сквозь зубы старший рыцарь из Богданца, — уж теперь-то я найду тебя, только бы ты перестал быть послом.

Но Повала, который тоже кипел уже гневом, сказал:

— Это потом. А сейчас пусть за вас заступится княгиня, иначе быть беде.

Он поехал за крестоносцем, остановил его, некоторое время они с жаром о чем-то говорили. Мацько и Збышко заметили, что немецкий рыцарь не взирал на Повалу с такой надменностью, как на них, и еще больше разгневались. Через минуту Повала вернулся и, подождав, пока крестоносец отъедет подальше, сказал им:

— Я просил за вас, но это не человек, а камень. Он говорит, что только тогда не станет жаловаться, когда вы сделаете все, чего он пожелает...

— Чего же он желает?

— Он мне сказал: «Я задержусь, чтобы приветствовать княгиню мазовецкую, а они, говорит, пусть подъедут, пусть спешатся, пусть снимут шлемы и, стоя с обнаженными головами, пусть попросят прощения, тогда я и дам им ответ».

Тут Повала бросил быстрый взгляд на Збышка и прибавил:

— Тяжело это шляхтичам... я понимаю, но должен предостеречь тебя, что если ты этого не сделаешь, кто знает, что ждет тебя: быть может, меч палача.

Лица у Мацька и Збышка стали каменные. Снова воцарилось молчание.

— Ну так как же? — спросил Повала.

Со спокойствием и с такой суровостью, точно за одну минуту он стал старше на двадцать лет, Збышко ответил:

— Что ж! Все мы под Богом ходим.

— То есть как?

— Да так, что будь я о двух головах и руби мне палач обе головы — все равно честь у меня одна, и не годится мне позорить ее.

При этих словах Повала посуровел и, обратившись к Мацьку, спросил у него:

— А вы что скажете?

— Я скажу, — мрачно ответил Мацько, — что с малых лет воспитывал хлопча... На нем наш род стоит, потому что я уже стар, но он не может этого сделать, пусть даже ему суждено погибнуть.

При этом суровое лицо Мацька дрогнуло, и сердце его наполнилось внезапно такой любовью к племяннику, что он обнял его своими закованными в броню руками и воскликнул:

— Збышко! Збышко!

Молодой рыцарь даже удивился и, сжав в объятиях дядю, сказал:

— А я и не знал, что вы так меня любите!..

— Я вижу, вы настоящие рыцари, — сказал растроганный Повала, — и раз хлопец поклялся мне честью, что явится на суд, я не стану надевать на него цепи: таким людям, как вы, можно верить. Вы не отчаивайтесь. Немец в Тынце денек погуляет, так что я увижу короля раньше и доложу обо всем этом деле так, чтобы он не очень разгневался. Счастье, что я успел переломить копье, великое счастье!

Но Збышко возразил ему:

— Уж коли не миновать мне платиться головой, то хоть было бы утешение, что я кости поломал крестоносцу.

— Свою честь ты умеешь защищать, а того не можешь понять, что навлек бы позор на весь наш народ! — нетерпеливо возразил Повала.

— Понимать-то я понимаю, — ответил Збышко, — потому-то мне и жаль...

Тогда Повала обратился к Мацьку:

— Знаете, пан рыцарь, коли удастся вашему хлопцу как-нибудь отвертеться от суда, придется вам колпачок ему на голову надеть, как ловчему соколу. Иначе не умереть ему собственной смертью.

— Ему бы и удалось отвертеться, кабы вы, пан рыцарь, пожелали скрыть все от короля.

— А что же мне с немцем делать? Ведь рот-то ему не заткнешь!

— Верно! Верно!..

Ведя такой разговор, они повернули назад к свите княгини. Слуги Повалы, которые раньше ехали с людьми Лихтенштейна, следовали теперь за ними. Издали было видно, как среди мазурских шапок покачиваются на ветру павлиньи перья крестоносца и сверкает на солнце его шлем.

— Удивительный народ эти крестоносцы, — как будто в раздумье сказал рыцарь из Тачева. — Когда крестоносцу круто приходится, он жалостлив, как францисканец, смирен, как ягненок, и сладок, как мед, — лучше его на свете не сыщешь. Но стоит ему только увидеть, что сила на его стороне, никто не станет так пыжиться, как он, и ни у кого ты не встретишь меньше жалости. Видно, Господь не сердце дал им, а камень. Насмотрелся я всякого люда и не раз видел, как щадит слабого настоящий рыцарь, говоря себе: «Не прибудет мне чести от того, что я побью лежачего». А крестоносец тут-то и свирепеет. Держи его за шиворот и не пускай, иначе горе тебе! Вот и этот посол хочет, чтобы вы и прощенья у него попросили, и сраму натерпелись. И я рад, что не бывать этому.

— Не бывать! — воскликнул Збышко.

— Смотрите, как бы он не заметил, что вы удручены, а то обрадуется.

Тут они подъехали к княжеской свите и присоединились к ней. Посол крестоносцев, увидев их, сразу принял надменный и презрительный вид, но они будто и не замечали его. Збышко поехал рядом с Данусей и весело заговорил с нею о том, что с холма уже ясно виден Краков, а Мацько стал рассказывать одному из песенников о необычайной силе пана из Тачева, который, как сухой стебель, переломил в руке Збышка копье.

— Зачем же он его переломил? — спросил песенник.

— Да хлопец напал на крестоносца, но только так, смеха ради.

Песеннику, который был шляхтичем, человеком бывалым, такая шутка показалась не очень благопристойной, но, видя, что Мацько говорит о ней с легкостью, он тоже не придавал ей особого значения. Между тем немцу такое поведение пришлось не по нутру. Он поглядел раз-другой на Збышка, затем перевел взгляд на Мацька и понял наконец, что они и не думают спешиваться и умышленно не обращают на него внимания. Тогда глаза его сверкнули стальным блеском, и он тут же стал прощаться...

Когда он тронул коня, рыцарь из Тачева не удержался и сказал ему на прощанье:

— Поезжайте смело, храбрый рыцарь. Край наш спокойный, и никто на вас не нападет, разве какой-нибудь шутник-мальчишка...

— Хотя и удивительные у вас обычаи, но я не защиты искал у вас, а хотел побыть в вашем обществе, — отрезал Лихтенштейн. — Впрочем, надеюсь, что мы еще встретимся и при здешнем дворе, и в другом месте...

В последних словах прозвучала как будто скрытая угроза, поэтому Повала сурово бросил:

— Даст Бог...

Тут он поклонился, отвернулся и, пожав плечами, сказал вполголоса, но так, чтобы слышали те, кто стоял поближе к нему:

— Мозгляк! Поддел бы тебя копьем да поднял в воздух, чтоб ты ногами поболтал у меня, покуда я «Отче наш» трижды прочту!

И он заговорил с княгиней, с которой был хорошо знаком. Анна Данута спросила, что он здесь делает, он доложил ей, что, по велению короля, ездит по дорогам, чтобы поддержать порядок в округе, где в связи с наплывом гостей, съезжающихся отовсюду в Краков, легко может произойти какая-нибудь стычка. В доказательство этого Повала рассказал о случае, свидетелем которого он оказался. Подумав, однако, что просить княгиню заступиться за Збышка можно попозже, когда в этом будет нужда, и не желая портить общее веселье, он в своем рассказе не придал происшествию большого значения. Княгиня даже посмеялась над Збышком, которому так не терпелось добыть павлиньи чубы, другие же, узнав о том, что пан из Тачева одной рукой переломил копье, дивились его силе.

Рыцарь, будучи человеком немного тщеславным, в душе радовался, что его хвалят, и сам стал рассказывать о своих подвигах, которые прославили его имя, особенно в Бургундии, при дворе Филиппа Смелого. Как-то на турнире, когда у него переломилось копье, он обхватил руками одного арденнского рыцаря, вытащил его из седла и подбросил вверх на высоту копья, хотя арденец весь был закован в броню. Филипп Смелый^[24] подарил ему за это золотую цепь, а королева — бархатный башмачок, который он с той поры носил на шлеме.

Услышав об этом, все пришли в изумление, только Миколай из Длуголяса сказал:

— Обабились мы, нет уж нынче таких богатырей, как в моей молодости или в те времена, о каких рассказывал мой отец. Случится нынче шляхтичу кольчугу разодрать, самострел натянуть без рукояти или

железный тесак пальцами скрутить, и уж он почитает себя богатырем и кичится своею силой. А в старину это девушки делали.

— Оно конечно, ничего не скажешь, в старину народ был покрепче, — ответил Повала, — но и сейчас богатыри найдутся. Мне Господь немалую силу дал в костях, и все-таки я не почитаю себя самым сильным человеком в королевстве. Видали ли вы, ваша милость, когда-нибудь Завишу из Грабова? Этот меня одолел бы.

— Видал. Плечи у него широкие, как тот брус, на котором висит краковский колокол.

— А Добко из Олесницы^[25]? Однажды на турнире, который крестоносцы устроили в Торуне, он положил двенадцать рыцарей, к чести и славе своей и народа нашего.

— Ну, пан Повала, наш мазур Сташек Цёлек^[26] посильнее был и вас, и Завиши, и Добка. Рассказывали, будто, зажав в кулаке свежую ветвь, он выжимал из нее сок.^[27]

— Сок и я выжму! — воскликнул Збышко.

Не успели его попросить об этом, как он подскакал к обочине дороги и, сорвав с дерева большую ветвь, с такой силой сжал ее на глазах у княгини и Дануси, что на дорогу в самом деле стал капать сок.

— Господи! — вскричала тут Офка из Яжомбкова. — Не ходи ты на войну, а то жалко будет, коли такой хлопец да пропадет до женитьбы...

— Да, жалко будет! — помрачнев вдруг, повторил Мацько.

Только Миколай из Длуголяса да княгиня засмеялись. Прочие же во весь голос превозносили силу Збышка, ибо в те времена железный кулак ценился превыше всего. Придворные панны кричали Дануське: «Радуйся!» — и она радовалась, хоть не понимала толком, какая ей может быть корысть от зажатого в кулаке сучка. Совершенно позабыв о крестоносце, Збышко посматривал на всех с таким превосходством, что Миколай из Длуголяса, желая отрезвить его, сказал:

— Зря ты силой своей похваляешься, есть и покрепче тебя. Я не видел, но отец мой был очевидцем куда более замечательного события, которое произошло при дворе императора римского Карла^[28]. Поехал к нему в гости наш король Казимир с большой свитой, и был в этой свите славный силач Сташко Цёлек, сын воеводы Анджея. И стал как-то похваляться император, что есть у него чех, который может облапить и тут же задавить медведя. Наш король очень был озабочен, как бы не пришлось ему уехать с позором. «Мой Цёлек, — сказал он, — не даст себя посрамить». Порешили через три дня устроить единоборство. Понаехало знатных дам и рыцарей, и

через три дня во дворе замка схватились чех с Цёлеком; только не долго они поборолись, потому не успели схватиться, как Цёлек сокрушил чеху хребет, переломал ему ребра и к великой славе короля только мертвым выпустил из рук^[29]. Прозванный с той поры Сокрушителем, он однажды один поднял на колокольню большой колокол, который двадцать горожан не могли сдвинуть с места.

— Сколько же ему было лет? — спросил Збышко.

— Молодой был!

Тем временем Повала из Тачева, который ехал по правую сторону от княгини, наклонился наконец к ней и шепотом сказал ей всю правду про то, какой тяжелый произошел случай, и тут же попросил поддержать его, когда он попытается вступить за Збышка, который может тяжело полатиться за свой поступок. Княгиня, которой полюбился Збышко, услышав эту весть, опечалилась и очень встревожилась.

— Краковский епископ всегда рад меня видеть, — сказал Повала, — может, мне удастся упросить его, да и королеву тоже, однако чем больше будет заступников, тем лучше для хлопца...

— Если только королева за него заступится, волос не упадет с его головы, — сказала Анна Данута, — король весьма чтит ее и за благочестие, и за приданое, особенно ж теперь, когда с нее смыто пятно бесплодия. Да! В Кракове сейчас любимая сестра короля, княгиня Александра, — обратитесь к ней. Я тоже сделаю все, что могу, но она родная сестра королю, а я двоюродная.

— Король и вас любит, милостивейшая пани.

— Ах, не так, — с некоторой грустью возразила княгиня, — мне звеньшко, а ей целая цепочка; мне лиса, а ей соболь. Никого из родных не любит так король, как Александру. Нет того дня, чтоб она ушла от него с пустыми руками...

Беседуя таким образом, они приблизились к Кракову. На большой дороге было оченьлюдно от самого Тынца, теперь же всю ее запрудил народ. Встречались тут шляхтичи в сопровождении слуг — кто в доспехах, а кто в летнем наряде и в соломенной шляпе. Некоторые ехали верхом, другие на повозках с женами и дочерьми, которые хотели посмотреть на давно обещанные ристалища. Кое-где купцы загородили всю дорогу своими телегами; им не позволялось объезжать Краков, дабы город не остался без пошрины. Купцы везли соль, воск, зерно, рыбу, кожи, пеньку, лес. Из города тянулись телеги, груженные сукнами, бочками пива и всякими городскими товарами. Краков был уже хорошо виден: сады короля, вельмож и горожан, опоясавшие кольцом весь город, за ними стены

и башни костелов. Чем ближе, тем оживленнее становилось движение, а у городских ворот в толчее трудно было проехать.

— Вот это город! Верно, другого такого нет на всем свете, — сказал Мацько.

— Вечно тут как на ярмарке, — сказал один из песенников. — Вы давно здесь были?

— Давненько. Вот и дивлюсь, будто в первый раз вижу, потому мы приехали из диких краев.

— Говорят, при короле Ягайле Краков вырос.

Это была правда: со времени вступления на трон великого князя литовского необозримые литовские и русские края были открыты для краковской торговли, население Кракова день ото дня росло, он богател, застраивался и становился одним из крупнейших городов мира...

— У крестоносцев города тоже хороши, — снова сказал толстый песенник.

— Нам бы только туда попасть, — ответил Мацько. — Богатая была бы добыча!

Однако Повала думал совсем о другом, он думал о том, что молодой Збышко, который провинился только по своей безрассудной горячности, идет прямо в пасть волку. Хотя пан из Тачева в дни войны был суров и непреклонен, однако в богатырской груди его билось сердце поистине голубиной кротости, и, лучше всех прочих понимая, что ждет виновного, он проникся к нему состраданием...

— А я все думаю и думаю, — снова обратился он к княгине, — сказать или не сказать обо всем королю. Если крестоносец не пожалуется, то все обойдется, но если он захочет пожаловаться, то, может, лучше сразу все рассказать королю, чтобы он вдруг не разгневался...

— Уж если крестоносец может кого погубить, так непременно погубит, — ответила княгиня. — Я только скажу сперва Збышку, чтобы он присоединился к нашему двору. Может, нашего придворного король покарает не так сурово.

С этими словами она подозвала Збышка, который, узнав, в чем дело, соскочил с коня, упал к ее ногам и с величайшей радостью согласился стать ее придворным не столько ради большей безопасности, сколько ради того, чтобы остаться поближе к Данусе.

Тем временем Повала спросил у Мацька:

— Где вы думаете остановиться?

— На постоялом дворе.

— На постоялых дворах уже давно нет ни одного места.

— Тогда мы заедем к знакомому купцу Амылею, может, он пустит нас на ночлег...

— А я вам вот что скажу: поедemте ко мне. Ваш племянник мог бы остановиться с придворными в замке, но лучше уж ему не попадаться под руку королю. Что сделаешь во гневу, того не сделаешь поостывши. Вы, верно, станете делить свое добро, повозки и слуг, а для этого надобно время. Знаете, вам у меня будет хорошо и безопасно.

Мацька несколько встревожило то, что Повала так печется об их безопасности, тем не менее он от всей души поблагодарил рыцаря, и они въехали в город. При виде чудес, которые открылись их взору, они со Збышком на минуту снова забыли о своих заботах. В Литве и на границе они видали только кое-где замки, а из крупных городов — Вильно. Плохо построенный город этот был предан огню и обращен в груды развалин, погребенных под пеплом; здесь же каменные купеческие дома были подчас великолепнее тамошнего великокняжеского замка. Встречалось, правда, много деревянных домов, но и они поражали высотой стен и кровель с окнами из стеклянных шариков, оправленных в свинец, которые так отражали сияние заходящего солнца, что можно было подумать, будто в доме пожар. Однако на улицах, что поближе к рынку, дома чуть не сплошь были из красного кирпича или камня, высокие, с балконами и черными крестами на стенах. Они стояли рядами, как солдаты в строю, одни длинные, другие поуже, всего на девять локтей, но все высокие, со сводчатыми сенями, часто с распятием или с иконой Божьей Матери над воротами. Были улицы, где виднелись два ряда домов, над ними — полоса неба, внизу — дорога, сплошь вымощенная камнем, а по обе стороны, насколько хватает глаз, — склады, склады, богатые, полные самых лучших, порой удивительных, а то и вовсе незнакомых товаров, на которые Мацько, привыкший на непрерывной войне захватывать добычу, смотрел жадными глазами. Однако еще больше поражали Мацька и Збышка общественные здания: костел Девы Марии на рынке, Сукенницы^[30], ратуша с огромным погребом, где продавалось свидницкое пиво, снова костелы, снова склады сукон, огромный мерцаториум^[31], предназначенный для иноземных купцов, здание, в котором хранились городские весы, цирюльни, бани, медеплавильни, воскотопни, золотоплавильни, сереброплавильни, пивоварни, целые горы бочек около так называемого Шротамта — словом, изобилие и богатство, какие и не снились человеку, непривычному к городу, даже если он был владельцем небольшого «городка».

Повала привел Мацька и Збышка в свой дом на улице Святой Анны,

велел отвести им просторную комнату, поручил их попечению своих слуг, а сам отправился в замок, откуда вернулся к ужину уже довольно поздно. С ним пришли приятели, все сели за веселый пир, ели мясо до отвала, вино лилось рекой, один хозяин был что-то невесел. Когда гости разошлись наконец по домам, он сказал Мацьку:

— Говорил я с одним каноником, грамотей он и законник, сказал мне он, что за оскорбление посла грозит смертная казнь. Так что молитесь Бога, чтобы крестоносец не пожаловался...

Хоть оба рыцаря и хватили лишнего на пиру, однако, услышав про это, спать пошли невеселые. Мацько вовсе не мог уснуть и спустя некоторое время окликнул племянника:

— Збышко!

— Что?

— Пораздумал я обо всем и решил, что тебе отрубят голову.

— Вы думаете? — сонным голосом спросил Збышко.

И, повернувшись к стене, заснул сладким сном, утомившись с дороги...

На другой день оба рыцаря из Богданца пошли с Повалой в кафедральный собор^[32] к ранней обедне Богу помолиться и поглазеть на двор и гостей, собиравшихся в замке. По дороге Повала встретил множество знакомых, в том числе немало рыцарей, славных и в родном краю, и за границей; молодой Збышко смотрел на них с восторгом, в душе давая клятву сравняться с ними в храбрости и прочих доблестях, если только дело с Лихтенштейном благополучно кончится для него. Один из этих рыцарей, Топорчик, родственник краковского каштеляна, сообщил им новость о возвращении из Рима схоласта Войцеха Ястжембца, который ездил к папе Бонифацию IX с письмом от короля, пригласившего святого отца в Краков на крестины. Бонифаций принял приглашение, но, не будучи уверен в том, что сможет прибыть лично, уполномочил посла от своего имени быть восприемником младенца, который должен был появиться на свет, и вместе с тем, в доказательство своей особой любви к королевской чете, просил наречь его Бонифацием или Бонифацией.

Говорили также о скором прибытии венгерского короля Сигизмунда, который непременно должен был явиться на торжества. Он всегда приезжал, званый и незваный, в гости, на пиры и ристалища; страстный охотник до них, Сигизмунд всегда выступал в состязаниях, желая прославиться не только как король, но и как певец и один из первых рыцарей. Повала, Завиша из Гарбова, Добко из Олесницы, Нашан и другие столь же славные мужи с улыбкой вспоминали о том, как в последний приезд Сигизмунда король Владислав тайно просил их не очень теснить его на турнире, щадить «венгерского гостя», которого весь свет знал как человека столь суетного, что от неудачи у него на глазах выступали слезы. Но больше всего внимание рыцарей привлекли дела Витовта. Рассказывали чудеса о роскошной колыбели, отлитой из чистого серебра, которую литовские князья и бояре привезли в дар королеве от Витовта и супруги его Анны^[33]. Как всегда перед службой, народ разбился на кучки и толковал о новостях. Услыхав про колыбель, Мацько в одной из таких кучек стал расписывать этот драгоценный дар, но его засыпали вопросами о великом походе на татар, который замыслил Витовт, и Мацьку пришлось рассказать об этом новом замысле князя. Поход был уже почти готов, многочисленное войско двинулось на Русь; если бы он кончился победой, владычество короля Ягайла распространилось бы чуть не на полмира, до неведомых

азиатских пустынь, до границ Персии и берегов Арала. Мацько, который до этого был одним из приближенных Витовта и мог знать его замыслы, умел о них рассказывать так подробно и даже красноречиво, что, прежде чем зазвонили к обедне, вокруг него у ступеней собора собралась толпа любопытных. Речь идет, говорил он, просто о крестовом походе. Хотя Витовт именуется великим князем, однако он правит Литвой по уполномочию Ягайла, он лишь наместник, значит, крестовый поход будет заслугой короля. Сколь же велика будет слава новоокрещенной Литвы и могущественной Польши, когда объединенные войска понесут крест в такие края, где если и поминают имя Спасителя, то лишь для того, чтобы изрыгать хулу, и где не ступала еще нога поляка и литвина! Когда польские и литовские войска снова посадят на трон кипчаков^[34] изгнанника Тохтамыша, он объявит себя «сыном» короля Владислава и, как обещал, вместе со всей Золотой Ордой поклонится кресту.

Мацька слушали с напряженным вниманием, но многие не знали толком, о чем идет речь, кому Витовт собирается помогать, с кем воевать, поэтому некоторые стали спрашивать:

— Да скажите же толком, с кем война?

— С кем? С Тимуром Хромым, — ответил Мацько.

На минуту воцарилось молчание. До слуха западных рыцарей часто доходили названия Золотой, Синей, Азовской и прочих орд, но про татарские дела и междоусобные войны они мало что знали. Зато по всей тогдашней Европе не нашлось бы человека, который не слышал бы о грозном Тимуре Хромом, или Тамерлане, чье имя повторяли с не меньшим страхом, чем некогда имя Аттилы. Ведь это был «властитель мира» и «властитель времен», повелитель двадцати семи завоеванных царств, владетель Московской Руси, владетель Сибири и Китая до самой Индии, Багдада, Исфахана, Алеппо, Дамаска, тень которого через аравийские пески падала на Египет, а через Босфор — на Греческое царство, губитель рода человеческого, чудовищный создатель пирамид из человеческих черепов, победитель во всех битвах, неодолимый «властелин душ и тел».

Это он посадил Тохтамыша на трон Золотой и Синей Орды^[35] и признал его своим «сыном». Но, когда владычество «сына» простерлось от Арала до Крыма и земель у него стало больше, чем их было во всей остальной Европе, он захотел стать независимым владетелем, за что грозный «отец» «одним пальцем» сверг его с трона, и тот, взывая о помощи, бежал к литовскому правителю. Именно его и вознамерился Витовт вновь вернуть на трон, но для этого надо было сперва сразиться с

властелином мира Хромцом.

Вот почему имя Хромца произвело сильное впечатление на слушателей, и после минутного молчания один из старейших рыцарей, Войцех из Яглова, сказал:

— Драться с таким врагом дело нешуточное.

— Только вот за что драться? — живо возразил Миколай из Длуголяса. — Что нам из того, будет там, за морями, за долами, править сынами Велиала Тохтамыш или какой-нибудь Кутлук?

— Тохтамыш принял бы христианскую веру, — сказал Мацько.

— То ли принял бы, то ли нет. Разве можно верить собакам, которые не признают Христа?

— Но должно голову сложить во имя Христа, — возразил Повала.

— И во имя рыцарской чести, — прибавил Топорчик, родственник каштеляна. — Найдутся ведь среди нас такие, которые пойдут. У пана Спытка из Мельштына молодая любимая жена, а он уже отправился к Витовту.

— И неудивительно, — вставил Ясько из Нашана. — Пусть на душе у тебя смертный грех, за такую войну наверняка получишь и отпущение грехов, и спасение.

— И вечную славу, — снова подхватил Повала из Тачева. — Коль воевать, так воевать, а что враг силен, так оно и лучше. Тимур покорил весь мир, подчинил себе двадцать семь царств. Честь и хвала была бы нашему народу, если бы мы стерли его с лица земли.

— Отчего ж не стереть? — воскликнул Топорчик. — Да покори он хоть сотню царств, нам все едино; пусть другие его боятся, а мы не станем! Это вы верно говорите! Бросить только клич да собрать тысяч десять добрых копейщиков — и мы весь мир пройдем!

— Да и какому еще народу покорить Хромца, как не нашему?

Так толковали рыцари, а Збышко просто диву давался, как это ему раньше не захотелось двинуться с Витовтом в дикие степи... Будучи в Вильно, он хотел посмотреть на Краков и двор, принять участие в рыцарских ристалищах, а теперь подумал, что здесь его ждут, быть может, бесчестье и суд, а там он в худшем случае умрет смертью храбрых...

Однако столетний Войцех из Яглова, с трясущейся от старости головой, но умудренный годами, словно ушат холодной воды вылил на рыцарей.

— Глупцы вы, — сказал он. — Да разве никто из вас не знает, что королева слышала глас самого Христа, ну а коли Сам Спаситель снизошел к ней, то почему же Духу Святому, лишь третьей ипостаси Святой Троицы,

быть к ней менее милостиву? Потому-то она провидит будущее так, будто все перед ней совершается, и вот она говорила...

Оборвав эту свою речь, он потряс головой и сказал, помолчав:

— Позабыл я, что она говорила, погодите, дайте-ка вспомнить.

Он стал припоминать, а рыцари сосредоточенно ждали, ибо все думали, что королева — провидица.

— Ах да! — сказал он наконец. — Вспомнил! Королева говорила, что, если бы все здешние рыцари пошли с князем Витовтом на Хромца, мы сокрушили бы язычество. Однако нам нельзя этого сделать из-за козней христианских владык. Надо стеречь границы и от чехов, и от венгров, и от ордена, никому нельзя доверять. А коли с Витовтом уйдет лишь горсточка поляков, их одолеет Тимур Хромой или его воеводы, которые ведут за собой тьму тем татар...

— Ведь сейчас у нас мир, — сказал Топорчик, — и, сдается, сам орден помогает Витовту. Даже крестоносцы не могут поступить иначе, они хоть для виду должны показать святому отцу, что готовы сражаться с язычниками. При дворе поговаривают, будто Куно Лихтенштейн приехал сюда не только на крестины, но и для переговоров с королем...

— Вот и он! — воскликнул в удивлении Мацько.

— И впрямь он! — сказал, оглянувшись, Повала. — Ей-ей, он самый! Недолго же погостил у аббата, должно быть, на рассвете уж уехал из Тынца.

— Приспичило! — угрюмо сказал Мацько.

В это время Куно Лихтенштейн прошел мимо них. Мацько узнал его по кресту, нашитому на плаще, но крестоносец не узнал ни его, ни Збышка, потому что видел их раньше в шлемах, а из-под шлема, даже при поднятом забрале, видна только нижняя часть лица. Проходя мимо рыцарей, Лихтенштейн кивнул головой Повале из Тачева и Топорчику и стал медленно и величественно подниматься с оруженосцами по ступеням собора.

Тут зазвонили колокола, всполошив стаи галок и голубей, гнездившихся на башнях, и возвестив вместе с тем, что скоро начнется обедня. Несколько встревоженные скорым возвращением Лихтенштейна, Мацько и Збышко вошли вместе с прочим народом в костел. Надо сказать, что больше тревожился старший рыцарь, внимание младшего было всецело поглощено двором. Отродясь не видывал Збышко ничего такого, что могло бы сравниться пышностью с этим костелом и с этим собранием. С двух сторон его окружали знаменитейшие мужи королевства, прославившиеся в совете или в бою. Многие из тех, кто устроил предусмотрительно брак

великого князя Литвы с прекрасной и юной королевой Польши, уже умерли, но некоторые были еще живы, и народ взирал на них с необыкновенной почтительностью. Молодой рыцарь не мог налюбоваться осанкой краковского каштеляна Яська из Тенчина, у которого суровость сочеталась с величием и благородством; с восхищением смотрел он на умные и исполненные достоинства лица других советников и на здоровые лица рыцарей, у которых волосы, ровно подстриженные над бровями, длинными кудрями ниспадали на плечи. Иные носили на головах сетки, иные поддерживали волосы только повязками. Иноземные гости, послы римского императора, Чехии, Венгрии и Австрии и лица, сопровождавшие их, поражали необыкновенной изысканностью одежд; князья и бояре литовские, невзирая на летний зной, надели пышности ради шубы, подбитые дорогими мехами; князья русские в негнущихся широких одеждах на фоне церковных стен и позолоты напоминали иконы византийского письма. Но с самым живым любопытством Збышко ждал выхода короля и королевы; он старался протиснуться вперед, к седалищам ксендзов, перед которыми у алтаря виднелись две подушки красного бархата, — король и королева всегда слушали обедню коленопреклоненными. Ждать пришлось недолго: король вышел первым из дверей сакристии^[36], и, пока он дошел до алтаря, Збышко успел хорошо его рассмотреть. Черные, длинные и спутанные волосы короля со лба уже начинали редеть, с боков они были откинута за уши, смуглое лицо было гладко выбрито, нос с горбинкой, острый, у рта пролегли складки, а черные, маленькие, блестящие глазки бегали по сторонам так, словно король, прежде чем дойти до алтаря, хотел пересчитать всех молящихся в храме. Лицо у короля было добродушное, но вместе с тем настороженное, как у человека, который, будучи вознесен судьбою сверх ожидания, должен все время думать о том, отвечают ли его поступки королевскому сану, и опасаться злоречия. Поэтому в лице его и движениях сквозило легкое нетерпение. Нетрудно было догадаться, что в гневе он неукротим и страшен и что всегда остается тем самым князем, который в свое время, когда крестоносцы своими происками вывели его из терпения, крикнул их посланцам: «Вы ко мне с пергаментом, а вот я вас копьем!»

Но сейчас эта природная горячность характера умерялась глубокой и искренней набожностью. В костеле король служил примером благочестия не только для вновь обращенных князей литовских, но и для польских вельмож, издавна славившихся своей набожностью. Часто, отбросив подушку, король для вящего умерщвления плоти стоял, преклонив колена, на голых камнях; воздев руки, он не опускал их до тех пор, пока от

усталости они сами не падали вниз. Он отслушивал на дню не менее трех обеден, причем слушал их с жадностью. Открытие чаши и звон колокольчика во время великого выхода всегда наполняли его душу восторгом и упоением, блаженством и трепетом. После окончания обедни он выходил из костела, словно очнувшись ото сна, умиротворенный и кроткий, и придворные уже давно знали, что в это время легче всего сыскать у него милость или испросить дары.

За королем из сакристии вышла Ядвига. Обедня еще не начиналась, но рыцари, стоявшие впереди, увидев королеву, тотчас преклонили колена, невольно воздавая ей честь как святой. Збышко сделал то же самое, ибо во всей толпе молящихся никто не сомневался в том, что видит святую, иконы которой со временем будут украшать церковные алтари. Ядвига вела жизнь столь суровую и подвижническую, особенно в последние годы, что, помимо почестей, воздаваемых ей как королеве, ее стали чтить как святую. В народе и среди знати из уст в уста передавались легенды о чудесах, творимых королевой. Говорили, будто прикосновением руки она исцеляет болящих, будто люди, не владеющие членами, начинают ходить, облачившись в старые одежды королевы. Заслуживающие доверия свидетели утверждали, будто собственными ушами слышали, как однажды Христос вещал ей с престола. Перед нею преклоняли колена иноземные монархи, ее почитал и опасался оскорбить даже гордый орден крестоносцев. Папа Бонифаций IX называл ее благочестивой дочерью и избранницей Церкви. Мир взирал на ее дела и помнил, что, происходя из Анжуйского дома и польских Пястов, будучи дочерью могущественного Людовика, воспитанной при самом блистательном дворе, и, наконец, прекраснейшей девой на земле, она отреклась от счастья, отреклась от первой девической любви и, будучи королевой, вступила в брак с «диким» князем Литвы, дабы вместе с ним склонить к подножию Креста Господня последний языческий народ в Европе. То, что не могли свершить ни немцы, ни могущество ордена, ни крестовые походы, ни море пролитой крови, свершило одно ее слово. Никогда апостольский венец не осенял столь юного и прекрасного чела, никогда апостольство не сочеталось с таким самоотречением, никогда женская красота не озарялась такой ангельской добротой и такой тихой печалью.

Менестрели воспевали ее при всех дворцах Европы; в Краков съезжались рыцари из самых отдаленных стран, чтобы увидеть польскую королеву; как зеницу ока берег ее и любил собственный народ, чье могущество и славу она приумножила брачным союзом с Ягайлом. Одна лишь великая печаль омрачала ее и народ: долгие годы Бог не давал своей

избраннице потомства.

Но когда наконец миновало и это несчастье, радостная весть о ниспосланном благословении с быстротой молнии разнеслась от Балтийского до Черного моря и до Карпат и наполнила весельем сердца всех народов великой державы. Даже при иноземных дворах везде, кроме столицы крестоносцев, весть об этом приняли с радостью. В Риме пели «Te Deum». В землях польских народ окончательно утвердился в мысли, что стоит «Святой Владычице» о чем-нибудь попросить Бога — и молитва ее непременно будет услышана.

Люди приходили к ней просить помолиться за их здоровье, посланцы земель и уездов приходили к ней просить помолиться то о ниспослании дождя, то хорошей погоды во время жатвы, то удачного покоса, то хорошего сбора меда, то изобилия рыбы в озерах и дичи в лесах. Грозные рыцари из пограничных замков и городков, которые, по обычаю, перенятому от немцев, занимались разбоем или междоусобной войной, при одном ее слове вкладывали в ножны мечи, отпускали без выкупа пленников, возвращали угнанные стада и протягивали друг другу руку в знак мира. Все убогие, все нищие толпились у ворот краковского замка. Чистая душа ее проникала в тайники человеческих сердец, смягчала участь невольников, гордость вельмож, суровость судей и возносила над всей страной, как провозвестница счастья, как ангел справедливости и мира.

Все с сердечным трепетом ждали благословенного дня.

Рыцари внимательно посматривали на стан королевы, чтобы заключить, долго ли еще остается им ждать будущего наследника или наследницу престола. Архиепископ краковский Выш, который был в то же время самым опытным в стране лекарем, прославившимся и за границей, не обещал еще скорого разрешения от бремени, и если уже делались приготовления к празднествам, то лишь потому, что, по обычаям тех времен, празднества начинались загодя и тянулись целыми неделями. Хотя стан королевы несколько округлился, однако все еще сохранял прежнюю стройность. Одежды она носила крайне простые. Воспитанная когда-то при пышном дворе, самая красивая из всех тогдашних княжон и принцесс, она любила дорогие материи, ожерелья, жемчуга, золотые браслеты и перстни, но теперь вот уже несколько лет не только носила монашеские одежды, но и закрывала лицо, дабы от вида собственной красоты не обуяла ее мирская гордыня. Тщетно Ягайло, с восторгом узнав о том, что королева тяжела, просил ее украсить ложе парчою, вишнею, камнями. Она ответила, что, давно отрекшись от пышности и памятуя, что час разрешения часто бывает смертным часом, не среди драгоценных камней, но в тихом смирении

должна принять милость, ниспосылаемую ей Богом.

Золото и драгоценности шли тем временем на Академию^[37] или на посылку новоокрещенных литовских юношей в иноземные университеты.

С той поры как надежда на материнство обратилась в уверенность, королева лишь в одном согласилась изменить свой монашеский облик — она перестала закрывать лицо, справедливо полагая, что отныне не приличествуют ей покаянные одежды...

Взоры всех с любовью устремились теперь на прекрасное лицо, которому не нужны были для украшения золото и самоцветы. Подняв очи горе, держа в одной руке молитвенник, а в другой четки, королева медленно шла от дверей сакристии к алтарю. Збышко увидел лилейный ее лик, лазоревые очи, поистине ангельские черты, исполненные спокойствия, доброты и милосердия, и сердце молотом забило у него в груди. Он знал, что, по велению Божию, должен любить своего короля и свою королеву, и любил их по-своему, но сейчас он внезапно вспылал к ним той великой любовью, которая загорается в сердце, не повинаясь велению, но вспыхивает сама, как пламя, сочетаясь с величайшим преклонением, и смирением, и жаждою жертвы. Збышко был молод и горяч, и сейчас его охватила жажда доказать королю и королеве всю свою рыцарскую любовь и преданность, совершить подвиг ради этой любви, куда-то помчаться, кого-то изрубить, что-то захватить и при этом самому сложить голову. «Не пойти ли мне с князем Витовтом, — говорил он сам с собою, — как еще я могу послужить Святой Владычице, раз поблизости нигде нет войны?» Ему даже в голову не пришло, что служить можно не только мечом, рогатиной или секирой, и он готов был один ударить на всю рать Тимура Хромого. Ему хотелось тотчас после обедни вскочить на коня и на что-то решиться. На что? Этого он сам не знал. Он знал только, что сгорает от нетерпения, что не может сидеть сложа руки, что вся душа его горит...

Он снова совсем позабыл о грозившей ему опасности. На мгновение он позабыл даже о Данусе, а когда в костеле запели вдруг детские голоса и он вспомнил о ней, то почувствовал, что с нею — это «совсем особая статья». Данусе он дал обет верности, дал обет убить трех немцев — и свершит этот обет, но королева выше всех женщин, и когда он подумал о том, сколько немцев он желал бы убить для королевы, то увидел горы панцирей, шлемов, страусовых и павлиньих перьев, но и этого ему показалось мало...

Он не спускал глаз с королевы, раздумывая с одушевленным сердцем о том, какой молитвой почтить ее, ибо полагал, что за королеву как-нибудь молиться нельзя. Он умел прочесть: «Pater noster, qui es in coelis,

sanctificetur nomen tuum»^[38]. Этому научил его один францисканец в Вильно, но то ли сам монах не знал больше, то ли Збышко позабыл остальную часть молитвы, только прочесть «Отче наш» до конца он не мог. Однако сейчас он стал без конца повторять эти несколько слов, которые в его душе значили: «Поддай возлюбленной нашей Владычице здравие, житие и благоденствие и пекись о Ней более, нежели обо всем прочем». Поскольку слова молитвы повторял человек, над собственной головой которого нависла угроза суда и кары, ясно, что во всем костеле никто не молился более искренне...

Когда кончилась обедня, Збышко подумал, что если бы ему позволили предстать пред очи королевы, пасть пред нею ниц и обнять ее колена, то пусть бы уж после этого наступил конец света; но после первой обедни началась вторая, за нею третья, а затем королева удалилась в свои покои, так как она обыкновенно постилась до полудня и намеренно не принимала участия в веселых завтраках, во время которых для потехи короля и гостей выступали шуты и скоморохи. Вместо королевы Збышко увидел старого рыцаря из Длуголяса, который позвал его к княгине.

— За завтраком ты будешь прислуживать мне и Данусе как мой придворный, — сказала княгиня, — вдруг королю понравится твое острое словцо или какая-нибудь шутка, и ты привлечешь его сердце. А если тебя узнает крестоносец, то, может, не станет жаловаться, увидев, что ты прислуживаешь мне за королевским столом.

Збышко поцеловал княгине руку, а затем повернулся к Данусе; тут он, хоть и более привык к войнам и сражениям, нежели к придворным обычаям, вспомнил, видно, как надлежит себя вести рыцарю, когда утром он встречает свою госпожу: отступив на шаг, он изобразил на своем лице изумление и, крестясь, воскликнул:

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!..

Подняв на него голубые глазки, Дануса спросила:

— Что это ты, Збышко, крестишься, ведь обедня уж кончилась?

— О прекрасная панна, как же ты за эту ночь похорошела! Это просто чудо!

Но Миколай из Длуголяса, человек старый, не любивший новых иноземных рыцарских обычаев, пожал плечами и сказал:

— Что ты попусту время теряешь, болтаешь тут ей о красоте! Коротышка, от земли не видно!

Збышко в негодовании воззрился на старика.

— Берегитесь называть ее коротышкой, — сказал он, бледнея от гнева, — и знайте, что, будь вы помоложе, я тотчас приказал бы утоптать

землю за замком и сразился бы с вами насмерть!..

— Молчи, щенок!.. Я и сегодня справился бы с тобой!

— Молчи! — повторила княгиня. — Нет чтоб подумать о собственной голове, он еще в драку рвется! Лучше было мне поискать Данусе рыцаря порассудительней. Вот что я тебе скажу: хочешь смутянить, ступай на все четыре стороны, нам здесь такие не нужны...

Збышку стало стыдно, и он начал просить у княгини прощения. Но при этом он подумал, что если только у пана Миколая из Длуголяса есть взрослый сын, то когда-нибудь он уж вызовет его на поединок, пешего ли, конного ли, и отомстит за коротышку. А пока Збышко решил держаться в королевских покоях тише воды ниже травы и никого на поединок не вызывать, разве только если этого потребует рыцарская честь...

Звуки труб известили, что завтрак подан, и княгиня Анна, взяв за руку Данусю, направилась в королевские покои, перед которыми в ожидании ее стояли вельможи и рыцари. Княгиня Александра вошла уже первая — как родная сестра короля, она занимала за столом место выше. Вскоре покои наполнились иноземными гостями и приглашенными к завтраку вельможами и рыцарями. Король сидел на верхнем конце, рядом с ним — епископ краковский и Войцех Ястжембец, который как папский посол занимал место по правую руку от короля, хотя саном был ниже епископа. Две княгини заняли следующие места. За Анной Данутой удобно расположился в широком кресле бывший гнезненский архиепископ Ян, князь из рода силезских Пястов, сын Болька III, князя опольского. Збышко слышал о нем при дворе Витовта и сейчас, стоя позади княгини и Дануси, тотчас признал князя по густой и кудлатой гриве, которая напоминала церковное кропило. При дворах польских князей его так и называли Кропилом, и даже крестоносцы прозвали его «Грапидлом». Это был человек, известный своим веселым и легким нравом. Получив против воли короля гнезненскую архиепископию, он хотел занять ее с оружием в руках; лишенный за это сана и изгнанный, связался с крестоносцами, которые дали ему на Поморье бедную каменскую епископию. Только тогда поняв, что с могущественным королем лучше жить в мире, он вымолил у него прощение, вернулся на родину и стал ждать, пока освободится какая-нибудь епархия, в надежде получить ее у милостивого короля. Надежды его впоследствии оправдались, а пока он старался шутками привлечь к себе сердце короля. Однако к крестоносцам он по-прежнему питал расположение. Даже сейчас, при дворе Ягайла, где ни вельможи, ни рыцари не проявляли к нему особой благосклонности, он искал общества Лихтенштейна и старался сесть за стол рядом с ним.

Так было и на этот раз. Став за креслом княгини, Збышко очутился так близко от крестоносца, что мог бы достать до него рукой. Молодой рыцарь сразу почувствовал, что у него руки чешутся и невольно сжимаются кулаки, однако укротил свой порыв и не позволил себе даже подумать что-нибудь неподобающее. Однако время от времени он с вождением поглядывал на белобрысую голову Лихтенштейна, начинавшую лысеть на макушке, на его шею, плечи и спину, как бы стараясь прикинуть, долго ли придется провожаться с ним в бою или в единоборстве. Збышко подумалось, что не очень долго, — хотя под узким кафтаном из тонкого серого сукна у крестоносца выдавались могучие лопатки, все же он был жидок по сравнению с Повалой, Пашком Злодзеем из Бискупиц, обоими славными Сулимчиками, Кшоном из Козихглов и многими другими рыцарями, сидевшими за королевским столом.

С восторгом и завистью глядел на них Збышко, но главное его внимание привлек все же сам король. Посматривая по сторонам и то и дело закидывая пальцами волосы за уши, он как будто гневался, что завтрак все еще не подан. На мгновение взгляд его задержался на Збышке, страх объял тут молодого рыцаря, ужасная тревога овладела им при одной мысли о том, что ему, наверно, придется предстать пред гневным лицом короля. Впервые он не на шутку задумался о том, что не миновать ему ответа за свой проступок, — до этой поры самая мысль о каре, которую он может понести, казалась ему далекой, смутной и потому не стоящей внимания.

Немец и не догадывался, что рыцарь, который дерзко напал на него на большой дороге, находится так близко от него. Начался завтрак. Подали винную похлебку, так крепко приправленную яйцами, корицей, гвоздикой, имбирем и шафраном, что дух пошел по всей комнате. Шут Цярушек, сидевший на табурете у двери, тотчас стал подражать пению соловья, что, видно, веселило короля. Со слугами, обносившими гостей, обходил стол другой шут; незаметно останавливаясь, он так искусно подражал жужжанию пчелы, что некоторые гости клали ложки и начинали отмахиваться. При виде этого остальные заливались смехом. Збышко усердно прислуживал княгине и Данусе, но когда и Лихтенштейн стал похлопывать себя по лысеющей макушке, он снова позабыл про опасность и тоже смеялся до слез, а князь литовский Ямонт, сын смоленского наместника^[39], стоявший неподалеку от него, с таким усердием вторил ему, что даже ронял кушанья с блюд.

Крестоносец заметил наконец свою ошибку, повернулся к епископу Кропилу и, сунув руку в калиту, сказал несколько слов по-немецки, которые епископ тут же повторил по-польски.

— Вот что говорит тебе благородный рыцарь, — обратился он к шуту, — получишь два скойца, только не жужжи так близко, а то пчел отгоняют, а трутней бьют...

Шут спрятал два скойца, которые дал ему крестоносец, и, пользуясь свободой, предоставленной шутам при всех дворах, проговорил:

— Много меду в земле добжинской, потому и обсели ее трутни. Бей же их, король Владислав!

— Вот тебе и от меня грош за острое слово, — сказал ему Кропило, — только помни, что, коли кресло оборвется, бортник себе шею свернет. Есть жала у мальборкских трутней, которые обсели Добжин, и опасно соваться к ним в борть.

— Эва! — воскликнул краковский мечник, Зындрам из Машковиц. — Можно выкурить их!

— Чем?

— Порохом!

— Или срубить борть топором! — сказал великан Пашко Злодзей из Бискупиц.

У Збышка взыграло сердце от радости, ибо он полагал, что такие речи сулят войну. Но Куно Лихтенштейн тоже понимал эти речи, — живя долго в Торуне и Хмелю, он научился польскому языку и не говорил по-польски только из гордости. Однако сейчас, уязвленный словами Зындрама из Машковиц, он устремил на него свои серые глаза и бросил:

— Увидим.

— Наши отцы под Пловцами видали, да и мы видали под Вильно, — ответил ему Зындрам.

— Рах vobiscum! — воскликнул Кропило. — Рах! Рах!^[40] Пусть только преосвященный Миколай из Курова покинет куявскую епископию, а милостивый король назначит меня его преемником, я произнесу вам такую прекрасную проповедь о любви между христианскими народами, что всех вас укрошу. Ибо что такое ненависть, как не ignis, к тому же ignis infernalis^[41] — огонь столь страшный, что водой его не унять, разве только вином можно залить. Дайте вина! Пей, гуляй, как говаривал покойный епископ Завиша из Курозвенк!

— А с гулянки в ад ступай, как говаривал черт! — прибавил шут Цярушек.

— Пускай черт тебя утащит!

— Любопытней будет, коли вас. Не видали еще черта с Кропилом, но я думаю, что вы всех нас потешите...

— Сперва я еще тебя покроплю. Дайте вина, и да здравствует любовь между христианами!

— Между истинными христианами! — с ударением повторил Куно Лихтенштейн.

— Как? — поднимая голову, воскликнул епископ краковский Выш. — Разве вы не обретаетесь в издревле христианском королевстве? Разве храмы наши не древней мальборкских?

— Не знаю, — ответил крестоносец.

Король был особенно щепетилен, когда дело касалось христианства. Ему показалось, что этот крестоносец хочет уколоть его самого; выдавшиеся скулы тотчас покрылись у него красными пятнами, и глаза засверкали.

— Что сие означает? — раздался его густой голос. — Разве я не христианский король?

— Королевство почитается христианским, — холодно возразил крестоносец, — но обычаи в нем языческие...

При этих словах поднялись грозные рыцари: Марцин из Вроцимовиц герба Пулкова, Флориан из Корытницы, Бартош из Водзинка, Домарат из Кобылян, Повала из Тычева, Пашко Злодзей из Бискупниц, Зындрам из Машковиц, Якса из Тарговиска, Кшон из Козихглов, Зигмунт из Бобровой и Сташко из Харбимовиц, могучие, славные победители во многих битвах, на многих турнирах, и, то пылая от гнева, то бледнея, то скрежеща зубами, стали кричать наперебой:

— Горе нам! Он наш гость, и мы не можем вызвать его на бой!

А Завиша Чарный Сулимчик, славнейший из славных, «образец рыцаря», нахмурясь, обратил лицо на Лихтенштейна и сказал:

— Я не узнаю тебя, Куно! Как можешь ты, будучи рыцарем, позорить великий народ, зная, что, как послу, тебе не грозит за это кара?

Но Куно спокойно выдержал грозный взгляд и ответил раздельно и медленно:

— Прежде чем прибыть в Пруссию, наш орден воевал в Палестине, но даже там сарацины уважали послов. Только вы одни их не уважаете. Потому я и назвал ваши обычаи языческими.

Шум при этом поднялся еще больший. За столом снова раздались возгласы:

— Горе нам, горе!

Но все стихли, когда король, лицо которого пылало от гнева, по литовскому обычаю несколько раз хлопнул в ладоши. Тогда встал краковский каштелян Ясько Топор из Тенчина, седой и важный старик, чей

высокий сан вселял страх в сердца, и сказал:

— Благородный рыцарь из Лихтенштейна, если вам как послу нанесли оскорбление, говорите, суд у нас будет скорый и правый.

— Ни в каком ином христианском государстве этого со мной не случилось бы, — ответил Куно. — Вчера по дороге в Тынец на меня напал один ваш рыцарь и, хотя по кресту на плаще легко мог признать, кто я, посягнул на мою жизнь.

Услыхав эти слова, Збышко побледнел, как мертвец, и невольно обратил взор на короля, лицо которого стало просто страшным. Ясько из Тенчина спросил в изумлении:

— Мыслимо ли это?

— Спросите пана из Тачева, он был очевидцем.

Все взоры обратились на Повалу, который с минуту времени стоял, мрачно потупив глаза, а потом сказал:

— Да, это правда!..

— Позор! Позор! — вскричали рыцари при этих словах. — Расступись земля под таким рыцарем! — Со стыда одни били себя кулаками в грудь и хлопали по бедрам, другие мяти в руках оловянные миски, стоявшие на столе.

— Почему же ты не убил его? — громовым голосом закричал король.

— Потому что он должен держать ответ перед судом, — сказал Повала.

— Цепи вы надели на него? — спросил каштелян Топор из Тенчина.

— Нет, он поклялся рыцарской честью, что явится на суд.

— И не является! — поднимая голову, насмешливо воскликнул Куно.

Но тут за спиной крестоносца раздался молодой печальный голос:

— Не приведи Бог, чтобы я смерти предпочел позор. Это я сделал, Збышко из Богданца.

При этих словах рыцари кинулись к несчастному Збышку, но король остановил их грозным манием руки; он поднялся, сверкая глазами, и, задыхаясь от гнева, закричал голосом, подобным грохоту телеги, катящейся по камням:

— Обезглавить его! Обезглавить! Пусть крестоносец отошлет его голову магистру в Мальборк!

Затем он крикнул стоявшему поблизости молодому литовскому князю, сыну смоленского наместника:

— Держи его, Ямонт!

Потрясенный королевским гневом Ямонт положил трепещущие руки на плечи Збышка, но тот, обратив к нему побледневшее лицо, сказал:

— Я не убегу...

Седобородый каштелян краковский, Топор из Тенчина, поднял тут руку в знак того, что хочет говорить, и, когда все стихли, сказал:

— Всемиловейший король! Пусть комтур убедится, что за покушение на особу посла не ты во гневе караешь смертью, но наш закон. Иначе он вправе будет подумать, что нет у нас в королевстве закона христианского. Я сам буду судить виновного!

Последние слова он произнес, повысив голос, и, видимо, не допуская даже мысли, что этот голос может не быть услышан, кивнул Ямонту:

— Запереть его в башню. А вы, пан из Тачева, будете свидетелем.

— Я расскажу, в чем провинился сей отрок; никто из нас, зрелых мужей, не совершил бы такого поступка, — ответил Повала, мрачно глядя на Лихтенштейна.

— Верно! — тотчас подхватили другие. — Разве это рыцарь? Мальчик! Зачем же из-за него нас всех покрыли позором?

Наступило минутное молчание, все устремили на крестоносца враждебные взгляды. Тем временем Ямонт вывел Збышка из зала, чтобы передать его в руки лучников, стоявших во дворе замка. Жалость к узнику пробудилась в молодом его сердце, она была тем сильнее, что князь от рождения ненавидел немцев. Но как литвин он привык слепо повиноваться воле великого князя, да и сам был испуган королевским гневом, поэтому по дороге он стал нашептывать молодому рыцарю:

— Знаешь, что я тебе скажу: ты удавись! Лучше всего сразу удавись. Король разгневался, и тебе все равно отрубят голову. Почему бы тебе его не потешить? Удавись, друг мой! У нас такой обычай.

Збышко, в полубеспамятстве от страха и стыда, сперва, казалось, не понял речей князя, но, постигнув наконец их смысл, даже приостановился в изумлении.

— Что это ты болтаешь?

— Удавись! Зачем это нужно, чтобы тебя судили? Короля потешишь! — повторил Ямонт.

— Сам удавись! — воскликнул молодой рыцарь. — Как будто и крещеный ты, а шкура у тебя осталась языческая, ты даже не понимаешь, что грех христианину душу свою губить.

Но князь пожал плечами:

— Да ведь это не по доброй воле. Все равно тебе отрубят голову.

У Збышка мелькнула мысль, что за такие речи следовало бы вызвать боярского сынка на поединок, пешего или конного, на мечях или на секирах, но он подавил это желание, вспомнив, что времени для этого у

него не будет. Печально опустив голову, он в молчании предался в руки начальника дворцовых лучников.

А в зале тем временем всеобщее внимание было привлечено другим. Увидев, что творится, Дануся сперва так испугалась, что дыхание замерло у нее в груди. Личико ее побледнело, глазки округлились от ужаса, неподвижно, как восковая статуэтка в костеле, уставилась она на короля. Но когда девочка наконец услышала, что ее Збышку хотят отрубить голову, когда его забрали и вывели из зала, безмерная жалость овладела ею, губы и брови у нее задрожали; как ни боялась она короля, как ни закусывала губы, однако не смогла удержаться от слез и расплакалась вдруг так жалобно и громко, что все лица обратились к ней и даже сам король спросил:

— Что случилось?

— Всемиловейший король! — воскликнула княгиня Анна. — Это дочь Юранда из Спыхова, которой несчастный молодой рыцарь дал обет. Дал он обет ей сорвать со шлемов три павлиньих чуба и, увидев такой чуб на шлеме комтура, решил, что это ему Сам Бог его посылает. Не по злобе он сделал это, государь, а только по глупости, будь же милостив и не карай его, мы на коленях просим тебя об этом.

Тут она поднялась и, схватив за руку Данусю, подбежала с нею к королю. Король отшатнулся от них, но они обе упали ему в ноги, и Дануся, обхватив руками его колени, стала кричать:

— Помилуй Збышка, король, помилуй Збышка!

И, в самозабвении и вместе с тем в страхе, она спрятала свою светлую головку в складках серого платья короля и, трепеща как лист, стала целовать ему колени. Княгиня Анна Данута стояла на коленях с другой стороны и, сложив руки, с мольбою смотрела на короля, на лице которого изобразилось сильное смущение. Он отодвигался с креслом от Дануси и княгини, но не отталкивал Дануси, а только махал обеими руками, точно отгоняя муху.

— Оставьте меня в покое! — кричал король. — Он провинился, опозорил все королевство! Пусть же его обезглавят!

Но маленькие ручки все теснее сжимали его колени, а детский голосок кричал все жалобней:

— Помилуй Збышка, король, помилуй Збышка!

Вдруг раздались голоса рыцарей:

— Юранд из Спыхова — славный рыцарь, гроза немцев!

— И отрок уже отличился под Вильно, — прибавил Повала.

Но король настаивал на своем, хотя и был тронут видом Дануси.

— Оставьте меня в покое! Он не предо мной провинился, и я не могу

его помиловать. Пусть посол ордена простит его, тогда и я его помилую, а нет, так пусть его обезглавят.

— Прости его, Куно, — сказал Завиша Чарный Сулимчик, — сам магистр не станет укорять тебя за это.

— Прости его, рыцарь! — воскликнули обе княгини.

— Прости его, прости! — подхватили рыцари.

Прищулив глаза, Куно сидел с поднятой головой, словно тешась тем, что обе княгини и столь славные рыцари обращаются к нему с мольбою. И вдруг в один миг он преобразился: опустив голову, скрестил на груди руки, из надменного стал смиренным и мягким, тихим голосом произнес:

— Христос, Спаситель наш, простил на кресте разбойника и врагов Своих...

— Вот это речь, достойная благородного рыцаря! — сказал епископ Выш.

— Справедливые слова! Справедливые!

— Как же мог бы я не простить, — продолжал Куно, — если я не только христианин, но и монах? Посему как слуга Христов и монах я прощаю его от всей души, от всего сердца!

— Слава ему! — крикнул Повала из Тачева.

— Слава! — подхватили другие рыцари.

— Но, — сказал крестоносец, — среди вас я посол и олицетворяю величие своего ордена, который является орденом Христа. Кто нанес мне как послу оскорбление, тот оскорбил орден, кто же оскорбил орден, тот оскорбил самого Христа, а такое оскорбление я перед Богом и людьми не могу простить; если же закон ваш простит его, то пусть узнают об этом все христианские государи.

Немое молчание воцарилось при этих словах. Лишь через минуту послышался скрежет зубов, тяжелые вздохи подавленной ярости и рыдания Дануси.

К вечеру все сердца склонились на сторону Збышка. Те самые рыцари, которые утром по манию короля готовы были изрубить его мечами, теперь искали способа спасти его. Княгини решили обратиться к королеве с просьбой уговорить Лихтенштейна взять назад свою жалобу, а в случае надобности послать письмо великому магистру с просьбой повелеть Куно не поднимать этого дела. Путь этот представлялся верным, так как Ядвига была окружена таким необычайным почетом, что великий магистр навлек бы на себя гнев папы и недовольство всех христианских государей, если бы отказал ей в этом. Можно было думать, что Конрад фон Юнгинген не откажет королеве и потому, что он был человек мирный и гораздо более

мягкий, чем его предшественники. К несчастью, епископ краковский Выш, который был в то же время главным лекарем королевы, строго-настрого запретил княгиням даже заикаться об этом деле. «Королева не может спокойно слышать о смертных приговорах, — сказал он. — Если речь идет даже о простом разбойнике, она принимает это близко к сердцу; что же говорить об отроке, который справедливо может надеяться на ее милосердие? Однако всякое волнение вредно королеве и легко может привести к тяжелой болезни, здоровье же ее для королевства дороже десятка рыцарских голов». Каждому, кто осмелится вопреки его запрету потревожить королеву, епископ пригрозил в заключение страшным королевским гневом и вдобавок преданием анафеме.

Обе княгини испугались и решили ничего не говорить королеве, но зато до тех пор неотступно умолять короля, пока он не смилуется над Збышком. Весь двор и все рыцари были уже на стороне Збышка. Повала из Тачева обещал сказать на суде всю правду, но свидетельствовать в пользу Збышка и представить все дело как следствие мальчишеской его безрассудности. И все же каждый предвидел, а каштелян Ясько из Тенчина заявлял об этом во всеуслышание, что если крестоносец станет настаивать, то жестокая казнь будет свершена.

Тем большим гневом пылали сердца рыцарей против Лихтенштейна, и не один из них думал про себя, а то и заявлял громогласно: «Он посол, и на поединок его не вызовешь, но пусть только вернется в Мальборк, не умереть ему собственной смертью». Это не были пустые угрозы, ибо опоясанным рыцарям не пристало бросать слова на ветер, и если уж кто давал какой-нибудь обет, должен был выполнить его или погибнуть. Больше всех негодовал грозный Повала, у него в Тачеве была любимая дочка одних лет с Данусей, и слезы Дануси вконец сокрушили его.

В тот же день Повала посетил Збышка в темнице, велел ему не падать духом и рассказал о том, как за него просили обе княгини и как заливалась слезами Дануся... Узнав, что девочка ради него бросилась к ногам короля, Збышко растрогался до слез и, не умея выразить свою благодарность Данусе и тоску по ней, сказал, утирая глаза:

— Эх! Да благословит ее Бог, а мне даст поскорее сразиться за нее пешему или конному! Слишком мало пообещал я ей немцев, такой девушке надо было столько пообещать их, сколько ей лет. Коли вызволит меня Христос из этой беды, уж я их для нее не пожалею!..

И он поднял к небу полные благодарности глаза...

— Ты сперва пообещай что-нибудь на Церковь, — возразил пан из Тачева, — ведь если твоя жертва будет угодна Богу, ты наверняка выйдешь

на свободу. А потом, послушай: твой дядя пошел к Лихтенштейну, а потом пойду и я. Не зазорно будет тебе попросить у него прощения, ведь ты и в самом деле провинился, да и просить прощения будешь не у какого-то Лихтенштейна, а у посла. Согласен?

— Коли мне такой рыцарь, как вы, ваша милость, говорит, что это не зазорно, — я так и сделаю! Но если крестоносец захочет, чтобы я попросил у него прощения так, как он требовал по дороге из Тынца, то пусть уж лучше мне отрубят голову. Останется дядя, он отомстит за меня крестоносцу, когда тот кончит править посольство...

— Посмотрим, что он скажет Мацьку, — сказал Повала.

Мацько и в самом деле побывал вечером у немца, но тот принял его с таким высокомерием, что даже свет не велел зажечь и говорил со старым рыцарем впотьмах. Мацько вернулся от него темный, как ночь, и направился к королю. Король принял его милостиво, потому что у него уже совсем отошло от сердца, и когда Мацько упал к его ногам, велел старику встать и спросил, чего ему надобно.

— Милостивейший государь, — сказал Мацько, — как говорится, виноват — клади голову на плаху, иначе не было б никакого закона на свете. Но есть в том и моя вина, не удерживал я хлопца, отроду горячего, а, наоборот, поощрял этот его недостаток. Так я его воспитывал, а потом с малых лет воспитывала его война. Моя вина, милостивейший король, не раз я ему говаривал: сперва руби, а там посмотришь, кого изрубил. Хорошо было это на войне, да худо при дворе! Но не хлопец он у меня, а золото, последний в роду, и жаль мне его до смерти...

— Он опозорил меня, опозорил королевство, — возразил король, — что же, мне за это по головке его погладить?

Мацько умолк, потому что при воспоминании о Збышке горло сжалось у него внезапно от жалости, и лишь спустя некоторое время он заговорил все еще взволнованным, прерывистым голосом:

— Только теперь, когда пришла беда, понял я, как люблю его. Стар я, а он у нас последний в роду. Не станет его, не станет и нас. Милостивейший король и государь, пожалей ты род наш!

Тут Мацько снова упал на колени и, протянув свои натруженные на войнах руки, продолжал со слезами:

— Мы защищали Вильно, Бог послал нам богатую добычу, — кому я ее оставляю? Крестоносец требует отплаты, государь, пусть будет по его, но позвольте мне положить голову на плаху. Что мне жизнь без Збышка? Он молод, пусть выкупит землю, детей народит, как заповедал человеку Бог. Крестоносец не спросит, чья голова слетела с плеч, лишь бы слетела. И

позор от этого не падет на род. Тяжело идти на смерть, но как пораздумаешь, так лучше смерть принять, чем дать погибнуть роду...

С этими словами он обнял ноги короля; тот заморгал глазами, что было у него признаком волнения, и наконец сказал:

— Не бывать тому, чтобы я опоясанному рыцарю повелел безвинно голову рубить! Не бывать, не бывать!

— Несправедливо было бы это, — прибавил каштелян. — Закон карает виновного, но это не дракон, который не глядит, чью хлещет кровь. Вы и про то подумайте, что позор неминуемо пал бы тогда и на ваш род, — ведь согласись на это ваш племянник, так и его самого, и его потомство все почитали б бесчестными...

— Не дал бы он на то своего согласия, — возразил Мацько. — Но если б все случилось без его ведома, он отомстил бы потом за меня, как и я отомщу за него.

— Эх, — сказал Тенчинский, — добейтесь у крестоносца, чтобы он взял назад свою жалобу...

— Я уж был у него.

— И что же? — вытягивая шею, спросил король. — Что он вам сказал?

— Вот что он мне сказал: «Надо было на тынецкой дороге прощения просить, — вы не захотели, ну а теперь я не хочу».

— А почему же вы не захотели?

— Да он хотел, чтобы мы спешились и пешими просили прощения!

Король заложил волосы за уши и хотел что-то сказать, но в это мгновение вошел придворный и доложил, что рыцарь из Лихтенштейна просит аудиенции.

Ягайло поглядел на Яська из Тенчина, затем на Мацька и повелел им остаться, должно быть, в надежде, что в этом случае ему легче будет уладить дело своей королевской властью.

Тем временем вошел крестоносец, поклонился королю и сказал:

— Милостивый государь! Вот письменная жалоба на оскорбление, нанесенное мне в вашем королевстве.

— Жалуйтесь ему, — ответил король, показывая на Яська из Тенчина.

Глядя прямо в лицо королю, крестоносец ответил:

— Я не знаю ни ваших законов, ни ваших судов, одно только я знаю: посол ордена может жаловаться лишь самому королю.

Ягайло от нетерпения замигал глазками, однако протянул руку, взял жалобу и отдал ее Тенчинскому.

Тот развернул жалобу и начал ее читать; по мере того как он читал, лицо его становилось все более печальным и озабоченным.

— Вы, пан рыцарь, — сказал он наконец, — так настаиваете на казни этого отрока, точно он страшен всему вашему ордену. Неужто вы, крестоносцы, боитесь уже детей?

— Мы, крестоносцы, не боимся никого, — надменно ответил комтур.

А старый каштелян тихо прибавил:

— Особенно же Господа Бога.

На другой день в каштелянском суде Повала из Тачева делал все, что только было в его силах, чтобы смягчить вину Збышка. Однако он тщетно приписывал его поступок ребячеству и неопытности, тщетно говорил о том, что если бы даже рыцарь постарше, пообещав три павлиньих чуба и помолясь о ниспослании ему их, увидел внезапно перед собой такой чуб, то мог бы тоже усмотреть в этом руку Провидения. Одного достойный рыцарь не мог отрицать, а именно того, что если бы не он, копье Збышка пронзило бы грудь крестоносца. Куно велел принести на суд доспехи, которые в тот день были на нем, и оказалось, что они были из тонкого и хрупкого железа и надевали их только в торжественных случаях, так что Збышко при его необычайной силе неминуемо проткнул бы их насквозь своим копьем и убил бы посла насмерть. После этого Збышка спросили, имел ли он намерение убить посла, и он не стал этого отрицать. «Я кричал ему издали, — сказал Збышко, — чтобы он наставлял копье — ведь живой он не дал бы сорвать с себя шлем, — но, крикни он мне издали, что он посол, я бы его оставил в покое».

Эти слова понравились рыцарям, которые из сочувствия к отроку целой толпой явились на суд, и тотчас раздались многочисленные голоса:

— Это верно, почему он не кричал?

Но лицо каштеляна оставалось угрюмым и суровым. Приказав присутствующим соблюдать тишину, он сам помолчал с минуту времени, а затем, устремив на Збышка испытующий взор, спросил:

— Можешь ли ты поклясться на распятии, что не видел плаща и креста?

— Никак не могу! — ответил Збышко. — Если б я не видел креста, я бы подумал, что это наш рыцарь, а на нашего я не стал бы нападать.

— А какой же под Краковом мог очутиться другой крестоносец, как не посол или кто-нибудь из посольской свиты?

Збышко на это ничего не ответил, потому что отвечать было нечего. Всем было ясно, что если бы не пан из Тачева, то теперь, к вечному стыду польского народа, перед судом лежал бы не панцирь посла, а сам посол с пронзенной грудью, так что даже те, кто от всего сердца сочувствовал Збышку, понимали, что приговор не может быть милостивым.

Через минуту каштелян сказал:

— Поскольку в запальчивости ты не подумал, на кого нападаешь, и не по злобе это учинил, зачтется и простится тебе это перед Спасителем нашим, но ты, бедняга, передай душу свою в руки Пресвятой Девы, ибо закон не может тебя простить...

Збышко готов был ко всему, и все же при этих словах он побледнел, однако тут же откинул назад свои длинные волосы, перекрестился и сказал:

— Воля Божья! Что ж, ничего не поделаешь!

Затем он повернулся к Мацьку и показал ему глазами на Лихтенштейна, как бы прося помнить о нем, а Мацько кивнул головой в знак того, что все понимает и все помнит. Этот взгляд и это движение не ускользнули от Лихтенштейна, и хотя в груди его билось сердце столь же злобное, сколь и отважное, однако на короткое мгновение трепет объял его, таким страшным и зловещим было лицо старого воина. Крестоносец понял, что между ним и старым рыцарем, лица которого он под шлемом не мог даже хорошенько рассмотреть, отныне начнется борьба не на жизнь, а на смерть, что если бы он пожелал даже скрыться от старика, все равно это ему не удастся, и, когда кончится его посольство, они неизбежно встретятся хотя бы в том же Мальборке.

Тем временем каштелян удалился в соседнюю комнату, чтобы продиктовать искусному писцу приговор Збышку. В перерыве то один, то другой рыцарь говорил, подходя к крестоносцу:

— Чтоб тебя на Страшном Суде милостивей осудили! Крови радуешься?

Но Лихтенштейну важно было только мнение Завиши, который снискал себе широкую славу ратными подвигами, знанием рыцарских законов и строжайшим их соблюдением. Когда речь шла о рыцарской чести, к нему обращались по самым сложным делам, причем приезжали порой издалека, и никто не смел ему противоречить не только потому, что единоборство с ним было делом немыслимым, но и потому, что его почитали «зерцалом чести». Слово упрека или похвалы из его уст быстро разносилось среди рыцарей Польши, Венгрии, Чехии, Германии, и оно одно уже могло принести худую или добрую славу.

Лихтенштейн приблизился к нему и, как бы желая оправдать свою жестокость, сказал:

— Один только великий магистр с капитулом мог бы его помиловать, — я не могу...

— Ваш магистр нам не указ. Не он, а только наш король может его помиловать, — возразил Завиша.

— Но как посол я должен был потребовать возмездия.
— Ты, Лихтенштейн, прежде всего не посол, а рыцарь...
— Неужели ты думаешь, что я уронил свою рыцарскую честь?
— Ты знаешь наши рыцарские книги и знаешь, что рыцарь должен следовать двум зверям: льву и ягненку. Кому же из них ты в этом случае следовал?
— Ты мне не судья...
— Ты спрашивал у меня, не уронил ли свою рыцарскую честь, вот я тебе и ответил, что об этом думаю.
— Стало быть, плохо ответил, коли твое слово колом мне поперек горла стало.
— Не моим, а своим злым словом ты подавишься.
— Но Христос мне зачтет, что я больше заботился о величии ордена, нежели о твоих похвалах.
— Он всех нас будет судить.

Дальнейший разговор был прерван появлением каштеляна и писца. Хотя все уже знали, что приговор будет суровым, однако воцарилась немая тишина. Каштелян занял место за столом и, взяв в руки распятие, велел Збышку стать на колени.

Писец стал читать по-латыни приговор. Ни Збышко, ни присутствующие на суде рыцари не понимали по-латыни, однако все догадались, что это смертный приговор. Когда писец кончил читать, Збышко стал бить себя в грудь, повторяя:

— Боже, милостив будь ко мне, грешному!

Затем он встал и бросился в объятия Мацька, который молча стал целовать его в голову и глаза.

В тот же день вечером на четырех углах рынка герольд под звуки труб оповестил рыцарей, гостей и горожан, что благородный Збышко из Богданца по приговору каштелянского суда будет обезглавлен мечом...

Но в те времена было в обычае перед смертью распорядиться до последней мелочи имуществом, и приговоренным к смертной казни всегда давали время договориться о наследстве с родными, да и помириться с Богом; поэтому Мацьку легко удалось испросить разрешение отсрочить смертную казнь. Лихтенштейн тоже не настаивал на немедленном приведении приговора в исполнение, понимая, что оскорбленный орден получил удовлетворение и не стоит больше гневить могущественного монарха, к которому он был послан не только для участия в торжествах по случаю крестин, но и для переговоров о земле добжинской. Однако самым важным во всем этом деле было здоровье королевы. Епископ Выш и

слышать не хотел о том, чтобы обезглавить Збышка до разрешения королевы от бремени, он справедливо полагал, что, узнав о казни, которую трудно будет от нее утаить, королева непременно растревожится, и это может губительно отразиться на ее здоровье. Таким образом, для последних распоряжений и прощания со знакомыми Збышку оставалось, быть может, даже несколько месяцев.

Мацько навещал его каждый день и утешал, как умел. С тоской говорили они о неизбежной смерти Збышка и с еще большей тоской о том, что их род может угаснуть.

— Ничего не поделаешь, придется вам жениться, — сказал однажды Збышко.

— Уж лучше поискать хоть какого-нибудь дальнего родича, — возразил озабоченный Мацько. — Где уж мне о женитьбе помышлять, когда тебе должны голову отрубить. Да коли и непременно надо жениться, и то я этого не сделаю, покуда не пошлю Лихтенштейну рыцарского вызова на поединок и не отомщу за тебя. Ты не бойся!..

— Да вознаградит вас Бог. Пусть хоть это будет мне утешением! Я знал, что вы ему этого не простите. Как же вы это сделаете?

— Как кончится его посольство, либо война будет, либо мир — понимаешь? Коли будет война, я перед боем пошлю ему вызов на единоборство.

— На утопанной земле?

— На утопанной земле, конными или пешими, но только на смерть, а не на неволю. Ну а коли будет мир, я поеду в Мальборк и ударю копьем в ворота замка, а трубачу велю протрубить, что вызываю Лихтенштейна на смертный бой. Небось не спрячется.

— Ну конечно, не спрячется, да и вы с ним справитесь, как пить дать.

— С ним-то?.. С Завишей не справился бы, с Пашком не справился бы, да и с Повалой тоже; ну а с такими, как он, не хвалясь скажу, с двумя справлюсь. Я ему покажу, этому тевтонскому псу! Разве не сильнее его был фризский рыцарь ^[42]? А как рубанул я его сверху по шлему, где завязла моя секира? В зубах завязла. Верно я говорю?

Збышко вздохнул с облегчением и сказал:

— Легче мне будет смерть принять.

И оба они завздохали. Помолчав, старый шляхтич опять заговорил растроганным голосом:

— Ты не горюй! На Страшном Суде не придется твоим косточкам друг дружку искать. Гроб я велел сколотить тебе дубовый, такой, что у каноников из костела Девы Марии и то лучше нету. Не погибнешь ты как

какой-нибудь выскочка-шляхтич, что из мужиков жалуют. И не допущу я, чтоб тебе голову рубили на том самом сукне, на котором рубят горожанам. Я уже договорился с Амылеем, он даст совсем нового и такого отменного сукна, что и на шубу королю пригодились бы. И на помин души я денег не пожалею — не бойся!

Возрадовалось при этих словах сердце Збышка, и, склонившись к руке дяди, он повторил:

— Спасибо вам.

Порой, несмотря на все утешения, Збышком овладевала страшная тоска, и однажды, когда Мацько пришел его навестить, он, едва поздоровавшись с дядей, спросил, глядя через решетку в стене:

— А как там, на дворе?

— Красный денек, солнышко греет, не нарадуешься.

Сжав руками затылок и запрокинув голову, Збышко сказал:

— Эх, Боже ты мой! Сесть бы на коня да скакать по полям по широким! Жаль погибать молодому! Страх как жаль!

— Гибнут люди и на коне! — возразил Мацько.

— Да, но скольких раньше сами перебьют!..

И он стал расспрашивать про рыцарей, которых видел при королевском дворе: про Завишу, про Фаруря, про Повалу из Тачева, про Лиса из Тарговиска и про всех прочих — что они поделявают, как веселятся, как совершенствуются в благородном военном искусстве? Он жадно слушал рассказы Мацька, который описывал ему, как по утрам рыцари в броне прыгают через коней, как рвут веревки, как испытывают свои силы в единоборстве на мечах и секирах со свинцовыми лезвиями и, наконец, как пируют и какие поют песни. Всею душой, всем сердцем рвался к ним Збышко; когда же он узнал, что Завиша сразу же после крестин собирается выступить куда-то в долину Венгрии против турка, он не мог удержаться от восклицания:

— Вот бы меня с ним пустили! Лучше было бы мне сложить голову в бою с басурманом!

Но об этом нечего было и думать, да и новые произошли тут события. Обе мазовецкие княгини не переставали думать о Збышке, пленившем их своей молодостью и красотой. В конце концов княгиня Александра надумала послать письмо великому магистру. Правда, он не мог отменить приговор, вынесенный каштеляном, но мог заступиться за юношу перед королем. Не подобало Ягайлу миловать виновного, когда речь шла о посягательстве на жизнь посла, но если бы за Збышка заступился сам магистр, король, пожалуй, с радостью помиловал бы его. Надежда вновь

проснулась в сердцах обеих княгинь. Рыцари ордена с их лоском высоко ценили княгиню Александру, которая сама питала к ним слабость. Неоднократно получала она из Мальборка богатые дары и послания, в которых магистр называл ее досточтимой благодетельницей и ревностной заступницей ордена. Слово ее значило много, и было весьма вероятно, что она не встретит отказа. Надо было только найти гонца, который постарался бы поскорее доставить письмо и вернуться назад с ответом. Услышав об этом, старый Мацько без колебаний взялся за дело.

Каштелян внял просьбам и назначил крайний срок, до которого обещал отложить казнь. Окрылившись надеждой, Мацько в тот же день занялся приготовлениями к отъезду, а затем отправился к Збышку, чтобы сообщить ему радостную весть.

В первый момент Збышко так обрадовался, точно перед ним уже отворились двери темницы. Однако через минуту он задумался, нахмурился вдруг и сказал:

— Как же, дождешься от немцев добра! Лихтенштейн тоже мог просить короля о помиловании и выгадал бы на этом, потому что избегнул бы мести, а все-таки он ничего не захотел сделать...

— Он разъярился оттого, что мы не захотели попросить у него прощения на тынецкой дороге. О великом магистре Конраде люди отзываются неплохо. В конце концов ты ничего на этом не потеряешь.

— Это верно, — сказал Збышко, — только вы ему там не очень-то кланяйтесь.

— Чего мне ему кланяться? Я везу письмо от княгини Александры — вот и вся недолга...

— Ну, коли вы так добры, помогите вам Бог...

Вдруг Збышко бросил на дядю быстрый взгляд и сказал:

— Но если король меня помилует, то Лихтенштейн не ваш будет, а мой. Помните..

— Ты еще не знаешь, уцелеет ли у тебя голова на плечах, так что далеко не загадывай. Довольно уж ты надавал глупых обетов, — сердито проворчал старик.

Тут они бросились друг другу в объятия — и Збышко остался один. Надежду в душе его сменили сомнения, когда же надвинулась ночь, а с нею грозные тучи, когда в окне засверкали зловещие вспышки молний и стены затряслись от грома, когда, наконец, ветер ворвался со свистом в темницу и погасил тусклый светильник у ложа узника, Збышко во мраке снова потерял всякую надежду и за всю ночь не сомкнул глаз...

«Нет, не уйти мне от смерти, — думал он, — ничем тут не поможешь».

Но утром к нему пришла на свидание досточтимая княгиня Анна, а с нею Дануся с маленькой лютней у пояса. Збышко упал сперва к ногам княгини, а затем Дануси, и хоть не спал ночь напролет, удручен был горем и измучен сомнениями, однако не забыл о рыцарском долге и выразил Данусе свое восхищение ее красотой. Но княгиня подняла на него полные печали глаза и сказала:

— Не любуйся ты на красу ее, а то не привезет Мацько утешительного ответа или вовсе домой не воротится, и придется тебе, бедняге, в скором времени на небесах любоваться чем-нибудь получше.

И, пораздумав о злой доле молодого рыцаря, стала ронять она слезы, а за ней расплакалась и Дануся. Збышко снова упал к их ногам, потому что и его сердце, как воск от тепла, смягчилось от этих слез. Не любил он Данусю той любовью, какой мужчина любит женщину, но почувствовал он, что любит ее всей душой, что при виде ее что-то творится с его сердцем, будто живет в нем другой человек, не такой суровый, не такой горячий, не такой воинственный, но зато алчущий сладостной любви. И до слез жаль ему стало, что должен он ее покинуть, что не сможет выполнить свои обеты.

— Не положить мне, бедняжка, павлиньих чубов к твоим ногам, — говорил он. — Но если предстану я пред лицом Предвечного, то скажу ему тогда: «Господи, отпусти мне грехи мои, а все блага, какие есть на земле, отдай одной только панне Дануте».

— Недавно вы спознались, — сказала княгиня. — Даст Бог, не понапрасну.

Збышко стал вспоминать все, что случилось в тынецкой корчме, и совсем растрогался. Кончилось тем, что он стал просить Данусю спеть ту самую песню, какую она пела, когда он подхватил ее на руки и принес к княгине.

И хоть Данусе было не до песен, она тут же подняла головку к сводчатому потолку и, закрыв, как птичка, глазки, затянула:

Ах, когда б я пташкой
Да летать умела,
Я бы в Силезию
К Ясю улетела.

Сиротинкой бедной
На плетень бы села:

«Глянь же, мой соколик...»

И вдруг из-под сомкнутых век полились у нее обильные слезы — и она не смогла больше петь. Збышко схватил ее на руки, как тогда в тынецкой корчме, и стал носить по темнице, повторяя в восторге:

— Не одной только госпожи я в тебе искал бы. Если бы только спас меня Бог, да ты подросла, да позволил бы отец — взял бы милую в жены!.. Эх!..

Обняв его за шею, Дануся спрятала заплаканное лицо у него на плече, а в сердце Збышка росла безмерная жалость и рвалась из глубины его вольной и простой славянской души, обращаясь словно в песню полей:

Взял бы милую я в жены,
Любушку мою!..

Неожиданно произошло событие, перед которым все прочие дела потеряли в глазах людей всякое значение. Двадцать первого июня под вечер по замку разнесся слух, что королева внезапно занемогла. Всю ночь в покое королевы оставались епископ Выш и приглашенные лекари, а тем временем от служанок стало известно, что у королевы начались преждевременные роды. Краковский каштелян Ясько Топор из Тенчина в ту же ночь послал гонцов к отсутствовавшему королю. На следующее утро слух обо всех этих событиях разнесся по всему городу и по всей округе. Был воскресный день, и толпы народа наполнили храмы, где ксендзы велели молиться о здравии королевы. Тогда все стало ясно. После службы иноземные рыцари, которые съехались уже на ожидавшиеся торжества, шляхта и купеческие делегации направились в замок; цехи и братства выступили туда со своими знаменами. В полдень Вавель окружили бесчисленные толпы народа; королевские лучники поддерживали порядок, призывая сохранять спокойствие и тишину. Город почти совсем обезлюдел, лишь толпы крестьян из окружающих деревень проходили порой по опустелым улицам; узнав о болезни горячо любимой королевы, крестьяне тоже устремились к замку. Наконец в главных воротах появились епископ и каштелян, а с ними кафедральные каноники, королевские советники и рыцари. Они разошлись по стене в разные стороны и смешались с толпой; по лицам их было видно, что они готовятся сообщить какую-то весть, однако начали они с того, что строго-настрого приказали воздерживаться от всяких кликов, чтобы не обеспокоить занемогшую королеву. После этого они возвестили, что королева родила дочь. При этой вести сердца всех преисполнились радостью, особенно когда народ узнал, что, несмотря на преждевременные роды, жизнь матери и ребенка пока вне опасности. Около замка нельзя было шуметь, а всем хотелось как-то проявить свою радость, поэтому народ начал растекаться по улицам, ведущим к рынку. Когда эти улицы наполнились толпами народа, раздались вдруг песни и радостные клики. «Разве худо было, — говорили в народе, — что у короля Людовика не было сыновей и наследницей престола стала Ядвига? Благодаря ее браку с Ягайлом государство стало вдвое могущественней. Так будет и теперь. Где сыщешь такую наследницу, какой станет наша королевна, — ведь ни римский император, ни прочие короли не владеют такой великой державой, такими обширными землями и таким

многочисленным рыцарством! Самые могущественные монархи будут добиваться ее руки, будут приезжать на поклон к королю и королеве, будут съезжаться в Краков, а нам, купцам, от этого выгода будет, не говоря уж о том, что какое-нибудь новое государство, чешское или венгерское, соединится с нашим королевством». Так рассуждали купцы, и все ликовало вокруг. Народ пировал и по домам, и в корчмах. На рынке запылали факелы и фонари. Из окрестных деревень в город съезжалось все больше крестьян, они располагались в предместьях лагерем вокруг своих телег. Евреи шумели около синагоги на Казимеже^[43]. До поздней ночи, чуть не до рассвета, рынок, как во время ярмарки, кипел толпами народа, особенно около ратуши и весов. Люди делились новостями, посылали разузнать, не случилось ли еще чего-нибудь в замке, и осаждали тех, кто возвращался оттуда.

Хуже всего было то, что архиепископ Петр в ту же ночь окрестил новорожденную^[44], из чего заключили, что девочка очень слаба. Однако опытные горожанки рассказывали случаи, когда младенцы, родившиеся полумертвыми, обретали жизненные силы после крещения. Народ верил, что новорожденная выживет, возлагая особые надежды на имя, которым ее нарекли. Говорили, будто ни один Бонифаций, ни одна Бонифация не могут умереть сразу же после рождения, ибо им предназначено свершить доброе дело; в первые же годы жизни, а тем более в первые месяцы, ничего ни доброго, ни худого младенец свершить не может.

Однако на другой день и о младенце, и о матери пришли из замка худые вести — и взволновали город. В костелах, как в храмовый праздник, весь день толпился народ. Жертвовали на службы за здоровье королевы и королевны. С волнением смотрели все на бедных крестьян, которые приносили четверти зерна, ягнят, кур, связки сушеных грибов или короба орехов. Крупные пожертвования потекли от рыцарей, купцов, ремесленников. Были разосланы гонцы в святые места. Звездочеты гадали по звездам. В самом Кракове были устроены торжественные процессии. Выступили все цехи и все братства. Весь город украсился знаменами. Состоялась также процессия детей, ибо все полагали, что невинные дети скорее могут испросить у Бога милость. Через городские ворота въезжали все новые и новые толпы людей.

Так проходил день за днем в церковных процессиях и молебствиях, под непрерывный колокольный звон и гул голосов в костелах. Но когда миновала неделя, а царственная больная и младенец были все еще живы, надежда снова стала просыпаться в сердцах. Казалось немыслимым, чтобы

Господь преждевременно призвал к себе властительницу государства, которая, столько свершив, должна была оставить незаконченным великий свой подвиг, жену равноапостольную, которая, пожертвовав собственным счастьем, обратила в христианство последний языческий народ в Европе. Ученые вспоминали, сколько сделала она для Академии, духовные — для славы Господней, державные мужи — для мира между христианскими монархами, законники — для справедливости, сирые — для нищеты, и никто не мог себе представить, что жизнь, столь необходимая королевству и всему миру, может безвременно оборваться.

Меж тем тринадцатого июля погребальный звон возвестил о смерти младенца. Снова зашумел город, тревога вселилась в сердца, и снова толпы народа окружили Вавель, допытываясь о здоровье королевы. Но на этот раз никто не вышел к народу с добрыми вестями. Лица вельмож, въезжавших в замок или выезжавших через ворота в город, были угрюмы и с каждым днем становились все темней и темней. Говорили, будто ксендз Станислав из Скарбимежа^[45], магистр свободных наук в Кракове, не отходит уже от одра королевы, которая причащается каждый день. Говорили также, будто после причащения покой ее всякий раз озаряется небесным сиянием. Некоторые видели даже сияние в окнах, но видение это лишь потрясло преданные королеве сердца как знак того, что для нее начинается уже загробная жизнь.

Иные, однако, не верили, что может случиться нечто столь страшное, они тешили себя надеждой, что справедливое небо удовлетворится одной жертвой. Меж тем в пятницу утром, семнадцатого июля, грянула весть, что королева при смерти. Все поспешили к замку. Город совсем опустел, остались одни калеки, даже матери с грудными младенцами поторопились к воротам замка. Лавки были закрыты, люди не готовили пищу. Все дела были оставлены, а под стенами Вавеля темнело море народа — беспокойное, потрясенное, но безмолвствующее.

И вдруг в час дня на колокольне кафедрального собора ударил колокол. Сперва никто не понял, что это значит, но потом волосы у людей встали от ужаса дыбом. Все головы, все глаза обратились к колокольне, где шире и шире раскачивался колокол, чей жалобный стон тотчас подхватили другие колокола: у францисканцев, у Святой Троицы, у Девы Марии — и дальше и дальше по всему городу. Народ понял наконец, что означает этот стон; и такой ужас объял всех, такая пронизала боль, словно медные языки колоколов били прямо по сердцу людям.

Вдруг на колокольне показалась черная хоругвь с огромным черепом посредине, под которым белели две скрещенные берцовые кости. Все стало

ясно. Королева отдала Богу душу.

Рыдания и стоны тысяч людей раздались у стен замка и слились с погребальным звоном колоколов. В толпе одни бросались на землю, другие раздирали на себе одежды или царапали лица, иные в немом оцепенении смотрели на стены, иные же глухо стонали или, простирая руки к костелу и покоям королевы, молили Бога о чуде, о милосердии. Но некоторые в порыве отчаяния доходили даже до кощунства. «Бог отнял у нас любимую королеву, — слышались их гневные голоса. — К чему же были процессии, наши песнопения и мольбы? Серебро и золото было угодно Богу, а что же Он дал взамен? Ничего! Взять — взял, а дать — не дал!» Другие, заливаясь слезами, повторяли со стоном: «Иисусе Христе! Иисусе!» Толпы людей хотели войти в замок, чтобы еще раз взглянуть на лицо любимой королевы. Их не пустили, пообещав, что тело вскоре поставят в костеле, и тогда всякий сможет взглянуть на усопшую и помолиться у ее гроба. К вечеру печальные толпы людей стали возвращаться в город; народ рассказывал о последних минутах королевы, о предстоящем погребении и о чудесах, которые будут совершаться у ее тела и гробницы, в чем все были совершенно уверены. Говорили также о том, что королеву сразу же причислят к лику святых, когда же некоторые усомнились в этом, другие вознегодовали и стали грозить им Авиньоном...

Печаль и уныние объяли весь город, всю страну, и не только простому народу, всем казалось, что со смертью королевы закатилась счастливая звезда королевства. Даже кое-кто из краковской знати мрачно глядел на будущее. Люди задавались вопросом: что же теперь будет? Имеет ли право Ягайло оставаться после смерти королевы на престоле, не вернется ли он в свою Литву и не останется ли только великим князем литовским? Некоторые предвидели, что он сам захочет отречься от престола и тогда от королевства отойдут обширные земли, снова начнутся набеги Литвы, на которые кровавыми ударами ответят разъяренные жители королевства. Усилятся орден, усилятся римский император и венгерский король, а королевство, доселе одно из самых могущественных в мире, будут ждать упадок и посрамление.

Купцы, для которых были открыты обширные литовские и русские земли, предвидя потери, давали Богу обеты, чтобы только Ягайло остался на королевском троне; но в этом случае в самом ближайшем времени надо было ждать войны с орденом. Все знали, что только одна королева не давала развязать эту войну. Люди вспоминали теперь, как, возмущенная алчностью и хищностью крестоносцев, она сказала им однажды в пророческом ясновидении: «Пока я жива, я удерживаю руку и

справедливый гнев моего супруга; но помните, что после моей смерти кара обрушится на вас за ваши грехи!»

В своей гордыне и ослеплении крестоносцы и в самом деле не боялись войны, полагая, что после смерти королевы рассеется ореол святости, которым она была окружена, никто не станет более препятствовать наплыву охотников из западных государств, и тогда на помощь ордену придут тысячи воинов из Германии, Бургундии, Франции и других, еще более отдаленных стран. Однако смерть Ядвиги была событием столь значительным, что посол крестоносцев Лихтенштейн, даже не дождавшись приезда короля, поторопился в Мальборк, чтобы немедленно сообщить великому магистру и капитулу важную и в какой-то степени грозную весть.

Послы венгерский, австрийский, императорский и чешский либо выехали вслед за Лихтенштейном, либо послали к своим монархам гонцов. Ягайло приехал в Краков в страшном отчаянии. В первую минуту он заявил вельможам, что не хочет править без королевы и уедет в свои владения в Литву, но затем от горя будто бы впал в оцепенение, не хотел заниматься делами, не отвечал на вопросы, а по временам горько упрекал себя за то, что уехал, что не присутствовал при кончине королевы, что не простился с нею и не слышал ее последних слов и заветов. Тщетно Станислав из Скарбимежа и епископ Вышн толковали ему, что королева занемогла внезапно и что по всем расчетам он успел бы вернуться, если бы роды не были преждевременными. Это не принесло ему ни утешения, ни облегчения. «Я без нее не король, — ответил он епископу, — но лишь кающийся грешник, которому не найти успокоения». После этого он уставился глазами в землю, и никто не мог добиться от него ни единого слова.

Тем временем умы всех людей были заняты погребением королевы. Со всех концов страны стали стекаться в столицу новые толпы знати, шляхты и простого народа, особенно нищеты, надеявшейся на щедрую милостыню во все время обряда погребения, который должен был длиться целый месяц. Тело королевы поставили в кафедральном соборе на возвышении, устроенном так, что широкий изголовок, где покоилась голова усопшей, был гораздо выше изножья. Это было сделано для того, чтобы народ мог лучше видеть лицо королевы. В соборе шла непрерывная служба; около катафалка пылали тысячи восковых свечей, а среди этого блеска, утопая в цветах, лежала она, спокойная, улыбающаяся, подобная таинственной белой розе, в одежде небесного цвета, с руками, сложенными крестом на груди. Народ почитал ее за святую, к ней приводили одержимых, калек, больных детей, и в храме то и дело раздавался то крик матери, увидевшей

на личике больного младенца вестник здоровья — румянец, то паралитика, внезапно обнаружившего, что он владеет своими доселе неподвижными членами. Трепет охватывал тогда людские сердца, весть о чуде облетала собор, замок, город, привлекая все большие толпы бедняков, которые только от чуда могли ждать спасения.

Все в это время совершенно забыли о Збышке, да и кто в столь тяжкую годину мог вспомнить о простом шляхетском хлопце, заключенном в башне замка! Однако от тюремной стражи Збышко знал о болезни королевы и слышал шум народных толп около замка; когда же он услышал рыдания и колокольный звон, то бросился на колени и, позабыв о собственной участи, стал оплакивать смерть обожаемой своей королевы. Ему казалось, что вместе с нею и для него угасла надежда и что после ее смерти не стоит жить на свете.

Отголоски погребения, колокольный звон, церковные песнопения и рыдания толпы доносились до него в течение целых недель. За это время он стал угрюм, потерял аппетит и сон и метался по своему подземелью, как дикий зверь в клетке. Его угнетало одиночество, — бывали дни, когда даже страж не приносил ему свежей пищи и воды, настолько все были заняты похоронами королевы. Со времени ее смерти никто не посетил его: ни княгиня, ни Дануся, ни Повала из Тачева, который раньше принимал такое живое участие в его судьбе, ни знакомый Мацька, купец Амылей. С горечью думал Збышко, что, с тех пор как уехал Мацько, все о нем забыли. Порой ему приходило в голову, что, быть может, о нем забыло и правосудие и что его сгноят в этой темнице. Тогда он молил Бога о смерти.

Когда же миновал месяц после похорон королевы и начался другой, Збышко стал сомневаться в том, что Мацько вернется. Ведь старик обещал торопиться, не жалеть коня. Мальборк не на краю света. За двенадцать недель можно было обернуться, особенно в такой крайней нужде. «А может, ему и нужды нет! — думал с горечью Збышко. — Может, он где-нибудь по дороге приглядел себе жену и с радостью повезет ее в Богданец, чтобы дожидаться собственных детей, а я тут век целый буду ждать, покуда надо мною сжалится Бог!»

В конце концов он потерял представление о времени, совершенно перестал разговаривать с тюремным стражем и только по паутине, которая все гуще опутывала железную решетку окна, догадывался, что на воле наступает осень. По целым часам сидел он теперь на постели, опершись локтями на колени и схватившись руками за волосы, которые спускались уже у него много ниже плеч, и в полудремоте, полуоцепенении не поднимал головы даже тогда, когда страж заговаривал с ним, принося еду.

Но вот однажды скрипнул засов, и знакомый голос крикнул с порога темницы:

— Збышко!

— Дядя! — воскликнул Збышко, срываясь с постели.

Мацько обнял его, охватил руками его светлую голову и стал осыпать ее поцелуями. Сожаление, горечь и тоска с такой силой охватили хлопца, что он заплакал на груди у дяди, как малое дитя.

— Я думал, что вы уж не воротитесь, — сказал он, рыдая.

— Так оно и могло стать, — ответил Мацько.

Только теперь Збышко поднял голову и, взглянув на дядю, воскликнул:

— Да что же это с вами стряслось?

И он в изумлении воззрился на изнуренное, осунувшееся и бледное как полотно лицо старого воина, на его сгорбленную спину и поседелые волосы.

— Что с вами? — повторил Збышко.

Мацько опустил на постель и с минуту времени тяжело переводил дыхание.

— Что стряслось? — сказал он наконец. — Не успел я переехать границу, как меня в бору подстрелили из самострела немцы. Разбойники-рыцари, знаешь? Мне все еще трудно дышать... Бог послал мне помощь, иначе ты б меня больше не увидел.

— Кто же вас спас?

— Юранд из Спыхова, — ответил Мацько.

На минуту воцарилось молчание.

— Они напали на меня, а спустя полдня он напал на них. Не больше половины ушло из его рук. Он взял меня в свой городок, и там я три недели боролся со смертью. Бог меня спас, и хоть мне еще худо, я воротился.

— Так вы не были в Мальборке?

— С чем же мне было ехать? Они вчистую обобрали меня и вместе с другими вещами забрали и письмо. Я воротился, чтобы попросить у княгини Александры другое письмо, но в дороге разминул с нею и не знаю, удастся ли мне догнать ее, потому приходится мне на тот свет собираться.

При этих словах он плюнул себе в ладонь и, протянув Збышку руку, показал чистую кровь:

— Вот видишь?

И, помолчав, прибавил:

— Видно, на то воля Божья.

С минуту времени они молчали под тяжестью черных дум, после чего

Збышко спросил:

— Так это вы все время плюете кровью?

— Как же мне не плевать, коли у меня между ребрами на полпяди вонзилось жало стрелы! Небось и ты бы плевал. У Юранда из Спыхова мне стало полегче, а нынче я опять страх как измучился — дорога-то дальняя, а я торопился.

— Эх! Зачем же было вам торопиться?

— Да ведь я хотел встретить княгиню Александру и взять у нее другое послание. А Юранд из Спыхова так мне и сказал: «Поезжайте, говорит, и возвращайтесь с письмом в Спыхов. У меня, говорит, в подземелье сидит несколько человек немцев, так я одного из них отпущу на рыцарское слово, он и отвезет письмо великому магистру». Этот Юранд из мести за гибель жены всегда несколько человек держит у себя в подземелье; ожесточился он и с радостью слушает, как они по ночам стонут и гремят цепями. Понимаешь?

— Понимаю. Только вот странно мне, что вы первое письмо потеряли, — раз Юранд захватил тех, которые на вас напали, так ведь письмо должно было быть при них.

— Он их не всех захватил. Человек пять ушли из его рук. Такая уж наша участь.

При этих словах Мацько опять откашлялся, опять плюнул кровью и тихо застонал от боли в груди.

— Здорово они вас подстрелили, — сказал Збышко. — Как же это они? Из засады?

— Из таких густых кустов, что за шаг ничего не было видно. Ехал я без брони, — купцы говорили мне, что там безопасно, да и жарко было.

— Кто же предводительствовал этими разбойниками? Крестоносец?

— Не монах, ну а все-таки немец, хелминский, из Ленца, он прославился грабежом и разбоем.

— Что же с ним случилось?

— Сидит на цепи у Юранда. Но в подземелье у этого немца тоже сидят два мазурских шляхтича, которых он хочет отдать в обмен за себя.

Снова воцарилось молчание.

— Господи Иисусе, — сказал наконец Збышко, — так и Лихтенштейн будет жив, и этот немец из Ленца, а нам придется погибать неотомщенными. Мне отрубят голову, вы, верно, и зиму не протянете.

— Какое там! И до зимы не дотяну. Если бы хоть тебя как-нибудь спасти...

— Вы кого-нибудь здесь видали?

— Я как узнал, что Лихтенштейн уехал, пошел к краковскому каштеляну, думал, он облегчит твою участь.

— Так Лихтенштейн уехал?

— Сразу же после смерти королевы, в Мальборк. Пошел я к каштеляну, а он мне говорит: «Не для того рубят голову вашему племяннику, чтоб угодить Лихтенштейну, а для того, что к казни его приговорили, и тут ли Лихтенштейн, нет ли его — это все едино. Умри крестоносец, и то ничего не переменится, потому, говорит, закон свят, это вам не кафтан, его наизнанку не выверотишь. Только король, говорит, может вашего племянника помиловать, а больше никто».

— А где же король?

— После похорон уехал на Русь.

— Ну, значит, ничего не поделаешь.

— Ничего. Каштелян сказал еще мне: «Жаль его, да и княгиня Анна просит, но не могу, никак не могу».

— А княгиня Анна еще здесь?

— Спасибо ей! Хорошая женщина. Она еще здесь, потому что Дануся заболела, а княгиня любит ее, как родную дочь.

— Ах ты Боже мой! Так и Дануся захворала. Что же с нею такое?

— Да разве я знаю?.. Княгиня говорит, будто сглазили.

— Это, верно, Лихтенштейн! Не кто иной, как Лихтенштейн.

— Может, и он. Да ведь что с ним поделаешь? Ничего.

— Так это потому меня все забыли, что она была больна...

Збышко стал широким шагом расхаживать по темнице, затем схватил и поцеловал руку Мацька и сказал:

— Да вознаградит вас Бог за все, что вы сделали, — ведь это вы из-за меня умрете, но уж раз вы до самой Пруссии добрались, так, пока еще совсем не свалились, сослужите мне еще одну службу. Сходите к каштеляну и попросите его, чтоб на рыцарское слово отпустил меня, ну хоть на двенадцать недель. Я вернусь, и тогда пусть уж рубят мне голову, а так ведь нельзя погибать нам, не отомстивши. Знаете... я поеду в Мальборк и тотчас пошлю вызов Лихтенштейну. Иначе никак нельзя. Либо он умрет, либо я!

Мацько потер лоб:

— Сходить-то я схожу, да только позволит ли каштелян?

— Я дам рыцарское слово. На двенадцать недель, больше мне не надо.

— Что там говорить: на двенадцать недель! А если тебя ранят и ты не вернешься, что тогда подумают?..

— Хоть на четвереньках приползу. Не бойтесь! А тем временем,

может, король вернется из Руси; тогда можно будет упасть к его ногам и просить о помиловании.

— Это верно, — сказал Мацько.

Однако, помолчав, он прибавил:

— Мне ведь каштелян вот что еще сказал: «Мы о вашем племяннике из-за смерти королевы забыли, а теперь надо уж кончать с этим делом».

— Да нет, он позволит! — с надеждой сказал Збышко. — Он ведь знает, что шляхтич сдержит слово, а сейчас ли мне голову рубить или после Михайлова дня, это ему все едино.

— Что ж! Еще сегодня схожу.

— Сегодня вы подите к Амылею и немножко отлежитесь. Пусть он вам какого-нибудь снадобья к ране приложит, а завтра сходите к каштеляну.

— Ну, с Богом!

— С Богом!

Они обнялись, и Мацько направился к выходу, однако на пороге остановился и наморщил лоб, точно что-то вдруг вспомнив:

— Да ведь ты еще не носишь рыцарского пояса! Лихтенштейн скажет, что с неопоясанным драться не станет, — что ты с ним тогда поделаешь?

Збышко смутился, однако только на одно короткое мгновение.

— А как же на войне бывает? — спросил он. — Разве опоясанный непременно выбирает опоясанных?

— Война — это война, а поединок — это совсем другое дело.

— Так-то оно так... однако погодите... Надо как-нибудь это дело уладить. Да вот... есть выход! Князь Януш меня опояшет. Если княгиня с Дануськой его попросят, он опояшет. А по дороге я еще буду драться в Мазовии с сыном Миколая из Длуголяса.

— Это из-за чего же?

— Миколай — вы его знаете, тот придворный княгини, которого зовут Обухом, — обозвал Данусю коротышкой.

Мацько воззрился на него в изумлении, а Збышко, желая, видно, получше растолковать ему, в чем дело, продолжал:

— Я этого тоже не могу простить, а ведь с Миколаем не приходится драться, ему уж, пожалуй, все восемьдесят.

— Послушай, парень! — воскликнул Мацько. — Жаль мне твоей головы, но ума твоего нисколько, потому что глуп ты как пень.

— Да чего же вы сердитесь?

Мацько ничего не ответил и хотел уж уйти, но Збышко подбежал к нему:

— А как Дануська? Выздоровела? Да не сердитесь вы по пустякам.

Ведь вас столько времени не было.

И он снова склонился к руке старика; тот пожал плечами, но уже мягче ответил:

— Дануська уже выздоровела, только ее еще не выпускают на улицу. Будь здоров.

Збышко остался один, он словно воспрянул духом. Так приятно было подумать, что впереди еще добрых три месяца жизни, что он поедет в дальние края, разыщет Лихтенштейна и будет драться с ним не на жизнь, а на смерть. При одной этой мысли радость наполнила грудь Збышка. Хорошо хоть двенадцать недель чувствовать под собой коня, ездить по белу свету, драться и знать, что не погибнешь, не отомстив за себя. А там — будь что будет, ведь у него еще пропасть времени! Из Руси может вернуться король и даровать ему жизнь, может вспыхнуть война, которую давно уже предсказывали, а нет, сам каштелян, увидев через три месяца победителя гордого Лихтенштейна, может сказать: «Ну, поезжай теперь с Богом!» Збышко понимал, что, кроме крестоносца, никто не питает к нему вражды и что сам суровый пан краковский не по доброй воле приговорил его к смертной казни.

Збышко не сомневался, что ему дадут эти три месяца, и надежда окрылила его. Он даже думал, что дадут больше, потому что старому пану из Тенчина и в голову не могло прийти, что шляхтич, поклявшись рыцарской честью, может не сдержать своего слова.

И когда на другой день под вечер в темницу пришел Мацько, Збышко от нетерпения просто не мог усидеть на месте — он тотчас бросился к старику с вопросом:

— Ну как, позволил?

Мацько от слабости не держался уже на ногах, он опустился на постель и с минуту времени тяжело переводил дыхание.

— Вот что сказал каштелян, — ответил он наконец. — «Коли надобно вам разделить землю или имущество, то на одну-две недели, не больше, под рыцарское слово я выпущу вашего племянника».

Збышко от изумления на некоторое время потерял дар речи.

— На две недели? — переспросил он через минуту. — Да ведь я за две недели и до границы не доскачу! Что же это такое?.. Разве вы не говорили каштеляну, зачем мне надо съездить в Мальборк?

— Не только я просил за тебя, но и княгиня Анна.

— И что же?

— Что? Старик сказал ей, что твоя голова не нужна ему и что ему самому жалко тебя. «Если бы, говорит, найти закон или хоть предлог, к

которому можно было придраться, я б его совсем отпустил, а так не могу — и конец! Не будет, говорит, порядка в королевстве, коли люди станут обходить закон да по дружбе поблажки давать; я этого не сделаю даже для родича моего Топорчика, даже для родного брата». Такой тут народ, что не упросишь его, не умолишь. И еще сказал: «Нам нет нужды на крестоносцев оглядываться, но позорить себя в их глазах мы не можем. Что бы подумали они и их гости, которые съезжаются к ним со всего света, если б я шляхтича, осужденного на смерть, выпустил на волю для того, чтоб он поехал к ним драться? Да разве они поверили бы, что его все равно настигнет кара и что в нашем государстве есть какая-нибудь справедливость? Лучше мне отрубить одну голову, чем выставлять на посмешище короля и королевство!» Княгиня на это сказала ему, что странная это справедливость, от которой даже родственница короля не может спасти человека, но старик ей ответил: «И сам король может даровать жизнь, но не творить беззаконие». Тут они заспорили, потому что княгиня очень разгневалась. «Тогда, — говорит она, — нечего гноить его в темнице!» — «Ладно, — отвечает ей каштелян, — завтра прикажу ставить на рынке помост». С тем они и расстались. Теперь тебя, беднягу, разве только Христос может спасти...

Воцарилось долгое молчание.

— Как же? — глухо сказал Збышко. — Значит, это уж скоро будет?

— Через два-три дня. Ничего не поделаешь. Я сделал все, что мог. Повалился каштеляну в ноги, просил смиловаться, а он все свое твердит: «Найди закон или хоть предлог какой». А где я его найду? Был я у ксендза Станислава из Скарбимежа, хотел попросить напутствовать тебя, чтоб хоть слава была, что тебя тот же ксендз напутствовал, что и королеву. Да дома я его не застал, он был у княгини Анны.

— Уж не у Дануськи ли?

— Да что ты! Девушке с каждым днем лучше. Поутру еще схожу к нему. Говорят, будто после его напутствия спасение, почитай, у тебя в кармане.

Збышко сел, оперся локтями на колени и так низко склонил голову, что волосы совсем закрыли ему лицо. Долго-долго смотрел на него старик, потом потихоньку окликнул:

— Збышко! Збышко!

Хлопец поднял голову, лицо его выражало не страдание, а скорее раздражение и холодную решимость.

— Что вам?

— Слушай-ка меня хорошенько, сдается, я придумал.

С этими словами старик пододвинулся к племяннику и заговорил чуть не шепотом:

— Ты, верно, слышал про князя Витовта, про то, как наш король заключил его когда-то в Креве в темницу, а он вышел оттуда в женском платье? Ни одна женщина тут за тебя не останется, а ты возьми вот мой кафтан, возьми шапку да и уходи — понял? А вдруг и впрямь не заметят. Ведь за дверью темно. В глаза тебе светить не станут. Вчера вон, как я выходил, никто на меня и не глянул. Молчи и слушай: найдут меня завтра — ну и что же? Отрубят мне голову? То-то потешатся, мне ведь через две-три недели все равно помирать. А ты, как выйдешь отсюда, садись на коня и скачи прямо к князю Витовту. Напомни ему о себе, поклонись, и он примет тебя, и будет тебе у него как у Христа за пазухой. Болтает тут народ, будто татары истребили княжее войско. Кто его знает, может, так оно и есть, потому покойная королева это предсказывала. Коли верно это, так князю и вовсе нужны будут рыцари, и он тебя с радостью встретит. Ты же держись его, потому нет на свете лучше службы, как у него. Другой король проиграет войну, и тут ему конец, а князь Витовт так изворотлив, что проиграет войну и становится еще могущественней. И щедр он, да и наших очень любит. Расскажи ему все, как было. Скажи, что хотел идти с ним на татар, да не мог, в темнице сидел. Бог даст, одарит он тебя землей, мужиками, и в рыцари посвятит, и перед королем за тебя заступится. Хороший он покровитель — вот увидишь! Ну так как же?

Збышко слушал в молчании. А Мацько, словно вдохновившись собственными словами, продолжал:

— Не погибать тебе, молодому, а в Богданец надо вернуться. А воротишься, сразу женись, чтобы род наш не вымер. И только тогда, когда детей родишь, можешь вызвать Лихтенштейна на смертный бой, а до этого ни на ком не ищи мести, а то подстрелят тебя где-нибудь в Пруссии, как меня подстрелили, и тогда уж ничем не поможешь. Бери же кафтан, бери шапку — и бегом.

С этими словами Мацько встал и начал было раздеваться, но Збышко тоже поднялся, остановил его и сказал:

— Не сделаю я этого — истинный Бог, не сделаю.

— Это почему же? — спросил в удивлении Мацько.

— Да вот так, не сделаю, и конец.

Мацько даже побледнел от волнения и гнева.

— Лучше б тебе на свет не родиться.

— Вы уж говорили каштеляну, — сказал Збышко, — что отдадите свою голову за мою.

— Откуда ты это знаешь?

— Мне сказал пан из Тачева.

— Ну и что из этого?

— Что из этого? А то, что вам каштелян сказал: позор пал бы тогда и на меня и на весь наш род. А разве не зазорней было бы, когда б я бежал отсюда, а вас оставил здесь на расправу?

— На какую расправу? Что они мне сделают, коли я и так помру? Опомнись, на милость Божию!

— Тем паче. Да разразит меня Господь, коли я вас, старика больного, да оставлю здесь. Тьфу! Позор!..

Воцарилось молчание; слышно было только тяжелое хриплое дыхание Мацька да оклики лучников, стоявших на страже у ворот. На дворе уже спустилась темная ночь...

— Послушай, — произнес наконец Мацько прерывистым голосом, — не зазорно было князю Витовту бежать так из Крева, не зазорно будет и тебе...

— Эх! — с грустью сказал Збышко — Вы же знаете! Князь Витовт — он ведь великий князь, он корону получил из королевских рук, у него богатство и власть — а я бедный шляхтич, нет у меня ничего, одна только честь...

Через минуту он воскликнул, словно охваченный внезапным гневом:

— А того вы не хотите понять, что я тоже вас люблю и не отдам вашу голову за свою?

Тут Мацько поднялся, пошатываясь протянул руки и, хоть люди в те времена были тверды душой, словно выкованы из железа, крикнул вдруг раздражающим душу голосом:

— Збышко!..

А на другой день судейские служки стали свозить на рынок бревна для помоста, который должны были воздвигнуть против главного входа в ратушу.

Однако княгиня все еще советовалась с Войцехом Ястжембцем, Станиславом из Скарбимежа и другими учеными канониками, искушенными как в писаных, так и неписаных законах. Ее побудили к этому слова каштеляна, который заявил, что, если ему найдут «закон или хоть предлог какой», он немедленно освободит Збышка. Совет держали подолгу, стараясь изыскать какое-нибудь средство спасения, и ксендз Станислав, даже напутствовав Збышка и в последний раз причастив его, прямо из подземелья вернулся еще раз на совет, который затянулся чуть не до рассвета.

Тем временем наступил день казни. С утра толпы народа потекли на рынок, так как поглазеть на отрубленную голову шляхтича было куда любопытнее, нежели на голову простолюдина, да и погода стояла чудесная. А тут еще среди женщин разнесся слух о молодости и необычайной красоте осужденного, так что вся дорога к замку запестрела, словно цветами, целыми толпами разряженных горожанок; на рынке, в окнах, выходящих на площадь, и на балконах тоже виднелись чепцы, золотые и бархатные повязки или непокрытые головы девушек, украшенные только венками из лилий и роз. Городские советники, хотя все это дело их, собственно говоря, не касалось, вышли для пущей важности все на площадь и стали позади рыцарей, которые, желая выказать свое сочувствие Збышку, толпой стояли у самого помоста. За ними пестрела толпа мелких купцов и ремесленников в одеждах своих цехов. Школяры и ребятишки, которых народ оттеснял назад, как назойливые мухи вертелись в толпе, пролезая вперед всюду, где только было возможно. Над всей этой массой человеческих голов высился покрытый новым сукном помост, на котором стояли три человека: палач, широкоплечий, страшный немец, в красном кафтане и таком же колпаке, с тяжелым обоюдоострым мечом в руке, и два его помощника с обнаженными руками и веревками за поясом. У ног их стояли плаха и гроб, тоже обитый сукном. На колокольне костела Девы Марии звонили колокола, наполняя город медными звуками и спугивая стаи галок и голубей. Толпа то смотрела на дорогу, ведущую к замку, то на помост и палача с мечом в руке, сверкавшим в сиянии солнечных лучей, то, наконец, на рыцарей, на которых горожане всегда глазели с особенным любопытством и почтением. Да и было на что поглазеть в этот раз — самые прославленные рыцари выстроились четырехугольником у помоста. Народ дивился на широкие плечи и осанку Завиши Чарного, на его кудри цвета воронова крыла, разметавшиеся по плечам, дивился на приземистую квадратную фигуру и ноги колесом Зындрама из Машковиц, и на великанский, прямо нечеловеческий рост Пашка Злодзея из Бискупиц, и на грозное лицо Бартоша из Водзинка, и на красоту Добка из Олесницы, который в Торуне одолел на ристалище двенадцать немецких рыцарей, и на Зигмунта из Бобовой, который точно так же прославился на ристалище с венграми в Кошицах, и на Кшона из Козихглов, и на страшного в рукопашном бою Лиса из Тарговиска, и на Сашка из Харбимовиц, который мог догнать скачущего коня. Общее внимание привлек также Мацько из Богданца; старик был бледен, его поддерживали Флориан из Корытницы и Марцин из Вроцимовиц. Все думали, что это отец осужденного.

Однако самое большое любопытство возбуждал Повала из Тачева, который, стоя в первом ряду, держал на могучих руках Данусю во всем белом, с веночком из зеленой руты на светлых волосах. Народ не понимал, что это значит и зачем этой девочке в белом смотреть на казнь. Одни говорили, что это сестра, другие полагали, что возлюбленная молодого рыцаря, но и они не могли объяснить, почему она в таком наряде и зачем явилась сюда. Сострадание и жалость пробудило у всех ее личико, румяное как яблочко, но все залитое слезами. По густой толпе пробежал ропот, народ негодовал на неумолимого каштеляна, на суровый закон; ропот, нарастая, обратился в грозный гул, раздались даже голоса, что надо снести помост и казнь тогда будет отложена.

Толпа оживилась, заволновалась. Народ заговорил о том, что, будь король в Кракове, он, без сомнения, помиловал бы юношу, который, как уверяли, не совершил никакого преступления.

Все стихло, однако, когда далекие клики возвестили о приближении королевских лучников и алебардников, которые вели осужденного. Вскоре шествие показалось на рыночной площади. Его открывало похоронное братство; погребальщики шли в черных, до самой земли плащах, черные наголовники с прорезями для глаз закрывали им все лицо. Народ боялся этих мрачных фигур и смолк при их появлении. За ними выступал отряд лучников из отборных литвинов, одетых в кафтаны из сыромятной лосиной кожи. Это был отряд королевской гвардии. В хвосте шествия виднелись алебарды другого отряда, а посредине, между судебным писцом, который должен был огласить приговор, и ксендзом Станиславом из Скарбимежа, несшим распятие, шел Збышко.

Все взоры обратились теперь на него, женщины высунулись из всех окон, перегнули через перила балконов. Збышко шел в своем добытом в бою белом полукафтани, расшитом золотыми грифами с золотой оторочкой понижу, и в этом великолепном наряде казался принцем или юношей из знатного дома. По росту, по плечам, обтянутым полукафтаном, по сильным ляжкам и широкой груди его можно было принять за зрелого мужа, но голова у него была детская и лицо юное, прекрасное, с первым пушком на верхней губе, лицо королевского пажа, с золотыми кудрями до плеч, ровно подрезанными над бровями. Он шел ровным, упругим шагом, но лицо его было бледно. Порою словно сквозь сон глядел он на толпу, порою поднимал глаза к колокольне, к стаям галок и колоколам, которые, раскачиваясь, вызванивали ему смертный час, порою же на лице его изображалось как бы изумление: неужели и этот звон, и рыдания женщин, и торжество — все это ради него? На рынке Збышко еще издали увидел

наконец помост и на нем красный силуэт палача. Он вздрогнул и перекрестился, ксендз в ту же минуту дал ему приложиться к кресту. Юноша сделал еще несколько шагов, и к ногам его упал букетик васильков, брошенный из толпы молодой девушкой, Збышко наклонился и, подняв его, улыбнулся девушке, которая громко заплакала. Но, видно, он решил, что на глазах у толпы, на глазах у женщин, махавших из окон платками, надо мужественно встретить смерть и оставить по крайней мере память о себе как о «храбром молодце», — он собрал поэтому все свое мужество, всю силу воли и, внезапным движением откинув кудри назад, еще выше поднял голову и шел гордо, как победитель после рыцарских ристалищ, когда его ведут за наградой. Однако шествие подвигалось медленно, так как толпа становилась все гуще и неохотно перед ним расступалась. Тщетно литовские лучники, шедшие в первом ряду, кричали: «Eyk szalin! Eyk szalin!» («Прочь с дороги!») Люди не желали догадываться, что значат эти слова, и все больше теснились кругом. Хотя в те времена среди краковских горожан две трети составляли немцы, однако вокруг раздавались грозные проклятия крестоносцам: «Позор! Позор! Чтоб они пропали, тевтонские псы, из-за них должны на плахе погибать наши дети! Позор королю и королевству!» Натолкнувшись на сопротивление, литвины сняли с плеч натянутые самострелы и стали исподлобья поглядывать на людей, не осмеливаясь, однако, без приказа стрелять по толпе. Капитан послал тогда вперед алебардников, которым легче было проложить алебардами дорогу, и шествие приблизилось таким образом к рыцарям, которые стояли четырехугольником у помоста.

Рыцари расступились без сопротивления. Первыми на помост взошли алебардники, за ними последовал Збышко с ксендзом и писцом. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Из рядов рыцарей выступил вдруг Повала с Данусей на руках и крикнул: «Стой!» — таким громовым голосом, что все мгновенно стали как вкопанные. Ни капитан, ни солдаты не хотели оказывать сопротивление вельможному пану и опоясанному рыцарю, которого каждый день видели в замке, нередко за доверительной беседой с королем. К тому же и другие, не менее прославленные рыцари тоже стали повелительно кричать: «Стой, стой!» Пан из Тачева приблизился к Збышку и передал ему одетую в белое Данусю.

Думая, что это он должен проститься с Данусей, Збышко схватил ее в объятия и прижал к груди; но Дануся, вместо того чтобы прильнуть к нему и обвить ручонками его шею, поспешно выдернула из-под рутового венка и сорвала со своих светлых волос белое покрывало, окутала им всю голову Збышка и сквозь слезы изо всей силы выкрикнула детским своим голоском:

— Он мой! Он мой!

— Он ее! — подхватили могучие голоса рыцарей. — К каштеляну!

Им ответил громopodobный крик народа: «К каштеляну! К каштеляну!» Исповедник поднял глаза к небу, судебный писец растерялся, капитан и алебардники опустили оружие, ибо все поняли, что произошло.

Искони существовал такой польский, вернее, общеславянский обычай, почитавшийся крепче закона и известный на Подгалье, в Краковском воеводстве и в других краях; когда юношу вели на казнь, невинная девушка могла набросить на него покрывало в знак того, что хочет выйти за него замуж: тем самым она спасала осужденного от смерти и наказания. Этот обычай знали рыцари, знали крестьяне, знал городской люд; о том, как он крепок, слыхали и немцы, с давних времен поселившиеся в польских городах и замках. Мацько, как увидел всю эту картину, даже как-то ослаб от волнения; рыцари, тотчас отстранив лучников, окружили Збышка и Данусю, а взволнованный и обрадованный народ все громче и громче кричал: «К каштеляну! К каштеляну!» Толпа народу, словно могучая морская волна, хлынула вдруг к помосту. Палач и его помощники поспешно сбежали вниз. Началось замешательство. Всем стало ясно, что, если Ясько из Тенчина решит пойти против освященного веками обычая, в городе вспыхнет грозное волнение. Народ лавиной ринулся на помост. В мгновение ока было сорвано и изодрано в клочья сукно, затем под сильными руками и под ударами топоров заходили, затрещали и разлетелись в щепки бревна и доски, и вскоре на рыночной площади от помоста не осталось и следа.

А Збышко, все еще держа Данусю на руках, возвращался в замок, но на этот раз как подлинный победитель, как триумфатор. Рядом с ним шли сияющими лицами первые рыцари королевства, а по обе стороны от них, впереди и позади толпились тысячи женщин, мужчин и детей; они неистово кричали и пели, протягивали к Данусе руки и прославляли мужество и красоту жениха и невесты. В окнах богатые горожанки рукоплескали чете, и глаза у всех были залиты слезами счастья. Венки из лилий и роз, ленты и даже парчовые повязки дождем падали к ногам счастливого юноши, а он, сияя, как солнце, с сердцем, переполненным благодарностью, то и дело поднимал вверх свою белую панну, целовал ей в восторге порою колени; юные горожанки, умилившись при виде этого, бросались в объятия своих возлюбленных и заверяли их, что, случись с ними такая беда, они спасут их так же, как эта девушка спасла своего молодого рыцаря. Збышко и Дануся стали как бы возлюбленными детьми рыцарей, горожан и простого народа. Старый Мацько, которого все еще

вели под руки Флориан из Корытницы и Марцин из Броцимовиц, чуть не терял рассудок от радости и вместе с тем диву давался, как это ему не пришло в голову, что можно таким образом спасти племянника. Среди общего шума Повала из Тачева рассказывал рыцарям своим могучим голосом, как Войцех Ястжембец и Станислав из Скарбимежа, знатоки писанных законов и обычаев, додумались до этого способа спасения, вернее, вспомнили о нем на советах, которые держали с княгиней, а рыцари дивились его простоте и толковали между собой, что, верно, потому никто не помнит этого обычая, что в городе, населенном немцами, он давно уже вывелся.

Однако все зависело еще от каштеляна. Рыцари направились с народом в замок, где в отсутствие короля пребывал пан краковский, и судейский писец, ксендз Станислав из Скарбимежа, Завиша, Фарурей, Зындрам из Машковиц и Повала из Тачева тотчас пошли к каштеляну, чтобы представить ему, сколь крепок обычай, и напомнить его собственные слова, что, если найдется «закон или хоть предлог какой», он тотчас освободит осужденного. А мог ли закон быть лучше исконного обычая, которого никогда никто не преступал? Правда, пан из Тенчина возразил, что обычай этот более приличествует простонародью да подгальским разбойникам, нежели шляхте, но старик был слишком сведущ в законах, чтобы не признать за ним силу. Прикрывая рукой свою серебряную бороду, он при этом улыбался в усы и, видно, тоже был рад. Кончилось тем, что он вышел на невысокое крыльцо в сопровождении княгини Анны Дануты, нескольких духовных лиц и рыцарей.

Увидев его, Збышко снова поднял вверх Данусю, а каштелян положил на ее золотые волосы свою дряхлую руку, минутку подержал, а затем добродушно и важно кивнул седой головой.

Все поняли этот знак, и стены замка сотряслись от приветственных кликов. «Помоги ему, Боже! Многая лета справедливому пану! Да здравствует и чинит суд и расправу над нами!» — слышалось со всех сторон. Затем раздались новые клики в честь Дануси и Збышка, а через минуту оба они, поднявшись на крыльцо, упали к ногам доброй княгини Анны Дануты, которой Збышко был обязан жизнью, потому что это она придумала с учеными, как спасти его, и научила Данусю, что ей надо делать.

— Да здравствует молодая чета! — воскликнул Повала из Тачева, увидев, что Дануся и Збышко повалились в ноги княгине.

— Да здравствует! — подхватили все остальные.

А седой каштелян обернулся к княгине и сказал:

— Что ж, княгиня, сейчас должно состояться обручение, так велит обычай.

— Обручение состоится сейчас, — сияя, ответила добрая княгиня, — но вести молодых к венцу и в опочивальню без родительского благословения Юранда из Спыхова я не позволю.

VII

Мацько и Збышко держали у купца Амылея совет, что делать дальше. Старый рыцарь ждал скорой смерти; о том, что дни его сочтены, говорил ему и сведущий в ранах францисканец отец Цыбек, и старик хотел вернуться в Богданец, чтобы быть погребенным рядом с прахом отцов на кладбище в Острове.^[46]

Однако не все его предки покоились в Острове. Обширен был некогда его род. Во время войн предки Мацька призывали друг друга кличем «Грады!» и, будучи обладателями герба Тупая Подкова, почитали себя выше тех шляхтичей, которые не имели права на герб. В тысяча триста тридцать первом году, в битве под Половцами, семьдесят четыре воина из Богданца были перестреляны на болоте немецкими лучниками, уцелел один только Войцех, по прозванию Тур, за которым король Владислав Локоток после разгрома немцев особой грамотой закрепил герб и земли Богданца. Кости всех прочих белели с той поры на половецких полях, а Войцех вернулся на родное пепелище лишь затем, чтобы увидеть полный упадок своего рода.

Пока мужи из Богданца гибли от немецких стрел, рыцари-разбойники из близлежащей Силезии напали на их родовое гнездо, сожгли его дотла, а жителей истребили или угнали в неволю, чтобы продать в отдаленные немецкие земли. Войцех остался один-одинешенек в уцелевшем от огня старом доме и стал владельцем обширных, но пустых земель, ранее принадлежавших всему его шляхетскому роду. Спустя пять лет он женился и, прижив двоих сыновей, Яська и Мацька, в лесу на охоте был убит туром.

Сыновья росли под опекой матери, Кахны из Спаленицы, которая в двух походах отомстила силезским немцам за старую обиду, а в третьем — сама сложила голову. Ясько, возмужав, женился на Ягенке из Моцажева, которая родила ему Збышка. Мацько остался холостяком и, насколько позволяли военные походы, присматривал за имением и племянником.

Но когда во время междоусобной войны Гжималитов и Наленчей в Богданце снова были сожжены все хаты, а крестьяне разогнаны, Мацько тщетно пытался один восстановить хозяйство. Пробившись попусту много лет, он в конце концов заложил земли своему родственнику аббату, а сам с маленьким еще Збышком двинулся на Литву воевать против немцев.

Однако он никогда не терял Богданца из виду. Да и на Литву отправился для того, чтобы захватить добычу и, вернувшись со временем

домой, выкупить землю, заселить ее невольниками, отстроить городок и поселить в нем Збышка. И сейчас, после счастливого спасения юноши, он об одном этом и думал и об одном этом советовался с ним у купца Амылея.

Землю им было на что выкупить. Военная добыча, выкупы, которые они брали с захваченных в плен рыцарей, и дары Витовта составили немалое богатство. Особенно много принесла им битва не на жизнь, а на смерть с двумя фризскими рыцарями. Одни доспехи, которые они захватили у этих рыцарей, составляли по тем временам целое состояние, а кроме доспехов, им достались еще повозки, лошади, люди, одежда, деньги и все богатое воинское снаряжение. Многие из этой добычи приобрел теперь у них купец Амылей, в том числе две штуки отменного фландрского сукна, которое возили с собой запасливые и богатые фризцы. Мацько продал также свои добытые в бою дорогие доспехи, полагая, что смерть его близка и они ему уже не понадобятся. Бронник, купивший эти доспехи, на следующий день перепродал их Марцину из Вроцимовиц герба Пулкоза и получил большой барыш, так как броня миланских мастеров ценилась в те времена дороже всех прочих.

Збышку страх как жаль было этих доспехов.

— Ну а, Бог даст, поправитесь, — говорил он дяде, — где вы найдете тогда другие такие?

— Там же, где и эти нашел, — отвечал Мацько, — на другом каком-нибудь немце. Но смерти мне уже не миновать. Жало расщепилось у меня между ребрами, и застрял осколок. Я все его нащупывал, хотел захватить ногтями и вытащить, но только еще больше загнал в середину. Теперь уж с ним ничего не поделаешь.

— Выпить бы вам чугунок-другой медвежьего сала!

— Да! Отец Цыбек тоже говорил, что хорошо было бы, — может, осколок как-нибудь и вылез бы. Да где же здесь сала достанешь? То ли дело в Богданце — взял секиру да присел на ночь под бортью!

— Вот и надо ехать в Богданец. Только вы смотрите в дороге у меня не помрите.

Старый Мацько растроганно посмотрел на племянника.

— Знаю я, куда тебя тянет: коли не ко двору князя Януша, так к Юранду в Спыхов, набеги учинять на хелминских немцев.

— Что ж, отпираться не стану. Я бы с радостью поехал в Варшаву или в Цеханов с двором княгини, лишь бы только подольше побыть с Дануськой. Мне теперь без нее не жизнь, ведь она не только моя госпожа, но и моя любовь. Гляжу не нагляжусь я на нее, а как вздумаю только о ней, сердце заноеет в истоме. На край света пошел бы за нею, но сейчас я перед

вами в долгу. Вы меня не покинули, и я вас не покину. В Богданец так в Богданец.

— Хороший ты хлопец, — сказал Мацько.

— Господь бы меня покарал, коли б я с вами не был хорош. Гляньте, уже запрягают. Я на одну телегу велел положить для вас сена. Дочка Амылея подарила нам отличную перину, только вот жарко вам будет, не знаю, уложите ли вы на ней. Мы поедем не торопясь, вместе с княгиней и ее свитой, чтобы было кому присмотреть за вами. Они потом свернут на Мазовию, а мы к себе — и помогай Бог!

— Пожить бы мне еще немного, чтоб успеть городок отстроить, — сказал Мацько, — я ведь тебя знаю: помру, ты не очень-то будешь думать о Богданце.

— Это почему же?

— В голове у тебя будут драки да любовь.

— А у вас в голове не была война? Я уж обо всем хорошенько подумал, что стану делать: перво-наперво поставим городок из крепкого дуба да велим его рвом обнести.

— Ты тоже так думаешь? — живо спросил Мацько. — Ну а как поставим городок, что тогда? Говори же!

— Как поставим городок, я тотчас поеду ко двору княгини в Варшаву или в Цеханов.

— После моей смерти?

— Ну, коли вы скоро помрете, так после вашей смерти, но только раньше тризну по вас справлю, а коли, Бог даст, выздоровеете, так вы останетесь в Богданце. Княгиня мне посулила, что князь опояшет меня рыцарским поясом. Иначе Лихтенштейн не захочет драться со мной.

— Так ты потом отправишься в Мальборк?

— В Мальборк ли, на край ли света, лишь бы только добыть Лихтенштейна.

— За это я не стану тебя попрекать. Либо ему, либо тебе на свете не жить!

— Уж я вам перчатку его и пояс привезу в Богданец, — это вы не сомневайтесь.

— Ты только бойся измены. Вероломный это народ.

— Я поклонюсь князю Янушу и попрошу послать меня к великому магистру за охранной грамотой. Нынче у нас мир. Я поеду за охранной грамотой в Мальборк, а там всегда гостит много рыцарей. Ну, вы сами понимаете, — сперва я возьмусь за Лихтенштейна, а там погляжу, у кого павлиньи чубы на шлемах, и стану по очереди тех вызывать. Боже ты мой!

Да коли мне Христос поможет одолеть их, так ведь я и обет исполню.

Збышко улыбался при этом своим собственным мыслям, и лицо у него было совсем как у мальчика, который расписывает, какие рыцарские подвиги он совершит, когда вырастет.

— Эх! — сказал Мацько, качая головой. — Да кабы ты троих знатных рыцарей одолел, так не только обет бы исполнил, но и снаряжение у них захватил, да еще какое снаряжение — Боже ты мой!

— Что там троих! — воскликнул Збышко — Я еще в темнице сказал себе, что не пожалею для Дануси немцев. Не троих, а столько, сколько пальцев на обеих руках!

Мацько пожал плечами.

— Хотите верьте, хотите не верьте, — сказал Збышко, — а я из Мальборка поеду прямо к Юранду из Спыхова. Как же мне не явиться к нему на поклон, коли он отец Дануси? Мы с ним станем чинить набеги на хелминских немцев. Вы ведь сами говорили, что он — гроза всех немцев, страшной его для них во всей Мазовии нету.

— А коли он не отдаст за тебя Дануську?

— И чего это ему не отдать ее! Он ищет мести за свою обиду, я — за свою. Кого же ему найти лучше меня? Уж раз княгиня разрешила отпраздновать обручение, так и он не станет противиться.

— Я только одно думаю, — сказал Мацько, — заберешь ты с собой всех людей из Богданца, чтоб и у тебя были слуги, как подобает рыцарю, а земля останется без рук. Покуда жив, не дам я тебе людей, ну а после моей смерти ты как пить дать их заберешь.

— Господь Бог пошлет мне слуг, да и Янко из Тульчи — родич наш, значит, не пожалеет.

В это мгновение дверь отворилась, и как бы в доказательство того, что Господь Бог печется о Збышке, вошли два человека, чернявые, плотные, в желтых, похожих на еврейские, кафтанах, в красных шапках и необъятных шароварах. Остановившись в дверях, они стали прикладывать пальцы ко лбу, к губам и к груди и кланяться при этом до самой земли.

— Это что за басурманы? — спросил Мацько. — Вы кто такие?

— Мы ваши невольники, — ответили пришельцы на ломаном польском языке.

— Как так? Откуда? Кто вас сюда прислал?

— Нас прислал пан Завиша в дар молодому рыцарю, чтобы мы были его невольниками.

— Боже мой! Еще два мужика! — с радостью воскликнул Мацько. — Из каких же вы будете?

— Мы турки.

— Турки? — переспросил Збышко. — У меня слугами будут два турка. Вы видали когда-нибудь турок?

И, подбежав к невольникам, он стал ощупывать и оглядывать их, как особенных заморских зверей.

— Видать не видал, — ответил Мацько, — но слышал, что у пана из Гарбова есть на службе турки, которых он захватил в неволю, когда воевал на Дунае у римского императора Сигизмунда. Как же быть? Ведь вы, собачьи дети, басурманы?

— Пан велел нам креститься, — сказал один из невольников.

— А выкупа у вас не было?

— Мы издалека, с азиатского берега, из Бруссы.

Збышко, который всегда с жадностью слушал рассказы о войне, особенно о подвигах достославного Завиши из Гарбова, стал расспрашивать турок, как они попали в неволю. Но в рассказе их не было ничего необычайного: три года назад Завиша напал в овраге на турецкий отряд в несколько десятков сабель, часть турок перебил, часть захватил в плен, а потом многих раздарил. Збышко и Мацько страшно обрадовались, получив такой замечательный подарок. С невольниками в те времена было особенно трудно, и обладатель их мог почитать себя богатым человеком.

А тем временем пришел и сам Завиша в сопровождении Повалы и Пашка Злодзеля из Бискупиц. Все они принимали участие в спасении Збышка и были рады, что все кончилось благополучно, а потому на прощание все они принесли ему на память подарки. Щедрый пан из Тачева принес широкую богатую попону для коня, отороченную спереди золотой бахромой. Пашко подарил венгерский меч ценою в несколько гривен. Потом пришли Лис из Тарговиска, Фарурей и Кшон из Козихглув с Марцином из Вроцимовиц и, наконец, Зындрам из Машковиц — все с полными руками.

С радостью в сердце приветствовал их Збышко, счастливый и потому, что получил такие подарки, и потому, что самые славные рыцари королевства оказывают ему свое расположение. Они расспрашивали его об отъезде и о здоровье Мацька; как люди опытные, хоть и молодые, советовали всякие чудодейственные снадобья для ран.

Но Мацько только поручал Збышко их попечению, а сам собирался помирать. Трудно жить с осколком железа под ребрами. Старик жаловался, что все время плюет кровью и не может есть. Кварта лущеных орехов, кружок колбасы да миска яичницы — вот и вся его еда за целый день. Отец Цыбек несколько раз пускал ему кровь, полагая, что таким образом оттянет

жар от сердца и вернет аппетит, — но и это не помогло.

Однако Мацько так был рад подаркам, которые получил племянник, что в эту минуту почувствовал себя получше, и, когда купец Амылей велел принести бочонок вина, чтобы попотчевать столь славных гостей, старик сел вместе с ними за чару. За столом завели разговор о спасении Збышка и о его обручении с Дануськой. Рыцари не сомневались, что Юранд из Спыхова не станет противиться воле княгини, особенно если Збышко отомстит за мать Дануськи и добудет обещанные павлиньи чубы.

— Вот только не знаем мы, — сказал Завиша, — захочет ли Лихтенштейн драться с тобой, он ведь монах и к тому же один из магистров ордена. Мало того! Люди из его свиты говорили, будто со временем он может стать великим магистром.

— Откажется драться — честь свою замарает, — заметил Лис из Тарговиска.

— Нет, — возразил Завиша, — он не светский рыцарь, а монахам не дозволяется драться на поединке.

— Да, но они часто это делают.

— Это потому, что в ордене перестали блюсти законы. Дают монахи всякие обеты, а слава идет, что, к вящему соблазну христианского мира, они только и делают, что нарушают свои обеты. Но драться не на жизнь, а на смерть крестоносец, особенно комтур, может, и не станет.

— Ну тогда ты его только на войне сыщешь.

— Так ведь поговаривают, будто войны не будет, — сказал Збышко, — будто крестоносцы страшатся теперь нашего народа.

— Недолго будет этот мир, — возразил Зындрам из Машковиц. — Не может быть мира с волком, который привык жить чужим.

— А тем временем нам, может, придется сразиться с Тимуром Хромым, — сказал Повала. — Едигей разбил князя Витовта, это уж доподлинно известно.

— Доподлинно. И воевода Спытко не вернулся, — подхватил Пашко Злодзей из Бискупиц.

— И много литовских князей полегло в бою.

— Покойная королева предсказывала, что так оно будет, — сказал пан из Тачева.

— Да, придется нам, пожалуй, двинуться на Тимура.

И разговор перешел на литовский поход против татар. Не оставалось уже никакого сомнения, что князь Витовт, полководец не столько опытный, сколько горячий, потерпел страшное поражение на Ворскле, причем пало множество литовских и русских бояр, а с ними горсточка польских

рыцарей-охотников и даже крестоносцев. Рыцари, собравшиеся у Амылея, особенно сокрушались об участии молодого Спытка из Мельштына, самого знатного вельможи во всем королевстве, который по доброй воле отправился в поход и после битвы пропал без вести. Его перевозносили до небес за подлинно рыцарский поступок: получив от татарского хана охранный колпак, он не захотел надеть его во время битвы, предпочтя славную смерть жизни по милости басурманского владыки. Однако еще не было точно известно, погиб он или попал в неволю. Из неволи он легко мог выкупиться, так как богатства его были неисчислимы, а король Владислав отдал ему вдобавок в ленное владение всю Подолию.

Но поражение литвинов могло быть чревато опасностью и для всего государства Ягайла, так как никто толком не знал, не бросятся ли татары, воодушевленные победой над Витовтом, на земли и города, принадлежащие великому княжеству. В этом случае в войну было бы вовлечено и королевство. Поэтому такие рыцари, как Завиша, Фарурей, Добко и даже Повала, привыкшие искать приключений и битв при заграничных дворах, умышленно не покидали Краков, не зная, что может принести недалекое будущее. Если бы повелитель двадцати семи государств, Тамерлан, двинул на Запад весь монгольский мир, грозная опасность нависла бы над королевством. Кое-кто предвидел, что это может произойти.

— Надо будет, так и с самим Хромцом сразимся. Не справиться ему так легко с нашим народом, как со всеми теми, кого он истребил и покорил. Да и другие христианские государи придут нам на помощь.

Зындрам из Машковиц, пылавший к ордену особенной ненавистью, с горечью возразил собеседнику:

— Не знаю, как государи, а крестоносцы готовы покумиться с татарами и ударить на нас с другой стороны.

— Вот и быть войне! — воскликнул Збышко. — Я против крестоносцев!

Но другие рыцари стали возражать. Хоть крестоносцы и не знают страха Божия и пекутся только о своем добре, но не станут они помогать басурманам против христианского народа. Да и Тимур воюет где-то далеко в Азии, а татарский хан Едигей столько людей потерял в битве, что, кажется, сам испугался своей победы. Князь Витовт предусмотрителен и, наверно, хорошо укрепил свои города, да и то надо сказать, коли потерпели на этот раз литвины неудачу, так ведь не внове им и победы над татарами одерживать.

— Не с татарами, а с немцами придется нам биться не на жизнь, а на

смерть, — сказал Зындрам из Машковиц, — не уничтожим мы их, так от их рук сами погибнем.

После этого он обратился к Збышку:

— А прежде всех погибнет Мазовия. Не бойся, для тебя там всегда найдется работа!

— Эх! Кабы дядя был здоров, я бы сейчас же туда двинулся.

— Бог тебе в помощь! — сказал Повала, поднимая кубок.

— За здоровье твое и Дануськи!

— И за смерть немцам! — прибавил Зындрам из Машковиц.

И рыцари стали прощаться со Збышком. Но тут вошел придворный княгини с соколом в руке, поклонился рыцарям и, как-то странно улыбаясь, обратился к Збышку:

— Княгиня велела сказать вам, что эту ночь проведет в Кракове и тронется в путь только завтра утром.

— Вот и хорошо, — сказал Збышко. — Только почему же? Не захворал ли кто?

— Нет. У княгини гость из Мазовии.

— Уж не князь ли приехал?

— Нет, не князь, а Юранд из Спыхова, — ответил придворный.

При этих словах Збышко пришел в крайнее смущение, и сердце затрепетало у него в груди так, как в ту минуту, когда ему читали смертный приговор.

VIII

Княгиня Анна не очень удивилась приезду Юранда из Спыхова — среди постоянных набегов, преследований и битв с соседними немецкими рыцарями им часто овладевала вдруг тоска по Данусе. Тогда он неожиданно появлялся в Варшаве, Цеханове или ином месте, где временно находился двор князя Януша. При виде девочки злая грусть всякий раз начинала терзать его сердце. С годами Дануся все больше становилась похожа на мать, и Юранду казалось, что он видит свою покойницу такой, какой когда-то увидел впервые у княгини Анны в Варшаве. Не раз люди думали, что от злой этой грусти смягчится в конце концов его железное сердце, исполненное одной только жаждой мести. Княгиня тоже часто уговаривала его покинуть свой кровавый Спыхов и остаться при дворе с Данусей. Сам князь, ценя его силу и мужество и желая вместе с тем избавиться от неприятностей, которые доставляли ему постоянные пограничные стычки, даровал Юранду чин мечника. Все было напрасно. Вид Дануси растравлял его старые раны. Через несколько дней Юранд терял аппетит и сон, становился неразговорчив. Гнев начинал kloкотать в его груди, все в нем кипело мезтью, и в конце концов он исчезал и возвращался на спыховские болота, чтобы утопить в крови свою тоску и свой гнев. Люди говорили тогда: «Горе немцам! Они вовсе не овцы, но для Юранда они овцы, ибо он для них волк». А по прошествии некоторого времени разносился слух то о захваченных иноземцах, которые по пограничной дороге направлялись к крестоносцам в охотники, то о сожженных городках, то о захваченных в неволю мужиках или о смертельных схватках, из которых грозный Юранд всегда выходил победителем. Повадки у Мазуров и у немецких рыцарей, которым орден давал в аренду земли и городки на границе с Мазовией, были хищнические, поэтому даже во время полного мира между мазовецкими князьями и орденом на границе не прекращались кровавые столкновения. Даже лес рубить или жать хлеб жители выходили вооруженные самострелами или копьями. У людей не было уверенности в завтрашнем дне, они всегда жили, готовые к бою, и сердца их от этого ожесточились. Никто не ограничивался одной обороной и за грабеж платил грабежом, за пожар пожаром, за набег набегом. И случалось, что, когда немцы тихо крались по лесным рубежам, чтобы учинить набег на какой-нибудь городок, угнать мужиков или стада, мазуры в это время совершали такой же набег в другом месте. Не раз враги

сшибались в жестокой схватке, но часто только военачальники вызывали друг друга на смертный бой, после которого победитель угонял людей побежденного противника. И когда в Варшаву приходили жалобы на Юранда, князь отвечал жалобами на набеги, учиненные в других местах немецкими рыцарями. Таким образом, обе стороны жаждали справедливости, но ни одна не хотела и не могла соблюсти ее, и поэтому все грабежи, пожары и набеги оставались совершенно безнаказанными.

Но Юранд, сидя в своем болотистом, поросшем камышом Спыхове и пылая неутолимой жаждой мести, так донял своих зарубежных соседей, что в конце концов, невзирая на всю свою злобу, они в страхе перед ним отступились. Поля, граничившие со Спыховом, лежали невозделанные, леса зарастали диким хмелем и орешником, луга — камышом. Не один немецкий рыцарь, привыкший у себя дома к кулачному праву, пытался осесть по соседству со Спыховом, однако спустя немного времени он предпочитал отказаться от лена, стад и крестьян, чем жить под боком у неумолимого соседа. Часто рыцари сговаривались учинить всем вместе набег на Спыхов, но всякий раз такой набег кончался для них поражением. Они прибегали ко всяким способам. Однажды они привезли с Майна рыцаря, известного своей силой и жестокостью, выходившего победителем из всех боев, с тем чтобы он вызвал Юранда на поединок на утоптанной земле. Но когда противники заняли свои места и немец увидел грозного мазура, сердце у него упало, словно от какой-то колдовской силы, и он поворотил коня, чтобы спастись бегством, а Юранд пронзил ему копьем не защищенный броней зад и лишил его таким образом чести и жизни. С той поры такой страх объял соседей, что немец, завидев издали спыховские хаты, осенял себя крестным знаменем и начинал творить молитву своему покровителю на небесах, ибо отныне все утвердились в вере, что Юранд ради мести продал душу дьяволу.

О Спыхове рассказывали всякие страсти. Говорили, будто через топкие болота, посреди дремлющих, заросших ряской и горчаком трясин к Спыхову ведет такая узкая дорожка, что по ней рядом не могут проехать два всадника, будто по обочинам ее валяются немецкие кости, а ночью головы утопленных блуждают на паучьих ножках и со стоном и воем увлекают в трясину всадников вместе с лошадьми. Говорили, будто в самом городке частокол усажен человеческими черепами. Правдой во всем этом было только то, что из-под решетки подземелья, вырытого под домом в Спыхове, всегда доносился стон нескольких невольников и что имя Юранда страшнее всех сказок о скелетах и утопленниках.

Узнав о прибытии Юранда, Збышко тотчас поспешил к нему, но это

был отец Дануси, и поэтому Збышко шел к нему с тревогой в душе. Никто не мог воспретить ему избрать Дануську госпожой и дать ей обет, но ведь княгиня обручила его с нею. Что скажет на это Юранд? Даст ли он свое согласие на брак и что будет, если он закричит, что как отец никогда этого не допустит? Тревога росла в душе Збышка, ибо Дануся была сейчас для юноши дороже всего на свете. Только мысль о том, что Юранд не в вину, а в заслугу поставит ему нападение на Лихтенштейна, придавала Збышку бодрости; ведь он совершил этот поступок, желая отомстить за мать Дануси, и чуть было сам не поплатился за это головой.

Он стал расспрашивать придворного, посланного за ним к Амылею:

— Куда же вы меня ведете? В замок?

— Ну конечно, в замок. Юранд остановился там вместе с двором княгини.

— Скажите, что это за человек?.. Я должен знать, как надо с ним держаться...

— Как вам сказать? Он совсем не похож на других людей. Говорят, раньше, когда сердце его еще не ожесточилось, он был человек веселый.

— Умен ли он?

— Хитер, потому что других бьет, а сам не дается. Эх! Один у него глаз, другой немцы стрелой ему выбили, но одним этим глазом он человека видит насквозь. Никто не может с ним сладить... Любит Юранд только нашу княгиню, женился он на ее придворной, а сейчас вот его дочка у нее воспитывается.

Збышко вздохнул с облегчением.

— Так вы говорите, он не станет противиться воле княгини?

— Я понимаю, о чем вы хотите дознаться, и сейчас расскажу вам все, что слышал. Княгиня говорила ему о вашем обручении — нехорошо было бы утаить это от него, — но что Юранд ей сказал, не знаю.

Беседуя таким образом, они дошли до ворот. Капитан королевских лучников, тот самый, который недавно вел Збышка на казнь, теперь приветливо кивнул ему головой; миновав стражу, Збышко с посланцем княгини вошел во двор, а затем повернул направо к флигелю, который занимала княгиня.

Столкнувшись в дверях со слугой, придворный спросил:

— Где Юранд из Спыхова?

— В угольчатой комнате, с дочерью.

— Сюда пожалуйста, — сказал придворный, показывая на дверь.

Збышко перекрестился и, приподняв занавес на открытых дверях, с бьющимся сердцем вошел в комнату. Однако он не сразу заметил Юранда и

Данусю, потому что комната была не только угольчатая, но и темная. Только через некоторое время он разглядел светлую головку девочки, сидевшей на коленях у отца. Они не слышали, как Збышко вошел, поэтому он остановился у занавеса, кашлянул и наконец произнес:

— Слава Иисусу Христу!

— Во веки веков, — ответил Юранд, вставая.

В эту минуту к молодому рыцарю подбежала Дануся и, схватив его за руку, воскликнула:

— Збышко! Батюшка приехал!

Збышко поцеловал ей руку, затем подошел с нею к Юранду и сказал:

— Я пришел к вам с поклоном; вы знаете, кто я?

И он склонился, сделав руками такое движение, точно хотел обнять ноги Юранда. Но тот схватил его за руку, повернул к свету и в молчании вперил в него взор.

Збышко уже немного оправился и, подняв на Юранда любопытные глаза, увидел богатыря с рыжеватыми волосами и такими же рыжеватыми усами, с рябинами от оспы на лице и одним глазом стального цвета. Юноше казалось, что этот глаз хочет пронзить его насквозь, и он снова смутился и, не зная, что сказать, спросил, лишь бы только прервать тягостное молчание:

— Так вы Юранд из Спыхова, отец Дануси?

Но тот только указал Збышку на скамью рядом с дубовым креслом, на которое уселся он сам, и, не ответив ни слова, по-прежнему пристально смотрел на юношу.

Збышко потерял наконец терпение.

— Знаете, — сказал он, — неловко мне сидеть вот так, как на суде.

Только тогда Юранд спросил:

— Так это ты хотел сразить Лихтенштейна?

— Я! — ответил Збышко.

Удивительным светом зажегся при этом единственный глаз пана из Спыхова, и грозное лицо рыцаря немного прояснилось. Через минуту он бросил взгляд на Данусю и снова спросил:

— И все это ради нее?

— А ради кого же еще? Дядя, верно, вам рассказывал, что я дал ей обет сорвать у немцев павлиньи чубы. Только не три сорву я чуба, а по меньшей мере столько, сколько пальцев на обеих руках. И вам я помогу отомстить немцам — все ведь это месть за мать Дануси.

— Горе им! — воскликнул Юранд.

И снова воцарилось молчание. Однако Збышко сообразил, что,

выказывая свою ненависть к немцам, он привлечет к себе сердце Юранда.

— Не прощу я им ни за что, — сказал он, — хоть из-за них мне уже чуть голову не срубили.

Тут он повернулся к Данусе и прибавил:

— Она вот спасла меня.

— Знаю, — сказал Юранд.

— А вам это, может, не по сердцу?

— Коли дал ты обет, так служи ей — таков рыцарский обычай.

Збышко заколебался, но через минуту заговорил с видимым беспокойством:

— Видите ли... она мне на голову покрывало накинула... Все рыцари слышали, и францисканец, который был при мне с крестом, слышал, как она сказала: «Он мой!» И, видит Бог, ничьим я больше не буду до самой смерти.

При этих словах он снова преклонил колено и, желая показать, что знает рыцарские обычаи, весьма почтительно поцеловал оба башмачка Дануси, сидевшей на подлокотнике кресла, а затем повернулся к Юранду и сказал:

— Видали ль вы другую такую... а?

А Юранд схватился вдруг за голову своими страшными руками, пролившими столько крови, и, закрыв глаза, глухо ответил:

— Видал, только немцы убили ее у меня.

— Так вот, послушайте, — с жаром сказал Збышко, — одна у нас обида и месть одна. Да и наших из Богданца сколько эти псы перестреляли, когда кони их увязли в трясине. Никого лучше меня вы для вашего дела не сыщете... Не в диковинку мне все это! Спросите у дяди. На копьях ли, на секирах ли, на длинных или на коротких мечах — мне все едино! Рассказывал ли вам дядя про фризов? Как баранов, буду резать немцев; что ж до девушки, то на коленях клянусь вам, что за нее с самим сатаной выйду на бой и не променяю ее ни на землю, ни на стада, ни на какое оружие, и если мне даже замок со стеклянными окнами будут давать без нее, то и замок покину и пойду за нею на край света.

Некоторое время Юранд сидел, опустив голову на руки, а затем, словно очнувшись ото сна, сказал с сожаленьем и грустью:

— Полюбился ты мне, хлопец, но не отдам я ее за тебя, потому что не тебе, бедняга, она судьбою назначена.

Збышко просто дар речи потерял при этих словах и воззрился на Юранда широко раскрытыми глазами, не в силах слова молвить.

Однако на помощь ему пришла Дануса. Уж очень мил ей был Збышко,

и так приятно было, что ее принимают не за «коротышку», а за «невесту». Ей нравилось и обручение, и лакомства, которые ей каждый день приносил ее рыцарь, поэтому, поняв сейчас, что все это хотят у нее отнять, она мигом соскользнула с подлокотника и, спрятав голову на коленях у отца, закричала:

— Батюшка! Батюшка! Я буду плакать!

Юранд любил ее, видно, больше всего на свете: с нежностью положил он руку на голову дочери. На лице его не отразилось ни досады, ни гнева, одна только печаль.

Збышко тем временем оправился и сказал:

— Как же так? Значит, вы хотите воспротивиться воле Божьей?

— Коли будет на то воля Божья, — ответил ему Юранд, — Дануся будет твоею, но я на это не могу дать своего согласия. И рад бы, да не могу.

С этими словами Юранд поднял Данусю и, взяв ее на руки, направился было к двери, но, когда Збышко хотел преградить ему дорогу, он задержался на минуту и сказал:

— Я не буду на тебя в обиде за рыцарскую службу, но больше ни о чем меня не пытай, я ничего не могу тебе сказать.

И вышел вон.

Однако на другой день Юранд не сторонился Збышка и не мешал ему оказывать Данусе в пути всякие услуги, которые тот как рыцарь должен был ей оказывать. Как ни огорчен был Збышко, он все же заметил, что угрюмый пан из Спыхова поглядывает на него с благосклонностью и даже как будто сожалеет о том, что вынужден был дать ему столь жестокий ответ. По дороге молодой шляхтич не раз пытался приблизиться к Юранду и завязать с ним разговор. После выезда из Кракова это легко было сделать, так как оба они сопровождали княгиню верхом. Юранд, который обычно был молчалив, со Збышком беседовал довольно охотно; но как только тот делал попытку узнать, какое же препятствие встало между ним и Данусей, внезапно обрывал разговор и снова становился угрюм. Збышко подумал, не знает ли обо всем этом княгиня, и, улучив удобную минуту, попробовал расспросить ее, но и она не много могла ему рассказать.

— Какая-то тайна тут скрыта, — заметила она. — Мне сам Юранд сказал об этом, но просил ни о чем не выпытывать. Должно быть, он связан какой-то клятвой, это бывает. Бог даст, со временем все разъяснится.

— Мне без нее жить на свете все равно что псу на привязи или медведю в яме, — сказал ей Збышко. — Ни тебе радости, ни утешения. Одна тоска да печаль. Уж лучше было мне пойти с князем Витовтом к Тавани, пусть бы меня там татары убили. Но ведь мне сперва надо дядю отвезти домой, а потом, как я обещал, павлиньи чубы сорвать у немцев с голов. Может, убьют меня при этом, ну да оно и лучше было бы, чем смотреть, как другой возьмет Дануську.

Княгиня подняла на него свои голубые глаза и спросила с некоторым удивлением:

— Да неужто ты допустил бы до этого?

— Я-то? Да покуда я жив, этому не бывать! Разве рука отсохнет и не сможет держать секиру!

— Вот видишь!

— Да, но как же мне ее против воли родительской взять?

Будто про себя княгиня молвила:

— Господи, всяко бывает...

А потом Збышку сказала:

— Да разве воля Божья не выше родительской? А что сказал Юранд? «Коли будет на то воля Божья, — сказал он, — быть ей за Збышком».

— Он и мне это говорил! — воскликнул Збышко. — «Коли будет на то воля Божья, — сказал он, — быть ей за тобою».

— Вот видишь!

— При ваших милостях, вельможная пани, одно это у меня утешение.

— Мною ты не обижен, а Дануська тебе будет верна. Еще вчера я ее спрашивала: «Будешь ли, Дануська, Збышку верна?» А она мне отвечает: «Не ему, так никому не достанусь». Молодо-зелено, но ежели даст слово, то сдержит его; шляхтянка она, не какая-нибудь приبلуда. И мать у нее была такая.

— Дай-то Бог! — сказал Збышко.

— Но только помни, и ты сдержи свое слово, а то ваш брат такой: обещается верно любить — смотришь, а уж липнет к другой, да так, что и на привязи его не удержишь. Верно говорю!

— Разрази меня Бог! — с жаром воскликнул Збышко.

— То-то, помни. А как отвезешь дядю домой, приезжай к нам, ко двору. Случай представится, шпоры получишь, а там поглядим, что Бог даст. Дануська за это время подрастет, и сердце скажет ей, по ком оно болит; ведь она тебя крепко любит сейчас, — и говорить нечего, — но только не девичья еще это любовь. Может, и Юранду ты по сердцу придешься, сдается мне, он бы рад всей душой. И в Спыхов поедешь, на немцев с Юрандом двинешься, может статься, так ему угодишь, что совсем привлечешь его сердце.

— Я и сам, милостивейшая княгиня, думал это сделать, но, коли вы мне позволяете, так мне легче будет.

Разговор этот очень ободрил Збышка. Однако на первом же привале старому Мацьку стало так худо, что пришлось задержаться и ждать, пока он хоть немного оправится, чтобы продолжать путь. Добрая княгиня Данута оставила старику все лекарства и снадобья, какие только были при ней, но сама должна была ехать дальше, так что обоим рыцарям из Богданца пришлось расстаться с мазовецким двором. Повалился Збышко в ноги сперва княгине, а потом Данусе, еще раз поклялся своей госпоже, что будет верно служить ей, пообещал приехать вскоре в Цеханов или в Варшаву, обнял наконец ее сильными руками и, подняв вверх, стал с волнением повторять:

— Не забудь же ты меня, цветочек мой аленький, не забудь, рыбка моя золотая!

А Дануся, обняв его так, как младшая сестра обнимает дорогого брата, прижалась вздернутым носиком к его щеке и, горько плача, твердила:

— Не хочу в Цеханов без Збышка, не хочу в Цеханов!

Юранд все это видел, но не разгневался. Напротив, сам сердечно простился с юношей, а когда уже сидел на коне, обернулся еще раз к нему и сказал:

— Счастливо оставаться, а на меня не гневайся!

— Как же мне на вас гневаться, коли вы отец Дануськи! — горячо ответил Збышко.

Он склонился к стремени Юранда, а тот крепко пожал ему руку и сказал:

— Дай Бог тебе счастья во всем!.. Понимаешь?

И уехал прочь. Збышко, однако, понял, какой сердечностью были проникнуты его последние слова, и, вернувшись к телеге, на которой лежал Мацько, обратился к старику со следующими словами:

— Знаете, что я вам скажу: он бы и сам не прочь, да что-то ему мешает. Вы человек сметливый, были в Спыхове — ну-ка, раскиньте умом, что тут за причина.

Но Мацько разнемогся совсем. Жар, который открылся у него утром, к вечеру так увеличился, что старик стал забываться; вместо того чтобы ответить Збышку, он уставился на него и удивленно спросил:

— А где это звонят?

Збышко испугался, ему пришло на ум, что раз больному слышится колокольный звон, видно, у него уже смерть в головах. Подумал он и про то, что старик может умереть без ксендза, без покаяния, и, значит, попасть коли не в самый ад, то на многие века в чистилище. Он заторопился поэтому дальше, чтобы поскорее добраться до какого-нибудь прихода, где Мацько мог бы в последний раз причаститься.

Решено было ехать всю ночь. Збышко сел на телегу с сеном, на которой лежал больной, и бодрствовал до рассвета. Время от времени он давал старику вина, которым снабдил их на дорогу купец Амылей, и Мацько, которого мучила жажда, пил с жадностью, видно, чувствовал от этого облегчение. После второй кварты он даже пришел в себя, а после третьей уснул таким крепким сном, что Збышко время от времени склонялся над ним, чтобы убедиться, что старик не умер.

При одной мысли об этом им овладевала безысходная тоска. До той самой минуты, пока его не бросили в Кракове в темницу, он не представлял себе, как крепко любит своего дядю, который заменил ему отца с матерью. Только сейчас он это понял и почувствовал вместе с тем, каким круглым сиротой останется он на свете после смерти старика — без родных, кроме разве аббата, который держал в залоге Богданец, без друзей и без помощи. В то же время ему пришло на ум, что если Мацько умрет, так тоже по вине

немцев, из-за которых и он сам чуть было не поплатился головой, и погибли все его предки, мать Дануси и много, много невинных людей, которых он знал или о которых слышал от знакомых, — и он просто диву дался. «Да неужто, — говорил он сам себе, — во всем королевстве не найдется человека, который не был бы обижен ими и не жаждал бы мести?» Ему вспомнились немцы, с которыми он дрался под Вильно, и он подумал, что, пожалуй, и татары так жестоко не дерутся и что, пожалуй, на всем свете нет народа жесточе немцев.

Рассвет прервал его размышления. День вставал ясный, но холодный. Мацько чувствовал себя заметно лучше, дышал ровней и спокойней. Он проснулся только тогда, когда солнце уже стало сильно пригревать, открыл глаза и сказал:

— Полегчало мне. Где это мы?

— Подъезжаем к Олькушу^[47]. Знаете?.. Где серебро добывают и серебрину отдают в королевскую казну.

— Вот бы нам все недра земные! То-то бы Богданец застроили!

— Видно, вам уже легче стало, — засмеялся Збышко. — Ого-го! И на каменный замок хватило бы! Давайте-ка заедем к ксендзу, там мы и приют найдем, да и вы поисповедаетесь. Все мы под Богом ходим, но лучше, когда у человека совесть чиста.

— Я человек грешный и покаюсь с радостью, — ответил Мацько. — Снилось мне ночью, будто черти стаскивали с меня сапоги и между собой по-немецки болтали. Благодарение Создателю, полегче мне стало. А ты соснул ли хоть маленько?

— Как же мне было спать, когда я за вами глядел?

— Ты приляг хоть немножко. Как приедем, я тебя разбужу.

— Не до сна мне!

— Что ж тебе спать не дает?

Збышко поглядел на дядю детскими своими глазами:

— Что ж, как не любовь? Да у меня от вздохов уже колики в животе. А не сесть ли мне на коня, авось станет легче.

И Збышко соскочил с телеги и сел на коня, которого ему проворно подвел подаренный Завишей турок. Мацько от боли то и дело хватался за бок, но, видно, думал не о своей болезни, а о чем-то другом, потому что качал головой, причмокивал и наконец сказал:

— Дивлюсь это я, дивлюсь и надивиться не могу, что это ты до девок так охоч, ведь ни отец твой, ни я не были такими.

Но Збышко вместо ответа выпрямился вдруг в седле, подбоченился, поднял голову вверх и залился песней:

Плакал я до зорьки, и роса уж пала.
Где ж, моя голубка, где ж ты запропала?
Больше не увижу девушки я красной,
Выплачу от горя свои очи ясны.
Эй!

Это «эй!» раскатилось по лесу, отдалось от придорожных деревьев и, отозвавшись эхом вдали, замерло в лесной чаще.

А Мацько снова пощупал свой бок, в котором застряло немецкое жало, и сказал, побряхтывая:

— В старину люди поумней были — понял?

Однако задумался на минутку, словно вспоминая давние времена, и прибавил:

— А впрочем, и в старину дураки бывали.

Но тут они выехали из лесу, за которым увидели рудный двор, а за ним зубчатые стены Олькуша, возведенные королем Казимиром, и колокольню костела, сооруженного Владиславом Локотком.

Гостеприимный приходский каноник, поисповедав Мацька, оставил путников на ночлег, так что они выехали только на следующий день утром. За Олькушем они повернули в сторону Силезии, вдоль границы которой должны были ехать до самой Великой Польши. Дорога большей частью пролежала дремучим лесом, где на закате то и дело раздавался рык туров и зубров, подобный подземному грому, а по ночам в чаще орешника сверкали глаза волков. Но куда большая опасность грозила на этой дороге путникам и купцам от немецких или онемечившихся силезских рыцарей, чьи небольшие замки высились то там, то тут вдоль границы. Правда, во время войны короля Владислава с опольским князем Надерспаном, которому помогали его силезские племянники, поляки разрушили большую часть этих замков; все же здесь всегда надо было быть начеку и, особенно после заката солнца, не выпускать из рук оружия.

Однако наши путники спокойно продвигались вперед, так что Збышко уже наскучила дорога, и только однажды ночью на расстоянии одного дня езды до Богданца они слышали позади конский топот и фыркание.

— Кто-то едет за нами, — сказал Збышко.

Мацько, который в эту минуту не спал, поглядел на звезды и, как человек опытный, заметил:

— Скоро рассвет. На исходе ночи разбойники не стали бы нападать, им, как начинает светать, пора по домам.

Збышко все-таки остановил телегу, построил своих людей поперек дороги, лицом к приближающимся незнакомцам, а сам выехал вперед и стал ждать.

Спустя некоторое время он увидел в сумраке ночи десятка полтора всадников. Один из них ехал впереди, в нескольких шагах от прочих, но, видно, не имел намерения укрыться и громко распевал песню. Збышко не мог разобрать слов, но до слуха его явственно долетало веселое «Гоп! Гоп!», которым незнакомец заканчивал каждый куплет своей песни.

«Наши!» — сказал он про себя.

Однако через минуту крикнул:

— Стой!

— А ты сядь! — ответил шутливый голос.

— Вы кто такие?

— А вы кто такие-сякие?

— Вы что за нами гонитесь?
— А ты что дорогу загородил?
— Отвечай, а то тетива натянута.
— А наша перетянута — стреляй!
— Отвечай по-людски, ты что, в беде не бывал, нужды не видал?
На эти слова Збышку ответили веселой песней:

Нужда с нуждой повстречались,
На развилке в пляс пускались...
Гоп! Гоп! Гоп!
Что ж так лихо расплясались?
Верно, век уж не встречались...
Гоп! Гоп! Гоп!

Збышко поразился, услышав такой ответ, а тем временем песня смолкла, и тот же голос спросил:

— А как здоровье Мацька? Скрипит еще старина?

Мацько приподнялся на телеге и сказал:

— Боже мой, да ведь это наши!

Збышко тронул коня.

— Кто спрашивает про Мацька?

— Да это я, сосед, Зых из Згожелиц. Чуть не целую неделю еду за вами и расспрашиваю про вас по дороге.

— Господи! Дядя! Да ведь это Зых из Згожелиц! — крикнул Збышко.

И все весело стали здороваться. Зых в самом деле был их соседом и к тому же человеком добрым, которого все любили за веселый нрав.

— Ну, как вы там поживаете? — спрашивал он, тряся руку Мацька. — Еще скачете или уже не скачете?

— Эх, кончилось уже мое скаканье! — ответил Мацько. — До чего же я рад вас видеть. Боже ты мой, будто я уж в Богданце!

— А что с вами? Я слышал, вас немцы подстрелили.

— Подстрелили, собачьи дети! Жало застряло у меня между ребрами...

— Боже ты мой! Как же вы теперь? А медвежьего сала попить не пробовали?

— Вот видите, — сказал Збышко, — все советуют пить медвежье сало. Нам бы только доехать до Богданца! Сейчас же пойду на ночь с секирой под бортъ.

— Может, у Ягенки есть, а нет, так я у соседей спрошу.

— У какой Ягенки? Разве вашу не Малгохной звали? — спросил Мацько.

— Эх! Какая там Малгохна! Третья осень с Михайла пойдет, как Малгохна в могиле. Задорная была баба, царство ей небесное! Но Ягенка в мать уродилась, только что еще молода...

...Вон уж видно горку нашу,
Дочка вышла вся в мамашу...
Гоп! Гоп!

...Говорил я Малгохне: не лезь на сосну, коль тебе пятьдесят годов. Какое там! Влезла. А сук под ней возьми и подломись, она и грянулась наземь! Скажу я вам, ямку выбила в земле, да через три дня Богу душу и отдала.

— Упокой, Господи, ее душу! — сказал Мацько. — Помню, помню... подбоченится, бывало, да начнет браниться, так слуги на сеновал прятались. Но хозяйка была замечательная! Значит, с сосны свалилась?.. Скажи пожалуйста!

— Свалилась, как шишка на зиму... Ох и горевал я! После похорон так напился, что, верите, три дня не могли меня добудиться. Думали уж, что и я ноги протянул. А сколько я потом слез пролил — море! Но и Ягенка у меня хорошая хозяйка. Все сейчас у нее на руках.

— Я что-то плохо ее помню. От горшка два вершка была, когда я уезжал. Под конем могла пройти, не достав до брюха. Эх, давно уж это было, сейчас она, верно, выросла.

— На святую Агнешку пятнадцать ей стукнуло; но я ее тоже чуть не целый год не видал.

— Где же вы были? Откуда возвращаетесь?

— С войны. Какая мне нужда дома сидеть, коли у меня Ягенка?

Хоть Мацько и был болен, но, услышав о войне, насторожился и с любопытством спросил:

— Вы, может, были с князем Витовтом на Ворскле?

— Был! — весело ответил Зых из Згожелиц. — Только не дал ему Бог удачи: страшное поражение нанес нам Едигей. Сперва татары перестреляли нам коней. Татарин, он не пойдет врукопашную, как христианский рыцарь, а стреляет издали из лука. Нажмешь на него, а он убежит и опять из лука целится. Ну что ты станешь с ним делать! А у нас, слышь, в войске рыцари

всё силой своей похвалялись: «Мы, дескать, ни копий не склоним, ни мечей из ножен не выхватим, копытами эту нечисть растопчем!» Похвалялись это они, похвалялись, а тут как засвистят стрелы, инда все кругом потемнело! Кончилась битва, и что же? Из десяти едва один жив остался. Верите? Больше половины войска, семьдесят литовских и русских князей, осталось на поле боя, а уж бояр да всяких дворян, как они там зовутся, отроков, что ли^[48], так и за две недели не счел бы.

— Слышал я про это, — прервал его Мацько. — И наших рыцарей, которые к князю пошли на подмогу, тоже тьма полегло.

— Да и крестоносцев девять человек, которые тоже служили у Витовта. А уж наших — пропасть; мы ведь народ такой — где другой прежде назад оглянется, мы оглядываться не станем. Великий князь больше всего полагался на наших рыцарей и в битве никого, кроме поляков, не хотел брать в свою охрану. Ха-ха! Все поле около него усеялось трупами, а ему хоть бы что! Погиб пан Спытко из Мельштына, и мечник Бернат, и стольник Миколай, и Прокоп, и Пшецлав, и Доброгост, и Ясько из Лязевиц, и Пилик Мазур, и Варш из Михова, и воевода Соха, и Ясько из Домбровы, и Петрko из Милославья, и Щепецкий, и Одерский, и Томко Лагода. Да разве их всех перечесть! А некоторых татары просто утыкали стрелами, так что они стали похожи на ежей, — смех, да и только!

Он и впрямь рассмеялся, будто рассказывал веселенькую историю, и вдруг затянул песню:

Басурмана знай натуру,
Всю тебе исколет шкуру!

— Ну а что же потом? — спросил Збышко.

— Потом великий князь бежал, а сейчас, как всегда, опять воспрянул духом. Он такой: чем больше его пригнешь к земле, тем сильнее распрямится, как ореховый прут. Бросились мы тогда к Таванскому броду защищать переправу. Подоспела к нам и новая горсточка рыцарей из Польши. Ну, ладно! Пошел на другой день Едигей, и татар с ним тьматмущая, но уж ничего не мог поделывать. Ну и потеха была! Сунется он к броду, а мы его в рыло. Никак не мог прорваться. Мы их и перебили, и в плен захватили немало. Я сам поймал пятерых, вот везу их с собой в Згожелицы. Днем поглядите, что это за рожи.

— В Кракове толковали, будто война может перекинуться и в королевство.

— Ну, Едигей не такой дурак. Он отлично знал, какие у нас рыцари, знал и то, что самые славные остались дома, потому что королева была недовольна, что Витовт на свой страх затеял войну. Ух и хитер же старый Едигей! Он у Тавани тотчас сообразил, что силы князя растут, и ушел себе прочь, за тридевять земель!..

— А вы вернулись?

— Я вернулся. Там больше нечего делать. А в Кракове я узнал, что вы выехали чуть пораньше меня.

— Так вы знали, что это мы едем?

— Знал, я ведь на привалах всюду про вас спрашивал.

Тут он обратился к Збышку:

— Господи Боже мой, да ведь я тебя в последний раз мальчишкой видал, а сейчас хоть и темно, а можно догадаться, что молодец из тебя вышел, как тур. Ишь, сразу из самострела хотел стрелять!.. Побывал уж, видно, на войне.

— Я на войне сызмальства. Пусть дядя скажет, какой из меня воин.

— Незачем дяде говорить мне об этом. Я в Кракове видал пана из Тачева, он мне про тебя рассказывал... Сдается, этот мазур не хочет отдать за тебя свою дочку, ну а я бы не стал кобениться, потому ты мне по нраву пришелся... Позабудешь ты свою девушку, как увидишь мою Ягенку. Девка — что репа!..

— А вот и неправда! Не позабуду, хоть и десяток увижу таких, как ваша Ягенка.

— Я дам за ней Мочидолы с мельницей. Да на лугах, когда я уезжал, паслось десять добрых кобылиц с жеребятами... Небось не один еще мне в ноги поклонится, чтоб я отдал за него Ягну!

Збышко хотел было сказать: «Только не я!» — но Зых из Згожелиц снова стал напевать:

Я вам в ножки поклонюся,
В жены дайте мне Ягнюсю!
Эх, чтоб вас!

— У вас все смешки да песни на уме, — заметил Мацько.

— Да, но скажите мне, что делают на небесах блаженные души?

— Поют.

— Ну, вот видите. А отверженные плачут. Я предпочитаю попасть не к плачущим, а к поющим. Апостол Петр тоже скажет: «Надо пустить его в

рай, а то он, подлец, и в пекле запоем, а это никуда не годится». Гляньте — уж светает.

Действительно, уже вставал день. Через минуту все выехали на широкую поляну, где уже было совсем светло. На озерце, занимавшем большую часть поляны, рыбаки ловили рыбу; при виде вооруженных людей они бросили невод, выскочили из воды и, поспешно схватившись за дреколья, замерли с воинственным видом, готовые к бою.

— Они приняли нас за разбойников, — засмеялся Зых. — Эй, рыбаки, чьи вы будете?

Те еще некоторое время стояли в молчании, недоверчиво поглядывая на путников, пока наконец старший рыбак не признал в незнакомцах рыцарей и не ответил:

— Да мы ксендза аббата из Тульчи.

— Это наш родич, — сказал Мацько, — у него в залоге Богданец. Верно, и леса его, только аббат, должно быть, недавно их купил.

— Как бы не так! — возразил Зых. — Он за эти леса воевал с Вильком из Бжозовой и, видно, отвоевал их. Еще год назад они за всю эту сторону должны были драться конные на копьях и на длинных мечях; уехал я и не знаю, чем это кончилось.

— Ну, мы с ним свояки, — заметил Мацько, — с нами он драться не станет, может быть, и выкупа меньше возьмет.

— Может быть. Если с ним по-хорошему, так он и свое готов отдать. Не аббат, а рыцарь, шлем надевать ему не в диковину. И при всем том набожен и уж так-то хорошо служит. Да вы, верно, сами помните... Как рявкнет на обедне, так ласточки под крышей из гнезд вылетают. Ну и люди еще больше Господа славят.

— Как не помнить! Бывало, как дохнет, так в десяти шагах свечи гаснут. Приезжал он хоть разок в Богданец?

— А как же! Приезжал. Пятерых новых мужиков с женами поселил на росчисти. И к нам, в Згожелицы, тоже наезжал, — вы знаете, он у меня Ягенку крестил, старик ее очень любит и называет доченькой.

— Дай-то Бог, чтобы он мне мужиков оставил, — сказал Мацько.

— Подумаешь! Что для такого богача пятеро мужиков! Да если Ягенка его попросит, он оставит.

Разговор на некоторое время оборвался, потому что из-за темного бора и из-за румяной зари поднялось ясное солнце и залило все кругом своим светом. Рыцари приветствовали восходящее солнце обычным «Слава Иисусу Христу!», а затем, перекрестившись, стали творить утреннюю молитву.

Зых кончил первым и, ударив себя несколько раз в грудь, обратился к товарищам:

— Ну а теперь дайте я на вас погляжу хорошенько. Ну и изменились же вы оба!.. Вам, Мацько, перво-наперво надо поправиться. Придется Ягенке этим заняться, а то в вашем доме бабы днем с огнем не сыщешь... Видно, видно, что осколок застрял у вас между ребрами... Плохо дело...

Затем он повернулся к Збышку.

— Ну-ка, покажись и ты... Боже милостивый! Да я помню, как ты маленький, бывало, уцепишься жеребенку за хвост и взберешься к нему на спину, а теперь, погляди-ка, какой из тебя вышел рыцарь!.. Лицом красная девица, а в плечах ничего, широк... Этакий и с медведем мог бы схватиться...

— Что ему медведь! — ответил на это Мацько. — Помоложе был, когда фризу пятерней все усы вырвал, тот, видишь ли, голоусым его назвал, ну а ему это не понравилось.

— Знаю, — прервал Зых старика. — И то, что вы после дрались с фризами и захватили всех их слуг. Все это мне рассказывал пан из Тачева:

Немец здорово нажился,
Лег в могилу в чем родился.
Гоп! Гоп!

И он стал весело подмигивать Збышку, а тот тоже воззрился с любопытством на его длинную, как жердь, фигуру, на худое лицо с огромным носом и круглые смеющиеся глаза.

— О! — воскликнул Збышко. — Да если только дядя, Бог даст, выздоровеет, то с таким соседом не соскучишься.

— Лучше иметь веселого соседа, — ответил Зых, — потому что с ним не поссоришься. А теперь послушайте-ка, что я вам по-хорошему, по-христиански скажу. Давно вы не были дома, там у вас, в Богданце, мерзость запустения. Я не про хозяйство говорю, нет, аббат хорошо хозяйничал... и леса делянку выкорчевал, и на расчисти новых мужиков поселил... Но сам-то он только наезжает в Богданец, значит, в кладовой у вас пусто, да и в доме хорошо если найдется лавка да охапка гороховой соломы для спанья, а ведь больному нужны удобства. Знаете что, давайте поедем со мной в Згожелицы. Погостите у меня месячишко-другой, я очень буду рад вам, а Ягенка тем временем о Богданце подумает. Вы уж только во всем на нее положитесь, ни о чем не думайте... Збышко будет наезжать в Богданец,

чтобы присмотреть за хозяйством, а ксендза аббата я привезу вам в Згожелицы, так что вы мигом тут с ним разочтетесь... А за вами, Мацько, дочка как за родным отцом будет ходить — ну а вы знаете, больному человеку нет ничего лучше, когда баба за ним поухаживает. Ну же! Голубчики! Соглашайтесь!

— Все знают, что вы хороший человек и всегда были таким, — ответил растроганный Мацько, — но коли суждено мне помереть от проклятой занозы, что сидит у меня между ребрами, так уж лучше на своем пепелище. К тому же дома, коли ты и болен, все равно и порасспросишь кой о чем, и приглядишь, и порядок кое в чем наведешь. Коли зовет тебя Господь на тот свет, что ж, ты тут не властен! Лучше ли, хуже ли будут глядеть за тобой, все равно не отвертишься. А к походной жизни мы привычны. Кто несколько лет спал на голой земле, для того и охалка гороховой соломы хороша. Но спасибо вам за ваше доброе сердце, и ежели я не смогу вас за это отблагодарить, так Збышко, даст Бог, в долгу не останется.

Зых из Згожелиц, который и в самом деле славился своей добротой и отзывчивостью, продолжал настаивать на своем и упрашивать соседей; но Мацько уперся: помирать, так в своем углу! Целые годы снился ему Богданец во сне, и сейчас, когда родное гнездо чуть не рядом, ни за что на свете он не бросит его, хоть бы последнюю ночь пришлось ему там ночевать. Бог и так милостив, что дал ему силы дотащиться сюда.

Тут старик утер слезы, которые навернулись ему на глаза, огляделся кругом и сказал:

— Коли это леса Вилька из Бжозовой, то после полудня мы будем дома.

— Не Вилька из Бжозовой, а уже аббата, — заметил Зых.

Больной Мацько улыбнулся и немного погодя ответил:

— Коли аббата, так, может быть, когда-нибудь будут нашими.

— Смотрите-ка, только что говорил о смерти, — весело воскликнул Зых, — а сейчас уж хочет пережить аббата.

— Да это не я, а Збышко его переживет.

Дальнейший разговор прервали донесшиеся издали звуки рогов в лесу. Зых тотчас придержал коня и стал прислушиваться.

— Должно быть, кто-то охотится, — сказал он. — Погодите.

— Может, аббат. Вот бы хорошо было, если бы мы сейчас с ним встретились.

— Тише!

И Зых повернулся к людям:

— Стой!

Все остановились. Рога затрубили ближе, а через минуту раздался собачий лай.

— Стой! — повторил Зых. — Сюда идут!

Збышко соскочил с коня и крикнул:

— Дайте самострел! Может, зверь выбежит на нас! Скорей! Скорей!

И, вырвав самострел из рук слуги, он упер его в землю, прижал животом, наклонился, выгнул спину, как лук, и, схватив тетиву обеими руками, в мгновение ока натянул ее на железный запор, вложил стрелу и бросился в лес.

— Натянул! Без рукоятки натянул! — прошептал Зых, изумленный такой необыкновенной силой.

— Он у меня молодчина! — прошептал с гордостью Мацько.

Тем временем звуки рогов и собачий лай слышались еще ближе, и вдруг справа в лесу раздался тяжелый топот, треск кустов и ветвей, и на дорогу из чащи вынесся стрелой старый бородатый зубр с огромной, низко опущенной головой, с налитыми кровью глазами и высунутым языком, задыхающийся, страшный. Подбежав к придорожному рву, он одним махом перескочил через него, упал с разбега на передние ноги, но тотчас поднялся и, казалось, готов был уже скрыться в лесной чаще по другую сторону дороги, когда вдруг зловеще зажужжала тетива самострела, слышался свист стрелы, и зверь встал на дыбы, завертелся на месте, взревел и, как громом сраженный, повалился наземь.

Збышко выглянул из-за дерева, опять натянул тетиву и, готовясь пустить новую стрелу, подкрался к поверженному быку, который еще рыл задними ногами землю.

Однако, взглянув на зверя, он спокойно повернулся к своим и крикнул им издали:

— Так метко попал, что он даже под себя пустил!

— А чтоб тебя! — сказал, подъезжая, Зых. — Одной стрелой уложил!

— Да ведь близко, а стрела бьет со страшной силой. Посмотрите: не только жало, вся ушла под лопатку.

— Охотники уже недалеко, они, наверно, заберут его.

— Не дам! — отрезал Збышко. — Я его на дороге убил, а дорога ничья.

— А если аббат охотится?

— Если аббат, так пускай забирает.

Тем временем из лесу вырвалось десятка полтора собак. Завидев зверя, они с пронзительным визгом кинулись на него, сбились в кучу и стали

грызться между собой.

— Сейчас и охотники подоспеют, — сказал Зых. — Смотри, вон они, только выехали из лесу повыше нас и еще не видят зверя. Эй! Эй! Сюда! Сюда! Вот он лежит! Вот!..

Внезапно Зых смолк, прикрыл рукой глаза и через минуту произнес:

— Господи Боже! Что это? Ослеп я, или мне мерещится?..

— Один на вороном коне впереди едет, — сказал Збышко.

Но Зых вдруг крикнул:

— Иисусе Христе! Да это, сдается, Ягенка!

И неожиданно заорал:

— Ягна! Ягна!..

И тут же погнал вперед своего меринка; но не успел он пустить его рысью, как Збышко увидел самое удивительное зрелище на свете. Сидя по-мужски на горячем вороном коне, к ним во весь опор скакала девушка с самострелом в руке и с рогатиной за плечами. От стремительной скачки волосы у нее распустились, к ним пристали шишки хмеля; лицо ее было румяно, как заря, рубашка на груди распахнута, а поверх рубашки накинута овчиной наружу. Подскакав к путникам, девушка осадил коня; с минуту на лице ее изображалось то сомнение, то изумление, то радость, пока наконец она не уверилась окончательно, что все это не сон, а явь, и не крикнула тонким, еще детским голосом:

— Папуся! Миленький папуся!

В мгновение ока она соскользнула со своего вороного и, когда Зых тоже соскочил с коня, чтобы поздороваться с дочкой, бросилась отцу на шею. Долгое время Збышко слышал только звуки поцелуев и два слова: «Папуся! Януся! Папуся! Януся!» — которые отец с дочерью в восторге повторяли без конца.

К ним уже подъехали люди, подъехал и Мацько на телеге, а они все еще повторяли: «Папуся! Януся!» — и все еще обнимали друг друга. Когда они наконец нацеловались и наобнимались, Ягенка забросала отца вопросами:

— С войны возвращаетесь? Здоровы?

— С войны. С чего это мне не быть здоровым? А как ты? А младшие братишки? Надеюсь, здоровы, а? Иначе ты бы не скакала по лесам. Но что это ты здесь делаешь, дочка?

— Да вот, как видите, охочусь, — смеясь, ответила Ягенка.

— В чужих лесах?

— Аббат позволил. И псарей прислал мне с собаками.

Тут она повернулась к своей челяди:

— Ну-ка отгоните собак, а то изорвут шкуру!

А затем она обратилась к Зыху:

— Ах, как я рада, что вы приехали!.. У нас все благополучно.

— А ты думаешь, я не рад? — сказал Зых. — Дай-ка, дочка, я еще разок тебя чмокну!

И они стали целоваться, а когда кончили, Ягна сказала:

— Далеконько мы от дому отбились... Ишь куда заскакали, покуда травили этого зверину. Пожалуй, две мили гнали, кони и то притомились. Но какой могучий зубр, видали?.. Верных три стрелы я в него всадила, а последней, должно быть, и кончила.

— Всадить-то всадила, да не кончила: его вон тот молодой рыцарь подстрелил.

Ягенка откинула рукой прядь волос, спустившуюся на глаза, и бросила на Збышка быстрый и не особенно доброжелательный взгляд.

— Знаешь, кто это? — спросил Зых.

— Нет, не знаю.

— И не диво, что ты его не признала, вон как он вырос. Ну а, может, признаешь старого Мацька из Богданца?

— Боже мой! Так это Мацько из Богданца! — воскликнула Ягенка.

И, подойдя к телеге, она поцеловала Мацьку руку.

— Вы ли это?

— Я самый. Только вот на телеге, потому немцы меня подстрелили.

— Какие немцы? Война была с татарами. Уж это-то я знаю, — сколько я батюшку молила взять меня с собой.

— Война-то была с татарами, да мы на ней не были, мы со Збышком воевали тогда на Литве.

— А где же Збышко?

— Неужто ты его не признала? — засмеялся Мацько.

— Так это Збышко? — воскликнула девушка, снова бросив взгляд на юношу.

— Конечно!

— Ну, подставляй ему губы, вы ведь знакомы! — весело крикнул Зых.

Ягенка с живостью повернулась к Збышку, но вдруг попятилась и, закрывшись рукой, сказала:

— Мне стыдно...

— Мы ведь с малых лет знакомы! — заметил Збышко.

— Да! Хорошо знакомы. Я помню вас, хорошо помню. Лет восемь назад вы приехали как-то к нам с Мацьком, и покойница матушка принесла нам орехов с медом. Не успели старшие выйти из горницы, как вы ткнули

мне кулаком в нос да сами орехи и съели!

— Сейчас он бы этого не сделал! — сказал Мацько. — Он и у князя Витовта бывал, и в краковском замке, так что знает придворный обычай.

Но тут Ягенка вспомнила совсем про другое и, обратившись к Збышку, спросила:

— Так это вы убили зубра?

— Я.

— Давайте поглядим, где у него торчит стрела.

— Да ее не увидишь, она вся ушла под лопатку.

— Брось, не спорь, — сказал Зых. — Все мы видели, как он подстрелил зубра, да то ли еще: ты знаешь, он вмиг натянул самострел без рукояти.

Ягенка в третий раз поглядела на Збышка, на этот раз с удивлением.

— Вы без рукояти самострел натянули? — спросила она.

Уловив в ее голосе недоверие, Збышко упер в землю самострел со спущенной тетивой, вмиг натянул его так, что заскрипела железная дуга, и, желая показать, что знает придворный обычай, преклонил колено и протянул самострел Ягенке.

Вместо того чтобы взять у него из рук самострел, девушка неожиданно покраснела, сама не зная почему, и стала торопливо завязывать под горлом домотканую сорочку, раскрывшуюся от быстрой езды по лесу.

На другой день после приезда в Богданец Мацько и Збышко принялись за осмотр своих старых владений и вскоре убедились, что Зых из Згожелиц был прав, когда говорил, что на первых порах им дома придется туго.

С хозяйством дела шли не так уж плохо. Поля кое-где были возделаны прежними их мужиками или новыми поселенцами аббата. Когда-то в Богданце было гораздо больше земельных угодий; но в битве под Пловцами род Градов почти совсем погиб, стало не хватать работников, а после набега, учиненного силезскими немцами, и войны Гжималитов с Наленчами некогда плодородные нивы Богданца почти сплошь поросли лесом. Одному Мацьку поднять хозяйство было не под силу. Лет пятнадцать назад он тщетно пытался привлечь вольных крестьян из Кшесни, отдав им землю исполу, но они предпочли остаться на собственных клочках, чем возделывать чужую землю. Правда, ему удалось прельстить кое-кого из бродяжьего люда, захватить в войнах десятка полтора невольников, переженить и расселить всех их по хатам — и деревня таким образом стала подниматься. Но уж очень все это было трудно, и, как только представился случай, Мацько поспешил отдать Богданец в залог, справедливо полагая, что богатому аббату легче будет освоить землю, а он со Збышком добудут тем временем на войне невольников и денег. Аббат оказался дельным хозяином. Он увеличил на пять крестьянских семей рабочую силу, приумножил стадо скота и табун лошадей, построил амбар, плетеный коровник и такую же конюшню. Но в Богданце он постоянно не жил и о доме не заботился, так что Мацько, который иногда мечтал найти после возвращения усадьбу, обнесенную рвом и острогом, застал все в прежнем виде, с той лишь разницей, что углы у дома покосились и весь он так осел и врос в землю, что показался старику еще приземистей, чем раньше.

Дом состоял из обширных сеней, двух больших горниц с боковушами и кухни. Окна в горницах были затянуты пузырем, посередине в глинобитном полу был сложен очаг; топили по-черному, и дым выходил в щели в потолке. Этот совершенно почерневший потолок в лучшие времена служил коптильней, — на вбитых в балки колышках подвешивали тогда свиные, кабаньи, медвежьи и лосиные окорока, оленье и серновые огузки, воловьи хребты и целые кольца колбас. Однако сейчас крючья в Богданце были так же пусты, как и полки вдоль стен, где в других шляхетских домах

стояли оловянные и глиняные миски. Только под полками стены не казались такими голыми. Збышко велел слугам развесить там панцири, шлемы, короткие и длинные мечи, рогатины, вилы, самострелы, рыцарские копья и, наконец, щиты, секиры да конские чепраки. Оружие и броня чернели от дыма, и их приходилось часто чистить, зато все было под рукой, да и шашель не точил древки копий, ложа самострелов и рукояти секир. Дорогие одежды предусмотрительный Мацько велел перенести в боковушу, которая служила ему спальней.

В передних горницах, под затянутыми пузырем окнами, стояли столы, сколоченные из сосновых досок, и такие же скамьи; хозяева за стол садились вместе с челядью. Не много было нужно людям, за годы войны отвыкшим от удобств; но в Богданце не хватало хлеба, муки и прочих припасов, особенно же утвари. Мужики принесли своим хозяевам все, что могли; но Мацько возлагал надежды главным образом на соседей, рассчитывая, что они, как всегда бывает в таких случаях, придут соседу на помощь; что до Зыха из Згожелиц, то он и в самом деле не обманулся в своих ожиданиях.

На другой день после приезда старик посиживал себе на бревне перед домом, наслаждаясь прекрасной осенней погодой, когда во двор на том же вороном коне въехала Ягенка. Слуга, который колол у плетня дрова, хотел помочь ей спешиться, но она вмиг сама спрыгнула на землю и подошла к Мацьку, запыхавшаяся от быстрой езды и румяная, как яблочко.

— Слава Иисусу Христу! Я приехала передать вам поклон от батюшки и справиться о вашем здоровье.

— Да не хуже, чем было в пути, — ответил Мацько. — Я хоть отоспался на своей постели.

— Очень уж у вас, должно быть, неудобно, а вы человек больной, вам уход нужен.

— Мы народ крепкий. Оно попервоначалу хоть и нет удобств, да и голода нету. Велели мы вола зарезать да пару овец, вот мяса у нас и вдосталь. Бабы мучицы да яиц принесли, маловато, правда, ну а все-таки хуже всего у нас с утварью.

— Я велела нагрузить для вас две телеги. На одной везут две постели и утварь, а на другой — всякий припас. Лепешки, муку, сало, сушеные грибы, бочонок пива да бочонок меду — всего понемножку, что только нашлось в доме.

Мацько, который всегда был рад любому прибытку, погладил Ягенку по голове и сказал:

— Спасибо и тебе, и твоему батюшке. Как разживемся, все отдадим.

— Что вы! Да разве мы немцы, чтоб дареное отбирать назад!

— Ну, тогда вдвойне спасибо. Говорил твой батюшка, что очень ты у него хозяйка хорошая. Так это ты цельный год одна заправляла всем в Згожелицах?

— Да пришлось!.. Коли вам еще что понадобится, так вы кого-нибудь из слуг пришлите, да потолкуей, чтоб знал, чего надобно, — а то приедет еще такой дурень, что и знать толком не будет, зачем его послали.

Тут Ягенка стала украдкой поглядывать по сторонам; заметив это, Мацько заулыбался.

— Кого это ты ищешь? — спросил он.

— Да нет, никого!

— Я Збышка пришлю поблагодарить тебя с батюшкой за подарок. Ну как, пришелся тебе Збышко по вкусу?

— Да я не присматривалась!

— А ты присмотришься, вот он и сам идет.

От водопоя в самом деле шел Збышко; увидев Ягенку, он ускорил шаг. На нем был лосиный кафтан и круглая поярковая шапочка, какие надевают под шлем, волосы, ровно подстриженные над бровями, не были убраны под сетку и золотыми кудрями рассыпались по плечам; Збышко шел скорым шагом, рослый, пригожий, прямо оруженосец из знатного дома.

Ягенка совсем от него отвернулась, желая показать, что она приехала только к Мацьку; но Збышко весело поздоровался с нею и, взяв ее руку, поднес к губам, несмотря на сопротивление девушки.

— С чего это ты мне руку целуешь? — спросила она. — Разве я ксендз?

— Не противьтесь! Это такой обычай.

— Да коли б он тебе и другую руку поцеловал за то, что ты привезла, — вмешался Мацько, — и то не было б много.

— Что привезла? — спросил Збышко, озираясь и ничего не видя, кроме вороного коня, стоявшего на приколе.

— Телеги еще не приехали, скоро будут, — ответила Ягенка.

Мацько стал перечислять все, что девушка привезла, ничего при этом не пропуская; когда он вспомнил про две постели, Збышко сказал:

— Да я бы и на шкуре зубра поспал, но спасибо вам за то, что и про меня не забыли.

— Это не я, а батюшка, — краснея, ответила девушка. — Коли вам на шкуре лучше, что ж, никто не неволит...

— Я привык на чем придется. На поле боя случалось спать с убитым крестоносцем в головах.

— Неужто вам случилось убить крестоносца? Да нет, вряд ли!

Збышко вместо ответа рассмеялся.

— Побойся ты, девушка, Бога! — воскликнул Мацько. — Ты его совсем не знаешь! Ничего он другого не делал, только немцев бил, так что стон стоял. Он готов драться на копьях, на секирах, как угодно, а уж коли завидит издали немца, нет ему удержу, так и рвется в бой. В Кракове он даже хотел напасть на посла Лихтенштейна и за это чуть не заплатился головой. Вот он какой молодец! Я тебе и про двух фризгов расскажу, у которых мы захватили и людей, и такую богатую добычу, что половины ее хватило бы на выкуп Богданца.

И Мацько стал рассказывать о поединке с фризскими рыцарями, а затем и о других приключениях, которые с ними случались, и о других подвигах, которые им пришлось совершить. Из-за стен и в открытом поле бились они с самыми славными рыцарями, какие только живут в чужих краях. Бились с немцами, бились с французами, бились с англичанами и бургундцами. Случалось бывать им в таких жестоких битвах, когда кони, люди, оружие, немцы и перья — все мешалось в кучу. А чего только они при этом не навидались! Видали они и замки крестоносцев из красного кирпича, и литовские деревянные городки и храмы, каких здесь не встретишь во всей околице, и города, и дремучие леса, где по ночам жалобно стонали изгнанные из капищ литовские божки, и всякие иные чудеса, и, когда дело доходило до драки, Збышко всегда был впереди, так что самые славные рыцари не могли на него надивиться.

Ягенка присела на бревно рядом с Мацьком и, раскрыв рот, слушала рассказ старика и так вертела головкой то в сторону Мацька, то в сторону Збышка, точно она была у нее на шарнирах; при этом глаза девушки все с большим восхищением останавливались на молодом рыцаре. Когда Мацько наконец кончил, она вздохнула и сказала:

— И какое это счастье, — уродиться хлопцем!

Но Збышко, который, слушая рассказ Мацька, тоже все приглядывался к Ягенке, думал, видно, о другом, потому что неожиданно сказал:

— Какая же вы красавица!

То ли с досадой, то ли с грустью Ягенка ответила:

— Уж будто вы краше не видавали.

Збышко, положив руку на сердце, мог сказать ей, что не много случалось ему видеть таких красавиц: она просто кипела здоровьем, силой и молодостью. Старый аббат не зря говорил, что Ягенка похожа и на сосенку, и на калину. Все в ней было красиво: и стройный стан, и широкие плечи, и точеная грудь, и алые губы, и быстрые голубые глаза. И оделась

она в этот раз получше, чем в лесу на охоте. На шее у нее были красные бусы, шубка, крытая зеленым сукном, была раскрыта на груди, юбка домотканая в полоску, сапожки новые. Даже старый Мацько обратил внимание на красивый наряд девушки и, с минуту поглядев на нее, спросил:

— Что это ты разрядилась, как на праздник?

Но она вместо ответа крикнула:

— Едут, едут!..

Когда телеги въехали во двор, она побежала навстречу, а за нею последовал Збышко. К большому удовольствию Мацька, телеги разгружали до самого заката; каждую вещь старик рассматривал по отдельности и при этом знай похваливал Ягенку. Уже совсем смеркалось, когда девушка стала собираться домой. Когда она хотела сесть на коня, Збышко неожиданно подхватил ее, и не успела она слово вымолвить, как он поднял ее вверх и усадил в седло. Ягенка зарумянилась, как алая зорька, и, повернувшись к нему лицом, сказала вполголоса:

— Какой же вы богатырь!..

Не заметив в темноте ни румянца ее, ни смущения, Збышко рассмеялся и спросил:

— А зверей вы не боитесь?.. Ведь уж ночь!

— На телеге лежит рогатина... подайте мне ее.

Збышко пошел к телеге, достал рогатину и подал ее Ягенке.

— Будьте здоровы! — попрощался он с девушкой.

— Будьте здоровы!

— Спасибо вам за все! Завтра, а нет, так послезавтра я приеду спасибо сказать и вам, и вашему батюшке за ваше доброе сердце.

— Приезжайте! Мы будем вам рады. Ну, трогай!

И, тронув коня, она через минуту скрылась в придорожных кустах.

Збышко вернулся к дяде.

— Вам домой пора.

Но Мацько, не поднимаясь с бревна, сказал:

— Эх! Что за девушка! Все кругом от нее будто стало светлей!

— Это верно!

На минуту воцарилось молчание. Глядя, как в небе зажигаются звезды, Мацько, казалось, о чем-то раздумывал, затем снова сказал будто про себя:

— И ласкова-то, и хозяйка хорошая, а ведь ей всего пятнадцать лет...

— Да, — сказал Збышко, — старый Зых бережет ее как зеницу ока.

— Он говорил, что даст за ней Мочидолы, а там на лугах пасется табунок кобылиц с жеребятами.

— Не в мочидольских ли лесах страшные болота?..

— Зато там бобровьи гоны.

И снова воцарилось молчание. Некоторое время Мацько искоса поглядывал на Збышка, а затем спросил:

— Что это ты так призадумался? Что пригорюнился?

— Да так... знаете... поглядел на Ягенку, и так мне Дануська вспомнилась, даже сердце защемило.

— Пойдем-ка домой, — сказал на это старик. — Поздно уж.

Он с трудом поднялся и, опершись на Збышка, прошел с ним в боковушу.

Мацько так торопил Збышка, что тот на другой же день поехал в Згожелицы. Старик настоял, чтобы племянник для пущей торжественности взял с собою двоих слуг и оделся понарядней, принеся тем самым дань уважения Зыху и выказав ему свою признательность. Збышко уступил старику и уехал, разрядившись, как на свадьбу, все в тот же добытый в бою полукафтан из белого атласа, расшитый золотыми грифами, с золотой оторочкой по низу. Зых принял его с распростертыми объятиями, песни пел и веселился, а Ягенка, переступив порог горницы и увидев молодого рыцаря, остановилась как вкопанная и чуть не уронила баклажку с вином, — ей почудилось, что это к ним явился сам королевич. Девушка так заробела, что за столом сидела в молчании, только то и дело глаза протирала, словно хотела очнуться ото сна. Неискушенный Збышко решил, что она, по неизвестной ему причине, не рада его приезду, и беседовал только с Зыхом, превознося щедрость соседа и расхваливая его владения, которые и в самом деле вовсе не были похожи на Богданец.

Во всем были видны достаток и богатство. Окна в горницах были из рога, остроганного и отшлифованного так тонко, что он был прозрачен почти как стекло. Вместо очага посреди горницы, по углам стояли большие печи с шатрами. Пол из лиственничных досок был чисто вымыт, на стенах — оружие и множество мисок, сверкавших, как солнце, да красивых резных ложечниц с рядами ложек, из которых две были серебряные. Кое-где висели парчовые узорчатые ковры, добытые на войне или приобретенные у корабейников. Под столами лежали огромные рыжие туры шкуры да шкуры зубров и кабанов. Зых с удовольствием показывал Збышку свои богатства, то и дело приговаривая, что все это дело рук Ягенки. Он повел Збышка и в боковушу, где все пропахло живицей и мятой, а под потолком висели целые связки волчьих, лисьих, куньих и бобровых шкур. Он показал Збышку сушильню для сыра, кладовые с воском и медом, бочки с мукой, кладовые с сухарями, пенькой и сушеными грибами. Затем

он повел его в амбары, коровники, конюшни и хлевы, в сарай, где стояли телеги и хранились охотничьи принадлежности и сети, и так ослепил его своим богатством, что Збышко, вернувшись к ужину, не мог скрыть своего изумления.

— Жить не нажиться в ваших Згожелицах, — сказал он хозяину.

— И в Мочидолах у нас почти что такие порядки, — заметил Зых. — Ты помнишь Мочидолы? Это по дороге на Богданец. В старину наши отцы о меже спорили и вызовы посылали друг дружке на поединок, ну а я уж ссориться не стану.

Он поднял кубок меду и, чокнувшись со Збышком, спросил:

— А попеть тебе неохота?

— Нет, — ответил Збышко, — мне вас любопытно послушать.

— Згожелицы, слышь ты, медвежатам достанутся. Только бы они потом не передрались из-за них...

— Каким медвежатам?

— Да сынишкам моим, братишкам Ягенки.

— Да, им зимой лапу сосать не понадобится.

— Что правда, то правда. Ну и Ягенке в Мочидолах найдется кусочек сальца.

— Да уж наверно!

— Что это ты не ешь, не пьешь? Налей-ка нам, Ягенка!

— Да нет, я и ем, и пью вволю.

— Тяжело станет, так ты распусти пояс. Хорош у тебя пояс! Вы на Литве, верно, тоже взяли богатую добычу?

— Грех жаловаться, — ответил Збышко, пользуясь случаем, чтобы показать, что шляхтичи из Богданца тоже не какая-нибудь мелкая сошка. — Часть добычи мы продали в Кракове и выручили сорок гривен серебром...

— Что ты говоришь! Да за такие деньги можно целую деревню купить!

— У нас была миланская броня, так дядя ее продал, думал, смерть уж у него за плечами, а вы знаете, миланской броне...

— Знаю. Цены нет. Выходит, на Литву стоит идти. А я хотел когда-то, да побоялся.

— Кого? Крестоносцев?

— Э, чего бы я стал их бояться? Покуда тебя не убили, страшиться нечего, ну а убили, так какие уж тут страхи. Я ихних божков боялся, нечисти всякой. Там в лесах они так и кишат.

— Куда же им деваться, коли капища их пожгли?.. Когда-то они жили богато, а теперь одними грибами да муравьями кормятся.

— А ты видал их?

— Я не видал, да слышал, что другие видели... Высунет такой божок из-за дерева косматую лапищу и показывает тебе: дескать, подай...

— И Мацько про это рассказывал, — вмешалась Ягенка.

— Да! Он по дороге и мне про это говорил, — прибавил Зых. — Да и не диво! Взять хотя бы и нас, живем мы как будто в христианской вере, а порой и у нас на болоте кто-то смеется, да и дома, хоть и бранятся ксендзы, а все лучше оставлять этой нечисти на ночь миску с едой, иначе так станет в стену скрестись, что глаз не сомкнешь... Ягенка, доченька... поставь-ка миску у порога!

Ягенка взяла глиняную миску, в которой было полно клецок с сыром, и поставила ее у порога.

— Ксендзы бранятся, — заметил Зых, — поносят нас. Да ведь Христа от клецок не убудет, а нечисть, коли она сыта и довольна, убережет дом и от огня и от вора.

Тут он снова повторил Збышку:

— Ты бы распустил пояс да песенку спел.

— Уж лучше вы спойте, я вижу, вам давно хочется, а то, может, панна Ягенка что-нибудь споет?

— Давайте петь по очереди, — воскликнул обрадованный Зых. — Есть у меня тут слуга, он на дудке будет нам вторить. Позвать слугу!

Позвали слугу, тот уселся на скамеечке, сунул в рот свою «пищалку» и, расположив на ней пальцы, уставился на присутствующих в ожидании, кому же ему придется вторить.

Все стали спорить, никто не хотел быть первым. Наконец Зых велел начать Ягенке, и хотя девушка очень стеснялась Збышка, однако поднялась со скамьи, спрятала руки под фартук и затянула песню:

Ах, когда б я пташкой
Да летать умела,
Я бы в Силезию
К Ясю улетела!..

Широко раскрыв глаза, Збышко вскочил с места и крикнул громовым голосом:

— А вы откуда знаете эту песню?

Ягенка воззрилась на него в изумлении:

— Да ведь ее все поют... Что вы?

Зых решил, что Збышко хватил лишнего, и, повернувшись к нему, весело сказал:

— Распусти пояс! Сразу легче станет!

Но Збышко еще с минуту времени стоял с изменившимся лицом, а затем, совладав с собою, сказал Ягенке:

— Простите. Вспомнилось мне вдруг одно дело. Пойте же.

— А может, вам невесело слушать?

— Что вы! — ответил он дрогнувшим голосом. — Да я б эту песню всю ночь напролет слушал.

Он сел и, прикрыв рукою глаза, умолк, словечка больше не уронил.

Ягенка спела другой куплет, но, кончив, заметила, что у Збышка по пальцам катится большая слеза.

Она с живостью подвинулась к молодому рыцарю, села рядом и, легонько толкнув его локтем, спросила:

— Что с вами? Я не хочу, чтобы вы плакали. Да скажите же, что с вами?

— Ничего, ничего, — ответил Збышко со вздохом. — Долго рассказывать... Что было, то прошло. Вот я и развеселился...

— А может, вы бы выпили сладкого вина?

— Обходительная девка! Да что же это вы выкаете друг дружке? — воскликнул Зых — Говори ему: «ты, Збышко», а ты ей: «ты, Ягенка». Ведь вы с малых лет знакомы...

Затем он обратился к дочери:

— А что он когда-то отколотил тебя, это пустое!.. Сейчас он этого не сделает.

— Не сделаю! — весело подхватил Збышко. — Пускай теперь она меня отколотит, коли есть охота.

Желая совсем развеселить Збышка, Ягенка сжала кулачок и, смеясь, стала в шутку бить его.

— Вот тебе за мой разбитый нос! Вот тебе! Вот тебе!

— Вина! — крикнул, разгулявшись, хозяин Згожелиц.

Ягенка сбегала в кладовую и через минуту принесла ковш вина, два красивых кубка с вытисненными на них серебряными цветами, работы вrocławских золотых дел мастеров, и две головки сыра, от которых еще издали шел сырнй дух.

Когда взору Зыха, у которого уже шумело в голове, представилось это зрелище, он окончательно расчувствовался, придвинул к себе ковш, прижал его к груди и, решив, видно, что это Ягенка, заговорил:

— Моя ты доченька! Моя сироточка! Что я, бедный, стану делать в

Згожелицах, как тебя возьмут у меня, что я стану делать!..

— А придется вам вскорости отдавать ее! — воскликнул Збышко.

Но расчувствовавшийся было Зых уже смеялся:

— Ха-ха! Девке пятнадцать лет, а она уже к парням льнет!.. Как завидит издалека, так ногами и засучит.

— Батюшка, я уйду! — сказала Ягенка.

— Не уходи! Мне хорошо с тобой...

Затем он стал таинственно подмигивать Збышку:

— Двое их повадились к ней: молодой Вильк, сын старого Вилька из Бжозовой, и Чтан^[49] из Рогова. Да если б они тебя здесь застали, тотчас бы взъелись и стали грызться с тобой, как грызутся друг с дружкой.

— Эва! — воскликнул Збышко.

Затем, обратившись к Ягенке на ты, как велел Зых, он спросил у нее:

— А который тебе люб?

— Да ни тот ни другой.

— Вильк сердитый парень! — заметил Зых.

— Пускай на других воет!^[50]

— А Чтан?

Ягенка рассмеялась.

— У Чтана, — сказала она Збышку, — кудлы на голове все равно как у козла, глаз даже не видно, а сала на нем как на медведе.

Тут Збышко хлопнул себя по голове, словно что-то внезапно вспомнив, и сказал:

— Ах да! Уж коли вы так добры к нам, так нельзя ли попросить у вас медвежьего сала — может, найдется в доме, дяде полечиться нужно, а в Богданце я не нашел.

— Было, — ответила Ягенка, — да слуги вынесли во двор луки смазывать, а собаки все выжрали... Экая жалость!

— Совсем ничего не осталось?

— Все дочиста вылизали!

— Что ж, ничего не поделаешь, придется завтра поискать в лесу.

— Вы облаву устройте, медведи в лесу встречаются, а коли вам охотничье снаряжение нужно, так мы дадим.

— Где мне ждать! Пойду на ночь под борти.

— Возьмите с собой человек пять охотников. Между ними есть дельные парни.

— Не пойду я с кучей народу, только зверя мне спугнут.

— Как же вы пойдете? С самострелом?

— Что в лесу в потемках делать с самострелом? Месяц еще не народился. Возьму зазубренные вилы да хороший топор и завтра пойду один.

Ягенка на минуту умолкла, на лице ее изобразилось беспокойство.

— В прошлом году, — сказала она, — пошел вот так наш охотник Бездух, и медведь задрал его. Опасное это дело: ночью медведь как увидит человека, особенно около бортей, тотчас становится на задние лапы.

— Ну, если б он стал убегать, так его тогда и не убить бы, — возразил Збышко.

Тем временем Зых, который успел уже маленько вздремнуть, неожиданно проснулся и запел:

Тебя, Куба, ждет работа,
А мне, Мацьку, неохота,
В поле ты пахать пустое,
С Касей в жито я густое!
Гоп! Гоп!

Затем он обратился к Збышку:

— Слышь ты, двое их у нее: Вильк из Бжозовой да Чтан из Рогова... а ты...

Но Ягенка, опасаясь, как бы Зых не сказал чего лишнего, торопливо подошла к Збышку и спросила:

— Так когда ты пойдешь? Завтра?

— Завтра после захода солнца.

— А к каким бортям?

— К нашим, к богданецким, неподалеку от вашей межи, у Радзиковского болота. Мне говорили, будто там легко встретить мишку.

XII

Збышко как задумал, так на другой день и отправился на медведя, потому что Мацьку становилось все хуже. Сперва от радости старик было ожил и занялся даже домашними делами, но на третий день у него снова открылся жар и начались такие боли в боку, что он вынужден был слечь в постель. В лес Збышко сходил сперва днем, он осмотрел борти, заметил поблизости огромный след на болоте и поговорил с бортником Вавреком, который летом ночевал неподалеку в шалаше с парой свирепых подгальских псов, но с наступлением осенних холодов уже должен был перебраться в деревню.

Оба они со Збышком разбросали шалаш, прихватили с собою собак, а по дороге там и тут смазали медом стволы деревьев, чтобы приманить запахом зверя; затем Збышко вернулся домой и стал готовиться к охоте. Для тепла он надел лосиную безрукавку, а на голову, чтобы медведь не содрал ему кожу, натянул сетку из железной проволоки; с собою он прихватил крепко окованные двузубые вилы с зазубринами и широкую стальную секиру на дубовой рукояти подлиннее, чем у плотников. К вечернему удою он уже был у цели и, выбрав местечко поудобней, перекрестился, засел в засаду и стал ждать.

В просветах между ветвями ельника сквозили красные лучи заходящего солнца. В вершинах сосен, каркая и хлопая крыльями, летали вороны; кое-где пробежали к воде зайцы, и под лапками их шуршали пожолклые кустики ягод и опавшая листва; порой по молодому буку скользила юркая куница. В чаще еще слышался постепенно умолкавший птичий гомон.

Солнце уже совсем закатывалось за горизонт, а бор все еще не стихал. Вскоре мимо Збышка со страшным шумом и хрюканьем прошло поодаль стадо диких кабанов, затем, положив друг дружке головы на круп, длинной вереницей пронеслись лоси. Сухие ветви трещали у них под копытами, и лес стонал, а они, отливая на солнце рыжей шерстью, скакали к болоту, где ночью им было спокойнее и безопасней. Наконец в небе зажглась заря, верхушки сосен словно запылали в огне, и кругом все медленно стало затихать. Лес погружался в сон. Снизу, от земли, поднималась тьма и устремлялась ввысь к пылающей заре, которая тоже стала таять, хмуриться, меркнуть и гаснуть.

«Сейчас, — подумал Збышко, — покуда не завоют волки, все будет

тихо».

Однако он пожалел, что не взял с собою самострела, которым легко мог уложить дикого кабана или лося. Меж тем от болота некоторое время доносились еще какие-то приглушенные звуки, как будто тяжелые вздохи и посвист. Збышко с опаской поглядывал в сторону этого болота, где жил когда-то в землянке мужик Радзик, который бесследно пропал вместе с семьей, словно сквозь землю провалился. Одни говорили, будто его угнали с семьей разбойники, но другие замечали потом около землянки какие-то странные, не то человеческие, не то звериные следы и с сомнением покачивали головой, подумывая даже о том, не позвать ли ксендза из Кшесни освятить землянку. До этого дело не дошло, так как в землянке никто не захотел поселиться и халупу эту, вернее, глину на хворостяных стенах, размыли со временем дожди; однако само место пользовалось дурной славой. Правда, бортник Ваврек, который летом ночевал здесь в шалаше, не обращал на это внимания, но о самом Вавреке люди тоже разное болтали. Вооруженный топором и вилами, Збышко не боялся диких зверей, но он с беспокойством думал о нечистой силе и обрадовался, когда все звуки на болоте затихли.

Догорели последние отблески заката, и спустилась глубокая ночь. Ветер умолк, не слышно стало и обычного шума в верхушках сосен. Порой то там, то тут падала шишка, рождая в немом безмолвии сильный и гулкий отзвук, но потом снова воцарялась такая тишина, что Збышко слышал собственное дыхание.

Он долго сидел так, раздумывая сперва о медведе, который вот-вот мог прийти сюда, а потом о Данусе, о том, как уезжала она в дальний край с мазовецким двором. Он вспомнил, как поднял ее на руки в минуту расставанья с нею и княгиней и как у него по щеке катились ее слезы, вспомнил ее ясное личико, ее непокрытую голову, ее венки из васильков, ее песни, ее красные с длинными носками башмачки, которые он целовал, прощаясь; вспомнил все, что произошло с той минуты, как они познакомились, и так жалко стало ему, что нет ее рядом, такая овладела тоска по ней, что, предавшись печали, он совсем позабыл, что сидит в лесу и подстерегает зверя в засаде, и стал говорить про себя: «Я поеду к тебе, потому что нет мне жизни без тебя».

Он чувствовал, что это правда, что он должен ехать в Мазовию, иначе зачахнет в Богданце. Ему вспомнился Юранд и странное его упорство, он подумал, что тем более надо ехать, чтобы узнать, какая за этим кроется тайна, какие преграды стоят на его пути и нельзя ли убрать их, вызвав кого-нибудь на смертный бой. Наконец ему привиделось, что Дануся

протягивает к нему руки, зовет его: «Ко мне, Збышко, ко мне!» Как же не ехать к ней!

Он не спал, однако так явственно видел ее, будто она явилась ему или приснилась во сне. Едет сейчас Дануська, сидя рядом с княгиней, наигрывает ей на своей маленькой лютне и напевает, а сама думает о нем. Думает о том, что увидит его вскорости, а может, озирается, не мчится ли он вскачь следом за ними, — а он тут вот, в темном бору.

Тут Збышко очнулся, и не только потому, что вспомнил про темный бор, но и по той причине, что позади него в отдалении послышался какой-то шорох.

Он крепче сжал вилы в руках и, насторожась, стал прислушиваться.

Шорох слышался все ближе, скоро он стал совершенно явственным. Под чьей-то осторожной ногой трещали сухие ветки, шуршали кустики ягод и опавшая листва... Кто-то шел.

По временам шорох замирал, будто зверь останавливался под деревом, и тогда наступала такая тишина, что у Збышка начинало звенеть в ушах, затем снова раздавались медленные, осторожные шаги. Кто-то приближался с такими предосторожностями, что Збышко просто пришел в изумление.

«Косолапый, надо думать, боится собак, которые жили здесь у шалаша, — сказал он про себя, — но, может, это волк меня учуял».

Меж тем шаги затихли. Однако Збышко явственно слышал, что кто-то остановился шагах в двадцати — тридцати от него и как будто присел. Он оглянулся раз, другой, но, хотя деревья рисовались во мраке, ничего не мог разглядеть. Ему оставалось лишь ждать.

Ждать пришлось так долго, что Збышко опять растерялся.

«Медведь не пришел бы сюда, под борть, спать, а волк давно бы меня учуял и тоже не стал бы ждать до утра».

И вдруг холод ужаса пробежал у него по телу.

А что, если это вылезла из болота какая-нибудь нечисть и подбирается сзади к нему? А что, если его схватят вдруг ослизлые руки утопленника или заглянут в лицо зеленые глаза упыря; что, если за спиной у него раздастся чей-то страшный хохот или из-за сосны покажется синяя голова на паучьих ножках?

Он почувствовал, что под железным колпаком волосы у него поднимаются дыбом.

Но через минуту шорох раздался уже впереди, на этот раз еще более явственный. Збышко вздохнул с облегчением. Правда, он подумал, что «нечисть» обошла его и теперь приближается спереди. Но это было лучше.

Он половчей ухватил вилы, тихо поднялся и стал ждать.

Вдруг он услышал над головой шум сосен, ощутил на лице сильное дуновение ветра со стороны болота и тотчас уловил запах медведя.

Сомнений не было: это шел косолапый!

Страх мгновенно пропал; нагнув голову, Збышко напряг зрение и слух. Шаги приближались, тяжелые, отчетливые, запах становился все резче; вскоре послышалось сопение и ворчание.

«Только бы не двое!» — подумал Збышко.

В то же мгновение он увидел перед собой огромный темный силуэт зверя: идя по ветру на запах меда, медведь до последней минуты не учуял человека.

— Сюда, косолапый! — крикнул Збышко, выступив из-за сосны.

Словно пораженный этим неожиданным явлением, медведь издал короткий рык; однако он подошел уже слишком близко, чтобы спастись бегством. Тогда он мгновенно поднялся на задние лапы, расставив передние так, словно хотел заключить Збышка в объятия. Збышко только этого и ждал — он молниеносно бросился вперед и, напрягши мышцы своих могучих рук и навалившись всей тяжестью тела на вилы, вонзил их в грудь зверю.

Весь бор содрогнулся теперь от дикого рева. Медведь схватился лапами за вилы, стараясь вырвать их, но зазубрины на острых концах впились ему в грудь, он почувствовал боль и взревел пуще прежнего. Тогда он попытался облапить Збышка, но нажал на вилы, и они еще глубже воткнулись ему в грудь. Збышко не знал, достаточно ли глубоко вонзилось острие, и не отпускал рукояти. Человек и зверь стали дергать друг друга и бросаться из стороны в сторону. Бор сотрясался от рева, в котором звучали ярость и отчаяние.

Збышко хотел схватиться за секиру, но для этого надо было сперва воткнуть в землю другой острый конец вил, а меж тем медведь, точно поняв, в чем дело, ухватился лапами за рукоять и, несмотря на боль, которую причиняло ему каждое движение, дергал ее вместе со Збышком и не давал таким образом «пригвоздить» себя к земле. Страшный бой затягивался, и Збышко понял, что ему в конце концов изменят силы. Кроме того, он мог упасть, а это грозило ему неминуемой гибелью; тогда, собрав все свои силы и напрягши мышцы рук, он расставил ноги и, изогнув спину дугой, чтобы не упасть навзничь, стал повторять сквозь стиснутые зубы:

— Не тебе смерть, так мне!..

И такой гнев овладел вдруг им, такая ярость, что в эту минуту он и впрямь предпочел бы погибнуть сам, чем выпустить зверя живым. Но тут

он зацепился ногой за корень сосны, пошатнулся и, наверное, упал бы, если бы в то же мгновение перед ним не выросла темная фигура, и другие вилы не «пригвоздили» зверя к земле, и чей-то голос не крикнул вдруг над самым его ухом:

— Руби его!..

Збышко был настолько поглощен схваткой с медведем, что ни на мгновение не задумался над тем, откуда же пришла эта неожиданная помощь; схватив секиру, он нанес зверю страшной силы удар. Под тяжестью туши треснули вилы, и, корчась в последних содроганиях, медведь, словно сраженный громом, повалился наземь и захрипел. Однако он тотчас затих. Воцарилась такая тишина, что слышно было только тяжелое дыхание Збышка; ноги у юноши подкосились, и он прислонился к сосне, чтобы не упасть. Только через минуту он поднял голову, покосился на стоявшую рядом фигуру и испугался, подумав, что это, может быть, не человек.

— Кто ты? — спросил он в тревоге.

— Ягенка! — ответил тонкий женский голос.

Збышко онемел от изумления, он глазам своим не поверил. Однако сомнений не могло быть — он снова услышал голос Ягенки:

— Я высеку огонь...

Раздался удар огнива о камень, посыпались искры, и при их неверном свете Збышко увидел белый лоб, темные брови и выпяченные губы девушки, которая дула на тлеющий трут. Только теперь он подумал, что Ягенка пришла в лес, чтобы помочь ему, что без ее вил дело для него могло бы кончиться плохо, и в приливе благодарности, не долго думая, обнял ее и поцеловал в обе щеки.

Трут и огниво выпали у нее из рук.

— Оставь! Что ты? — сказала она приглушенным голосом, однако не отодвинулась и даже как будто случайно коснулась губами губ Збышка.

Он выпустил ее из объятий и сказал:

— Спасибо тебе. Не знаю, что было бы со мной без тебя. А Ягенка, присев в темноте на корточки, чтобы найти огниво и трут, стала объяснять ему:

— Я боялась за тебя, потому что Бездух тоже пошел с вилами и секирой и медведь задрал его. Случись какая-нибудь беда, Мацько страх как горевал бы, а он и так на ладан дышит... Ну, вот я взяла вилы и пошла...

— Так это ты пряталась там, за соснами?

— Я.

— А я думал, нечистый.

— Да и я очень боялась, тут ведь около Радзиковского болота ночью без огня страшно.

— Почему же ты не окликнула меня?

— Боялась, что ты меня прогонишь.

И она снова начала высекать огонь, затем положила на трут пук сухой конопляной костры, которая тотчас вспыхнула ярким огнем.

— У меня две щепки, — сказала она, — а ты набери поскорей валежника, разожжем костер.

Через минуту у них запылал веселый костер, и в отблесках пламени из мрака выступила огромная рыжая туша медведя, лежавшего в луже крови.

— Каков зверина! — не без хвастовства сказал Збышко.

— Голова совсем разрублена! Господи!

Ягенка нагнулась и запустила руку в медвежью шерсть, чтобы проверить, жирен ли зверь, затем поднялась с веселым лицом.

— Сала хватит на добрых два года!

— А вилы сломаны, погляди!

— То-то и оно, что я скажу дома?

— А что?

— Да ведь отец ни за что не пустил бы меня в лес, вот я и должна была ждать, покуда все улягутся спать.

Через минуту она прибавила:

— Не рассказывай, что я тут была, а то надо мной станут смеяться.

— Я провожу тебя до дому, а то еще волки нападут, вил-то у тебя нет.

— Ладно.

Так беседовали они некоторое время, сидя при веселом огне костра над убитым медведем, оба подобные юным лесным духам.

Збышко поглядел на красивое лицо Ягенки, освещенное отблеском пламени, и сказал с невольным восхищением:

— Другой такой девушки, как ты, верно, на всем свете не сыщешь. Тебе бы на войну идти!

Она на мгновение остановила на нем свой взор, а затем ответила с грустью:

— Знаю... только ты не смейся надо мной.

XIII

Ягенка сама натопила большой горшок медвежьего сала, и Мацько с удовольствием выпил первую кварту, потому что оно было свежее, не пригорело и пахло дягилем, которого девушка, знавшая толк в снадобьях, прибавила в горшок сколько требовалось. Мацько воспрянул духом и стал надеяться на выздоровление.

— Этого-то мне и не хватало, — говорил он. — Как весь заплывешь жиром, так, может, и этот чертов осколок из тебя вылезет.

Другие кварталы уже не показались ему такими вкусными, однако для здоровья он продолжал пить сало. Ягенка тоже его подбодряла:

— Будете здоровы. Билюду из Острога глубоко в затылок загнали звенья кольчуги, а от сала они вышли наружу. Как только рана откроется, надо смазать ее бобровой струей.

— А есть у тебя бобровая струя?

— Есть. А свежая понадобится, так мы пойдем со Збышком на бобровые гоны. Бобра добыть нетрудно. Однако не мешало бы вам дать обет какому-нибудь святому, целителю ран.

— Я уж думал об этом, да толком не знаю какому. Георгий Победоносец — покровитель рыцарей, он хранит воина от опасности, а в нужде придает ему и храбрости; толкуют, будто он часто сам становится на сторону правых и помогает им бить неугодных Богу. Но тот, кто сам до драки охоч, вряд ли захочет раны лечить, для этого есть, верно, другой святой, которому Георгий Победоносец поперек дороги не станет. У каждого святого на небесах свое место и свое хозяйство — это дело известное! И никто в чужие дела носа не сует, потому от этого между ними может быть раздор, а святым на небесах не пристало ссориться да драться... Вот Косьма да Дамиан тоже великие святые, им лекари молятся о том, чтоб на свете болезни не вывелись, а то им есть нечего будет. А вот святая Аполлония, та от зубов помогает, а святой Либерий исцеляет от камней, — но это все не то! Приедет аббат, я у него спрошу, к кому мне толкнуться, — он постиг небесные таинства, это тебе не какой-нибудь завалящий ксендз, который мало что понимает, хоть макушка у него и выбрита.

— А не дать ли вам обет самому Иисусу Христу?

— Что говорить, он выше всех. Но ведь это все едино, что поехать мне в Краков к самому королю и пожаловаться, что твой, к примеру, отец избил

моего мужика. Что бы мне сказал король? «Я, — сказал бы он, — владыка всего королевства, а ты лезешь ко мне со своим мужиком! Нет у тебя на него управы? Не можешь пойти в суд к моему каштеляну и помощнику?» Иисус Христос владыка всего света — понимаешь? — а для маловажных дел у Него есть святые.

— Вот что я вам скажу, — сказал Збышко, который подошел к собеседникам в конце разговора, — дайте обет нашей покойнице королеве сходить, коли она поможет, на поклонение в Краков, к ее гробнице. Разве мало чудес совершила она на наших глазах? Зачем искать чужих святых, когда есть своя куда лучше их...

— Да, кабы знать, что она целительница ран!

— А хоть бы и нет! Ни один святой не посмеет косо на нее поглядеть, а посмеет, так еще от Господа Бога получит на орехи — это ведь не какая-нибудь простушка, а польская королева...

— Она к тому же целую языческую страну крестила, — подхватил Мацько. — Это ты умно сказал. Уж, верно, она председатель в совете праведных, куда там с нею тягаться какому-нибудь простецу. Так я и сделаю, как ты советуешь, ей-ей!

Этот совет понравился и Ягенке, которая не могла надивиться уму Збышка, и в тот же вечер Мацько дал торжественный обет: с этой поры он с еще большей надеждой стал пить медвежье сало, ожидая со дня на день непрямого выздоровления. Однако прошла неделя, и он стал терять надежду. Он говорил, что от сала у него урчит в животе, а под нижним ребром растет шишка. Прошло десять дней, и старику стало еще хуже: шишка вздулась и покраснела, а сам Мацько очень ослабел и, когда у него опять поднялся жар, стал готовиться к смерти.

Однажды ночью он неожиданно разбудил Збышка.

— Засвети-ка поскорее лучину, — сказал старик, — что-то со мной творится, не знаю только, хорошее ли или худое.

Збышко вскочил с постели и, не высекая огня, раздул в смежной с боковушкой горнице огонь, зажег от него смолистую лучинку и вернулся к Мацьку.

— Что с вами?

— Что со мной? Шишка у меня прорвалась, верно, осколок лезет! Ухватил я его, а вытащить никак не могу! Слышу только, под ногтями скрипит и звякает...

— Ну конечно, осколок! Ухватите его покрепче и тащите.

Мацько извивался и стонал от боли, но засовывал пальцы все глубже в рану, пока не ухватил крепко какой-то твердый предмет; наконец он рванул

его и вытащил из раны.

— О Господи!

— Вытащили? — спросил Збышко.

— Да. Прямо холодный пот прошиб. Ну а все-таки вытащил, погляди-ка!

И он показал Збышку продолговатый острый обломок, отколовшийся от плохо окованного жала стрелы и несколько месяцев сидевший у старика в теле.

— Хвала Богу и королеве Ядвиге! Теперь будете здоровы.

— Может, и полегче мне, но только страх как болит, — сказал Мацько, выдавливая нарыв, из которого обильно потекла кровь с гноем. — Коли станет во мне меньше этой пакости, так и боль отпустит. Ягенка говорила, что теперь надо смазать рану бобровой струей.

— Завтра же пойдем за бобром.

Утром Мацьку стало гораздо лучше. Он спал допоздна, а проснувшись, велел, чтобы ему подали поесть. На медвежье сало старик уже смотреть не мог, зато ему разбили на сковороде два десятка яиц — больше Ягенка не дала из осторожности. Мацько с жадностью съел яичницу и полкаравая хлеба, запил жбаном пива, развеселился и велел звать Зыха.

Збышко послал за соседом одного из своих турок, подаренных Завишей; Зых вскочил на коня и примчался после полудня, когда Збышко с Ягенкой собирались к Одстаянному озерцу за бобрами. Сперва старики за чарой меда смеялись, шутили и пели песни, а там заговорили о детях и давай расхваливать каждый своего.

— Ну и молодец же у меня Збышко! — говорил Мацько. — Другого такого на всем свете не сыщешь. И храбёр, и быстр, как рысь, и ловок. Да вы знаете, когда его вели в Кракове на казнь, так девушки в окнах вопили, точно кто их сзади шилом колот, да какие девушки — дочери рыцарей да каштелянов, а о всяких там красавицах горожанках и говорить нечего.

— Хоть они и каштелянские дочки и красавицы, а не лучше моей Ягенки! — отрезал Зых из Згожелиц.

— А разве я говорю, что лучше? Милей Ягенки, пожалуй, и не сыщешь.

— Я про Збышка тоже ничего худого сказать не могу: самострел натягивает без рукояти!..

— И медведя один пригвоздит к земле. Видали, как он его рубанул? Отхватил всю голову с лапой.

— Голову отхватил, а вот к земле не один пригвоздил. Ягенка ему

помогла.

— Ягенка?.. Он мне об этом ничего не говорил.

— Он Ягенке обещал не говорить... Срам ведь девке ночью одной по лесу ходить. Ну а мне она тотчас рассказала, как все было. Другие рады соврать, а она от меня не таится. Сказать по правде, и я не обрадовался, кто ж их там знает... Хотел прикрикнуть на нее, а она мне вот что сказала: «Коли я сама девичьей чести не уберегу, так и вам, батюшка, ее не уберечь, да вы не бойтесь, Збышко тоже знает, какова она, рыцарская честь».

— Это верно. Ведь и сегодня они одни пошли.

— Но домой-то вернутся к вечеру. А лукавый ночью больше всего искушает, да и девке стыдиться нечего, потому темно.

Мацько на минуту задумался, а потом сказал как будто про себя:

— И все-таки льнут они друг к дружке...

— Эх! Кабы он другой не обещался.

— Да ведь вы знаете, это только рыцарский обычай такой... Коли нет у молодого рыцаря госпожи, так его считают простачком... Посулил ей Збышко павлиньи чубы, поклялся в том рыцарской честью, ну и должен содрать их у немцев с голов. Да и Лихтенштейна ему надо одолеть, а от прочих обетов аббат может его освободить.

— Аббат не нынче-завтра приедет...

— Вы думаете? — спросил Мацько, а потом продолжал: — Какая цена всем этим обетам, коли Юранд напрямик ему сказал, что не отдаст за него девку! То ли он другому ее обещал, то ли Богу обрек, я того не знаю, но только напрямик сказал, что не отдаст...

— Я вам говорил, что аббат любит Ягенку, как родную. Последний раз он сказал ей: «Родня у меня только по женскому колену, но помру я, так полны колени добра не у нее, а у тебя будут».

Мацько поглядел на него тревожно, даже подозрительно, и, помолчав с минуту времени, сказал:

— Нас-то не обидьте...

— За Ягенкой я дам Мочидолы, — ответил Зых.

— Теперь же?

— Теперь же. Другой я бы не дал, а ей отдам.

— Половина Богданца и так Збышка, а коли даст Бог здоровья, я наведу тут порядок, подниму хозяйство. Вот по сердцу ли вам Збышко?

Зых заморгал глазами и сказал:

— Хуже всего то, что Ягенка, как кто помянет его, так к стенке и отвернется.

— А когда вы других поминаете?

— Как других поминаю, она только прыскает и говорит: «Еще чего выдумали?»

— Вот видите. Бог даст, с такой девушкой Збышко забудет другую. Я уж старик, и то забыл бы... Меду выпьете?

— Выпью.

— Аббат, он умница! Аббаты, слышь, часто люди совсем мирские, ну а он, хоть и не живет с монахами, все-таки ксендз, а ксендз всегда даст дельный совет, не то что простой человек, потому он и грамотен, и со Святым Духом знается. А что вы теперь же дадите за девушкой Мочидолы, это правильно. Я тоже, коли, даст Бог, выздоровею, сманю у Вилька из Бжозовой мужиков побольше. Дам каждому по клочку хорошей земли, земли-то в Богданце хватает. На Рождество пускай сходят к Вильку на поклон — и айда ко мне. Что, разве нельзя? А там и городок в Богданце построю, хорошенькую крепостцу из дуба, и рвом ее обнесу... Пускай Збышко с Ягенкой ходят себе сейчас вдвоем на охоту... Скоро уж, видно, и снег выпадет... Привыкнут они друг к дружке, и забудет хлопец другую. Пускай себе ходят. Что тут долго толковать! Отдадите за него Ягенку или нет?

— Отдам. Давно уж мы задумали поженить их, чтоб Мочидолы и Богданец достались нашим внукам.

— Грады! — с радостью воскликнул Мацько. — Бог даст, внуки посыплются градом. Аббат их нам будет крестить...

— Пусть только поспеваает! — весело воскликнул Зых. — А давно уж не видал я вас таким веселым.

— Сердце у меня прыгает от радости... Осколок-то вышел, ну а что до Збышка, так вы за него не бойтесь. Садится это вчера Ягенка на коня, а день-то ветреный... Я и спрашиваю у Збышка: «Видал?» — а на него такая истома напала. Да и то я смекнул, что на первых порах они мало друг с дружкой разговаривали, а сейчас как пойдут вместе гулять, так всё друг к дружке повертываются и всё говорят, говорят!.. Выпьем!

— Выпьем!

— За здоровье Збышка и Ягенки!

XIV

Старый Мацько не ошибался, когда говорил, что Збышко и Ягенка с удовольствием встречаются и друг без дружки даже скучают. Под предлогом посещения больного Мацька Ягенка часто приезжала в Богданец, с отцом или одна, признательный Збышко тоже то и дело наведывался в Згожелицы, так что с течением времени он свел с Ягенкой дружбу. Полюбившись друг другу, Збышко и Ягенка охотно стали «советоваться», то есть попросту болтать обо всем, что было им интересно. К дружбе у обоих примешивалось и восхищение: молодой и красивый Збышко, который и на войне уже успел прославиться, и в ристалищах принимал участие, и при королевском дворе бывал, по сравнению с каким-нибудь Чтаном из Рогова или Вильком из Бжозовой казался девушке настоящим придворным рыцарем, чуть ли не королевичем, а Збышка порой просто изумляла красота девушки. В мыслях он оставался верен своей Данусе, однако не раз, в лесу ли, дома ли, взглянув вдруг на Ягенку, он невольно говорил себе: «Вот это лань!» Когда же, обняв стан девушки, он сажал ее на коня и чувствовал под рукой упругое, точеное тело, то приходил в смятение, «истома», по словам Мацька, нападала на него, кровь начинала играть в жилах и точно смаривал сон.

Ягенка, девушка по натуре гордая, насмешница и задира, с ним становилась сущей смиренницей, словно служанкой, которая только смотрит в глаза своему господину, как бы ему услужить, как бы ему угодить. Збышко понимал, как расположена она к нему, был благодарен за это ей и все больше искал с нею встреч. С тех пор как Мацько стал пить медвежье сало, они видались уже чуть не каждый день, а когда у старика вышел осколок и для затягивания раны понадобилась свежая бобровая струя, собрались вдвоем на бобровые гоны.

Прихватив самострел, они сели на коней и поехали на те самые Мочидолы, которые должны были пойти в приданое Ягенке, а затем свернули к лесу; оставив под лесом коней на попечении конюха, они пошли дальше пешком, так как через заросли и болота трудно было проехать верхом. По дороге Ягенка показала Збышку за широким, поросшим осокою лугом синюю полосу леса и сказала:

— Это лес Чтана из Рогова.

— Того, который хочет взять тебя в жены?

Она засмеялась:

— Взял бы, кабы далась!

— Тебе легко оборониться, возьми только Вилька на подмогу, он, я слышал, зубы на Чтана точит. Диво, что еще не вызвали друг дружку на смертный бой.

— Едучи на войну, батюшка им так сказал: «Передеретесь, так на глаза мне не показывайтесь». Что им было делать? В Згожелицах они друг на дружку рычат, а потом в Кшесне пьют вместе в корчме, покуда под лавку не свалятся.

— Дураки!

— Почему же?

— Да покуда Зыха не было дома, надо было не тому, так другому дураку напасть на Згожелицы, да и взять тебя силком. Ну что бы Зых мог поделаться, кабы, воротившись с войны, да нашел тебя с младенцем на руках?

Голубые глаза Ягенки так и засверкали:

— Думаешь, я бы далась? Да что, в Згожелицах людей нету, а я не могу схватиться за рогатину или самострел? Пускай бы сунулись! Я любого прогнала бы домой да еще набег учинила на Рогов или Бжозовую. Батюшка знал, что может спокойно идти на войну.

При этих словах Ягенка так нахмурила свои красивые брови и стала так грозно потрясать самострелом, что Збышко рассмеялся и сказал:

— Тебе не девушкой быть, а рыцарем.

Успокоившись, она ответила:

— Чтан берег меня от Вилька, а Вильк от Чтана. Да и аббат меня охранял, ну а с аббатом лучше никому не ссориться...

— Эва! — ответил Збышко. — Все тут у вас боятся аббата! А я вот, по чести скажу, не побоялся бы ни аббата, ни Зыха, ни згожелицких мужиков, ни тебя, клянусь Георгием Победоносцем, не побоялся бы, взял бы силком — и конец...

Ягенка стала как вкопанная и, подняв на Збышка глаза, спросила каким-то странным голосом, протяжно и мягко:

— Взял бы?..

Губы у нее раскрылись, и, зардевшись, словно зорька, она ждала ответа.

Но он, видно, думал только про то, что сделал бы на месте Чтана или Вилька, и через минуту, тряхнув золотыми кудрями, продолжал:

— И чего девке с хлопцами воевать, коли ей надобно замуж? Третий жених не случится, так придется из них выбирать, что ж поделаешь?

— Не говори мне этого, — печально сказала девушка.

— А что? Давно я тут не бывал, не знаю, есть ли кто в округе, кто мог бы прийти тебе по нраву?..

— Ах! — уронила Ягенка. — Перестань!

В молчании пошли они дальше, продираясь сквозь заросли, особенно густые здесь оттого, что кусты и деревья были сплошь увиты диким хмелем. Збышко шел впереди, разрывая зеленые плети хмеля, ломая местами ветви, а Ягенка, как некая богиня охоты, следовала за ним с самострелом за плечами.

— За этой чащей, — сказала она, — будет глубокая речка, но я знаю брод.

— У меня сапоги выше колен, небось пройдем, ног не замочим, — ответил Збышко.

Вскоре они вышли к речке. Ягенка, которая хорошо знала мочидольские леса, легко нашла брод; однако оказалось, что вода от дождей поднялась и речушка стала довольно глубокой. Збышко, не спрашиваясь, взял девушку на руки.

— Да я бы и так перешла, — возразила Ягенка.

— Держись за шею! — велел Збышко.

И медленно стал переходить разлившуюся речку, пробуя всякий раз ногой грунт, чтобы не попасть на глубокое место, а девушка, как и велел ей юноша, все прижималась к нему; когда уже было недалеко до берега, она сказала:

— Збышко?

— Что тебе?

— Не пойду я ни за Чтана, ни за Вилька...

Он вынес ее на берег, осторожно опустил на прибрежную гальку и сказал с легким волнением:

— Дай Бог тебе жениха самого что ни на есть лучшего! Обижаться ему не придется.

До Одстаянного озерца было уже недалеко. Впереди шла теперь Ягенка; изредка оборачиваясь, она прижимала пальцы к губам, приказывая Збышку хранить молчание. Они шли по мокрой низине, пробираясь сквозь заросли лоз и сивого тальника. Справа до них долетал птичий гомон, что очень удивило Збышка, так как уже наступила пора отлета.

— Там болото не замерзает, — прошептала Ягенка, — вот утки на нем и зимуют, да и в озерце вода замерзает только в сильные морозы, и то у самого берега. Глянь, как оно дымится...

Збышко поглядел сквозь кусты лозняка и увидел густой туман: это и было Одстаянное озерцо.

Ягенка опять прижала палец к губам, и через минуту они были у цели. Девушка первая крадучись взобралась на толстую старую иву, низко склонившуюся над водой. Збышко последовал за нею; некоторое время они, ничего не видя в тумане, тихо лежали, слушая лишь жалобный крик чибисов и чаек над головами. Но вот потянул ветерок, зашелестел в лозах и желтеющей листве ив, и глазам охотников открылась в низине гладь озерца, которую рябил ветер.

— Не видно? — прошептал Збышко.

— Не видно. Тише!..

Через минуту ветер умолк, и воцарилась глубокая тишина. Но вот на зеркале озерца затемнела одна голова, другая, затем поближе к охотникам спустился к реке крупный бобер со свежесорванной веткой в пасти и поплыл между цветами калужницы и ряской, поднимая вверх морду и толкая ветку вперед. Збышко, который лежал на дереве пониже Ягенки, увидел вдруг, как осторожно шевельнулись у девушки локти и наклонилась вперед голова, — Ягенка, видно, целилась в зверя, который, не подозревая о грозящей ему опасности, плыл к чистой глади озерца на расстоянии не больше половины полета стрелы.

Но вот зажужжала тетива самострела и одновременно раздался голос Ягенки:

— Готово! Готово!..

Збышко в один миг взобрался повыше и сквозь ветви поглядел на гладь озерца: бобер то погружался в воду, то всплывал на поверхность, перекувыркиваясь при этом и показывая более светлое, чем спинка, брюшко.

— Здорово попала! Сейчас ему конец! — сказала Ягенка.

Она отгадала, движения бобра становились все слабей, еще немного — и он всплыл на поверхность кверху брюхом.

— Я пойду за ним, — сказал Збышко.

— Не ходи. Тут у берега трясина бездонная. Коли не знаешь, как пробираться, наверняка засосет.

— Как же мы его добудем?

— Да ты про то не думай — к вечеру он уж будет в Богданце, а нам пора домой...

— Ловко ты его подстрелила!

— Э, мне не впервой!..

— Другие девушки и глянуть на самострел боятся, а с тобой хоть целый век по лесу ходи!..

Услышав эту похвалу, Ягенка улыбнулась от радости, но ничего не

сказала, и они пошли назад по старой дороге через лозняк. Збышко стал расспрашивать о бобровых гонах, Ягенка рассказала ему, сколько бобров на мочидольских и згожелицких болотах и как они на озерцах и речушках строят свои мазанки и плотины.

Вдруг она хлопнула себя по боку.

— Ах ты Господи! — воскликнула она. — Забыла на иве стрелы. Подожди меня!

Не успел он сказать, что сам сходит за ними, как она, словно серна, помчалась назад и через минуту исчезла из виду. Збышко ждал, ждал и стал удивляться, что это ее так долго нет.

— Верно, растеряла стрелы и ищет их, — сказал он сам себе, — а все-таки надо пойти поглядеть, не случилось ли чего с нею...

Однако не успел он сделать и двух шагов, как перед ним появилась Ягенка с самострелом в руке, смеющаяся, румяная и с бобром за плечами.

— Господи! — воскликнул Збышко. — Да как же ты его добыла?

— Как? Влезла в воду — вот и вся недолга! Мне не впервой, а тебя я не хотела пустить, ты ведь не знаешь, куда надо плыть, так тебя трясина и засосала бы.

— А я ждал тебя тут, как дурак! Хитрая ты девчонка.

— Что же мне было делать? Раздеваться, что ли, при тебе?

— Так ты и стрелы не забыла?

— Нет, это я только хотела, чтобы ты отошел от берега.

— Так, так! Ну а пойдешь следом за тобой, то-то бы диво увидал. Было бы на что поглядеть!

— Замолчи!..

— Ей-ей, я уже шел к тебе.

— Замолчи!..

Через минуту, желая, видно, переменить разговор, она сказала:

— Выжми мне косу, а то вся спина от нее мокрая.

Збышко одной рукой взялся за косу поближе к голове, а другой стал выжимать ее.

— Лучше было бы расплести ее, — говорил он при этом, — ветер тотчас и высушил бы.

Но Ягенка не хотела расплести косу, потому что им снова приходилось продираться сквозь заросли. Збышко закинул теперь за спину бобра, а Ягенка пошла впереди.

— Теперь Мацько скоро выздоровеет, — сказала она, — потому для ран нет ничего лучше, как пить медвежье сало, а рану смазывать бобровой струей. Недельки через две сможет сесть на коня.

— Дай-то Бог! — сказал Збышко. — Жду не дождусь, когда он выздоровеет, — больного бросить нельзя, а сидеть мне здесь невоготу.

— Невмоготу? — переспросила Ягенка. — Отчего же?

— Разве Зых ничего не говорил тебе про Данусю?

— Да нет, говорил... Я знаю, знаю... она тебя покрывалом накрыла... Он говорил мне еще, что всякий рыцарь дает обет... служить своей госпоже.... Но он говорил, что это пустое... все эти обеты... и женатые дают обет служить какой-нибудь госпоже. А эта Дануся, Збышко, кто она, скажи мне?... Кто она, эта Дануся?

И, подойдя ближе к Збышку, она в страшной тревоге устремила на него глаза, он же, не обратив на это никакого внимания, ответил:

— Она и моя госпожа, и возлюбленная моя. Никому я про это не говорил, а тебе, как сестре родной, скажу, потому что мы с малых лет знаем друг дружку. За тридевять земель, в тридесятое царство пошел бы я за нею, хоть к немцам, хоть к татарам, потому другой такой нет на всем белом свете. Пускай дядя остается в Богданце, а я к ней поеду... Что мне без нее Богданец, что достатки, что стада, что богатства аббата! Сяду я на коня и уеду зимой и, клянусь Богом, исполню все, что обещал ей, разве только раньше сам сложу голову.

— Я не знала об этом... — глухо сказала Ягенка.

Збышко тогда стал ей рассказывать о том, как встретил в Тынце Данусю и как тотчас дал ей обет, о том, что случилось после, — как сидел в темнице, как спасла его Дануся, как Юранд ему отказал, и как прощались они, и как тоскует он без нее, и как радуется, что после выздоровления Мацька уедет к своей возлюбленной, чтобы исполнить все, что ей обещал. Он оборвал свой рассказ, завидев слугу с лошадьми, который поджидал их на лесной опушке.

Ягенка вскочила на коня и сразу же стала прощаться со Збышком.

— Пускай конюх едет следом за тобою с бобром, а я возвращаюсь в Згожелицы.

— Ты не поедешь в Богданец? Да ведь Зых у нас.

— Нет. Батюшка сказал мне, что вернется домой.

— Ну, тогда спасибо тебе за бобра.

— Прощай...

И через минуту Ягенка осталась одна. Она ехала домой через заросли вереска и первое время все оглядывалась на Збышка, а когда он скрылся наконец за деревьями, закрыла рукою глаза, словно прячась от солнца.

Но скоро крупные слезы покатались из-под руки по ее щекам и закапали на седло и на гриву коня.

После разговора со Збышком Ягенка три дня не показывалась в Богданце и только на четвертый день прискакала с вестью, что в Згожелицы приехал аббат. Мацько встревожился. Правда, у него было на что выкупить Богданец, старик даже подсчитал, что останутся деньги на то, чтобы поселить в деревне новых мужиков и развести скот, да и на другие хозяйственные нужды хватит; однако многое в этом деле зависело от богатого родственника, который мог, например, забрать поселенных им мужиков, но мог и оставить их Мацьку и тем самым увеличить цену его владений.

Поэтому Мацько стал выпрашивать у Ягенки, в каком расположении духа приехал аббат — веселый или хмурый, что говорил про них и когда заедет в Богданец. Девушка толково отвечала на вопросы старика, стараясь ободрить его и успокоить.

Она сказала Мацьку, что аббат приехал здоровый и веселый, с большой свитой, в которой, кроме вооруженных слуг, было несколько странствующих причетников и песенников, что сейчас он распевает с Зыхом и с удовольствием слушает не только духовные, но и светские песни. Она заметила, что аббат с искренним участием расспрашивал про Мацька и жадно слушал рассказы Зыха о приключениях Збышка в Кракове.

— Вы сами лучше знаете, что делать, — заключила свой рассказ умная девушка. — Но только я думаю, что Збышку следует тотчас поехать на поклон к старшему родичу, а не ждать, покуда он приедет в Богданец.

Мацько послушался доброго совета, велел позвать Збышка и сказал ему:

— Оденься-ка получше и поезжай на поклон к аббату, окажи ему эту честь — может, он тебя и полюбит.

Затем старик обратился к Ягенке:

— Не диво было бы, когда бы ты была глупа, на то ты и баба, а ведь ты умна, вот это-то мне и удивительно. Скажи, как принять нам аббата и чем его потчевать, когда приедет?

— Аббат сам скажет, чего ему хочется, он любит хорошо поесть; только было бы побольше шафрана, так не станет привередничать.

Услышав об этом, Мацько за голову схватился.

— Да откуда же мне взять шафрана?..

— Я привезла, — сказала Ягенка.

— А чтоб такие девки и на камне родились! — обрадовался Мацько. — И лицом-то пригожа, и хозяйка, и расторопна, и сердце доброе! Эх! Будь я помоложе, женился бы на тебе не задумываясь!..

Ягенка украдкой взглянула на Збышка и с тихим вздохом продолжала:

— Привезла я кости, кубок и сукно; аббат, как покушает, любит поиграть в кости.

— У него и прежде был такой обычай, а уж горячился за игрой, ну просто страх как!

— Он и сейчас горячится; как хватит иной раз кубком оземь, да прямо в поле и выскочит. Ну а воротится — сам же первый над собой смеется... Да вы его знаете... Ему только перечить не надо, тогда нет лучше человека на свете.

— Кто же станет ему перечить, коли он умнее всех?

Они вели такой разговор, а Збышко тем временем переодевался в боковушке. Он вышел оттуда такой красивый, что просто ослепил Ягенку, совсем как тогда, когда в первый раз приехал в своем белом полукафтани в Згожелицы. Но на этот раз грудь у нее защемило от жалости, как подумала она, что не для нее эта краса и что другая пришлась ему по сердцу.

А Мацько подумал, что Збышко, наверно, понравится аббату и тот не станет утеснять их, когда дело дойдет до уговора. Старик так обрадовался, что тут же решил ехать со Збышком в Згожелицы.

— Вели положить для меня охапку сенца на телегу, — сказал он Збышку. — Коли я из Кракова в Богданец доехал с жалом стрелы под ребром, так без жала-то как-нибудь уж доберусь до Згожелиц.

— Как бы вам худо не стало, — заметила Ягенка.

— Э, ничего мне не сделается, я уже окреп. А и станет худо, так аббат узнает по крайности, как я к нему торопился, щедрей будет.

— Мне ваше здоровье дороже его щедрот, — возразил Збышко.

Но Мацько уперся и настоял на своем. По дороге он все покряхтывал, однако не переставал поучать Збышка, как следует вести себя в Згожелицах, при этом особенно наказывал быть смиренным и покорным, так как богатый родич никогда не терпел противоречий.

Когда они приехали в Згожелицы, аббат с Зыхом сидели на крылечке и, попивая винцо, наслаждались красотой мира Божьего. Позади них у стены сидели шесть человек из свиты аббата, в том числе два песенника и один пилигрим, которого тотчас можно было признать по кривому посоху, баклажке у пояса и ракушкам, нашитым на темный плащ. Прочие были как будто причетники, с выбритыми макушками, однако одежда на них была светская, пояса из воловьей кожи и на боку мечи.

Увидев Мацька, который приехал на телеге, Зых бросился встречать его, аббат же, соблюдая, должно быть, свое достоинство, остался сидеть; он только сказал что-то своим причетникам, которые выбежали из отворенной двери дома. Збышко и Зых под руки подвели больного Мацька к крылечку.

— Все еще неможется, — сказал Мацько, целуя аббату руку, — а все-таки приехал поклониться вам, благодетель, спасибо сказать вам за то, что в Богданце хорошо хозяйствовали, и испросить вашего благословения, а это нам, грешным, всего нужнее.

— Я слышал, вам стало получше, — сказал аббат, обнимая его голову, — и вы дали обет сходить на поклонение ко гробу нашей покойницы королевы.

— Не знал я, какому святому мне помолиться, вот ей и помолился.

— И хорошо сделали! — с жаром воскликнул аббат. — Она лучше прочих святых, и пусть только кто из них осмелится ей позавидовать!

Лицо аббата мгновенно вспыхнуло от гнева, щеки побагровели, глаза засверкали.

Все знали, как он горяч, и Зых крикнул со смехом:

— Бей, кто в Бога верует!

Аббат, отдуваясь, обвел глазами присутствующих, засмеялся так же неожиданно, как и вскипел гневом, и, посмотрев на Збышка, спросил:

— Это ваш племянник, родич мой?

Збышко нагнулся и поцеловал аббату руку.

— Я его маленьким видел и теперь не признал бы! — сказал аббат. — Ну-ка, покажись!

Быстрыми глазами он оглядел Збышка и сказал:

— Уж больно красив, не рыцарь, а панна!

Но Мацько возразил:

— Звали эту панну немцы танцевать, да все, кто только пускался с ней в пляс, свалились, да так, что больше уж не встали.

— Он и самострел без рукояти натягивает! — воскликнула вдруг Ягенка.

— А ты чего суешься? — повернулся к ней аббат.

Ягенка вся так и вспыхнула, даже шея и уши у нее покраснели, и ответила в крайнем смущении:

— Я сама видела...

— Берегись, как бы он не подстрелил тебя, а то девять месяцев лечиться придется...

При этих словах песенники, пилигрим и причетники так и покатались со смеху, а Ягенка совсем потерялась, так что уж аббат сжалился над нею и,

подняв руку, показал ей на широченный рукав своего одеяния.

— Спрячься, девушка, — сказал он, — а то сгоришь со стыда.

Тем временем Зых усадил Мацька на лавку и велел Ягенке принести вина.

— Пошутили, хватит! — продолжал аббат, обратив на Збышка глаза. — Я сравнил тебя с девушкой не для того, чтоб над тобой поглумиться, любо-дорого смотреть на твою красу, не одна девушка ей позавидовала бы. Нет, я знаю, ты удалец! Слыхал я и про твои подвиги в Вильно, и про фризов, и про Краков. Зых обо всем мне рассказал — понял?..

Тут он пронзительно поглядел Збышку в глаза и, помолчав с минуту, продолжал:

— Пообещал три павлиньих чуба — ищи их! Преследовать врагов нашего племени — это дело похвальное и угодное Богу... Ну а коли ты еще что-нибудь обещал, так знай, что я тотчас могу разрешить тебя от этих обетов, ибо дана мне такая власть.

— Эх! — воскликнул Збышко. — Уж если человек в душе пообещал что-нибудь Богу, то какой же властью можно разрешить его от этого обета?

Услышав такие речи, Мацько со страхом поглядел на аббата, но тот, видно, был в самом хорошем расположении духа и потому не разгневался, а только весело погрозил Збышку пальцем и сказал:

— Ишь ты, умник какой нашелся! Смотри, брат, как бы с тобой не приключилось то же, что с немцем Бейгардом.

— Что же с ним такое приключилось? — спросил Зых.

— На костре его сожгли.

— За что?

— За то, что болтал, будто мирянин может так же постигнуть небесные таинства, как и лицо духовного звания.

— Сурово его покарали!

— Но справедливо! — взревел аббат. — Ведь это кощунство против Духа Святого! А вы как думаете? Может ли мирянин постигнуть небесные таинства?

— Никак не может, — дружным хором ответили причетники.

— Вы, шуты, тоже смирно сидите, вы ведь вовсе не ксендзы, хоть макушки у вас и бритые.

— А мы уже не шуты и не скоморохи, а слуги вашей милости, — ответил один из них, заглядывая в большой жбан, от которого так и несло солодом и хмелем.

— Нет, вы только посмотрите!.. Голос — как из бочки! — воскликнул

аббат. — Эй ты, лохмач! Ты что в жбан-то заглядываешь? Латыни там на дне не найдешь!

— А я и не ищу латыни, я пива ищу, да никак не найду.

Аббат повернулся к Збышку, который в изумлении смотрел на этих придворных, и сказал:

— Это все *clerici scholares*^[51], хоть каждый из них предпочел бы швырнуть книгу, схватить лютню и таскаться с нею по свету. Приютил я их и кормлю, что поделаешь? Бездельники они, последние бродяги, да петь умеют и службу отправляют, так, из пятого в десятое, — вот мне от них в костеле и польза, а при случае и защита, есть между ними горячие парни! Пилигрим говорит, будто побывал в святой земле, только зря бы ты стал у него спрашивать про моря да чужие страны, он даже не знает, как зовут византийского императора^[52] и в каком городе он живет.

— Знал я, — хриплым голосом возразил пилигрим, — да как стала меня на Дунае лихоманка трясти, так все из головы и вытрясла.

— Больше всего удивляют меня мечи, — сказал Збышко, — у причетников я никогда их не видывал.

— Им можно, — сказал аббат, — они ведь непосвященные, а что я ношу меч на боку, это тоже неудивительно. Год назад вызвал я на бой на утоптанной земле Вилька из Бжозовой из-за тех лесов, через которые вы проезжали в Богданец. Не принял Вильк вызова...

— Как же он мог принять вызов от духовного лица? — прервал Зых аббата.

Аббат вскипел и, ударив кулаком по столу, крикнул:

— Когда я с оружием, я не ксендз, а шляхтич!.. А он потому не принял вызова, что хотел напасть на меня со слугами ночью в Тульче. Вот почему я ношу саблю на боку!.. *Omnes leges, omniaque iura vim vi repellere cunctisque sese defensare permittunt!*^[53] Вот почему я вооружил их мечами.

Услышав латынь, Зых, Мацько и Збышко умолкли и склонили головы перед мудростью аббата, хотя никто из них не понял ни одного слова; аббат все еще поводил гневными очами и наконец сказал:

— Как знать, не нападет ли он еще тут на меня?

— Эва! Пусть только сунется! — воскликнули причетники, хватаясь за мечи.

— Пусть суется! И мне уж скучно без драки.

— Он этого не сделает, — возразил Зых, — скорее с миром на поклон придет. От лесов он уже отказался, про сына думает... Да вы знаете... Только не бывать этому!..

Меж тем аббат успокоился и сказал:

— Я видел, как в корчме в Кшесне молодой Вильк пил с Чтаном из Рогова. Они нас не признали — темно было — и все толковали про Ягенку.

Тут он повернулся к Збышку:

— И про тебя.

— А что им от меня нужно?

— От тебя им ничего не нужно, только не по вкусу им, что неподалеку от Згожелиц завелся третий хлопец. Вот и говорит Чтан Вильку: «Небось спущу с него шкуру, не будет таким красавчиком». А Вильк ему: «Может, говорит, нас побоится, а нет, так я ему живо ребра пересчитаю!» А потом они все твердили друг дружке, что ты непременно будешь их бояться.

Тут Мацько поглядел на Зыха, Зых на Мацька, и лица у обоих стали хитрыми и веселыми. Никто из них не был уверен в том, что аббат действительно слышал такой разговор, а не выдумал его для того, чтобы подзадорить Збышка; но зато оба они, особенно Мацько, который хорошо знал Збышка, отлично поняли, что не было лучшего способа свести его с Ягенкой.

А тут аббат будто невзначай обронил:

— Сказать по правде, храбрые парни!..

Збышко и виду не подал, что это его задело, только спросил у Зыха каким-то чужим голосом:

— Завтра воскресенье?

— Воскресенье.

— Вы к обедне поедете?

— А как же!..

— Куда? В Кшесню?

— Туда ближе всего. Куда ж еще ехать-то?

— Ладно!

XVI

Догнав Зыха и Ягенку, которые с аббатом и его причетниками направлялись в Кшесню к обедне, Збышко присоединился к ним и поехал дальше вместе со всей компанией — ему непременно хотелось показать аббату, что он не боится ни Вилька из Бжозовой, ни Чтана из Рогова и не собирается прятаться от них. В первую минуту юношу снова поразила красота Ягенки; и в Згожелицах, и в Богданце он часто видел ее разодетую для гостей, но никогда наряд ее не был так пышен, как сейчас, когда она собралась в костел. Девушка была в шубке алого сукна, подбитой горностаем, рукавички у нее тоже были алые, из-под горностаевой шитой золотом шапочки спускались на плечи две косы. На коне она сидела не верхом, по-мужски, а в высоком седле с подлокотниками и скамеечкой для ног, кончики которых едва виднелись из-под длинной, в прямую складку юбки. Зых, который дома позволял дочери ходить в кожаных сапогах, желал, чтобы в костеле все видели, что к обедне приехала не дочка какой-нибудь мелкой сошки, захудалого шляхтича, а панна из богатого рыцарского дома. Коня ее вели под уздцы два подростка в наряде, вверху пышном, а внизу в обтяжку, какой носили обычно пажи. Позади ехали четверо слуг, а уж за ними следовали причетники аббата с мечами и лютьнями у пояса. Весь этот поезд привел Збышка в восхищение, особенно Ягенка, которая была хороша удивительно — не девушка, а картина, и аббат, который в своем пурпурном одеянии с широченными рукавами смотрел прямо путешествующим князем. Скромнее всех был одет сам Зых — он позаботился о пышности прочих, а себе оставил только песни да веселье.

Аббат, Ягенка, Збышко и Зых, поравнявшись, поехали рядом. Сперва аббат велел своим песенникам петь божественные песни; потом эти песни ему, видно, прискучили, и он завел разговор со Збышком, который с улыбкой поглядывал на его огромный меч длиной никак не меньше двуручных немецких мечей.

— Я вижу, — важно сказал аббат, — тебе удивительно, что при мне этот меч, так знай же, что синоды дозволяют духовным особам иметь при себе в дороге не токмо мечи, но даже баллисты и катапульты, а мы ведь сейчас с тобою в пути. Когда святой отец возбранял духовным особам носить мечи и пурпурные одежды, он, наверно, думал о людях низшего сословия, ибо шляхтича Бог сотворил для оружия, и тот, кто пожелал бы

разоружить его, восстал бы против велений Предвечного.

— Я видал мазовецкого князя Генрика, который выходил на единоборство, — ответил Збышко.

— Не то зазорно, что он выходил на единоборство, — возразил аббат, поднимая вверх палец, — а то, что женился, да к тому же неудачно, mulierem^[54] взял fornicariam и bibulam^[55], которая, как говорят, с молодых лет Vacchum adorabat^[56], да к тому же была adultera^[57], а от этого тоже ничего хорошего нельзя было ждать.

Тут он остановил коня и с еще большей важностью стал поучать Збышка:

— Коль задумал кто жениться, то есть избрать себе uxorem^[58], должен смотреть, чтобы она была богобоязненна, благонравна и опрятна, чтобы хозяйка была хорошая; так учат не только отцы церкви, но и языческий мудрец по имени Сенека. А как же ты распознаешь, что избрал достойную, коль неведомо тебе будет родовое гнездо, из коего берешь себе подругу жизни? Другой святой мудрец говорит: Pomus non cadit absque arbore^[59]. Тощ вол — тоща и шкура, мать глупа — и дочка дура. Вот и возьми это в толк, недостойный, да не ищи себе жены далеко, а ищи поближе, не то достанется тебе злая да своенравная, и наплачешься ты с нею, как наплакался философ, когда сварливая жена в гнев вылила ему на голову aquam sordidam.^[60]

— In saecula saeculorum, amen!^[61] — грянули хором причетники, которые всегда вершили амином слова аббата, не очень-то задумываясь над тем, впопад или невпопад возглашают они свой аминь.

Все внимали аббату, дивясь его красноречию и познаниям в Священном Писании, а он говорил не столько Збышку, сколько Зыху и Ягенке, будто их особенно хотел наставить на ум. Ягенка, видно, смекнула, куда аббат клонит, она пристально поглядывала на Збышка из-под длинных ресниц, а тот и брови насупил, и голову опустил, словно раздумавшись о том, что довелось ему услышать.

Через минуту поезд двинулся дальше; но все уже хранили молчание, и только когда вдали завиднелась Кшесня, аббат ощупал свой пояс, сдвинул его наперед, чтобы легко было схватиться за рукоять меча, и сказал:

— Старый Вильк из Бжозовой, пожалуй, с целой ватагой приедет.

— Пожалуй, — подтвердил Зых, — только вот слуги болтали, будто он захворал.

— А один мой причетник сказал, будто он хочет напасть на нас после обедни перед корчмой.

— Не стал бы он этого делать без вызова, да еще после обедни.

— Да вразумит его Господь Бог. Я ни с кем не ищу войны и терпеливо сношу все обиды.

Тут он оглянулся на своих песенников и сказал:

— Смотрите мне, мечей не вынимать и помнить, что вы служители церкви, ну а ежели те первыми вынут, тогда айда на них!

Меж тем Збышко, подвигаясь вперед рядом с Ягенкой, расспрашивал ее о делах, которые его больше всего занимали.

— В Кшесне мы непременно застанем Чтана и молодого Вилька, — сказал он. — Покажешь мне их издали, чтобы я знал их в лицо.

— Ладно, Збышко, — ответила Ягенка.

— Они, верно, встречают тебя и перед обедней, и после обедни. Что они тогда делают?

— Служат мне, как умеют.

— Сегодня они тебе служить не будут — понятно?

Она снова послушно ответила:

— Ладно, Збышко.

Дальнейший разговор был прерван стуком деревянных бил, которые в Кшесне заменяли еще тогда колокола. Вскоре весь поезд был уже на месте. Из толпы народа, ожидавшего перед костелом начала обедни, тотчас вышли молодой Вильк и Чтан из Рогова; однако Збышко предупредил их: не успели они подбежать к Ягенке, как он соскочил с коня и, обхватив стан девушки, ссадил ее с седла, взял за руку и, вызываясь глядя на хлопцев, повел ее в костел.

В притворе Вилька и Чтана ждало новое разочарование. Оба они бросились к кропильнице и, омочив руки, протянули их девушке. Однако то же самое сделал Збышко, Ягенка коснулась его пальцев, перекрестилась и вместе с ним вошла в костел. Тут не только молодой Вильк, но даже Чтан из Рогова, парень недалекий, догадались, что все это сделано было с умыслом, и оба так вознегодовали, что у них волосы встали дыбом под сетками. Однако, опасаясь кары Господней, они кое-как совладали с собой и в костел в таком озлоблении войти не посмели; Вильк выбежал из притвора и как сумасшедший помчался по погосту между деревьями куда глаза глядят. Вслед за ним ринулся Чтан, тоже не зная, зачем он это делает.

Они остановились в углу ограды, где были свалены огромные камни, приготовленные для фундамента колокольни, которую должны были строить в Кшесне. Чтобы хоть на чем-нибудь сорвать злость, которая так и душила его, Вильк ухватился за один камень и стал изо всех сил ворочать его; вслед за ним ухватился за камень и Чтан, и через минуту они в ярости

покатили его через весь погост к самым воротам.

Народ смотрел на них в изумлении, думая, что это они обет дали такой, что это они хотят таким образом помочь соорудить колокольню. От усталости у хлопцев отошло от сердца, они опомнились, только побледнели от натуги и отдувались, неуверенно поглядывая друг на друга.

Первым прервал молчание Чтан из Рогова:

— Как же быть?

— А что? — спросил Вильк.

— Сейчас нападём на него в костеле?

— Как же ты нападёшь на него в костеле?

— Не в костеле, а после обедни.

— Он ведь с Зыхом и с аббатом. Или ты забыл, что Зых посулился, коли случится драка, нас обоих выгнать из Згожелиц. Не будь этого, я бы уж давно переломал тебе все ребра.

— Либо я тебе! — отрезал Чтан, сжимая могучие кулаки.

И глаза у них зловеще засверкали; однако хлопцы тотчас сообразили, что теперь им больше, чем когда бы то ни было, надо держаться вместе. Они не раз уже дрались, однако после драки всякий раз мирились, — жить они не могли друг без друга и всегда скучали врозь, хоть и разделяла их любовь к Ягенке. Теперь же у них был общий враг, и оба они чувствовали, что соперник этот для них очень опасен.

Помолчав с минуту времени, Чтан спросил:

— Что делать? Не послать ли ему вызов в Богданец?

Хотя Вильк был умнее своего товарища, однако на этот раз и он не знал, как быть. К счастью, на помощь им пришли била, которые застучали вновь, возвестив начало обедни.

— Что делать? — переспросил Вильк. — Идти к обедне, а там пусть будет, что Бог даст.

Этот разумный ответ успокоил Чтана из Рогова.

— Может, Господь наставит нас, — заметил он.

— И благословит, — прибавил Вильк.

— По справедливости.

Войдя в костел, Вильк и Чтан с благоговением отслушали обедню и приободрились. Они не потеряли присутствия духа даже тогда, когда после обедни Ягенка в притворе снова приняла святую воду из рук Збышка. У ворот они в ноги поклонились Зыху, Ягенке и даже аббату, хоть он был врагом старого Вилька из Бжозовой. Правда, на Збышка они глядели исподлобья, но не выдали себя ни единым звуком, хотя сердце у них щемило от муки, гнева и зависти и Ягенка никогда не казалась им такой

красавицей, сущей королевной. Лишь когда поезд тронулся в обратный путь и до них издали долетела веселая песня причетников, Чтан, отфыркиваясь, как лошадь, отер пот со своего заросшего лица, а Вильк, скрежеща зубами, проговорил:

— В корчму! В корчму! Горе мне!..

Тут они вспомнили, отчего им в прошлый раз стало легче, ухватились опять за камень и в ярости покатали его на прежнее место.

Меж тем Збышко ехал рядом с Ягенкой, слушая песни причетников аббата, однако, когда поезд проехал с версту, он осадил вдруг коня и сказал:

— Ба! Совсем позабыл! Я ведь хотел заказать службу о здравии дяди. Придется вернуться.

— Не возвращайся! — воскликнула Ягенка. — Пошлем человека из Згожелиц.

— Нет, я ворочусь, а вы меня не ждите. С Богом!

— С Богом! — сказал аббат. — Езжай!

И лицо у него повеселело, а когда Збышко скрылся из виду, он неприметно подтолкнул Зыха и сказал:

— Поняли?

— Что?

— В Кшесне он, как Бог свят, будет драться с Вильком и Чтаном, а я только этого и хотел и к этому клонил все дело.

— Они парни храбрые! Еще ранят его, тогда что?

— Как что? Коли он будет драться за Ягенку, как же ему потом думать про дочку Юранда? Не она, а Ягенка станет тогда его госпожой, а я только этого и хочу, — он мой родич и пришелся мне по сердцу.

— А как же с обетом?

— Да я тотчас его разрешу! Разве вы не слыхали, что я сам посулил ему это?

— Ума палата, всегда-то вы найдетесь! — ответил Зых.

Аббат, польщенный похвалой, подъехал поближе к Ягенке и спросил:

— Ты что нос повесила?

Она склонилась в седле и, схватив руку аббата, прижала ее к губам.

— Крестный, вы бы послали песенников в Кшесню.

— Зачем? Перепьются они в корчме — и только.

— А может, помешают ссоре.

Аббат бросил на нее быстрый взгляд и вдруг резко сказал:

— Да хоть бы его там и убили!

— Тогда пусть и меня убьют! — воскликнула Ягенка.

И все горе, все сожаления, которые накопились в ее груди со времени

разговора со Збышком, излились вдруг в потоках слез. Увидев, что Ягенка плачет, аббат обнял девушку рукою так, что укрыл ее чуть не всю широченным своим рукавом, и заговорил:

— Не бойся, доченька, ничего не бойся. Они могут там поссориться, но ведь и Вильк с Чтаном — шляхтичи, не станут они нападать на него все вдруг, на поединок вызовут, как рыцарский обычай велит, ну а уж он-то с ними справится, хоть бы и с двумя сразу драться пришлось. Что ж до дочки Юранда, то одно скажу тебе: ни в одном лесу не растет дерево для их ложа.

— Коль она ему милее, так и я его не хочу! — сквозь слезы сказала Ягенка.

— Чего же ты тогда хнычешь?

— Боюсь за него.

— Вот уж подлинно бабий ум! — со смехом воскликнул аббат.

Тут он нагнулся к уху Ягенки и сказал ей:

— А ты, девушка, про то подумай, что, и женится он на тебе, все равно ему не раз драться придется, — он ведь шляхтич.

Нагнувшись еще ниже, он прибавил:

— А женится он на тебе, как Бог свят, женится, и в самом скором времени!

— Где уж там! — возразила Ягенка.

А сама тотчас заулыбалась сквозь слезы и глянула на аббата так, будто хотела спросить, откуда же он это знает.

Меж тем Збышко, вернувшись в Кшесню, проехал прямо к ксендзу, так как в самом деле хотел заказать службу о здравии Мацька; уговорившись с ксендзом, он направился прямо в корчму, где надеялся застать молодого Вилька из Бжозовой и Чтана из Рогова.

Он и впрямь застал там обоих. Народу в корчме было полным-полно, пила тут и шляхта, знатная и мелкая, и мужики, и даже несколько захожих шукарей показывали всякие немецкие штуки. Однако в первую минуту Збышко ничего не мог разглядеть, так как окна в корчме, затянутые воловьими пузырями, пропускали мало света; только когда слуга подбросил в печку сосновых щепок, Збышко увидел в углу за братинами пива волосатую рожу Чтана и суровое, гневное лицо Вилька из Бжозовой.

Тогда он медленно двинулся к ним, расталкивая по дороге толпу, и, подойдя вплотную, с такой силой ударил кулаком по столу, что грохот пошел по всей корчме.

Вильк и Чтан вскочили с мест и, сдвинув наперед кожаные пояса, хотели уже схватиться за мечи, но не успели они этого сделать, как Збышко бросил на стол перчатку и, говоря в нос, как было в обычае у рыцарей при

вызове на бой, произнес следующие, совершенно неожиданные, слова:

— Коли кто из вас или других рыцарей, присутствующих здесь, станет оспаривать, что панна Данута, дочь Юранда из Спыхова, — самая прекрасная и самая добродетельная девица на свете, то я вызову его на поединок, конного или пешего, до первого коленопреклонения или до последнего вздоха.

Вильк и Чтан были просто поражены, как поразился бы и аббат, если б услышал что-либо подобное, и с минуту времени слова не могли вымолвить. Что это за панна? Они вовсе не о ней помышляют, а об Ягенке... А ежели этому шалому парню не нужна Ягенка, тогда чего он к ним лезет? Зачем рассердил их перед костелом? Зачем пришел сюда и ищет с ними ссоры? Все перемешалось у них в головах, они даже рты разинули, а Чтан так вытаращился на Збышка, точно не человека увидел, а какое-то немецкое диво.

Но Вильк был побойчее, знал немного рыцарские обычаи и слышал, что рыцари часто дают обет служить одним дамам, а женятся вовсе на других, вот он и подумал, что и тут может такое случиться, и уж если подвертывается okazия подраться за Ягенку, то надо ею немедленно воспользоваться.

Он вылез из-за стола, подошел к Збышку с видом, который не сулил ничего хорошего, и спросил:

— Так по-твоему, собачий ты сын, не Ягенка, дочка Зыха, прекраснее всех на свете?

Вслед за ним вылез из-за стола Чтан, и около них сразу стал собираться народ, потому что все уже поняли, что добром это дело не кончится.

XVII

Вернувшись домой, Ягенка тотчас послала слугу в Кшесню узнать, не подрался ли кто в корчме или не вызвал кого-нибудь на поединок. Однако слуга, получив на дорогу коец^[62], засел в корчме пить со слугами ксендза и не помышлял о возвращении домой. Другой слуга, посланный в Богданец предупредить Мацька о прибытии аббата, вернулся, выполнив поручение, и сказал, что видел, как Збышко играл со старым шляхтичем в кости.

Ягенка немного успокоилась, она знала, как ловок и искусен в бою Збышко, и опасалась не столько того, что его могут вызвать на бой, сколько того, что в корчме может неожиданно стрястись какая-нибудь беда. Ей хотелось съездить с аббатом в Богданец, но тот решительно воспротивился, так как хотел поговорить с Мацьком о залоге и об одном еще более важном деле, а такой свидетель, как Ягенка, был бы при этом лишним.

К тому же аббат собирался заночевать в Богданце. Узнав о благополучном возвращении Збышка, он пришел в отличное расположение духа и велел своим причетникам горланить песни так, что стон стоял в лесу, а в самом Богданце мужики выглядывали из халуп, чтобы узнать, не пожар ли это случился или, может, враг наступает. Но пилигрим, ехавший впереди с кривым посохом в руке, успокаивал их, что это едет высокая духовная особа, и мужики кланялись и даже осеняли себя крестным знамением; видя, какие ему воздают почести, аббат возвеселился и возгордился и ехал вперед, радуясь на мир Божий, преисполненный благоволения к людям.

Услышав крики и песни, Мацько и Збышко к самым воротам вышли встречать аббата. Некоторые причетники уже бывали с аббатом в Богданце, но те из них, которые недавно присоединились к его свите, никогда Богданца не видели. Они приуныли, когда взорам их открылся убогий домишко, который и сравнить нельзя было с обширным домом в Згожелицах. Однако, заметив, что сквозь соломенную стреху домишка пробивается дым, они воспрянули духом и совсем оживились, когда вошли в дом и слышали запах шафрана и всяких яств и увидели два стола, уставленные оловянными мисками, правда, еще пустыми, но такими огромными, что один вид их радовал глаз. На столе поменьше сверкала приготовленная для аббата миска чистого серебра и такой же, украшенный богатой резьбой, кубок, добытые вместе с другими богатствами у фризков.

Мацько и Збышко тотчас стали звать гостей к столу, но аббат, который,

уезжая из Згожелиц, плотно поел, отказался, тем более что его занимало совсем другое. По приезде в Богданец он сразу стал пытливо и вместе с тем беспокойно всматриваться в Збышка, словно хотел найти на нем следы драки; при виде спокойного лица юноши его охватило такое нетерпение, что он уже не мог сдержать свое любопытство.

— Пойдем-ка в боковушу, — сказал он, — поговорим насчет залога. Не прекословить, не то рассержусь!

Затем он повернулся к причетникам и рявкнул:

— А вы потише там да под дверью мне не подслушивать!

Он отворил дверь и с трудом протиснулся в боковушу, за ним вошли Збышко и Мацько. Когда они расселись на сундуках, аббат повернулся к молодому рыцарю.

— В Кшесне был? — спросил он.

— Был.

— Ну и что же?

— Службу заказал о здравии дяди, вот и все.

Аббат нетерпеливо заерзал на сундуке.

«Ишь! — подумал он. — Не встретился ни с Чтаном, ни с Вильком; может, их не было, а может, он и не искал их. Дал я маху!»

Аббат страшно был зол, что ошибся и обманулся в своих расчетах. Кровь мгновенно прилила у него к лицу, он запыхтел и стал отдуваться.

— Поговорим о залоге! — сказал он, помолчав с минуту времени. — Деньги есть?.. Нет, так Богданец мой!..

Мацько, который знал, как с аббатом нужно держаться, молча поднялся, открыл сундук, на котором сидел, достал, видно, заранее приготовленный мешок гривен и сказал:

— Люди мы бедные, но не без денег, и что с нас причитается, все платим сполна, как написано в закладной, которую я сам засвидетельствовал, сам крест святой на ней поставил. Ежели за порядок и за прибыль в хозяйстве доплату желаете получить, спорить не станем, заплатим, сколько велите, и в ноги вам поклонимся, благодетелю нашему.

С этими словами он поклонился в ноги аббату, а вслед за ним то же самое сделал Збышко. Аббат, который думал, что с ним станут спорить и торговаться, был совсем озадачен и даже огорчен, так как ему хотелось выставить при торге свои условия, а меж тем случай был упущен.

Отдавая закладную с крестом, поставленным неграмотным Мацьком, аббат сказал:

— Что вы мне про доплату толкуете?

— Не хочю я даровщины, — ответил хитрый Мацько, который знал,

что чем больше он тут будет спорить, тем больше выиграет.

Аббат мгновенно вспыхнул:

— Видали! Даровщины не хочет от родичей! Кусок наш ему поперек горла стал! Не пустое место я брал в залог, не пустое и отдаю, а захочу наземь швырнуть этот мешок, так и швырну!

— Этого вы не сделаете! — воскликнул Мацько.

— Не сделаю? Вот ваш залог, вот ваши гривны! Даю вам из милости, а захочу, на дороге брошу, и нет вам до этого никакого дела. Говорите, не сделаю!

С этими словами он ухватил мешок за затяжку и грохнул его об пол так, что лопнуло полотно и посыпались деньги.

— Спасибо! Спасибо вам, отец и благодетель! — воскликнул Мацько, который только этого и ждал. — От другого я бы не взял, а от родича, да еще духовного, — возьму!..

Аббат некоторое время грозно взирал то на него, то на Збышка и наконец сказал:

— И в гневе я знаю, что делаю. Владейте, это ваше добро, но знайте, больше не видать вам ни единого скойца.

— Да мы и на это не надеялись.

— Так и знайте, все, что после меня останется, получит Ягенка.

— И землю? — наивно спросил Мацько.

— И землю! — рявкнул аббат.

Лицо у Мацька вытянулось, но он овладел собою и сказал:

— Э, что там думать о смерти! Дай вам Бог сто лет здравствовать, а сперва дай вам Бог богатую епископию.

— А хоть бы и так!.. Хуже я других, что ли! — отрезал аббат.

— Не хуже, а лучше.

Эти слова успокоили аббата, да он и не мог долго сердиться.

— Ну, — сказал он, — вы мои родичи, а она только крестница, но давно уж люблю я ее и Зыха. Нет на свете человека лучше Зыха, и девушки нет лучше Ягенки! Кто может сказать про них дурное?

И он вызывающе повел глазами; но Мацько и не думал возражать, напротив, он поспешил подтвердить, что более достойного соседа не сыскать во всем королевстве.

— Что ж до девушки, так я бы родной дочки так не любил, как ее люблю. Она меня поставила на ноги, по гроб я этого не забуду.

— Будете ввергнуты в геенну огненную, коли про это забудете, — сказал аббат, — я первый прокляну вас за это. Не хочу я вас обижать, вы мои родичи, потому и придумал я, как сделать, чтобы все мое наследство

досталось и Ягенке и вам, — поняли?

— Дай-то Бог, чтоб так оно было! — ответил Мацько. — Господи Иисусе, да я бы пешком пошел в Краков ко гробу королевы и на Лысую гору поклониться древу животворящего Креста Господня.

Аббат обрадовался, услышав, с каким жаром говорит Мацько, и сказал с улыбкой:

— Девушка имеет право женихов разбирать — и собой хороша, и приданое богатое, да и рода знатного! Что ей Чтан или Вильк, для нее и воеводич не велика честь. Но ежели бы, к примеру, я кого-нибудь ей посватал, она б за того пошла, любит она меня и знает, что худого я ей не присоветую.

— Хорошо тому будет, кого вы ей посватаете, — сказал Мацько.

Но аббат обратился к Збышку:

— А ты что скажешь?

— А что дядя думает, то и я...

Лицо аббата еще более посветлело, он хлопнул Збышка по спине так, что эхо отдалось в боковуше, и сказал:

— Чего это ты около костела не допустил к Ягенке ни Чтана, ни Вилька, а?..

— Чтоб они не думали, что я их боюсь, да и вы чтоб этого не подумали.

— Да ведь ты и святую воду ей подавал.

— Подавал.

Аббат опять хлопнул его по спине.

— Так ты... так ты женись на ней!

— Женись! — воскликнул и Мацько.

Збышко заправил волосы под сетку и спокойно возразил:

— Как же мне на ней жениться, коли я в Тынце перед алтарем дал обет Данусе?

— Ты ей павлиньи чубы обещал, ну и ищи их, а на Ягенке сейчас же женись!

— Нет, — возразил Збышко, — когда Дануся покрывало набросила на меня, я обещал жениться на ней.

Лицо аббата стало наливаться кровью, уши побагровели, глаза, казалось, вот-вот выйдут из орбит; он шагнул к Збышку и сказал глухим от гнева голосом:

— Обеты твои — плевел, а я ветер — понял! Вот!

И он с такой силой дунул на Збышка, что у того сетка слетела с головы и волосы в беспорядке рассыпались по плечам. Збышко нахмурился и,

глядя аббату прямо в глаза, произнес:

— Обеты мои — это моя честь, а ее я сам блюду!

Услыхав эти слова, не привыкший к противоречию аббат совсем задохнулся, даже язык на какое-то время у него отнялся. Воцарилось зловещее молчание.

— Збышко! — прервал наконец Мацько молчание. — Опомнись! Что с тобой?

Подняв руку и показывая на юношу, аббат крикнул;

— Что с ним? Знаю я, что с ним: это душа у него не рыцарская и не шляхетская, а заячья. Он Чтана и Вилька боится, вот что с ним!

А Збышко, который ни на минуту не потерял самообладания, небрежно пожал плечами и возразил:

— Эва! Да я им головы разбил в Кшесне.

— Побойся ты Бога! — воскликнул Мацько.

Аббат глаза вытаращил на Збышка. Гнев боролся в нем с изумлением, однако одаренный от природы быстрым умом старик тотчас сообразил, что эту драку с Вильком и Чтаном он может использовать для своих замыслов.

Поостыв, он прикрикнул на Збышка:

— Что же ты не сказал об этом?

— Мне было стыдно. Я думал, они, как подобает рыцарям, вызовут меня на поединок и мы будем драться конные или пешие; но они не рыцари, а разбойники. Вильк первый отодрал от стола доску, Чтан отодрал другую — и ко мне! Что мне было делать? Схватил я лавку, да как... ну, вы сами понимаете!..

— Живы ли они? — спросил Мацько.

— Живы, только лежали без памяти, но еще при мне очнулись.

Аббат слушал, потирая лоб, и вдруг как вскочит с сундука, на который присел было, чтобы обмозговать все хорошенько.

— Погоди!.. — воскликнул он. — Вот что я теперь скажу тебе!

— Что же вы мне скажете? — спросил Збышко.

— А вот что: коли ты за Ягенку дрался и парням из-за нее головы проломил, так ты и впрямь не кто иной, как ее рыцарь, и должен на ней жениться.

Тут он подбоченился и с победоносным видом уставился на Збышка; однако тот улыбнулся только и сказал:

— Эх, знал я отлично, зачем вы хотите натравить меня на них, да только ошиблись вы.

— Как так ошибся?.. Говори!

— Да ведь я велел им подтвердить, что Дануська самая прекрасная и

самая добродетельная девица на свете, и не я, а они за Ягенку вступились, вот из-за этого-то мы и подрались.

Аббат на минуту просто окаменел, так что только по движению глаз можно было догадаться, что он еще жив. Вдруг он круто повернулся, вышиб ногой дверь боковуши, выбежал в горницу, выхватил у пилигрима из рук кривой его посох и, рыча, как раненый тур, принялся лупить своих песенников.

— По коням, скоморохи! По коням, собачьи дети! Ноги моей в этом доме не будет! По коням, кто в Бога верует! По коням!

И, вышибив другую дверь, выбежал во двор; за ним последовали изумленные странствующие причетники. Двинувшись толпою к конюшне, они мигом оседлали коней. Тщетно Мацько бегал за аббатом, тщетно просил и молил его, клялся, что ни в чем не повинен, — все было напрасно! Аббат ругался на чем свет стоит, проклинал и дом, и поля, и людей, а когда ему подвели коня, вскочил на него без стремян и помчался во весь опор с развевающимися на ветру рукавами, подобный огромной красной птице. Причетники в тревоге скакали за ним, как стадо за своим вожаком.

Мацько некоторое время смотрел им вслед, а когда они скрылись в лесу, медленно вернулся в дом и, уныло качая головой, сказал Збышку:

— Что же это ты натворил!..

— Ничего бы этого не было, когда бы я раньше уехал отсюда, а не уехал я из-за вас.

— Как так из-за меня?

— Не хотел больного вас бросить.

— А как же теперь?

— А теперь уеду.

— Куда?

— В Мазовию, к Дануське... и павлиньи чубы у немцев искать.

Мацько помолчал с минуту времени, а затем сказал:

— Закладную он нам отдал, но залог-то остался и записан в судебную книгу. Не простит нам теперь аббат ни единого скойца.

— Ну что ж, пускай не прощает. Деньги у вас есть, а мне на дорогу ничего не надо. Меня везде примут и коней покормят; а коль панцирь на мне и меч при мне, так и тужить-то мне не о чем.

Пораздумался Мацько обо всем, что случилось. Не по его все вышло. Сам-то он всей душой желал, чтобы Збышко женился на Ягенке, да понял теперь, что не испечь из этой муки хлеба, ну а коли аббат и Зых с Ягенкой гnevаются да припуталась еще эта драка с Чтаном и Вильком, так уж лучше

Збышку уехать, чем и дальше быть причиной раздоров и споров.

— Эх! — сказал он. — Ничего не поделаешь, все едино придется тебе искать немецкие головы, так уж лучше езжай. Пусть будет, как Богу угодно... А мне сейчас надо ехать в Згожелицы; может, как-нибудь удастся уломать Зыха и аббата... Зыха мне особенно жаль.

Тут старик заглянул Збышку в глаза и спросил вдруг:

— А тебе не жаль Ягенки?

— Дай Бог ей здоровья и счастья! — ответил Збышко.

XVIII

Мацько терпеливо выждал еще несколько дней в надежде, что до него дойдет какая-нибудь весть из Згожелиц или сам аббат переменит гнев на милость; но в конце концов ему наскучили неопределенность и ожидание, и он решил сам съездить к Зыху. Не по его вине все это случилось, а все же старику хотелось знать, не обиделся ли Зых и на него; что до аббата, то Мацько был уверен, что отныне он со Збышком впал у родича в немилость.

Однако Мацько хотел сделать все, что было в его силах, чтобы смягчить гнев аббата, и по дороге все раздумывал да прикидывал, что да как сказать в Згожелицах, чтобы загладить вину и сохранить прежние добрососедские отношения. Но старик никак не мог собраться с мыслями и обрадовался, застав дома одну Ягенку, которая приняла его по-старому, и поклонилась, и руку поцеловала, словом, встретила приветливо, хотя и была немного грустна.

— Отец дома? — спросил старик.

— На охоту уехал с аббатом. Они скоро должны вернуться...

Ягенка ввела гостя в дом, и они долго сидели в молчании, пока девушка наконец не спросила первая:

— Скучно вам одному в Богданце?

— Скучно, — ответил Мацько. — А ты уже знаешь, что Збышко уехал?

Ягенка тихо вздохнула:

— Знаю. Я в тот же день узнала; думала, заедет доброе слово сказать на прощанье, а он и не заехал.

— Как же ему было заезжать-то, ведь аббат пополам бы его разорвал, да и твой отец не захотел бы его видеть.

Она тряхнула головой и ответила:

— Эх! Никому не дала б я его в обиду.

Твердое сердце было у Мацька, но эти слова растрогали старика, он привлек к себе девушку и сказал:

— Бог с тобой, дитятко! Ты невесела, да ведь и мне невесело, потому, скажу я тебе, ни отец родной, ни аббат не любят тебя больше, чем я. Лучше было мне от той раны погибнуть, что ты меня вылечила, только б женился он не на другой, а на тебе.

Такая печаль и тоска нашла вдруг на Ягенку в эту минуту, что не могла она больше таиться.

— Не видать уж мне его больше, — сказала она, — а увидеть с дочкой Юранда, так лучше мне прежде очи выплакать.

И концом передника она прикрыла глаза, на которые набежали слезы.

— Ну, полно! — воскликнул Мацько. — Уехать-то он уехал, но, даст Бог, с дочкой Юранда не воротится!

— Отчего ж ему с нею не воротиться? — промолвила Ягенка из-под передника.

— Да ведь не хочет Юранд отдать за него Дануську.

Ягенка вдруг открыла лицо и, повернувшись к Мацьку, живо спросила:

— Он и мне говорил, да только правда ли это?

— Правда, истинная правда.

— Отчего же не хочет-то?

— Да кто его знает. Обет, что ли, он дал, а против обета разве пойдешь.

По душе ему Збышко пришелся, и немцам помочь отомстить обещался, да и это не помогло. Зря его и княгиня Анна сватала. Не хотел Юранд слушать ни просьб, ни приказов, ни увещаний. Сказал, что не может. Ну, видно, есть у него причина такая, что и впрямь не может; человек он твердый, коль сказал, слову своему не изменит. Ты, девушка, не падай духом, приободришься. По правде сказать, должен был он уехать, ведь в костеле дал клятву добыть павлиньи гребни. Да и девушка покрывалом его накрыла в знак того, что хочет выйти за него замуж, потому и голову ему не отрубили; в долгу он у нее, что говорить! Даст Бог, не будет она женой ему, но по закону он ее суженый. Зых на него сердит, аббат, верно, бранится на чем свет стоит, я на него тоже гневаюсь; но ты сама посуди, что ему было делать? Раз он в долгу перед той, надо было ехать. Он ведь шляхтич. Одно только скажу: не побьют его где-нибудь немцы, вернется он не только ко мне, старику, не только в Богданец, но и к тебе, уж очень ты была ему по сердцу.

— Где уж там! — сказала Ягенка.

Но придвинулась к Мацьку и, тихонько толкнув его локтем, спросила:

— Откуда вы знаете? А? Ведь неправда все это?..

— Откуда я знаю? — переспросил Мацько. — Да видел, как тяжело ему было уезжать. И уж когда решили мы, что уедет он, спросил я его: «А не жаль тебе Ягенки?» А он сказал: «Дай Бог ей здоровья и счастья». Да так развздыхался, будто кузнечный мех был у него в середине...

— Да нет, неправда!.. — повторила потише Ягенка. — Но только вы рассказывайте...

— Ей-ей, правда!.. Уж после тебя та ему не больно придется по вкусу — сама знаешь, ядреней и красивей девки, чем ты, на всем свете не

сыщешь. Небось чуяло его сердце, что ты его суженая, и любил-то он, может, тебя больше, чем ты его.

— Вот уж нет! — воскликнула Ягенка.

И, сообразив, что выдала себя, закрыла рукавом румяное, как наливное яблочко, лицо, а Мацько улыбнулся, погладил усы и сказал:

— Эх, вот бы молодость! Но ты не падай духом, я уж вижу, как дело обернется: поедет он, получит при мазовецком дворе шпоры, — там граница близко, на крестоносца легко наткнуться... Знаю я, и немцы бывают могучими рыцарями, и железо может проткнуть его шкуру, но только думаю, что не всякий с ним справится, ловкий из него, дьявола, вояка. Подумай только, как он в один миг разделался с Чтаном из Рогова и Вильком из Бжозовой, а ведь они, говорят, молодцы и крепкие парни, сущие медведи. Привезет он свои чубы, но дочери Юранда не привезет, я ведь сам говорил с Юрандом и знаю, как обстоит дело. Ну а что потом? Потом сюда воротится, больше ему воротиться некуда.

— Когда еще он там воротится?

— Ну, коли ты не выдержишь, так уж не пеняй. А пока передай аббату и Зыху все, что я тебе рассказал. Может, меньше станут гневаться на Збышка.

— Как же мне передать им? Батюшка не очень гневается, больше печалится, а при аббате и вспомнить нельзя про Збышка. Досталось от него и мне, и батюшке за слугу, которого я послала Збышку.

— Какого слугу?

— Да вы его знаете. Чех у нас был, которого батюшка взял в полон под Болеславцем, хороший слуга, верный. Звать его Главой. Батюшка приставил его служить мне, потому что он сказал, что дома у себя был шляхтичем, а я дала ему добрую броню и послала к Збышку, чтобы он служил ему и охранял его, а случись какая беда, дал бы знать... Я ему и кошелек на дорогу дала, а он спасением души поклялся мне, что до самой смерти будет верно служить Збышку.

— Мое ты дитятко! Спасибо тебе! А Зых не перечил?

— А чего ему было перечить? Сперва он никак не хотел позволить, а повалилась я ему в ноги — и вышло по-моему. С батюшкой никаких хлопот не было, а вот как аббат прознал обо всем этом от своих скоморохов, такой крик поднял, сущее светопреставление, батюшка даже в ригу от него убежал. Только вечером сжалился аббат над моими слезами да еще ожерелье мне подарил. Но я бы все стерпела, только бы у Збышка слуг было побольше.

— Ей-ей, не знаю, его иль тебя больше люблю; но ведь он и без того

взял много людей, да и денег я ему дал, хоть он и не хотел... Ну а Мазовия не за горами...

Разговор был прерван лаем собак, криками и громом медных труб перед домом. Заслышав шум, Ягенка сказала:

— Батюшка с аббатом с охоты воротились. Выйдемте на крылечко, лучше пусть аббат увидит вас издали, а не вдруг в доме.

С этими словами она проводила Мацька на крылечко, откуда они увидели во дворе на снегу целую кучу народа, коней и собак и тут же туши заколотых рогатинами или убитых из самострела лосей и волков. Завидев Мацька, аббат, прежде чем соскочить с коня, метнул в его сторону рогатину; правда, он вовсе не думал попасть в старика, а хотел только показать, как сильно он гневается на обитателей Богданца. Но Мацько сделал вид, будто ничего не заметил, снял шапку и издали ему поклонился, а Ягенка, та и впрямь ничего не заметила, — она поразилась, увидев в толпе обоих своих вздыхателей.

— Здесь Чтан и Вильк! — вскричала она. — Верно, встретились с батюшкой в лесу.

А у Мацька старая рана заныла, когда он увидел их. В голове его тотчас пронеслась мысль, что один из них может жениться на Ягенке и получить за нею Мочидолы, земли аббата, его леса и деньги... И от смешанного чувства досады и злости защемило у старика на сердце, особенно когда он увидал, как Вильк из Бжозовой, с чьим отцом аббат недавно хотел драться, подбежал к его стремени и помог спешиться, аббат же, слезая с коня, милостиво оперся на плечо молодого шляхтича.

«Так вот и сладит аббат дело со старым Вильком, — подумал Мацько, — отдаст за девкой и леса, и земли».

Но эти горькие мысли прервал голос Ягенки:

— Уж успели подлечиться после взбучки, которую им задал Збышко; но хоть каждый Божий день будут ездить сюда — все равно ничего не дождутся!

Мацько поглядел на Ягенку: лицо девушки пылало от гнева и мороза, голубые глаза сердито сверкали, а ведь она отлично знала, что Вильк и Чтан вступились за нее в корчме и из-за нее были избиты Збышком.

Но Мацько сказал:

— Эх! Сделаешь так, как аббат велит.

Но она решительно возразила:

— Аббат сделает, как я захочу.

«Господи Боже мой! — подумал Мацько. — И этот глупый Збышко упустил такую девку!»

XIX

А «глупый» Збышко и впрямь уехал из Богданца с тяжелым сердцем. Прежде всего ему было как-то непривычно, не по себе без дяди, с которым он многие годы не расставался и к которому так привык, что сейчас сам не знал, как будет обходиться без него в пути и на войне. А потом, жаль ему было Ягенки; хоть и старался он убедить себя, что едет к Данусе, что любит ее всем сердцем, однако только теперь он почувствовал, как хорошо ему было с Ягенкой, как сладки были их встречи и как тоскует он по ней. Он и сам дивился, чего так загрустил вдруг без нее, — все ведь было бы ничего, когда б тосковал он по Ягенке, как брат по сестре. Но он-то понимал, чего ему недостает: ему хотелось снова и снова обнимать ее стан и сажать ее на коня или снимать с седла, снова и снова переносить через речки и выжимать воду из ее косы, снова и снова бродить с ней по лесам, и глядеть на нее не наглядеться, и «советоваться» с ней. Так привык он к ней и так сладко все это было, что не успел он об этом подумать, как тотчас предался мечтам и, совсем позабыв, что впереди у него долгий путь в Мазовию, живо представил себе ту минуту, когда в лесу он боролся один на один с медведем и Ягенка пришла вдруг ему на помощь. Будто вчера все это было, и будто вчера ходили они на бобров на Одстаянное озерцо. Он не видел тогда, как пустилась она вплавь за бобром, но сейчас ему чудилось, будто видит ее, — и истома напала на него, как две недели назад, когда ветер пошалил с ее платьем. Потом вспомнилось ему, как ехала она в пышном наряде в Кшесню в костел и как дивился он, что такая простая девушка едет вдруг, словно знатная панночка со своею свитой. И тревогу, и блаженство, и печаль ощутил он вдруг в своем сердце, а как вспомнил, что мог бы позволить себе с нею все, что хотел, что и она льнула к нему, смотрела ему в глаза, рвалась к нему, так едва усидел на коне. «Хоть бы встретился с нею и простился, обнял на дорогу, может, легче б мне стало», — говорил он себе; однако тотчас почувствовал, что это неправда, что не стало бы ему легче, потому что при одной мысли об этом прощании его бросило в жар, хоть на дворе уже было морозно.

Он испугался вдруг этих уж очень греховных воспоминаний и стряхнул их с себя, как сухой снег с епанчи.

«К Дануське еду, к моей возлюбленной!» — сказал он себе.

И тотчас понял, что иная эта любовь у него, что чище она и кровь от нее не играет так по жилкам. По мере того как ноги леденели у него в

стременах и холодный ветер студил кровь, все его мысли устремились к Данусе. Уж ей-то он всем был обязан. Не будь Дануси, голова его давно бы скатилась с плеч на краковском рынке. Ведь с той поры как она перед всеми рыцарями и горожанами сказала: «Он мой!» — и вырвала его из рук палачей, он принадлежит ей, как раб госпоже. Не он, а она избрала его, и, сколько бы ни противился этому Юранд, ничего тут не поделает. Одна она может прогнать его прочь, как прогоняет слугу госпожа, но и тогда он не уйдет от нее, потому что связал себя обетами. Но тут ему подумалось, что не прогонит она его, что скорее покинет мазовецкий двор и пойдет за ним хоть на край света, и он стал восхвалять в душе ее и осуждать Ягенку, будто та одна только и была повинна в том, что он поддался греховному соблазну и что сердце его раздвоилось. Теперь уж он не вспомнил о том, что Ягенка выходила старого Мацька, что, не будь ее, медведь в ту ночь, быть может, содрал бы ему самому кожу с головы, он нарочно старался думать про Ягенку одно худое, полагая, что тогда будет более достоин Дануси и оправдается в собственных глазах.

Но в это время его догнал, ведя за собой навьюченного коня, посланный Ягенкой чех Глава.

— Слава Иисусу Христу! — сказал он с низким поклоном.

Раза два Збышко встречал его в Згожелицах, но сейчас не признал.

— Во веки веков! — ответил он. — Ты кто такой?

— Ваш слуга, милостивый пан.

— Как мой слуга? Вот мои слуги, — кивнул он на двоих турок, подаренных ему Сулимчиком Завишей, и на двоих рослых парней, которые, сидя верхом на мерилах, вели за собой его скакунов, — вот мои слуги, а тебя кто прислал?

— Панна Ягенка из Згожелиц.

— Панна Ягенка?

Збышко только что думал о девушке одно худое, и сердце его еще было полно неприязни к ней, поэтому он сказал:

— Воротись домой и скажи панне спасибо, не нужен ты мне.

Но чех покачал головой:

— Не ворочусь я, пан. Меня вам подарили, да и я поклялся служить вам до смерти.

— Раз тебя подарили мне, так ты мой слуга?

— Ваш, пан.

— Тогда я приказываю тебе воротиться.

— Я поклялся, и хоть я невольник из Болеславца и бедный слуга, но шляхтич...

Збышко разгневался:

— Прочь отсюда! Это еще что такое! Хочешь служить мне против моей воли? Прочь, не то прикажу натянуть самострел.

Чех спокойно отторочил суконную епанчу, подбитую волчьим мехом, отдал ее Збышку и сказал:

— Панна Ягенка и вот это прислала вам, вельможный пан.

— Хочешь, чтоб я тебе ребра переломал? — спросил Збышко, беря из рук конюха копье.

— И кошелек велено отдать, — продолжал чех.

Збышко замахнулся было, но вспомнил, что хоть слуга и невольник, но сам шляхетского рода и у Зыха остался, верно, только потому, что не на что ему было выкупиться, — и опустил копье.

Чех склонился к его стремени и сказал:

— Не гневайтесь, пан. Не велите мне ехать с вами, так я поеду следом в сотне шагов, я ведь спасением души своей клялся.

— А ежели я прикажу убить тебя или связать?

— Прикажете убить, не мой грех это будет, а связать прикажете, так останусь лежать, покуда меня добрые люди не развяжут либо волки не съедят.

Збышко ничего ему не ответил, тронул коня и поехал вперед, а за ним последовали его слуги. Чех с самострелом за плечами и с секирой на плече потащился сзади, кутаясь в косматую шкуру зубра от резкого ветра, который подул внезапно, неся снежную крупу.

Метель крепчала с каждой минутой. Турки, хоть и были одеты в тулупы, коченели от стужи, конюхи Збышка стали хлопать руками, а сам он, тоже одетый не очень тепло, покосился раз-другой на волчью епанчу, привезенную Главой, и через минуту велел турку подать ее.

Плотно закутавшись в епанчу, он почувствовал вскоре, как тепло разливается у него по жилам. Особенно удобен был капюшон, который закрывал глаза и часть лица, так что буря теперь почти не донимала молодого рыцаря. И невольно он подумал, что Ягенка добрейшей души девушка, и придержал коня, пожелав расспросить чеха о ней и обо всем, что творилось в Згожелицах.

Кивнув слуге, он спросил:

— Знает ли старый Зых, что панна послала тебя?

— Знает, — ответил Глава.

— И не перечил он панне?

— Перечил.

— Расскажи, как все было.

— Пан ходил по горнице, а панна за ним. Он кричал, а панночка — ни гугу, но только он к ней обернется, она бух ему в ноги. И ни слова. Говорит наконец пан: «Оглохла ты, что ли, что ничего на мои доводы не отвечаешь? Молви хоть словечко, не то позволю, а позволю, так аббат голову мне оторвет!» Тут панна поняла, что на своем поставит, да в слезы, и знай пана благодарит. Он стал выговаривать панночке, что взяла она волю над ним, что всегда на своем поставит, а потом и говорит: «Поклянись, что не побежишь украдкой прощаться с ним, тогда позволю, иначе нет».

Запечалилась тут панночка, но дала обещание, и пан очень обрадовался, потому что они с аббатом страх как боялись, как бы не вздумалось ей повидаться с вами. Но этим дело не кончилось, захотела тут панна пару коней дать, а пан ни в какую, захотела панна волчью епанчу послать и кошелек, а пан ни в какую. Да что там его запреты! Она бы дом вздумала поджечь, и то бы он согласился. Вот и лишний конь у вас, и волчья епанча, и кошелек...

«Добрейшей души девушка!» — подумал про себя Збышко.

Через минуту он спросил вслух:

— А с аббатом у них все обошлось?

Чех улыбнулся, как бойкий слуга, отлично понимающий, что вокруг него творится, и ответил:

— Они оба тайком от аббата все это делали, и что там было, когда он прознал обо всем, я не знаю, я раньше уехал. Аббат как аббат! Рывкнет иной раз и на панночку, а потом в глаза ей заглядывает, не очень ли обидел. Сам я видал, как он накричал на нее один раз, а потом полез в сундук и такое ей принес ожерелье, что и в Кракове лучше не сыщешь. «На вот!» — говорит. Справится она и с аббатом, отец родной не любит ее так, как он.

— Это правда.

— Истинный Бог, правда...

Они умолкли и продолжали продвигаться вперед сквозь ветер и снежную крупу. Вдруг Збышко придержал коня, до слуха его из чащи донесся жалобный голос, заглушаемый лесным шумом:

— Христиане, спасите слугу Божьего в беде!

Тут на дорогу выбежал человек в полумонашеской-полусветской одежде и, остановившись перед Збышком, стал кричать:

— Кто бы ты ни был, милостивый пан, подай руку помощи человеку и ближнему в тяжелой беде!

— Что за беда стряслась над тобою и кто ты такой? — спросил молодой рыцарь.

— Я слуга Божий, хоть и не посвященный, а стряслась надо мною вот

какая беда: нынче утром вырвался у меня конь, который вез короба со святынями. Остался я один, безоружный, вечер приближается, и скоро в лесу завоют лютые звери. Погибну я, коли вы меня не спасете.

— Коли по моей вине ты погибнешь, мне придется отвечать за твои грехи, — сказал Збышко, — но откуда мне знать, правду ты говоришь или, может, ты бродяга, а то и разбойник, каких много шатается по дорогам?

— Это ты, пан, узнаешь по моим коробам. Любой человек отдал бы кошель, набитый дукатами, лишь бы завладеть тем, что хранится в них, но тебе я даром уделю немножко, только прихвати меня с моими коробами.

— Вот ты говоришь, будто ты слуга Божий, а того не знаешь, что спасать людей надо не ради земных, а ради небесных благ. Но как же ты спас короба, коли у тебя убежал конь, который вез их?

— Да ведь коня в лесу на полянке волки задрали, я только тогда его и нашел, ну а короба уцелели, я притащил их на обочину дороги и стал ждать, пока добрые люди смилосердятся и спасут меня.

Желая доказать, что он говорит правду, незнакомец показал на два лубяных короба, лежавших под сосной. Збышко смотрел на него с недоверием, человек этот казался ему подозрительным, да и выговор его, хоть и довольно чистый, выдавал, однако, иноземное происхождение путника. Но отказать незнакомцу в помощи Збышко не хотел и позволил ему сесть с коробами, удивительно легкими, на свободного коня, которого вел чех.

— Да умножит Бог твои победы, храбрый рыцарь! — сказал незнакомец.

И, видя юное лицо Збышка, прибавил вполголоса:

— И волосы в твоей бороде.

Через минуту он уже ехал рядом с чехом. Некоторое время они не могли разговаривать, потому что за сильным ветром и страшным лесным шумом ничего не было слышно; но когда буря поутихла, Збышко услышал позади следующий разговор:

— Я ничего не говорю, может, ты и был в Риме, но уж очень похоже, что ты охотник до пива, — говорил чех.

— Берегись вечных мук, — ответил незнакомец, — ибо ты говоришь с человеком, который на прошлую Пасху ел крутые яйца с его святейшеством. И не говори мне по такому холоду про пиво, разве только про гретое, но, коли есть у тебя баклажка с вином, дай хлебнуть два-три глотка, а я тебе отпущу месяц чистилища.

— Да ведь я сам слышал, как ты говорил, что вовсе ты не посвященный, как же ты можешь отпустить мне месяц чистилища?

— Это верно, что я непосвященный, но макушка у меня выбрита, я получил на то дозволение, да к тому же я с собой вожу отпущения и святыни.

— В этих коробах? — спросил чех.

— В этих коробах. Да если бы вы только видели, что у меня там хранится, то пали бы ниц, и не только вы, но и все сосны в бору вместе с дикими зверями.

Но чех, парень бойкий и бывалый, подозрительно поглядел на торговца индульгенциями и спросил:

— А коня волки съели?

— Съели, они ведь сродни дьяволам, но только потом лопнули. Одного я видел собственными глазами. Коли есть у тебя вино, дай хлебнуть, а то хоть ветер и стих, да уж очень я промерз, покуда сидел у дороги.

Однако вина чех ему не дал, и они снова ехали в молчании, пока торговец индульгенциями не спросил:

— Куда это вы едете?

— Далеко. Но пока в Серадз. Поедешь с нами?

— Придется. Переночую в конюшне, а завтра этот благородный рыцарь, может, подарит мне коня, и я поеду дальше.

— Откуда ты?

— Из прусских владений, из Мальборка.

Услыхав об этом, Збышко повернулся и кивнул незнакомцу головой, приказывая ему подъехать поближе.

— Ты из Мальборка? — спросил он. — И едешь оттуда?

— Из Мальборка.

— Но ты, верно, не немец, хорошо говоришь по-нашему. Как звать тебя?

— Немец я, а зовут меня Сандерус; по-вашему я говорю потому, что родился в Торуне, а там весь народ говорит по-польски. Потом я жил в Мальборке, но там тоже говорят по-польски. Да что там! Крестоносцы и те понимают по-вашему.

— А давно ты из Мальборка?

— Да я, пан, и в Святой земле побывал, и в Константинополе, и в Риме, а оттуда через Францию вернулся в Мальборк, а уж из Мальборка двинулся в Мазовию со своими святынями, которые набожные христиане охотно покупают для спасения души.

— В Полоцке или в Варшаве был?

— Был и там, и там. Дай Бог здоровья обеим княгиням! Недаром княгиню Александру любят даже прусские рыцари, она очень благочестива,

да и княгиня Анна не хуже ее.

— Двор в Варшаве видел?

— Я его не в Варшаве, а в Цеханове встретил, где князь и княгиня приняли меня радушно, как слугу Божьего, и щедро наградили в дорогу, но и я оставил им святыни, которые должны принести их дому благословение Господне.

Збышко хотел спросить про Данусю, но стыд и робость овладели вдруг им, он понял, что это значило бы открыть тайну своей любви незнакомому простолюдину, к тому же подозрительному с виду, быть может, просто мошеннику. Помолчав с минуту времени, он спросил:

— Что за святыни возишь ты по свету?

— Да я и отпущения грехов вожу, и всякие святыни. Есть у меня и полные отпущения, и на пятьсот, и на триста, и на двести лет, и на меньший срок, подешевле, чтоб и бедные люди могли купить и сократить себе муки чистилища. Есть у меня отпущения старых грехов и грехов будущих, но не думайте, милостивый пан, что деньги, которые я за них получаю, я прячу себе... Кусок черного хлеба и глоток воды — вот все, что мне нужно, все остальное, что насобираю, я отвожу в Рим для нового крестового похода. Правда, много мошенников ездит по свету, все у них поддельное: и отпущения, и святыни, и печати, и свидетельства, и святой отец справедливо требует в своих посланиях предавать суду этих обманщиков; но меня приор серадзский несправедливо обидел, потому что у меня печати подлинные. Осмотрите воск, милостивый пан, и вы сами увидите.

— А что же сделал тебе серадзский приор?

— Ах, милостивый пан! Дай-то Бог, чтобы я ошибался, но, сдается мне, он заражен еретическим учением Виклифа^[63]. Мне ваш оруженосец сказал, будто вы едете в Серадз, так лучше мне не показываться приору на глаза, чтоб не доводить его до греха и до новых кощунств над моими святынями.

— Короче говоря, он принял тебя за мошенника и грабителя?

— Да разве во мне дело, милостивый пан! Я бы простил его, как своего ближнего, что, впрочем, я в конце концов и сделал, но ведь он поносил мои святыне товары, и я очень опасаюсь, что за это будет осужден на вечные муки.

— Какие же у тебя святыне товары?

— Такие, что не подобает говорить о них с покрытой головой; но на этот раз у меня под рукой готовые отпущения, и потому я могу позволить вам не снимать капюшона, а то опять подул ветер. На привале вы купите отпущеньице, и грех вам не зачтется. Чего только у меня нет! Есть у меня

копыто того ослика, на котором совершено было бегство в Египет, оно было найдено около пирамид. Арагонский король давал мне за это копыто пятьдесят дукатов чистым золотом. Есть у меня перо из крыла Архангела Гавриила, оброненное им во время благовещения; есть головы двух перепелок, ниспосланных израильтянам в пустыне; есть масло, на котором язычники хотели изжарить Иоанна Крестителя, и перекладина лестницы, которую видел во сне Иаков, и слезы Марии Египетской, и немного ржавчины с ключей апостола Петра... Нет, не перечислить мне всего, милостивый пан, — и продрог-то я до костей, а ваш оруженосец не хотел дать мне вина, да и до вечера мне все равно бы не кончить.

— Великие это святыни, если только они подлинные! — сказал Збышко.

— Если только подлинные? Нет, пан, сейчас же возьмите у оруженосца копье и наставьте его, ибо дьявол тут, рядом с вами, это он внушает вам такие мысли. Держите его на расстоянии длины копья от себя. А не хотите накликать беду, так купите у меня отпущение за этот грех, не то и трех недель не пройдет, как умрет тот, кого вы любите больше всего на свете.

Збышко вспомнил про Данусю и испугался этой угрозы.

— Да ведь это не я, — возразил он, — а доминиканский приор в Серадзе не верит тебе.

— А вы, милостивый пан, сами осмотрите воск на печатях; что ж до приора, то одному Богу известно, жив ли он еще, ибо кара Господня может тотчас постигнуть человека.

Однако, когда они приехали в Серадз, приор был еще жив. Збышко даже отправился к нему заказать две обедни: одну о здравии Мацька, а другую — о ниспослании павлиньих султанов, за которыми он уехал из дому. Приор, как это часто случалось в тогдашней Польше, был чужеземец, родом из Целии^[64], но за сорок лет жизни в Серадзе хорошо научился говорить по-польски и стал заклятым врагом крестоносцев. Вот почему, узнав о замысле Збышка, он сказал:

— Еще горше покарает их десница Господня; но и тебя я не стану отговаривать — ты дал клятву, да и карающая рука поляка никогда не воздаст им в должной мере за все то, что они сотворили в Серадзе.

— Что же они сотворили? — спросил Збышко, которому хотелось знать о всех обидах, причиненных полякам крестоносцами.

Старичок приор развел руками и сперва прочел вслух «Вечную память», затем уселся на табурет, с минуту сидел с закрытыми глазами, словно желая оживить в памяти старые воспоминания, и наконец повел свой рассказ:

— Их Винцентий из Шамотул^[65] привел сюда. Было мне в ту пору двенадцать лет, и я только приехал сюда из Цилии, откуда меня забрал мой дядя, прелат Петцольд. Крестоносцы напали на город ночью и тут же его подожгли. С городских стен мы видели, как на рынке рубили мечами мужчин, женщин и детей, как бросали в огонь младенцев... Я видел убитых ксендзов, ибо, разъярясь, крестоносцы никому не давали пощады. Оказалось, что приор Миколай, который был родом из Эльблонга, знает комтура Германа, предводителя войск крестоносцев. Приор вышел со старшей братией к этому свирепому рыцарю, упал перед ним на колени и на немецком языке заклинал его смириться над христианами. Но комтур сказал только: «Не понимаю!» — и велел продолжать резню. Тогда-то и вырезали монахов, а с ними убили и дядю моего Петцольда, Миколая же привязали к конскому хвосту. А к утру в городе не осталось в живых ни одного человека, только крестоносцы разгуливали, да я притаился на колокольне на брус, к которому подвешены колокола. Бог за это уже покарал их под Пловцами, но они все ищут гибели нашего христианского королевства и до той поры будут искать, покуда не сотрет их с лица земли десница Господня.

— Под Пловцами, — сказал Збышко, — погибли почти все мужи моего рода; но я не жалею об этом, ибо великую победу даровал Господь королю Локотку и двадцать тысяч немцев истребил.

— Ты доживешь до еще большей войны и еще больших побед, — сказал приор.

— Аминь! — ответил Збышко.

И они переменили разговор. Молодой рыцарь спросил мимоходом о торговце реликвиями, которого встретил по дороге, и узнал, что много таких мошенников шатается по дорогам, обманывая легковверных людей. Приор сказал также, что есть папские буллы, повелевающие епископам задерживать этих торговцев и, если у кого не окажется подлинных свидетельств и печатей, немедленно предавать суду. Свидетельства этого бродяги показали приору подозрительными, и он тотчас хотел препроводить его в епископский суд. Если бы оказалось, что тот действительно послан из Рима с индульгенциями, то никто бы его не обидел. Но он предпочел бежать. Быть может, он боялся задержки в пути, но этим бегством только навлек на себя еще большие подозрения.

В конце беседы приор пригласил Збышка отдохнуть и заночевать в монастыре, но тот не смог принять приглашение, так как хотел вывесить перед корчмой вызов «на бой пеший или конный» всем рыцарям, которые стали бы оспаривать, что панна Данута самая прекрасная и самая

добродетельная девица во всем королевстве, повесить же такой вызов на воротах монастыря было делом неподобающим. Ни приор, ни другие монахи не захотели даже написать Збышку этот вызов, и молодой рыцарь оказался в затруднительном положении и не знал, что ему предпринять. Только после возвращения в корчму ему пришло на мысль обратиться с этим делом к торговцу индульгенциями.

— Приор так и не знает, бродяга ты или нет, — сказал Збышко торговцу. — «Чего, говорит, было ему бояться епископского суда, коли у него подлинные свидетельства?»

— Да я не епископа боюсь, — ответил Сандерус, — а монахов, которые не разбирают печатей. Я как раз хотел ехать в Краков, да нет у меня коня, приходится ждать, покуда мне кто-нибудь его не подарит. А пока я пошлю письмо, к которому приложу свою печать.

— Вот и мне подумалось: увидят, что знаешь грамоте, ну и решат, что ты человек не простой. Но как же ты пошлешь письмо?

— С пилигримом или странствующим монахом. Мало ли народу идет в Краков поклониться гробу королевы?

— А мне сумеешь написать вызов?

— Напишу вам, милостивый пан, все, что прикажете, — красиво и гладко, даже на доске.

— Лучше на доске, — сказал Збышко, обрадовавшись, — и не порвется, и пригодится на будущее.

Спустя некоторое время слуги раздобыли и принесли свежую доску, и Сандерус принялся писать вызов. Збышко не мог прочесть, что он там написал, однако тотчас велел прибить доску на воротах, а пониже повесить щит, под которым на страже стояли турки. Тот, кто ударил бы в щит копьем, дал бы тем самым знак, что принимает вызов. Но в Серадзе до таких дел было, видно, немного охотников, и ни в тот день, ни до самого полудня следующего дня щит ни разу не зазвенел от удара, а в полдень несколько обескураженный молодой рыцарь собрался в дальнейший путь.

Однако перед отъездом к нему забежал еще раз Сандерус и сказал:

— Вот если бы вы, милостивый пан, вывесили щит у прусских рыцарей, вашему оруженосцу уже пришлось бы затягивать на вас ремни доспехов.

— Как же так? Ведь крестоносцы — монахи, а монаху не дозволяется иметь даму сердца.

— Не знаю, дозволяется или не дозволяется, но знаю, что есть у них дамы сердца. Правда, если крестоносец выйдет на единоборство, его будут осуждать за это, потому что они дают клятву вступать в бой вместе с

другими только за веру; но в Пруссии, кроме монахов, есть много светских рыцарей, которые прибывают из дальних стран на помощь пруссакам. Те только и смотрят, как бы ввязаться в драку, особенно французы.

— Эва! Видал я их под Вильно; даст Бог, увижу и в Мальборке. Мне нужны павлиньи чубы со шлемов, я, понимаешь, дал обет добыть их.

— Купите у меня, милостивый пан, две-три капли пота Георгия Победоносца, которые он пролил в бою с огненным змием. Никакая другая святыня не может так пригодиться рыцарю. Дайте мне за нее того коня, на которого вы велели сесть мне, а я прибавлю вам еще отпущение за христианскую кровь, которую вы прольете в бою.

— Оставь меня в покое, не то рассержусь. Не стану я покупать твой товар, покуда не уверюсь, что он хорош.

— Вы вот говорили, что едете к мазовецкому двору князя Януша. Спросите там, сколько у меня взяли святынь и сама княгиня, и рыцари, и панны на тех свадьбах, на которых я гулял.

— На каких таких свадьбах? — спросил Збышко.

— Да как всегда перед рождественским постом. Рыцари играли свадьбы один за другим, потому что люди болтают, будто быть войне между польским королем и прусскими рыцарями из-за добжинской земли... Ну, тут уж всяк себе скажет: «Бог его знает, останусь ли я в живых», и всякому припадет охота прежде с бабой в счастье пожить.

Збышка живо заинтересовал слух о войне, но еще больше разговор о свадьбах.

— Кто же из девушек вышел замуж? — спросил он.

— Да все придворные княгини. Не знаю, осталась ли хоть одна у нее, сам слышал, как княгиня говорила, что придется новых искать.

Збышко на минуту примолк, а потом спросил изменившимся голосом:

— А панна Данута, дочь Юранда, имя которой стоит на доске, тоже вышла замуж?

Сандерус помедлил с ответом, потому что и сам ничего толком не знал, да и подумал, что получит преимущество над рыцарем и сможет лучше использовать его в своих целях, если будет томить его неизвестностью. Он уже решил, что надо держаться этого рыцаря, у которого много с собой и людей, и всякого добра. Сандерус разбирался в людях и знал толк в вещах. Збышко был так молод, что легко можно было предположить, что он будет щедр и неосмотрителен и станет сорить деньгами. Сандерус успел уже разглядеть и дорогие миланские доспехи, и рослых боевых коней, которые не могли принадлежать простому рыцарю, и сказал себе, что с таким панским дитятею будет обеспечен и радушный прием в шляхетских

усадеб, и много случаев выгодно сбыть индульгенции, и безопасность в пути, и, наконец, обильные пища и питье, что для него было всего важнее.

Услышав вопрос Збышка, он наморщил лоб, поднял вверх глаза, как будто напрягая память, и переспросил:

— Панна Данута, дочь Юранда?.. А откуда она?

— Из Спыхова.

— Видать-то я их всех видал, но как которую звали, что-то не припомню.

— Она совсем еще молоденькая, на лютне играет, княгиню песнями веселит.

— Ах, молоденькая... на лютне играет... Что ж, выходили замуж и молоденькие... Не черна ли она, как агат?

Збышко вздохнул с облегчением.

— Нет, это не та! Та как снег бела, только на щеках румянец играет, и белокура.

— Одна черная, как агат, — прервал его Сандерус, — при княгине осталась, а прочие почти все повыходили замуж.

— Но ведь ты же говоришь: «почти все», значит, не все до единой. Христом Богом молю тебя, коли хочешь получить подарок, вспомни хорошенько.

— Денька через три-четыре я бы, может, и припомнил, а всего милее был бы мне конь, который возил бы мои священные товары.

— Скажи правду — и получишь коня.

Тут вмешался чех, который, улыбаясь в усы, слушал весь этот разговор:

— Правду мы при мазовецком дворе узнаем.

Сандерус с минуту поглядел на него, а затем сказал:

— Ты что, думаешь, я боюсь мазовецкого двора?

— Я ничего не говорю, может, ты его и не боишься, но только ни сейчас, ни через три дня никуда ты с конем не уедешь, а коль окажется, что солгал, так и на своих двоих никуда не ускачешь, потому что его милость велит переломать тебе их.

— Это уж как пить дать! — подтвердил Збышко.

Услыхав такой посул, Сандерус подумал, что лучше быть поосторожней, и ответил:

— Да когда бы я хотел солгать, так бы сразу и сказал, вышла, мол, либо нет, не вышла, а я ведь сказал, что не помню. Будь у тебя свой ум, ты бы тотчас постиг мою добродетель.

— Мой ум твоей добродетели не брат, потому она у тебя, может, псу

сестра.

— Не брешет моя добродетель, как твой ум, а кто брешет при жизни, тот может завывать после смерти.

— Это верно! Не выть будет после смерти твоя добродетель, а зубами скрежетать, разве только при жизни потеряет их на службе у дьявола.

И они завели перебранку, потому что чех был остер на язык: немец ему слово, а он ему — два. Однако Збышко велел готовиться к отъезду, и вскоре они тронулись в путь, расспросив предварительно у бывалых людей, как проехать на Ленчицу. За Серадзом потянулись дремучие леса, которые раскинулись на большей части этого края. Но по этим лесам пролежала большая дорога, местами даже окопанная рвами, а местами в низинах вымощенная кругляком — след хозяйствования короля Казимира. Правда, после его смерти, во время смуты, поднятой Наленчами и Гжималитами, дороги были запущены, но когда при Ядвиге в королевстве воцарился мир, в руках усердного народа снова застучали заступы на болотах и топоры в лесах, и к концу жизни королевы купец уже мог провезти от замка к замку на подводах товары, не боясь обломиться в выбоине или увязнуть в трясине. Только дикий зверь да разбойники были страшны в пути; но для защиты от дикого зверя ночью жгли плошки, а днем оборонялись от него самострелами, разбойников же и бродяг здесь было меньше, чем в соседних краях. Ну а уж если кто ехал с людьми да при оружии, тому и вовсе нечего было бояться.

Збышко тоже не боялся ни разбойников, ни вооруженных рыцарей и даже не вспоминал о них, потому что весь был во власти страшной тревоги и все думы его летели к мазовецкому двору. Он не знал, застанет ли свою Дануську придворной княгини или женой какого-нибудь мазовецкого рыцаря, с утра до поздней ночи душу его терзали сомнения. Порою ему казалось немыслимым, чтобы Дануса могла забыть его, но потом приходила вдруг в голову мысль, что Юранд мог приехать ко двору из Спыхова и отдать дочь за соседа своего или друга. Он ведь еще в Кракове говорил, что не судьба Збышку быть мужем Дануси, что не может он отдать дочь за него, значит, обещал ее, видно, другому, связан был, видно, обетом, а сейчас исполнил этот обет. Когда Збышко думал об этом, ему начинало казаться, что не видать уж ему Дануси в девушках. Он звал тогда Сандеруса и снова пытался, снова выпрашивал, а тот все больше и больше путал. Порою немец вот-вот готов был припомнить и придворную Данусю, и ее свадьбу, но тут же совал вдруг палец в рот, задумывался и восклицал: «Нет, не она!» От вина у немца должно было будто бы прояснеть в голове, но, сколько он ни пил, память у него не становилась лучше, и он по-прежнему

заставлял томиться молодого рыцаря, в душе которого смертельный страх все время боролся с надеждой.

Так и ехал Збышко вперед, терзаемый тревогой, тоской и сомнениями. По дороге он уже совсем не думал ни о Богданце, ни о Згожелицах, а только о том, что ж ему предпринять. Прежде всего надо было ехать к мазовецкому двору и узнать там всю правду; поэтому Збышко торопился вперед, останавливаясь только в усадьбе, в корчме или в городе на короткий ночлег, чтобы не загнать коней. В Ленчице он снова велел повесить на воротах корчмы свой вызов, рассудив, что вышла ли замуж Дануська, осталась ли девушкой, она по-прежнему его госпожа, и ему надо драться за нее. Но в Ленчице не много нашлось бы таких, кто смог бы прочесть его вызов, те же рыцари, которым вызов прочли грамотные причетники, не зная чужого обычая, только пожимали плечами и говорили: «Едет какой-то глупец! Кто же станет соглашаться с ним или спорить, коли этой девушки никто из нас в глаза не видал?..» А Збышко ехал дальше, и все большая тревога обнимала его, и все больше он торопился. Никогда не переставал он любить свою Дануську, но в Богданце и в Згожелицах, чуть не каждый день беседуя с Ягенкой и любуясь ее красотой, он не так часто думал о Дануське, а сейчас и ночью, и днем одна она была у него перед глазами, одна она не шла из ума. Даже во сне он видел ее, с распущенной косой, с маленькой лютней в руке, в красных башмачках и в веночке. Она протягивала к нему руки, а Юранд увлекал ее прочь. Утром, когда сны пропадали, на смену им приходила еще большая тоска; и никогда в Богданце Збышко не любил так этой девушки, как сейчас, когда он не был уверен, не отняли ли ее у него.

Ему приходило в голову, что ее, может, силой выдали замуж, но в душе он тогда ни в чем ее не винил, потому что она была ребенком и не могла располагать собою. Зато он вспыхивал негодованием, вспоминая про Юранда и княгиню Анну; когда же думал о муже Дануси, все в нем кипело от гнева, и он грозно озирался на слуг, везших под попонами оружие. Он решил, что не перестанет служить ей, и если даже застанет ее уже чужой женой, все равно добудет и сложит к ее ногам павлиньи гребни. Но в этой мысли он не находил утешения, скорее печаль будила она в его сердце, потому что он совсем не представлял себе, что станет делать дальше.

Утешала его только мысль о предстоящей великой войне. Хоть и не мил был ему свет без Дануськи, однако он не помышлял о гибели, он чувствовал, что война так захватит его, что он позабудет обо всех прочих горестях и печалях. А в воздухе действительно пахло грозой. Неизвестно откуда шли слухи о войне, потому что мир царил между королем и

орденом, но всюду, где ни проезжал Збышко, говорили только о войне. Народ словно предчувствовал, что вспыхнет война, а некоторые открыто говорили: «Для чего нам было соединяться с Литвой, как не для того, чтобы выступить против этих псов-крестоносцев? Надо раз навсегда покончить с ними, чтобы больше они не терзали нас». Другие восклицали: «Безумцы эти монахи! Мало им было Пловцов! Смерть у них за плечами, а они захватили еще землю добжинскую, которую им с кровью придется извергнуть». И во всех землях королевства к войне готовились, не похваляясь, с суровостью, с какой всегда готовятся к бою не на жизнь, а на смерть, с глухим упорством; могучий народ, который слишком долго сносил обиды, решил подняться наконец на врага и жестоко отплатить ему. Во всех усадьбах Збышко встречал людей, убежденных в том, что надо быть готовым в любой день сесть на коня, и даже дивился этому, ибо думал, как и другие, что война неизбежна, но не слышал о том, что она должна вспыхнуть так скоро. Ему не приходило в голову, что в этом случае воля народная предрешает события. Он верил не себе, а другим, и радовался, глядя на эти приготовления к войне, с которыми ему приходилось сталкиваться на каждом шагу. Все другие заботы отступали везде перед заботой о коне и об оружии; везде тщательно осматривали копья, мечи, секиры, рогатины, шлемы, панцири, ремни нагрудников и чепраков. Кузнецы день и ночь били молотами по железным листам, куя грубые, тяжелые доспехи, которые не в подъем были изысканным рыцарям с Запада, но которые легко носили крепкие шляхтичи из Великой и Малой Польши. Старики добывали в боковушах из сундуков заплесневелые мешки с гривнами, чтобы снарядить в поход сыновей. Однажды Збышко ночевал у богатого шляхтича Бартоша из Бежав, отца двадцати двух могучих сыновей, заложившего свои обширные земли монастырю в Ловиче, чтобы купить двадцать два панциря, столько же шлемов и прочего военного снаряжения. И хотя Збышко ничего не слышал в Богданце о войне, однако он тоже подумал, что придется двинуться в Пруссию, и благодарил Бога за то, что так хорошо снарядился в путь. Доспехи Збышка всюду вызывали удивление. Его принимали за воеводича, а когда молодой рыцарь уверял, что он простой шляхтич и что такие доспехи можно купить у немцев, стоит только щедро рассчитаться за них секирой, сердца слушателей загорались воинственным пылом. Но многие, увидев его доспехи, не могли удержаться от соблазна и, догнав Збышка на большой дороге, предлагали ему: «Давай сразимся за них!» Но Збышко торопился вперед и не хотел принимать бой, а чех натягивал самострел. Збышко даже перестал вывешивать в корчмах доску с вызовом, поняв, что, по мере того как он углубляется в страну,

люди все меньше разбираются в подобных делах и все чаще почитают его за глупца.

В Мазовии народ меньше говорил о войне. И тут все верили, что война неизбежна, но не знали, когда она может вспыхнуть. В Варшаве было все спокойно, тем более что двор находился в Цеханове, который князь Януш перестраивал, верней, восстанавливал после давнего набега Литвы, когда от старого города остался один только замок. В варшавском замке Збышка принял правитель Ясько Соха, сын воеводы Абрагама, павшего в битве на Ворскле. Ясько знал Збышка, так как был с княгиней в Кракове, поэтому он радушно принял молодого рыцаря; однако, прежде чем сесть за стол, Збышко стал спрашивать Яська, как Дануся, не вышла ли она замуж вместе с другими придворными паннами княгини.

Но Соха ничего не мог об этом сказать. Князь и княгиня с ранней осени жили в Цеханове. В Варшаве оставалась только горсточка лучников и он для охраны замка. Соха слышал, что в Цеханове веселились и, как всегда перед рождественским постом, играли свадьбы, но какие придворные панны вышли замуж, а какие — нет, он, будучи человеком женатым, не спрашивал.

— Думаю, однако, — сказал Соха, — что Дануся замуж не вышла, потому что свадьбу сыграть без Юранда не могли, а о его приезде я ничего не слыхал. У князя и княгини гостят также два рыцаря-крестоносца, комтуры, один из Янсборка, другой из Щитно, и с ними как будто чужеземцы; ну, Юранд в такое время никогда не приезжает, ибо стоит ему увидеть белый плащ, как он тотчас приходит в ярость. А раз не было Юранда, значит, не было и свадьбы! Впрочем, если хочешь, я pošлю гонца разузнать обо всем и велю ему спешно воротиться назад, хоть и думаю, что ты наверняка найдешь Данусю еще в девушках.

— Я сам завтра утром поеду, а за утешение тебе спасибо. Как только кони отдохнут, так и тронусь в путь, мне покоя не будет, покуда я не узнаю всю правду; ну а тебе все-таки спасибо — у меня от души теперь отлегло.

Однако Соха этим не ограничился. Он стал расспрашивать шляхтичей, гостивших в это время в замке, и солдат, не слыхал ли кто из них о свадьбе Дануси. Никто об этом ничего не слыхал, хотя нашлись такие, которые были в Цеханове и даже гуляли там на свадьбах. Разве только в последние недели или в последние дни она вышла. Могло статься и так — ведь в те времена люди недолго раздумывали. И все же Збышко лег спать, окрыленный надеждой. Уже в постели он подумал, не прогнать ли завтра Сандеруса, однако решил, что этот бродяга знает немецкий язык и может пригодиться ему, когда придется выехать в Мальборк для поединка с

Лихтенштейном. Збышко подумал также, что Сандерус не обманул его, и хоть дорого стоил, потому что ел и пил в корчмах за четверых, однако был услужлив и выказывал некоторую привязанность к своему новому господину. И главное, он умел писать, чем превосходил не только оруженосца-чеха, но и самого Збышка.

Вот почему молодой рыцарь позволил Сандерусу ехать с ним в Цеханов, чему тот обрадовался не только потому, что в дороге его поили и кормили, но и потому, что в такой почтенной компании он внушал большее доверие и легче находил покупателей. Переночевав в Насельске и подвигаясь не слишком быстро и не слишком медленно, путники на другой день под вечер увидели стены цехановского замка. Збышко остановился в корчме, чтобы надеть доспехи и, по рыцарскому обычаю, въехать в замок в шлеме и с копьем в руке; сев затем на своего рослого коня, добытого в бою, он сотворил в воздухе крест и двинулся вперед.

Но не проехал он и десяти шагов, как ехавший позади чех поравнялся с ним и сказал:

— Ваша милость, за нами мчатся какие-то рыцари, уж не крестоносцы ли это?..

Збышко повернул коня и в каких-нибудь тридцати шагах увидел блестящую группу всадников, во главе которой ехали два рыцаря на рослых поморских конях, оба в полном вооружении, в белых плащах с черными крестами и в шлемах с высокими павлиньими султанами.

— Клянусь Богом, крестоносцы! — сказал Збышко.

И он невольно пригнулся в седле и вытянул копье в пол конского уха, а чех, увидев это, поплевал в кулак, чтобы рукоять секиры не скользила в руке.

Слуги Збышка, люди бывалые и сведущие в военном деле, тоже стали наготове, правда, не для боя — в рыцарских поединках слуги не принимали участия, — а для того, чтобы отмерить место для конного боя или утоптать снег для пешего. Один только чех, принадлежавший к шляхетскому роду, мог принять участие в бое; но и он полагал, что, прежде чем ударить на врага, Збышко сделает вызов, и поразился, увидев, что молодой господин наставил до вызова свое копье.

Однако Збышко вовремя спохватился. Он вспомнил свой безрассудный поступок под Краковом, когда так легкомысленно хотел напасть на Лихтенштейна, и все беды, которые после этого обрушились на него, поднял копье, отдал его чеху и, не вынимая из ножен меча, тронул своего коня и поехал к крестоносцам. Приблизившись к ним, он заметил еще третьего рыцаря, тоже с перьями на голове, и четвертого, безоружного,

длинноволосого, который был похож на мазура.

При виде их Збышко сказал про себя: «Пообещал я в темнице своей госпоже не три чуба, а столько, сколько пальцев на обеих руках; но три, ежели только это не послы едут, я мог бы добыть сейчас».

Однако, подумав, он решил, что это все-таки едут какие-то послы к мазовецкому князю, и, вздохнув, громко сказал:

— Слава Иисусу Христу!

— Во веки веков, — ответил безоружный всадник с длинными волосами.

— Дай Бог счастья!

— Вам также!

— Слава Георгию Победоносцу!

— Это наш покровитель. Путь-дорога!

Они стали раскланиваться, затем Збышко назвал свое имя, герб и клич, сообщил, откуда направляется к мазовецкому двору; рыцарь с длинными волосами сказал, что его зовут Ендрек из Кропивницы и что он сопровождает гостей князя: брата Готфрида, брата Ротгера, а также господина Фулькона де Лорша из Лотарингии, гостя крестоносцев, который пожелал собственными глазами увидеть мазовецкого князя и особенно княгиню, дочь славного «Кинстута».

Когда Ендрек из Кропивницы называл их имена, иноземные рыцари, сидя прямо на своих конях, склоняли головы в железных шлемах, решив по богатым доспехам Збышка, что это князь послал им навстречу кого-нибудь из знати, быть может, родственника своего или сына.

Меж тем Ендрек из Кропивницы продолжал:

— Комтур, или, по-нашему, староста из Янсборка, который гостит сейчас у князя, рассказал ему об этих трех рыцарях, которые очень хотели побывать у нас, но не осмеливались, особенно рыцарь из Лотарингии; сам он издалека и думал, что на тевтонской границе обитают сарацины, с которыми никогда не прекращается война. Князь, как гостеприимный хозяин, тотчас послал меня на границу, чтобы под моей охраной они благополучно миновали замки.

— Так они без вашей помощи не могли бы проехать?

— Наш народ ненавидит крестоносцев, и не за то, что они учиняют на нас набеги, — мы сами тоже к ним заглядываем, — а за то, что они низкие предатели; ведь крестоносец обнимает тебя и целует, а сам в это время готов нож тебе в спину всадить; подлый это обычай, и противен он нам, мазурам. Да что говорить! Всякий примет немца в своем доме и не обидит гостя, но на дороге не преминет напасть на него. А есть такие, которые

только так и поступают, из мести ли или ради славы — да пошлет ее Бог всякому.

— Кто же среди вас самый славный?

— Есть один такой, что немцу легче во все глаза взглянуть на смерть, чем его увидеть, а зовут его Юранд из Спыхова.

Сердце затрепетало у молодого рыцаря, когда он услышал это имя, и он тотчас решил разузнать кой о чем у Ендрека из Кропивницы.

— Знаю, — сказал он, — слыхал: это его дочка Данута была придворной княгини, пока не вышла замуж.

И, затаив дыхание, он воззрился на мазовецкого рыцаря; однако тот воскликнул в изумлении:

— Да кто вам это сказал? Ведь она еще совсем молоденькая. Случается, конечно, что и такие выходят замуж; но Данута не вышла. Шесть дней, как я уехал из Цеханова и видел ее с княгиней. Как же могла она в посту выйти замуж?

Услышав это, Збышко с трудом сдержался, чтобы не схватить мазура в объятия и не крикнуть: «Спасибо вам за эту весточку!» Совладав с собою, он сказал:

— А я слыхал, будто Юранд выдал ее замуж.

— Это не Юранд, а княгиня хотела, да не могла отдать ее против воли отца. Хотелось княгине отдать Данусю за одного рыцаря в Кракове, он дал обет служить девушке, и она его любит.

— Любит? — воскликнул Збышко.

Ендрек бросил на него быстрый взгляд и с улыбкой спросил:

— Что это вы так про эту девушку расспрашиваете?

— Я про знакомых расспрашиваю, к которым еду.

Из-под шлема у Збышка виднелись только глаза да нос и чуть-чуть выглядывали щеки; но и щеки, и нос так сильно у него покраснели, что мазур, большой насмешник и лукавец, спросил:

— Лицо-то у вас, должно быть, от мороза покраснело, как пасхальное яичко!

Юноша еще больше смешался и пробормотал:

— Должно быть.

Они тронули коней и некоторое время ехали молча; только кони фыркали, и из ноздрей у них вырывались клубы пара, да болтали друг с дружкой иноземные рыцари. Однако через минуту Ендрек из Кропивницы спросил:

— Как вас зовут, я что-то недослышал?

— Збышко из Богданца.

— Что вы говорите! Да ведь того рыцаря, который дал обет дочке Юранда, тоже как будто так звали.

— Уж не думаете вы, что я стану отпираться? — с гордостью отрезал Збышко.

— Чего тут отпираться! Господи, так это вы тот самый Збышко, которого дочка Юранда накрыла покрывалом! Да когда двор вернулся из Кракова, у придворных дам только и разговору было что про вас, у иных, скажу я вам, даже слезы текли по щекам. Так это вы! То-то все обрадуются при дворе, княгиня ведь тоже вас любит.

— Да благословит ее Бог, да и вас, за добрую весть. А то как сказали мне, что Дануся вышла замуж, я весь обомлел.

— А чего ей замуж выходить!.. Лакомый кусочек такая невеста — приданого-то у нее целый Спыхов; но хоть много красивых хлопцев при дворе, а никто на нее не заглядывается из уважения и к поступку ее, и к вашему обету. Да и княгиня до этого не допустила бы. То-то все обрадуются! Сказать по правде, кое-кто над Данусей подсмеивался. «Не воротится твой рыцарь», — говорили ей, а она тогда только ножками топала: «Воротится, воротится!» А как скажут ей, что вы на другой женились, так она даже всплакнет, бывало.

Збышко растрогался, услышав эти слова, но при мысли о людском наговоре вспыхнул от гнева:

— Я на бой вызову того, кто на меня наговаривал!

Но Ендрек из Кропивницы расхохотался:

— Да ведь это бабы ей говорили! Что же, вы баб будете на бой вызывать? С бабой мечом не повоюешь!

Обрадовавшись, что судьба послала ему такого веселого и благожелательного товарища, Збышко стал расспрашивать его сперва про Данусю, потом про обычаи мазовецкого двора, потом про князя Януша, про княгиню и снова про Данусю; вспомнив о своем обете, он рассказал Ендреку обо всем, что слышал по дороге, и о том, как народ готовится к войне, и о том, как ждет ее со дня на день, и спросил наконец, ждут ли войны в мазовецких княжествах.

Однако пан из Кропивницы не думал, что война начнется так скоро. Народ толкует о войне; но он собственными ушами слышал, как князь однажды говорил Миколаю из Длуголяса, что крестоносцы спрятали когти и что если король настоит, так они из страха перед его могуществом освободят и захваченную ими землю добжинскую, и, уж во всяком случае, будут оттягивать войну, пока как следует не подготовятся.

— Да и князь, — прибавил он, — недавно ездил в Мальборк. Магистра

не было, так князя великий маршал принимал и ристалища в честь его устроил, а сейчас у князя комтуры гостят, да вот еще новые гости едут...

Ендрек на минуту задумался и прибавил:

— Толкуют, будто неспроста гостят крестоносцы у нас и в Полоцке у князя Земовита. Сдается, хотят они, чтобы в случае войны наши князья выступили на помощь не польскому королю, а ордену, ну а если не удастся склонить их к этому, так чтобы в стороне остались, — но не выйдет по-ихнему...

— Даст Бог, не выйдет. Да разве вы усидите дома? Ведь ваши князья подвластны польскому королю. Думаю, не усидеть вам.

— Не усидеть, — подтвердил Ендрек из Кропивницы.

Збышко снова бросил взгляд на иноземных рыцарей и павлиньи их перья.

— А эти что, за тем же едут?

— Крестоносцы они, может, и за тем же. Кто их знает?

— А третий?

— Третий едет из любопытства.

— Должно быть, знатный рыцарь.

— Еще бы! За ним идут три кованные повозки с богатым снаряжением да девять человек прислуги. Вот бы с таким подраться! Даже слюнки текут!

— Вам нельзя!

— Никак нельзя! Князь велел мне охранять их. Волос не упадет с головы у них до самого Цеханова.

— А что, если бы я вызвал их на поединок? А что, если бы они захотели драться со мной?

— Тогда вам пришлось бы сперва со мной драться; нет, покуда я жив, ничего из этого не выйдет.

Збышко ласково посмотрел на молодого шляхтича и сказал:

— Вы знаете, что такое рыцарская честь. С вами я драться не стану, потому что вы друг мне; но в Цеханове я с Божьей помощью найду повод, чтобы подраться с немцами.

— В Цеханове делайте все, что вам угодно. Там тоже без ристалищ не обойдется, а если позволят князь и комтуры, так дело может дойти и до поединка.

— Есть у меня доска, на которой написан вызов каждому, кто станет оспаривать, что панна Данута самая добродетельная и самая прекрасная девица на свете. Но знаете... люди везде только пожимают плечами и смеются.

— Иноземный это обычай и, сказать по правде, глупый, у нас его не

знают, разве только где-нибудь на границе. Вот и этот лотарингский рыцарь все приставал по дороге к шляхтичам, требовал, чтобы они прославляли его даму. Но никто его не понимал, а я не допустил, чтобы дело дошло до драки.

— Как? Он требовал, чтобы прославляли его даму? Что вы говорите! Верно, нет у него ни стыда ни совести.

Тут он устремил на иноземного рыцаря взор, точно любопытствуя взглянуть, каков же с виду человек, у которого нет ни стыда ни совести; однако в душе он должен был признаться, что Фулькон де Лорш вовсе не смотрит обыкновенным забиякой. Из-под приподнятого забрала глядели добрые глаза, и лицо у рыцаря было молодое, печальное.

— Сандерус! — окликнул вдруг Збышко своего немца.

— К вашим услугам, — ответил тот, приближаясь.

— Спроси у этого рыцаря, какая девица самая добродетельная и самая прекрасная на свете.

— Какая девица самая добродетельная и самая прекрасная на свете? — спросил Сандерус.

— Ульрика д'Эльнер! — ответил Фулькон де Лорш.

И, устремив глаза ввысь, он стал тяжело вздыхать, а у Збышка от такого кощунства даже дух занялся, и в негодовании он вздыбил своего скакуна; однако не успел он слова вымолвить, как Ендрек из Кропивницы стал на коне между ним и чужеземцем и сказал:

— Не затевать ссоры!

Однако Збышко снова обратился к торговцу реликвиями:

— Скажи ему от меня, что он любит сову.

— Благородный рыцарь, мой господин говорит, что вы сову любите! — как эхо повторил Сандерус.

Господин де Лорш выпустил при этих словах поводья, правой рукой отстегнул и снял с левой руки железную перчатку и бросил ее в снег перед Збышком, который кивнул чеху, чтобы тот поднял ее острием копья.

Но тут Ендрек из Кропивницы обратился к Збышку лицо и с грозным видом сказал:

— Повторяю, вы не станете драться, пока я охраняю этих рыцарей. Я не позволю драться ни вам, ни ему.

— Но ведь не я его, а он меня вызвал на поединок.

— Да, но он вызвал вас за сову. С меня этого достаточно, а если кто станет противиться... Смотрите!.. Я ведь тоже умею повернуть наперед пояс.

— Не хочу я с вами драться.

- А пришлось бы, потому что я дал клятву охранять этого рыцаря.
- Так как же быть? — спросил упрямый Збышко.
- Цеханов уже недалеко.
- Но что подумает немец?
- Пусть ваш человек скажет ему, что здесь вы драться не можете и что сперва должны испросить дозволения князя, а он — комтура.
- Да, но если мы не получим дозволения?
- Как-нибудь встретитесь в другом месте. Довольно слов!

Видя, что тут ничего не поделаешь и что Ендрек из Кропивницы действительно не может допустить, чтобы дело дошло до поединка, Збышко снова позвал Сандеруса и велел объяснить лотарингскому рыцарю, что драться они будут только по прибытии на место. Выслушав немца, де Лорш кивнул головой в знак того, что понял, а затем, протянув Збышку руку, подержал с минуту и трижды крепко пожал его руку, а по рыцарскому обычаю это означало, что поединок должен состояться в любом месте и в любое время. После этого они, с виду как будто в добром согласии, двинулись к цехановскому замку, круглые башни которого уже виднелись на фоне румяного неба.

В Цеханов путники приехали еще засветло, но пока их опросили у ворот замка и спустили мост, надвинулась темная ночь. Принял их и угостил знакомый Збышка, Миколай из Длуголяса, который командовал замковой стражей, состоявшей из горсточки рыцарей и трех сотен метких лучников из обитателей пущи. При въезде Збышко, к великому своему огорчению, узнал, что двора в замке нет. В честь комтуров из Щитно и Янсборка князь устроил большую охоту, и в лес для пущей пышности отправилась и княгиня с придворными дамами. Из знакомых женщин Збышко нашел только Офку, вдову Кшиха из Яжомбкова, которая была ключницей замка. Офка очень ему обрадовалась; со времени возвращения из Кракова она всем и вся рассказывала о любви Збышка к Данусе и о случае с Лихтенштейном. Она покорила этим рассказом молодежь, за что была благодарна Збышку, и сейчас старалась утешить юношу, который опечалился, узнав, что Дануси нет в замке.

— Ты ее не узнаешь, — говорила Офка. — Годы идут, и лифы у девушки уже трещат по швам, грудь у нее наливается. Не коротышка уж она, какой была раньше, и любит тебя уж иначе. Сейчас, если только кто крикнет ей на ухо: «Збышко!» — так будто шилом ее кольнет. Такая уж наша женская доля, ничего не поделаешь, потому на то воля Божья... А дядюшка твой, говоришь, здоров? Что ж он не приехал?.. Да, такая уж наша доля... Скучно, скучно девке одной жить на свете... Счастье еще, что ног

она себе не переломала, ведь каждый Божий день поднимается на башню и глядит на дорогу... Всякой девушке мил друг надобен...

— Коней только покормлю и тотчас к ней поеду, хоть и ночью, все равно поеду, — ответил Збышко.

— Поезжай, только возьми с собой провожатого из замка, не то заблудишься в пуще.

За ужином, который Миколай из Длуголяса устроил для гостей, Збышко и в самом деле сказал, что сейчас же уедет вслед за князем и просит дать ему провожатого. Утомившись от дороги, крестоносцы после ужина уселись у огромных каминов, в которых пылали целые стволы сосен, и решили ехать только на следующий день, после отдыха. Один де Лорш, узнав, о чем идет речь, изъявил желание ехать со Збышком, так как опасался опоздать на охоту, которую ему непременно хотелось посмотреть.

После этого он подошел к Збышку и, протянув ему руку, снова трижды сжал его пальцы.

Однако и на этот раз им не пришлось драться, так как Миколай из Длуголяса, узнав обо всем от Ендрека из Кропивницы, взял с обоих слово, что без ведома князя и комтуров они не станут этого делать, в противном случае пригрозил запереть ворота замка. Збышку хотелось поскорее увидеть Данусю, поэтому он не посмел противиться, а де Лорш, который охотно дрался, когда это было нужно, не был человеком кровожадным и тотчас поклялся рыцарской честью ждать дозволения князя, тем более что иначе мог бы его оскорбить. Кроме того, лотарингскому рыцарю, который наслушался песен о ристалищах и любил блестящее общество и пышные торжества, хотелось драться перед всем двором, вельможами и дамами; он полагал, что в этом случае слух о его победе разнесется повсюду и он скорее получит золотые шпоры. К тому же ему было любопытно посмотреть на здешний край и его обитателей, а Миколай из Длуголяса, который долгие годы просидел в неволе у немцев и легко объяснялся с чужеземцами, нарасказывал ему чудес о княжьей охоте на всяких зверей, неведомых уже в западных странах, так что оттяжка с поединком была де Лоршу даже на руку. В полночь они двинулись со Збышком к Праснышу, сопровождаемые вооруженной свитой и слугами с плошками для охраны от волков, которые, собираясь зимой в огромные стаи, могли представлять опасность даже для полутора-двух десятков вооруженных до зубов всадников. По ту сторону Цеханова тоже тянулись леса, которые за Праснышем сразу переходили в необъятную курпскую пущу^[66], сливавшуюся на востоке с дремучими борами Подлясья и затем Литвы. В недавнее время, минуя поселения грозных местных жителей, через эти боры пробирались обычно в Мазовию полудикие литвины, которые в тысяча триста тридцать седьмом году дошли до самого Цеханова и разрушили город. С живым любопытством слушая рассказы об этом старого провожатого, Мацька из Туробоев, де Лорш в душе горел желанием помериться силой с литвинами, которых он, как и прочие западные рыцари, почитал сарацинами. Он приехал в эту страну для участия в крестовом походе, надеясь стяжать себе славу и спасти свою душу, и по дороге думал, что, даже воюя с мазурами, как с народом полуязыческим, достигнет вечного блаженства. Он глазам своим не верил, когда при въезде в Мазовию увидел костелы в городах, кресты на башнях, духовенство, рыцарей со священными знаками на доспехах и народ хоть и буйный, горячий,

склонный к ссорам и дракам, но христианский и, уж во всяком случае, не более хищный, чем немцы, которых проездом видел молодой рыцарь. Он не знал, что подумать о крестоносцах, когда ему рассказали, что уже целые столетия этот народ поклоняется Христу, а когда узнал, что покойная краковская королева крестила и Литву, удивлению его и огорчению не было границ.

Он стал расспрашивать Мацька из Туробоев, нет ли в лесах, куда они едут, хоть огненных змиев, которым люди должны приносить в жертву девушек и с которыми можно было бы сразиться. Однако ответ Мацька окончательно разочаровал его.

— Водится у нас в бору много крупного зверя — волков, туров, зубров, медведей, и хлопот у нас с ними немало, — ответил мазур. — Может, в болотах и нечисть водится, но про огненных змиев я и не слыхивал, да хоть они и были бы у нас, так уж, верно, мы бы не дали им девушек, а скопом пошли бы на них. Да будь они у нас, так лесные поселенцы уж давно бы носили пояса из их кожи!

— Что за народ эти поселенцы и нельзя ли с ними сразиться? — спросил де Лорш.

— Сразиться с ними можно, только опасно, — ответил Мацько, — да и не подобает это рыцарю: они ведь мужики.

— Швейцарцы тоже мужики. Неужели эти поселенцы поклоняются Христу?

— Иных людей нет в Мазовии, а это люди наши и княжьи. Вы видали, верно, в замке лучников. Это все курпы, и нет на свете лучников лучше их.

— Англичане и шотландцы, которых я видел при бургундском дворе...

— Видал я их в Мальборке, — прервал рыцаря мазур. — Крепкие парни, но Боже их упаси выйти на бой с курпами! Да у курпов парнишке в семь лет есть не дадут, покуда он стрелой не собьет себе пищу с вершины сосны.

— О чем это вы толкуете? — спросил вдруг Збышко, до слуха которого несколько раз донеслось слово «курпы».

— Да о курпских и английских лучниках. Говорит этот рыцарь, будто англичане и особенно шотландцы самые меткие стрелки из лука.

— Видал я их под Вильно. Эва! Слышал и свист их стрел, когда они пролетали мимо ушей. Из всех стран были там рыцари, и все похвалялись нас без соли съесть, да попробовали раз-другой и закаялись.

Мацько рассмеялся и повторил слова Збышка господину де Лоршу.

— Разговор об этом шел при разных дворах, — ответил лотарингский рыцарь, — хвалили везде ваших рыцарей за отвагу, но упрекали за то, что

они защищают язычников.

— Мы защищали от набегов и обид народ, который хотел принять крещение. Это немцам хочется, чтобы он коснел в язычестве, лишь бы только им иметь повод для войны.

— Бог их рассудит, — ответил де Лорш.

— И может, в самом скором времени, — подхватил Мацько из Туробоев.

Но, услышав, что Збышко был под Вильно, лотарингский рыцарь стал расспрашивать его об этом городе, так как слух о битвах и рыцарских поединках, которые происходили там, разнесся по всему свету. Воображение западных рыцарей особенно поразила весть о поединке между четырьмя польскими и четырьмя французскими рыцарями. Де Лорш стал с большим уважением смотреть на Збышка, как на человека, который принимал участие в столь славных битвах, и радовался в душе, что ему придется драться не с каким-нибудь заурядным рыцарем.

Они продолжали свой путь с виду как будто в полном согласии, на привалах оказывали друг другу знаки внимания и угощали друг друга вином, изрядный запас которого был у де Лорша на повозках. Но из разговора между де Лоршем и Мацьком из Туробоев выяснилось, что Ульрика д'Эльнер вовсе не девушка, а сорокалетняя замужняя женщина, у которой к тому же шесть человек детей, и Збышко еще больше возмутился, что этот странный чужеземец не только смеет сравнивать свою «старуху» с Дануськой, но и требует признания ее превосходства. Ему пришло в голову, что, может, этот человек не в своем уме и ему нужно не странствовать по свету, а сидеть в темноте да не раз кнута попробовать; подумав об этом, он сдержал мгновенную вспышку гнева.

— Не кажется ли вам, — сказал Збышко Мацьку, — что злой дух омрачил его разум? Может, в голове у него бес сидит, как червь в орехе, и ночью готов перескочить на кого-нибудь из нас. Надо быть поосторожней...

Мацько из Туробоев стал было возражать, однако с некоторым беспокойством посмотрел на лотарингского рыцаря и в конце концов сказал:

— Бывает, что у одержимого их сидит целая сотня, а как станет им тесно, они норовят вселиться в других людей. Нет хуже беса, чем тот, которого найдет баба.

Он вдруг обратился к рыцарю:

— Слава Иисусу Христу!

— И я его славлю, — с удивлением ответил де Лорш.

Мацько из Туробоев совершенно успокоился.

— Вот видите, — сказал он, — если бы в нем сидел нечистый, рыцарь тотчас стал бы изрыгать пену или грянулся наземь — я ведь обратился к нему неожиданно. Можно ехать.

Они спокойно поехали дальше. От Цеханова до Прасныша было не особенно далеко, и летом гонец на добром коне мог за два часа покрыть расстояние между этими двумя городами. Но ночью, по снежным сугробам, путники продвигались в лесу гораздо медленней и часто останавливались на привал; выехали они далеко за полночь, так что до княжьего охотничьего дома, расположенного за Праснышем на опушке леса, добрались только на рассвете. Большой низкий деревянный дом, правда, с окнами из стеклянных шариков, стоял под самым лесом. Перед домом виднелись колодезные журавли и два навеса для лошадей, а кругом множество шалашей, собранных на скорую руку из сосновых ветвей, и шатров, раскинутых из звериных шкур. В сумеречном свете занимающегося дня перед шатрами ярко пылали костры, а вокруг них стояли загонщики в вывороченных кожухах, в лисьих, волчьих и медвежьих тулупах. Большая часть их была в шапках, вычиненных из звериных голов, и господину де Лоршу казалось, что это дикие звери поднялись перед кострами на задние лапы. Некоторые стояли, опершись на рогатины, другие — на самострелы, иные плели из веревок необъятные тенета, другие вертели перед огнем огромные зубровые и лосиные окорока, предназначенные, видно, на завтрак.

Отблеск пламени падал на снег, освещая эти дикие фигуры, окутанные дымом костров и облаками пара, вырывавшегося из ноздрей и поднимавшегося от жареного мяса, а позади алели стволы огромных сосен и виднелись новые толпы людей, такие огромные, что лотарингский рыцарь, для которого внове была такая охота, просто был поражен.

— Ваши князья, — заметил он, — на охоту отправляются как в военный поход.

— Надо вам сказать, — ответил Мацько из Туробоев, — что у них нет недостатка ни в охотничьем снаряжении, ни в людях. Это загонщики князя; но есть тут и другие, из лесных дебрей, они приходят сюда торговать.

— Как быть? — прервал его Збышко. — В доме еще спят.

— Подождем, пока не проснутся, — ответил Мацько. — Не станем же мы стучаться и будить князя, нашего господина.

Он подвел рыцарей к костру, загонщики постлали для них зубровые и медвежьи шкуры, а затем стали услужливо потчевать гостей дымящимся мясом. Заслышав чужую речь, у костра стал собираться народ, чтобы поглазеть на немца. Слуги Збышка тотчас рассказали, что это рыцарь «из

заморских стран», и люди сбились вокруг рыцарей такой плотной толпой, что Мацько из Туробоев вынужден был употребить власть, чтобы оградить чужеземца от чрезмерного любопытства. В толпе де Лорш заметил женщин, одетых тоже главным образом в шкуры, румяных, как наливное яблоко, и необыкновенно красивых, и стал спрашивать, принимают ли и они участие в охоте.

Мацько Туробойский объяснил ему, что в охоте они участия не принимают, а приходят с загонщиками, движимые женским любопытством, или являются как на ярмарку для покупки городских товаров и продажи своих лесных богатств. Так оно на самом деле и было; даже в отсутствие князя его охотничий дом был как бы средоточием двух стихий: городской и лесной. Загонщики не любили выходить из пущи, непривычно им было, когда лес не шумел у них над головами, поэтому праснышане привозили сюда, на лесную опушку, свое знаменитое пиво, муку, смолотую на городских ветряках или на водяных мельницах на Венгерке, редкую в пуще соль, за которой лесные жители очень охотились, скобяные и кожевенные товары и прочие изделия, а взамен брали шкуры, ценные меха, сушеные грибы, орехи, лекарственные травы или янтарь, который довольно легко было достать у курпов. Поэтому около княжеского охотничьего дома гомон стоял всегда, как на ярмарке, особенно во время охоты, когда и по обязанности, и из любопытства сюда стекались из лесных недр их обитатели.

Де Лорш слушал рассказы Мацька, с любопытством глядя на загонщиков, которые жили на здоровом смолистом воздухе, питались, как и большая часть тогдашних крестьян, главным образом мясом и нередко поражали иноземных путешественников своим ростом и силой; тем временем Збышко, устроившись у костра, все поглядывал на окна и двери дома, ему не сиделось на месте. В доме светилося только одно окно, видно, в кухне, так как сквозь щели в неплотно пригнанных рамах выходил дым. В остальных окнах было темно, и они только поблескивали в лучах зари, которая с каждой минутой светлела и все сильнее серебрила заснеженную пущу позади дома. В маленькой двери, прорезанной в боковой стене дома, то и дело появлялись княжеские слуги в кафтанах и с ведрами или бадейками на коромыслах бежали к колодцам за водой. Когда их спрашивали, все ли еще спят в доме, они отвечали, что после вчерашней охоты все утомились и еще спят, но что уже готовится завтрак, который подадут перед выездом на охоту.

Через кухонное окно стал и впрямь проникать запах жира и шафрана и разлился между кострами по всей опушке. Наконец скрипнула и

отворилась главная дверь, взору открылась внутренность ярко освещенных сеней — и на крыльцо вышел человек; Збышко с первого же взгляда признал в нем одного из песенников, которого в свое время видел в Кракове среди придворных княгини. Не ожидая ни Мацька из Туробоев, ни де Лорша, Збышко опрометью бросился к дому, так что изумленный лотарингский рыцарь спросил:

— Что случилось с этим молодым рыцарем?

— Ничего не случилось, — ответил Мацько из Туробоев, — он любит одну придворную княгини, и ему хочется поскорее увидеть ее.

— Ах! — воскликнул де Лорш, прижимая к сердцу руки.

И, подняв глаза к небу, он стал вздыхать так жалобно, что Мацько пожал плечами и сказал про себя: «Неужто он так вздыхает по своей старушонке? Должно быть, и впрямь не в своем уме!»

Тем не менее он проводил его к дому, и они вошли в обширные сени, украшенные рогами туров, зубров, лосей и оленей и освещенные отблеском пылавших в камине сухих поленьев. Посредине стоял накрытый ковровой скатертью стол с мисками, приготовленными для завтрака. В сенях было лишь несколько придворных, с которыми разговаривал Збышко. Мацько из Туробоев познакомил их с господином де Лоршем, придворные не говорили по-немецки, и ему пришлось остаться с лотарингским рыцарем. Поминутно являлись все новые и новые придворные, большей частью brave молодцы, не очень изысканные, но рослые, плечистые, белокурые, одетые уже в охотничье платье. Те из них, которые были знакомы со Збышком и знали о его краковских приключениях, здоровались с ним как со старым другом, и было видно, что он пользуется у них уважением. Некоторые глядели на него с тем удивлением, с каким обычно глядят на человека, над которым была занесена секира палача. Кругом раздавались возгласы: «Наконец-то! И княгиня здесь, и Дануся, сейчас ты, бедняга, увидишь ее и на охоту с нами поедешь». Но тут вошли два гостя-крестоносца, брат Гуго фон Данфельд, комтур из Ортельсбурга, или из Щитно, родственник которого был в свое время маршалом, и Зигфрид де Лёве, тоже из заслуженной в ордене фамилии, правитель Янсборка. Первый был еще довольно молод, но тучен, с хитрым лицом пьяницы и толстыми влажными губами, другой — высокого роста, со строгими и благородными чертами лица. Збышку показалось, что Данфельда он как-то видел у князя Витовта и что епископ плоцкий Генрик выбил его на ристалище из седла, однако юноша тотчас позабыл об этом, так как в эту минуту в сени вышел князь Януш, к которому обратились с поклоном и крестоносцы, и придворные. Де Лорш, комтуры и Збышко приблизились к князю, который

любезно приветствовал их, сохраняя, однако, выражение важности на безусом крестьянском лице, обрамленном волосами, ровно подстриженными на лбу и с обеих сторон ниспадавшими на плечи. Тотчас за окнами затрубили трубы, возвещая, что князь садится за стол: они протрубили раз, другой, третий, и тогда распахнулись справа высокие двери и в них показалась княгиня Анна, а с нею чудно прекрасная девочка с лютней, висевшей через плечо.

Увидев их, Збышко выступил вперед и, сложив руки как для молитвы, опустился на колени, всей своей позой выражая почтительность и преклонение.

Шум пробежал при этом по залу, так как всех мазуров удивило, а некоторых даже задело поведение Збышка. «Ишь, — говорили старики, — видно, у заморских рыцарей, а нет, так вовсе у язычников этому научился; даже немцы не знают такого обычая». Молодые же думали: «Нет ничего удивительного, ведь он обязан ей жизнью». А княгиня и Дануся не сразу признали Збышка, так как он стоял коленопреклоненный спиной к огню и лицо его было в тени. Княгиня в первую минуту подумала, что это кто-нибудь из придворных провинился перед князем и просит ее о заступничестве; но Дануся, у которой зрение было острее, шагнула вперед и, склонив свою светлую головку, крикнула вдруг тонким, пронзительным голосом:

— Збышко!

И, не думая о том, что на нее смотрит весь двор и иноземные гости, она, как серна, кинулась к молодому рыцарю, обвила руками его шею и, прильнув к своему возлюбленному, стала целовать ему глаза, губы, щеки; вне себя от радости, она при этом так пицала, что мазуры в конце концов разразились оглушительным хохотом, а княгиня схватила ее за ворот и потянула к себе.

Окинув глазами присутствующих и страшно смутившись, Дануся тогда с такой же быстротой юркнула за спину княгини и по самую макушку зарылась в складки ее юбки.

Збышко упал к ногам княгини, та подняла его, поздоровалась и стала расспрашивать про Мацька: умер он или жив, а коли жив, так почему не приехал в Мазовию? Збышко не очень внятно отвечал на ее вопросы, он перегибался то в одну, то в другую сторону, стараясь увидеть Дануську, которая то выглядывала из-за юбки своей госпожи, то снова пряталась в складках. Мазуры со смеху помирали, глядя на эту картину, смеялся и сам князь, пока наконец не внесли горячие блюда и обрадованная княгиня не обратилась к Збышку со следующими словами:

— Ну, служи нам теперь, милый слуга, и дай Бог тебе служить не только за столом, но и всегда.

А затем она обернулась к Данусе:

— А ты, несносная муха, сейчас же вылезай, а то совсем оборвешь мне юбку.

И Дануся вылезла, пылающая, смущенная, то и дело поднимая на Збышка испуганные, стыдливые и в то же время любопытные глазки; она была так хороша, что сердце растаяло не только у Збышка, но и у прочих мужчин: комтур крестоносцев из Щитно прижал пальцы к своим толстым влажным губам, а де Лорш воздел в изумлении руки и воскликнул:

— Ради святого Иакова из Компостеллы^[67], кто эта девица?

Комтур из Щитно, который был мужчиной не только тучным, но и низенького роста, приподнялся на цыпочки и сказал на ухо лотарингскому рыцарю:

— Дщерь дьявола.

Де Лорш поглядел на него, моргая глазами, затем наморщил брови и сказал в нос:

— Нет, настоящий рыцарь не хулит красоту.

— Я ношу золотые шпоры, и я — монах, — надменно возразил Гуго фон Данфельд.

Опоясанные рыцари пользовались таким почетом, что де Лорш опустил голову и только через минуту сказал:

— А я родственник герцогов Брабанта!

— Рах! Рах!^[68] — воскликнул крестоносец. — Хвала могущественным герцогам и друзьям ордена, который вскоре вручит вам золотые шпоры. Я согласен, что эта девушка красива, но вы только послушайте, кто ее отец.

Однако он ничего не успел рассказать, так как в эту минуту князь Януш сел за завтрак и, узнав предварительно у комтура из Янсборка о знатном родстве господина де Лорша, дал ему знак занять место около себя. Напротив села княгиня с Данусей, а Збышко, как когда-то в Кракове, встал за креслами своих дам, готовый служить им. Данусе было стыдно, и она сидела, низко опустив голову над миской, но смотрела вбок, так, чтобы Збышко мог видеть ее лицо. С жадностью и восхищением смотрел он на ее светлую маленькую головку, на розовую щечку, на плечи, уже не детские, обтянутые узким платьем, и чувствовал, что новая любовь волной поднимается в нем и заливают грудь. На глазах, на губах, на лице он ощущал свежие ее поцелуи. Когда-то она целовала его, как сестра брата, и как от милого ребенка принимал он ее поцелуи. Теперь же при одном

воспоминании о них с ним что-то творилось, как, бывало, при встречах с Ягенкой: истома и слабость овладевали им, но жар таился под ними, как в костре, засыпанном пеплом. Дануся казалась ему совсем взрослой девушкой, она и в самом деле выросла, расцвела. К тому же при ней много говорили о любви, и как алеют и раскрываются лепестки бутона, когда его пригреет солнце, так раскрылись для любви ее глаза, и от этого появилось в ней нечто новое, чего не было раньше, — красота уже не детская и очарование неотразимое, упоительное, которое исходило от нее, как тепло от пламени или аромат от розы.

Збышко был во власти ее очарования, но не отдавал себе в этом отчета, он совсем позабылся. Он забыл даже о том, что надо прислуживать дамам. Он не видел, что придворные смотрят на него, толкают друг друга локтями и, подсмеиваясь, показывают на него и Данусю. Не заметил он также ни застывшего от изумления лица господина де Лорша, ни устремленных на Данусю выпуклых глаз комтура из Щитно, в которых отражалось пламя камина, отчего они казались красными и сверкали, как у волка. Он опомнился только тогда, когда снова затрубили трубы, возвестив, что время отправляться в пущу, и княгиня Анна Данута сказала ему:

— Поедешь с нами, порадуешься, Дануське о любви своей скажешь, а я тоже охотно послушаю.

И она вышла с Данусей, чтобы переодеться для верховой езды. Збышко тотчас выбежал во двор, где конюхи держали уже заиндевелых фыркающих коней для княжеской четы, гостей и придворных. Народу во дворе стало поменьше, загонщики с тенетами ушли раньше и скрылись уже в пуще. Костры попритухли, день встал ясный, морозный, снег скрипел под ногами, а с деревьев под легким дуновением, искрясь, осыпался сухой иней. Вскоре из дома вышел князь и сел на коня; за ним слуга нес самострел и рогатину, такую длинную и тяжелую, что мало кто владел ею; однако князь, обладавший, как все мазовецкие Пясты, необычайною силой, легко орудовал ею. В роду Пястов бывали даже девушки, которые, выходя замуж за иноземных князей, на свадебном пиру легко скручивали в жгут широкие железные тесаки^[69]. Князя сопровождали два телохранителя, готовые в случае надобности немедленно прийти ему на помощь; они были выбраны из шляхтичей варшавской и цехановской земель; страшно было глянуть на них — косая сажень в плечах, могучие, как деревья в лесу, они привлекли особое внимание прибывшего из дальних стран господина де Лорша.

Тем временем вышла и княгиня с Данусей, обе в шапочках из шкурок белых ласок. Достоянная дочь Кейстута лучше владела луком, чем иглой,

поэтому за нею несли самострел с красивой насечкой, который был только немного легче, чем обычно. Збышко преклонил на снегу колено и подставил княгине руку, на которую она оперлась ножкой, садясь на коня; затем он посадил в седло Данусю, как в Богданце сажал Ягенку, — и все тронули коней. Поезд вытянулся длинной змеей, свернул от дома направо и, сверкая и переливаясь на опушке леса, как цветная кайма по краю темного сукна, стал медленно въезжать в лес.

Поезд уже углубился в чащу, когда княгиня обернулась к Збышку и сказала:

— Что же ты молчишь? Поговори же с нею.

Но Збышком овладела робость, и, даже ободренный княгиней, он заговорил не сразу.

— Дануська! — промолвил он наконец.

— Что, Збышко?

— Я люблю тебя так...

Он запнулся, тщетно сиюсь найти слова; трудно это было ему, хоть и умел он, как иноземный рыцарь, преклонить перед девушкой колено, хоть и оказывал ей всяческие знаки внимания и старался избегать простонародных слов, но тщетно силился выражаться с изысканностью, ибо как приволье полей была его душа, и говорить он умел только просто.

Так и сейчас, помолчав минуту, он сказал:

— Я люблю тебя так, что дух занимается!

Она подняла на него из-под меховой шапочки голубые глаза и лицо, разбурманенное холодным лесным воздухом.

— И я, Збышко! — ответила она поспешно.

И тотчас опустила ресницы, ибо знала уже, что такое любовь.

— Мое ты сокровище! Моя ты красавица! — воскликнул Збышко.

И снова умолк, счастливый, растроганный; но добрая и вместе с тем любопытная княгиня опять пришла ему на помощь.

— Расскажи, — промолвила она, — как тосковал по ней, а встретится кустик — и в губы ее поцелуй, я не стану гневаться: так ты лучше всего докажешь, что любишь ее.

И начал он рассказывать, как тосковал по ней и в Богданце, когда за Мацьком ухаживал, и в гостях у соседей. Хитрый парень ни словом не обмолвился об Ягенке, хоть обо всем рассказал откровенно, потому что в эту минуту так любил прекрасную Данусю, что ему хотелось схватить ее в объятия, посадить перед собой на коня и прижать к груди.

Однако Збышко не посмел этого сделать; но когда первый куст отделил его и Данусю от ехавших следом за ними гостей и придворных, он

нагнулся, обнял ее и спрятал лицо в меховой шапочке девушки, доказав этим свою любовь к ней.

Но нет зимою листьев на кустах орешника, и увидели его Гуго фон Данфельд и господин де Лорш, увидели и придворные и стали говорить между собой:

— При княгине чмокнул! Княгиня их мигом окрутит, это уж как пить дать.

— Он молодец, но и у нее горячая кровь Юранда!

— Кремень это и огниво, хоть девчонка как будто смиренница. Небось загорится! Ишь как он впился в нее, точно клещ!

Так, смеясь, говорили они, а комтур из Щитно обратился к господину де Лоршу свое козлиное, злое и похотливое лицо и спросил:

— Не хотели ли бы вы, господин де Лорш, чтобы какой-нибудь Мерлин^[70] чародейскою властью оборотил вас в этого молодого рыцаря?^[71]

— А вы, господин фон Данфельд? — спросил де Лорш.

Крестоносец, душу которого обожгла, видно, зависть и похоть, вздыбил нетерпеливой рукою коня и воскликнул:

— Клянусь спасением души!..

Однако тотчас опомнился и, склонив голову, произнес:

— Я монах и дал обет целомудрия.

И бросил быстрый взгляд на лотарингского рыцаря, опасаясь увидеть на его лице улыбку. Что касается целомудрия, то орден пользовался дурной славой, а самая худшая шла о Гуго фон Данфельде. Несколько лет назад он был помощником правителя в Самбии, и жалоб на него было столько, что хоть в Мальборке сквозь пальцы смотрели на подобные дела, однако вынуждены были перевести его в Щитно начальником замковой стражи. Прибыв в последние дни с тайным поручением ко двору князя, он увидел прелестную дочку Юранда и вспылал к ней страстью; юный возраст Дануси не мог для него служить помехой, так как в те времена девушки выходили замуж и в более раннем возрасте. Но Данфельд знал, из какой семьи девушка, а с именем Юранда у него было связано страшное воспоминание, так что сама страсть родилась в нем из дикой ненависти.

А тут и де Лорш задал крестоносцу вопрос, ожививший в его памяти это воспоминание:

— Вы, господин фон Данфельд, назвали эту девушку дочерью дьявола; почему вы ее так называли?

Данфельд начал рассказывать ему историю Злоторьи: как при восстановлении замка крестоносцы ловко захватили в плен князя вместе с его двором и как при этом погибла мать Дануси, за которую Юранд

страшно мстил с той поры всем рыцарям-крестоносцам. Ненавистью дышали слова Данфельда, когда он рассказывал эту историю, ибо для этого у него были личные причины. Два года назад он сам столкнулся с Юрандом; но, когда увидел страшного «спыховского зверя», первый раз в жизни такого спраздновал труса, что бросил двух своих родственников, слуг и добычу и как безумный целый день скакал до самого Щитно, где от волнения надолго слег. Когда он выздоровел, великий маршал ордена предал его рыцарскому суду; Данфельд поклялся честью на кресте, что конь понес и умчал его с поля битвы, поэтому суд оправдал его, однако по приговору ему был закрыт доступ к высшим должностям в ордене. Правда, обо всем этом крестоносец на этот раз умолчал, зато так расписывал жестокость Юранда и дерзость всего польского народа, что лотарингский рыцарь не верил своим ушам.

— Но ведь мы сейчас, — сказал он наконец, — не у поляков, а у мазуров?

— Это отдельное княжество, но народ один, — ответил комтур, — он одинаково подл и одинаково ненавидит орден. Дай Бог, чтобы немецкий меч истребил все это племя!

— Вы правы, господин фон Данфельд; ведь если князь, который с виду кажется таким почтенным, осмелился воздвигать против вас замок в ваших же владениях, то это беззаконие, о каком я не слыхивал и среди язычников.

— Замок он воздвигал против нас, но Злоторыя находится не в наших, а в его владениях.

— Тогда слава Иисусу, ниспославшему вам победу. Как же кончилась эта война?

— Да войны тогда не было.

— А ваша победа под Злоторыей?

— Бог и в этом благословил нас — князь был без войска, с одними придворными и женщинами.

Де Лорш в изумлении воззрился на крестоносца:

— Как же так? Значит, вы в мирное время напали на женщин и на князя, который возводил замок на собственной земле?

— Нет бесчестных поступков, когда речь идет о славе ордена и христианства.

— А этот грозный рыцарь ищет мести только за молодую жену, убитую вами в мирное время?

— Кто поднимает руку на крестоносца, тот — сын тьмы.

Призадумался господин де Лорш, услышав эти речи, но не было у него времени, чтобы ответить Данфельду, так как они выехали на обширную

поляну, поросшую заснеженным камышом, на которой князь спешился, а за ним спешились и другие.

Для того чтобы легче было стрелять из самострелов и луков, опытные лесники под руководством ловчего рассыпали охотников в длинную цепь по краю поляны так, что сами охотники находились в укрытии, а перед ними лежало свободное пространство. По двум коротким краям поляны деревья и кусты обметали тенетами; за ними притаились «тенетчики», которые должны были гнать зверя на стрелков, а если он не испугается их гиканья и запутается в тенетах, добивать его рогатинами. Множество курпов, умело расставленных цепью в так называемой облаве, должны были гнать всякую живую тварь из лесных недр на поляну. За стрелками снова развесили тенета, чтобы зверь, которому удастся прорваться сквозь ряд стрелков, тоже попался в сети и был добит в их ячейках.

Князь стоял посредине цепи стрелков в небольшой ложине, которая тянулась поперек всей поляны. Ловчий, Мрокота из Моцажева, выбрал ему это место, зная, что именно в эту ложину побежит от облавщиков самый крупный зверь. В руках у князя был самострел, рядом к дереву была прислонена тяжелая рогатина, а чуть поодаль стояли два «телохранителя»; могучие, как деревья в пуще, с секирами на плечах, они держали наготове натянутые самострелы, чтобы подать их князю в случае надобности. Княгиня и Дануся не слезали с коней: князь никогда не позволял им спешиваться, опасаясь свирепых туров и зубров, от которых конному легче было спастись. Де Лорш, которому князь предложил занять место по правую руку, попросил позволения остаться на коне для охраны дам и стал неподалеку от княгини, похожий на длинный гвоздь со своим рыцарским копьем, над которым втихомолку посмеивались мазуры, справедливо полагая, что оружие это мало пригодно для охоты. Зато Збышко вбил рогатину в снег, самострел сдвинул на спину и, стоя около Дануси, то поднимал голову и шептал что-то ей, то обнимал ей ноги и целовал колени, совершенно не таясь от людей со своей любовью. Он попритих только тогда, когда Мрокота из Моцажева, который в пуще позволял себе ворчать даже на князя, строго-настрого приказал ему сохранять молчание.

Тем временем далеко-далеко, в недрах пущи, раздались звуки курпских рожков, которым коротко и пронзительно ответил с поляны кривой охотничий рог, — затем воцарилась немая тишина. Лишь порою сойка крикнет на верхушке сосны да вороном прокаркает кто-нибудь из облавщиков. Охотники впились глазами в белый пустой простор, где ветер

шелестел в покрытых инеем камышах и обнаженных кустах ивняка. Все с нетерпением ждали, какой же зверь первым появится на снегу, вообще же охоту предсказывали удачную и богатую: в пуще водилось множество зубров, туров и кабанов. Курпы к тому же выкурили из берлог нескольких медведей; проснувшись от дыма, те бродили в зарослях злые, голодные и настороженные, чуя, что вскоре им придется сразиться не за спокойную зимнюю спячку, а за жизнь.

Однако нужно было набраться терпенья — облавщики, гнавшие зверя к крыльям облавы и на поляну, оцепили в бору огромное пространство и шли издалека, так что даже лай собак, спущенных со смычков по первому сигналу рога, не долетал до слуха охотников. На поляне показалась одна из собак; спущенная, должно быть, раньше времени или отбившаяся от своры, она увязалась за курпами; вода по земле носом, она пробежала через поляну и проскользнула между охотниками. И снова пусто и глухо стало кругом, только облавщики по-прежнему каркали, как вороны, давая таким образом знать, что скоро начнется работа. Прошло еще немного времени, и вот на краю поляны появились волки; самые чуткие из всех зверей, они первыми попытались уйти от облавы. Их было несколько. Однако, выбежав на поляну и учуяв, что кругом люди, они снова повернули в лес, чтобы попытаться найти другой выход. Затем из лесной чащи вынырнули кабаны и длинной черной цепью побежали через занесенное снегом пространство, похожие издали на стадо домашних свиней, которые, тряся ушами, несутся к хате на зов хозяйки. Но цепь останавливалась, прислушивалась, приноживалась, поворачивала назад, снова прислушивалась; бросившись к тенетам и почуяв тенетчиков, снова с храпом пускалась к стрелкам; она подходила все осторожней, но вместе с тем все быстрее, пока не щелкнули наконец железные запоры самострелов, не запели стрелы и первая кровь не обагрила белую снежную пелену.

Раздался визг, и стадо рассеялось, как от удара грома: одни сломя голову помчались вперед, другие кинулись к тенетам, иные в одиночку или кучками заметались по поляне, мешаясь с другими зверями, которые ринулись уже из чащи на поляну. До слуха охотников явственно доносились звуки рожков, лай собак и далекий гомон — это главная лава двигалась сюда из недр. На лужайке, куда зверей загоняли с боков через широко раскинутые крылья облавы, уже было полным-полно всякого зверья. Ничего подобного нельзя было увидеть не только в иноземных странах, но и в других польских землях, где не было таких пущ, как в Мазовии. Хотя крестоносцам случалось бывать на Литве, где зубры порой бросались на войско и производили замешательство в его рядах^[72], однако

они поразились, увидев такую тьму зверей; особенно же был изумлен этим зрелищем господин де Лорш. Стоя, как журавль, на страже около княгини и ее придворных дам и не имея возможности поговорить с ними, он начал уже было скучать и мерзнуть в своих железных доспехах и решил, что охота не удалась. И вдруг он увидел впереди целые стада легконогих серн, светло-рыжих оленей и лосей с тяжелыми, венчанными головами; смешавшись в кучу, звери метались по поляне и, ничего не видя от страха, тщетно искали выхода из западни. Княгиня, у которой от этого зрелища закипела в жилах кровь ее отца Кейстута, пускала в эту пеструю кучу одну стрелу за другой, всякий раз радостно вскрикивая, когда раненый олень или лось на всем скаку становился на дыбы и, тяжело рухнув на землю, рыл ногами снег. В охотничьем пылу даже некоторые придворные дамы то и дело пригибались к своим самострелам. Один только Збышко и не помышлял об охоте; опершись локтями на колени Дануси и подперев руками голову, он заглядывал ей в глазки, а она, улыбающаяся и смущенная, все закрывала ему пальчиками глаза, словно не в силах вынести его взор.

Но тут внимание господина де Лорша привлек огромный медведь с седым загривком и лопатками, который неожиданно вынырнул из камышей неподалеку от стрелков. Князь пустил в него стрелу из самострела, а затем кинулся на него с рогатиной и, когда зверь с ужасающим ревом поднялся на задние лапы, так ловко и быстро заколол его на глазах у всего двора, что ни одному из телохранителей не пришлось употребить в дело секиру. Тогда молодой лотарингский рыцарь подумал, что немногие из тех государей, у кого ему случалось гостить по дороге сюда, отважились бы так позабавиться и что крестоносцы с таким народом могут когда-нибудь попасть в переделку и их может постигнуть злая участь. Но потом он увидел свирепых одинцов с белыми клыками, заколотых другими охотниками; это были огромные вепри, гораздо больше и свирепее тех, на которых охотились в лесах Нижней Лотарингии и в германских пущах. Ни таких ловких и сильных охотников, ни таких ударов рогатиной господин де Лорш отродясь не видывал; человек бывалый, он объяснял это тем, что все жители этих дремучих лесов с детских лет приучаются владеть самострелом и рогатиной и могут поэтому приобрести больший навык, чем другие народы.

Поляна в конце концов усеялась трупами всяких зверей; но до конца охоты было еще далеко. Вот-вот должна была наступить самая любопытная и в то же время опасная минута: облавщики согнали на площадку десятка полтора зубров и туров. В лесах эти звери держались обычно особняком,

тут же они перемешались; однако страх вовсе не ослепил их, и не испуганы они были с виду, а скорее грозны. Уверенные в своей страшной силе, они подвигались не особенно быстро, точно знали, что сметут все преграды на своем пути и пройдут; земля гудела под тяжелым их копытом. Бородатые быки, которые выступали впереди стада, низко пригнув головы к земле, по временам останавливались как бы в нерешимости, раздумывая, куда же свернуть. Глухой рев, подобный подземному гулу, вырывался из страшной их груди, пар валил из ноздрей, и, роя передними ногами снег, они из-под грив, казалось, высматривали кровавыми глазами скрытого врага.

Меж тем тенетчики оглушительно заулюлюкали, сотни громких голосов подхватили их гик в главной лаве и на крыльях; затрубили рога и пищали; бор содрогнулся до самых сокровенных своих глубин, и в то же мгновение на поляну с пронзительным лаем вырвались курпские псы, преследовавшие дичь по пятам. Завидев их, рассвирепели самки с детенышами. Уходя от бешеной погони, стадо, которое до этого медленно подвигалось вперед, мгновенно рассеялось по всей поляне. Один из туров, рыжий, огромный, просто чудовищный бык, крупнее даже зубра, тяжелыми скачками пустился к стрелкам, повернул на поляне направо и, завидев в нескольких десятках шагов под деревьями лошадей, остановился и с ревом стал рыть ногами землю, точно готовясь к прыжку и к бою.

Увидев эту страшную картину, тенетчики заулюлюкали еще оглушительней, а в ряду стрелков раздались испуганные возгласы: «Княгиня, княгиня! Спасайте госпожу!» Збышко схватил торчавшую в снегу рогатину и бросился на опушку леса; за ним кинулось несколько литвинов, готовых погибнуть, защищая дочь Кейстута; но тут в руках княгини щелкнул самострел, просвистела стрела и, пролетев над низко склоненной головой зверя, вонзилась ему в загривок.

— Готово! — воскликнула княгиня. — Не уйдет...

Однако слова ее заглушил такой ужасающий рев, что лошади присели на задние ноги. Тур ураганом помчался прямо на княгиню; но из-за деревьев с не меньшей быстротой выскочил внезапно верхом на своем коне отважный господин де Лорш и, пригнувшись к луке, вытянув, как на рыцарском ристалище, копьё, бросился прямо на зверя.

Присутствующие увидели, как копьё в мгновение ока вонзилось в загривок быку, изогнулось дугой и разлетелось на мелкие куски; затем огромная рогатая голова вся исчезла под брюхом коня господина де Лорша, и, прежде чем кто-либо успел издать звук, скакун со всадником взлетели в воздух, словно камень, пущенный из пращи.

Грянувшись на бок, конь забился в предсмертных судорогах, путаясь

ногами в собственных внутренностях, вывалившихся из вспоротого брюха, а господин де Лорш лежал недвижимо, похожий на снегу на железный клин; с минуту тур как будто колебался, обойти ли их и ринуться на других лошадей или остаться; однако он снова обратился к первым своим жертвам и стал вымещать свою злобу на несчастном скакуне, поддевая его головой и в бешенстве взрезая рогами его и без того распоротое брюхо.

Из лесу на защиту иноземного рыцаря бросился народ. Збышко, охваченный тревогой за жизнь княгини и Дануси, прибежал первым и вонзил острие рогатины зверю под лопатку. Однако юноша размахнулся так сильно, что, когда тур внезапно повернулся, рогатина раскололась у него в руках и сам он упал лицом в снег. «Погиб! Погиб!» — слышались голоса мазуров, бежавших к нему на помощь. Тем временем бык прижал его головой к земле. К Збышку уже бежали от князя два могучих телохранителя; однако они опоздали бы, если бы их не опередил чех Глава, подаренный Збышку Ягенкой. Он успел добежать раньше и, высоко занеся обеими руками широкую секиру, вонзил ее туру в опущенный затылок чуть пониже рогов.

Удар был так страшен, что зверь повалился как громом сраженный, с перебитым хребтом и почти отрубленной головой; однако, падая, он придавил Збышка. Оба телохранителя тотчас оттащили чудовищную тушу зверя, а тем временем княгиня и Дануся соскочили с коней и, онемев от ужаса, подбежали к раненому юноше.

Бледный, весь залитый своей кровью и кровью тура, тот приподнялся, сделал попытку встать, но зашатался, упал на колени и, опершись на руку, произнес одно только слово:

— Дануська...

Кровь хлынула у него изо рта, в голове помутилось. Дануся подхватила его за плечи, но не могла удержать и стала звать на помощь. Збышка окружили, растирали его снегом, вливали ему в рот вино; наконец ловчий Мрокота из Моцажева велел положить его на епанчу и унять кровь мягким лесным трутом.

— Будет жить, коли не хребет, а только ребра сломаны, — сказал он княгине.

Тем временем другие придворные дамы занялись с охотниками спасением господина де Лорша. Его повертывали на все стороны, искали, нет ли дыр на доспехах или вмятин, оставленных рогами быка, но, кроме снега, набившегося между пластинами брони, ничего не обнаружили. Тур выместил свою злобу главным образом на коне, который лежал рядом уже мертвый, с вывалившимися внутренностями под брюхом, а сам господин де

Лорш не был ранен. Он только потерял сознание при падении и, как выяснилось потом, вывихнул правую руку. Когда с него сняли шлем и влили ему в рот вина, он тотчас открыл глаза и пришел в чувство; увидев встревоженные лица склонившихся над ним молодых и красивых дам, он сказал по-немецки:

— Неужто я уже в раю и это ангелы склонились надо мной?

Правда, дамы его не поняли; однако, обрадовавшись, что он пришел в себя и заговорил, стали ему улыбаться, а затем с помощью охотников подняли его с земли. Почувствовав в правой руке боль, рыцарь застонал и, опершись левой рукой на плечо одного из «ангелов», мгновение стоял неподвижно — ноги у него подкашивались, и он боялся ступить. Окинув мутным взглядом поле боя, он увидел рыжую тушу тура, которая издали казалась чудовищной, увидел Данусю, которая ломала руки над Збышком, и на епанче — самого Збышка.

— Этот рыцарь пришел мне на помощь? — спросил господин де Лорш. — Жив ли он?

— Он тяжело изувечен, — ответил один из придворных, умевший изъясняться по-немецки.

— Отныне я не с ним буду драться, а за него! — воскликнул лотарингский рыцарь.

Но тут князь, стоявший над Збышком, подошел к де Лоршу и стал восхвалять его за смелый подвиг, который он совершил, избавив от страшной опасности княгиню и других женщин, а быть может, даже сохранив им жизнь, за что, кроме рыцарских наград, его ждет вечная слава при жизни и после смерти. «Не те уж нынче времена, — сказал князь, — и не много истинных рыцарей ездит по свету, погостите же у нас подольше, а то и вовсе останьтесь в Мазовии: вы снискали уже мою милость, а любовь народа так же легко заслужите доблестными своими подвигами!»

Сердце алчного до славы господина де Лорша растаяло от этих слов; когда же он подумал, что совершил столь замечательный рыцарский подвиг и удостоился таких похвал в этой далекой польской земле, о которой столько удивительного рассказывали на Западе, то от радости забыл даже про боль в вывихнутом плече. Он понимал, что рыцарь, который сможет рассказать при брабантском или бургундском дворе о том, как он спас на охоте жизнь княгине мазовецкой, будет всегда окружен сиянием ореола славы. Под влиянием этих мыслей он вознамерился было тотчас отправиться к княгине и, преклонив колена, дать обет верно служить ей; но княгиня и Дануся заняты были Збышком. На короткое мгновение юноша пришел в себя, но только улыбнулся Данусе, поднес руку к покрытому

холодным потом лбу и тотчас снова впал в беспамятство. Опытные охотники, видя, как сжались при этом его руки и открылся рот, говорили между собой, что юноша не выживет; но более сведущие курпы, из которых многие носили на себе следы медвежьих когтей, кабаньих клыков и рогов зубра, выражали надежду, что молодой рыцарь встанет на ноги; они утверждали, что турий рог скользнул у него по ребрам, что, может быть, одно или два из них сломаны, но хребет цел, иначе молодой господин не мог бы приподняться ни на минуту. Они показывали также на снежный сугроб, где упал Збышко, и говорили, что он-то и спас юношу, — прижав молодого рыцаря головой к сугробу, зверь не мог размозжить ему грудь и хребет.

К несчастью, на охоте не было княжеского лекаря, ксендза Вышонека из Дзеванны; хотя он обычно бывал на охоте, однако на этот раз остался дома и занялся приготовлением облаток. Узнав об этом, чех поскакал за ним, а тем временем курпы понесли Збышка на епанче к княжескому охотничьему дому. Дануся хотела сопровождать Збышка пешком, но княгиня не разрешила — путь был дальний и в лесных оврагах уже лежал глубокий снег, а меж тем надо было торопиться. Комтур Гуго фон Данфельд помог девушке сесть на коня и поехал рядом с нею вслед за людьми, которые несли Збышка; понизив голос так, чтобы она одна его слышала, он сказал Данусе по-польски:

— В Щитно у меня есть чудесный целительный бальзам, который дал мне пустынный в Герцинском лесу и который я могу доставить вам через три дня.

— Да вознаградит вас Бог! — ответила Дануся.

— Бог записывает каждое милосердное дело, но могу ли я надеяться получить награду и от вас?

— Чем же я могу вознаградить вас?

Крестоносец подъехал поближе, хотел, видно, что-то сказать, но замялся и, помолчав с минуту, сказал:

— В ордене у нас, кроме братьев, есть и сестры... Одна из них привезет целительный бальзам, и тогда я скажу вам о награде.

Ксендз Вышонец осмотрел раны Збышка и нашел, что у него сломано только одно ребро; однако в первый день он не ручался за выздоровление, так как не знал, «не перевернулось ли у больного в середине сердце и не оборвалась ли печень». Господин де Лорш к вечеру тоже разнемогся и вынужден был лечь в постель; на следующий день у него так ныли все кости, что от боли он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Княгиня и Дануся с другими придворными дамами ухаживали за больными и, по предписанию ксендза Вышонека, варили для них различные мази и снадобья. Збышко был тяжело изувечен, по временам у него снова начинала течь горлом кровь, что очень беспокоило ксендза Вышонека. Однако юноша был в сознании и на другой день, узнав от Дануси, кому он обязан жизнью, призвал своего чеха, чтобы поблагодарить и вознаградить его. Ему подумалось, что он получил чеха в дар от Ягенки и что не миновать бы ему гибели, если бы не ее доброе сердце. Мысль эта тяготила Збышка, он чувствовал, что никогда не сможет отплатить милой девушке добром за добро и будет для нее всегда лишь источником мучений и неизбывного горя. Правда, он тотчас сказал себе: «Не разорваться же мне пополам!» — и все же где-то в тайнике души его грызла совесть. Чех еще больше разжег душевную его тревогу.

— Я, — сказал он, — рыцарской честью поклялся моей панночке охранять вас и буду это делать без всякой награды. Не мне, а ей вы обязаны, пан, своим спасением.

Збышко ничего ему не ответил, только дышать стал тяжело, а чех, помолчав минуту, продолжал:

— Прикажете в Богданец скакать, поскачу. Может, хорошо было бы вам со старым паном повидаться, а то ведь Бог знает, что с вами будет.

— А что говорит ксендз Вышонец? — спросил Збышко.

— Ксендз Вышонец говорит, что все станет ясно, когда месяц родится, а месяц родится только через четыре дня.

— Ну, тогда незачем скакать в Богданец. Покуда дядюшка поспеет, я либо помру, либо выздоровею.

— Вы хоть письмо пошлите в Богданец. Сандерус обо всем складно напишет. Хоть весточку о себе дадите, да и обедню там закажут.

— Оставь меня покуда, неможется мне. Помру, воротись в Згожелицы и обо всем расскажешь, тогда там и закажут обедню. А меня

либо тут схоронят, либо в Цеханове.

— Пожалуй, все-таки в Цеханове или в Прасныше, тут, в бору, только курпы своих хоронят, и волки на могилах воют. Слышал я от слуг, что через два дня князь со двором уезжает в Цеханов, а оттуда в Варшаву.

— Авось меня тут одного не оставят, — сказал Збышко.

Он угадал — в тот же день княгиня обратилась к князю с просьбой позволить ей остаться в охотничьем доме с Данусей, придворными дамами и ксендзом Вышонеком, который был против того, чтобы Збышка сразу перевозить в Прасныш. Господину де Лоршу через два дня стало гораздо лучше, и он начал подниматься с постели; узнав, однако, что «дамы» остаются, он тоже остался, чтобы сопровождать их на обратном пути и защищать от нападения сарацинов. Откуда могли взяться здесь сарацины — над этим вопросом отважный лотарингский рыцарь не задумывался. Правда, далеко на Западе так называли литвинов; однако никакая опасность не могла грозить от них дочери Кейстута, родной сестре Витовта и двоюродной сестре могущественного «краковского короля» Ягайла. Но господин де Лорш слишком много времени провел у крестоносцев и, несмотря на все то, что он слышал в Мазовии и о крещении Литвы, и о двух коронах, возложенных на главу одного властелина, не мог отрешиться от мысли, что от литвинов всегда можно ждать только дурного. Так говорили крестоносцы, а он еще не совсем изверился в их словах.

Меж тем произошло событие, породившее рознь между князем Янушем и его гостями-крестоносцами. За день до отъезда князя приехали братья Готфрид и Ротгер, которые оставались в Цеханове, и с ними некий господин де Фурси, привезший крестоносцам неприятную весть. Как выяснилось, сам господин де Фурси и господа де Бергов и Майнегер, оба из фамилий, имевших в прошлом заслуги перед орденом, находясь в качестве иноземных гостей у комтура в Любаве, наслушались рассказов об Юранде из Спыхова и не только не испугались прославленного воителя, но решили выманить его на поле боя, чтобы убедиться, действительно ли он так страшен, как о нем рассказывают. Правда, комтур сперва противился этому, ссылаясь на то, что между орденом крестоносцев и мазовецкими княжествами царит мир; но в конце концов, питая, видимо, надежду освободиться от грозного соседа, не только решил смотреть на все сквозь пальцы, но и дал своим гостям вооруженных кнехтов. Рыцари послали вызов Юранду, который тотчас принял его при одном только условии, что они отошлют людей и будут драться с ним и двумя его товарищами на самой границе Пруссии и Спыхова. Но рыцари не пожелали отослать кнехтов и покинуть пределы спыховских владений; тогда Юранд напал на

них, перебил людей, пронзил копьем господина Майнегера, нанеся ему тяжелую рану, а господина де Бергова захватил в плен и ввергнул в спыховское подземелье. Спасся только господин де Фурси; три дня блуждал он в мазовецких лесах, пока не узнал от смолокуров, что в Цеханове гостят крестоносцы, и не пробрался к ним, чтоб принести вместе с ними жалобу вельможному князю и просить его покарать виновника и освободить из неволи господина де Бергова.

Когда были получены эти вести, отношения у князя с его гостями сразу же испортились; не только вновь прибывшие братья, но и Гуго фон Данфельд, и Зигфрид де Лёве стали домогаться у князя, чтобы он раз и навсегда удовлетворил требования ордена, убрал с границы хищника и покарал его за все преступления по совокупности. Особенно настойчиво добивался возмездия, чуть не грозил князю Гуго фон Данфельд: у крестоносца были старые счеты с Юрандом, при воспоминании о которых он сгорал со стыда.

— Жалоба будет послана великому магистру, — говорил он, — и коли мы, вельможный князь, у вас не найдем справедливости, то магистр сам расправится с этим разбойником, даже если за него вступится вся Мазовия.

Князь, человек по натуре мягкий, вспыхнул, однако, гневом и сказал:

— Какой же справедливости вы у меня ищете? Если бы Юранд напал на вас первый, пожег деревни, угнал стада, перебил людей, я бы непременно предал его суду и покарал. Но ведь на него напали ваши гости. Ваш комтур позволил им взять с собой кнехтов — что же было делать Юранду? Он принял вызов и требовал только, чтобы вы отослали людей. Как же я могу карать его за это или предавать суду? Вы задели грозного мужа, которого все страшатся, и сами, по доброй воле, навлекли на себя беду, — так чего же вы хотите? Неужели я должен повелеть ему не защищаться, когда вам вздумается учинить на него набег?

— Не орден, а гости, иноземные рыцари, учинили на него набег, — возразил Гуго.

— Орден отвечает за своих гостей, к тому же с ними были кнехты из любавской стражи.

— Что же было делать комтуру — выдать Юранду гостей на погибель?

— Нет, вы только посмотрите, — воскликнул при этих словах князь, обращаясь к Зигфриду, — во что обращается в ваших устах справедливость, и подумайте, не оскорбляют ли ваши уловки Бога?

Но суровый Зигфрид возразил ему:

— Господин де Бергов должен быть отпущен на волю, ибо мужи из его рода были в ордене военачальниками и оказали ему большие услуги.

— А смерть Майнегера должна быть отомщена, — прибавил Гуго фон Данфельд.

Князь при этих словах откинул за уши пряди волос и, поднявшись со скамьи, с грозным видом шагнул к крестоносцам; однако через минуту он совладал с собою, вспомнив, видно, что они его гости, и, положив руку на плечо Зигфриду, сказал:

— Послушайте, комтур, вы носите крест на плаще, так скажите же мне по совести, на этом кресте поклянитесь, — прав или не прав был Юранд?

— Господин де Бергов должен быть отпущен на волю, — повторил Зигфрид де Лёве.

На минуту воцарилось молчание, затем князь воскликнул:

— Господи, дух терпения даруй мне!

А Зигфрид продолжал голосом, подобным лязгу меча:

— Оскорбление, которое нанесли нам в лице наших гостей, лишь новый повод для жалоб. С тех пор как существует орден, ни в Палестине, ни в Семиградье, ни в Литве, доньше языческой, ни один человек не причинил нам столько зла, как этот разбойник из Спыхова. Вельможный князь! Мы взываем к справедливости и требуем кары не за одну, а за тысячи обид, не за одну, а за сотни битв, не за кровь, пролитую однажды, а за годы таких злодейств, за которые огонь небесный должен был бы обратить в пепел это безбожное гнездо злобы и жестокосердия. Чьи стоны взывают так к Богу о мести? Наши! Чьи слезы там льются? Наши! Тщетны были наши жалобы, тщетны требования суда. Никогда вы не давали нам удовлетворения!

Князь Януш при этих словах покачал головой и сказал:

— Эх! В старое время крестоносцы не раз бывали гостями Спыхова, и не был Юранд вашим врагом, покуда возлюбленная его жена не скончалась у вас на веревке. А сколько раз вы, как и ныне, сами учиняли набеги на Юранда, желая уничтожить его за то, что он вызывал ваших рыцарей на бой и побеждал их? Сколько раз подсылали вы к нему убийц или в лесу стреляли в него из самострелов? Это правда, он нападал на вас, но ведь он жаждал мести; а разве вы и рыцари, которые живут в ваших владениях, не нападали на мирных людей Мазовии, не угоняли стад, не жгли селений, не убивали мужей, женщин и детей? А когда я жаловался магистру, он отвечал мне из Мальборка: «Обыкновенные стычки на границе!» Оставьте меня! Не подобает вам жаловаться, ибо даже меня вы схватили, безоружного, в мирное время, на моей собственной земле, и если бы не страх перед гневом краковского короля, то, может, я и доселе стонал бы в вашем подземелье. Так отплатили вы мне, хотя я принадлежу к роду ваших благодетелей.

Оставьте меня, ибо не вам взывать ко мне о справедливости!

Крестоносцы при этих словах переглянулись с досадой — им было стыдно и неприятно, что князь при господине де Фурси вспоминает о событии, случившемся под Злоторыей; желая положить конец этому разговору, Гуго фон Данфельд сказал:

— С вами, вельможный князь, произошла ошибка, которую мы исправили не из страха перед краковским королем, но во имя справедливости; что ж до пограничных стычек, то за них наш магистр не может нести ответственность, ибо сколько ни есть королевств на свете, везде смутьяны своевольничают на границе.

— Ты вот сам говоришь об этом, а Юранда требуешь предать суду. Чего же вы хотите?

— Справедливости и возмездия.

Князь сжал свои костистые кулаки и повторил:

— Господи, дух терпения даруй мне!

— Вельможный князь, вы и про то вспомните, — продолжал Данфельд, — что наши своевольники творят обиды только мирянам, к тому же не принадлежащим к германскому племени, ваши же поднимают руку на немецкий орден и тем самым поносят Спасителя. А каких мук и какой кары стоит тот, кто поносит Крест Господень?

— Послушай! — сказал князь — Не воюй ты именем Бога, его ведь не обманешь!

И, взяв крестоносца за плечи, он с такой силой потряс его, что тот смешался и заговорил уже более мягким голосом:

— Коли правда, что наши гости первыми напали на Юранда и не отослали кнехтов, я не похвалю их за это; но правда ли, что Юранд принял вызов?

Тут Данфельд неприметно подмигнул господину де Фурси, как бы давая понять, что тот должен отрицать это; но де Фурси либо не мог, либо не пожелал это сделать и сказал:

— Он хотел, чтобы мы отослали кнехтов и сразились с ним и двумя его товарищами.

— Вы в этом уверены?

— Клянусь честью! Я и де Бергов согласились, а Майнегер не дал своего согласия.

Но тут князь прервал де Фурси:

— Комтур из Щитно! Вы лучше других знаете, что Юранд не отказывался от вызова.

Затем, обратившись ко всем, он сказал:

— Коли кто из вас хочет драться с Юрандом конный или пеший, я даю ему свое позволение. Убьет он Юранда либо в плен возьмет, тогда мы господина Бергова отпустим на волю без выкупа. Большого от меня не ждите, ничего у вас не выйдет.

После этих слов воцарилось молчание. Как ни отважны были и Гуго фон Данфельд, и Зигфрид де Лёве, и брат Ротгер, и брат Готфрид, однако они слишком хорошо знали грозного хозяина Спыхова, чтобы отважиться драться с ним не на жизнь, а на смерть. Это мог сделать разве только чужеземец, прибывший из дальних стран, например, де Лорш или де Фурси, но де Лорш не присутствовал при этой беседе, а господин де Фурси весь еще был во власти страха.

— Один раз только я его видел, — пробормотал он, — и больше не хочу.

— Монахам возбраняется принимать участие в поединках, — сказал тогда Зигфрид де Лёве, — разве только по особому позволению магистра и великого маршала; но мы не просим позволения драться, нет, мы требуем, чтобы вы отпустили де Бергова на свободу, а Юранда обезглавили.

— Не вы устанавливаете законы в этой стране.

— До сих пор мы терпели тяжелых соседей. Но магистр сумеет воздать им по заслугам.

— Что до Мазовии, так руки коротки и у вас, и у вашего магистра.

— Магистра немцы поддерживают и император римский.

— А меня поддерживает король польский, которому подвластно больше земель и народов.

— Разве вы, вельможный князь, хотите войны с орденом?

— Если бы я хотел войны, то не ждал бы вас в Мазовии, а пошел бы на вас войной; но и ты мне не грози, я не боюсь.

— Что же мне доложить магистру?

— Ваш магистр ни о чем не спрашивал. Говори ему что хочешь.

— Тогда мы сами отомстим преступнику и покараем его.

Вытянув руку, князь погрозил крестоносцу пальцем под самым его носом.

— Берегись! — сказал он сдавленным от гнева голосом. — Берегись! Я позволил тебе вызвать Юранда на поединок, но коли ты с войском ордена вторгнешься в мою страну, тогда я на тебя ударю — и не гостем, а узником ты у меня будешь.

Видно, терпение князя лопнуло, он бросил шапку на стол и, хлопнув дверью, вышел из комнаты.

Крестоносцы побледнели от ярости, а господин де Фурси смотрел на

них как безумный.

— Что же будет? — первым спросил брат Ротгер.

А Гуго фон Данфельд чуть не с кулаками кинулся на господина де Фурси:

— Зачем ты сказал, что вы первые напали на Юранда?

— Это ведь правда.

— Надо было солгать.

— Я приехал сюда не лгать, а драться.

— Нечего сказать, здорово ты дрался!

— А ты от Юранда не бежал до самого Щитно?

— Рах! — сказал де Лёве. — Этот рыцарь — гость ордена.

— Да и все равно, что он сказал, — вмешался брат Готфрид. — Без суда Юранда не покарали бы, а на суде все бы вышло наружу.

— Что же будет? — повторил брат Родгер.

На минуту воцарилось молчание, после чего заговорил суровый и непреклонный Зигфрид де Лёве.

— Надо раз навсегда покончить с этой кровавой собакой! — сказал он. — Де Бергов должен быть отпущен на волю. Мы стянем кнехтов из Щитно, из Янсборка, из Любавы, возьмем хелминскую шляхту и ударим на Юранда... Пора кончать с ним!

Но коварный Данфельд, который умел взвесить все доводы, прежде чем сделать решительный шаг, закинул руки за голову, нахмурил брови и после раздумья сказал:

— Без позволения магистра нельзя.

— Если все удастся, магистр нас одобрит! — сказал брат Готфрид.

— А если не удастся? Если князь двинет копейщиков и ударит на нас?

— Между ним и орденом мир: не ударит!

— Эва! Мир-то мир, но мы его первые нарушим. наших кнехтов не хватит против мазуров.

— Магистр вступится за нас, и будет война.

Данфельд снова нахмурил брови и задумался.

— Нет, нет! — сказал он через минуту. — Если все удастся, магистр в душе будет рад... Он отправит к князю послов, начнутся переговоры, и все сойдет нам с рук. Но в случае поражения орден не вступится за нас и не объявит войны князю... Другой для этого нужен магистр... Князя поддерживает польский король, а с ним магистр не станет ссориться.

— Ведь захватили мы землю добжинскую, значит, не страшен нам Краков.

— Тогда у нас был предлог... Опольский князь... Мы взяли ее как

залог, да и то...

Он огляделся кругом и, понизив голос, прибавил:

— Слыхал я в Мальборке, что коли пригрозят нам войной, так мы отдадим ее назад, только бы нам залог вернули...

— Ах, — воскликнул брат Ротгер, — будь с нами Маркварт Зальцбах или Шомберг, которые передушили щенят Витовта, они бы сумели справиться с Юрандом! Кто такой Витовт? Наместник Ягайла, великий князь, а Шомбергу все сошло с рук... Передушил детей Витовта — и ничего! Что и говорить, мало среди нас людей, которые справились бы с любым делом...

При этих словах Гуго фон Данфельд оперся локтями на стол, опустил голову на руки и надолго погрузился в размышления. Вдруг глаза у него заблестели, он по привычке утер тыльной стороной ладони влажные толстые губы и сказал:

— Да будет благословенна та минута, когда вы, благочестивый брат, помянули имя храброго брата Шомберга.

— А в чем дело? Вы что-нибудь придумали? — спросил Зигфрид де Леве.

— Говорите скорей! — воскликнули братья Ротгер и Готфрид.

— Послушайте! — сказал Гуго, — У Юранда есть здесь дочка, единственная, которую он крепко любит и бережет как зеницу ока.

— Да, мы ее знаем. Ее любит и княгиня Анна Данута.

— Да. Так вот, слушайте, если бы мы похитили эту девушку, так Юранд отдал бы за нее не только Бергова, но и всех своих узников, самого себя и Спыхов в придачу!

— Клянусь кровью святого Бонифация^[73], пролитой в Докуме, — воскликнул брат Готфрид, — все было бы так, как вы говорите!

Все умолкли, словно устранившись трудности и смелости этого предприятия. Только через минуту брат Ротгер обратился к Зигфриду де Лёве.

— Вы так же умны и опытни, — произнес он, — как и отважны; что скажете вы на это?

— Скажу, что над этим стоит подумать.

— Так-то оно так, — продолжал Ротгер, — но дочка Юранда — приближенная княгини, более того, она княгине как родная дочь. Подумайте только, благочестивые братья, какой тут поднимется шум.

Гуго фон Данфельд засмеялся.

— Вы сами говорили, — сказал он, — что Шомберг то ли отравил, то ли задушил щенят Витовта — и что ему было за это? Шум они поднимают

по любому поводу; но если мы пошлем к магистру Юранда в цепях, то не наказание нас ждет, а скорее награда.

— Да, — проговорил де Лёве, — и случай удобный подвертывается. Князь уезжает, Анна Данута останется здесь с одними придворными дамами. Но напасть на княжеский дом в мирное время — это дело нешуточное. Княжеский дом — не Спыхов. Будет так, как тогда с Злоторыей! Снова пойдут жалобы ко всем королям и к папе римскому на беззакония ордена; снова станет грозиться проклятый Ягайло, а магистр — вы его знаете: он охотно захватывает то, что легко захватить, но войны с Ягайлом не хочет... Да! Шум поднимется во всей Мазовии и Польше.

— А тем временем кости Юранда побелеют на виселице, — возразил брат Гуго. — Да и кто вам сказал, что ее надо похитить здесь, из-под носа у княгини?

— Ну, не в Цеханове же ее похищать, где, кроме шляхты, три сотни лучников.

— Нет. А разве Юранд не может захворать и прислать за дочкой слуг? Княгиня тоже позволит ей уехать, а если девушка пропадет по дороге, кто сможет сказать вам или мне: «Ты ее похитил»?

— Да! — нетерпеливо сказал де Лёве. — Но вы попробуйте устроить так, чтобы Юранд захворал и вызвал дочку...

С торжествующей улыбкой Гуго ответил:

— Естью меня золотых дел мастер, который поселился в Щитно после того, как его за воровство изгнали из Мальборка: он может вырезать любую печать; есть у меня и люди родом из мазуров, но наши подданные... Неужели вы всё еще меня не понимаете?..

— Понимаю! — с жаром воскликнул брат Готфрид.

А Ротгер воздел руки и сказал:

— Да поможет тебе Бог, благочестивый брат, ибо ни Маркварт Зальцбах, ни Шомберг не придумали бы лучшего средства.

Он прищурил глаза, словно ему смутно виделось что-то вдали.

— Я вижу Юранда, — сказал он, — он стоит в Мальборке у гданьских ворот с веревкой на шее, и наши кнехты пинают его ногами.

— А девка станет послушницей ордена, — прибавил Гуго.

При этих словах де Лёве устремил на Данфельда взгляд, а тот шлепнул себя еще раз по губам тыльной стороной ладони и сказал:

— А теперь скорее в Щитно.

Однако перед отъездом в Щитно четыре брата и де Фурси пришли проститься с князем и княгиней. Не очень ласково простился с ними князь, и все же, не желая нарушать старый польский обычай и отпускать гостей из дому с пустыми руками, он подарил каждому из братьев куний мех и гривну серебра. С радостью приняв дары, крестоносцы заверили князя, что денег они себе не возьмут, ибо как монахи дали обет нищеты, а раздадут их бедным и попросят помолиться о здравии, славе и спасении души князя. Слушая эти заверения, мазуры улыбались в усы: уж им-то прекрасно была известна жадность крестоносцев, а еще больше их лживость. В Мазовии говаривали: «Хорек смердит, а крестоносец брешет». Князь тоже только рукой махнул, слушая эти благодарственные речи, а после ухода крестоносцев сказал, что их молитвами на небо не поедешь, а разве только раком поползешь.

Когда Зигфрид де Лёве, прощаясь с княгиней, целовал ей руку, Гуго фон Данфельд подошел к Данусе, погладил ее по головке и сказал:

— Христос велел нам платить добром за зло и любить врагов наших, посему я пришлю сюда монахиню с герцинским целительным бальзамом.

— Как же мне благодарить вас за это? — спросила Дануся.

— Будьте другом ордена крестоносцев.

Внимание де Фурси привлек этот разговор, поразила рыцаря и красота девушки, и, когда они уже двинулись в Щитно, он спросил:

— Что это за красавица, с которой вы разговаривали перед отъездом?

— Дочка Юранда! — ответил крестоносец.

Господин де Фурси удивился:

— Та самая, которую вы собираетесь похитить?

— Да. Когда мы ее похитим, Юранд будет у нас в руках.

— Не одно только зло исходит от Юранда. Неплохо быть стражем такой невольницы.

— Вы думаете, что воевать с нею было бы легче, чем с Юрандом?

— Выходит, я то же думаю, что и вы. Отец — враг ордена, а дочке вы говорили медовые речи, да еще бальзам пообещали.

Гуго фон Данфельд почувствовал, видно, что надо сказать несколько слов в свое оправдание.

— Я пообещал ей бальзам, — сказал он, — для того молодого рыцаря, которого изувечил тур и с которым она, как вы знаете, обручена. Если

после ее похищения поднимется шум, мы скажем, что не только не хотели обидеть ее, но, по христианскому милосердию, даже лекарства ей посылали.

— Все это хорошо, — сказал де Лёве, — только нужно послать надежного человека.

— Я пошлю одну набожную женщину, которая всей душой предана ордену. Прикажу ей подсматривать и подслушивать. Когда наши люди придут, якобы от Юранда, они найдут в доме союзника.

— Трудно будет подобрать таких людей.

— Нет. Народ у нас говорит на том же языке. В городе, да и в охране среди кнехтов есть люди, которые бежали из Мазовии, скрываясь от преследования закона; правда, это разбойники и воры, но они не знают страха и готовы на все. Удастся дело, я посулю им большую награду, не удастся — пеньковый воротник на шею.

— А вдруг они изменят?

— Не изменят. В Мазовии их уже давно присудили к колесованию, и над каждым висит приговор. Нужно только дать им приличное платье, чтобы их приняли за подлинных слуг Юранда, и, самое главное, письмо с его печатью.

— Все надо предусмотреть, — сказал брат Ротгер. — Может, Юранд после этого последнего боя захочет повидать князя, чтобы пожаловаться на нас, а самому оправдаться перед ним. Будучи в Цеханове, он заедет к дочке в охотничий дом. Может статься тогда, что наши люди придут за дочкой, а наткнутся на отца.

— Я подберу самых отпетых и дошлых головорезов. Они будут знать, что, наткнись они только на Юранда, быть им на виселице. Это их забота не встретиться с ним.

— Но может статься, что их схватят.

— Тогда мы откажемся и от них, и от письма. Кто может доказать, что это мы их подослали? Да коли они не похитят девку, так и шума не будет, а что мазуры четвертуют нескольких висельников, так от этого ордену вреда не будет.

Но брат Готфрид, самый младший из всех их, сказал:

— Не понимаю я ни вашей политики, ни ваших опасений, как бы кто не дознался, что девку похитили по нашему приказу. Ведь попадется она нам в руки, и должны же мы будем послать кого-нибудь к Юранду, чтобы сказать ему: «Твоя дочь у нас, хочешь, чтобы мы отпустили ее, отпусти Бергова и сам отдайся нам...» Как же иначе?.. Ну а тогда все равно станет известно, что это мы велели похитить девушку.

— Это верно! — сказал господин де Фурси, которому все это не очень было по душе. — К чему таиться с тем, что все равно выйдет наружу?

Гуго фон Данфельд рассмеялся и спросил брата Готфрида:

— Давно вы носите белый плащ?

— Шесть лет минет в первое воскресенье после Святой Троицы.

— Как пронесите еще шесть лет, станете лучше разбираться в делах ордена. Юранд знает нас лучше, чем вы. Вот что мы ему скажем: «Дочь твою стережет брат Шомберг, попробуешь пикнуть, так вспомни раньше о детях Витовта...»

— Ну а потом?

— Потом де Бергов выйдет на волю, а орден избавится от Юранда.

— Нет! — воскликнул брат Ротгер. — Все так хорошо обдуманно, что Бог должен благословить наше предприятие.

— Бог благословляет все деяния на благо ордена, — мрачно сказал Зигфрид де Лёве.

И они в молчании продолжали свой путь; а впереди, на расстоянии двух-трех выстрелов из самострела от них, слуги прокладывали дорогу, замеченную за ночь обильно выпавшим снегом. Деревья стояли покрытые пушистым инеем, день был хмурый, но теплый, так что от коней поднимался пар. Из лесов к человеческому жилью летели вороны стаи, наполняя воздух зловещим карканьем.

Господин де Фурси немного отстал от крестоносцев и ехал в глубокой задумчивости. Уже несколько лет он был гостем ордена, участвовал в походах на Жмудь, где проявил большое мужество, был принят везде так, как только крестоносцы умели принимать рыцарей из дальних стран, привязался к ним и, не будучи человеком богатым, решил вступить в их ряды. А пока проводил время в Мальборке или в поисках развлечений и приключений разъезжал по знакомым командориям. Когда он приехал в Любаву с богатым рыцарем де Берговым и услышал о Юранде, то загорелся желанием помериться силой с мужем, пред которым все кругом трепетало. Приезд Майнегера, который из всех поединков выходил победителем, ускорил набег. Любавский комтур дал людей; при этом он столько наговорил троим рыцарям не только о жестокости, но и о коварстве и вероломстве Юранда, что, когда тот потребовал, чтобы они отослали кнехтов, рыцари не согласились, опасаясь, что он окружит их и перебьет или ввергнет в спыховское подземелье. Юранд же, полагая, что рыцари не только хотят сразиться с ним, но и замышляют грабеж, напал на них первый и нанес им жестокое поражение. Де Фурси видел Бергова, поверженного вместе с конем, видел Майнегера с обломком копья в животе,

видел кнехтов, тщетно моливших о пощаде. Ему самому с трудом удалось прорваться, и несколько дней он блуждал по лесам и дорогам и, наверно, погиб бы от голода или стал добычей диких зверей, если бы случайно не пробился в Цеханов, где застал братьев Готфрида и Ротгера. Он вышел из этой переделки униженный, полный стыда и ненависти, он жаждал мести и горько сожалел об участи Бергова, который был его близким другом. Поэтому он горячо поддержал жалобу рыцарей ордена, которые требовали наказания виновника и освобождения несчастного товарища, и, когда эта жалоба осталась без последствий, в первую минуту готов был согласиться на любое средство, лишь бы отомстить Юранду. Но сейчас его взяло вдруг сомнение. Прислушиваясь к разговорам монахов, особенно к речам Гуго фон Данфельда, де Фурси просто диву давался. За несколько лет он поближе узнал крестоносцев и видел уже, что в действительности они совсем не такие, какими считают их в Германии и на Западе. В Мальборке он познакомился с некоторыми безупречными, суровыми рыцарями, которые сами часто жаловались на испорченность своих собратьев, на их распущенность и своеволие. Де Фурси понимал, что они правы; но сам он тоже был человеком распущенным и своевольным и поэтому не считал эти недостатки слишком большим злом, тем более что крестоносцы искупали их своим мужеством. Он видел, как под Вильно они сшибались с польскими рыцарями при штурме замков, которые польские подкрепления обороняли с нечеловеческой стойкостью; он видел, как погибали они под ударами секир и мечей в битвах и единоборстве. Они были неумолимы и жестоки с литвинами, но вместе с тем дрались, как львы, и были окружены ореолом славы. Но сейчас господину де Фурси казалось, что Гуго фон Данфельд говорит такие речи и предлагает такие средства, от которых содрогнулся бы каждый рыцарь, а меж тем другие братья не только не негодуют, но соглашаются с каждым его словом. Он был вне себя от удивления и в конце концов серьезно призадумался над тем, хорошо ли ему принимать участие в подобных делах.

Если бы речь шла только о похищении девушки и об обмене ее на Бергова, он, может, и согласился бы на это, хотя его тронула и пленила красота Дануси. Он не прочь был бы и постеречь ее в случае надобности и даже не был уверен, что она вышла бы нетронутой из его рук. Но крестоносцам, видно, не то было нужно. Они за нее хотели добыть не только Бергова, но и самого Юранда — посулить ему, что выпустят ее, если он им отдастся, а потом убить его и заодно, для сокрытия обмана и преступления, прикончить, наверно, и девушку. Грозились же они напомнить Юранду о судьбе детей Витовта, если он посмеет жаловаться на

них. «Они лгут во всем, обоих хотят обмануть и умертвить, — сказал про себя де Фурси, — а ведь они носят крест и должны больше прочих блюсти свою честь». Все в нем кипело от негодования, тем не менее он решил проверить сперва, насколько основательны его подозрения; подъехав к Данфельду, он спросил:

— А если Юранд отдастся вам, вы отпустите девушку на волю?

— Если бы мы отпустили ее, весь мир узнал бы, что это мы схватили их обоих, — ответил Данфельд.

— Да, но что же вы с нею сделаете?

Данфельд склонился к своему собеседнику и, растянув в улыбке толстый рот так, что обнажились гнилые зубы, спросил:

— О чем вы спрашиваете? О том, что мы *сначала* сделаем с нею или *потом*?

Но де Фурси узнал уже все, что хотел узнать, и умолк; с минуту он еще как будто колебался, но затем привстал в стременах и сказал так громко, чтобы слышали все четыре монаха:

— Благочестивый брат Ульрих фон Юнгинген, этот образец и украшение рыцарства, сказал мне однажды: «Среди стариков ты найдешь еще в Мальборке рыцарей, достойных носить крест, но те, что сидят в пограничных командориях, только позорят орден».

— Все мы грешники, но служим Владыке небесному, — ответил Гуго.

— Где ваша рыцарская честь? Не позорными делами служат Владыке небесному, да и не ему вы служите. Кто он, ваш владыка? Знайте же, что я не только не приложу рук к этому делу, но и вам не позволю!..

— Чего это вы не позволите?

— Обмана, предательства и бесчестия.

— Как можете вы запретить нам? В бою с Юрандом вы потеряли своих слуг и все снаряжение. Жить вы можете только у нас из милости и умрете с голоду, если орден не даст вам куска хлеба. К тому же вы один, а нас четверо, как же можете вы не позволить нам?

— Как я могу не позволить? — повторил де Фурси. — Могу вернуться назад и предостеречь князя, могу всему свету открыть ваши намерения.

Крестоносцы переглянулись и мгновенно изменились в лице. Гуго фон Данфельд посмотрел в глаза Зигфриду де Лёве долгим вопросительным взглядом, затем обратился к господину де Фурси.

— Ваши предки, — сказал он, — служили ордену, вы тоже хотите вступить в орден; но мы предателей не принимаем.

— Я сам не хочу служить с предателями.

— Берегитесь! Вам не удастся исполнить вашу угрозу. Знайте, что

орден умеет карать не только монахов...

Возмущенный де Фурси выхватил меч, левой рукой взял его за клинок, правую положил на рукоять и сказал:

— Клянусь этой рукоятью, имеющей форму креста, головой святого Дионисия, моего покровителя, и моей рыцарской честью, что предупрежу мазовецкого князя и магистра.

Гуго фон Данфельд снова устремил вопросительный взгляд на Зигфрида де Лёве; тот опустил глаза, словно давая понять, что согласен.

Тогда Данфельд странно глухим, изменившимся голосом произнес:

— Святой Дионисий мог нести под мышкой свою отрубленную голову, но если у вас слетит голова с плеч...

— Вы угрожаете мне? — прервал его де Фурси.

— Нет, убиваю вас! — ответил Данфельд.

И с такой силой ткнул его ножом в бок, что клинок вошел в тело по самую рукоять. Де Фурси вскрикнул страшным голосом, с минуту силился правой рукой схватиться за меч, который держал в левой руке, но уронил его на землю; в то же мгновение остальные монахи стали безжалостно колоть его ножами в шею, в спину, в живот, пока он не свалился с коня.

Наступила тишина. Кровь хлестала у де Фурси из ран; корчась, он хватался за снег пальцами, сведенными судорогой. Под свинцовым небом только воронье каркало, пролетая из глухих лесов к человеческому жилью.

Убийцы торопливо заговорили.

— Никто ничего не видел? — произнес, задыхаясь, Данфельд.

— Никто. Слуги впереди; их не видно, — сказал де Лёве.

— Слушайте, у нас будет теперь повод для новой жалобы. Мы распространим слух, будто мазовецкие рыцари напали на нас и убили нашего товарища, будто князь даже к гостям подсылает убийц. Шум поднимем такой, чтобы все дошло до Мальборка. Слушайте! Надо говорить, что Януш не только не хотел выслушать наши жалобы на Юранда, но велел убить самого жалобщика.

А де Фурси в это время перевернулся в последней судороге и лежал неподвижно навзничь с кровавой пеной у рта и с выражением ужаса в широко раскрытых мертвых глазах. Брат Ротгер бросил на него взгляд и сказал:

— Взгляните, благочестивые братья, как Владыка небесный карает за самую мысль о предательстве.

— Мы свершили сие для блага ордена, — произнес Готфрид. — Слава тем...

Однако он оборвал свою речь, так как в это самое мгновение позади

крестоносцев на повороте занесенной снегом дороги показался всадник, который во весь опор мчался прямо к ним. Увидев его, Гуго фон Данфельд торопливо воскликнул:

— Кто бы ни был этот человек, он должен погибнуть.

А де Лёве, у которого было самое острое зрение, хотя он был старше их всех, сказал:

— Я узнаю его: это оруженосец, который убил секирой тура. Так и есть, это он!

— Спрячьте ножи, чтобы он не испугался, — сказал Данфельд. — Я опять ударю первым, а вы за мной.

Тем временем чех подскакал к ним и в нескольких шагах осадил коня так, что тот врылся копытами в снег. Он заметил труп в луже крови, коня без всадника, и на один короткий миг удивление изобразилось на его лице. Однако он тут же обратился к братьям так, как будто ничего и не видел, и сказал:

— Челом вам, храбрые рыцари!

— Мы узнали тебя, — медленно приближаясь к нему, произнес Данфельд. — У тебя к нам какое-нибудь дело?

— Меня послал рыцарь Збышко из Богданца, за которым я ношу копье; тур его изувечил, и он сам не мог прибыть к вам.

— Чего хочет от нас твой господин?

— Господин мой велел сказать вам, что вы несправедливо жаловались на Юранда из Спыхова и, задев этим его рыцарскую честь, не как истинные рыцари поступили, но как псы брехали; а буде кто из вас прогневается за эти слова, того он вызывает на бой, пешего или конного, до последнего издыхания, и примет бой там, где вы назначите, как только по милости Божией ему станет легче.

— Скажи своему господину, что рыцари ордена во имя Спасителя смиренно переносят обиды, но драться не могут без особого на то позволения магистра или великого маршала; однако мы напишем в Мальборк с просьбой дать нам на то позволение.

Чех снова бросил взгляд на труп господина де Фурси, к которому главным образом он и был послан. Збышко знал уже, что монахи не принимают вызовы на поединок; услышав, однако, что с крестоносцами приехал светский рыцарь, он хотел вызвать его на бой, желая привлечь к себе сердце Юранда. А меж тем рыцарь этот лежал, зарезанный, как вол, между четырьмя крестоносцами.

Чех не мог понять, что произошло; однако с малых лет он привык смотреть в глаза опасности, поэтому и сейчас учуял что-то подозрительное.

Удивило его и то, что Данфельд во время разговора все приближался к нему, а другие монахи стали отъезжать в стороны, точно пытаясь незаметно его окружить. Это заставило чеха насторожиться, тем более что второпях он не захватил с собой оружия.

А меж тем Данфельд уже вплотную подъехал к нему.

— Я обещал твоему господину целительный бальзам, — продолжал он, — плохо же он платит мне за добро. Для поляков это дело привычное... но он тяжело изувечен и скоро может предстать перед Богом, поэтому скажи ему...

Тут он положил левую руку на плечо чеха.

— Скажи ему, что я так отвечаю...

И в то же мгновение нож блеснул у самого горла оруженосца. Однако Данфельд не успел вонзить его в горло; чех, который давно уже следил за его движениями, схватил его правую руку железными своими руками, выгнул и вывернул так, что хрустнули суставы и кости, и, услышав, как монах дико взревел от боли, вздыбил коня и, прежде чем кто-нибудь успел преградить ему путь, понесся стрелою назад.

Братья Ротгер и Готфрид погнались было за ним, но вскоре вернулись, потрясенные дикими воплями Данфельда. Де Лёве поддерживал его за плечи, а он, бледный, посинелый, кричал так, что слуги, ехавшие с возками далеко впереди, придержали коней.

— Что с вами? — спрашивали братья.

Но де Лёве приказал им скакать за возком, так как Данфельд совсем не мог держаться в седле. Через минуту холодный пот выступил у него на лбу, и он лишился чувств.

Когда подъехал возок, Данфельда уложили на солому, и все тронулись к границе. Де Лёве торопил, понимая, что после всего происшедшего нельзя терять времени даже на то, чтобы перевязать Данфельда. Сидя около товарища на возке, он время от времени растирал ему снегом лицо, но не мог привести его в чувство.

Только неподалеку от границы Данфельд открыл глаза и стал с удивлением озиаться.

— Как вы себя чувствуете? — спросил де Лёве.

— Я не слышу боли, но и руки не чувствую, — ответил Данфельд.

— Она у вас онемела, потому и перестала болеть. В тепле опять заболит. А пока благодарите Бога за минутное облегчение.

Ротгер и Готфрид тотчас подъехали к возку.

— Беда, — сказал первый. — Что теперь будет?

— Мы скажем, — ответил слабым голосом Данфельд, — что

оруженосец убил де Фурси.

— Новое преступление, и виновник известен! — прибавил Ротгер.

Тем временем чех поскакал во весь опор прямо к охотничьему дому; он застал еще князя и ему первому рассказал обо всем происшедшем. По счастью, нашлись придворные, которые видели, что чех уехал без оружия. Один из них даже крикнул ему полушутя вдогонку, чтобы он прихватил какое-нибудь оружие, не то немцы его поколотят; опасаясь, однако, что рыцари успеют пересечь границу, прежде чем он догонит их, чех вскочил на коня и в одном кожухе помчался следом за ними. Это свидетельство очевидцев рассеяло всякие сомнения князя относительно того, кто мог убить де Фурси; все же он так встревожился и разгневался, что в первую минуту хотел снарядить погоню за крестоносцами, чтобы отослать их в цепях к великому магистру и потребовать наказания преступников. Впрочем, через минуту он понял, что погоня не смогла бы настичь их даже на самой границе.

— Я все-таки пошлю магистру письмо, — сказал князь, — пусть знает, что они тут выкидывают. Плохие дела творятся в ордене — в старину из послушания не выходили, а теперь всякий комтур самочинствует. Попущение Божие, но за попусцием следует кара.

Он задумался, а через минуту опять заговорил, обращаясь к своим придворным:

— Никак только не возьму я в толк, за что они своего гостя убили. Будь чех при оружии, я бы подумал, что это он сделал.

— Ну зачем было чеху, — заметил ксендз Вышонец, — убивать рыцаря, который его никогда не видал в глаза? Да будь он даже при оружии, как бы мог он один напасть на пятерых рыцарей с вооруженными слугами?

— Это верно, — сказал князь. — Должно быть, гость поспорил с ними или лгать не хотел, как они требовали. Я и тут заметил, как они ему подмигивали, чтобы он сказал, будто Юранд первый напал на них.

— Молодец парень, — вмешался Мрокота из Моцажева, — коли руку изломал этому псу Данфельду.

— Говорит, что слышал, как хрустнули кости у немца, — сказал князь. — Очень может быть, что так оно и было, — вон каким храбрецом он себя показал в бору. Видно, и слуга и господин — оба хлопцы удалые. Не будь Збышка, тур бросился бы на коней. Он и лотарингский рыцарь все сделали, чтобы спасти княгиню...

— Это верно, что Збышко хлопец удалой, — поддержал ксендз

Вышонек. — Вот и теперь, на ладан дышит, а вступился за Юранда и послал крестоносцам вызов... Только такого зятя и надо Юранду.

— Что-то Юранд в Кракове не то пел; ну а теперь, думаю, не станет противиться, — сказал князь.

— С Божьей помощью все образуется, — промолвила княгиня, которая вошла в эту минуту и слышала конец разговора. — Теперь Юранд не может противиться, дал бы только Бог здоровья Збышку. Но и мы со своей стороны должны вознаградить хлопца.

— Лучшей наградой для него будет Дануська, и я так думаю, что она ему достанется, потому если бабы захотят и упрутся на своем, так тут и Юранду с ними не справиться.

— А разве не по справедливости я уперлась? — спросила княгиня. — Будь Збышко пустой малый, тогда другое дело, а то верней его, пожалуй, на всем свете не сыщешь. Да и Дануся тоже. Ни на шаг от него не отходит, по лицу его гладит, а он терпит муки, а ей улыбается. Да у меня у самой, на них глядя, слезы иной раз так и польются. Верно говорю!.. Такой любви стоит помочь; Матерь Божия — Она ведь тоже с радостью взирает на людское счастье.

— Коли на то воля Божья, — заметил князь, — так будет и счастье. Да и то сказать, ведь из-за нее у хлопца чуть голова не скатилась с плеч, а теперь вот тур его помял.

— Ты не говори, что «из-за нее»! — с живостью воскликнула княгиня. — Ведь это она спасла хлопца в Кракове.

— Что правда, то правда. Но не будь ее, не напал бы он на Лихтенштейна, чтобы сорвать у него перья с головы, да и за де Лорша не стал бы голову подставлять. Что ж до награды, то я уже сказал, что оба они ее заслужили, и в Цеханове я об этом подумаю.

— Збышко больше всего обрадовался бы, когда б ему рыцарский пояс да золотые шпоры.

— Что ж, — добродушно улыбаясь, сказал князь, — пусть Дануся отнесет их ему, а когда хлопец поднимется на ноги, мы позаботимся, чтобы все было сделано, как обычай велит. Сейчас же пусть отнесет, потому что нет лучше лекарства, чем нежданная радость!

Княгиня при этих словах обняла мужа, не стесняясь придворных, и несколько раз поцеловала ему руку, а он, улыбаясь по-прежнему, сказал ей:

— Ну-ну... Хорошая мысль пришла тебе в голову! Вот и выходит, что Дух Святой и для баб крупницы разума не пожалел! Позови-ка Данусю!

— Дануська, Дануська! — крикнула княгиня.

Через минуту в дверях боковуши показалась Дануся с красными от

бессонницы глазами; в руках она держала горшок с дымящейся кашей — этой кашей, которую ей только что дала старушка придворная, ксендз Вышонек обкладывал Збышку поломанные кости.

— Подойди ко мне, сиротка! — сказал князь Януш. — Поставь горшок и подойди.

Когда девушка с робостью подошла к князю — она всегда его побаивалась, — он привлек ее ласково к себе и стал гладить по лицу, приговаривая:

— Что, дитяtko, беда пришла на твою головушку?

— Пришла! — ответила Дануся.

Печаль лежала у нее на сердце, и слезы в любую минуту готовы были политься из глаз, вот и заплакала она сразу, только тихонько, чтобы не прогневить князя, а он опять спросил у нее:

— Что же ты плачешь?

— Збышко болен, — ответила она, утирая кулачками слезы.

— Не бойся, ничего с ним не случится. Правда, отец Вышонек?

— Эх! На все воля Божья, но только не в гробу лежать, а скорее свадьбу пировать ему придется, — ответил добрый ксендз Вышонек.

А князь сказал:

— Погоди-ка! Я дам тебе лекарство, от которого ему станет легче, а может, он у тебя и вовсе выздоровеет.

— Крестоносцы прислали бальзам? — опустив кулачки, с живостью воскликнула Дануся.

— Тем бальзамом, который пришлют крестоносцы, ты лучше не возлюбленного рыцаря смажь, а собаку. Нет, я дам тебе другое лекарство.

Обернувшись к придворным, он крикнул:

— Живо, сбегайте кто-нибудь в кладовую, принесите сюда шпоры и пояс!

Когда через минуту ему принесли шпоры и пояс, князь сказал Данусе:

— Возьми отнеси Збышку и скажи ему, что с этого времени он опоясан. Умрет, так предстанет перед Богом как miles cinctus^[74], а выздоровеет, мы совершим обряд посвящения в Цеханове или в Варшаве.

Дануська при этих словах сперва упала к ногам князя, потом схватила одной рукой рыцарские знаки, другой — горшок и бросилась в горницу, где лежал Збышко. Княгине хотелось посмотреть, как дети будут радоваться, и она пошла за Дануськой.

Збышко был тяжело болен; однако, увидев Дануську, он обратился к ней свое побледневшее от болезни лицо и спросил:

— Воротился ли чех, моя ягодка?

— Что чех! — ответила девушка. — Я тебе получше новость принесла. Князь посвятил тебя в рыцари и вот что велел тебе передать.

С этими словами она положила около Збышка пояс и золотые шпоры. От радости и изумления у Збышка вспыхнули бледные щеки; он поглядел на Данусю, затем перевел взгляд на рыцарские знаки и, закрыв глаза, стал повторять:

— Как же это он посвятил меня в рыцари?

В эту минуту вошла княгиня, и Збышко тотчас догадался, что это ей он обязан таким счастьем; он приподнялся на руках и стал благодарить милостивейшую госпожу и просить у нее прощения за то, что не может упасть к ее ногам. Она велела ему лежать спокойно и сама помогла Данусе положить его голову на подушки. Тем временем пришел князь, а с ним ксендз Вышонец, Мрокота и несколько других придворных. Князь Януш издали сделал рукой знак, чтобы Збышко не двигался, затем присел около него и сказал следующее:

— Вот что скажу я тебе! Не надо удивляться, что награда ждет тех, кто совершает доблестные и славные подвиги, ибо если доблесть останется без награды, то и злодеяние останется без возмездия. Ты, не щадя жизни и здоровья, оградил нас от тяжкого бедствия, посему дозволяем мы тебе опоясаться рыцарским поясом и ходить отныне в чести и славе!

— Вельможный князь, — ответил Збышко, — я бы десяти жизней не пожалел...

От волнения он больше ничего не мог сказать, да и княгиня положила ему руку на уста, так как ксендз Вышонец не позволял ему говорить. А князь продолжал:

— Думаю, ты знаешь, что такое рыцарский долг, и достойно будешь носить эти знаки. Верой и правдой должен ты служить Спасителю Нашему и бороться с врагом рода человеческого. Земному помазаннику ты должен блюсти верность, избегать несправедливой войны и защищать угнетенную невинность, и да поможет тебе в этом Господь Бог и страсти Христовы!

— Аминь! — произнес ксендз Вышонец.

Князь поднялся, перекрестил Збышка и, уходя, сказал:

— Выздоровеешь, приезжай прямо в Цеханов, а я вызову туда и Юранда.

Спустя три дня от крестоносцев приехала женщина с герцинским бальзамом, а с нею из Щитно прибыл капитан лучников с письмом, подписанным братьями и скрепленным печатью Данфельда; в письме крестоносцы призывали небо и землю в свидетели обид, которые были нанесены им в Мазовии, и, грозя карой небесной, требовали наказания за убийство «любимого товарища и гостя». Данфельд приложил и жалобу от своего имени, в смиренных, но вместе с тем грозных словах требуя вознаграждения за тяжелое увечье и смертного приговора чеху. Князь на глазах капитана разорвал письмо, бросил клочки к его ногам и сказал:

— Магистр прислал сюда этих тевтонских псов, чтобы они снискали мою милость, а они только разгневали меня. Скажите им от моего имени, что они сами умертвили гостя, и оруженосца хотели умертвить, и что я напишу об этом магистру и присовокуплю, что ему надлежит прислать других послов, коли он желает, чтобы в случае войны с краковским королем я остался в стороне.

— Вельможный князь, — спросил капитан, — только ли этот ответ должен я отвезти могущественным и благочестивым братьям?

— Мало тебе этого, так скажи им еще, что не истинными рыцарями, но псами я их почитаю.

На этом кончилась аудиенция. Капитан уехал, князь в тот же день отбыл в Цеханов. Осталась только «сестра» с бальзамом. Недоверчивый ксендз Вышонец не хотел употреблять этот бальзам, тем более что больной прошедшей ночью спал хорошо и хотя, проснувшись утром, чувствовал слабость, но перестал уже гореть. После отъезда князя «сестра» тотчас послала одного из своих слуг будто бы за новым лекарством — «яйцами василиска», которые, как она уверяла, возвращают силы даже умирающим, а сама стала расхаживать по дому; смиренная, она не владела одной рукой и носила одежду светскую, но похожую на монашескую, — с четками и паломнической тыковкой у пояса. Она хорошо говорила по-польски и все выпрашивала слуг о Збышке и Данусе, которой при случае подарила иерихонскую розу. На другой день, когда Збышко спал, а девушка сидела в застольной, «сестра» пробралась к ней и сказала:

— Да благословит вас Бог, панночка. Нынче ночью после молитвы снилось мне, будто к вам сквозь метель пробивались два рыцаря; один дошел первым и окутал вас белым плащом, а другой сказал: «Я вижу

только снег, а ее нету», — и повернул назад.

Дануся, которой хотелось спать, тотчас раскрыла свои любопытные голубые глазки и спросила:

— Что это значит?

— Это значит, что вы тому достанетесь, кто вас крепче всех любит.

— Это Збышко! — воскликнула девушка.

— Не знаю, я лица не видала, видала только белый плащ, а потом сразу проснулась от ломоты в ногах. Всякую ночь посылает мне Христос ломоту в ногах, а рука, по его воле, совсем у меня отнялась.

— Что же вам бальзам не помог?

— Не поможет мне, панночка, бальзам, потому что покарал меня Господь за тяжкий грех, а коли хотите знать, за какой, так я вам расскажу.

Дануся утвердительно кивнула головой, и «сестра» повела свой рассказ:

— В ордене и послушницы есть, и женщины, которые не дают обета и даже могут быть замужними, однако братья могут положить на них послушание. Та, которая удостоится такой чести и такой благодати, получает от брата целомудренный поцелуй в знак того, что отныне она обязана служить ордену словом и делом. Ах, панночка, и меня ждала великая сия благодать, но в греховном своем ослеплении я, вместо того чтобы принять ее с благодарностью, совершила тяжкий грех и навлекла на себя кару Божию.

— Что же вы сделали?

— Брат Данфельд пришел ко мне и дал мне целомудренный поцелуй, а я сочла, что он чинит это по беззаконию своему, и подняла на него дерзновенную руку...

Она стала бить себя в грудь и несколько раз повторила:

— Боже, будь милостив ко мне, грешной!

— И что же случилось? — спросила Дануся.

— У меня тотчас отнялась рука, и с той поры я стала калекой. Молода была и глупа, — не знала! — и все-таки кара постигла меня. Даже когда женщине покажется, что монах хочет совершить с нею грех, она должна помнить, что он повинен только Божьему Суду, и не противиться, ибо кто противится ордену или крестоносцу, того постигнет гнев Божий...

Со страхом и омерзением слушала Дануся эти слова, а «сестра» продолжала вздыхать и изливать свои жалобы.

— Я и сейчас еще не старуха, — говорила она, — мне всего каких-нибудь тридцать лет; но Бог отнял у меня с рукой и молодость, и красоту.

— Если бы не рука, — возразила Дануся, — вам еще нечего было бы

жаловаться...

Воцарилось молчание. Вдруг «сестра», точно что-то припомнив, сказала:

— Снилось мне, будто вас какой-то рыцарь окутал белым плащом. Может, это крестоносец! Они ведь тоже носят белые плащи.

— Не хочу я ни крестоносцев, ни белых плащей, — отрезала девушка.

Дальнейший разговор был прерван ксендзом Вышонеком, который, войдя в застольную, кивнул Данусе и сказал:

— Воздай хвалу Богу, и пойдем к Збышку! Он проснулся и хочет есть. Ему стало гораздо легче.

Так оно на самом деле и было. Збышку стало лучше, и ксендз Вышонек был уже уверен, что юноша выздоровеет; но неожиданное событие расстроило все надежды и замыслы. К княгине прибыли посланцы с письмом от Юранда, в котором содержались самые страшные и самые худые вести. В Спыхове сгорела часть городка; когда тушили огонь, самого Юранда придавило горячей балкой. Правда, ксендз Калерб, который писал письмо от его имени, сообщал, что есть еще надежда на выздоровление, но искрами и горящими угольями Юранду почти совсем выжгло единственный оставшийся глаз, так что он уже плохо видит, и его неминуемо ждет слепота.

Юранд просил дочь спешно приехать в Спыхов, потому что он хочет увидеть ее, пока свет у него совсем не отнялся. Он писал также, что теперь она должна остаться при нем, ибо у каждого слепца, просящего подаяния, есть свой поводырь, который ведет его за руку и показывает ему дорогу, так почему же он должен быть лишен этого последнего утешения и умирать среди чужих? В письме Юранд смиренно благодарил княгиню за то, что она заменила девушке родную мать, и в заключение обещал и слепым приехать в Варшаву, чтобы упасть госпоже своей в ноги и просить и впредь не оставить Данусю своей милостью.

Когда отец Вышонек прочел ей это письмо, княгиня некоторое время слова не могла вымолвить. Она надеялась, что Юранд, который пять-шесть раз в год проводывал дочку, приедет к ним на ближайшие праздники, и она с князем употребит все свое влияние, чтобы уломать его и добиться согласия на скорую свадьбу Дануси и Збышка. Меж тем это письмо не только разрушало все ее замыслы, но и отнимало у нее Данусю, которую она так же крепко любила, как и собственных своих детей. Ей пришло в голову, что Юранд может выдать теперь девушку за кого-нибудь из соседей, чтобы остаток дней прожить среди своих. Нечего было и думать о том, чтобы Збышко поехал в Спыхов, — ребро у него только начало срастаться,

да и кто мог знать, как его встретят в Спыхове? Княгиня знала, что в свое время Юранд решительно ему отказал, да и ей самой говорил тогда, что по тайной причине никогда не даст согласия на брак дочери и Збышка. Удрученная, она велела позвать к себе старшего из присланных слуг, чтобы расспросить его о бедствии, постигшем Спыхов, и разузнать о намерениях Юранда.

Она удивилась, когда по ее зову явился не старый Толима, который носил щит за Юрандом и обычно приезжал вместе с ним, а человек, совершенно ей незнакомый. Однако слуга сказал ей, что Толима жестоко изувечен в последней битве с немцами и борется в Спыхове со смертью, а Юранд, прикованный тяжелой болезнью к одру, просит дочь поскорее вернуться домой, так как зрение у него становится все хуже и дня через два он может совсем ослепнуть. Посланец усердно просил позволения увезти девушку, как только немного отдохнут кони; но вечер уже спустился, и княгиня решительно воспротивилась: от такой скорой разлуки сердце разорвалось бы пополам у нее, Дануси и Збышка.

А Збышко уже знал обо всем и лежал в горнице, сраженный вестью как громом; когда же княгиня вошла и, ломая пальцы, крикнула с порога: «Ничего не поделаешь, ведь это отец!» — он как эхо повторил: «Ничего не поделаешь», — и закрыл глаза, как человек, который ждет приближения смерти.

Но смерть не пришла, а сердце рвалось в груди от горя, и мысли проносились в мозгу черные, как тучи, гонимые вихрем, которые заслоняют солнечный блеск и гасят в мире всякую радость. Как и княгиня, Збышко понимал, что, если Дануся уедет в Спыхов, она будет потеряна для него. Здесь все сочувствовали ему, а там Юранд не захочет, может, ни принять его, ни выслушать, особенно если он связан обетом или есть у него иная тайная причина, столь же важная, как и церковный обет. Да и где уж ему ехать в Спыхов, когда он так болен, что едва может пошевелиться в постели? Несколько дней назад, когда он получил из рук князя золотые шпоры с рыцарским поясом, он думал, что радость поможет ему одолеть болезнь, и всей душой молился о том, чтобы поскорее подняться с одра и сразиться с крестоносцами, а теперь опять потерял всякую надежду, чувствуя, что, когда при нем не будет Дануси, у него пропадет желание жить и не станет сил бороться со смертью. Придет завтрашний день и послезавтрашний, наступят наконец Сочельник и Рождество, и по-прежнему будут болеть его кости, и по-прежнему будет он слаб, но не увидит ему больше сияния, которое озаряет горницу, когда входит Дануся, и не радоваться больше очам его, глядя на нее. Как радостно и сладко было

спрашивать несколько раз на дню: «Мил ли я тебе?» — и глядеть потом, как закрывает она стыдливо ручкой улыбающиеся глаза или, склонившись к нему, говорит: «А кто еще может быть мил мне?» Останется теперь только болезнь, и муки останутся, и тоска, а счастье уйдет — и не воротится.

Слезы блеснули в глазах Збышка и медленно покатались по щекам; он обратился к княгине и сказал:

— Милостивая пани, думается мне, что никогда уж больше не увижу я Дануськи.

А княгиня, сама удрученная, промолвила:

— Не диво было бы, если б ты умер от жалости. Но Бог милостив.

Желая хоть немного его утешить, она прибавила через минуту:

— Коли Юранд, не приведи Бог, умрет раньше тебя, опекунами станем мы с князем и тотчас отдадим за тебя Данусю.

— Когда он там умрет! — возразил Збышко.

Но в голове у него, видно, блеснула новая мысль, он приподнялся, сел на постели и сказал изменившимся голосом:

— Милостивая пани...

Но его прервала Дануська, которая вбежала в горницу вся в слезах и крикнула еще с порога:

— Ты уже все знаешь, Збышко! Ой, жаль мне батюшку, но и тебя мне жаль, бедняжечка!

Когда она подошла к нему, он обнял здоровой рукой свою возлюбленную и заговорил:

— Как же мне жить без тебя, родная? Не для того ехал я через боры и реки, не для того обет давал служить тебе, чтобы теперь потерять тебя. Эх, не помогут мне ни жалость, ни слезы; не поможет и сама смерть; пусть могила моя порастет травой, а душа моя тебя не забудет ни в палатах у Иисуса Христа, ни в покоях у Господа Бога... И скажу я тебе: ничего нельзя поделать, а придется что-то придумать, иначе нам с тобой не жить! Ломит у меня кости, и терплю я страшную муку, так хоть ты уподи к ногам княгини и проси смилостивиться над нами.

Дануся тотчас упала к ногам княгини и, обхватив их руками, спрятала свое ясное личико в складках ее тяжелого платья, а та обратила свои полные жалости и вместе с тем удивленные глаза на Збышка.

— Как же я могу смилостивиться над вами? — спросила она — Не пустить дочку к родному отцу? Но так можно навлечь на себя гнев Божий.

Збышко, который приподнялся было на постели, снова опустил на подушки и некоторое время не отвечал, потому что у него перехватило дыхание. Потом он медленно начал сдвигать на груди руки, пока наконец

не сложил их как для молитвы.

— Отдохни, — сказала ему княгиня, — а потом скажешь мне, чего хочешь, а ты, Дануся, встань с колен.

— Отпусти колени княгини, но не вставай и проси ее вместе со мною, — промолвил Збышко.

Затем он заговорил слабым, прерывистым голосом:

— Милостивая пани... Отказал мне Юранд в Кракове... откажет он мне и теперь, но если бы ксендз Вышонец обвенчал меня с Дануськой — что ж, пускай бы ехала она тогда в Спыхов, все равно ведь ее у меня никто не отнимет...

Это было так неожиданно, что княгиня даже вскочила со скамьи, потом снова села и, точно не понимая, о чем идет речь, произнесла:

— Раны Господни!.. Ксендз Вышонец?..

— Милостивая пани!.. Милостивая пани! — просил Збышко.

— Милостивая пани! — повторяла за ним Дануська, снова обнимая колени княгини.

— Как же можно без родительского благословения...

— Закон Божий крепче! — ответил Збышко.

— Побойтесь Бога!

— Кто же нам отец, как не князь?.. Кто же нам мать, как не вы, милостивая пани?

А Дануся прибавила:

— Милостивая матушка!

— Это правда, что я была и остаюсь для нее матерью, — сказала княгиня, — да и Юранда я женила. Это правда. И если бы вы обвенчались, все было бы кончено. Может, Юранд и посердился бы, но ведь и он обязан повиноваться князю, своему господину. Да и можно было бы ничего ему не говорить, покуда он не захотел бы выдать Данусю за другого или отдать ее в монастырь... Если и дал он обет, так не было бы тогда на нем греха. Против воли Божьей никто не пойдет... Господи, да, может, Твоя это воля?

— Иначе не может быть! — воскликнул Збышко.

Но княгиня, все еще взволнованная, сказала:

— Погодите, дайте опомниться! Если бы князь был здесь, я бы сходила к нему и спросила: могу я отдать замуж Дануську или нет?.. А без него я боюсь... Даже дух у меня захватило, а тут и времени нет — завтра ей уезжать!.. Господи Боже! Уехала б она замужней, и все было бы хорошо. Но никак не могу я опомниться, и страх меня что-то берет. А тебе не страшно, Дануська, говори же?

— Я иначе помру! — прервал ее Збышко.

А Дануська поднялась с колен и крепко-крепко обвила руками шею доброй княгини, которая не только много ей позволяла, но и баловала ее.

— Без отца Вышнека, — сказала, однако, княгиня, — я ничего не могу вам сказать. Беги за ним поскорее!

Дануся побежала за отцом Вышнеком, а Збышко обратился к княгине свое побледневшее лицо и сказал:

— Что мне от Бога предназначено, то и будет, но за эту радость да вознаградит вас Бог, милостивая пани.

— Погоди благословлять меня, — возразила княгиня, — еще неизвестно, что будет. А ты должен мне честью поклясться, что, обвенчавшись с Данусей, тотчас отпустишь ее к отцу, чтобы, упаси Бог, не навлечь на себя и на нее отцовского проклятия.

— Клянусь честью! — сказал Збышко.

— Помни же! А Юранду Дануся пускай пока ничего не говорит. Хуже, коли скажет, да точно обухом его по голове. Мы пошлем за ним из Цеханова, попросим, чтобы он приехал с Дануськой, и тогда уж я сама скажу ему, а нет, так князя упрошу сказать. Увидит он, что деваться некуда, и согласится. Не косился же он на тебя?

— Нет, — ответил Збышко, — не косился, да в душе он, может, и рад будет, что Дануська станет моей женой. И то сказать, коли дал обет, не грех будет, что не пришлось исполнить его.

Вошли ксендз Вышнек и Дануся, и разговор прервался. Княгиня тотчас стала держать совет с ксендзом; с жаром начала она рассказывать ему о замысле Збышка, но при первых же ее словах ксендз перекрестился в изумлении и сказал:

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!.. Да как можно! Ведь Рождественский пост!

— Господи! Да ведь и впрямь пост! — воскликнула княгиня.

Воцарилось молчание; только по удрученным лицам княгини, Дануси и Збышка было видно, каким ударом явились для них слова отца Вышнека.

— Так мне вас жалко, что, будь у меня разрешение, я бы не стал противиться. И согласия Юранда не стал бы требовать, раз уж вы, милостивая пани, позволяете и ручаетесь за то, что и князь даст согласие, — вы ведь с князем отец и мать Мазовии. Но без разрешения епископа не могу. Будь здесь епископ Якуб из Курдванова^[75], может, он и разрешил бы, хоть и очень суров он, не то что его предшественник, епископ Мамфиолус, который на все отвечал: «Bene! Bene!»^[76]

— Епископ Якуб из Курдванова очень любит и князя, и меня, — сказала княгиня.

— Вот и я говорю, что он не отказал бы, к тому же причина есть... Невесте уезжать надо, а жених болен и может умереть... Гм! In articulo mortis...^[77] Но без разрешения никак нельзя...

— Да уж я бы потом выпросила у епископа Якуба разрешение; как ни суров он, а мне бы не отказал... Ручаюсь, не отказал бы.

Ксендз Вышонец, который был человеком добрым и мягким, ответил ей:

— Слово помазанницы Божией — великое слово... Боюсь я епископа, но слово ваше — великое слово!.. Жених мог бы обещать что-нибудь на кафедральный собор в Полоцке... Не знаю... Все-таки, пока не придет разрешение, грех будет, и на моей только совести грех... Гм! Велик Бог милостию, и ежели кто не ради собственной выгоды согрешит, а над людской бедою сжалится, скорее простится ему этот грех! И все-таки грех будет... А ну как епископ упрется, кто даст мне тогда отпущение?

— Не станет епископ упираться! — воскликнула княгиня.

— У Сандеруса, — сказал Збышко, — того, что со мной приехал, есть готовые отпущения каких угодно грехов.

Может, ксендз Вышонец и не очень-то верил в индульгенции Сандеруса, но он рад был за это ухватиться, лишь бы только помочь Збышку и особенно Данусе, которую он знал с малых лет и очень любил. Подумав, что в самом худшем случае на него могут наложить епитимью, он обратился к княгине и сказал:

— Пастырь я ваш, но и слуга княжий. Как прикажете поступить, милостивая пани?

— Не приказывать я хочу, а просить, — возразила княгиня. — Ведь коли есть у Сандеруса отпущения...

— У Сандеруса-то они есть. Да вот как с епископом быть? В Плоцке на соборе он с канониками выносит нам суровые приговоры.

— Епископа не бойтесь. Слыхала я, что возбраняет он ксендзам носить мечи и самострелы да своевольничать, но добро творить не возбраняет.

Ксендз Вышонец поднял очи горé и воздел руки.

— Да будет по воле вашей.

Все развеселились, услышав эти слова. Збышко снова приподнялся, опершись на подушки, а княгиня, Дануся и отец Вышонец сели у его постели и стали «держатъ совет», как устроить это дело. Решили сохранить все в тайне, чтобы в доме ни одна живая душа ничего не знала; решили

также, что и Юранд ничего не должен знать, пока сама княгиня не расскажет ему обо всем в Цеханове. Ксендз Вышонек должен был написать ему письмо от княгини с просьбой незамедлительно прибыть в Цеханов, где и лекарства для него найдутся получше, и не так он будет томиться в одиночестве. Решили наконец, что Збышко и Дануся исповедаются, а обвенчает их отец Вышонек ночью, когда все лягут спать.

Збышко подумал было, не взять ли в свидетели брака оруженосца-чеха, но, вспомнив, что получил его от Ягенки, оставил свое намерение. На одно короткое мгновение как живая предстала она перед его взором, ему привиделось ее румяное лицо, ее заплаканные глаза, почудился ее просительный голос: «Не делай этого, не плати мне за добро злом, за любовь горькою обидою!» Глубокая жалость пронизала вдруг его сердце, он почувствовал, что причинит ей тяжкое горе, что не найдет она после этого утешения ни под згожелицким кровом, ни в глухом бору, ни в чистом поле, не найдет его ни в дарах аббата, ни в любви Чтана и Вилька. И сказал он ей мысленно: «Дай Бог и тебе, девушка, счастья, ничего не могу я поделать, хоть и рад был бы звезды для тебя с неба снять». И мысль о том, что он не в силах ничего изменить, принесла ему даже облегчение, и он снова обрел утраченное спокойствие и снова стал думать только о Данусе и о венчании.

Однако без помощи чеха он не мог обойтись; решив умолчать о предстоящем событии, он велел позвать своего оруженосца.

— Я сегодня, — сказал Збышко чеху, — должен исповедоваться и причаститься, так ты одень меня так, будто идти мне в королевские покои.

Чех испугался и испытующе посмотрел на Збышка; тот понял его и сказал:

— Ты не бойся, люди не только перед смертью исповедуются; а тут и праздники на носу, отец Вышонек и княгиня уедут в Цеханов, и ближе, чем в Прасныше, ксендза не найдешь.

— А вы, ваша милость, не поедете? — спросил оруженосец.

— Выздоровею, так поеду, но все это в воле Божьей.

Чех успокоился, достал из короба и принес тот самый добытый в бою белый, шитый золотом полукафтан, который Збышко всегда надевал в торжественных случаях, и красивый коврик покрыть ноги и постель; затем с помощью двух турок он приподнял Збышка, умыл его, причесал и повязал алой повязкой его длинные волосы; полюбовавшись на дело рук своих, чех помог господину опереться на красные подушки и сказал:

— Если бы, ваша милость, вы могли пуститься в пляс, так хоть свадьбу играй.

— Пришлось бы обойтись без пляски, — улыбаясь, ответил Збышко.

А княгиня в это время раздумывала в своей горнице, во что бы нарядить Данусю; для нее, как для женщины, это было делом чрезвычайной важности: не могла же она допустить, чтобы ее дорогая воспитанница пошла под венец в будничном платье. Служанки, которым тоже было сказано, что девушка будет исповедоваться и поэтому должна быть в белом, легко нашли в сундуке белое платье; но головку невесты убрать было нечем. Непонятная печаль овладела сердцем княгини, когда она об этом подумала.

— Где же мне, — запричитала она, — найти для тебя, сиротки, рутовый веночек в этом бору! Ни цветика тут, ни листика, разве только мох зеленый под снегом.

А Дануся, стоя с распущенными косами, тоже запечалилась, что нет для нее веночка; однако через минуту она показала на гирлянды из бессмертников, которыми были увешаны стены горницы, и сказала:

— Хоть из них бы сплести веночек, ведь ничего другого не найти нам тут, а Збышко возьмет меня и в таком венке.

Опасаясь дурного предзнаменования, княгиня сперва не хотела; но в доме, куда приезжали только на охоту, не было никаких цветов, и пришлось удовольствоваться бессмертником. Тем временем пришел ксендз Вышонец, он уже исповедовал Збышка и увел теперь на исповедь Данусю; потом спустилась глухая ночь. Слуги после ужина легли по приказу княгини спать. Посланцы Юранда улеглись кто в людской, кто в конюшнях с лошадьми. Вскоре на людской половине погасли, подернувшись пеплом, лучины, и в лесном доме воцарилась немая тишина; одни только собаки лаяли порой на волков в сторону бора.

Но у княгини, отца Вышонка и Збышка по-прежнему горел огонь, отбрасывая красные отсветы на покрытый снегом двор. Объятые тревогой и проникнутые торжественностью предстоящей минуты, княгиня с Данусей, Збышко и ксендз бодрствовали в тишине, прислушиваясь к биению собственных сердец. После полуночи княгиня взяла Данусю под руку и повела ее в горницу Збышка, где отец Вышонец ждал уже с причастием. В камине у Збышка пылал яркий огонь, и при неверном его свете юноша увидел Данусю, побледневшую от бессонницы, с венком из бессмертников на челе, наряженную в тяжелое, белое, спускающееся до полу платье. От волнения девушка полузакрыла глаза, ручки у нее повисли вдоль платья, и изумленному Збышку она так живо напомнила изображение с костельного окна, что ему даже подумалось, будто не земную девушку, а бесплотного духа должен он взять себе в жены. Еще больше овладела им

эта мысль, когда она опустилась на колени для причащения и, сложив руки, откинула голову назад и совсем закрыла глаза. Она показалась ему умершей, и сердце его сжалось от страха. Однако это длилось одно лишь мгновение. Услыхав возглас ксендза: «Ессе Agnus Dei»^[78], — Збышко сосредоточился, и мысли его устремились к Богу. В горнице слышен был только торжественный голос отца Вышонека: «Domine, non sum dignus»^[79], — треск дров и вместе с тем жалобный неумолчный стрекот сверчков в щелях камина. За окнами поднялся ветер, зашумел в заснеженном лесу и тут же смолк.

Збышко и Дануся некоторое время хранили молчание; ксендз Вышонек взял тем временем чашу и отнес ее в домовую часовенку. Через минуту он вернулся, но уже не один, а с господином де Лоршем; на лицах у всех изобразилось удивление; заметив это, ксендз сперва приложил палец к губам, словно опасаясь, как бы кто-нибудь не издал возгласа изумления, а затем сказал:

— Я подумал, что лучше, если будет два свидетеля бракосочетания; но предупредил сперва обо всем этого рыцаря, и он поклялся мне рыцарской честью и аквисгранскими святынями хранить все в тайне, пока не минует в этом надобность.

Господин де Лорш сперва преклонил колени перед княгиней, затем перед Данусей; поднявшись с колен, он замер в молчании, одетый в торжественные доспехи, по сгибам которых скользили красные отблески пламени, высокий, неподвижный, охваченный восторгом от лицезрения девушки в белом с венком бессмертников на челе, которая и ему показалась ангелом, сошедшим с окна готического храма.

Но вот ксендз подвел Данусю к постели Збышка и, покрыв им руки епитрахилью, начал обычный обряд. По доброму лицу княгини катились слезы, но душа ее в эту минуту была спокойна — она думала, что совершает добрый поступок, соединяя этих двух чудных и невинных детей. Господин де Лорш снова опустился на колени и, опершись обеими руками на рукоять меча, казался рыцарем, которому явилось виденье, а Збышко и Дануся повторяли по очереди за ксендзом слова: «Я... беру... тебя себе...» — и словам этим, тихим и сладостным, вторил стрекот сверчков и треск дров в камине. Когда обряд венчания кончился, Дануся упала к ногам княгини, которая благословила молодых и, вверив их покровительству небесных сил, сказала:

— Возвеселитесь теперь, ибо она принадлежит тебе, а ты ей.

Тогда Збышко протянул Данусе свою здоровую руку, а она обвила его

шею, и с минуту слышно было только, как они, приникнув устами к устам, повторяют друг другу:

— Ты моя, Дануська!

— Ты мой, Збышко!

Но от чрезмерного волнения Збышко скоро ослабел и, опустившись на подушки, стал тяжело дышать. Однако он не лишился чувств и, по-прежнему улыбаясь Данусе, вытиравшей ему лицо, покрытое холодным потом, все повторял: «Ты моя, Дануська», — а она всякий раз склоняла свою непокрытую головку. Увидев эту картину, господин де Лорш окончательно растрогался и заявил, что ни в одной стране ему не приходилось встречать таких чувствительных сердец и что поэтому он даст торжественную клятву драться пешему или конному с любым рыцарем, чародеем или огненным змием, который посмеет помешать их счастью. Он и в самом деле тут же поклялся в этом на крестообразной рукояти своей мизерикордии, то есть небольшого меча, который служил рыцарям для добивания раненых. Княгиня и ксендз Вышонец были призваны им в качестве свидетелей этой клятвы.

Княгиня, которая не могла себе представить свадьбу без веселья, принесла вино — и все стали пить. Текли часы ночи. Переборов слабость, Збышко снова привлек к себе Данусю и сказал:

— Коли отдал мне тебя Господь Бог, никто не отнимет тебя у меня; но жаль мне, что ты уезжаешь, ягодка ты моя красная.

— Я приеду с батюшкой в Цеханов, — ответила Дануся.

— Только бы ты не захворала или иная беда не стряслась над тобой... Храни тебя Бог от всякой напасти... Я знаю, ты должна ехать в Спыхов!.. Эх!.. Благодарение Богу и милостивой пани, ты уже моя, а уж раз мы связаны узами брака, нас ничто теперь не разлучит.

Тайно, ночью порой, они обвенчались, и скоро уж надо было им расставаться, поэтому порой странная тоска охватывала не одного только Збышка, но и всех остальных. Разговор обрывался. Время от времени приутихало пламя в камине, и головы погружались во мрак. Ксендз Вышонец подкидывал тогда на горящие угли новых поленьев и, когда сырые дрова начинали жалобно сипеть, говорил:

— Чего жаждешь ты, душа, страждущая в огне чистилища?

Ему отвечали сверчки, потом пламя, вспыхнув, вырывало из мрака бессонные лица, отражалось в доспехах господина де Лорша и озаряло белое платье и бессмертники на голове Дануси.

Собаки во дворе снова стали лаять в сторону бора так, как лают они всегда на волков.

Текли часы ночи, все чаще воцарялось молчание, и княгиня сказала наконец:

— Господи! Чем так сидеть после венчания, так лучше было бы пойти спать; но раз уж нам надо бодрствовать до утра, так перед отъездом сыграй же, ягодка, нам со Збышком еще раз на лютне.

Дануся, усталая и сонная, рада была встряхнуться — она тотчас побежала за лютней и, вернувшись через минуту, села с нею у постели Збышка.

— Что же мне сыграть вам? — спросила она.

— Что сыграть? — переспросила княгиня. — Что ж, как не ту песенку, которую ты пела в Тынце, когда Збышко увидал тебя в первый раз!

— Помню, помню я эту песенку и до гроба ее не забуду, — сказал Збышко. — Бывало, как услышу где, так слезы у меня из глаз и польются.

— Так я спою! — сказала Дануся.

И тотчас стала перебирать струны лютни и, закинув, как всегда, головку, запела:

Ах, когда б я пташкой
Да летать умела,
Я бы в Силезию
К Ясю улетела.
Сиротинкой бедной
На плетень бы села:
«Глянь же, мой соколик,
Люба прилетела!...»

Вдруг голос у нее пресекся, губы задрожали, и слезы брызнули из глаз и потекли по щекам. Минуту она пыталась успокоиться, но не смогла и расплакалась так же горько, как тогда, в краковской темнице, когда в последний раз пела эту песенку Збышку, думая, что завтра ему снесут голову с плеч.

— Дануська, что с тобой, Дануська? — спрашивал Збышко.

— Чего ты плачешь? Что это за свадьба? — воскликнула княгиня. — Ну, чего ты?

— Не знаю, — рыдая, ответила Дануська, — так мне что-то тоскливо!.. Так жаль... Збышка и вас...

Все встревожились и стали ее успокаивать, стали толковать ей, что уезжает она ненадолго, что еще на праздниках все они съедутся с Юрандом

в Цеханове. Збышко снова обнял ее, прижимал ее к груди и осушал губами слезы у нее на глазах; и все же сердца у всех сжались в тревоге — и в тревоге текли для них эти ночные часы.

Вдруг во дворе раздался такой неожиданный пронзительный скрип, что все вздрогнули. Вскочив со скамьи, княгиня воскликнула:

— Боже мой! Это колодезные журавли! Поят коней!

А ксендз Вышонец посмотрел в окно, в котором стеклянные шарики начали уже светлеть, и произнес:

— Чуть брезжит заря, день занимается. Ave Maria, gratia plena. ^[80]

И вышел из горницы; вернувшись через некоторое время, он сказал:

— Светает, но день будет хмурый. Это люди Юранда поят коней. Пора в дорогу, бедняжка!..

При этих словах княгиня и Дануся громко разрыдались и запричитали вместе со Збышком, как причитают при расставании простые люди; это был как бы обрядовый плач, и звучал он и как жалоба, и как песня, которая у простых душ льется так же естественно, как слезы льются из глаз.

Ой, да не помочь плачем, слезами,
Да когда ты расстаешься с нами,
Да пришла наша година,
Да горька наша судьбина,
Ой, да прости-прощай!

В последний раз привлек к себе Збышко Данусю и сжимал ее в объятиях, пока не захватило у него дух и пока княгиня не оторвала от него жену, чтобы одеть ее в дорогу.

Тем временем совсем рассвело. Все пробудились в доме, поднялась суета. К Збышку вошел чех справиться о его здоровье и узнать, какие будут распоряжения.

— Придвинь постель к окну! — велел ему рыцарь.

Чех легко придвинул постель к окну, но, когда Збышко велел ему отворить окно, он удивился, однако выполнил и этот приказ, только укрыл господина своим кожухом, так как на дворе хоть и пасмурно было, но холодно и падал мягкий, обильный снег.

Збышко стал смотреть в окно. Сквозь хлопья снега, летевшие из тучи, он увидел на дворе санки; их окружали слуги Юранда верхом на лохматых лошадях, от которых поднимался пар. Все слуги были вооружены, у коего поперх кожухов были надеты даже кольчуги, в которых отражались

бледные лучи хмурого дня. Лес совсем закрыла снежная пелена; плетни и ворота были едва видны.

Дануся, уже закутанная в колушок и лисью шубу, еще раз прибежала в горницу к Збышку, еще раз обвила его шею и сказала ему на прощанье:

— Хотя я и уезжаю, но я твоя.

А он целовал ей руки, щеки и глаза, которые едва виднелись из-под лисьего меха, и говорил:

— Храни тебя Бог! Счастливой дороги! Моя ты теперь, моя до гроба!

Когда Данусю снова оторвали от него, он приподнялся, насколько мог, приник головой к окну и смотрел; сквозь снежную пелену он видел, как Дануся садилась на санки, как княгиня долго сжимала ее в объятиях, как целовали ее придворные дамы и как ксендз Вышонек крестил ее на дорогу. Перед самым отъездом она еще раз обернулась к нему и протянула руки:

— Оставайся с Богом, Збышко!

— Дай Бог увидеться с тобой в Цеханове.

Но снег падал такой обильный, словно хотел все заглушить и все от них заслонить, и последние слова долетели до них так смутно, что им обоим показалось, будто они зовут друг друга уже издалёка.

После снежных метелей ударил мороз, и дни наступили ясные, солнечные. Днем леса искрились на солнце, реки сковало льдом, и болота застыли. Стояли ясные ночи, когда мороз так крепчал, что деревья оглушительно трещали в лесу; птицы жались к жилью; на дорогах стало опасно от волков, которые собирались в стаи и нападали не только на одиноких путников, но и на целые деревни. Однако народ, греясь у очагов в дымных хатах, радовался морозной зиме, предсказывая урожайный год, и весело ждал Святки, которые вскоре должны были наступить. Лесной дом князя опустел. Княгиня с двором и ксендзом Вышонеком уехала в Цеханов. Збышку уже стало гораздо лучше; все же он еще не настолько окреп, чтобы сесть на коня, и остался поэтому в лесном доме со своими людьми, Сандерусом, оруженосцем-чехом и княжьими слугами, за которыми надзирала почтенная шляхтянка, исполнявшая обязанности хозяйки.

Но душой рыцарь рвался к молодой жене. Невыразимо сладкой была для него мысль, что Дануся уже принадлежит ему и что никто ее у него не отнимет, но, когда он думал об этом, тоска еще больше томила его. По целым дням вздыхал он, ожидая той минуты, когда сможет покинуть лесной дом, и раздумывая о том, что же тогда делать, куда ехать и как снискать расположение Юранда. Порой его охватывала страшная тревога, и все же будущность представлялась ему сплошным праздником. Любить Дануську и сбивать шлемы с павлиньими перьями — таков его удел. Ему хотелось иногда поговорить об этом с чехом, которого он полюбил, однако он заметил, что, преданный всей душой Ягенке, чех неохотно говорит о Данусе, да и Збышко был связан тайной и не мог открыться ему.

Здоровье его улучшалось с каждым днем. За неделю до Сочельника он впервые сел на коня и хотя чувствовал, что в доспехах не смог бы этого сделать, все же приободрился. Он думал, что в ближайшее время ему не придется надевать панцирь и шлем, а впрочем, надеялся, что вскоре у него станет сил и на это. Чтобы убить время, он пробовал в горнице поднимать меч, и это ему удавалось, только секира оказалась пока тяжела, да и то он считал, что, ухватившись обеими руками за рукоять, смог бы уже нанести меткий удар.

Наконец, за два дня до Сочельника, он велел готовить сани и седлать коней и сказал чеху, что они едут в Цеханов. Верный оруженосец немного обеспокоился, тем более что на дворе стоял трескучий мороз, но Збышко

отрезал:

— Не суй нос не в свое дело, Гловач (так называл он чеха на польский лад). Нечего нам тут делать, а и захвораю я, так в Цеханове будет кому за мной присмотреть. Да и поеду я не верхом, а на санях, в сено заруюсь да укурюсь шкурами и только перед самым Цехановом сяду на коня.

Так он и сделал. Чех же постиг нрав своего молодого хозяина и знал, что ему слова нельзя сказать поперек, а не выполнить приказ — и подавно, так что через час они уже тронулись в путь. Перед отъездом Збышко увидел, что Сандерус усаживается со своим коробом на сани.

— Что это ты прицепился ко мне, как репей? — спросил он у торговца индульгенциями. — Ты же говорил, что хочешь в Пруссию.

— Говорить-то я говорил, — ответил Сандерус, — да как же мне одному идти по такому снегу? Первая звезда взойти не успеет, как меня волки съедят, а тут мне тоже нечего делать. Лучше уж я в городе стану учить людей благочестию, оделять их святыми товарами и спасать из сетей дьявола, как обещал в Риме отцу всех христиан. Да и крепко полюбились вы мне, ваша милость, и не брошу я вас до самого отъезда в Рим, а может статься, что и услугу какую-нибудь придется вам оказать.

— Он за вас, пан, всегда готов выпить и закусить, — сказал чех, — и больше всего рад оказать вам эту услугу. Но ежели в праснышском лесу нападет на нас целая стая волков, так мы бросим им его на съедение, больше он ни на что не годен.

— Смотрите, как бы у вас грешное слово к устам не примерзло, — отрезал Сандерус, — а то такие сосульки тают только в огне преисподней.

— Эва! — ответил Гловач, поглаживая рукавицей свои едва пробивающиеся усики. — Я сперва попробую пива подогреть на привале, а тебе не дам.

— А нам заповедано: жаждущего напои. Еще один грех!

— Ну, тогда я дам тебе ведро воды, а пока получай то, что есть у меня под рукой.

С этими словами он набрал полные пригоршни снега и швырнул Сандерусу в бороду; однако тот увернулся и сказал:

— Не нужны вы вовсе в Цеханове, там уже медвежонка научили в снежки играть.

Так они переругивались, хотя оба пришли по нраву друг другу. Сандерус потешал Збышка и даже как будто сильно к нему привязался, поэтому молодой рыцарь не стал запрещать этому чудаку ехать с ним дальше. Итак, в ясное утро они выехали из лесной усадьбы; мороз стоял такой сильный, что лошадей пришлось покрыть попонами. Все кругом

потонуло в снегу. Кровли хат едва виднелись из-под снега, и порой казалось, что дым поднимается прямо из белых сугробов и столбом уносится к небесам, розовея от утренней зари и раскидываясь вверх рыцарским султаном.

Чтобы не терять сил, да и укрыться от мороза под сеном и шкурами, Збышко ехал на сани. Он велел Гловачу пересесть на сани и на случай нападения волков держать наготове самострел, а пока весело с ним разговаривал.

— В Прасныше, — сказал Збышко, — мы только покормим лошадей да погреемся и сейчас же поедем дальше.

— В Цеханов?

— Сперва в Цеханов поклониться князю и княгине и помолиться Богу.

— А потом? — спросил Гловач.

Збышко улыбнулся и ответил:

— Кто знает, может, потом и в Богданец.

Чех удивленно посмотрел на своего господина. В голове у него мелькнула мысль, уж не отказался ли он от дочки Юранда. Это было похоже на правду, потому что Дануся уехала, а в лесном доме князя до ушей чеха дошел слух о том, что пан из Спыхова не соглашается отдать дочку за молодого рыцаря. Обрадовался добрый оруженосец; хоть он сам любил Ягенку, но для него она была словно звезда в небе, и рад он был добыть ей счастье даже ценою собственной крови.

Збышка он тоже полюбил и всей душой желал служить им обоим до смерти.

— Так это вы, ваша милость, останетесь уже в своих владениях? — весело спросил он.

— Как же мне оставаться в своих владениях, — возразил Збышко, — коли я послал вызов крестоносцам, а еще раньше Лихтенштейну? Де Лорш говорил, что магистр будто бы хочет пригласить короля в гости в Торунь, так я присоединюсь тогда к королевской свите: авось пан Завиша из Гарбова или пан Повала из Тачева испросят для меня позволения у короля драться с этими монахами. Те, наверно, выйдут на бой с оруженосцами, так что и тебе придется с ними сразиться.

— Иначе одна бы мне дорога была — тоже в монахи, — сказал чех.

Збышко посмотрел на него с удовлетворением.

— Круто придется тому, кто подвернется тебе под секиру. Дал тебе Бог страшную силу, но ты бы худо поступил, если бы зря стал похваляться ею, — истинному оруженосцу приличествует смирение.

Чех закивал головой в знак того, что не будет зря похваляться своей

силой, но и не пожалеет ее в бою против немцев, а Збышко по-прежнему улыбался, но уже не оруженосцу, а собственным мыслям.

— То-то старый пан обрадуется, как мы воротимся, — сказал после минутного молчания Гловач. — В Згожелицах тоже будут рады.

Ягенка, как живая, встала перед взором Збышка, словно тут вот, рядом, сидела с ним на санях. Всегда так бывало, что, неожиданно вспомнив девушку, он видел ее как наяву.

«Нет, — подумалось ему, — не будет она рада, потому что ворочусь я в Богданец, да только с Дануськой, а она пускай за другого выходит...» В это мгновение Збышку представились Вильк из Бжозовой и молодой Чтан из Рогова — и так горько вдруг ему стало, что она может достаться кому-нибудь из них. «Уж лучше бы она кого другого нашла, — подумал он про себя, — ведь им бы только лакать пиво да в зернь играть, а она хорошая девушка». Подумал он и о том, что дядя очень огорчится, когда обо всем узнает, однако тотчас утешился, вспомнив, что для Мацька всего важнее были род да богатство, которое могло бы поднять значение рода. Правда, Ягенку взять — на меже жениться, зато Юранд был богаче Зыха из Згожелиц, и легко было предугадать, что Мацько недолго будет сердиться на племянника, тем более что старик знал о его любви к Дануське и о том, чем он ей обязан... Поворчит-поворчит, да и перестанет, еще рад будет потом и Дануську станет любить, как родную дочь!

И вдруг в сердце Збышка шевельнулось чувство любви к дяде и тоски по этому суровому человеку, который любил и берег его как зеницу ока; в битвах защищал его больше, чем самого себя, для него захватывал добычу, для него наживал богатство. Двое их было — одиноких — на свете! Даже родственников не было у них, разве такие дальние, как аббат, и, когда им, бывало, приходилось расставаться, они друг без друга места себе не находили, особенно старик, которому для себя ничего уже не было надобно.

«Ох и рад же он будет, ох и рад! — повторял про себя Збышко. — Я бы одного только хотел: чтобы Юранд принял меня так, как примет дядя».

И он попытался представить себе, что скажет и что сделает Юранд, когда дознается про то, что Дануська с ним обвенчалась. Мысль об этом беспокоила Збышка, а впрочем, не очень — дело-то ведь было сделано. Неприлично было бы Юранду вызывать его на поединок, а уж если бы он очень уперся, Збышко мог бы сказать ему: «Соглашайтесь, покуда честью вас просят, а нет, так ведь ваше право над Дануськой людское, а мое Божье, и не ваша она теперь, а моя». Слышал он как-то от одного причетника, сведущего в Писании, что жена должна оставить отца своего и мать свою

и прилепиться к мужу, и полагал, что право на его стороне. Он не думал, однако, чтобы у них с Юрандом дело дошло до ссоры и вражды, и полагал, что много помогут тут просьбы Дануси, а пожалуй, еще больше вмешательство князя, которому Юранд был подвластен, и княгини, которую он любил как опекуншу своей дочери.

В Прасныше путникам посоветовали остаться на ночлег и предупредили, что волки от сильных морозов сбились в огромные стаи и нападают даже на целые обозы. Однако Збышко не обратил на это внимания, к тому же в корчме он случайно встретил нескольких мазовецких рыцарей, которые со слугами тоже направлялись к князю в Цеханов, и нескольких вооруженных купцов из самого Цеханова, которые возвращались с товаром из Пруссии. Для такой кучи народу волки не могли представлять опасности, и все они целым поездом выехали в ночь, несмотря на то что к вечеру подул ветер, нагнал туч и началась поземка. Ехали, держась близко друг к другу, но так медленно, что Збышко начал опасаться, что они не успеют к Сочельнику. Местами, где лошади совсем увязали в снегу, приходилось расчищать путь. По счастью, лесом шла торная дорога. Однако путники завидели Цеханов, когда уже совсем сгустились сумерки.

Если бы не огни, пылавшие на холме, где строился замок, путники под городом, быть может, долго кружили бы во мгле, слушая завывание вьюги и не догадываясь, что они уже достигли цели. Никто из спутников Збышка толком не знал, зажгли ли эти огни в Сочельник для гостей или по какому-нибудь старому обычаю, да и никто из них сейчас не думал об этом, все помышляли только об одном: как бы поскорее укрыться в стенах города.

А вьюга меж тем все крепчала. Пронизывающий холодный ветер нес целые тучи снега, гнул деревья, ревел, свирепствовал, срывал целые сугробы, взвивал и кружил снежную пыль, заносил сани и лошадей; словно острым песком, хлестал путников по лицу, забивал дыхание, не давал говорить. Не стало слышно бубенчиков, подвешенных к дышлам, а в вое и свисте бури звучали какие-то жалобные голоса: то ли вой волков, то ли отдаленное конское ржание, то ли полный ужаса зов о помощи. Измученные лошади все теснее жались друг к дружке и шли все медленнее.

— Вот это метель так метель! — сказал, задыхаясь, чех. — Счастье, пан, что город уже близко и огни горят, иначе пришлось бы нам худо.

— Кого непогода застигла в поле, тому смерть, — заметил Збышко, — да я уж и огней не вижу.

— Мгла такая, что и огню не пробиться. А может, раскидало дрова и уголья.

На других санях купцы и слуги тоже толковали о том, что, коли непогода застигла кого далеко от жилья, не услышать уж тому наутро колокольного звона. Объятый внезапно тревогой, Збышко сказал вдруг:

— А что, коли Юранд, не дай Бог, в дороге!

Чех, который силился разглядеть во мгле огни, услышав слова Збышка, повернул к нему голову и спросил:

— Так это должен был приехать пан из Спыхова?

— Да.

— С панной?

— Огни совсем пропали, — произнес Збышко.

Огни и в самом деле потухли, зато на дороге у самых саней появилось несколько всадников.

— Куда прешь?! — хватаясь за самострел, крикнул зоркий чех. — Кто вы?

— Мы княжьи люди, нас послали на помощь путникам.

— Слава Иисусу Христу!

— Во веки веков.

— Проводите нас в город! — сказал Збышко.

— Никто из вас не отстал?

— Никто.

— Откуда едете?

— Из Прасныша.

— Других путников по дороге не встречали?

— Не встречали. Может, на других дорогах найдутся.

— Люди посланы на все дороги. Поезжайте за нами. Вы сбились с пути! Берите правее!

И они повернули коней. Некоторое время слышен был только вой бури.

— Много ли гостей в замке? — спросил через минуту Збышко.

Ближайший всадник недослышал и наклонился к Збышку:

— Что вы говорите, пан?

— Я спрашиваю, много ли гостей у князя и княгини?

— Гости, как всегда, много!

— А нет ли пана из Спыхова?

— Нет, но его ждут. Люди тоже выехали навстречу.

— С плошками?

— При таком-то ветре!

Они не смогли продолжать разговор, так усилился рев бури.

— Прямо шабаш чертей да ведьм! — произнес чех.

Збышко велел ему замолчать и не произносить имени черных духов.

— Разве ты не знаешь, что в такие праздники черти боятся и прячутся в проруби? Как-то в Сочельник днем рыбаки под Сандомиром нашли одного в неводе: он держал в пасти щуку, но как слышал колокольный звон, так и сомлел, а они до звезды били его палками. Что и говорить, выюга страшная, но это Христос попустил, видно, хочет, чтобы завтрашний день показался нам еще радостней.

— Эва! Мы уж под самым городом были, а не случись этих людей, плутать бы нам, может, до полуночи, потому мы с дороги уж сбились, — возразил чех.

— С дороги мы сбились потому, что огни погасли.

Тем временем они въехали в город. Сугробы на улицах навалило такие, что во многих местах замело даже окна, вот почему, кружа за городом, путники не могли видеть огней. В городе было потише. На улицах было пустынно, горожане сидели уже за ужином. Лишь кое-где перед домами мальчики с вертепом и с козой пели, несмотря на метель, колядки. На рынке тоже встречались ряженые, они опутались гороховой соломой и изображали медведей, а так кругом было пусто. Купцы, с которыми ехал Збышко, остались в городе, а шляхтичи направились к старому замку, где жил князь; когда они подъехали поближе, замок весело засиял перед ними своими стеклянными окнами.

Подъемный мост через ров был опущен, так как время литовских набегов миновало, а крестоносцы, предвидя войну с польским королем, сами искали дружбы с мазовецким князем. Кто-то из княжеских слуг затрубил в рог, и ворота тотчас отворились. У ворот стояло десятка полтора лучников; но на стенах и у бойниц не было ни живой души — князь позволил страже оставить посты. Навстречу гостям вышел старый Мрокота, который приехал в замок два дня назад; он приветствовал гостей от имени князя и проводил их в покои, где они могли переодеться к столу.

Збышко тотчас стал расспрашивать его об Юранде из Спыхова; Мрокота сказал, что Юранда пока нет, но его ждут, что он обещал приехать, а если бы еще больше расхворался, то дал бы об этом знать. Все же навстречу ему послали десятка полтора верховых, потому что такой метели старики не запомнят.

— Так он, может, скоро приедет.

— Может, и приедет. Княгиня велела поставить для него и панны миски за общим столом.

Хотя Збышко всегда немного побаивался Юранда, однако сейчас он обрадовался в душе и сказал себе: «Пускай делает что хочет, все равно это

жена моя приезжает, супруга моя, дорогая моя Дануська!» Он не верил своему счастью, повторяя эти слова. Потом ему подумалось, что, может, она уже во всем повинилась отцу, может, он уж совсем примирился и склонился на ее мольбы тотчас отдать ее Збышку. «Сказать по правде, что ему остается делать? Человек он умный и знает, что, коли даже не захочет отдать, я все равно возьму ее, потому что мое право на нее крепче».

Переодеваясь, он расспрашивал Мрокоту о здоровье князя и особенно княгини, которую еще в Кракове полюбил как родную мать. Он обрадовался, узнав, что в замке все здоровы и веселы, хотя княгиня очень тоскует по своей веселой певунье. Играет ей теперь на лютне Ягенка, которую княгиня тоже любит, но не так, как Данусю.

— Какая Ягенка? — спросил в удивлении Збышко.

— Ягенка из Длуголяса, внучка старого пана из Длуголяса. Красивая девушка, в нее лотарингский рыцарь влюбился.

— Так господин де Лорш здесь?

— А где же ему еще быть? Он приехал из лесного дома князя и живет себе тут припеваючи. У нашего князя всегда полно гостей.

— Я буду рад повидаться с ним, это рыцарь без упрека.

— Он тоже вас любит. Однако пойдемте, а то князь с княгиней уже за стол садятся.

Они пошли в застольную. Там пылал в двух каминах огонь, который поддерживали слуги, и было полным-полно гостей и придворных. Князь вошел первый в сопровождении воеводы и нескольких приближенных. Збышко земно ему поклонился, а затем поцеловал руку.

Князь обнял его голову, затем отвел в сторону и сказал:

— Я обо всем уже знаю. Сперва я гневался, что вы сделали это без моего позволения, да ведь, сказать по правде, и времени-то у вас не было — я ведь тогда был в Варшаве и Святки хотел там провести. А дело известное, коли баба чего захочет, и не думай противиться, все равно ничего не добьешься. Княгиня о вас как мать родная заботится, а мне, чем противиться, лучше ей угодить, чтобы она поменьше слез лила и печалилась.

Збышко опять земно поклонился князю.

— Дай Бог, ваша милость, отблагодарить вас.

— Слава Богу, ты уже здоров. Скажи же княгине, что я принял тебя милостиво, она обрадуется! Боже ты мой! Ее радость — моя радость! Юранду я за тебя тоже словечко замолвлю, думаю, он даст свое согласие — он ведь тоже любит княгиню.

— Хоть и не захочет он дать своего согласия, мое право выше.

— Твое право выше, и он должен дать свое согласие, но может не дать вам своего родительского благословения. Силой его у Юранда не вырвешь, а без родительского благословения не будет вам и Божьего благословения.

Збышко, который об этом ни разу не подумал, очень встревожился. Но в эту минуту вошла княгиня с Ягенкой из Длуголяса и другими придворными паннами, и он поспешил поклониться ей; княгиня поздоровалась с ним еще милостивее, чем князь, и тотчас заговорила о том, что ждет приезда Юранда. Мол, и миски поставлены, и людей навстречу послали проводить гостей до самого замка. Ждать с ужином уже нельзя, князь этого не любит, да и гости, верно, приедут еще до конца ужина.

— А с Юрандом, — говорила княгиня, — все будет, как Бог пошлет. Я либо сегодня же все ему скажу, либо завтра это сделаю после заутрени; князь тоже обещал замолвить словечко. Упрям Юранд, но не с теми, кого любит, и не с теми, кому обязан.

Тут она стала поучать Збышка, как держаться с тестем, чтобы, не приведи Бог, не задеть и не прогневить его. Она надеялась, что все образуется; однако человек более искушенный и проницательный, чем Збышко, тотчас уловил бы в ее речах некоторую тревогу. Может, княгиня потому тревожилась, что пан из Спихова был человек крутого нрава, а может, потому, что он так долго не появлялся. Метель на улице пуще свирепела, и все говорили, что если непогода застигнет кого в поле, то его ждет верная гибель; но княгине думалось, что Дануська могла повиниться во всем отцу, а тот оскорбился и решил вовсе не приезжать в Цеханов. Впрочем, княгиня ничего не сказала об этом Збышку, да и времени уже не было: слуги стали вносить кушанья и расставлять их на столе. Збышко успел еще склониться к ее ногам и спросить:

— А если они приедут, как же тогда будет, милостивая пани? Мрокота сказал мне, что для Юранда есть отдельная горница, где найдется сено и для оруженосцев. А как же?..

Княгиня рассмеялась, хлопнула его легонько перчаткой по лицу и сказала:

— Перестань! Это еще что? Ишь ты какой!

И отошла к князю, которому приближенные уже придвинули кресло. Один из них подал сперва князю плоское блюдо, полное тонко нарезанных лепешек и облаток, которыми князь должен был оделить гостей, придворных и слуг. Другое такое же блюдо держал для княгини красивый юноша, сын сохачевского каштеляна. По другую сторону стола стоял ксендз Вышонец, который должен был освятить расставленные на душистом сене яства. Внезапно в дверях показался человек весь в снегу и

громко крикнул:

— Милостивый пан!

— Что такое? — спросил князь, недовольный тем, что нарушается обряд.

— На радзановской дороге совсем замело каких-то путников. Надо побольше людей, чтобы отрыть их.

Все испугались, встревожился и князь и, обратившись к сохачевскому каштеляну, крикнул:

— Верховых с лопатами, живо!

Затем к вестнику:

— Много людей замело?

— Мы не могли узнать. Метель страшная. Есть лошади и сани. Много слуг.

— Не знаете, чьи это слуги?

— Говорят, пана из Спыхова.

XXVII

Услыхав печальную весть, Збышко, даже не спросясь у князя, бросился в конюшню и велел седлать коней. Чех, как оруженосец благородного происхождения, находился в застольной, он едва успел сбегать за теплой лисьей шубой своему господину; будучи человеком умным, он и не пытался удержать его, так как знал, что это бесполезно, а промедление может быть смерти подобно. Вскочив на другого коня, чех схватил у привратника несколько факелов, и они тотчас двинулись в путь вместе с княжьими слугами, которых быстро снарядил старый каштелян. За воротами всадников окутала непроницаемая тьма; но метель как будто поутихла. За городом они, может, сбились бы с пути, если бы не тот человек, который первый дал знать о несчастье: при нем была собака, которая уже знала дорогу, и он быстро и уверенно ехал вперед. В чистом поле ветер снова стал хлестать в лицо всадникам, которые уже пустили коней вскачь. Дорогу замело, местами лежали такие сугробы, что приходилось замедлять бег, так как кони уходили в снег по самое брюхо. Княжьи слуги зажгли факелы и плашки и ехали в дыму и в пламени, а ветер дул с такой силой, словно хотел оторвать от смолистых щепок клочья дыма и языки пламени и умчать их в поля и леса. Путь был дальний; всадники миновали уже селения близ Цеханова и Недзбож, а затем свернули на Радзанов. За Недзбожем буря и в самом деле стала утихать. Порывы ветра были уже слабее и не несли с собою туч снега. Небо посветлело. Некоторое время еще валил снег, но вскоре и он перестал падать. Затем в разрывах туч кое-где блеснули звезды. Кони зафыркали, всадники вздохнули с облегчением. Звезд показывалось все больше и больше, мороз крепчал. Спустя некоторое время метель совсем прекратилась.

Господин де Лорш, который ехал рядом со Збышком, стал его успокаивать; он говорил, что в минуту опасности Юранд несомненно подумал прежде всего о спасении дочери, и если даже все замерзнут, то ее они непременно найдут живую и даже, может, спящую под шкурами. Збышко плохо понимал, что де Лорш говорит ему, да и времени для этого уже не было, так как провожатый, ехавший впереди, свернул с дороги.

Молодой рыцарь выехал вперед и спросил:

— Почему мы сворачиваем?

— Их замело не на дороге, а вон там! Видите, пан, вон тот ольшаник?

Он показал рукой на заросли, темневшие вдали, которые можно уже было различить на снежной равнине, так как диск луны пробился сквозь тучи и ночь стала ясной.

— Видно, сбились с дороги.

— Сбились с дороги и кружили у реки. В метель и бурю это часто случается. Кружили, кружили, покуда кони не остановились.

— Как же вы их нашли?

— Собака привела.

— Хат поблизости нет?

— Есть, только по ту сторону реки. Тут недалеко Вкра.

— Гони! — крикнул Збышко.

Но приказать было легче, чем выполнить приказание, — хотя мороз и крепчал, но на лугу свежевыпавший, глубокий и сыпучий снег еще не смерзся, кони проваливались выше колен, и подвигаться вперед приходилось медленно. Внезапно до слуха всадников донесся лай собаки, впереди замаячил толстый и кривой ствол ивы, над которым в лунном сиянии блестела крона безлистных ветвей.

— Те подальше, — сказал провожатый, — неподалеку от ольшаника; но и тут кто-то есть.

— Под ивой сугроб. Ну-ка посветите!

Несколько княжьих слуг соскочили с коней и стали светить факелами; вскоре один из них крикнул:

— Человек под снегом! Вон видна голова!

— А вот и конь! — воскликнул другой.

— Отрыть!

Лопаты врезались в снег и стали откидывать его в стороны.

Через минуту показалась фигура человека, который сидел под деревом, склонив голову на грудь и низко надвинув шапку. Одной рукой он держал за повод коня, который лежал рядом, уткнувшись мордой в снег. Человек отъехал, видно, от своих, быть может, для того, чтобы скорее пробиться к жилью и привести людей на помощь, а когда конь пал, укрылся с подветренной стороны под ивой — и там замерз.

— Посветите! — крикнул Збышко.

Слуга поднес факел к лицу умершего, но черты его трудно было распознать. Только когда другой слуга поднял склоненную голову, у всех вырвался крик:

— Пан из Спыхова!

Збышко велел двум слугам поднять его и везти в ближайшую хату, сам же, не теряя ни минуты, бросился с оставшимися слугами и провожатым на

спасение остального поезда. По дороге он думал о том, что найдет там, может, Дануську, жену свою, уже мертвую, и во весь опор гнал коня, уходившего в снег по самую грудь. К счастью, уже было недалеко — не больше двухсот шагов. «Сюда!» — донеслись из темноты голоса тех, кто остался около занесенного снегом поезда. Збышко подъехал к людям и соскочил с коня.

— За лопаты!

Двое саней были уже отрыты. Лошади и люди замерзли так, что на спасение их не было никакой надежды. По снежным холмикам можно было догадаться, где остальные упряжки; впрочем, не все сани замело целиком. Около некоторых виднелись лошади; по брюхо в сугробах, они, казалось, рвались вперед и замерзли в последнем усилии. Перед одной парой лошадей стоял неподвижно, как столб, человек по пояс в снегу с копьем, зажатым в руке; остальные слуги заоченели около лошадей, держа их под уздцы. Смерть настигла их, видно, в минуту, когда они хотели вытащить лошадей из сугробов. Одна упряжка в самом хвосте поезда совсем не была засыпана снегом. Возница сидел, согнувшись на облучке, зажав руками уши; позади него лежали двое; на грудь их намело длинные полосы снега; соединясь с соседним сугробом, эти полосы прикрыли их, как пуховиком, и казалось, что мертвые спят спокойным и тихим сном. Другие погибли, борясь с метелью до последней минуты, и замерзли в позах, полных напряжения. Некоторые сани опрокинулись; у других были поломаны дышла. Ежеминутно лопаты отрывали изогнутые дугой конские хребты или головы, уткнувшиеся мордами в снег, людей на санях и рядом с санями; однако нигде не было обнаружено ни одной женщины. Збышко то работал лопатой так, что пот заливал ему лицо, то с бьющимся сердцем подносил факел к глазам трупов, ожидая увидеть любимое лицо, — все было напрасно! Пламя освещало только грозные усатые лица спыховских вояк — ни Дануси, ни другой какой-либо женщины не было нигде.

— Что бы это могло значить? — вопрошал в изумлении молодой рыцарь.

И кричал людям, работающим поодаль, не откопали ли они женщину; но те находили одних только мужчин. Наконец работа была окончена. Слуги запрягли в сани собственных коней и, усевшись на облучки, двинулись с замерзшими к Недзбожу, чтобы попытаться в тепле хоть кого-нибудь из них вернуть к жизни. Збышко остался с чехом и двумя слугами. Ему пришло в голову, не отделились ли сани с Данусей от поезда: в них, надо полагать, были запряжены самые лучшие лошади, и Юранд мог распорядиться, чтобы они ехали вперед, а нет, так оставил их, может, где-

нибудь при дороге около хаты. Збышко не знал, что предпринять; во всяком случае, он хотел осмотреть все ближайшие сугробы и ольшаник, а потом вернуться и искать на дороге.

Однако в сугробах они ничего не нашли. В ольшанике перед ними сверкнули несколько раз волчьи глаза, но и там они нигде не наткнулись на следы лошадей и людей. Луг между ольшаником и дорогой блестел теперь в лунном сиянии, и на белой унылой его пелене виднелись вдали там и тут темные пятна; но это тоже были волки, которые при приближении людей быстро убегали.

— Ваша милость, — сказал наконец чех, — напрасно мы ездим и ищем — панны из Спыхова не было в поезде.

— На дорогу! — приказал Збышко.

— Мы не найдем ее и на дороге. Я все смотрел, нет ли где на санях коробов с женскими нарядами. Ничего я не нашел. Панна осталась в Спыхове.

Мысль была правильная, и пораженный Збышко сказал:

— Дай Бог, чтобы так оно было, как ты говоришь.

А чех продолжал строить догадки:

— Старый пан не оставил бы дочку одну на санях: уезжая, он посадил бы ее с собой на коня, и мы нашли бы ее вместе с ним.

— Пойдем туда еще раз, — велел встревоженный Збышко.

Ему подумалось, что так оно, может, и было, как говорит чех. А что, если они плохо искали! А что, если Юранд посадил Данусю с собой на коня, а потом, когда конь пал, Дануся отошла от отца, чтобы позвать на помощь! Тогда ее, может, замело снегом где-нибудь неподалеку от него.

Точно угадав его мысли, Гловач сказал:

— Тогда на санях мы нашли бы ее наряды; не могла же она поехать ко двору в чем была.

Как ни справедлив был этот довод, они все же направились к иве; но ни под нею, ни на полсотни шагов в окружности ничего не нашли. Юранда князьки слуги уже увезли в Недзбож, и кругом было совершенно пусто. Чех сказал, что собака провожатого, которая нашла Юранда, нашла бы и панночку. Збышко вздохнул тогда с облегчением, почти уверившись в том, что Дануся осталась дома. Он даже представил себе, как это могло случиться: Дануся, видно, во всем повинилась отцу, но не смогла уломать его, и он нарочно оставил ее дома, а сам поехал к князю жаловаться и искать заступничества перед епископом. Подумав вдруг, что со смертью Юранда исчезли все препятствия, разделявшие его с Данусей, Збышко невольно вздохнул с облегчением и даже ощутил радость в сердце. «Юранд

не хотел, да Бог захотел, — сказал про себя молодой рыцарь, — а воля Божья всегда сильнее». Теперь ему остается только ехать в Спыхов и забрать свою Дануську, а потом уже выполнить обет, что на границе легче сделать, чем в далеком Богданце. «Воля Божья, воля Божья!» — все повторял он про себя; но вдруг сразу устыдился своей радости и, обратившись к чеху, сказал:

— Жаль мне его, прямо тебе говорю.

— Народ толкует, что немцы боялись его пуще огня, — заметил оруженосец.

Через минуту он спросил:

— Теперь в замок вернемся?

— Через Недзбож, — ответил Збышко.

Они въехали в Недзбож и направились в шляхетскую усадьбу, где их принял старый хозяин, Желех. Юранда они уже не нашли, но Желех сообщил им радостную весть.

— Оттирали его тут снегом, чуть не до костей, — сказал он, — и вино вливали в рот, а потом в бане парили, там он и задышал.

— Жив? — с радостью спросил Збышко, который, услышав эту новость, забыл про все свои дела.

— Жив-то жив, да вот бог его знает, выживет ли, ведь душа неохотно с полпути возвращается.

— Почему его увезли?

— От князя за ним прискакали. Сколько было перин в доме, все на него навалили и увезли.

— О дочке он ничего не говорил?

— Он только задышал, языком еще не владел.

— А как остальные?

— А те уж у Бога за печкой. Не попасть уж им, бедным, нынче к заутрене, разве только к той, которую Сам Христос служит на небе.

— Ни один не ожил?

— Ни один. Чем в сенях-то разговаривать, зашли бы в горницу. А коли поглядеть на них хотите, так они в людской лежат у огня. Пойдемте в горницу.

Однако Збышко торопился и не захотел зайти, как ни тянул его старый Желех, который любил «побеседовать» с народом. До Цеханова было еще довольно далеко, а Збышко рвался туда — он хотел поскорее увидеть Юранда и хоть что-нибудь узнать у него о Данусе.

Они торопливо скакали по заметенной снегом дороге. Было уже за полночь, когда они приехали, и в часовне замка как раз кончилась заутреня.

До слуха Збышка донеслось мычание и блеяние: это, по старому обычаю, мычали и блеяли молящиеся в память о том, что Христос родился в яслях. После службы к Збышку вышла княгиня, лицо ее было печально и тревожно.

— А Дануська? — спросила она.

— Ее нет. Разве Юранд не сказал вам — я слышал, что он остался жив.

— Боже милостивый!.. Попущение на нас! Горе-то какое! Не смотрит Юранд и лежит недвижимо.

— Не бойтесь, милостивая пани. Дануська осталась в Спыхове.

— Откуда ты знаешь?

— На санях нет и следа ее нарядов. Не повез же он ее в одной шубке.

— Правда, истинный Бог, правда!

И глаза ее блеснули радостью.

— О младенец Иисус, ныне родившийся, — воскликнула она, — не гнев, видно, твой, но милость над нами.

Однако ее смутило то обстоятельство, что Юранд приехал без дочери, и она снова спросила Збышка:

— Почему же он ее оставил дома?

Збышко высказал ей свои предположения. Ей показалось, что он прав, однако особых опасений его догадки у нее не вызвали.

— Юранд теперь, — заметила она, — будет обязан нам, а по правде сказать, и тебе, своим спасением, ведь ты тоже ездил его откапывать. Не сердце, а камень должно быть у него, коли и теперь он станет упираться! Это будет ему и предостережением от Бога, чтобы не смел воевать против священного таинства. Вот очнется он и заговорит, я ему тотчас скажу об этом.

— Сперва пусть очнется, мы ведь еще не знаем, почему он не взял Дануськи. А вдруг она захворала?

— Не болтай глупостей! И так я тоскую, что нет ее. Если бы она захворала, он бы ее не бросил!

— Это верно! — сказал Збышко.

И они пошли к Юранду. В горнице было жарко, как в бане, и совсем светло от пылавших в камине огромных сосновых поленьев. Ксендз Вышонец бодрствовал над больным, который лежал на постели под медвежьими шкурами, бледный, с волосами, слившимися от пота, и закрытыми глазами. Рот у рыцаря был открыт, дышал он тяжело и трудно, так что шкуры от дыхания поднимались и опускались на груди.

— Ну как он? — спросила княгиня.

— Я влил ему в рот ковшик подогретого вина, — ответил ксендз

Вышонец, — у него теперь испарина.

— Он спит или не спит?

— Может, и не спит, уж очень тяжело дышит.

— А вы не пробовали говорить с ним?

— Пробовал, да он ничего не отвечает; думаю, что до рассвета не заговорит.

— Придется ждать рассвета, — сказала княгиня.

Ксендз Вышонец настаивал, чтобы она пошла отдохнуть, но княгиня и слышать об этом не хотела. В христианских добродетелях, в том числе и в уходе за больными, ей всегда хотелось стать равной покойной королеве Ядвиге и спасти своими заслугами душу отца; поэтому она не упускала случая показать в этой с давних пор христианской стране свою набожность и тем самым изгладить в памяти народа то, что она родилась в язычестве.

Кроме того, она горела желанием узнать из уст Юранда о Данусе, судьба которой ее все-таки беспокоила. Усевшись около постели больного, она стала читать молитвы, а затем задремала. Збышко был еще не совсем здоров и к тому же страшно утомился от ночной езды, поэтому вскоре последовал ее примеру, и не прошло и часа, как оба они заснули крепким сном и проспали бы, может, до утра, если бы на рассвете их не разбудил колокольчик замковой часовни.

Но этот колокольчик разбудил и Юранда; открыв глаза, старый рыцарь сел вдруг на постели и стал озираться кругом, моргая глазами.

— Слава Иисусу Христу!.. Как ваше здоровье? — спросила княгиня.

Но Юранд, видно, еще не совсем очнулся, он воззрился на княгиню, как будто не узнавая ее, и через минуту крикнул:

— Сюда! Сюда! Разрывайте сугроб!

— Господи помилуй, да ведь вы уже в Цеханове! — снова воскликнула княгиня.

Юранд наморщил лоб, точно никак не мог собраться с мыслями, и переспросил:

— В Цеханове?.. Дочка меня ждет... князь с княгиней... Дануська! Дануська!..

И, закрыв вдруг глаза, он снова повалился на постель. Збышко и княгиня испугались, не умер ли он, но грудь его в ту же минуту стала вздыматься, как в глубоком сне.

Отец Вышонец приложил палец к губам, сделал знак рукой, чтобы не будили больного, и прошептал:

— Он может проспать так целый день.

— Да, но что он говорил? — спросила княгиня.

- Он говорил, что Дануся ждет его в Цеханове, — ответил Збышко.
- Это он еще не очнулся, — объяснил ксендз.

XXVIII

Отец Вышонец опасался, что и после нового пробуждения у Юранда может опять помрачиться сознание и он снова может надолго впасть в беспамятство. А пока ксендз пообещал княгине и Збышку дать знать, как только старый рыцарь заговорит, и, когда те ушли, тоже отправился спать. Юранд проснулся только на второй день праздника, когда время подошло к полудню; он был уже в полном сознании. Княгиня и Збышко присутствовали при его пробуждении. Юранд сел на постели, взглянул на княгиню и, тотчас признав ее, воскликнул:

— Милостивая пани... Ради Бога, неужто я в Цеханове?

— Вы и праздник проспали, — ответила княгиня.

— Снегом меня замело. Кто меня спас?

— Да вот этот рыцарь, Збышко из Богданца. Помните, в Кракове...

Юранд устремил на юношу здоровый глаз и сказал:

— Помню... А где Дануська?

— Разве ее не было с вами? — с беспокойством спросила княгиня.

— Как же она могла быть со мной, коли я ехал к ней?

Збышко и княгиня переглянулись, они подумали, что Юранд все еще бредит.

— Что вы, опомнитесь! — сказала княгиня. — Да разве Дануси не было с вами?

— Дануси? Со мной? — переспросил в изумлении Юранд.

— Слуги ваши погибли, а ее не нашли. Почему вы оставили ее в Спыхове?

Юранд еще раз переспросил, но уже с тревогой в голосе:

— В Спыхове? Да ведь она не у меня, а у вас, милостивая пани!

— Вы же прислали за нею к нам в лесной дом слуг с письмом!

— Во имя Отца и Сына! — воскликнул Юранд. — Я никого не присылал.

Внезапная бледность покрыла лицо княгини.

— Что такое? — спросила она. — Вы уверены, что вы в памяти?

— Милосердный Боже, где моя дочь? — вскричал, срываясь с постели, Юранд.

Отец Вышонец при этих словах поспешно вышел из горницы.

— Послушайте, — продолжала княгиня, — к нам в лесной дом приехали вооруженные слуги с письмом от вас, вы просили в письме

отправить к вам Дануську. Вы писали, что вас придавило балкой на пожаре... что вы чуть совсем не ослепли и хотите видеть дочь. Слуги взяли Дануську и уехали...

— Горе мне! — воскликнул Юранд. — Клянусь Богом, никакого пожара в Спыхове не было и я никого за ней не посылал!

Тут вернулся ксендз Вышонек с письмом; он протянул его Юранду и спросил:

— Это ваш ксендз писал?

— Не знаю.

— А чья печать?

— Печать моя. Что написано в письме?

Отец Вышонек стал читать письмо. Юранд слушал, хватаясь за голову; когда ксендз кончил читать, он воскликнул:

— Письмо подложное!.. Печать поддельная! Горе мне! Они похитили мою дочь и погубят ее!

— Кто?

— Крестоносцы!

— Раны Божьи! Надо сказать князю! Пусть шлет послов к магистру! — воскликнула княгиня. — Иисусе милостивый! Спаси ее и помилуй!..

И она с криком выбежала из горницы. Юранд сорвался с постели и стал лихорадочно натягивать одежды на свое могучее тело. Збышко сидел в оцепенении, но через минуту в ярости заскрежетал зубами.

— Откуда вы знаете, что ее похитили крестоносцы? — спросил ксендз Вышонек.

— Клянусь всем святым!

— Погодите! Так оно, может, и есть. Они приезжали в лесной дом жаловаться на вас... Требовали возмездия...

— И они похитили ее! — внезапно воскликнул Збышко.

С этими словами он выбежал вон, бросился в конюшню и велел закладывать сани и седлать коней, сам толком не зная, зачем он это делает. Он сознавал только одно: надо ехать спасать Данусю — и притом немедленно, и притом в самую Пруссию, — надо вырвать ее из вражеских рук или погибнуть.

Вернувшись в горницу, Збышко сказал Юранду, что оружие и кони сейчас будут готовы. Он был уверен, что Юранд поедет с ним. Юноша пылал гневом, сердце его надрывалось от муки и жалости, и все же он не терял надежды, ему казалось, что вдвоем с грозным рыцарем из Спыхова они всех одолеют, смогут ударить даже на всю крестоносную рать.

В горнице, кроме Юранда, отца Вышонека и княгини, он застал князя и господина де Лорша, а также старого пана из Длуголяса, которого князь, узнав о происшедшем, тоже призвал на совет, как человека разумного, отлично знавшего крестоносцев, у которых он провел долгие годы в неволе.

— Надо действовать осторожно, чтобы горячностью не испортить дела и не погубить девушку, — говорил пан из Длуголяса. — Немедля надо жаловаться магистру; коли вы, вельможный князь, дадите послание, я поеду к нему.

— И послание я дам, и к магистру вы поедете, — сказал князь. — Клянусь Богом, не дадим погибнуть дитяти! Магистр боится войны с польским королем, он хочет, чтобы я и брат мой Семко стали на его сторону... Нет, не по его повелению похитили крестоносцы Дануську, и он прикажет отдать ее.

— А если по его повелению? — спросил ксендз Вышонек.

— Хотя он и крестоносец, однако честнее их всех, — возразил князь, — да и я уже сказал, что не стал бы он теперь гневить меня, а скорее постарался бы угодить. Могущество Ягайла — не шутка... Эх и донимали они нас, покуда могли, а теперь спохватились, что, коли еще мы, мазуры, поможем Ягайлу, худо им придется...

— Это верно, — заговорил пан из Длуголяса. — Крестоносцы зря ничего не делают; уж коли они похитили девушку, так, думаю, для того, чтобы выбить меч из рук Юранда и либо выкуп взять, либо обменять ее.

Затем он обратился к пану из Спыхова:

— Кто у вас сейчас из невольников?

— Де Бергов, — ответил Юранд.

— Он что, из вельможных?

— Должно быть, из вельможных.

Услыхав имя Бергова, господин де Лорш стал о нем расспрашивать.

— Он — родич графа Гельдернского, — сказал лотарингский рыцарь, узнав, в чем дело, — великого покровителя ордена, чья фамилия имеет перед орденом большие заслуги.

— Это правда, — заметил пан из Длуголяса, переводя присутствующим слова де Лорша. — Члены этой фамилии были в ордене большими начальниками.

— Не зря Данфельд и де Лёве так рьяно за него вступились, — сказал князь. — Только и кричали, что надо де Бергова отпустить на волю. Клянусь Богом, они похитили девушку только для того, чтобы вырвать его из неволи.

— Ну, тогда они вернут Дануську за де Бергова, — вмешался ксендз.

— Хорошо было бы знать, где она, — сказал пан из Длуголяса. — А ну, магистр спросит: кому я должен повелеть отдать вам ее? Что мы ему тогда скажем?

— Где она? — глухо сказал Юранд. — Да уж, верно, не станут они держать ее на границе, побоятся, что отобью ее, увезут куда-нибудь подальше, к устью Вислы или к самому морю.

Збышко произнес:

— Найдем и отобьем.

Князь долго сдерживался, а тут вдруг воскликнул:

— Из моего дома тевтонские псы ее похитили и мне нанесли обиду! Пока жив, не прощу я им этого! Довольно измен! Довольно набегов! Лучше вурдалаков иметь соседями! Ну, теперь уж магистру придется покарать этих комтуров и вернуть девушку, а ко мне послов прислать с повинной. Иначе я разошлю вицы!^[81]

Он ударил кулаком по столу и прибавил:

— Небось за мной пойдет брат мой из Плоцка, и Витовт, и вся держава короля Ягайла. Довольно потворствовать им! У святого и то лопнуло б терпенье! С меня довольно!

Все умолкли, ожидая, пока укротится гнев князя. Анна Данута очень обрадовалась, что князь так близко принял к сердцу дело Дануси; она знала, что он терпелив, но и упорен, и уж если возьмется за дело, то не отступится, пока не поставит на своем.

После этого слово взял ксендз Вышонец.

— Когда-то в ордене никто не выходил из послушания, — сказал он, — и самолично, без позволения капитула и магистра, ни один комтур ничего не смел предпринять. Поэтому Бог отдал им в руки столь обширные земли и возвысил их чуть ли не над всеми земными державами. Но теперь нет у них ни послушания, ни правды, ни чести, ни веры. Ничего, одна только алчность да злоба такая, словно не люди они, а волки. Как же им внимать повелениям магистра или капитула, когда они не внемлют велениям Бога? Сидят, как удельные князья, по своим замкам и помогают друг другу творить зло. Мы пожалуемся магистру, а они откажутся. Магистр велит им отдать девушку, а они не отдадут или скажут: «Нет ее у нас, мы ее не похищали». Он велит им поклясться в этом, так они и клятву дадут. Что нам тогда делать?

— Что делать? — спросил пан из Длуголяса. — Пусть Юранд едет в Спыхов. Коли крестоносцы похитили Дануську для того, чтобы выкуп получить или обменять ее на де Бергова, так они должны дать знать об этом, и, уж конечно, не кому иному, как Юранду.

— Ее похитили те, что приезжали в лесной дом, — сказал ксендз.
— Тогда магистр передаст их суду или велит драться с Юрандом.
— Они со мной должны драться, — воскликнул Збышко, — я первый послал им вызов!

А Юранд отнял руки от лица и спросил:

— Кто же был в лесном доме?

— Данфельд был, старый де Лёве да двое братьев: Готфрид и Ротгер, — ответил ксендз. — Они жаловались, требовали, чтобы князь велел вам отпустить де Бергова на волю. Но князь, как узнал от де Фурси, что немцы первые напали на вас, накричал на них, и они несолоно хлебавши убрались.

— Поезжайте в Спыхов, — сказал князь, — крестоносцы явятся туда. Они потому еще не явились, что оруженосец этого молодого рыцаря изломал Данфельду руку, когда привез им вызов. Поезжайте в Спыхов и, когда крестоносцы приедут, дайте мне знать. Они отдадут вам дочь за де Бергова; но я им все равно не прощу: из моего дома они ее похитили и мне нанесли этим обиду.

Князь опять распалился гневом, мера его терпения была и впрямь переполнена.

— Шутили, шутили они с огнем, — прибавил он через минуту, — небось теперь обожгутся.

— Да они ото всего откажутся! — повторил ксендз Вышонек.

— Коли дадут Юранду знать, что девушка у них, так уж не смогут отказаться, — с легким нетерпением возразил Миколай из Длуголяса. — И я так думаю, что они не держат ее неподалеку от границы — Юранд это справедливо заметил, — они увезли ее подальше, в какой-нибудь замок или вовсе к морю; но коли будет доказано, что это их рук дело, так у магистра им небось не отвертеться.

А Юранд стал повторять странным и вместе с тем ужасным голосом:

— Данфельд, Лёве, Готфрид, Ротгер...

Миколай из Длуголяса посоветовал также послать в Пруссию бывалых и хитрых людей, которые могли бы выведать в Щитно и в Янсборке, там ли Дануся, а если ее там нет, то дознаться, куда ее увезли; затем князь взял свой посох и вышел отдать распоряжения, а княгиня, желая обласкать Юранда, спросила:

— Каково вам-то?

Юранд с минуту времени ничего не отвечал, словно и не слышал вопроса, а потом вдруг произнес:

— Так, будто кто мне нож всадил в старую рану.

— Уповайте на милосердие Божие; вернется Дануська, только отдайте им де Бергова.

— Собственной крови я не пожалел бы.

Княгиня не знала, говорить ли ему сейчас о том, что Дануська и Збышко обвенчались, но, пораздумав, решила, что не стоит прибавлять новых огорчений к тяжким несчастьям, обрушившимся на Юранда, да и какой-то смутный страх ее обнял. «Они будут искать ее со Збышком, пускай Збышко при случае скажет ему, — подумала она, — а то сейчас он бы совсем ума решился». Княгиня предпочла поговорить о другом.

— Вы нас не вините, — сказала она. — Приехали люди в таких же кафтанах, как у ваших слуг, с письмом, скрепленным вашей печатью; в письме говорилось, что вы больны, что свет у вас отнимается и что вы еще раз хотите взглянуть на свою доченьку. Как же могли мы воспротивиться и не выполнить отцовскую волю?

Юранд склонился к ее ногам.

— Я никого не виню, милостивая пани.

— Знайте, Бог вернет вам вашу дочь, ибо хранит ее всевидящее око. Он ниспошлет ей спасение, как ниспослал на последней охоте, когда свирепый тур напал на нас и Збышко, по наитию свыше, стал на нашу защиту. Збышко сам едва не поплатился жизнью и долго хворал после этого, но спас и Дануську, и меня, за что князь дал ему пояс и шпоры. Вот видите!.. Десница Господня хранит Данусю. Что и говорить, жаль ее! Я думала, что она приедет с вами, что я увижу ее, мою милую, а вот оно что...

Голос задрожал у княгини, и слезы полились у нее из глаз, а Юранд, который долго сдерживался, на мгновение предался отчаянию, внезапному и страшному, как порыв бури. Он вцепился руками в свои длинные волосы и со стоном стал биться головой о стену, хриплым голосом повторяя:

— О Иисусе! Иисусе! Иисусе!

Но Збышко бросился к нему, потряс его изо всей силы за плечи и крикнул:

— В путь пора! В Спыхов!

XXIX

— Чьи это слуги? — спросил вдруг за Радзановом Юранд, который ехал все время погруженный в задумчивость, а сейчас словно очнулся ото сна.

— Мои, — ответил Збышко.

— А мои все погибли?

— Я видел их мертвых в Недзбоже.

— Нет моих старых соратников!

Збышко ничего не ответил, и они в молчании торопились дальше, чтобы поскорее добраться до Спыхова, где надеялись застать посланцев от крестоносцев. По счастью, снова трещали морозы, дороги были укатаны, и путники могли быстро подвигаться вперед. Под вечер Юранд снова заговорил, он стал спрашивать о крестоносцах, приезжавших к князю в лесной дом, и Збышко рассказал ему все — и о том, как они жаловались князю, и о том, как уехали, и о том, как погиб господин де Фурси, и о том, как страшно изломал чех руку Данфельду; когда он обо всем этом рассказывал, его поразило вдруг одно обстоятельство: он вспомнил о той женщине, которая привезла от Данфельда в лесной дом целительный бальзам. На привале Збышко стал расспрашивать о ней чеха и Сандеруса; но оба они не знали толком, что с нею случилось. Им казалось, что она уехала не то вместе с людьми, присланными за Данусей, не то вскоре после них. Збышку пришло сейчас в голову, что ее могли подослать для того, чтобы было кому предупредить этих людей, в случае если бы Юранд сам приехал в лесной дом. Они тогда не стали бы выдавать себя за его слуг, а вручили бы княгине вместо подложного письма от Юранда другое письмо, которое могло у них быть наготове. Все это было подстроено с дьявольской хитростью, и молодой рыцарь, который до этого знал крестоносцев только по битвам, первый раз подумал о том, что одного кулака на них мало, что надо уметь побеждать их и головой. Мысль эта неприятно его поразила, ибо тяжкое бедствие, постигшее его, и страдания пробудили в нем прежде всего жажду битвы и крови. Даже спасение Дануси представлялось ему цепью сражений или поединков; а теперь он понял, что придется, пожалуй, укротить это желание мстить и рубить головы с плеч, держать его, как медведя, на цепи и искать совершенно новых путей спасения Дануси. Подумав об этом, он пожалел, что с ним нет Мацька. Мацько был так же хитер, как и отважен. Впрочем, Збышко сам решил послать Сандеруса из

Спыхова в Щитно и поручить ему разыскать эту женщину и попытаться выведать у нее, что случилось с Данусей. Он говорил себе, что если Сандерус вздумает изменить ему, это не особенно повредит делу, а если он сохранит ему верность, то может во многом помочь, так как ремесло у него было такое, что открывало ему доступ повсюду.

Однако Збышко хотел сперва посоветоваться обо всем с Юрандом и отложил это дело до приезда в Спыхов, тем более что спустилась ночь и молодому рыцарю показалось, что Юранд так устал и измучился, так был удручен горем, что уснул в своем высоком рыцарском седле. Но Юранд поник головой только потому, что его придавила беда. Видно, старый рыцарь о ней только и думал, и сердце его было полно страшных опасений, потому что он внезапно сказал:

— Лучше было мне замерзнуть под Недзбожем! Ты меня откопал из-под снега?

— Не я один, с другими.

— И на охоте ты спас мою дочь?

— Как же я мог поступить иначе?

— И теперь мне поможешь?

Сердце Збышка загорелось вдруг такой любовью к Дануське и такой ненавистью к обидчикам-крестоносцам, что он привстал в седле и сквозь зубы, так, точно ему тяжело было говорить, произнес:

— Вот что скажу я вам: коли голыми руками придется брать прусские земли, и то я захвачу их и вырву ее из неволи.

Наступило минутное молчание. Под влиянием слов Збышка в Юранде заговорил его мстительный и неукротимый дух, старый рыцарь заскрежетал в темноте зубами и снова стал повторять имена:

— Данфельд, Лёве, Ротгер, Готфрид!

Он думал о том, что, если крестоносцы потребуют отдать им де Бергова, он отдаст его, если потребуют приплатить, он приплатит, даже весь Спыхов отдаст, но горе тому, кто поднял руку на его единственное дитя!

За всю ночь оба рыцаря не сомкнули глаз. Утром они едва узнали друг друга, так за одну эту ночь изменились их лица. Видя, как страдает Збышко и как ожесточилось его сердце, пораженный Юранд сказал:

— Она накинула на тебя покрывало и спасла тебя от смерти — я знаю это. Но ты ее любишь?

Збышко поглядел ему прямо в глаза и смело ответил:

— Она жена моя.

Юранд осадил коня и воззрился на Збышка, изумленно моргая

глазами.

— Как ты сказал? — переспросил он.

— Я сказал, что она жена моя, а я ее муж.

Словно ослепленный внезапной вспышкой молнии, рыцарь из Спыхова прикрыл перчаткой глаза, но ничего не ответил; затем он тронул коня, проехал вперед и в молчании поскакал дальше.

Но Збышко, следовавший за старым рыцарем, не мог долго выдержать, он сказал про себя: «Чем таить злобу, по мне, уж пусть лучше вспыхнет гневом». Он догнал Юранда и, тронув стремям его стремя, заговорил:

— Послушайте, как все это было. Что Дануська сделала для меня в Кракове, это вы знаете, но вы не знаете, что в Богданце мне сватали Ягенку, дочку Зыха из Згожелиц. И дядя мой, Мацько, хотел, чтобы я на ней женился, и отец ее, Зых, хотел, и аббат, наш богатый родич, тоже хотел... Да что там долго рассказывать! Хорошая девушка и как лань красивая, да и приданое богатое. Но не мог я жениться на ней. Жаль мне было Ягенки, но еще больше тосковал я по Дануське, вот и уехал я к ней в Мазовию, потому что жить без нее больше не мог, как на духу говорю вам. Вспомните, как вы сами любили, вспомните! И тогда дивиться не станете.

Збышко прервал свой рассказ, ожидая, что Юранд что-нибудь скажет; но тот молчал, и юноша стал рассказывать дальше:

— На охоте с Божьей помощью спас я от тура княгиню и Дануську. И княгиня мне сказала тогда: «Не станет теперь Юранд противиться, как же не отплатить тебе за твой подвиг?» Но без вашего родительского благословения я тогда и не помышлял на Данусе жениться. Да и как мне было жениться, когда лютый зверь помял меня так, что я жив остался только чудом. А потом, вы знаете, приехали эти люди за Дануськой, будто бы в Спыхов хотели ее увезти, а я и с постели еще не вставал. Думал, что никогда уж ее не увижу. Думал, что возьмете вы ее в Спыхов да и отдадите там за кого-нибудь замуж. Ведь в Кракове вы мне не дали согласия... Ну а я уж думал, что смерть моя близко. Господи Боже мой, что это была за ночь! Одна тоска да печаль! Думал я, уедет она, и закатится для меня красное солнышко. Вы поймите любовь мою и муку мою поймите...

На мгновение у Збышка голос задрожал от слез, но сердца он был мужественного и совладал с собою.

— Эти люди, — продолжал он, — за нею приехали вечером и тотчас хотели ее увезти; но княгиня велела им ждать до утра. Тут-то меня и осенило: поклонись в ноги княгине и проси ее отдать тебе Дануську. Думал: помру, хоть одна мне будет утеха. Вспомните, что Дануська должна была уехать, а я оставался больной и ждал смерти. Не было у нас времени просить вашего согласия. Князь уехал уже из лесного дома, и княгиня не знала, на что решиться, не с кем было ей посоветоваться. И все же

смиловались они надо мною с ксендзом, и обвенчал нас отец Вышонек с Дануськой... Божья власть, Божий закон...

Юранд прервал его глухим голосом:

— И Божья кара.

— За что же карать нас? — спросил Збышко. — Вы только про то подумайте, что до венца прислали людей за Дануськой, и хоть повенчал бы нас ксендз, хоть нет, все едино ее увезли бы.

Но Юранд снова ничего не ответил и ехал вперед угрюмый, замкнувшись в себе, и лицо у него стало каменное, так что Збышко, который сперва почувствовал облегчение, как всегда, когда человек откроет тайну, которую долго хранил, испугался в душе и подумал с тревогой, что старый рыцарь затаил теперь гнев и что отныне они будут друг другу чужими, будут врагами.

Гнетущая тоска легла ему на сердце. С того времени, как уехал он из Богданца, никогда еще не было ему так тяжело. Он думал теперь, что нет никакой надежды на примирение с Юрандом и, что еще хуже, на спасение Дануськи, что все пошло прахом и что впереди его ждут еще горшие беды, еще горшая ждет его участь. Но такая уж была его натура, что недолго он предавался унынию, тотчас овладели им гнев, желание спорить, сражаться. «Он не хочет дать своего согласия, — сказал про себя Збышко о Юранде, — что ж, коли рознь, так рознь, будь что будет!» Он готов был в эту минуту схватиться даже с Юрандом. Одно им владело желание — сразиться с кем угодно и за что угодно, только бы что-нибудь делать, только бы дать выход своему гневу, горьким своим сожалениям, только бы найти хоть какое-нибудь облегчение.

Тем временем они подъехали к корчме на распутье, которая называлась «Светлячок»; возвращаясь от князя в Спыхов, Юранд всегда останавливался в этой корчме, чтобы дать отдохнуть людям и лошадям. Он невольно сделал это и сейчас. Через минуту оба они со Збышком уже входили в отдельную комнату. Вдруг Юранд остановился перед молодым рыцарем и, впившись в него глазами, спросил:

— Так это ты ради нее сюда приехал?

Тот жестко ответил:

— Думаете, я стану отказываться?

И устремил на Юранда глаза, готовый на вспышку гнева ответить такой же вспышкой. Но лицо старого воина выражало не злобу, а одну лишь бесконечную печаль.

— И дочку мою ты спас? — спросил он через минуту. — И меня откопал из-под снега?

Збышко с изумлением посмотрел на старого рыцаря, опасаясь, не мутится ли у него ум, — Юранд повторял те же вопросы, которые уже задавал ему раньше.

— Присядьте, — сказал юноша, — я вижу, вы еще очень слабы.

Но Юранд положил Збышку руки на плечи и вдруг крепко прижал изумленного юношу к груди; опомнившись, тот обнял старого рыцаря, и они долго сжимали друг друга в объятиях, связанные общей бедою и общей горькой участью.

Когда они выпустили друг друга из объятий, Збышко обхватил еще руками колени старого рыцаря и со слезами на глазах стал целовать ему руки.

— Вы не станете больше противиться? — спросил он.

— Я потому противился, — ответил Юранд, — что обещал ее Богу.

— Вы обещали ее Богу, а Бог мне. Такова Его воля!

— Такова Его воля! — повторил Юранд. — Но теперь нам надо молить Его о милосердии.

— Кому же Бог поможет, как не отцу, который ищет свое дитя, как не мужу, который ищет свою жену? Не станет же Он помогать разбойникам.

— А все-таки ее похитили, — возразил Юранд.

— А вы отдадите крестоносцам де Бергова.

— Я отдам все, что они пожелают.

Но при мысли о крестоносцах в нем проснулась вдруг старая ненависть, злое чувство, как пламя, охватило его, и он прибавил сквозь зубы:

— А в придачу они получают то, чего не желают.

— Я тоже поклялся отомстить им, — произнес Збышко, — но сейчас нам надо спешить в Спыхов.

И он стал торопить с отъездом. Когда слуги покормили коней и сами немного отогрелись в тепле, поезд снова тронулся в путь, хотя на дворе уже сгущались сумерки. Путь предстоял еще дальний, к ночи крепчал мороз. Юранд со Збышком еще не совсем поправились и ехали поэтому на санях. Збышко рассказал старому рыцарю про своего дядю Мацька, про то, как скучает он без старика и жалеет, что нет его с ними, потому что им очень пригодились бы его храбрость и, главное, хитрость, которая в борьбе с такими врагами нужна, пожалуй, больше, чем храбрость. Затем он обратился к Юранду и спросил у него:

— А вы хитрый?.. Я что-то совсем не умею хитрить.

— Да и я не умею, — ответил Юранд. — Не хитростью воевал я с ними, а вот этой рукой, а направляла ее та мука, что принял я от них.

— Да, я понимаю, — сказал молодой рыцарь, — я понимаю, потому что люблю Дануську и ее похитили у меня. Если только, упаси Бог...

Он не кончил, ибо при одной мысли о том, что может случиться, почувствовал, что не человеческое, а волчье сердце бьется у него в груди. Некоторое время они молча ехали по белой, залитой лунным светом дороге; но вот Юранд заговорил словно с самим собою:

— Ну, было бы за что мстить мне, я бы ничего не сказал! Ей-ей, не за что было! Я с ними дрался в открытом бою, когда с посольством от нашего князя ходил к Витовту; но дома я был им добрым соседом... Бартош Наленч^[82] захватил сорок рыцарей, когда те ехали к ним, заковал в цепи и вверг в подземелье в Козмине^[83]. Полвоза денег пришлось крестоносцам отвалить за них. А когда ко мне заезжал по дороге немец, так я его как рыцарь рыцаря принимал и не отпускал без даров. Не раз и крестоносцы наезжали ко мне через болота. Не терпели они от меня никаких обид, а такое мне учинили, что я и сейчас самому лютому своему врагу не учинил бы.

Страшные воспоминания терзали душу Юранда, голос его оборвался.

— Одна она была у меня, — продолжал он через минуту со стоном, — как ярочка, как одно сердце в груди, а они, точно собаку, на веревку ее привязали, и стала она как полотно на веревке у них... А теперь вот дочку... О Господи Иисусе!

Снова воцарилось молчание. Збышко поднял к луне свое молодое лицо, на котором изобразилось изумление, затем бросил взгляд на Юранда и спросил:

— Отец! Они заслуживают возмездия, но не лучше ли было бы им заслужить любовь людей? Почему они чинят столько обид всем народам и всем людям?

Юранд развел безнадежно руками и глухо ответил:

— Не знаю...

Некоторое время Збышко еще думал над этим; но через минуту мысли его вернулись к Юранду.

— Говорят, вы жестоко им отомстили, — сказал он.

Юранд подавил в сердце боль, совладал с собою и снова заговорил:

— Я поклялся отомстить... И обещал Богу, коли поможет Он мне в этом, отдать Ему свое единственное дитя. Вот почему не дал я тебе своего согласия. А теперь уж не знаю: воля ли на то была Божья, гнев ли Божий навлекли вы на себя своим поступком.

— Нет! — возразил Збышко. — Я говорил уже вам, что эти собаки все

равно схватили бы ее, хоть бы мы и не были с нею обвенчаны. Бог принял ваш обет, а Дануську мне отдал, ведь без Его воли мы бы ничего не смогли сделать.

— Всякий грех противен воле Божьей.

— Грех, а не таинство. Таинство — это дело Божье.

— То-то оно и есть, ничего теперь не поделаешь.

— Вот и слава Богу! Вы уж больше не сокрушайтесь, ведь никто не поможет вам так расправиться с этими разбойниками, как я. Вот увидите! За Дануську мы своим чередом отплатим, а коли жив еще хоть один из тех, кто схватил тогда вашу женушку, так вы его мне отдайте. Сами тогда увидите!

Но Юранд покачал головой.

— Нет, — угрюмо возразил он, — никого из них в живых не осталось...

Некоторое время слышно было только фыркание лошадей и приглушенный топот копыт по накатанной дороге.

— Однажды ночью, — продолжал Юранд, — я услышал какой-то голос, словно в стене: «Довольно мстить!» Но я не послушался, потому что это не был голос моей покойницы.

— Чей же это мог быть голос? — спросил с тревогой Збышко.

— Не знаю. В Спыхове часто слышны голоса, а порою и стоны, это оттого, что много крестоносцев умерло у меня на цепях в подземелье.

— А что вам ксендз говорит?

— Ксендз освятил городок и тоже сказал мне, что довольно уж мстить; но я не мог с ним согласиться. Слишком много обид я нанес крестоносцам, и потом они сами захотели мне отомстить. Засады устраивали, вызывали на поединки. Так было и на этот раз. Майнегер и де Бергов первые меня вызвали.

— Вы когда-нибудь брали выкуп?

— Никогда. Из тех, кого я захватил, де Бергов первый выйдет живым.

Разговор оборвался, с широкой дороги они свернули на узкий извилистый проселок, местами спускавшийся в лесную ложину, полную сугробов, по которым трудно было проехать. Весной или летом во время дождей эта проселочная дорога становилась, наверно, совсем непроезжей.

— Мы уже к Спыхову подъезжаем? — спросил Збышко.

— Да, — ответил Юранд — Придется еще лесом ехать, а там начнутся топи, посреди которых стоит городок... За топиями тянутся луга и сухие поля; но до городка можно доехать только по плотине. Немцы не раз хотели подобраться ко мне, но не смогли, и много костей их тлеет по лесным

оврагам.

— И попасть-то к вам нелегко, — сказал Збышко. — А если крестоносцы пошлют к вам людей с письмами, как же те к вам проберутся?

— Они не раз уже посылали своих посланцев, есть у них люди, которые знают дорогу.

— Дай-то Бог застать их в Спыхове, — сказал Збышко.

Это желание исполнилось раньше, чем думал молодой рыцарь: не успели они выехать из лесу на открытую равнину, где среди топей лежал Спыхов, как увидели впереди двух всадников и низкие сани, в которых сидели три темные фигуры.

Ночь была очень ясная, и на белой пелене снега вся группа была видна совершенно явственно. Сердце забилося у Юранда и Збышка: кто же мог ехать ночью в Спыхов, как не посланцы крестоносцев?

Збышко велел вознице гнать лошадей, и вскоре они подъехали так близко, что их слышали оба всадника, охранявшие, видно, седоков на сани; они повернулись и, скинув с плеч самострелы, крикнули:

— Wer da?^[84]

— Немцы, — шепнул Юранд Збышку.

Затем он громко сказал:

— Это мое право спрашивать, а ты должен отвечать. Кто вы такие?

— Путники.

— Какие путники?

— Пилигримы.

— Откуда?

— Из Щитно.

— Они! — снова шепнул Юранд.

Тем временем их сани поравнялись с санями немцев, и в ту же минуту впереди показалось шесть всадников. Это была спыховская сторожевая охрана, которая день и ночь стерегла плотину, ведущую к городку. Рядом с конями бежали большие и страшные собаки, похожие на волков.

Узнав Юранда, слуги приветствовали его с нескрываемым удивлением — они никак не думали, что господин их вернется так рано. Юранд не заметил их, все его внимание было поглощено посланцами.

— Куда вы едете? — снова спросил он, обращаясь к ним.

— В Спыхов.

— Чего вам там нужно?

— Это мы можем сказать только господину.

Юранд хотел уже было сказать: «Я — господин Спыхова», — но сдержался, вспомнив, что разговор не может состояться на людях. Спросив

еще раз у посланцев, есть ли у них какие-нибудь письма, и получив ответ, что им велено передать все на словах, он приказал скакать вперед. Збышко сгорал от нетерпения, ему так хотелось поскорее узнать о Данусе, что он просто ничего не видел. Он изнемогал, пока их пропускала сторожевая охрана, еще два раза преградившая им путь; он изнемогал, пока опускали мост надо рвом, за которым на валу находился высокий острог. Хотя раньше ему не раз хотелось взглянуть на городок, пользовавшийся такой зловещей славой, городок, при одном воспоминании о котором немцы крестились, однако сейчас он ничего не замечал, его внимание приковали посланцы крестоносцев, от которых он надеялся узнать, где же Дануса и когда она может выйти на волю. Он и в мыслях не имел, что через минуту его ждет глубокое разочарование.

Кроме всадников, приданных для охраны, и возницы, в посольстве из Щитно было два человека: та самая женщина, которая в свое время привозила в лесной дом целительный бальзам, и молодой пилигрим. Женщины Збышко не мог узнать, так как в лесном доме он ее не видел, а в пилигриме он сразу заподозрил переодетого оруженосца. Юранд тотчас ввел обоих в угловую комнату и остановился перед ними, могучий и страшный в отблесках пламени, которые падали на него от пылавшего камина.

— Где моя дочь? — спросил он.

Очутившись перед лицом грозного мужа, немцы испугались.

Как ни дерзок был с виду пилигрим, но и он дрожал от страха как осиновый лист, а у женщины просто подкашивались ноги. Она перевела взгляд с Юранда на Збышка, затем на лоснящуюся лысую голову ксендза Калеба и снова обратила глаза на Юранда, как бы вопрошая, что же делают тут эти двое.

— Господин, — ответила она наконец, — мы ничего не можем сказать вам об этом; но нас прислали к вам по важному делу. Тот, кто прислал нас к вам, строго-настрого приказал нам говорить с вами без свидетелей.

— У меня нет от них тайн, — произнес Юранд.

— Но они есть у нас, благородный господин, — возразила женщина, — и если вы прикажете им остаться, то нам придется только попросить вас позволить нам завтра утром уехать отсюда.

Гнев изобразился на лице Юранда, не терпевшего противоречий. Его белесые усы зловеще встопорщились; вспомнив, однако, что речь идет о Данусе, он совладал с собою. Збышко желал только, чтобы разговор состоялся как можно скорее, и, будучи уверен, что Юранд ему обо всем расскажет, промолвил:

— Что ж, коли так, оставайтесь сами.

И вышел вон с ксендзом Калемом; не успел он, однако, войти в светлицу, увешанную щитами и оружием, добытыми Юрандом в бою, как к нему приблизился Гловач.

— Милостивый пан, — сказал он, — это та самая женщина.

— Какая женщина?

— Та, которая привозила от крестоносцев герцинский бальзам. Мы с Сандерусом ее тотчас признали. Она, видно, приезжала выслеживать и наверно знает, где панночка.

— И мы об этом дознаемся, — ответил Збышко, — Может, вы знаете и этого пилигрима?

— Нет, — сказал Сандерус, — но не покупайте, пан, у него отпущений, это не настоящий пилигрим. В пытку бы его, так небось много можно было бы выведать.

— Погодите! — сказал Збышко.

Между тем монахиня, как только дверь угловой комнаты захлопнулась за Збышком и ксендзом Калемом, торопливо шагнула к Юранду и прошептала:

— Вашу дочь похитили разбойники.

— С крестом на плащах?

— Нет. Но, благословение Богу, благочестивые братья отбили ее у разбойников, и теперь она у них.

— Где она, я вас спрашиваю?

— Под опекой благочестивого брата Шомберга, — скрестив на груди руки и смиренно склонив голову, ответила монахиня.

Услышав страшное имя палача детей Витовта, Юранд побледнел как полотно; он опустился на скамью, закрыл глаза и отер рукой холодный пот, выступивший на лбу.

Когда пилигрим, который все еще не мог подавить страх, увидел, что творится с Юрандом, он подбочился, развалился на скамье и, вытянув ноги, бросил на рыцаря взгляд, исполненный надменности и пренебрежения.

Воцарилось долгое молчание.

— Брат Маркварт тоже помогает брату Шомбергу приглядывать за ней, — продолжала женщина. — Надзор строгий, никто панночку не обидит.

— Что я должен сделать, чтобы мне ее отдали? — спросил Юранд.

— Смириться перед орденом! — высокомерно ответил пилигрим.

Услышав эти слова, Юранд встал, подошел к немцу и, наклонившись к

нему, произнес сдавленным, страшным голосом:

— Молчать!..

Пилигрим снова испугался. Он знал, что может грозить Юранду, что может сказать такие слова, которые заставят его укротить свой гнев и смириться; но испугался, что не успеет слова вымолвить, как случится нечто страшное. Уставив округлившиеся глаза в грозное лицо спыховского владыки, он умолк и так и замер от ужаса, только нижняя челюсть затряслась у него еще сильнее.

— Письмо у вас есть? — обратился Юранд к монахине.

— Нет, господин. У нас нет письма. Нам велено передать все на словах.

— Говорите!

Она еще раз повторила все, что успела уже рассказать, как бы желая, чтобы Юранд раз навсегда запомнил ее слова:

— Брат Шомберг и брат Маркварт стерегут панночку, так что вы укротите свой гнев... Хоть и много лет вы наносили ордену тяжкие обиды, но с нею ничего худого не случится, ибо братья хотят ответить вам добром на зло, если вы удовлетворите их справедливые требования.

— Чего они требуют?

— Они требуют, чтобы вы отпустили на волю господина де Бергова.

Юранд вздохнул с облегчением.

— Я отдам им де Бергова, — ответил он.

— И других невольников, которых вы держите в Спыхове.

— У меня два оруженосца Майнегера и де Бергова, а также их слуги.

— Вы должны отпустить их на волю и вознаградить за то, что держали в темнице.

— Упаси Бог, чтобы я стал торговаться за родную дочь.

— Благочестивые братья тоже так думали, — сказала женщина, — но это еще не все, что они велели вам передать. Вашу дочь похитили какие-то люди, наверно, разбойники и, наверно, затем, чтобы взять с вас богатый выкуп... Бог помог братьям отбить ее у них, и сейчас они одного только хотят — чтобы вы отпустили на волю товарища их и гостя. Но братья знают, да и вы, господин, знаете, как ненавидят в этой стране рыцарей креста и как несправедливо осуждают их даже за самые благочестивые поступки. Братья уверены, что, если народ дознается, что ваша дочь у них, их заподозрят сразу в том, будто это они похитили ее, и таким образом за доброе дело на них будут только возводить клевету и посылать жалобы... Да! Здешний народ, злобный и злокозненный, не раз уж платил им так за добро, отчего благочестивый орден, славу которого братья должны блюсти,

терпел всяческое поношение. Поэтому они ставят еще одно условие: вы сами должны объявить своему князю и всему жестокому рыцарству вашего края, что не рыцари креста, а разбойники похитили вашу дочь, — а так оно и есть на самом деле, — и что выкуп за нее вы должны платить разбойникам.

— Это правда, — сказал Юранд, — что разбойники похитили мою дочь и что выкуп я должен платить разбойникам...

— Вы всем должны так говорить. Если только хоть один человек, хоть одна живая душа узнает, что вы договаривались с братьями, или хоть одна жалоба будет послана магистру или капитулу, могут встретиться тяжелые препятствия...

Беспокойство изобразилось на лице Юранда. В первую минуту ему показалось естественным, что комтуры, боясь ответственности и худых толков, требуют сохранения тайны, но теперь у него возникло подозрение, не кроется ли тут и другая причина, какая именно — он не мог понять, и поэтому его объял такой страх, какой обнимает самых храбрых людей, когда опасность грозит не им самим, а тем, кто близок им, кого они горячо любят.

Он решил попытаться вывести еще что-нибудь у монахини.

— Комтуры хотят сохранить все в тайне, — сказал он, — но как же это сделать, если за дочь я должен отпустить де Бергова и других невольников?

— Вы скажете, что взяли выкуп за господина де Бергова, чтобы было чем заплатить разбойникам.

— Никто этому не поверит, я никогда не брал выкупа, — мрачно возразил Юранд.

— Но ведь дело никогда не касалось вашей дочери, — прошипела монахиня.

Снова воцарилось молчание; затем пилигрим, решив, что Юранд теперь должен смириться, набрался храбрости и сказал:

— Такова воля братьев Шомберга и Маркварта.

— Вы скажете, — продолжала монахиня, — что пилигрим, который приехал со мной, привез вам выкуп, а мы тотчас уедем отсюда с благородным господином де Берговым и невольниками.

— Это как же? — нахмурился Юранд. — Неужели вы думаете, что я отдам вам невольников, прежде чем вы вернете мне дочь?

— Вы можете поступить иначе. Вы можете сами поехать в Щитно, куда ее привезут вам братья.

— Я? В Щитно?

— Но ведь по дороге сюда ее снова могут похитить разбойники, и

тогда подозрение опять падет на благочестивых рыцарей; они хотят поэтому передать ее вам из рук в руки.

— А кто мне поручится, что я вернусь назад, коли сам полезу в волчью пасть?

— Тому порукой добродетели братьев, их праведность и благочестие.

Юранд заходил по горнице; он уже понимал, что тут кроется предательство, и боялся его, но в то же время чувствовал, что крестоносцы могут предъявить ему любые условия и что он перед ними бессилен.

Но тут ему, видно, пришла в голову какая-то мысль; он неожиданно остановился перед пилигримом, пристально на него поглядел, а затем обратился к монахине и сказал:

— Хорошо. Я поеду в Щитно. Вы и этот человек в одежде пилигрима останетесь здесь до моего возвращения, а потом уедете с де Берговым и невольниками.

— Вы не хотите верить монахам, — вмешался пилигрим, — как же они могут поверить вам, что, вернувшись, вы отпустите нас и де Бергова?

Юранд побледнел от негодования; наступила страшная минута, казалось, он вот-вот схватит пилигрима за грудь и придавит его коленом. Однако он смирил свой гнев, глубоко вздохнул и проговорил медленно и раздельно:

— Кто бы ты ни был, не злоупотребляй моим терпением, оно может истощиться.

А пилигрим обратился к монахине:

— Говорите, что вам приказано.

— Господин, — сказала она, — если бы вы поклялись на мече рыцарской чести, мы не посмели бы не поверить вам; но не приличествует вам давать клятву людям простого звания, да и нас прислали сюда не за вашей клятвой.

— Зачем же вас прислали?

— Братья сказали, что вы должны, не говоря никому ни слова, явиться в Щитно с господином де Берговым и невольниками.

При этих словах Юранд медленно отвел руки назад, скрючил пальцы, как хищная птица когти, и, наклонившись к женщине, точно хотел сказать ей что-то на ухо, произнес:

— А вам не говорили, что я прикажу вас и Бергова колесовать в Спыхове?

— Ваша дочь во власти братьев и под опекой Шомберга и Маркварта, — с ударением ответила монахиня.

— Разбойников, отравителей, палачей! — взорвался Юранд.

— Которые сумеют отомстить за нас и которые сказали нам перед отъездом: «Что ж, не захочет он выполнить всех наших приказаний, так лучше девушке умереть так, как умерли дети Витовта». Выбирайте!

— И поймите, что вы во власти комтуров, — прибавил пилигрим. — Они не хотят нанести вам обиду, и комтур из Щитно дает слово, что вы беспрепятственно выедете из его замка; но они хотят, чтобы за все содеянное вами вы пришли поклониться плащу крестоносцев и молить победителей о пощаде. Они хотят простить вас, но сперва хотят согнуть вашу гордую выю. Вы называли их предателями и клятвопреступниками, они хотят, чтобы вы вверили себя им. Они вернут свободу вам и вашей дочери, но вы должны молить их об этом. Вы унижали их, а должны покланяться, что рука ваша никогда не поднимется на белый плащ.

— Этого требуют комтуры, — прибавила женщина, — а с ними Маркварт и Шомберг.

На минуту воцарилась мертвая тишина. Казалось, только приглушенное эхо с ужасом повторяет где-то над головой: «Маркварт... Шомберг». Из-за окон долетали оклики лучников Юранда, которые стояли на страже на валах около острога.

Пилигрим и монахиня то переглядывались, то смотрели на Юранда, который долго сидел, прислонясь к стене, неподвижный, с лицом, затененным связкой шкур, висевшей у окна. Одна только мысль овладела им: если он не сделает того, чего требуют крестоносцы, они задушат его дочь, а если сделает, то, может, все равно не спасет ни Дануси, ни себя. Он не знал, что делать, не видел никакого выхода. Он чувствовал только беспощадную силу, которая придавила его. Ему уже виделись железные руки крестоносца на шее Дануси. Он хорошо знал рыцарей креста и ни минуты не сомневался, что они убьют ее, заруют на замковом валу, а потом от всего откажутся, от всего отрекутся, и кто же тогда сможет доказать, что это они похитили ее. Правда, в его руках посланцы, он может отвезти их к князю и под пыткой заставить сознаться во всем; но в руках крестоносцев Дануся, и они тоже могут замучить ее. Ему чудилось, что дочь протягивает к нему издали руки, взывая о помощи. Если бы знать наверняка, что она в Щитно, можно было бы этой же ночью двинуться к границе, напасть на немцев, не ожидающих набега, захватить замок, вырезать стражу и освободить Данусю. Но ее могло не быть в Щитно, даже наверняка не было там. В этот миг в голове его, как молния, сверкнула еще одна мысль: а что, если схватить женщину и пилигрима и отвезти их прямо к великому магистру? Может, магистр заставит их сознаться и прикажет комтурам отдать дочь? Однако эта мысль сверкнула, как молния, и тотчас погасла...

Ведь эти люди могли сказать магистру, что они приехали выкупать Бергова и ни о какой девушке ничего не знают. Нет! Этот путь никуда не мог привести, но какой же тогда избрать? Он подумал, что, если поедет в Щитно, его закуют в цепи и ввергнут в подземелье, а Дануси все равно не отпустят, чтобы не открылось, что это они похитили ее. А меж тем смерть грозит его единственному дитяти, смертельная опасность нависла над последней дорогой головой!.. В конце концов мысли его стали путаться и мука стала такой невыносимой, что он впал в оцепенение. Он сидел неподвижно, онемелый, словно высеченный из камня. Если бы он захотел подняться в эту минуту, то не смог бы этого сделать.

Посланцам наскучило ждать, монахиня поднялась и сказала:

— Скоро уже рассвет. Позвольте нам, господин, удалиться, мы хотим отдохнуть.

— И подкрепиться после дальней дороги, — прибавил пилигрим.

Они поклонились Юранду и вышли вон.

А тот все сидел неподвижно, словно объятый сном или мертвый.

Через минуту дверь отворилась, и на пороге появился Збышко, а за ним ксендз Калев.

— Что же посланцы? Чего они хотят? — спросил молодой рыцарь, приближаясь к Юранду.

Юранд вздрогнул, но ничего не ответил, только заморгал глазами, как человек, пробудившийся от крепкого сна.

— Уж не больны ли вы! — воскликнул ксендз Калев, который хорошо знал Юранда и заметил, что с ним творится что-то неладное.

— Нет, — ответил Юранд.

— А что же с Дануськой? — допытывался Збышко. — Где она, что они вам сказали? С чем они приехали?

— С вы-ку-пом, — медленно проговорил Юранд.

— С выкупом за Бергова?

— За Бергова...

— Как за Бергова? Что с вами?

— Ничего...

Но в голосе его звучали такие непривычные ноты и такое бессилие, что Збышко и ксендз встревожились, тем более что Юранд говорил не об обмене Бергова на Данусю, а о выкупе.

— Милосердный Боже! — воскликнул Збышко. — Где Дануська?

— Нет ее у кре-сто-нос-цев, нет! — сонным голосом ответил Юранд.

И внезапно, как мертвый, повалился со скамьи наземь.

На другой день в полдень посланцы повидались с Юрандом, а спустя некоторое время уехали, захватив с собой де Бергова, двоих оруженосцев и человек двадцать невольников. После этого Юранд позвал отца Калеба и продиктовал ему письмо князю, в котором сообщал, что Дануську похитили вовсе не крестоносцы, что ему удалось открыть, где она, и что в ближайшие дни он надеется ее освободить. То же самое он сказал и Збышку, который с прошлой ночи не мог прийти в себя от изумления и просто обезумел от тревоги. Старый рыцарь не хотел отвечать на его вопросы, велел ему терпеливо ждать и ничего не предпринимать для спасения Дануси, так как в этом пока нет надобности. Под вечер он снова заперся с ксендзом Калемом, велел ему прежде всего написать свою духовную, исповедался и причастился, а затем призвал Збышка и старого молчаливого Толиму, который был его товарищем во всех набегах и битвах, а в мирное время хозяйничал в Спыхове.

— Вот это, — сказал Юранд старому вояке Толиме таким громким голосом, как будто тот был туг на ухо, — муж моей дочери, с которой он обвенчался при княжеском дворе, испросив на то мое согласие. После моей смерти он будет здесь господином, владельцем городка, земель, лесов, лугов, людей и всех спыховских богатств...

Толима очень удивился, повернул свою квадратную голову в сторону Збышка, затем поглядел на Юранда, однако ничего не сказал, потому что вообще говорил очень мало, только поклонился Збышку и обнял руками его колени.

— Эту мою последнюю волю, — продолжал Юранд, — записал ксендз Калем, и внизу под ней стоит моя восковая печать; ты же должен свидетельствовать, что слышал все от меня и что я велел слугам повиноваться молодому рыцарю, как они мне повиновались. Ты ему покажешь всю добычу и деньги, что хранятся в моей сокровищнице, и до самой смерти будешь верно служить ему и во время мира, и на войне. Слышишь?

Толима приставил ладони к ушам и кивнул головой, затем, по данному Юрандом знаку, поклонился и вышел, а рыцарь обратился к Збышку и сказал с ударением:

— Сокровищами, что у меня хранятся, можно удовлетворить самого алчного и выкупить за них не одного, а сотню невольников. Помни об этом.

Но Збышко спросил:

— А почему вы уже поручаете мне Спыхов?

— Я поручаю тебе больше, чем Спыхов, — родную дочь.

— Да и час смерти сокрыт от нас, — заметил ксендз Калёб.

— Да, сокрыт, — печально повторил Юранд. — Совсем недавно замело меня снегом, и хоть Бог меня спас, но нет у меня прежней силы...

— Милосердный Боже! — воскликнул Збышко. — Что с вами случилось, почему вы так изменились со вчерашнего дня и говорите охотней не про Данусю, а про смерть? Милосердный Боже!

— Вернется Дануська, вернется, — ответил Юранд. — Господь хранит ее. Но если только она вернется... Послушай... Увези ее в Богданец, а в Спыхове оставь хозяйничать Толиму. Он человек верный, а тут плохие соседи... Там ее на веревку не привяжут... Там безопаснее...

— Да что это вы! — воскликнул Збышко. — Словно с того света говорите! Что с вами стряслось?

— Да я уже чуть не попал на тот свет, а теперь вот чую, что-то расхварываюсь, и одно меня только заботит: доченька моя, одна ведь она у меня. Да вот ты, я ведь знаю, что ты ее любишь...

Он оборвал свою речь и, вынув из ножен короткий меч, называемый мизерикордией, повернул его рукоятью к Збышку:

— Поклянись мне еще раз на этом кресте, что никогда ее не обидишь и верно будешь любить...

У Збышка слезы навернулись на глаза. Он бросился тотчас на колени и, положив палец на рукоять, воскликнул:

— Клянусь Богом, что не стану обижать ее и верно буду любить!

— Аминь! — произнес ксендз Калёб.

Юранд вложил в ножны мизерикордию и раскрыл Збышку объятия.

— Ведь и ты сын мой!..

И они разошлись, ибо надвинулась уже темная ночь, а они вот уже несколько дней почти совсем не отдыхали. Однако на другой день Збышко поднялся чем свет; он так испугался вчера, не захворал ли в самом деле Юранд, что решил узнать, как старый рыцарь провел ночь.

В дверях горницы Юранда он столкнулся с Толимой, который как раз выходил оттуда.

— А как пан, здоров? — спросил Збышко.

Толима поклонился, приставил ладонь к уху и переспросил:

— Что вы говорите, ваша милость?

— Я спрашиваю, как здоровье пана? — повторил погромче Збышко.

— Пан уехал.

— Куда?

— Не знаю. В доспехах...

Чуть забрезжил рассвет и забелелись деревья, кусты и глыбы известняка, разбросанные там и тут по полям, когда нанятый провожатый, шедший рядом с конем Юранда, остановился и сказал:

— Позвольте мне дух перевести, пан рыцарь, а то я совсем запыхался. Оттепель и туман, но уже недалеко...

— Доведи меня до дороги, а потом вернешься, — ответил Юранд.

— Дорога будет направо, за леском, а с холма вы тотчас увидите замок.

Мужик издрог от утренней сырости и стал «греться», то есть хлопать себя по бокам руками; еще больше утомившись, он присел на камень.

— А ты не знаешь, комтур в замке? — спросил Юранд.

— Где же ему быть, коли он хворает?

— Что с ним?

— Народ толкует, будто польские рыцари его поколотили, — ответил старый мужик.

В голосе его определенно слышалось удовлетворение. Он был подданным крестоносцев, но превосходство польских рыцарей радовало его мазурское сердце.

Через минуту он прибавил:

— Что говорить! Сильны наши паны, но с поляками им круто приходится.

Однако он тотчас покосился на рыцаря и, как бы желая увериться в том, что ему не будет худа за неосторожное слово, сорвавшееся с языка, сказал:

— Вы, пан, по-нашему говорите, вы не немец?

— Нет, — ответил Юранд. — Однако води меня дальше.

Мужик поднялся и снова зашагал рядом с конем. По дороге он то и дело совал руку в суму, доставал горсть немолотой ржи и всыпал себе в рот. Утолив таким образом голод, он стал объяснять Юранду, почему ест сырое зерно, хотя тот был слишком поглощен своим несчастьем и своими мыслями и ничего не заметил.

— И на том спасибо, — говорил мужик. — Плохое наше житье под немецкими панами. Обложили нас податями, а помольную плату такую дерут, что бедному человеку приходится, как скотине, жевать зерно с мякиной. А коли найдут в хате жернова, так и мужика избыют, и весь скарб у него заберут, да что там, бабам и детям и то не дадут спуску... Не

боятся они ни Бога, ни ксендза. Вон вельборгский ксендз стал попрекать их за это, так они его на цепь посадили. Ох, плохо нам под немцами! Уж коли удастся намолоть мучицы между двух камней, так и эту горсточку бережем к святому воскресенью, а в пятницу как птицы небесные кормимся, но и на том спасибо, а то перед новью и того не станет. Рыбу ловить нельзя... Зверя бить тоже... Не так, как в Мазовии.

Так жаловался подданный крестоносцев, говоря то ли с самим собой, то ли с Юрандом. А тем временем они миновали пустошь, покрытую заснеженными глыбами известняка, и вступили в лес, который в предутреннем свете казался седым. Из лесу потянуло на них холодом и пронизывающей сыростью. Уже совсем рассвело. Если бы не встал день, Юранду трудно было бы пробираться по узкой лесной дорожке, тянувшейся по косогору, на которой его рослый боевой конь местами едва протискивался между деревьями. Но лес вскоре кончился, и спустя немного времени старый рыцарь поднялся со своим провожатым на вершину белого холма, по которому бежала проезжая дорога.

— А вот и дорога! — сказал мужик. — Теперь вы, пан, сами доберетесь.

— Доберусь, — ответил Юранд. — Возвращайся домой.

Он сунул руку в кожаный кошель, притороченный спереди к седлу, достал из него серебряную монету и подал провожатому. Крестьянин, привыкший получать от местных крестоносцев не подарки, а палки, глазам своим не верил; схватив монету, он прижался головой к стремени и обнял его руками.

— Господи Иисусе! — воскликнул он. — Да вознаградит вас Бог, вельможный пан!

— Оставайся с Богом.

— Храни вас Бог. Щитно перед вами.

С этими словами он еще раз склонился к стремени и исчез. Юранд остался один на холме и смотрел в указанном крестьянином направлении на серую и влажную пелену тумана, которая заслонила от него мир. За этой пеленой таился зловещий замок, куда вели его неволя и злая судьба. Ближе, уже близко! А там, что ж, чему быть, того не минуешь... При этой мысли в сердце Юранда, наряду со страхом и тревогой за Данусю, наряду с готовностью вырвать ее из вражеских рук, пусть даже ценой собственной крови, родилось новое, невыразимо горькое и незнакомое ему доселе чувство унижения. Вот он, Юранд, при одном имени которого трепетали пограничные комтуры, по их повелению едет сейчас к ним с повинной головой. Он, который столько их победил и унижил, почувствовал себя

сейчас побежденным и униженным. Нет, они не победили его в открытом бою, не одолели храбростью и рыцарской силой, и все же он чувствовал себя побежденным. Это было нечто неслыханное, ему казалось, что все кругом рушится. Он ехал для того, чтобы смириться перед крестоносцами, он, который, не будь Дануси, предпочел бы один сразиться со всей крестоносной ратью. Разве не случалось, что рыцарь, который должен был сделать выбор между позором и смертью, бросался на целое войско? А он чувствовал, что и его ждет, быть может, позор, и при мысли об этом готов был выть от боли, как воет волк, почувствовав в своем теле стрелу.

Но это был человек, у которого не только тело, но и воля была железная, он мог сломить упорство других, но мог переломить и себя.

«Я не тронусь с места, — сказал он себе, — пока не укрошу свой гнев, ибо не спасти, а только погубить могу я в гневе свое дитя».

И он как бы схватился врукопашную со своим гордым сердцем, со своей яростью и жаждой боя. Если бы кто-нибудь увидел его на этом холме, в доспехах, недвижимого, верхом на рослом коне, он решил бы, что это отлитый из железа великан, и никак не подумал бы, что этот недвижимый рыцарь ведет в эту минуту самый тяжкий бой из всех, какие ему приходилось вести в своей жизни. Он боролся с собой до тех пор, пока не одолел себя и не почувствовал, что сила воли ему не изменит.

Тем временем мгла поредела, и в дымке замаячила вдали темная громада. Юранд понял, что это стены щитненского замка. Завидев их, он не тронулся с места, только стал молиться усердно и жарко, как молится человек, который может уповать только на милосердие Божие.

Когда Юранд тронул наконец коня, он почувствовал, что в сердце его вливается бодрость. Он готов был теперь вынести все, что ждет его впереди. Он вспомнил Георгия Победоносца, потомка самого знатного рода в Каппадокии^[85], который претерпел всякие позорные муки и все же не лишился чести, напротив, восседает одесную Бога и именуется покровителем всего рыцарства. От пилигримов, прибывших из дальних стран, Юранд не раз слышал рассказы о его подвигах и, вспомнив теперь о них, воспрянул духом.

В его сердце даже стала медленно пробуждаться надежда. Правда, крестоносцы славились своей мстительностью, и он не сомневался, что они отплатят ему за все поражения, которые он им нанес, за стыд, который терпели они после каждого боя с ним, и за страх, в котором он столько лет держал их.

Но именно это придавало ему мужества. Он думал, что они похитили Данусю только для того, чтобы захватить его, а если они его захватят, зачем

им нужна тогда она? Да! Его непременно закуют в цепи и не станут держать поблизости от Мазовии, а увезут в какой-нибудь дальний замок, где он, может быть, до гроба будет стонать в подземелье; но Данусю они отпустят. Даже если выйдет наружу, что они вероломно его захватили и томят в неволе, ни великий магистр, ни капитул не вменят им это в вину, потому что он, Юранд, действительно был грозой крестоносцев и пролил больше их крови, нежели любой другой рыцарь в мире. Зато тот же великий магистр может покарать их за то, что они заключили в темницу невинную девушку, к тому же воспитанницу князя, перед которым магистр заискивал, предвидя, что ему грозит война с польским королем.

Эти мысли исполнили его сердце надеждой. Порой ему начинало казаться, что Дануся непременно вернется в Спыхов под надежные крылья Збышка... «Богатырь он, — думал Юранд, — никому не даст ее в обиду». И, растрогавшись, старый рыцарь стал вспоминать все, что знал про Збышка: «Немцев под Вильно бил, на поединках с ними дрался, фризмов изрубил, которых с дядей вызвал на бой, на Лихтенштейна напал, дочку оборонил от тура да четверем крестоносцам вызов послал и, наверно, им не простит». Юранд поднял тут глаза к небу и сказал:

— Я обещал ее тебе, Господи, а ты ее отдал Збышку!

И так легко ему стало, когда рассудил он, что уж если Господь отдал Дануську юноше, то не позволит же он немцам насмеяться над собой, вырвет ее из их рук, даже если вся крестоносная рать не станет отдавать ее. Потом он опять стал думать про Збышка: «Мало того, что богатырь, но и душа у него добрая, не человек, золото. Будет он лелеять ее, будет он любить ее, и дай Бог счастья моему дитяти, но видится мне, что не пожалеет она с ним ни о княжеском дворце, ни об отцовской любви...» При этой мысли глаза Юранда вдруг увлажнились слезами, и сердце его сжалось, полное тоской. Так бы хотелось ему наглядеться еще на свое дитятко и умереть не в мрачных подземельях крестоносцев, а не скоро, не скоро, в Спыхове, на руках у них обоих. Но на все воля Божья!.. Щитно уже виднелось. Стены замка все явственней вырисовывались во мгле, уже близок был час жертвы, и старый рыцарь, чтобы ободриться, говорил себе: «Да, на все воля Божья! Жизнь моя уже на закате, годом больше, годом меньше, какая разница. Эх, хотелось бы наглядеться еще на обоих, но и то сказать, пожил человек на свете, все изведаль, что должен был изведать, всем отомстил, кому должен был отомстить. А теперь что? Ныне на ногах, а завтра в могиле, и коли уж надо пострадать, ничего не поделаешь. Как ни хорошо будут жить Дануська со Збышком, а меня они не забудут. Верно, не раз будут вспоминать и раздумывать: где-то он теперь? Жив ли? Или уже на

том свете?.. Станут разведывать и, может, узнают обо мне. Мстительный народ крестоносцы, но и до выкупа жадны. Збышко ничего не пожалеет, чтобы хоть кости мои выкупить у них, а уж на помин души дети, верно, не раз дадут. Хорошие они оба, сердечные, благослови их за это, Господи, и Ты, Пресвятая Богородица!»

Дорога становилась все шире и многолюдней. В город тянулись сани с дровами и соломой; гуртовщики гнали скот; с озер везли на санях мороженую рыбу; в одном месте четыре лучника вели на цепи мужика, видно, на суд за какую-то провинность: руки у него были связаны за спиной, а ноги закованы в кандалы, которые задевали за снег и мешали ему идти. Пар вырывался у мужика из уст и раздувавшихся ноздрей, а лучники, распевая, знай подгоняли его. Завидев Юранда, они уставились на него с любопытством, верно, дивясь великанскому росту всадника и коня, но, заметив золотые шпоры и рыцарский пояс, опустили самострелы, приветствуя рыцаря и отдавая ему честь. В местечке было еще более шумно илюдно, однако все торопливо уступали дорогу вооруженному рыцарю; он миновал главную улицу и свернул к замку, который, казалось, еще спал, окутанный мглой, поднимавшейся надо рвом.

Но не все вокруг было погружено в сон. Не спало воронье; хлопая крыльями и каркая, оно целыми стаями кружилось над косогором, поднимавшимся к замку. Подъехав поближе, Юранд понял, почему сюда слетелось столько воронья. У дороги, ведущей к воротам замка, стояла огромная виселица, а на ней висели тела четырех мазурских крестьян, подданных ордена. В воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка, и трупы, которые, казалось, уставились глазами на собственные ступни, раскачивались только тогда, когда черные вороны, толкая друг дружку и задевая за веревки, садились им на макушки и плечи и клевали их опущенные головы. Некоторые трупы висели уже, видно, давно, черепа их совсем обнажились, а ноги непомерно вытянулись. При приближении Юранда стая со страшным шумом взвилась в воздух, но, сделав круг, повернула назад и стала садиться на перекладину виселицы. Юранд, крестясь, проехал мимо, приблизился ко рву и, остановившись в том месте, где над воротами повис подъемный мост, затрубил в рог.

Он протрубил раз, другой, третий и ждал. На стенах не было ни живой души, из-за ворот не доносилось ни звука. Однако через минуту с лязгом поднялось тяжелое решетчатое окошко, прорезанное в стене неподалеку от замка, и в проеме показалась бородатая голова немецкого кнехта.

— Wer da? — спросил резкий голос.

— Юранд из Спыхова! — ответил рыцарь.

Окошко снова опустилось, и воцарилась немая тишина.

Время текло. За воротами не слышно было никакого движения, только от виселицы долетал крик воронья.

Долго стоял еще Юранд. Потом он поднял рог и затрубил еще раз.

Но ему снова ответила тишина.

Тогда он понял, что крестоносцы держат его у ворот, обуянные гордыней, которой нет предела, когда они видят перед собой побежденного, что они хотят унижить его, как нищего. Он отгадал и то, что ему, быть может, придется ждать так до вечера, а то и дольше. В первое мгновение вся кровь ударила ему в голову, им внезапно овладело желание соскочить с коня, поднять один из камней, лежавших на краю рва, и швырнуть его в решетку. При других обстоятельствах так поступил бы и он сам, и любой другой мазовецкий или польский рыцарь, и пусть они выходят тогда за ворота на бой! Но он вспомнил, зачем приехал сюда, одумался и смирил свой порыв.

— Разве не отдаю я себя в жертву за родное дитя? — сказал он себе.

И снова стал ждать.

Но вот между зубцами стен что-то затемнелось. Стали показываться меховые шапки, черные колпаки и даже железные шлемы, из-под которых на рыцаря глядели любопытные глаза. С каждой минутой любопытных становилось все больше, ибо невиданным зрелищем был для стражи замка грозный Юранд, одиноко ждавший, пока для него откроются ворота крестоносцев. Если бы кто-нибудь из них увидел его раньше перед собой, это значило бы, что он взглянул смерти в глаза, а теперь они могли смотреть на него безнаказанно. Головы поднимались все выше, и наконец все зубцы поближе к воротам усеялись кнехтами. Юранд подумал, что, наверно, и рыцари смотрят на него сквозь решетчатые окна башни у ворот, и поднял глаза вверх, но окна были прорезаны в толстых стенах так, что смотреть в них можно было разве только вдаль. Зато на зубчатой стене в толпе, которая сперва глядела в молчании на Юранда, стали уже раздаваться голоса. То там, то тут слышалось его имя, то там, то тут звучал смех, хриплые голоса все громче и наглей улюлюкали, точно травили волка, а так как в замке никто им не мешал, то они стали в конце концов бросать комья снега в стоявшего у ворот рыцаря.

Тот невольно тронул коня; тогда на мгновение перестали лететь комья снега, голоса стихли и некоторые головы даже скрылись за стеной. Видно, грозным и впрямь было имя Юранда. Но скоро даже самые трусливые поняли, что от страшного мазура их отделяют ров и стена, и грубое солдастье снова стало бросать в него уже не только комья снега, но и

льдинки и камни, которые со звоном отскакивали от доспехов и попоны, покрывавшей коня.

— Я отдал себя в жертву за родное дитя, — повторил про себя Юранд. И снова стал ждать.

Наступил полдень, стены опустели, кнехтов позвали на обед; немногие солдаты, оставшиеся на страже, поели на стенах, а потом стали потешаться, швыряя в голодного рыцаря обглоданные кости. Одни стали спорить и подстрекать друг дружку сойти к рыцарю и дать ему кулаком по шее или двинуть древком копья. Другие, вернувшись с обеда, кричали, что, если ему надоело ждать, он может повеситься, — на виселице есть свободный крюк с готовой петлей. Под шум и гам, издевательства, взрывы смеха и проклятий проходили послеполуденные часы. Короткий зимний день клонился к закату, а мост все еще висел в воздухе и ворота оставались закрытыми.

Под вечер поднялся ветер, туман рассеялся, небо очистилось, и зажглась заря. Снега поглубели, а потом полиловели. Мороза не было, но ночь обещала быть ясной. Люди снова спустились со стен, осталась только стража, воронье от виселицы улетело прочь в леса. Потом небо потемнело, и наступила мертвая тишина.

«Они до ночи ворот не откроют», — подумал Юранд.

На мгновение у него мелькнула мысль, не вернуться ли в город, но он тотчас ее отбросил. «Они хотят, чтобы я стоял тут, — сказал он себе. — Если я поверну назад, они уже не пустят меня домой, окружают, поймают, а потом скажут, что ничего они мне не обещали, что взяли меня силой, а если мне даже удастся прорваться, все равно не миновать ехать назад...»

Необычайный закал польских рыцарей, легко переносивших голод, холод и боевые труды, закал, которому дивились иноземные летописцы, часто позволял им совершать подвиги, на которые не были способны изнеженные люди Запада. Юранд же в еще большей степени обладал этим закалом, и, хотя его уже терзали муки голода и, несмотря на тулуп, надетый под панцирем, пронизывал насквозь вечерний холод, он решил ждать, даже если ему придется умереть у этих ворот.

И вдруг, еще до наступления ночи, он услышал скрип шагов на снегу.

Он оглянулся: со стороны города к нему направлялись шесть человек, вооруженных копьями и алебардами, а между ними шел седьмой, опираясь на меч.

«Может, им откроют ворота, и я тогда въеду с ними, — подумал Юранд. — Не станут же они брать меня силой или убивать — их слишком мало для этого; если, однако, они нападут на меня, значит, они не хотят

сдержать обещание, и тогда — горе им!»

Он схватился за стальную секиру, висевшую у седла, такую тяжелую, что обыкновенный воин не смог бы поднять ее даже двумя руками, и поехал навстречу им.

Однако они и не думали нападать на него, напротив, кнехты тотчас воткнули в снег древка копий и алебард; ночь еще не окутала землю, и Юранд заметил, что оружие дрожит у них в руках.

Тогда седьмой, который похож был на начальника, торопливо вытянул вперед левую руку и, подняв ее вверх, спросил:

— Это вы, рыцарь, Юранд из Спыхова?

— Я...

— Вы хотите выслушать, с чем меня прислали к вам? Могущественный и благочестивый комтур фон Данфельд повелел сказать вам, что, пока вы не сойдете с коня, перед вами не откроют ворота.

Юранд помедлил минуту, затем сошел с коня, к которому тотчас подскочил один из копейщиков.

— Оружие вы тоже должны нам отдать, — снова сказал человек с мечом.

Рыцарь из Спыхова заколебался. А что, если они потом нападут на него, безоружного, и заколют его как зверя, а что, если схватят и ввергнут в подземелье? Однако через минуту он подумал, что тогда крестоносцы прислали бы больше народу. Ведь если они накинутся на него, то панцирь сразу не пробьют, а он вырвет оружие у первого же солдата и перебьет их всех, прежде чем подоспеет подмога. Уж его-то они знают.

«А если, — сказал он себе, — они хотят пролить мою кровь, так ведь я затем сюда и приехал».

Подумав об этом, он бросил сперва секиру, затем меч и мизерикордию — и ждал. Копейщики быстро подобрали оружие, затем человек, который говорил с Юрандом, отступил на несколько шагов и, остановившись, произнес наглым и громким голосом:

— За все обиды, нанесенные тобой ордену, ты, по велению комтура, должен облачиться в это вретище, которое мы тебе оставляем, привязать на веревке на шею ножны меча и смиренно ждать у ворот, пока комтур не смилостивится над тобой и не прикажет отворить их.

И через минуту Юранд остался один во мраке и тишине. На снегу перед ним темнело покаянное вретище и веревка, но он долго стоял, чувствуя, как что-то в нем рвется и рушится, что-то гибнет и умирает, чувствуя, что через минуту он не будет уж больше рыцарем, не будет уж больше Юрандом из Спыхова, а нищим, невольником, без имени, без чести,

без славы.

Протекли еще долгие минуты, прежде чем он приблизился к покаянному вретищу и заговорил:

— Могу ли я поступить иначе? Ты знаешь, Иисусе, они задушат мое невинное дитя, если я не исполню всего, что они требуют, и ты знаешь, что для спасения своей жизни я бы никогда этого не сделал! Горек мой позор, горек! Но ведь и тебя перед смертью отдали на посмеяние. Во имя Отца и Сына...

Он наклонился, надел вретище, в котором были прорезаны отверстия для головы и для рук, повесил на шею на веревке ножны меча и побрел к воротам.

Ворота были закрыты, но сейчас ему было безразлично, когда они откроются перед ним. Замок погрузился в безмолвие ночи, только стража перекликалась по временам на раскатах. В башне у ворот высоко светилось одно-единственное окошечко, остальные были темны.

Текли часы ночи, в небе поднялся лунный серп и озарил угрюмые стены замка. Тишина стояла такая, что Юранд мог бы слышать биение своего сердца. Но он онемел и оцепенел, словно из него вынули душу, и ничего уже не сознавал. У него осталась только одна мысль — что он перестал быть рыцарем, Юрандом из Спыхова, но кем он стал, это ему было неведомо... По временам ему чудилось, что среди ночи к нему от повешенных, которых он видел утром, бесшумно идет по снегу смерть...

Вдруг он вздрогнул и мгновенно очнулся:

— Боже милостивый, что это?

Из высокого окошечка в башне у ворот долетели едва слышные сперва звуки лютни. Когда Юранд ехал в Щитно, он был уверен, что Дануси нет в замке; но от этого звука лютни посреди ночи сердце его мгновенно встрепенулось в груди, ему почудилось, что он узнает эти звуки, что это играет она, его дочь, милое его дитя!.. Он упал на колени, сложил молитвенно руки и, дрожа как в лихорадке, слушал.

Полудетский, исполненный безмерной тоски голос запел:

Ах, когда б я пташкой
Да летать умела,
Я бы в Силезию
К Ясю улетела.

Юранд хотел выкрикнуть любимое имя, позвать свое дитя; но слова

застряли у него в горле, словно сжатым железным обручем. Волна боли, слез, тоски и горя залила внезапно ему грудь, он бросился лицом в снег и, объятый волнением, воззвал в душе к небу, словно вознося благодарственную молитву:

— О Иисусе! Я слышу еще голос моего дитяти! О Иисусе!

И все его огромное тело сотряслось от рыданий.

А в вышине полный тоски голос пел в невозмутимой ночной тиши:

Сиротинкой бедной
На плетень бы села:
«Глянь же, мой соколик,
Люба прилетела!..»

Утром толстый бородатый немецкий кнехт пнул ногой лежавшего у ворот рыцаря.

— Вставай, собака!.. Ворота открыты, и комтур повелел тебе предстать перед ним.

Юранд очнулся словно ото сна, он не схватил кнехта за горло, не сокрушил его своими железными руками, лицо его было тихим, почти смиренным; он поднялся и, не говоря ни слова, пошел за солдатом в ворота.

Не успел он миновать их, как позади раздался лязг цепей, подъемный мост стал подниматься вверх, а в воротах упала тяжелая железная решетка...

Часть вторая

Очутившись во дворе замка, Юранд не знал сперва, куда идти, так как кнехт проводил его через ворота, а сам направился к конюшням. У стены стояли кучками и поодиночке солдаты; но лица у них были такие наглые и смотрели они с такой насмешкой, что нетрудно было догадаться, что они не укажут ему дороги, и если и ответят на вопрос, то разве только грубостью или оскорблением.

Некоторые из них, смеясь, показывали на него пальцами; другие, как и вчера, снова стали бросать в него снегом. Заметив большую дверь, над которой было высечено в камне распятие, Юранд направился к ней, полагая, что если комтур и старшие братья находятся в другой части замка или в других покоях, то кто-нибудь должен сказать ему, как к ним пройти.

Так оно и случилось. Когда Юранд подошел к этой двери, обе створки ее внезапно распахнулись и перед ним предстал юноша с выбритой, как у ксендза, макушкой, но в светской одежде.

— Господин, это вы Юранд из Спыхова? — спросил он.

— Я.

— Благочестивый комтур велел мне проводить вас. Следуйте за мной.

И он повел рыцаря через просторные сводчатые сени к лестнице. Перед лестницей он остановился и, окинув Юранда глазами, снова спросил:

— При вас нет никакого оружия? Мне велено вас обыскать.

Юранд поднял вверх руки, чтобы провожатому легче было его осмотреть, и ответил:

— Вчера я отдал все.

Понизив голос, провожатый произнес шепотом:

— Тогда берегитесь, не давайте воли гневу, ибо вы в их власти.

— Но и во власти Всевышнего, — возразил Юранд.

Он устремил на провожатого пристальный взгляд и, уловив в его лице сочувствие и сожаление, проговорил:

— Я вижу по глазам, что ты хороший человек. Скажешь ли ты мне всю правду?

— Не мешкайте, — поторопил его провожатый.

— Отпустят ли они мою дочь, если я отдамся им?

Юноша в изумлении поднял брови.

— Так это здесь ваша дочь?

— Да, моя дочь.
— В башне у ворот?
— Да. Они пообещали мне отпустить ее, если я отдамся на милость их.

Повожатый сделал движение рукой, точно желая сказать, что он ничего не знает, но на лице его изобразились недоумение и тревога.

— Правда ли, — спросил его Юранд, — что ее стерегут Шомберг и Маркварт?

— Этих братьев нет в замке. Но возьмите ее отсюда, пока не выздоровел комтур Данфельд.

Юранд затрепетал при этих словах; однако он ни о чем уже больше не мог спрашивать юношу, так как они дошли до зала на втором этаже, где рыцарь должен был предстать перед лицом щитненского комтура. Слуга отворил ему дверь, а сам вышел на лестницу.

Рыцарь из Спыхова вошел в просторную, очень темную комнату; стеклянные, оправленные в свинец шарики пропускали мало света, а день был зимний, хмурый. В другом конце комнаты горел огонь в большом камине; но сырые дрова давали мало пламени. Спустя некоторое время, когда глаза его привыкли к полумраку, Юранд увидел в глубине комнаты стол, за которым сидели рыцари, а позади них целую толпу вооруженных оруженосцев и кнехтов и среди них замкового шута, державшего на цепи ручного медведя.

Когда-то Юранд бился с Данфельдом на поединке, потом дважды видел его при дворе мазовецкого князя, куда тот приезжал в качестве посла; с того времени прошло уже несколько лет, но даже в полумраке старый рыцарь тотчас признал его лицо и тучную фигуру, да и за столом комтур восседал посредине, в кресле, опираясь на подлокотник рукой в деревянном лубке. Справа от него сидел старый Зигфрид де Лёве из Янсборка, лютый враг всего польского племени, а Юранда из Спыхова в особенности, слева — младшие братья Готфрид и Ротгер. Данфельд нарочно пригласил их, чтобы они поглядели на его торжество над грозным врагом и насладились с ним плодами предательства, которое они вместе замыслили и совершили. Облаченные в мягкие одежды из темного сукна, с легкими мечами на боку, они сидели, удобно развалясь в креслах, веселые и самоуверенные, и взирали на Юранда с той надменностью и с тем безмерным пренебрежением, с каким всегда взирали на слабых и побежденных.

Они долго молчали, желая натешиться зрелищем мужа, которого раньше боялись и который стоял теперь перед ними, поникнув

головою, облаченный в покаянное вретище, с веревкой на шее, на которой висели ножны меча.

Им хотелось, чтобы побольше народу видело его унижение; верно, поэтому из боковых дверей, ведущих в другие комнаты, все входили вооруженные люди, так что зал до половины наполнился уже народом. Громко разговаривая и перебрасываясь замечаниями на его счет, все с нескрываемым любопытством смотрели на старого рыцаря. При виде этой толпы Юранд приободрился. «Если бы Данфельд, — подумалось ему, — не пожелал сдержать свои обещания, он не назвал бы столько свидетелей».

Тем временем Данфельд мановением руки призвал всех к спокойствию, а затем дал знак одному из оруженосцев; подойдя к Юранду и схватившись за веревку, висевшую на его шее, тот подтащил рыцаря на несколько шагов ближе к столу.

Данфельд обвел всех торжествующим взглядом.

— Смотрите, — сказал он, — как могущество ордена побеждает злобу и гордыню.

— Дай Бог, чтобы всегда так было! — ответили хором присутствующие.

На минуту снова воцарилось молчание, затем Данфельд обратился к пленнику:

— Как бешеный пес, кусал ты орден, и потому Бог дал, что, как пес, ты стоишь перед нами с веревкой на шее и ждешь от нас милости и пощады.

— Не равняй меня с псом, комтур, — ответил ему Юранд, — ибо ты умаляешь честь тех, кто бился со мною и погиб от моей руки.

Ропот пробежал по толпе вооруженных немцев; трудно, однако, было сказать, разгневала ли их смелость ответа или поразила его справедливость.

Но комтуру не понравился такой оборот разговора.

— Смотрите, — воскликнул он, — обуянный кичливостью и гордыней, он еще плюет нам в глаза!

А Юранд воздел руки, как бы призывая небо в свидетели, и ответил, качая головой:

— Бог видит, что моя гордыня осталась за воротами замка. Бог видит и рассудит, не опозорили ли вы сами себя, позоря мое рыцарское достоинство, ибо одна у нас честь, и блюсти ее должен всякий опоясанный рыцарь.

Данфельд нахмурился, но в эту минуту замковый шут закричал, лязгая цепью, на которой он держал медведя:

— Проповедь, проповедь! Из Мазовии проповедник явился! Слушайте проповедь!

Затем он обратился к Данфельду:

— Господин! Граф Розенгейм, когда звонарь своим звоном слишком рано разбудил его к проповеди, велел ему съесть от узла до узла всю веревку колокола; у этого проповедника тоже веревка на шее, велите ему съесть ее, пока он кончит проповедь.

И шут с беспокойством воззрился на комтура, не зная, засмеется ли тот или прикажет высечь его за то, что он некстати вмешался в разговор. Но крестоносцы, учтивые, кроткие, даже смиренные, когда они чувствовали свою слабость, не знали никакой жалости к побежденным. Данфельд не только кивнул скомороху, разрешая ему продолжать потеху, но и сам позволил себе столь неслыханную грубость, что на лицах некоторых молодых оруженосцев изобразилось изумление.

— Не жалуйся, что тебя опозорили, — сказал он. — Если я даже на псарню тебя пошлю, то псарем ордена лучше быть, чем вашим рыцарем.

А осмелевший шут закричал:

— Принеси скребницу да почисти моего медведя, а он тебе космы лапой расчесет.

Там и тут раздался смех, чей-то голос крикнул из толпы:

— Летом будешь камыш косить на озере.

— И раков ловить на пададь, — закричал другой.

— А сейчас, — прибавил третий, — ступай отгонять воронье от висельников. Хватит тут тебе работы.

Так издевались они над страшным для них некогда Юрандом. Постепенно вся толпа заразилась весельем. Кое-кто, выйдя из-за стола, подходил к пленнику поближе и, глядя на него, говорил: «Так это он самый и есть, тот кабан из Спыхова, которому наш комтур выбил клыки? Глянь, да у него пена на морде. И рад бы укусить, да не может!» Данфельд и другие братья хотели сперва изобразить некоторое подобие торжественного судилища, но, увидев, что у них ничего не получается, тоже поднялись со скамей и смешались с окружавшей Юранда толпой.

Правда, это не понравилось старому Зигфриду из Янсборка; но сам комтур сказал ему: «Не хмурьтесь, то-то будет потеха!» И они тоже стали глазеть на Юранда; случай и впрямь был исключительный, ибо раньше рыцарь или кнехт, увидевший его так близко, закрывал обычно глаза навеки. Некоторые говорили: «Плечист, ничего не скажешь, хоть и кожих на нем под вретисцем; обвертеть бы его гороховой соломой да водить по ярмаркам...» Другие, чтобы стало еще веселей, потребовали пива.

Через минуту зазвенели пузатые братины, и темный зал наполнился запахом пены, стекающей из-под крышек. «Вот и отлично! — сказал, развеселившись, комтур. — Эка важность, опозорили его!» К Юранду снова стали подходить крестоносцы; тыча ему в бороду братины, они приговаривали: «Что, мазурское рыло, небось хочется выпить!» А некоторые, плеснув себе в пригоршню пива, брызгали ему в глаза. Юранд стоял в толпе, оглушенный, уничтоженный; наконец он шагнул к старому Зигфриду и, чувствуя, что больше ему не выдержать, крикнул во весь голос, чтобы заглушить шум, стоявший в зале:

— Заклинаю вас всем святым, отдайте мне дочь, как вы обещали!

Он хотел схватить старого комтура за правую руку, но тот поспешно отодвинулся и сказал:

— Прочь, невольник! Чего тебе надобно?

— Я отпустил Бергова на волю и сам пришел сюда, потому что вы обещали отпустить за это на волю мою дочь.

— Кто тебе обещал? — спросил Данфельд.

— Ты, комтур, коли только есть у тебя совесть.

— Свидетелей тебе не найти, а впрочем, они и не нужны, когда речь идет о чести и слове.

— О твоей чести, о чести ордена! — воскликнул Юранд.

— Что ж, тогда мы отдадим тебе твою дочь! — ответил Данфельд.

Затем он обратился к присутствующим и сказал:

— Все, что встретило его здесь, отнюдь не достойная кара за его злодеяния, а лишь невинная потеха. Но раз мы обещали вернуть ему дочь, раз он явился сюда и смирился пред нами, то знайте, что слово крестоносца так же нерушимо, как слово Бога, и что дочери его, которую мы отняли у разбойников, мы даруем сейчас свободу, а после примерного покаяния во грехах, совершенных против ордена, и ему позволим вернуться домой.

Некоторые удивились, услышав такие речи; зная Данфельда и старую обиду, которую он питал к Юранду, никто не ждал, что он будет так великодушен. Старый Зигфрид, Ротгер и брат Готфрид воззрились на него, подняв в изумлении брови. Однако Данфельд притворился, будто не видит их вопросительных взглядов.

— Дочь мы отошлем под стражей, — сказал он, — а ты останешься здесь, пока наша стража не вернется невредимой и пока ты не заплатишь выкупа.

Юранд и сам изумился, он уже совсем потерял надежду на то, что, жертвуя собой, сможет спасти Данусю. Он устремил на Данфельда благодарный взгляд и произнес:

— Да вознаградит тебя Бог, комтур!

— Знай же, каковы рыцари Христа! — ответил ему Данфельд.

— Велик Бог милостию, — сказал Юранд. — Долгое время не видал уж я своего дитяти, позволь же мне поглядеть на дочку и благословить ее.

— Да, но только в присутствии всех, дабы все могли свидетельствовать, сколь верны мы нашему слову и милостивы!

С этими словами он велел стоявшему рядом оруженосцу привести Данусю, а сам подошел к де Лёве, Ротгеру и Готфриду, которые окружили его и торопливо и взволнованно стали что-то ему говорить.

— Я не стану противиться, — говорил старый Зигфрид, — но ведь у тебя были совсем другие намерения.

А вспыльчивый, прославившийся своей храбростью и жестокостью Ротгер воскликнул:

— Как, ты не только хочешь девку выпустить, но и этого дьявола, этого пса, чтобы он опять стал кусаться?

— Он теперь еще не так будет кусаться! — поддержал его Готфрид.

— Ба!.. Зато выкуп заплатит, — небрежно возразил Данфельд.

— Да если он все свои богатства отдаст, так за год с нас вдвое слупит!

— Что до девки, так я не стану противиться, — повторил Зигфрид. —

Но из-за этого волка мы, овечки, еще наплачемся.

— А наше слово? — с улыбкой спросил Данфельд.

— Мы слышали от тебя другие речи...

Данфельд пожал плечами.

— Мало вам было потехи? — спросил он. — Хотите еще?

Юранда снова окружила толпа; все считали, что великодушный поступок Данфельда покрыл орден славой, и бахвалились перед старым рыцарем.

— Что, сокрушитель, — говорил капитан замковых лучников, — небось твои язычники не обошлись бы так с нашим христианским рыцарем?

— Кровь нашу лил?

— А мы тебе хлеб за камень...

Но Юранд не обращал уже внимания на их слова, полные гордости и пренебрежения, сердце его смягчилось, и глаза увлажнились слезами. Он думал о том, что через минуту увидит Данусю, и увидит ее только по милости победителей.

— Правда, правда, — говорил он, сокрушенно глядя на крестоносцев, — я чинил вам обиды, но... я отроду не был предателем.

Неожиданно в другом конце зала чей-то голос крикнул: «Девку ведут!»

— и в зале внезапно воцарилась тишина. Солдаты расступились; никто из них не видал еще дочери Юранда, а большая часть не знала даже о том, что она находится в замке, так как Данфельд все свои действия окружал тайной. Однако те, кто дознался об этом, уже успели шепнуть другим, как чудно она хороша. Все глаза с необычайным любопытством устремились на дверь, в которой она должна была появиться.

Сперва в дверях показался оруженосец, за ним та самая, уже всем известная послушница, которая ездила в лесной дом, а уж за нею в зал вошла девушка в белом, с распущенными волосами, повязанными на лбу лентой.

И вдруг в зале раздался громовый взрыв смеха. Юранд, который в первую минуту бросился было к дочери, попятился вдруг и, побледнев как полотно, воззрился в изумлении на длинную голову, синие губы и бессмысленные глаза юродивой, которую пытались выдать ему за Данусю.

— Это не моя дочь! — проговорил он с тревогой в голосе.

— Не твоя дочь? — воскликнул Данфельд. — Клянусь святым Либерием из Падерборна^[86], либо мы не твою дочь отбили у разбойников, либо ее колдун обернул, ибо другой у нас в Щитно нет.

Старый Зигфрид, Ротгер и Готфрид в восторге от хитрости Данфельда обменялись быстрыми взглядами; но ни один из них не успел слова вымолвить, как Юранд крикнул страшным голосом:

— Здесь она! Здесь, в Щитно! Я слышал, как она пела, я слышал голос моего дитяти!

Данфельд обернулся к собравшимся и сказал спокойно и отдельно:

— Я беру в свидетели всех присутствующих, особенно тебя, Зигфрид из Янсборка, и вас, благочестивые братья Ротгер и Готфрид, что, выполняя данное мною слово и данный мною обет, я отдаю Юранду из Спыхова эту девку, о которой разбойники, разбитые нами, говорили, будто она его дочь. Если же это не она, то не наша в том вина, но воля Господа Бога Нашего, который пожелал предать так Юранда в наши руки.

Зигфрид и оба младших брата склонили головы в знак того, что слышат его и в случае надобности будут перед всеми свидетельствовать. Затем они снова обменялись быстрыми взглядами, ибо это превзошло все их ожидания: схватить Юранда, не отдать ему дочери, а с виду как будто сдерживать обещание — кто еще мог бы измыслить такое?

Но Юранд бросился на колени и стал заклинять Данфельда всеми святынями Мальборка и прахом его отцов отдать ему дочь, не поступать так, как поступают лжецы и предатели, нарушающие клятвы и обеты. В голосе его звучало такое неподдельное отчаяние, что кое-кто догадался о

коварстве, а другим пришло даже в голову, не оборотил ли и впрямь девушку какой-нибудь чародей.

— Бог видит твоё вероломство! — зывал Юранд. — Заклинаю тебя ранами Спасителя, смертным твоим часом, отдай мне мое дитя!

И, поднявшись с колен, он пошел, согнувшись, к Данфельду, словно желал обнять его колени, и глаза его светились безумием, а голос прерывался то от муки и страха, то от отчаяния, то от угрозы. Когда Данфельд услышал обвинения в предательстве и обмане, он фыркнул и побагровел от гнева; желая вконец растоптать врага, он шагнул вперед и, нагнувшись к несчастному отцу, прошипел ему на ухо:

— А коли я и отдам её тебе, так с моим ублюдком...

В то же мгновение Юранд взревел, как бык, и, схватив обеими руками Данфельда, поднял его вверх. В зале раздался пронзительный крик: «Пощади!!» — и тело комтура с такой страшной силой грянулось о каменный пол, что мозг из разбитого черепа обрызгал стоявших поблизости Зигфрида и Ротгера.

Юранд отскочил к боковой стене, у которой стояло оружие, и, схватив огромный двуручный меч, ринулся как ураган на окаменевших от ужаса немцев.

Это были люди, привычные к битвам, резне и крови, но такой страх объял их души, что, даже опомнившись, они все же шарахнулись и бросились врассыпную, как стадо овец перед волком, который убивает их одним ударом клыков. Зал огласился криками ужаса, топотом человеческих ног, звоном опрокинутой посуды, воплями слуг, рыком медведя, который вырвался из рук скомороха и полез на высокое окно, и неистовыми голосами, требовавшими оружия, щитов, мечей и самострелов. Наконец сверкнуло оружие, и десятки клинков направились на Юранда, но он, ничего не видя, полуобезумев, сам бросился на них, и начался дикий, неслыханный бой, больше похожий на резню. Молодой и горячий брат Готфрид первый преградил Юранду путь; но тот молниеносным ударом меча отрубил ему голову вместе с рукой и лопаткой; затем от руки старого рыцаря пали капитан лучников, замковый эконо́м фон Брахт и англичанин Хьюг, который не много понимал из того, что вокруг него происходит, но, видя страдания Юранда, жалел его и оружие обнажил только после убийства Данфельда. Другие, видя, как могуч Юранд и как он разъярен, сбились в кучу, чтобы сообща дать ему отпор, однако это привело только к еще большим потерям. Волосы у Юранда встали дыбом; весь залитый кровью, сверкая безумными глазами, он в неистовстве и исступлении рубил и крошил врагов и, рассекая толпу страшными ударами меча, валил немцев

на забрызганный кровью пол, как ураган валит кусты и деревья. И снова наступила ужасная минута; казалось уже, что грозный мазур один вырежет и перебьет всю эту толпу, что вся эта свора вооруженных немцев подобна своре визжащих собак, которые без помощи стрелков не могут одолеть свирепого вепря-одинца, что не могут они сравняться с Юрандом в силе и ярости и борьба с ним несет им только гибель и смерть.

— Рассыпайся! Окружай! Бей сзади! — крикнул старый Зигфрид де Лёве.

Все рассыпались по залу, как стая скворцов рассыпается по полю, когда на нее ринется с неба кривоклювый ястреб, но не могли окружить Юранда, так как он в пылу боя, вместо того чтобы найти место обороны, погнался за врагами по стене, и те, кого он успел догнать, пали, словно сраженные громом. Унижение, отчаяние, обманутая надежда пробудили в нем жажду крови, которая, казалось, удесятирила его страшную силу. Одной рукой он как перышком орудовал мечом, который самые сильные крестоносцы могли поднять только обеими руками. Он не дрался за жизнь, не искал спасения, не стремился даже к победе, он жаждал мести, и, как огонь или как река, хлынув через плотину, сметает слепо все, что стоит на ее пути, так и он, страшный истребитель, ничего не видя, сек, крушил, ломал, теснил и уничтожал своих врагов.

Они не могли поразить его в спину, потому что никто не мог его догнать, да простые солдаты и подойти к нему сзади боялись, понимая, что, если он обернется, им не миновать смерти. Других обьял невыразимый ужас при мысли, что обыкновенный человек не может нанести такой урон и что перед ними противник, которому пришли на помощь сверхъестественные силы.

Но вот старый Зигфрид и брат Ротгер взбежали на хоры, которые тянулись вдоль зала над большими окнами, и стали звать за собой других. Толкая друг друга на узеньких ступенях, все стремительно ринулись наверх, чтобы, укрывшись поскорее на хорах, разбить оттуда богатыря, с которым немислим был рукопашный бой. Наконец последний солдат захлопнул за собой дверь, ведущую на хоры, и Юранд остался внизу один. На хорах раздались крики радости и торжества, и вскоре на рыцаря полетели тяжелые дубовые скамьи, и табуреты, и железные рукояти факелов. Одна из рукоятей угодила Юранду в лоб над бровями и залила ему кровью лицо. В ту же минуту распахнулась высокая входная дверь, и кнехты, которых кликнули в верхние окна со двора, толпой ввалились в зал с копьями, алебардами, секирами, самострелами, дрекольями, веревками и всяким иным оружием, какое они только успели второпях захватить.

А обезумевший Юранд отер левой рукой кровь с лица, чтобы она не мешала ему видеть, сжался весь и ринулся на всю эту толпу. Снова в зале раздались крики, лязг железа, скрежет зубов и пронзительные стоны умирающих.

II

Вечером в том же зале сидел за столом старый Зигфрид де Лёве, который после гибели комтура Данфельда временно принял управление Щитно, а рядом с ним брат Ротгер, рыцарь де Бергов, бывший невольник Юранда, и двое благородных юношей на искусе, которые вскоре должны были надеть белые плащи. Зимняя буря выла за окнами, сотрясая свинцовые переплеты и колебля пламя факелов, пылавших на железных рукоятках; клубы дыма от дуновения бури вырывались порой из камина. Братья собрались на совет; однако все хранили молчание, ожидая, что скажет Зигфрид, а тот, опершись локтями на стол и сжав руками седую поникшую голову, сидел угрюмый, с мрачной тенью на лице и темной думой на сердце.

— О чем же нам совет держать? — спросил брат Ротгер.

Зигфрид поднял голову, посмотрел на брата, вызвавшего его из задумчивости, и сказал:

— О погроме, о том, что скажут магистр и капитул, и о том, как нам поступить, чтобы не произошло вреда для ордена.

Он снова умолк и только через минуту огляделся кругом и втянул в себя воздух.

— Тут еще пахнет кровью.

— Нет, комтур, — возразил Ротгер. — Я велел вымыть полы и покурить серой. Это серой пахнет.

Зигфрид обвел странным взглядом присутствующих и воскликнул:

— Дух света, упокой усопших брата Данфельда и брата Готфрида!

Все поняли, что старик взывает к Богу и молит об упокоении усопших потому, что при упоминании о сере он подумал про ад; трепет обнял рыцарей, и они хором ответили:

— Аминь, аминь, аминь!

С минуту слышался вой ветра и дребезжание оконных переплетов.

— Где тела комтура и брата Готфрида? — спросил старик.

— В часовне. Священники поют над ними литании.

— Они уже в гробах?

— В гробах, только у комтура закрыта голова, у него и череп и лицо разбиты.

— Где остальные мертвецы? Где раненые?

— Мертвецов положили на снег, чтобы они заоченели, пока сколотят

гробы, а раненые уже перевязаны и лежат в госпитале.

Зигфрид снова сжал руками голову.

— И все это сотворил один человек!.. Дух света, храни орден, когда начнется великая война с этим волчьим племенем!

Ротгер поднял глаза, словно силясь что-то вспомнить.

— Я слышал под Вильно, — сказал он, — как самбийский правитель говорил своему брату, магистру: «Если ты не начнешь великой войны и не истребишь это племя так, чтобы стерлась сама память о нем, горе тогда нам и нашему народу».

— Господи, пошли великую войну, дабы нам сразиться с ними! — сказал один из юношей, пребывающих на искусе.

Зигфрид устремил на него долгий взгляд, как бы желая сказать: «Сегодня ты мог сразиться с одним из них», — но при виде невзрачной фигуры юноши вспомнил, быть может, о том, что и сам, несмотря на все свое прославленное мужество, не пожелал идти на верную смерть, и не стал укорять его.

— Кто из вас видел Юранда? — спросил он.

— Я, — ответил де Бергов.

— Он жив?

— Жив. Лежит в той самой сети, которой мы его опутали. Когда он очнулся, кнехты хотели добить его, но капеллан не позволил.

— Добивать нельзя. Он у мазуров человек значительный, они подняли бы страшный шум, — возразил Зигфрид. — И скрывать все, что случилось тут, нам не придется, слишком много было свидетелей.

— Что же нам говорить и что делать? — спросил Ротгер.

Зигфрид задумался.

— Вы, благородный граф де Бергов, — заговорил он через минуту, — поезжайте в Мальборк к магистру. Вы томились в неволе у Юранда и как гость ордена вовсе не должны непременно за нас заступаться, вам поэтому скорее поверят. Расскажите обо всем, что вы видели, о том, как Данфельд отбил у пограничных разбойников какую-то девушку и, думая, что это дочь Юранда, дал ему знать об этом, как Юранд прибыл в Щитно и... ну, о том, что было дальше, вы сами знаете...

— Простите, благочестивый комтур, — сказал де Бергов. — Я томился в Спыхове в тяжелой неволе и как ваш гость охотно свидетельствовал бы за вас; но скажите мне, чтобы совесть моя была спокойна: не было ли в Щитно подлинной дочери Юранда и не вероломство ли Данфельда разъярило так ее грозного отца?

Зигфрид де Лёве не сразу ответил. Лютой ненавистью ненавидел он

польское племя, даже Данфельда превосходил жестокостью, и хищен был, когда дело касалось ордена, надменен и алчен, но не любил строить козни. Тяжелым испытанием, отравлявшим всю его жизнь, были эти козни, ставшие уже, вследствие безнаказанности и самочинства крестоносцев, общим и неизбежным явлением в жизни ордена. Де Бергов затронул его самое больное место, и только после продолжительного молчания старик сказал:

— Данфельд предстал уже пред судилищем Господа, если же вас, граф, спросят, что вы обо всем этом думаете, то вы можете сказать, что вам угодно. Но если вас спросят, что видели вы собственными глазами, то скажите, что, прежде чем мы опутали сетью безумного мужа, вы, кроме раненых, видели здесь, на полу, девять трупов, и между ними трупы Данфельда, брата Готфрида, фон Брахта, Хьюга и двух благородных юношей... Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих! Аминь!

— Аминь, аминь! — снова повторили юноши, пребывающие на искусе.

— Скажите также, — прибавил Зигфрид, — что как ни хотел Данфельд усмирить врага ордена, все же никто из нас не обнажил первый меча.

— Я буду говорить только то, что видел собственными глазами, — ответил де Бергов.

— Около полуночи будьте в часовне, мы придем помолиться за усопших, — сказал Зигфрид.

И, прощаясь, в знак благодарности протянул де Бергову руку; он хотел остаться один на один с братом Ротгером, которого любил беззаветно, как может любить только отец единственного сына. В ордене по поводу этой безграничной любви строили всякие догадки; но никто ничего толком не знал, тем более что рыцарь, которого Ротгер считал своим отцом, жил еще в своем маленьком замке в Германии и никогда не отрекался от сына.

После ухода Бергова Зигфрид услал и обоих юношей, пребывающих на искусе, под тем предлогом, что надо последить, как сколачивают гробы для убитых Юрандом простых кнехтов, а когда дверь закрылась за ними, живо повернулся к Ротгеру и произнес:

— Послушай, что я тебе скажу, есть одно только средство: надо, чтобы ни одна живая душа никогда не узнала, что у нас была подлинная дочь Юранда.

— Это нетрудно, — ответил Ротгер, — ведь о том, что она у нас, не знал никто, кроме Данфельда, Готфрида, нас двоих и послушницы, которая стережет ее. Людей, которые привезли ее из лесного дома, Данфельд велел

напоить и повесить. Среди стражи были такие, которые кое о чем догадывались, но, когда вышла эта юродивая, они совсем были сбиты с толку и сейчас сами не знают, мы ли это ошиблись или какой-то чародей и впрямь оборотил дочку Юранда.

— Это хорошо, — заметил Зигфрид.

— Мне вот что пришло в голову, благородный комтур: коли Данфельд уже мертв, не свалить ли на него всю вину?..

— И признаться перед всем светом в том, что в мирное время, когда шли переговоры с мазовецким князем, мы похитили из его дома воспитанницу княгини и ее любимую придворную? Нет, это немыслимое дело. При дворе нас видели вместе с Данфельдом, и великий госпитальер, его родич, знает, что мы действовали всегда заодно. Если мы обвиним Данфельда, он станет мстить нам за то, что мы порочим его память.

— Что ж, надо тогда посоветоваться, как быть, — сказал Ротгер.

— Надо посоветоваться и придумать хорошее средство, иначе нам несдобровать! Отдать дочку Юранду, так она сама скажет, что мы вовсе не отбивали ее у разбойников и что люди, которые ее похитили, привезли ее прямо в Щитно.

— Это верно.

— Дело не только в ответственности. Князь станет жаловаться польскому королю, и королевские послы тотчас поднимут крик при всех дворах о насилиях, которые мы чиним, о нашем вероломстве, о наших злодеяниях. Какой вред может от этого произойти для ордена! Да если бы только сам магистр знал правду, он должен был бы повелеть нам скрыть эту девку.

— Но если она пропадет, они все равно будут винить нас? — спросил Ротгер.

— Нет! Брат Данфельд был человек хитрый. Помнишь, он поставил Юранду условие, чтобы тот не только явился в Щитно, но раньше объявил всем своим и написал князю, будто едет выкупать дочь у разбойников и знает, что ее у нас нет.

— Это верно. Но как же мы объясним тогда все, что случилось в Щитно?

— Мы скажем, будто знали о том, что Юранд ищет дочь, и, когда отбили у разбойников какую-то девку, которая не могла сказать нам, кто она такая, то дали знать об этом Юранду, думали, что, может, это его дочь, а тот, как приехал да увидел эту девку, обезумел и, будучи одержим злым духом, пролил столько невинной крови, что и в бою не бывает такого кровопролития.

— Воистину, разум и опыт жизни глаголет вашими устами, — произнес Ротгер. — Если бы мы свалили всю вину на Данфельда, его дурные дела все равно приписали бы ордену, стало быть, и всем нам, и капитулу, и самому магистру, а так будет доказана наша непричастность и во всем будут повинны Юранд и поляки, которые дышат злобой на нас и знают со злыми духами...

— И пусть тогда судит нас кто хочет: папа ли или римский император!

— Да.

На минуту воцарилось молчание, затем брат Ротгер спросил:

— Что же мы сделаем с дочкой Юранда?

— Давай подумаем.

— Отдайте ее мне.

Зигфрид посмотрел на него и сказал:

— Нет! Послушай, молодой брат! Когда дело касается ордена, нельзя потворствовать слабостям ни мужчины, ни женщины, но нельзя потворствовать и своим собственным слабостям. Данфельда покарала десница Господня, ибо он хотел не только отомстить за обиды, нанесенные ордену, но и удовлетворить свою похоть.

— Вы плохо обо мне думаете! — возразил Ротгер.

— Нельзя потворствовать своим слабостям, — прервал его Зигфрид, — ибо плоть и дух ваши станут немощны и жестокое это племя со временем так придавит коленом вам грудь, что больше вы уже не восстанете.

И в третий раз он мрачно оперся на руку головой, и видно было, что говорит старик только с собственной совестью и себя только подразумевает, потому что через минуту он сказал:

— И на моей совести много людской крови, много мук, много слез... И я, когда дело касалось ордена и я видел, что силой не возьмешь, без колебаний искал иных путей; но когда я предстану пред судилищем Господа, которого чту и люблю, то скажу ему: «Для блага ордена я свершил сие, а себе избрал одно лишь долготерпение».

Сжав руками виски, он поднял глаза к небу и воскликнул:

— Отрекитесь от плотских утех и непотребства, укрепите вашу плоть и ваш дух, ибо я вижу в воздухе белые орлиные крылья и когти орла, красные от крови крестоносцев...

Его речь прервал такой страшный порыв бури, что вверху над хорами с шумом распахнулось окно и в зал с хлопьями снега ворвался вой и свист метели.

— Во имя Духа Света! Какая зловещая ночь! — сказал старый

крестоносец.

— Ночь злых духов, — заметил Ротгер. — Но скажите, почему вы говорите не «во имя Бога», а «во имя Духа Света»?

— Дух Света — это Бог, — ответил старик и затем, как бы желая переменить разговор, спросил: — А у гроба Данфельда есть священники?

— Да.

— Боже, смилуйся над ним, грешным.

И они оба умолкли, затем Ротгер позвал слуг и приказал им закрыть окно и снять нагар с факелов, а когда они вышли, снова спросил:

— Что же вы сделаете с дочкой Юранда? Возьмете ее отсюда в Янсборк?

— Я возьму ее в Янсборк и сделаю с нею то, что нужно будет для блага ордена.

— А что же мне надо делать?

— Есть ли у тебя мужество?

— Разве я совершил поступок, который дал бы вам право сомневаться в этом?

— Нет, я в тебе не сомневаюсь, я знаю тебя и за мужество люблю больше всех на свете. Тогда поезжай ко двору мазовецкого князя и расскажи ему все, что случилось тут, так, как мы решили.

— Но ведь мне тоже грозит гибель?

— Если твоя гибель послужит к вящей славе Христа и ордена, ты должен пожертвовать жизнью. Но нет! Не ждет тебя гибель! Они гостям не чинят обид, разве только кто-нибудь захочет вызвать тебя на бой, как тот молодой рыцарь, который всем нам послал вызов... Он ли или кто другой, ведь тебе никто из них не страшен...

— Дай-то Бог! И все же они могут схватить меня и ввергнуть в подземелье.

— Они этого не сделают. Помни, что Юранд написал князю письмо, а ты ведь поедешь жаловаться на Юранда. Ты расскажешь им всю правду о том, что он натворил в Щитно, и они должны будут поверить тебе... Мы первые дали им знать, что у нас какая-то девка, первые пригласили его приехать и посмотреть ее, а он приехал, обезумел, убил комтура, перебил наших людей. Ты расскажешь им так обо всем, и что же тогда они смогут тебе ответить? Слух о смерти Данфельда разнесется уже по всей Мазовии. Князь не станет поэтому жаловаться. Дочку Юранда, наверно, будут искать, но раз сам Юранд написал, что она не у нас, то никто не заподозрит, что мы причастны к ее похищению. Надо выказать храбрость и заткнуть им рты, они ведь подумают, что, если бы мы были виноваты, никто из нас не

отважился бы приехать к ним.

— Это верно. После похорон Данфельда я тотчас отправлюсь в путь.

— Да благословит тебя Бог, сыночек! Если все сделать с умом, они не только тебя не задержат, но вынуждены будут отречься от Юранда, чтобы мы не могли сказать: вот, мол, что творят они с нами!

— Надо будет жаловаться так при всех дворах.

— Великий госпитальер проследит за этим и для блага ордена, и как родич Данфельда.

— Да! Но если этот спыховский дьявол выживет и вырвется на волю...

Зигфрид, угрюмо глядя перед собой, ответил медленно и раздельно:

— Если он даже вырвется на волю, то никогда не сможет произнести ни единого слова жалобы на орден.

Затем он стал учить Ротгера, что говорить и чего требовать при мазовецком дворе.

III

Однако весть о событии в Щитно дошла до Варшавы еще до прибытия брата Ротгера и вызвала там удивление и беспокойство. Ни сам князь, ни придворные не могли понять, что же произошло. Незадолго до этого Миколай из Длуголяса должен уже был отправиться в Мальборк с письмом от князя, в котором тот с горечью жаловался на самочинство пограничных комтуров, похитивших Данусю, и, прибегая даже к угрозам, требовал незамедлительно отпустить ее на волю. И вдруг пришло письмо из Спыхова от Юранда, в котором он сообщал, что дочь его похитили не крестоносцы, а обыкновенные пограничные разбойники, и что он в самом непродолжительном времени ее выкупит. Поэтому посол не поехал в Мальборк; никому не пришло в голову, что крестоносцы могли вынудить Юранда написать это письмо, пригрозив ему смертью дочери. Правда, трудно было понять, как могли разбойники похитить девушку. На границе шайки разбойников, будь то подданные князя или ордена, учиняли нападения не зимой, когда их могли выдать следы на снегу, а летом, да и нападали на купцов или грабили деревушки, хватая людей и угоняя скот. Казалось совершенно невероятным, чтобы они дерзнули посягнуть на князя и похитить его воспитанницу, к тому же дочь могущественного рыцаря, перед которым все трепетало. Но письмо Юранда рассеяло все сомнения, оно было скреплено его собственной печатью и на этот раз доставлено человеком, о котором было точно известно, что он из Спыхова. Всякие подозрения как будто отпали, только князь разгневался так, как давно уж не гневался, и велел преследовать разбойников по всей границе своего княжества, призвав и плоцкого князя не давать пощады насильникам.

И тут вдруг пришла весть о событии в Щитно.

Переходя из уст в уста, весть была раздута и преувеличена. Рассказывали, будто Юранд ворвался в замок с пятью всадниками через открытые ворота и учинил такую резню, что из стражи мало кто остался цел и пришлось посылать за подмогой в ближайшие замки, скликать рыцарей и вооруженные пешие отряды, которые только после двухнедельной осады захватили замок и убили Юранда с его товарищами. Толковали также, будто все эти войска вторгнутся теперь в пределы княжества и неминуемо вспыхнет война. Князь не верил этим слухам, он знал, как важно для великого магистра, чтобы в случае войны с польским

королем оба мазовецкие княжества не стали на сторону королевства; не было для князя тайной и то, что в случае нападения крестоносцев на него или на Земовита плочкого никто не сможет удержать королевство от выступления в их защиту и что великий магистр боится этой войны. Понимая, что она неизбежна, великий магистр стремился, однако, оттянуть ее; он и по натуре был миролюбив, да и помериться силами с могущественным Ягайлом мог только, подготовив войско, какого орден еще никогда не выставлял, и обеспечив себе помощь государей и рыцарства не только Германии, но и всего Запада.

Князь войны не боялся, однако хотел знать, что же в самом деле произошло, что надо думать о событии в Щитно, исчезновении Дануси и о всех тех слухах, которые приходили с границы. Поэтому, при всей своей ненависти к крестоносцам, он обрадовался, когда однажды вечером капитан лучников доложил ему, что приехал рыцарь ордена и просит аудиенции.

Князь принял крестоносца надменно; тотчас признав в нем одного из тех братьев, которые были у него в лесном доме, он сделал вид, что не узнает его, и спросил, кто он такой, откуда прибыл и что привело его в Варшаву.

— Я брат Ротгер, — ответил крестоносец, — и недавно имел честь бить вам челом, вельможный князь.

— Почему же ты, будучи братом ордена, не надел своих знаков?

Рыцарь стал толковать князю, что он не надел белого плаща с крестом только потому, что его тогда непременно схватили бы и убили мазовецкие рыцари; повсюду, мол, на свете, во всех королевствах и княжествах, знак креста на плаще хранит и обеспечивает гостеприимство, и в одном только мазовецком княжестве крест угрожает верной гибелью.

Князь в гневе прервал его.

— Не крест, — сказал он, — ибо крест и мы целуем, а ваша бесчестность... А коли вас в другом месте лучше принимают, то только потому, что меньше вас знают.

Видя, как смешался рыцарь, князь спросил:

— Ты был в Щитно, не знаешь ли, что там произошло?

— Я был в Щитно и знаю, что там произошло, — ответил Ротгер, — сюда же я прибыл не как посол, а лишь затем, что умудренный опытом и благочестивый комтур из Янсборка сказал мне: «Наш магистр любит благочестивого князя и верит в его справедливость, так вот я поспешу в Мальборк, а ты поезжай в Мазовию и бей челом князю на Юранда, расскажи о нашей обиде, о нанесенном нам бесчестье, о нашей беде. Не

похвалит справедливый князь нарушителя мира и жестокого обидчика, который столько пролил христианской крови, словно он не Христа слуга, но Сатаны».

И крестоносец стал рассказывать обо всем, что произошло в Щитно, о том, как они, отбив у разбойников девушку, вызвали Юранда посмотреть, не его ли это дочь, как тот вместо благодарности пришел в ярость и убил Данфельда и брата Готфрида, англичанина Хьюга, фон Брахта и двух благородных оруженосцев, не считая кнехтов; как они, памятуя заповедь Божию и не желая убивать его, вынуждены были в конце концов опутать сетью грозного мужа, который поднял тогда на себя руку и нанес себе тяжелые раны; как ночью после погрома не только в самом замке, но и в городе люди в вихре зимней бури слышали страшный хохот и голоса, взывавшие в воздухе: «Наш Юранд! Хулитель Креста! Погубитель невинных душ! Наш Юранд!»

И весь рассказ, и особенно последние слова крестоносца произвели сильное впечатление на присутствующих. Все подумали в страхе, что, может, Юранд и впрямь призвал на помощь дьявола. Воцарилось немое молчание. Но на аудиенции присутствовала княгиня, которая все горевала о своей дорогой Данусе; она обратилась к рыцарю с неожиданным вопросом.

— Вы говорите, рыцарь, — сказала она, — что, отбив юродивую, решили, что это дочь Юранда, и потому вызвали его в Щитно?

— Да, вельможная княгиня, — ответил Ротгер.

— Как же вы могли это подумать, когда в лесном доме вы видели со мною подлинную дочь Юранда?

Брат Ротгер смешался, он не был подготовлен к такому вопросу. Князь поднялся и вперил в крестоносца суровый взор, а Миколай из Длуголяса, Мрокота из Моцажева, Ясько из Ягельницы и прочие мазовецкие рыцари, тотчас подбежав к монаху, грозно спросили его:

— Как могли вы это подумать? Говори, немец, как могло это случиться?

Но брат Ротгер овладел собою и сказал:

— Мы, монахи, не поднимаем на женщин очей. В лесном доме вельможную княгиню окружало много придворных; но которая из них дочка Юранда, этого никто из нас не знал.

— Данфельд знал, — возразил Миколай из Длуголяса, — он даже говорил с нею на охоте.

— Данфельд предстал перед Богом, — ответил Ротгер, — и о нем я одно только могу сказать: на другой день после смерти на его гробу нашли расцветшие розы, а время зимнее, и рука человеческая не могла возложить их на гроб.

Снова наступило молчание.

— Откуда вы узнали, что у Юранда похитили дочь? — спросил князь.

— Столь дерзостен и кощунствен был этот поступок, что слух о нем разнесся повсюду. Узнав о похищении, мы заказали молебен, возблагодарив Создателя за то, что из лесного дома похитили не вашего родного сына или дочь, а простую придворную.

— И все же мне удивительно, как могли вы юродивую принять за дочь Юранда?

Брат Ротгер ответил:

— Данфельд нам вот что сказал: «Сатана часто предает своих слуг, может, он оборотил дочь Юранда».

— Разбойники — люди простые, они не могли подделать руку Калеба и печать Юранда! Кто это мог сделать?

— Злой дух.

И снова никто не нашелся что ответить.

Ротгер устремил на князя пристальный взгляд и сказал:

— Воистину, как мечи, пронзают мне грудь ваши вопросы, ибо недоверие и подозрение таятся в них. Но, веря в правосудие Божие и в силу правды, я вопрошаю тебя, вельможный князь: разве Юранд подозревал нас в этом злодеянии? А если подозревал, то почему, прежде чем мы вызвали его в Щитно, он искал по всей границе разбойников, чтобы выкупить у них свою дочь?

— Это... верно! — произнес князь. — Если и скроешь что от людей, то от Бога не скроешь. В первую минуту он подозревал вас, но потом... потом думал иначе.

— Так свет истины побеждает тьму, — сказал Ротгер.

И торжествующим взглядом окинул зал, думая, что крестоносцы хитрее и умнее поляков и что польское племя всегда будет добычей и снедью ордена, как муха бывает добычей и снедью паука.

Отбросив прежнюю вкрадчивость, он приступил к князю и заговорил громко и настойчиво:

— Вознагради нас, государь, за наши потери, за наши обиды, за наши слезы и нашу кровь! Твоим подданным был Юранд, это исчадие ада, вознагради же нас за наши обиды и кровь во имя Бога, давшего власть государям, во имя правосудия и Креста!

Князь воззрился на него в изумлении.

— Господи помилуй! — сказал он. — Да чего же это ты хочешь? Юранд в безумии пролил вашу кровь, а я должен отвечать за его безумства?

— Он был твоим подданным, государь, — возразил крестоносец, — в

твоим княжеством лежат его земли, его деревни и его городок, где томились в неволе слуги ордена; пусть же хоть эти богатства, эти земли и эта твердыня безбожия достанутся отныне под руку ордена. Воистину, недостойная это будет отплата за пролитую благородную кровь! Не воскресит она мертвых; но, может, укротит гнев Божий и изгладит позор, который иначе падет на все твое княжество. О государь! Повсюду владеет орден землями и замками, данными ему милостивыми и благочестивыми христианскими государями, только здесь нет ни пяди земли в его обладании. Пусть же наша обида, взывающая о мести к Богу, будет хоть так вознаграждена, дабы могли мы сказать, что и здесь люди живут в страхе Божиим.

Князь не мог прийти в себя от изумления, только после долгого молчания он воскликнул:

— Раны Божьи!.. Да по чьей же милости владеет орден здесь землями, как не по милости моих отцов? Мало вам еще краев, земель и городов, которые некогда принадлежали нам, а ныне под вашей рукой? Жива еще дочь Юранда, никто не донес нам еще о ее смерти, а вы уже хотите захватить сиротское приданое и сиротским хлебом вознаградить себя за обиды?

— Государь, ты признал наши обиды, — сказал Ротгер, — так вознагради же нас за них так, как велит тебе твоя княжеская совесть и твоя справедливая душа.

И снова возвеселился он сердцем, подумав про себя: «Теперь они не только не будут винить нас, но сами еще подумают, как бы умыть руки и чистыми выйти из этого дела. Никто уже не станет нас укорять, и незапятнанной, как белый наш плащ, будет слава ордена».

Но неожиданно раздался голос старого Миколая из Длуголяса:

— Вас осуждают за алчность, и, видит Бог, справедливо, ибо в этом деле не честь ордена, а выгода важна для вас.

— Это правда! — хором поддержали его мазовецкие рыцари.

Крестоносец шагнул вперед, надменно поднял голову и, смерив их высокомерным взглядом, сказал:

— Я прибыл сюда не как посол, а как свидетель и рыцарь ордена, готовый до последнего издыхания защищать его честь!.. Если кто, вопреки словам самого Юранда, посмеет обвинить нас в том, что мы причастны к похищению его дочери, пусть поднимет эту рыцарскую перчатку и предаст себя в руки Господа.

С этими словами он бросил перчатку к ногам рыцарей; но те стояли в немом молчании, ибо не один из них иззубрил бы свой меч о шею крестоносца, но все они боялись Суда Божия. Ни для кого не было тайной

ясное свидетельство Юранда, что не рыцари ордена похитили его дочь, поэтому всякий думал в душе, что прав Ротгер и что он победит в бою.

А тот, подбоченясь, спросил с еще большею дерзостью:

— Так кто же поднимет эту перчатку?

Внезапно на середину зала вышел рыцарь; никто не заметил его появления, и он уже некоторое время слушал в дверях речи крестоносца.

— Я! — сказал он, подняв перчатку.

И, бросив свою перчатку прямо в лицо Ротгеру, заговорил голосом, который в немой тишине громом разнесся по залу:

— Я призываю в свидетели Бога, вельможного князя и всех достославных рыцарей этой земли и говорю тебе, крестоносец, что ты лжешь как собака, истине и справедливости вопреки, и я вызываю тебя на бой на ристалище, пешего или конного, на копьях, секирах, коротких или длинных мечах и не на неволю, а до последнего издыхания, на смерть!

Слышно было, как муха пролетит. Все глаза обратились на Ротгера и рыцаря, вызвавшего его на бой; никто не признал этого рыцаря, так как на голове у него был шлем, правда, без забрала, но с округлым нашеломником, который спускался ниже ушей и совсем закрывал верхнюю часть лица, а на нижнюю отбрасывал темную тень. Крестоносец был изумлен не менее всех остальных. Как молния мелькает в ночном небе, так мелькнуло на его побледневшем лице выражение замешательства и ярости. Подхватив лосиную перчатку, которая скользнула у него по лицу и зацепилась за край наплечника, он спросил:

— Кто ты, взывающий к правосудию Божию?

Тот отстегнул подбородник, снял шлем, обнажив молодую светлую голову, и сказал:

— Я — Збышко из Богданца, муж дочери Юранда.

Все поразились, и Ротгер в том числе, так как никто, кроме княжеской четы, отца Вышонека и де Лорша, не знал о том, что Дануся обвенчана. Крестоносцы были уверены, что, кроме отца, у Дануси нет никого из родных, кто мог бы ее защитить. Но тут вышел вперед господин де Лорш и сказал:

— Рыцарской честью свидетельствую, что этот рыцарь сказал правду, а кто посмеет в этом сомневаться, вот моя перчатка.

Ротгер, который не знал страха, в гневе, быть может, поднял бы и эту перчатку, но, вспомнив, что рыцарь, который бросил ее, сам был знатен и к тому же графу Гельдернскому сродни, удержался, а тут и князь поднялся со своего места и, нахмурясь, сказал:

— Я запрещаю поднимать эту перчатку, ибо и я свидетельствую, что

этот рыцарь сказал правду.

Услышав эти слова, крестоносец поклонился и сказал Збышку:

— Коли будет на то согласие, то пешими, на ристалище, на секирах.

— Я тебя и так еще раньше вызвал, — ответил Збышко.

— Боже, ниспошли победу правому! — воскликнули мазовецкие рыцари.

IV

Весь двор — и рыцари и дамы — был в тревоге, так как все любили Збышка, а меж тем, зная о письме Юранда, никто не мог сомневаться в том, что правда на стороне крестоносца. К тому же было известно, что Ротгер — один из самых славных рыцарей ордена. Оруженосец ван Крист, быть может, не без умысла, рассказывал мазовецким шляхтичам о том, что его господин, прежде чем стать вооруженным монахом, восседал однажды за почетным столом крестоносцев, к которому допускались лишь самые знаменитые рыцари, совершившие поход в святую землю либо победившие в бою чудовищных драконов или могущественных чародеев. Слушая рассказы ван Криста и хвастливые его уверения, будто его господину не раз доводилось одному биться против пятерых с мизерикордией в одной руке и секирой или мечом в другой, мазуры еще больше тревожились за Збышка. «Эх! — поговаривал кое-кто из них. — Был бы тут Юранд, так с двумя такими справился бы, ни один ведь немец не ушел из его рук, а хлопцу несдобровать — немец и посильней его, и постарше, да и поискусней!» Другие сожалели о том, что им не пришлось поднять перчатку, и говорили, что, не будь письма Юранда, они бы непременно это сделали, а так, мол, страшно Суда Божия. Для собственного утешения они вспоминали при случае мазовецких, да и вообще польских рыцарей, которые и на придворных игрищах, и на поединках одерживали победы над западными рыцарями; в первую голову называли Завишу из Грабова, с которым не мог помериться силами ни один рыцарь во всем христианском мире. Но были и такие, которые крепко надеялись на Збышка. «Косая сажень в плечах, — говорили они о молодом рыцаре, — слышали мы, как он однажды снял головы немцам с плеч на утоптанной земле». Но особенно ободрились все, когда накануне боя оруженосец Збышка, чех Глава, хлопец горячий, слушал-слушал рассказы ван Криста о неслыханных победах Ротгера, а потом схватил его за бороду, задрал ему голову вверх да и говорит: «Коли не стыдно тебе людям брехать, так на небо погляди, ведь и Бог тебя слышит!» Подержал это он так ван Криста, а потом, как отпустил, тот и стал спрашивать, кто он родом, и, узнав о благородном происхождении оруженосца, тоже вызвал его на поединок на секирах.

Очень тогда мазуры обрадовались. «Небось, — говорили они, — такие не дрогнут на поле боя, и, если только правда и Бог на их стороне, тевтонские псы не выйдут целыми из их рук». Но Ротгер так сбил всех с

толку, что многих очень тревожило, на чьей же стороне правда, и сам князь разделял эту тревогу.

Вечером перед поединком он призвал Збышка и в присутствии одной только княгини спросил:

— Ты уверен, что Бог будет на твоей стороне? Откуда ты знаешь, что они похитили Дануську? Разве Юранд тебе говорил об этом? Погляди, вот его письмо, оно написано ксендзом Калелем, это вот печать Юранда, он пишет, что знает, что Дануську не крестоносцы похитили. Что он тебе говорил?

— Говорил, что не крестоносцы.

— Как же ты можешь рисковать головою и выходить на Суд Божий?

Но Збышко молчал, только губы у него дрожали и слезы выступили на глазах.

— Я ничего не знаю, вельможный князь, — сказал он. — Мы уехали отсюда вместе с Юрандом, и по дороге я ему повинился, что мы обвенчались с Дануськой. Он стал тогда сокрушаться, что, может, это грех; но когда я ему сказал, что это воля Божья, он успокоился — и простил нас. Всю дорогу он говорил, что только крестоносцы могли похитить Данусю, а потом я сам не знаю, что с ним случилось!.. В Спыхов приехала та самая женщина, которая привозила для меня в лесной дом какие-то снадобья, а с нею приехал еще один посланец. Они заперлись с Юрандом и вели с ним разговор. О чем они там толковали, я тоже не знаю, но только после этого разговора Юранд как с креста снятый стал, собственные слуги его не признали. Нам он сказал, что не крестоносцы Данусю похитили, а сам бог весть зачем выпустил из подземелья Бергова и всех невольников, а потом уехал один, без оруженосца, без слуги... Сказал, будто едет к разбойникам выкупать Дануську, а мне велел ждать. Что поделаешь! Я ждал. А тут приходит вдруг весть из Щитно, что Юранд перебил немцев и сам сложил голову! О вельможный князь! Земля в Спыхове горела у меня под ногами, я чуть ума не лишился. Посадил я людей своих на конь, чтобы отомстить за смерть Юранда, а ксендз Калел мне и говорит: «Замка тебе не взять, и войны ты не начинай, а поезжай к князю, может, там что-нибудь про Дануську и знают». Я вот и приехал и попал как раз тогда, когда этот пес про обиды крестоносцев брехал да про то, что Юранд обезумел... Я, вельможный князь, потому его перчатку поднял, что уж раньше его вызвал на бой, и одно только я знаю, что они отъявленные лжецы, нет у них ни стыда, ни чести, ни совести! Вы только подумайте, вельможный князь и вельможная княгиня! Ведь это они закололи де Фурси, а всю вину за это злодеяние хотели свалить на моего оруженосца. Как вола его зарезали, а к

тебе, вельможный князь, пришли требовать кары и возмездия. Кто может поклясться, что они и тогда не налгали Юранду, и теперь не налгали тебе, вельможный князь?.. Не знаю, не знаю я, где Дануська! Но я его вызвал на бой, и, хотя бы мне головой пришлось поплатиться, лучше мне умереть, чем жить без моей дорогой, без моей любимой Дануськи, милей которой нет для меня никого на свете!

С этими словами он сорвал в волнении сетку с головы, так что волосы рассыпались у него по плечам, и горько разрыдался. Княгиня Анна Данута, сама удрученная потерей Дануси, видя его муку, пожалела его, положила ему руки на голову и сказала:

— Да поможет тебе Бог, да утешит и благословит тебя!

Князь не стал чинить препятствий Збышку и Ротгеру, да по тогдашним обычаям он и не мог воспретить им биться. Он только потребовал, чтобы Ротгер написал магистру и Зигфриду де Лёве о том, что он первый бросил перчатку мазовецким рыцарям и потому выходит на бой с мужем дочери Юранда, который к тому же еще раньше послал ему вызов. Крестоносец оправдывался перед великим магистром, он объяснял, что выходит на бой без позволения единственно потому, что речь идет о чести ордена и о том, чтобы рассеять грязные подозрения, которые могли бы покрыть позором орден, и что он, Ротгер, всегда готов смыть этот позор собственной кровью. Письмо было тотчас послано на границу с одним из слуг рыцаря, откуда его должны были отправить в Мальборк по почте, которую крестоносцы изобрели и ввели у себя на много лет раньше других стран.

Тем временем на замковом дворе утоптали снег и посыпали его золой, чтобы ноги противников не вязли в снегу и не скользили по гладкой его поверхности. Во всем замке царило необычайное движение. Рыцари и придворные дамы были в таком волнении, что в ночь накануне боя никто из них не ложился спать. Толковали о том, что конный бой на копьях и даже на мечах часто кончается одними ранами, а исход пешего боя, особенно на страшных секирах, всегда бывает смертельным. Сердца всех были на стороне Збышка, все любили его и Данусю и с тем большей тревогой вспоминали рассказы о славе и ловкости крестоносца. Многие женщины провели ночь в часовне, где после исповеди у ксендза Вышонека молился и Збышко. Глядя на его юное лицо, они говорили друг дружке: «Совсем еще мальчик!.. Каково же ему подставлять свою молодую голову под немецкую секиру?» Тем усерднее молились женщины Богу о ниспослании ему помощи. Но когда на рассвете Збышко поднялся с колен и прошел через часовню к выходу, чтобы в одном из замковых покоев надеть доспехи, женщины приободрились; голова и лицо были у Збышка и впрямь юношеские, но сам он был такой рослый и сильный, что показался им удалым молодцом, который справится даже с самым могучим богатырем.

Поединок должен был состояться во дворе замка, вокруг которого шла галерея.

Когда встал уже день, князь и княгиня вышли с детьми и сели посредине между колоннами, откуда лучше всего был виден весь двор. Рядом с ними заняли места самые знатные придворные вельможи,

благородные дамы и рыцари. Толпа заполнила все уголки галереи; слуги устроились за снежным валом, примостились на балконах и даже на крыше. «Дай Бог, чтобы наш не дался немцу!» — говорил простой народ.

День был холодный, сырой, но ясный; в воздухе носились целые стаи галок, гнездившихся под крышей и на башнях; испуганные необычайным движением, они кружили над замком, громко хлопая крыльями. Несмотря на холод, людей бросало в пот от волнения, а когда затрубила первая труба, возвестив выход противников, сердца у всех молотом забились в груди.

Противники вышли на ристалище с противоположных сторон и остановились на краях его. Все затаили дыхание, все подумали о том, что скоро-скоро две души улетят к подножию престола Господня и два трупа останутся на снегу, — и при этой мысли краска сошла с лица у женщин, а мужчины впились глазами в противников, стремясь по их виду и по доспехам угадать, на чьей стороне будет победа.

На крестоносце был надет панцирь, украшенный голубой финифтью, такие же набедерники и шлем с поднятым забралом и с пышным павлиньим султаном на гребне. Грудь, бока и спину Збышка охватывала великолепная миланская броня, которую он в свое время захватил в добычу у фризов. На голове у него был шлем с нашеломником, но без подбородника и без перьев, на ногах сапоги из бычьей кожи. В левой руке оба рыцаря держали щиты с гербами; у крестоносца на верхнем поле герба была шахматная доска, а на нижнем — три льва, стоящие на задних лапах, у Збышка — тупая подкова. В правой руке оба держали страшные широкие секиры, насаженные на почернелые рукояти длиннее руки рослого мужчины. Рыцарей сопровождали оруженосцы: Глава, которого Збышко звал Гловачем, и ван Крист, оба в темной железной броне, оба с секирами и со щитами. У ван Криста в гербе был куст дрока, у чеха же, как в гербе Помяна, голова быка, только вместо секиры в ней торчал короткий меч, до половины вонзившийся в глаз.

Труба затрубила второй раз; после третьего противники по условию должны были сходиться. Их разделяло теперь только небольшое пространство, посыпанное серой золой, над которым, казалось, витала, как зловещая птица, смерть. Однако, прежде чем труба затрубила в третий раз, Ротгер приблизился к колоннам, между которыми сидели князь с княгиней, поднял свою закованную в сталь голову и произнес таким громким голосом, что его слышали во всех уголках галереи:

— Призываю в свидетели Бога, тебя, достойный князь, и все рыцарство этой земли, что я неповинен в той крови, которая сейчас прольется.

При этих словах снова сжались сердца зрителей, пораженных тем, что крестоносец так уверен в себе и своей победе. Но Збышко, человек прямодушный, обратился к своему чеху и сказал:

— Противна мне похвальба этого крестоносца, ибо уместна она была бы не теперь, когда я еще жив, а после моей смерти. У этого бахвала павлиний чуб на шлеме, а я сперва дал обет сорвать три таких чуба, а потом столько, сколько пальцев на обеих руках. Вот Бог и привел!

— А что, пан, — спросил Глава у Збышка, наклонившись и набирая в горсти золы со снегом, чтобы рукоять секиры не скользила в руках, — коли я с Божьей помощью быстро управлюсь с этим прусским мозгляком, нельзя ли мне тогда если не ударить на крестоносца, то хоть рукоять сунуть ему меж колен, чтобы свалить его наземь?

— Боже упаси! — с живостью воскликнул Збышко. — Ты бы покрыл позором и меня и себя.

Но вот труба затрубила в третий раз. При звуках ее оруженосцы стремительно и яростно бросились друг на друга, рыцари же выступили навстречу друг другу медленно и важно, как и подобало им по достоинству их и званию выступать до первого столкновения.

Мало кто обращал внимание на оруженосцев, но опытный глаз рыцарей и слуг, которые смотрели на них, сразу уловил, какое огромное преимущество на стороне Главы. Секира тяжело ходила в руках у немца, и щит его двигался медленней. Длинные ноги, видневшиеся из-под щита, были гораздо слабее упругих и сильных ног чеха, обтянутых узкими штанами. Глава так стремительно напал на него, что ван Крист под его натиском чуть не в первую минуту вынужден был отступить. Всем стало ясно, что один из противников обрушился на другого как ураган, что он напирает, теснит и разит врага как молния, а тот, чуя смерть свою, только обороняется, чтобы отдалить страшную минуту. Так оно на самом деле и было. Хвастун, который вообще выходил на бой только тогда, когда не мог уже отвертеться, понял, что дерзкие и неосторожные речи довели его до боя с грозным богатырем, от которого он должен был бежать как от огня, и теперь, когда он понял, что этот богатырь одним ударом может свалить быка, сердце у него упало. Он совсем забыл о том, что мало обороняться щитом, что надо самому разить врага, он видел только, как сверкает секира, и каждый ее удар казался ему последним. Подставляя щит, он невольно закрывал в страхе глаза, не зная, откроет ли их еще раз. Лишь изредка наносил он удар, не надеясь поразить противника, и только все выше поднимал щит над головой, чтобы еще и еще раз уберечь ее от удара.

Он уже стал уставать, а чех наносил все более могучие удары. Как под

топором дровосека от высокой сосны откалываются огромные щепы, так под секирой чеха стали ломаться и отскакивать бляхи от брони немецкого оруженосца. Верхний край щита прогнулся и треснул, правый наплечник покатился наземь вместе с разрубленным и уже окровавленным ремешком. Волосы встали дыбом на голове у ван Криста, его объял смертельный страх. Он еще раз два изо всей силы ударил по щиту чеха и, убедившись наконец, что ему не уйти от страшного противника и что спасти его может только какое-то необычайное усилие, бросился внезапно в своих тяжелых доспехах Главе под ноги.

Оба они повалились на землю и боролись, катаясь и перевортываясь на снегу. Но чех скоро подмял под себя противника. С минуту он еще отражал отчаянные удары ван Криста, затем прижал коленом железную сетку, покрывавшую его живот, и достал из-за пояса короткую трехгранную мизерикордию.

— Пощади! — тихо прошептал ван Крист, поднимая на чеха глаза.

Но тот вместо ответа лег на него, чтобы легче было достать до шеи, и, перерезав ременной подбородник шлема, дважды вонзил меч несчастному в горло, клинком вниз, в самую грудь.

Глаза у ван Криста закатились под лоб, руками и ногами он стал бить по снегу, точно хотел очистить его от золы, а через минуту вытянулся и остался недвижимым, только губы, окрашенные кровавой пеной, отдувались еще у него и весь он обливался кровью.

А чех поднялся, вытер о платье немца мизерикордию, затем поднял секиру и, опершись на нее, стал смотреть на более тяжелый и упорный бой своего рыцаря с братом Ротгером.

Западные рыцари уже привыкли к удобствам и роскоши, а меж тем шляхтичи Малой и Великой Польши, а также Мазовии вели еще суровую и простую жизнь, и даже иноземцы и недоброжелатели удивлялись крепости их здоровья, стойкости их и закаленности. И теперь было уже ясно, что Збышко так же превосходит крестоносца крепостью рук и ног, как его оруженосец превосходил ван Криста; но ясно уже было и то, что он молод и уступает противнику в искусстве боя.

Хорошо еще, что Ротгер избрал бой на секирах, так как этим оружием нельзя было фехтовать. Если бы Збышко бился с Ротгером на коротких или длинных мечах, когда надо было уметь рубить, колоть и отражать удары, то у немца было бы перед ним значительное преимущество. Все же по движениям Ротгера и по его умению владеть щитом и сам Збышко, и зрители поняли, что это искусный и страшный противник, который, видно, не впервые выступает в таком поединке. Ротгер подставлял щит при

каждом ударе Збышка и в то самое мгновение, когда секира обрушивалась на щит, слегка отдергивал его назад, от чего даже самый богатырский размах терял силу и Збышко не мог ни просечь щит, ни повредить его гладкую поверхность. Ротгер то пятился, то напирал на юношу, делая это спокойно, но с такой молниеносной быстротой, что глазом трудно было уловить его движение. Князь испугался за Збышко, и лица рыцарей омрачились, так как им показалось, что немец умышленно играет с противником. Иной раз он даже не подставлял щита, но в то мгновение, когда Збышко наносил удар, делал пол-оборота в сторону так, что лезвие секиры рассекало пустой воздух. Это было самое страшное, так как Збышко мог потерять при этом равновесие и упасть, и тогда гибель его была бы неизбежна. Видел это и чех, стоявший над заколотым Кристом; в тревоге за своего господина он говорил про себя: «Ей-ей, коли только он упадет, ахну я немца обухом меж лопаток, чтобы тут и ему конец пришел».

Однако Збышко не падал, он широко расставлял свои могучие ноги и при самом сильном размахе удерживал на одной ноге всю тяжесть своего тела.

Ротгер сразу это заметил, и зрители ошибались, думая, что он недооценивает силу своего противника. Уже после первых ударов, когда у Ротгера, несмотря на всю ловкость, с какой он отдергивал щит, правая рука совсем онемела, он понял, что ему круто придется с этим юношей и что, если он не собьет его ловким ударом с ног, бой может затянуться и стать опасным. Он думал, что при ударе в пустоту Збышко повалится в снег, и, когда этого не случилось, его просто охватила тревога. Из-под стального нащеломника он видел сжатые губы и ноздри противника, а порой его сверкающие глаза, и говорил себе, что этого юношу должна погубить горячность, что он забудется, потеряет голову и, ослепленный, будет больше думать не о защите, а о нападении. Но он ошибся и в этом. Збышко не умел уклоняться от ударов, делая пол-оборота в сторону, но он не забыл о щите и, занося секиру, не открывал корпус больше, чем следовало. Было видно, что внимание его удвоилось, что, поняв, насколько искусен и ловок противник, он не только не забылся, а, напротив, сосредоточился, стал осторожнее, и в ударах его, которые становились все сокрушительней, чувствовался расчет, на который в пылу боя способен не горячий, а только хладнокровный и упорный человек.

Ротгер, который побывал на многих войнах и участвовал во многих сражениях и поединках, по опыту знал, что бывают люди, которые, словно хищные птицы, созданы для битвы и, будучи от природы особенно одаренными, как бы чутьем угадывают то, до чего другие доходят после

долгих лет обучения. Он сразу понял, что имеет дело с таким человеком. С первых же ударов он постиг, что в этом юноше есть нечто напоминающее ястреба, который в противнике видит только добычу и думает только о том, как бы впиться в нее когтями. Как ни силен он был, однако заметил, что и тут не может сравняться со Збышком и что если он лишится сил, прежде чем успеет нанести решительный удар, то бой с этим страшным, хотя и менее искусным юношей может кончиться для него гибелью. Подумав, он решил биться с наименьшим напряжением сил, прижал к себе щит, не очень теснил противника и не очень пятился, ограничил движения и, собрав все свои силы для того, чтобы нанести решительный удар, ждал только удобного момента.

Ужасный бой затягивался. На галерее воцарилась мертвая тишина. Слышались только то звонкие, то глухие удары лезвий и обухов о щиты. И князю с княгиней, и рыцарям, и придворным дамам было знакомо подобное зрелище, и все же сердца у всех сжались от ужаса. Все поняли, что в этом поединке противники вовсе не хотят показать свою силу, свое искусство и мужество, что они охвачены большей, чем обычно, яростью, большим отчаянием, неукротимым гневом, неутолимой жаждой мести. На Суд Божий вышли в этом поединке, с одной стороны, жестокие обиды, любовь и безутешное горе, с другой — честь всего ордена и непреоборимая ненависть.

Меж тем посветлело бледное зимнее утро, рассеялась серая пелена тумана, и луч солнца озарил голубой панцирь крестоносца и серебристые миланские доспехи Збышка. В часовне зазвонили к обедне, и с первым ударом колокола целые стаи галок слетели с крыш, хлопая крыльями и пронзительно крича, словно радуясь виду крови и трупа, который лежал уже неподвижно на снегу. Ротгер во время боя повел на него раз-другой глазами и внезапно почувствовал себя страшно одиноким. Все глаза, обращенные на него, были глазами врагов. Все молитвы и заклинания, которые творили женщины, и обеты, которые давали они про себя, были за Збышка. И хотя крестоносец был совершенно уверен, что оруженосец Збышка не бросится на него сзади и не нанесет ему предательского удара, однако от самого присутствия чеха, от близости его грозной фигуры Ротгера охватывала та невольная тревога, какая охватывает людей при виде волка, медведя или буйвола, от которого их не отделяет решетка. Он не мог противостоять этому чувству, тем более что чех, следя за ходом боя, не стоял на месте: он то забегал сбоку, то отступал назад, то появлялся спереди, наклоня при этом голову и зловеще глядя на Ротгера сквозь отверстия в железном забрале, а порой как бы невольно поднимая

окровавленное лезвие секиры. Усталость начала наконец одолевать крестоносца. Раз за разом он нанес врагу два коротких, но страшных удара, целясь в правое его плечо; однако тот с такой силой отразил их щитом, что рукоять задрожала в руке у Ротгера и он вынужден был отпрянуть, чтобы не упасть. С этой поры он только отступал. У него иссякали не только силы, но и хладнокровие, и терпение. При виде отступления крестоносца из груди зрителей вырвался крик торжества, который пробудил в нем злобу и отчаяние. Удары секир становились все чаще. Оба врага обливались потом, из груди у них сквозь стиснутые зубы вырывалось хриплое дыхание. Зрители перестали соблюдать спокойствие, теперь то и дело раздавались то мужские, то женские голоса: «Бей! Рази его!.. Суд Божий! Кара Божья! Да поможет тебе Бог!» Князь помахал рукой, чтобы успокоить толпу, но уже не мог ее удержать. Возгласы становились все громче, на галерее уже стали плакать дети, и, наконец, под самым боком у княгини молодой женский голос крикнул сквозь слезы:

— За Дануську, Збышко, за Дануську!

Збышко знал, что он дерется за Дануську. Он был уверен, что этот крестоносец тоже приложил руку к ее похищению, и, сражаясь с ним, знал, что мстит за обиды, нанесенные ей. Но он был молод и жаждал битвы и в эту минуту думал только о самой битве. Этот внезапный крик напомнил ему о его утрате, о горькой участи Дануси. От любви, сожаления и жажды мести кровь закипела в его жилах. Сердце надрывалось у юноши от проснувшейся муки, и ярость овладела им. Страшных, как порывы бури, ударов его крестоносец не мог уже ни уловить, ни отразить. Збышко с такой нечеловеческой силой ударил щитом в его щит, что рука у немца внезапно онемела и бессильно повисла. Ротгер отпрянул в ужасе и откинулся, и в то же мгновение перед глазами его сверкнула секира, и лезвие молниеносно обрушилось на правое его плечо.

До слуха зрителей долетел только душераздирающий крик: «Jesus!...»^[87] Ротгер сделал еще один шаг назад и грянулся навзничь на землю.

Тотчас на галерее зашумели, пришла в движение толпа, словно пчелы на пасеке, когда, пригревшись на солнце, они начинают шевелиться и жужжать. Целые толпы рыцарей сбегали вниз по ступеням, слуги перепрыгивали через снежный вал, чтобы поглядеть на трупы. Повсюду раздавались возгласы: «Вот он, Суд Божий!.. Есть наследник у Юранда. Честь и хвала ему! Вот это мастер рубить секирой!» Другие кричали: «Нет, вы только поглядите да подивитесь! Сам Юранд не сумел бы так раскроить!» Вокруг трупа Ротгера сбилась целая толпа любопытных, а он

лежал на спине, и лицо его было бело как снег, рот широко открыт, а плечо все в крови и так страшно рассечено от шеи до самой подмышки, что держалось оно чуть ли не на одной только коже. «Вот жив был, — толковали в толпе, — и такой ходил гордый, а теперь пальцем шевельнуть не может!» При этом одни дивились его росту — распростертый на земле, он казался еще больше, — другие — павлиньему султану, который чудно переливался на снегу, третьи — доспехам, которые стоили доброй деревни. Но тут подошел чех Глава с двумя слугами, чтобы снять с убитого доспехи, и любопытные окружили Збышка, восхваляя его доблесть и превознося его до небес, ибо они справедливо полагали, что он покрыл себя славой и что отныне сиянием ее будет окружено все мазовецкое и польское рыцарство. А тем временем у Збышка взяли щит и секиру, чтобы облегчить его, затем Мрокота из Моцажева снял с потной головы молодого рыцаря шлем и надел ему шапку алого сукна. Тяжело дыша, Збышко стоял точно в остоленении, бледный от напряжения и ярости, с огнем, еще не погасшим в глазах, и дрожал от волнения и усталости. Его подхватили под руки и повели к князю и княгине, которые ждали победителя в теплой комнате у камина. Збышко опустился перед ними на колени, а когда отец Вышонек перекрестил его и помолился за усопших, князь обнял молодого рыцаря и сказал:

— Всевышний рассудил вас, Он направлял твою руку, и да будет благословенно имя Его, аминь!

Затем он обратился к де Лоршу и другим рыцарям и прибавил:

— Тебя, иноземный рыцарь, и всех вас беру я в свидетели и сам свидетельствую, что они бились согласно с законом и обычаем, и Суд Божий свершился по-рыцарски и по-Божьи, как везде он свершается.

Согласным хором ответили князю мазовецкие воители, когда же слова его перевели господину де Лоршу, тот встал и заявил, что не только свидетельствует, что все произошло согласно рыцарскому обычаю и Божьему закону, но что, если кто-нибудь в Мальборке или при каком-нибудь другом дворе посмеет в этом усомниться, он, де Лорш, тотчас вызовет его на поединок на ристалище, пешего или конного, даже если это будет не обыкновенный рыцарь, а великан или чародей, превосходящий колдовской силой самого Мерлина.

А тем временем княгиня Анна Данута, склонившись, говорила коленопреклоненному Збышку:

— Что же ты не радуешься? Радуйся и благодари Бога, ибо в Своем милосердии Он избавил тебя от опасности, так и впредь не оставит Своей милостью и даст тебе счастье.

— Как же мне радоваться, милостивая пани? — ответил ей Збышко. — Господь ниспослал мне победу над крестоносцем; но Дануськи как не было, так и нет, и по-прежнему она от меня далёко.

— Мертвы уже самые лютые враги, Данфельд, Готфрид и Ротгер, — возразила княгиня, — а про Зигфрида говорят, что хоть и жесток он, но справедливее их. Возблагодари же и за это Создателя. Господин де Лорш говорил, что, если крестоносец падет в бою, он отвезет его тело, а потом тотчас поедет в Мальборк и у самого великого магистра потребует, чтобы Дануську отпустили на волю. Не посмеют они ослушаться великого магистра.

— Дай Бог здоровья господину де Лоршу, — сказал Збышко. — Я тоже поеду с ним в Мальборк.

Услышав эти слова, княгиня пришла в такой ужас, точно Збышко сказал ей, что безоружный пойдет к волкам, которые зимой собирались в стаи в дремучих лесах Мазовии.

— Зачем? — воскликнула она. — На верную гибель? Сразу после боя не помогут тебе ни де Лорш, ни те письма, которые Ротгер писал перед поединком. Ты никого не спасешь, а себя погубишь.

Но он встал, скрестил руки на груди и сказал:

— Клянусь всем святым, я не то что в Мальборк, за море поеду. Видит Бог, до последнего издыхания, до самой смерти буду я искать ее. Легче мне немцев бить, сражаться с ними в броне, чем сироте томиться в подземелье. Ох, легче, легче!

Как всегда, вспоминая Данусю, Збышко говорил с таким волнением, с такой болью, что по временам голос у него прерывался, словно ком подкатывал к горлу. Княгиня поняла, что тщетны будут все ее просьбы, что удержать его можно, только заковав в цепи и ввергнув в подземелье.

Однако Збышко не мог сразу уехать. В те времена рыцаря не могли остановить никакие препоны; но он не мог нарушить рыцарский обычай, который повелевал победителю провести на месте поединка весь день до полуночи, чтобы показать, что поле битвы за ним, что он готов к новому бою, если кто-нибудь из родных или близких друзей побежденного захочет снова его вызвать. Этот обычай соблюдали даже войска, теряя не раз те преимущества, которые они получили бы, если бы после победы быстро продвинулись вперед. Збышко и не помышлял о том, чтобы пренебречь этим неумолимым законом: немного подкрепившись, он надел доспехи и до полуночи простоял на замковом дворе под хмурым зимним небом, ожидая врага, который ниоткуда не мог появиться.

Только в полночь, когда герольды под звуки труб объявили об

окончательной его победе, Миколай из Длуголяса позвал его на ужин и на совет к князю.

VI

Князь первый взял на совете слово.

— Вся беда в том, — сказал он, — что нет у нас никакого письма, никакого свидетельства против комтуров. Хоть и справедливы как будто подозрения, хоть и сам я думаю, что это они похитили дочку Юранда, но что из этого? Они отопрутся. А если великий магистр потребует у нас доказательств, что мы ему скажем? Ведь даже письмо Юранда свидетельствует в их пользу.

Ты говоришь, — обратился князь к Збышку, — что они под угрозой вынудили его написать это письмо. Может, так оно и есть, иначе правда была бы на их стороне и Бог не помог бы тебе в битве с Ротгером. Но если они вынудили его написать одно письмо, то могли вынудить написать и два. Может, и у них есть свидетельство Юранда, что они неповинны в похищении бедной девушки. Они покажут это письмо магистру, и что тогда будет?

— Да ведь они, вельможный князь, сами сказали, что отбили Дануську у разбойников и что она у них.

— Знаю. Но теперь они говорят, что ошиблись, что это другая девушка, и самый сильный у них довод — что сам Юранд от нее отрекся.

— Отрекся потому, что они ему другую показали; оттого он и разъярился.

— Так оно, верно, и было; но они-то могут сказать, что это только наши домыслы.

— Их ложь, — сказал Миколай из Длуголяса, — что лес дремучий. С краю еще что-то видно, а чуть подальше — дебри непроходимые, так что человек непременно заблудится и совсем собьется с дороги.

Затем он повторил свои слова господину де Лоршу по-немецки.

— Сам великий магистр, — заметил тот, — лучше их, да и брат его хоть и дерзок, но блюдет рыцарскую честь.

— Это верно, — поддержал его Миколай. — Магистр человек хороший, но не умеет он держать в узде капитул и комтуров и ничего не может поделать, хоть и не рад, что орден на людских обидах стоит. Поезжайте, поезжайте, рыцарь де Лорш, и расскажите ему все, что у нас произошло. Они иноземцев больше стыдятся, чем нас, боятся, чтобы те не рассказали при чужих дворах об их вероломстве и злодеяниях. А когда магистр потребует у вас доказательств, вы ему вот что скажите: «Один Бог

правду видит, а человек должен искать ее. Так коли хочешь, мол, доказательств, поищи их: вели обшарить замки, учинить допрос людям, позволь нам поискать, ведь они всё басни рассказывают, будто сироту похитили лесные разбойники».

— Всё басни рассказывают, — повторил де Лорш.

— Разбойники не посягнули бы ни на княжий дом, ни на дочь Юранда, а если бы они даже похитили ее, то для того, чтобы взять выкуп, и сами дали бы знать, что она у них.

— Я все это расскажу, — сказал лотарингский рыцарь, — и отыщу де Бергова. Мы с ним земляки, и хоть я не знаю его, но говорят, будто он родич графа Гельдернского. Он был в Щитно, пусть расскажет магистру все, что видел.

Збышко кое-что понял из его слов, а когда Миколай перевел остальное, он схватил господина де Лорша в объятия и так крепко прижал его к груди, что тот даже охнул.

— А ты тоже непременно хочешь ехать? — спросил князь у Збышка.

— Непременно, вельможный князь. Что же мне остается делать? Хотел я Щитно захватить, даже если бы голыми руками пришлось брать замок, но как же мне самочинно начинать войну?

— Кто бы начал самочинно войну, тому под мечом палача пришлось бы каяться, — ответил князь.

— Закон есть закон, — сказал Збышко. — Хотел я потом вызвать на поединок всех, кто был в Щитно, но, говорят, Юранд их там как волов перерезал, и не знаю я, кто из них остался жив... Но клянусь на Кресте Святом, что Юранда я до последнего издыхания не покину!

— Вот речь, достойная рыцаря! — воскликнул Миколай из Длуголяса. — Нет, ты мне по душе, да и голову на плечах, видно, имеешь, коли в Щитно сам не помчался; ведь и дурак догадался бы, что не держат они там ни Юранда, ни его дочки, а увезли их, наверно, в другие замки. А за то, что сюда приехал, Бог в награду ниспослал тебе победу над Ротгером.

— Да! — вспомнил князь. — Мы это и от Ротгера слышали: из четверых жив теперь только старый Зигфрид; прочих Бог уже покарал коли не твоей рукой, так Юранда. Зигфрид не такой негодяй, как все они, но, пожалуй, он из них самый свирепый. Плохо, что Юранд и Дануська в его руках, надо немедля спасать их. Чтобы и с тобой не приключилось худа, я дам тебе письмо к магистру. Слушай хорошенько и помни, что едешь ты к нему не как посол, а как гонец от меня, а магистру я вот что пишу. Коли посягнули они в свое время на меня, потомка их благодетелей, так, верно, и Дануську похитили, тем более что они злобой на Юранда дышат. Я прошу

магистра повелеть учинить повсюду розыск девушки и, коли хочет он жить в мире со мною, тотчас отдать ее в твои руки.

Збышко при этих словах бросился князю в ноги и, обняв его колени, воскликнул:

— А Юоранд, вельможный князь, а Юоранд? Заступитесь за него! Коли смертельны его раны, то пусть хоть на родовом пепелище умрет, на руках у детей.

— Написал я и про Юоранда, — милостиво сказал князь. — Магистр должен выслать двоих судей, и я двоих, дабы они рассудили дела комтуров и Юоранда по законам рыцарской чести. А судьи пусть себе еще главу изберут, и как решат они, так и будет.

На этом совет кончился, и Збышко, который вскоре должен был тронуться в путь, простился с князем; но перед уходом Миколай из Длуголяса, человек бывалый, хорошо знавший крестоносцев, отвел молодого рыцаря в сторону и спросил у него:

— Оруженосца своего, чеха, ты возьмешь с собой к немцам?

— Да уж, верно, он от меня не отстанет. А что?

— Жаль парня. Он у тебя молодец, а ты вот подумай, что я тебе скажу: ты-то из Мальборка цел уйдешь, разве только с противником посильнее придется сразиться, а ему не миновать гибели.

— Почему?

— Да потому, что эти собаки винят его в том, будто он заколол де Фурси. Они ведь должны были написать магистру про смерть де Фурси и, наверное, написали, что это чех пролил его кровь. В Мальборке ему этого не простят. Суд и кара ждут его, и как же ты убедишь магистра, что он в этом неповинен? Да и Данфельду он изломал руку, а тот был великому госпитальеру сродни. Жаль мне его, и еще раз говорю тебе: коли поедет он с тобой, то на верную смерть.

— Не поедет он на верную смерть: я его в Спыхове оставляю.

Но все сложилось иначе, и чеху не пришлось оставаться в Спыхове. На другой день Збышко и де Лорш отправились со своими слугами в путь. Де Лорш, которого ксендз Вышонец разрешил от обетов, данных Ульрике д'Эльнер, ехал счастливый, весь предавшись воспоминаниям о красоте Ягенки из Длуголяса, и хранил молчание; Збышко не мог поговорить с ним о Дануське, потому что они плохо понимали друг друга, и завел разговор с Главой, который еще ничего не знал о предстоящей поездке к крестоносцам.

— Я еду в Мальборк, — сказал ему Збышко, — и когда ворочусь, одному Богу известно... Может, в самом скором времени, а может, весною,

а может, через год, а может, и вовсе не ворочусь, понял?

— Понял. Вы, ваша милость, верно, и затем еще едете, чтобы биться с тамошними рыцарями? Вот и слава Богу, что у каждого рыцаря есть оруженосец.

— Нет, — возразил Збышко, — не затем я еду, чтобы с ними биться, разве уж если поневоле придется, а ты совсем со мной не поедешь, останешься дома в Спыхове.

Услышав эти слова, чех сперва опечалился и стал горько сетовать, а потом начал просить своего молодого господина, чтобы тот не оставлял его.

— Я дал клятву не покидать вас, ваша милость, своей честью поклялся я в том на кресте; а что, если над вами беда там стряется, как же мне показаться тогда в Згожелицы, на глаза моей пани? Ей я дал клятву, сжальтесь же надо мною, чтобы сраму мне перед нею не натерпеться.

— А разве ты не дал ей клятву, что будешь мне послушен? — спросил Збышко.

— Как не дать, дал. Во всем я дал клятву быть вам послушным, только не в том, чтобы покидать вас. Коли вы, ваша милость, меня прогоните, так я за вами поодаль поеду, чтобы в нужде быть у вас под рукой.

— Я тебя не гоню и не стану гнать, — ответил ему Збышко, — но что же это за неволя такая, что никуда не могу я услать тебя, хоть и в дальний путь, и ни на один день не могу от тебя отвязаться? Не будешь же ты вечно стоять надо мной, как палач над невинной душою. А коли и случится битва, чем же ты мне поможешь? Я не говорю про войну, на войне все люди воюют, а на поединке ты ведь за меня драться не станешь. Будь Ротгер сильнее меня, не его доспехи лежали бы у нас на повозке, а мои у него. Да и то надо тебе сказать, что с тобой мне хуже там будет, из-за тебя мне может грозить опасность.

— Как так, ваша милость?

Тогда Збышко рассказал ему обо всем, что слышал от Миколы из Длуголяса, о том, как комтуры не могли признаться, что убили де Фурси, и обвинили в этом его и будут поэтому искать отомстить ему.

— А схватят они тебя, — заключил он свой рассказ, — так ведь не оставлю же я тебя в лапах у этих собак, и сам тогда могу сложить голову.

Помрачнел чех, услышав эти слова; он понимал, что господин его прав, однако еще пытался поставить на своем.

— Да ведь и на свете уж нет тех, кто видал меня: одних, говорят, старый пан из Спыхова перебил, а Ротгера вы убили, ваша милость.

— Тебя слуги видали, они тащились поодаль, да и старый крестоносец

жив, сейчас он, наверно, в Мальборке, а коли нет его еще там, так приедет; даст Бог, магистр его вызовет.

На это чеху нечего было больше сказать, и они в молчании ехали до самого Спыхова. Там они застали всех готовыми к бою; старый Толима ждал, что либо крестоносцы учинят набег на городок, либо Збышко, вернувшись, поведет их на выручку старого господина. Повсюду на проходах через болота и в самом городке стояла стража. Крестьяне были вооружены, да им и не внове была война, и они весело ждали немцев, надеясь на богатую добычу. В замке Збышка и де Лорша принял ксендз Калев и после ужина показал им пергамент с печатью Юранда, на котором ксендз собственноручно записал со слов рыцаря из Спыхова его последнюю волю.

— Написал я его духовную, — сказал ксендз, — в ту ночь, когда уехал он в Щитно, — не надеялся он домой вернуться.

— Почему же вы мне ничего не сказали?

— Не мог я сказать, он мне на исповеди признался, что хочет сделать. Вечная ему память, упокой, Господи, его душу...

— Не молитесь вы за упокой души его, он еще жив. Я знаю это от крестоносца Ротгера, с которым я бился при дворе князя. Между нами был Суд Божий, и я убил его.

— Так и подавно не воротится Юранд... Одна только надежда на Бога!..

— Я еду с этим рыцарем, чтобы вырвать его из их рук.

— Не знаешь ты, видно, рук крестоносцев; а уж я-то их знаю — пятнадцать лет прослужил я ксендзом в их краю, покуда Юранд не приютил меня в Спыхове. Один Бог может спасти Юранда.

— И может помочь нам.

— Аминь!

Затем ксендз развернул духовную и стал ее читать. Все свои земли и все достояние Юранд завещал Данусе и ее детям, а если она умрет без потомства, то ее мужу Збышку из Богданца. В конце духовной он поручал опеке князя исполнение своей последней воли: «Буде что не по закону, дабы князь своей властью рассудил». Эта приписка была сделана потому, что ксендз Калев знал только каноническое право, а сам Юранд, вечно занятый войной, был знаком только с правом рыцарским. Прочитав духовную Збышку, ксендз прочел ее и начальникам спыховской стражи, которые тут же признали молодого рыцаря своим господином и дали присягу повиноваться ему.

Начальники думали, что Збышко тотчас поведет их на выручку старого

господина, ибо в груди их бились суровые сердца и они жаждали битвы, да и к Юранду были привязаны. Опечалились они, когда узнали, что им придется остаться дома и что один только молодой господин с горсточкой слуг отправится в Мальборк не затем, чтобы воевать, а затем, чтобы челом бить на комтуров. Разделял с ними печаль чех Гловач, хоть и рад он был, что так умножились богатства Збышка.

— Эх, — сказал он, — кто бы порадовался, так это старый пан из Богданца! Уж он бы завел тут порядок! Что Богданец по сравнению с таким именем!

А на Збышка напала вдруг такая тоска по дяде, какая часто нападала на него в трудную минуту жизни, и, повернувшись к оруженосцу, он сказал ему не раздумывая:

— Чем сидеть тут попусту, поезжай-ка в Богданец, письмо отвезешь.

— Уж коли нельзя мне ехать с вашей милостью, так лучше я туда поскачу, — обрадовался оруженосец.

— Зови сюда ксендза Калеба, пусть напишет хорошенько обо всем, что тут было, а дяде письмо прочтет кшесненский ксендз, а нет, так аббат, коли он в Згожелицах.

При этих словах он смял рукою свой молодой ус и прибавил, как бы про себя:

— Да, аббат!..

И тотчас представилась ему Ягенка, синеокая, темноволосая, пригожая, как лань, со слезами на глазах. Как-то не по себе ему стало, потер он рукою лоб, но про себя молвил:

«Тосковать будешь ты, девушка, да не горше тебе будет, чем мне».

Тем временем пришел ксендз Калек и сел писать письмо. Збышко все подробно описал с той самой минуты, как приехал в лесной дом. Ничего он не утаил, зная, что старый Мацько во всем разберется и будет доволен. Не сравнивать Богданец со Спыховом, богатым и обширным владением, а Збышко знал, что Мацько всегда был очень лаком до богатства.

Когда после долгих трудов письмо было написано и скреплено печатью, Збышко снова призвал оруженосца и вручил ему письмо с такими словами:

— А может, ты с дядей сюда воротишься, очень я был бы этому рад.

Но лицо у чеха было озабоченное, он мялся, переступал с ноги на ногу и не уходил.

— Ты что? — спросил наконец молодой рыцарь. — Хочешь еще что-то сказать? Так говори.

— Я хочу, ваша милость... Я хочу еще спросить, что мне там людям

рассказывать?

— Каким людям?

— Ну, не в Богданце, а по соседству, они ведь тоже захотят обо всем узнать.

Збышко, который решил уже ни с чем от него не таиться, бросил на чеха быстрый взгляд и сказал:

— Да не о людях ты говоришь, а об Ягенке из Згожелиц.

Чех на мгновение вспыхнул и ответил, бледнея:

— О ней, милостивый пан.

— А почему ты знаешь, может, она уже вышла за Чтана из Рогова или за Вилька из Бжозовой?

— Ни за кого она там не вышла, — решительно возразил оруженосец.

— Аббат мог ей приказать.

— Не она аббата слушается, а он ее.

— Так чего же ты хочешь? Говори ей правду, как и всем.

Чех поклонился и вышел рассерженный.

«Дай-то Бог, — говорил он про себя, думая о Збышке, — чтоб она тебя забыла, дай-то Бог, чтоб получше нашла. А коли не забыла, то скажу я ей, что женился ты, да нет у тебя жены, и что, даст Бог, овдолеешь раньше, чем ступишь с женой на порог опочивальни».

Очень привязан был оруженосец к Збышку, очень жалел он Данусю, но никого так не любил, как Ягенку, и с той поры как узнал перед поединком в Цеханове, что Збышко женился, сердце его жгли обида и боль.

— Даст Бог, овдолеешь! — повторил он еще раз.

Но вскоре в голову ему пришли, видно, иные, более сладкие мысли, потому что, идя к лошадям, он говорил:

— Слава Богу, хоть к ногам ее упаду.

А Збышко меж тем рвался в путь, словно снедаемый лихорадкой; ничем другим он не мог заняться и терзался, думая без конца про Данусю и Юранда. Однако надо было хоть на одну ночь остаться в Спыхове, чтобы дать отдохнуть господину де Лоршу и приготовиться в такой дальний путь. Да и сам Збышко был безмерно утомлен и от поединка, и от целодневного ожидания на ристалище, и от дороги, и от бессонницы, и от огорчений. Когда спустилась глухая ночь, он бросился на жесткое ложе Юранда в надежде, что сон хоть ненадолго смежит ему глаза. Но не успел он уснуть, как к нему постучался Сандерус.

— Вы спасли меня, господин, от смерти, — сказал он с поклоном, — и так хорошо было мне с вами, как давно уж ни с кем не бывало. Бог дал вам сейчас большие владения, вы стали богаче, да и спыховская казна не пуста.

Дайте мне мешочек денег, поеду я в Пруссию от замка к замку и, хоть не очень там для меня безопасно, может, вам и услужу.

Збышко, который в первую минуту хотел вышвырнуть его вон из горницы, призадумался; через минуту он достал из стоявшей около постели дорожной сумы порядочный мешок денег, бросил Сандерусу и сказал:

— На вот тебе и ступай! Коли шельма ты, так обманешь, коли честен, так послужишь.

— Шельма я, господин, — ответил Сандерус, — и обману, да только не вас, а вам — услужу по чести.

VII

Зигфрид де Лёве собирался в Мальборк, когда почтовый служитель принес ему неожиданное письмо от Ротгера с вестями из Мазовии.

Старый крестоносец был живо тронут этими вестями. Прежде всего из письма было видно, что Ротгер весьма искусно представил князю Янушу все происшествие с Юрандом и повел дело блестяще.

Зигфрид улыбнулся, читая о том, как Ротгер потребовал, чтобы князь за обиды, нанесенные ордену, отдал во владение крестоносцам Спыхов. Зато в другой части письма содержались неожиданные и менее благоприятные вести. Ротгер сообщал, что для лучшего доказательства непричастности ордена к похищению дочери Юранда он бросил перчатку мазовецким рыцарям, вызывая каждого, кто усомнился бы в этом, на Суд Божий, то есть на единоборство в присутствии всего двора... «Ни один из них не поднял перчатки, — писал Ротгер, — ибо все знали, что за нас свидетельствует письмо самого Юранда, и все боялись правосудия Божия; но появился вдруг юноша, которого мы видали в лесном доме, и принял мой вызов. Не удивляйтесь же, благочестивый и мудрый брат, что я вернусь на два-три дня позже, ибо я сам бросил им вызов и должен поэтому биться. Ради славы ордена совершил я это и надеюсь, что ни великий магистр, ни вы, благочестивый брат, коего я почитаю и люблю, как сын, не вмените мне это в вину. Противник мой — суций младенец, а мне сражаться, как вы знаете, не внове, так что я во славу ордена легко пролью его кровь, особенно с помощью Иисуса Христа, которому, наверное, важнее те, кто носит крест его, нежели какой-то Юранд или обиды ничтожной девки из мазурского племени!»

Зигфрида прежде всего удивила весть, что дочь Юранда замужем. При мысли о том, что в Спыхове может поселиться новый страшный и мстительный враг, даже старым комтуром овладела тревога. «Ясно, — говорил он про себя, — что он не перестанет мстить нам, особенно если отыщет жену и она ему скажет, что это мы похитили ее из лесного дома! Тогда сразу выйдет наружу, что мы вызвали сюда Юранда лишь затем, чтобы погубить его, и что никто из нас и не помышлял о том, чтобы вернуть ему дочь». Тут Зигфриду пришло на ум, что великий магистр по письмам князя может повелеть учинить розыск в Щитно, хотя бы для того, чтобы оправдаться перед князем. Ведь и для магистра, и для капитула было очень важно, чтобы в случае войны с могущественным польским королем

мазовецкие князья не приняли в ней участие. Не говоря уж о том, что войско князей благодаря многочисленности и храбрости мазовецкой шляхты представляло собой силу, которой нельзя было пренебрегать, орден, живя в мире с мазовецкими князьями, обеспечивал на большом протяжении безопасность своих границ и мог спокойно собирать свои силы. В Мальборке не раз толковали об этом при Зигфриде и не раз выражали надежду, что после победы над королем найдется повод и для вторжения в Мазовию, а уж тогда этот край не вырвать из рук крестоносцев. Это был большой и верный расчет, поэтому можно было быть уверенным и в том, что магистр сделает сейчас все, чтобы не раздражать князя Януша, тем более что князь был женат на дочери Кейстута и его труднее было привлечь на свою сторону, чем Земовита плоцкого, жена которого, неизвестно по какой причине, всей душой предалась ордену.

Раздумывая обо всем этом, старый Зигфрид, который готов был на любое преступление, вероломство и жестокость, но превыше всего любил орден и блюл его славу, обратился к своей совести: «Не лучше ли выпустить Юранда и его дочь? Правда, тогда откроется все вероломство и вся мерзость этого злодеяния, но позор падет на Данфельда, а его уже нет в живых. И если даже, — думал Зигфрид, — магистр сурово покарает меня и Ротгера за то, что мы были сообщниками Данфельда, не лучше ли все-таки это для ордена?» Но старик вспомнил об Юранде, и злоба закипела в его мстительном и жестоком сердце.

Выпустить его, этого угнетателя и палача крестоносцев, победителя в стольких столкновениях, виновника стольких поражений и срама, этого погромщика, этого убийцу Данфельда, этого истязателя де Бергова и убийцу Майнегера, этого убийцу Готфрида и Хьюга, который в одном только Щитно пролил больше немецкой крови, чем льется ее в целом сражении во время войны! «Не могу! Не могу!» — повторял в душе Зигфрид, и хищные его пальцы при одной мысли об этом судорожно сжимались в кулак, а старая иссохшая грудь с трудом ловила воздух. «Но если это принесет ордену большую пользу и послужит к вящей его славе? Если, наказав оставшихся в живых виновников преступления, орден привлечет этим на свою сторону князя Януша, своего врага, и сможет заключить с ним договор и даже, быть может, союз?.. Горячи они очень, — думал старый комтур, — но если их немного обласкать, они скоро забывают обиды. Вот мы самого князя захватили в плен на собственной его земле, а ведь он не стал мстить нам...» Старый комтур заходил по залу, терзаемый сомнениями, и вдруг ему почудился голос свыше: «Внемли!

Жди Ротгера». Да! Надо ждать Ротгера. Он непременно убьет этого мальчишку, а потом надо будет либо скрыть Юранда и его дочь, либо отдать их. В первом случае князь о них не забудет, но, не зная точно, кто похитил девку, станет ее искать, станет посылать письма магистру, не пытаясь уже обвинять их, а стремясь лишь что-нибудь выведать, — и дело затянется надолго. В другом случае все они так обрадуются, когда вернется дочь Юранда, что не захотят даже мстить за ее похищение. «А мы всегда можем сказать, что нашли ее после того, как на нас напал Юранд!» Эта мысль совершенно успокоила Зигфрида. Что касается самого Юранда, то они вместе с Ротгером давно уже измыслили средство для того, чтобы он не мог ни мстить им, ни обвинять их, даже если его придется отпустить на волю. Жестокая душа Зигфрида радовалась, когда он думал об этом средстве. Она радовалась и при мысли о Суде Божьем, который должен был свершиться в цехановском замке. Старик нимало не сомневался в исходе смертельного боя. Он вспомнил о ристалище в Крулевце, когда Ротгер победил двух славных рыцарей, которые в родной своей Анжуйской стране^[88] почитались непобедимыми. Он вспомнил и об единоборстве под Вильно с польским рыцарем, придворным Спытка из Мельштына, которого тоже убил Ротгер. И лицо его прояснилось, а сердце исполнилось гордостью, ибо он первый водил Ротгера, и тогда уже славного рыцаря, в походы на Литву и учил его искусству войны с этим племенем. А теперь его сынок еще раз прольет ненавистную польскую кровь и вернется окруженный славой. Ведь это Суд Божий, и с ордена теперь будут сняты все подозрения... «Суд Божий!..» На мгновение сердце старого крестоносца сжалось, объятые страхом. Ротгер должен выйти на смертельный бой, чтобы доказать невиновность крестоносцев; но ведь они виноваты, стало быть, он будет драться за ложь... А что, если над ним стряется беда? Но через минуту это показалось Зигфриду совершенно немыслимым. Ротгер не может быть побежден.

Успокоившись, старый крестоносец стал раздумывать о том, не лучше ли было бы услать пока Данусю в какой-нибудь отдаленный замок, на который ни при каких обстоятельствах не могли бы учинить набег мазуры. Однако, подумав с минуту времени, он отбросил и эту мысль. Только муж Дануси мог замыслить и учинить такой набег, а он ведь погибнет от руки Ротгера... Потом только князь и княгиня будут выведывать, пытать, писать и жаловаться, а от этого дело только запутается, никто уже ничего не поймет, не говоря уже о бесконечной затяжке. «Пока они о чем-нибудь дознаются, — сказал про себя Зигфрид, — я умру, а может, и дочка Юранда состарится у нас в заточении». Не зная все же, что ему придется

предпринять вместе с Ротгером, старый крестоносец велел подготовить все к обороне замка и к отъезду и стал ждать.

Тем временем миновало уже два дня после того первоначального срока, когда Ротгер обещал вернуться, затем прошел третий и четвертый день, а у щитненских ворот все еще никто не появлялся. Только на пятый день, уже в сумерки, перед башней привратника раздался звук рога. Зигфрид, который только что закончил свои предвечерние занятия, тотчас послал мальчика-слугу узнать, кто прибыл.

Когда мальчик через некоторое время вернулся, лицо у него было смущенное; но Зигфрид ничего не заметил, так как огонь пылал в глубине камина и почти не рассеивал мрака.

— Приехали? — спросил старый рыцарь.

— Да! — ответил мальчик.

Но в голосе его прозвучали такие ноты, что крестоносец сразу встревожился и спросил:

— А брат Ротгер?

— Привезли брата Ротгера.

Зигфрид поднялся с кресла. Долго держался он рукой за подлокотник, точно боясь упасть, затем произнес сдавленным голосом:

— Подай мне плащ.

Мальчик набросил на плечи ему плащ; старый рыцарь овладел уже, видно, собою, сам надвинул на голову капюшон и вышел из комнаты.

Немного погодя он очутился во дворе замка, где уже царила тьма, и медленным шагом направился по скрипучему снегу к саням, которые миновали ворота и остановились неподалеку от них. Там стояла уже толпа народа и пылало несколько факелов, которые успели принести солдаты замковой стражи. Завидев старого рыцаря, кнехты расступились. В отблесках пламени видны были тревожные лица, тихие голоса шептали во мраке:

— Брат Ротгер...

— Брат Ротгер убит...

Зигфрид подошел к саням, на которых лежало на соломе покрытое плащом тело, и приподнял край плаща.

— Посветите, — велел он, откидывая капюшон.

Один из кнехтов наклонил факел, и старый крестоносец увидел голову Ротгера, его белое как снег, окоченелое лицо, стянутое темным платком, который завязали узлом под подбородком, видно, для того, чтобы рот покойника не остался открытым. Все лицо как-то сжалось от этого и изменилось до неузнаваемости. Глаза были закрыты, вокруг них и на

висках виднелись синие пятна. Щеки покрылись инеем.

Среди общего молчания долго глядел комтур на труп. А толпа глядела на комтура; все знали, что как сына любил он покойного. Но ни единой слезы не уронил старик, только лицо его стало еще суровей, и на нем застыло выражение холодного спокойствия.

— Так вот каким они его отослали! — произнес он наконец.

Однако тут же обратился к эконому замка:

— Сколотить до полуночи гроб и тело поставить в часовню.

— Остался один гроб из тех, что делали для убитых Юрандом, — заметил эконом. — Я прикажу только обить его сукном.

— И прикройте тело плащом, — приказал Зигфрид, закрывая лицо Ротгера. — Да не таким, а орденским.

Через минуту он прибавил:

— Гроба крышкой не закрывайте.

К саням подошли люди. Зигфрид снова надвинул на голову капюшон, но перед уходом, видно, что-то вспомнив, спросил:

— Где ван Крист?

— Он тоже убит, — ответил один из слуг, — но нам пришлось похоронить его в Цеханове, труп начал уже гнить.

— Хорошо.

Он ушел медленным шагом и, вернувшись в дом, опустился в то самое кресло, в котором застала его весть; лицо у него было каменное, долго сидел он не двигаясь, так что мальчик-слуга уже забеспокоился и стал заглядывать в дверь.

Текли часы, в замке замирало обычное движение, только со стороны часовни доносился глухой, неясный стук молотка, а потом ничто уже не нарушало тишину, кроме окликов сторожевых солдат.

Было уже около полуночи, когда старый рыцарь очнулся, словно ото сна, и позвал слугу.

— Где брат Ротгер? — спросил он.

Но мальчика так взволновали все события, тишина и бессонница, что он, видно, не понял старика, бросил на него тревожный взгляд и ответил дрожащим голосом:

— Я не знаю, господин!..

А старик улыбнулся страшной улыбкой и мягко сказал:

— Я спрашиваю тебя, дитя мое: он уже в часовне?

— Да.

— Хорошо. Скажи Дидериху, чтобы он пришел сюда с ключами и фонарем и ждал, пока я не вернусь. Пусть захватит с собой и котелок с

углями. Есть ли уже свет в часовне?

— Свечи горят у гроба.

Зигфрид надел плащ и вышел.

Придя в часовню, он в дверях огляделся, нет ли кого, затем, тщательно заперев двери, подошел к гробу, отставил две свечи из шести, которые горели в больших медных подсвечниках, и опустился у гроба на колени.

Губы его совсем не двигались, он не молился. Некоторое время он только глядел в застывшее, но все еще прекрасное лицо Ротгера, словно тщился уловить в нем признаки жизни.

Затем в тишине часовни он позвал приглушенным голосом:

— Сыночек! Сыночек!

И смолк. Казалось, он ждет ответа.

Протянув руки, он сунул исхудалые, похожие на когти пальцы под плащ, покрывавший Ротгера, и стал ощупывать всю его грудь — и сверху, и по бокам, и пониже ребер, и вдоль ключиц, наконец сквозь сукно он нащупал рубленую рану, которая шла от верхней части правого плеча к самой подмышке; вложив в рану пальцы, старик провел ими по всей ее длине и заговорил дрожащим голосом, в котором звучала как будто жалоба:

— О!.. Какой жестокий удар!.. А ты говорил, что он сущий младенец!.. Всю руку! Всю руку! Столько раз поднимал ты ее на язычников в защиту ордена, а теперь отрубила ее польская секира... И вот твой конец! И вот твой предел! Нет, не ниспослал тебе Господь Своего благословения, ибо не печется Он, видно, о нашем ордене. И меня Он оставил, хотя долгие годы служил я Ему.

Слова замерли у него на устах, губы задрожали, и в часовне снова воцарилось немое молчание.

— Сыночек! Сыночек!

В голосе Зигфрида звучала теперь мольба, но звал он Ротгера еще тише, словно желал выпытать у него важную и ужасную тайну.

— Если ты еще здесь, если ты меня слышишь, дай знак: шевельни рукой или на один краткий миг открой глаза; ноет сердце в моей старой груди... дай знак, я ведь так любил тебя, отзовись!..

И, опершись руками на края гроба, он вперил свой ястребиный взгляд в закрытые глаза Ротгера и ждал.

— О, как можешь ты отозваться, — произнес он наконец, — если холодом могилы веет от тебя и тлетворный дух исходит от гроба. Но раз ты молчишь, я сам тебе что-то скажу, и пусть сюда, к горящим свечам, прилетит твоя душа и слушает.

Он склонился к лицу трупа.

— Помнишь, капеллан не позволил нам добить Юранда и мы дали ему клятву? Хорошо, я сдержу клятву, но тебя я все же порадую, где бы ты ни был сейчас.

С этими словами он отошел от гроба, снова поставил на место подсвечники, покрыл тело плащом, закрыв при этом и лицо, и вышел из часовни.

У дверей комнаты крепко спал мальчик-слуга, которого одолел сон, а в комнате ждал Зигфрида по его приказу Дидерих.

Это был человек низкого роста, приземистый, с кривыми ногами и квадратным звериным лицом, полузакрытым темным зубчатым колпаком, спускавшимся на плечи. На нем был надет кафтан из невыделанной буйволово́й кожи, на бедрах такой же пояс, за которым висела связка ключей и торчал короткий нож. В правой руке он держал железный, затянутый пузырями фонарь, в левой — медный котелок и факел.

— Ты готов? — спросил Зигфрид.

Дидерих молча поклонился.

— Я велел тебе захватить в котелке углей.

Приземистый человек снова ничего не ответил, он указал только на пылающие в камине поленья, взял железный совок, стоявший у камина, и начал из-под поленьев выгребать угли в котелок. Затем он засветил фонарь и стал в ожидании.

— А теперь слушай, собака, — сказал Зигфрид. — Когда-то ты выболтал, что велел тебе сделать комтур Данфельд, и комтур приказал вырвать тебе язык. Но капеллану ты можешь все показать на пальцах; так вот запомни: если ты только попробуешь показать ему то, что сделаешь по моему приказанию, я велю тебя повесить.

Дидерих снова молча поклонился, только от страшного воспоминания злобная гримаса исказила его лицо, потому что язык ему вырвали совсем не по той причине, о которой говорил Зигфрид.

— Ступай теперь вперед и води меня в подземелье к Юранду.

Палач своей огромной рукой схватил котелок за дужку, поднял фонарь, и они вышли. За дверью они миновали спящего мальчика, спустились с лестницы и направились не к главному входу, а под лестницу; позади нее тянулся по ширине дома узкий коридор, который кончался тяжелой одностворчатой дверью, скрытой в нише стены. Дидерих отворил дверь, и они очутились под открытым небом, во внутреннем дворе, с четырех сторон окруженном каменными складами, где хранились запасы хлеба на случай осады замка. Справа под одним из этих складов были подземелья для узников. Стражи около них не было, так как узник, даже вырвавшись из

подземелья, очутился бы во дворике, из которого был один выход — через дверь, ведущую в дом.

— Погоди! — сказал Зигфрид.

Он оперся рукой о стену и остановился, почувствовав, что с ним творится что-то неладное, что ему не хватает воздуха, точно грудь его закована в слишком узкий панцирь. Все то, что пришлось ему пережить, было просто не по его старческим силам. Он почувствовал, что на лбу у него под капюшоном выступил холодный пот, и решил немного отдохнуть.

После хмурого дня спустилась необычайно ясная ночь. Луна вошла на небе, озарив лучами весь дворик, и снег в лунном сиянии отливал зеленым цветом. Зигфрид жадно втягивал в грудь свежий, морозный воздух. Ему вспомнилось вдруг, что в такую же ясную ночь Ротгер уехал в Цеханов, откуда вернулся мертвым.

— А теперь ты лежишь в часовне, — тихо пробормотал Зигфрид.

Дидерих подумал, что комтур обращается к нему, он поднял фонарь и осветил мертвенно-бледное лицо старика, живо напомнившее ему голову старого стервятника.

— Веди! — сказал Зигфрид.

Желтый кружок света от фонаря снова затрепетал на снегу, и они направились дальше. В толстой стене склада было углубление, и несколько ступеней вели к низкой железной двери. Дидерих отворил дверь и снова стал спускаться по ступеням во мрак, высоко поднимая фонарь, чтобы осветить комтуру дорогу. В конце лестницы начинался коридор, а по коридору справа и слева виднелись низенькие двери подземелий.

— К Юранду! — велел Зигфрид.

Через минуту заскрипел засов, и они вошли. Но в темнице царил непроглядный мрак, и Зигфрид, который плохо видел при тусклом свете фонаря, велел зажечь факел; при сильном отблеске пламени он увидел лежавшего на соломе Юранда. На ногах у узника были оковы, на руках цепь подлиннее, чтобы он мог поднести пищу ко рту. На нем было то самое вретище, в котором старый рыцарь предстал перед комтурами, только сейчас оно было покрыто темными кровавыми пятнами: это в день, когда обезумевшего от боли и ярости Юранда опутали сетью, чтобы прекратить бой, кнехты хотели добить рыцаря алебардами и изранили его. Добить старика не дал местный щитненский капеллан, и раны оказались не смертельными; но Юранд потерял столько крови, что в темницу его отнесли полуживого. В замке все ждали, что старый рыцарь вот-вот скончается, но он был таким богатырем, что победил смерть и остался жив, несмотря на то что ран никто не перевязал и его ввергли в страшное

подземелье, где в оттепель капало со свода, а в морозы стены сплошь покрывались инеем и льдом.

Он лежал на соломе, в цепях, ослабелый, но такой огромный, что и теперь казался обломком скалы, которому придали человеческий образ. Зигфрид велел поднести фонарь к лицу Юранда и долго в молчании глядел на это лицо. Затем он обратился к Дидериху и сказал:

— Видишь, у него только один глаз, выжги ему его.

В голосе Зигфрида звучали бессилие и старческая немощь, поэтому ужасный приказ казался еще ужаснее. Факел задрожал в руке палача, и все же он нагнулся, и на глаз Юранда стали падать большие капли пылающей смолы и вскоре покрыли всю впадину от брови до выдавшейся скулы.

Судорога исказила лицо Юранда, белокурые усы встопорщились, обнажив стиснутые зубы; но старый рыцарь не произнес ни слова и, от крайнего ли изнурения или из присущего его страшной натуре упорства, не издал ни единого стога.

А Зигфрид сказал:

— Мы обещали выпустить тебя на волю и выпустим; но орден ты ни в чем не сможешь уже обвинить, ибо тебе вырвут язык, которым ты изрыгал хулу на него.

И он снова дал знак Дидериху; однако тот издал странный горловой звук и показал старику на пальцах, что ему нужны обе руки и он просит, чтобы комтур ему посветил.

Зигфрид взял у него факел и держал его в вытянутой дрожащей руке, но, когда Дидерих прижал коленями грудь Юранда, старый крестоносец отвернул голову и стал глядеть на покрытую инеем стену.

Раздался лязг цепей, затем послышалось трудное дыхание, словно протяжный глухой стон, и воцарилась тишина.

Тогда снова раздался голос Зигфрида:

— Юранд, наказание, которое ты понес, ты и так должен был понести; но я обещал еще брату Ротгеру, которого убил муж твоей дочери, положить ему в гроб твою правую руку.

Дидерих, который уже было поднялся, услышав эти слова, снова склонился над Юрандом.

Через некоторое время старый комтур и Дидерих снова вышли во дворик, залитый лунным сиянием. Миновав коридор, Зигфрид взял из рук палача фонарь и какой-то темный предмет, завернутый в тряпку, и сам себе громко сказал:

— Теперь опять в часовню, а затем в башню.

Дидерих бросил на него быстрый взгляд; но комтур велел ему идти

спать, а сам побрел с колеблющимся фонарем в руке к освещенным окнам часовни. По дороге он размышлял обо всем происшедшем. Какая-то уверенность росла в нем, что приходит и его конец, что это последние дела его на земле; и хотя душа у него была не столько лживая, сколько жестокая, все же под влиянием неумолимой необходимости он так привык к уловкам, обману и сокрытию кровавых злодеяний ордена, что и сейчас невольно думал о том, как снять с себя и с ордена пятно бесчестия и ответственность за муки Юранда. Дидерих нем, он ни в чем не сознается и, хотя может объясниться с капелланом, ничего ему не скажет просто из страха. Так кто же, кто может тогда доказать, что Юранд не получил всех этих ран в сече? Он легко мог потерять язык от удара копья, меч или секира могли отрубить ему правую руку, а глаз у него был только один, так что же удивительного, что ему его выбили, когда он в безумии один бросился на всю щитненскую стражу. Ах, Юранд! Сердце старого крестоносца затрепетало от последней радости, которую суждено ему было испытать. Да, если Юранд выживет, они отпустят его на волю! Зигфрид вспомнил, как держал об этом совет с Ротгером и как молодой брат со смехом сказал: «Пусть идет тогда куда глаза глядят, а коли не найдет дороги в Спыхов, пусть *спросит*, как туда пройти». Ибо то, что случилось, они отчасти уже давно решили сделать. Но сейчас, когда Зигфрид снова вошел в часовню и, опустившись на колени у гроба, положил в ноги у Ротгера окровавленную руку Юранда, радость, от которой за минуту до этого трепетала его грудь, в последний раз изобразилась на его лице.

— Ты видишь, — сказал он, — я сделал больше, чем мы решили, ибо король Иоанн Люксембургский хотя и был слеп, но мог еще выйти на бой и погиб со славой^[89], а Юранд уже не выйдет и погибнет, как пес под забором.

Тут у него снова началось удушье, как и тогда, когда он шел к Юранду, а в голове старик ощутил тяжесть, как от железного шлема; но это длилось лишь одно короткое мгновение. Он глубоко вздохнул и сказал:

— Да, пришел и мой час. Один ты был у меня, а теперь никого не осталось. Но если суждено мне еще жить, то я даю обет тебе, сынок, либо положить на твою могилу и ту руку, которая тебя убила, либо самому погибнуть. Жив еще твой убийца...

Зубы сжались у старого крестоносца при этих словах и такая сильная судорога свела лицо, что слова замерли у него на устах, и только через некоторое время он снова заговорил прерывистым голосом:

— Да... Жив еще твой убийца, но я настигну его... А прежде чем настичь, я заставлю его испытать муку, горшую смерти.

И он умолк.

Через минуту он поднялся и, приблизившись к гробу, сказал спокойным голосом:

— А теперь я прощусь с тобою... В последний раз погляжу я в твое лицо, может, узнаю, рад ли ты моему обету. В последний раз!

Он открыл лицо Ротгера и внезапно отпрянул.

— Ты смеешься... — сказал он. — Но как страшно ты смеешься...

Труп под плащом, может быть, от тепла свечей, начал с ужасной быстротой разлагаться, и лицо молодого комтура стало просто страшным. Распухшие, почернелые уши были чудовищны, а синие вздувшиеся губы искривились как будто в усмешке.

Зигфрид торопливо закрыл эту страшную человеческую маску.

Затем он взял фонарь и вышел вон. По дороге старик в третий раз почувствовал удушье; вернувшись к себе, он бросился на свое жесткое монашеское ложе и некоторое время лежал без движения. Он думал, что уснет, но его охватило вдруг странное чувство: ему показалось, что сон уже никогда к нему не придет. И если он останется в этой комнате, то сейчас к нему придет смерть.

Зигфрид не боялся ее. Он изнемог, совсем потерял надежду уснуть и в смерти видел лишь бесконечный покой; но он не хотел, чтобы смерть пришла в эту ночь, и потому сел на своем ложе и произнес:

— Дай мне время до завтра.

Но тут же явственно услышал голос, который прошептал ему на ухо:

— Иди. Утром уже будет поздно, и ты не сделаешь того, что поклялся сделать. Иди.

С трудом поднявшись с постели, комтур вышел. На раскатах стен перекликалась стража. Желтый свет падал из окон часовни на снег. Посреди двора, у каменного колодца, играли две черные собаки, теребя какую-то тряпку, а так кругом было пустынно и тихо.

— Непременно этой ночью? — говорил Зигфрид. — Я так утомился, но я иду. Все спят. Измученный Юранд тоже, верно, спит, только я никак не усну. Я иду, иду, потому что в доме ждет меня смерть, а тебе я дал клятву... Но потом пусть приходит смерть, если не может прийти сон. Ты смеешься там, а у меня нет больше сил. Ты смеешься, ты, верно, доволен. Но пальцы у меня застыли, бессильны мои руки, и сам я уже этого не сделаю. Сделает это послушница, которая с нею спит...

Говоря так с самим собою, он шел тяжелым шагом к башне у ворот. Собаки, которые играли у каменного колодца, подбежали к нему и стали ласкаться. В одной из них Зигфрид узнал большую охотничью собаку,

такую неразлучную спутницу Дидериха, что в замке говорили, будто ночью она служит ему подушкой.

Приласкавшись, собака тихо заскулила, затем, словно угадав мысль человека, побежала к воротам.

Через минуту Зигфрид очутился перед узкой дверцей башни, которую на ночь запирали снаружи на засов. Отодвинув его, старик нащупал перила лестницы, которая начиналась сразу же за дверью, и стал подниматься вверх. В растерянности он забыл фонарь и шел осторожно, нащупывая ногами ступени.

Сделав несколько шагов, он вдруг остановился, услышав выше над головой как будто тяжелое дыхание человека или зверя.

— Кто там?

Ответа не последовало, но дыхание стало чаще.

Зигфрид был человек неустрашимый, он не боялся смерти, но мужество его и самообладание уже исчерпались в эту страшную ночь. В голове у него пронеслась мысль, что это Ротгер преградил ему путь, и волосы встали дыбом у него на голове, а лоб покрылся холодным потом.

Он попятился чуть не к самому выходу.

— Кто там? — спросил он сдавленным голосом.

Но в эту минуту кто-то толкнул его в грудь с такой чудовищной силой, что старик без памяти грянулся навзничь в открытую дверь, не издав ни единого стона.

Воцарилась тишина. Потом из башни выскользнула темная фигура и крадучись побежала к конюшням, расположенным рядом с цейхгаузом по левую сторону двора. Большая собака Дидериха молча понеслась вслед за нею. Другая собака бросилась за ними и скрылась в тени, которую отбрасывала стена; однако вскоре она снова появилась; опустив к земле голову, она потихоньку бежала, словно приносиваясь к следу. Подойдя к лежавшему неподвижно Зигфриду, собака обнюхала его и, сев у него в головах, подняла морду вверх и завывала.

Наводя новую тоску и новый ужас, долго разносился в эту мрачную ночь ее вой. Наконец в глубине, у больших ворот, скрипнула потайная дверь и во дворе появился привратник с алебардой.

— А, чтоб ты издохла! — сказал он. — Я вот научу тебя выть по ночам!

И, наставив алебарду, он хотел ткнуть острием в собаку, но тут же увидел, что у распахнутой дверцы башни кто-то лежит.

— Herr Jesus!^[90] Что это?..

Нагнувшись, он заглянул в лицо лежащему и закричал:

— Сюда, сюда, на помощь!

Затем бросился к воротам и изо всей силы задергал веревку колокола.

VIII

Как ни торопился Гловач в Згожелицы, однако дороги совсем развезло, и он не мог ехать так скоро, как ему бы хотелось. После суровой зимы, после лютых морозов и метелей, когда целые деревни оказались погребенными под снегом, наступила сильная оттепель. Месяц лютый^[91], вопреки своему названию, оказался вовсе не лютым. Сперва все вставали густые, непроницаемые туманы, потом пошли проливные дожди, от которых на глазах таяли снежные сугробы, а в перерывах между дождями дул обычный мартовский ветер; он налетал порывами, собирал и разгонял в небе тяжелые тучи, а на земле выл в зарослях, ревел в лесах и пожирал снега, под которыми еще недавно дремали в тихом зимнем сне сучья и ветви деревьев. Леса сразу почернели. Ветер морщил и рябил воду на затопленных лугах; реки и ручьи вздулись. Эта разлившаяся водная стихия радовала только рыбаков, прочий же люд скучал, сидя взаперти. Во многих местах от деревни до деревни можно было добраться только на лодке. Правда, через болота и леса почти везде были проложены из бревен гати и дороги; но сейчас гати размыло, а бревна в низинах затонули в болотной жиже, и проезд по ним стал опасным, а то и вовсе невозможным. Чеху особенно трудно было пробираться по озерной Великой Польше, где разливы каждую весну бывали больше, чем в других местах, и проехать, особенно всаднику, было труднее.

Он вынужден был часто делать остановки и ждать по целым неделям то в местечках, то в деревнях у шляхтичей, которые по обычаю радушно принимали гостя с его людьми, охотно слушали рассказы о крестonosцах, а за новости платили хлебом-солью. Весна уже вступила в свои права, и миновала большая часть марта, прежде чем Гловач добрался до Згожелиц и Богданца.

Сердце билось у чеха при мысли, что скоро он увидит свою госпожу; он знал, что Ягенка для него так же недостижима, как звезда в небе, и все же обожал ее и любил всей душой. Однако Гловач решил заехать сперва к Мацьку — и Збышко послал его к старику, да и людей он вез с собою, которых должен был оставить в Богданце. После смерти Ротгера Збышко взял людей убитого, а по правилам ордена при каждом рыцаре должно было состоять десять человек с десятью конями. Двое слуг Ротгера отвезли тело убитого в Щитно, а остальных Збышко, знавший, как ищет старый Мацько поселенцев, отослал с Гловачем в подарок дяде.

Когда чех приехал в Богданец, он не застал Мацька дома; ему сказали, что старик взял самострел и пошел с собаками в лес. Но Мацько вернулся еще засветло и, узнав, что к нему приехало много каких-то людей, ускорил шаги, чтобы поздороваться с приезжими и оказать им радушный прием. Он сперва не признал Гловача, когда же тот поклонился и назвал себя, старик в первую минуту страшно испугался и, бросив наземь самострел и шапку, закричал:

— Господи помилуй! Убит! Говори же, что с ним!

— Не убит он, — возразил чех. — В добром здоровье.

Мацько устыдился, услышав эти слова, и смущенно засопел.

— Слава Иисусу Христу, — сказал он наконец со вздохом облегчения. — Где же он?

— Поехал в Мальборк, а меня послал сюда с новостями.

— А зачем он поехал в Мальборк?

— За женой.

— Побойся Бога, парень! За какой женой?

— За дочкой Юранда. На всю ночь хватит нам об этом разговоров; но пока позвольте мне отдохнуть, милостивый пан, страх как утомился я от дороги, с полуночи ехал без отдыха.

Мацько и спрашивать перестал по той простой причине, что от изумления у него язык отнялся. Придя в себя, он кликнул слугу, велел подкинуть дров в печку и принести чеху поесть, а сам заходил по горнице, размахивая руками.

— Ушам своим не верю... — говорил он сам с собою. — Дочка Юранда... Збышко женат.

— И женат, и не женат, — заметил чех.

И только теперь повел неторопливый рассказ обо всем происшедшем. Старик жадно слушал, прерывая иногда его речь вопросами, потому что не все в рассказе чеха было для него ясно. Гловач, например, не знал толком, когда Збышко женился, потому что никакой свадьбы не играли; и все же он уверял, что Збышко обвенчался с Дануськой и что помогла ему в этом сама княгиня Анна Данута, а открылось все только после приезда крестоносца Ротгера, которого Збышко вызвал на Суд Божий и при всем мазовецком дворе с ним бился.

— Вот как! Бился с ним! — сверкнув со страшным любопытством глазами, воскликнул Мацько. — И что же?

— Пополам разрубил он немца, да и мне Бог помог справиться с оруженосцем.

Мацько снова засопел, на этот раз от удовольствия.

— Ну, — сказал он, — с ним шутки плохи. Последний он в роду Градов, но, ей-ей, не из последних. А тогда с фризами?.. Ведь совсем еще был мальчишка...

Старик пристально поглядел на чеха.

— Да и ты, — продолжал он, — мне по нраву пришелся. И, видно, не врешь. Я вралю за версту слышу. С оруженосцем это дело пустое, да ты и сам говоришь, что недолго с ним повожжался, а вот что ты тевтонскому псу руку изломал, а допрежь того тура свалил, — это дело похвальное.

Потом спросил вдруг:

— А добыча? Тоже добрая?

— Доспехи мы взяли, коней да слуг десять человек, восьмерых вам вот прислал молодой пан.

— А что он с двумя-то сделал?

— Отослал их с телом.

— Неужто князь не мог своих слуг послать? Их ведь уже не веротишь.

Чех улыбнулся, его насмешила жадность, которую часто обнаруживал Мацько.

— Молодому пану это сейчас нипочем, — сказал он. — Спыхов — большое имение.

— Большое-то большое, да что толку в нем? Не его ведь еще оно.

— А чье же?

Мацько даже привстал.

— Рассказывай! А Юранд-то?

— Юранд у крестоносцев в подземелье, и смерть уж у него в головах. Бог весть, выживет ли он, а коли и выживет, так воротится ли? А хоть и выживет он, и воротится, так ксендз Калерб читал его последнюю волю, велел он всем слушаться молодого пана, как хозяина.

На Мацька эти новости произвели, видно, огромное впечатление; такие они были и радостные, и вместе с тем огорчительные, что старик терялся, не зная, что и подумать о них, и не мог разобраться в чувствах, которые боролись в нем. Весть о том, что Збышко женился, в первую минуту неприятно поразила Мацька, он ведь как родной отец любил Ягенку и всеми силами старался свести со Збышком. Но, с другой стороны, старик уже как-то привык к мысли, что дело это пропащее, да и Дануська приносила роду то, чего не могла принести Ягенка: и княжескую милость, и приданое, как у единственной дочки, во много раз большее. Мацько видел уже Збышка княжеским комесом, владельцем Богданца и Спыхова, а в будущем и каштеляном. Все это легко могло стать в те времена, когда о худородном шляхтиче говаривали: «Было у него двенадцать сыновей,

шестеро в битвах погибли, шестеро каштелянами стали». И народ, и шляхетские роды были на пути к возвышению. Богатство только помогло бы Збышку возвыситься, так что алчность и родовая гордость Мацька могли быть удовлетворены. Однако у старика были основания и для беспокойства. Когда-то ради спасения Збышка он сам отправился к крестоносцам и вернулся из этой поездки с железным осколком под ребром, а теперь вот Збышко поехал в Мальборк, прямо как волку в пасть. Что он найдет там? Жену или смерть? «Косо они будут смотреть на него, — подумал Мацько. — Недавно он убил их знаменитого рыцаря, еще раньше напал на Лихтенштейна, а они, собачьи дети, мстительны». Закручинился старый рыцарь, подумав об этом, а тут еще пришло ему в голову, что Збышко, «горячая голова», непременно станет драться с каким-нибудь немцем. Впрочем, это его не так беспокоило. Больше всего Мацько опасался, как бы крестоносцы не схватили Збышка. «Схватили они старого Юранда и его дочку, не побоялись когда-то самого князя схватить в Злоторые, чего это они станут Збышка миловать?»

И тут ему подумалось — что же будет, если парень вырвется из лап крестоносцев, а жены не найдет? Сперва Мацько утешился, вспомнив, что после жены Збышку достанется Спыхов; но этого утешения ненадолго хватило. Для старика было очень важно богатство, но не менее важен был и род — потомство Збышка. «Коли Дануська пропадет, как камень в воду канет, и никто не будет знать, жива она или умерла, Збышко не сможет жениться на другой, и вымрут тогда Грады из Богданца. Эх! Не то было бы с Ягенкой!.. Мочидолов тоже ни наседка крыльями, ни пес хвостом не прикроют, а такая девка что ни год рожала бы, как яблоня в саду». И не так уже радовался Мацько новым владениям, больше сокрушался, что все так сложилось; в тревоге стал он снова выпытывать у чеха, когда же и как Збышко обвенчался.

— Я уж говорил вам, милостивый пан, — ответил ему чех, — что не знаю, когда это было, догадываюсь только, ну а поклясться в том не могу.

— А все-таки как ты думаешь?

— Когда пан болел, я от него не отходил и спал с ним в одной горнице. Как-то вечером велено мне было уйти, а потом я видел, как к пану прошла сама вельможная княгиня, а с нею панна Данута, де Лорш и ксендз Вышонец. У панны на голове был веночек, и я даже удивился, ну а потом подумал, что это, верно, ксендз будет причащать пана... Может, тогда это и было... Помню, пан велел нарядить его, как на свадьбу, но я тоже подумал, что это для причастия.

— Ну а как же потом? Они остались одни?

— Какое там! Не остались! Да хоть бы и остались, так пан тогда и есть-то сам не мог, совсем ослаб. А за панночкой уже люди приехали, будто бы от Юранда, на рассвете она и уехала...

— И Збышко с той поры ее не видал?

— Никто ее с той поры не видал.

На минуту воцарилось молчание.

— Как ты думаешь, — снова заговорил Мацько, — отдадут ее крестоносцы?

Чех покачал головой, потом нехотя махнул рукой.

— Мне думается, — медленно сказал он, — что пропала она навеки.

— Это почему же? — со страхом спросил Мацько.

— Да если бы они сказали, что она у них, так и надежда была бы. Можно было бы жаловаться, либо выкуп заплатить, либо отбить ее силой, а ведь они что говорят? «Была, говорят, у нас какая-то девка, отбили мы ее и дали Юранду знать, а тот в ней не признал своей дочки, а за наше добро столько нам перебил народу, что и в бою столько не потеряешь».

— Так они показывали Юранду какую-то девку?

— Говорят, будто показывали. А Бог их знает. Может, и не правда, а может, другую показали, одно только верно, что тьму народу он перебил и что они готовы поклясться в том, что панны Дануты никогда не похищали. Трудное это дело. Хоть и велит им магистр отдать ее, так они скажут, что нет ее у них, и чем ты докажешь, что она у них? А тут еще люди в Цеханове толковали про письмо Юранда, в котором он пишет, будто она не у крестоносцев.

— А может, она и впрямь не у крестоносцев?

— Что вы, ваша милость!.. Ведь если бы ее разбойники похитили, так только для того, чтобы получить выкуп. Да и не сумели бы они ни письмо написать, ни печать пана из Спыхова подделать, ни столько слуг за нею прислать.

— Это верно. Но зачем же она нужна крестоносцам?

— А обиды свои на ней выместить! Им месть слаще меда и вина, да и причина есть. Страшен был им пан из Спыхова, а после того, что напоследок он им учинил, они вконец распалились... Слыхал я, что и мой пан поднял руку на Лихтенштейна, да и Ротгера убил... А я с Божьей помощью тевтонскому псу руку изломал. Эх!.. Четверо их было, черт бы их, простите, подрал, а теперь один только в живых остался, да и тот старик. Мы, ваша милость, тоже можем показать зубы.

На минуту снова воцарилось молчание.

— Бойкий из тебя оруженосец, — сказал наконец Мацько. — А как ты

думаешь, что они с нею сделают?

— Князь Витовт — могущественный князь, говорят, сам германский император в пояс ему кланяется, а что они сделали с его детьми? Мало у них замков? Мало подземелий? Мало колодцев? Мало веревок да петель на шею?

— Господи, спаси и помилуй! — воскликнул Мацько.

— Дай Бог, чтоб молодого пана не заточили, хоть и поехал он к ним с письмом от князя и с паном де Лоршем, знатным рыцарем, который герцогам сродни. Эх, не хотел я сюда ехать, потому там скорей удалось бы с кем-нибудь сразиться. Да пан велел. Слыхал я, как говорил он раз старому пану из Спыхова: «Вы, говорит, хитрый? Потому я совсем хитрить не умею, а с ними нужна хитрость! Вот, говорит, дядя Мацько, тот бы очень нам пригодился!» Затем-то он меня сюда и послал. Но только дочки Юранда и вам, пан, не найти, она уж, верно, на том свете, а против смерти — никакая хитрость не поможет...

Мацько задумался.

— Да, тут уж ничего не поделаешь, — сказал он после долгого молчания. — Против смерти хитрость не поможет. Вот поехать бы туда да хоть дознаться, что ту убили, так тогда Спыхов все равно достался бы Збышку, а сам он мог бы вернуться и на другой жениться...

Мацько вздохнул при этом, будто камень у него с души свалился, а Гловач спросил робким, тихим голосом:

— На панночке из Згожелиц?

— На ней, — ответил Мацько. — Она к тому же теперь сирота, а Чтан из Рогова и Вильк из Бжозовой так навязались, что совсем от них житья девке не стало.

Чех вскочил.

— Панночка сирота? А рыцарь Зых?..

— Так ты ничего не знаешь?

— Господи, да что же стряслось?

— Оно и верно, откуда тебе знать об этом, коли приехал ты прямо сюда, а толковали мы с тобой только про Збышка. Сирота она! Згожелицкий Зых, сказать по правде, и места-то дома не пригрел, только тогда, бывало, и посидит, как гости у него. А так все ему было скучно в Згожелицах. Написал ему как-то аббат, что собирается в гости к освенцимскому князю Пшемку, и его с собой позвал. А Зых и рад, он с князем знаком был, не раз с ним пировал. Приезжает это ко мне Зых и говорит: «Еду я в Освенцим, а оттуда в Глевицы, а вы приглядите тут за Згожелицами». Будто почуяло мое сердце беду, говорю я ему: «Не ездите! Постерегите дом и Ягенку, знаю я,

что Чтан с Вильком худое замышляют». А надо тебе сказать, что аббат, разгневавшись на Збышка, хотел выдать Ягенку за Вилька или Чтана, да как поближе к ним пригляделся, отколотил их как-то обоим своим посохом и вышвырнул вон из Згожелиц. Оно бы и хорошо, да вот беда, уж очень они обозлились. Сейчас спокойней стало, изувечили они друг дружку и лежат, а то ни минуты тебе покоя нет. Все на моих плечах: и опекай, и охраняй. А теперь вот Збышко хочет, чтобы я к нему ехал. Не знаю, как и быть-то с Ягенкой... Впрочем, погоди, дай я тебе сперва про Зыха доскажу. Не послушался он меня, поехал. Ну, пировали они там, веселились! Из Глевиц поехали к отцу князя Пшемка, к старому Носаку, который в Цешине княжит^[92]. А тут Ясько, князь рациборский^[93], который ненавидел князя Пшемка, возьми и подошли к ним разбойников под предводительством чеха Хшана. И князь Пшемко погиб, а с ним и згожелицкий Зых, стрела ему в горло воткнулась. Аббата они железным чеканом оглушили, так что у него и по сию пору голова трясется, без памяти старик и языка лишился, верно, тоже навсегда. Но старый князь Носак купил Хшана у владельца Зампах и так его истязал, что даже старики о таких пытках не слыхивали. Но от этого не перестал он тосковать по сыну, и Зыха не воскресил, и Ягенки не утешил. Вот тебе и позабавились... Шесть недель назад привезли сюда Зыха и похоронили.

— Такой могучий был богатырь!.. — с сожалением сказал чех. — Я под Болеславцем тоже был уже крепким парнем, а ведь он схватил меня и минуты не повожжался. Только такая у него была неволя, что не променяю я ее и на волю... Добрый, хороший был пан! Вечная ему память! Уж так мне жаль, так жаль, а больше всего бедняжки панночки.

— И впрямь бедняжка. Другая матери так не любит, как она отца любила. Да и жить ей в Згожелицах стало опасно. Не успела она отца похоронить, еще снегом могилу его не засыпало, а уж Чтан и Вильк учинили набег на Згожелицы. По счастью, мои люди прослышали про умысел их, и я со слугами поспешил на подмогу Ягенке; с Божьей помощью здорово мы их тогда поколотили. А Ягенка после боя упала мне в ноги: «Не судьба мне за Збышком быть, так ни за кого не пойду. Только спасите меня от этих выроdkов, потому лучше мне смерть принять, чем за кого-нибудь из наших замуж пойти...» Ты, скажу я тебе, Згожелиц сейчас не узнаешь, я там настоящую крепость устроил. Чтан и Вильк еще два раза учиняли потом набег, да только ничего у них не вышло. Теперь попритихли на время — я уж тебе говорил, так друг дружку изувечили, что ни рукой, ни ногой двинуть не могут.

Гловач ничего не отвечал, только так скрежетал зубами, слушая про

Чтана и Вилька, будто кто скрипучую дверь отворял да затворял, а потом потер об ляжки свои сильные руки, видно, почувствовал, что чешутся они у него. Одно только слово вырвалось у чеха:

— Проклятые!..

Но в эту минуту в сенях раздались чьи-то голоса, дверь внезапно распахнулась, и в горницу ворвалась Ягенка со старшим из братьев, четырнадцатилетним Яськом, с которым они были схожи, как близнецы.

Узнав от згожелицких мужиков, которые видели на дороге всадников, что какие-то люди, предводительствуемые чехом Главой, поехали в Богданец, она, как и Мацько, очень испугалась, а когда ей сказали, что Збышка с ними не было, она решила, что стряслась беда, и духом примчалась в Богданец, чтобы узнать всю правду.

— Господи! Что там стряслось?.. — крикнула девушка с порога.

— А что могло стрястись-то? — сказал Мацько. — Збышко жив и здоров.

Чех бросился к своей госпоже и, преклонив колено, стал целовать край ее платья, однако она ничего не заметила; услышав ответ старого рыцаря, она отвернула голову в тень и только через минуту, вспомнив, что надо поздороваться, сказала:

— Слава Иисусу Христу!

— Во веки веков! — ответил Мацько.

А она только теперь заметила чеха у своих ног и склонилась к нему:

— Я, Глава, от души рада тебя видеть, но почему ты покинул своего пана?

— Он услал меня, милостивая панночка.

— И что велел тебе делать?

— Велел ехать в Богданец.

— В Богданец?.. А еще что?

— Послал за советом... с приветом и поклоном.

— Только в Богданец? Ну ладно. А сам-то он где?

— К крестоносцам поехал в Мальборк.

На лице Ягенки снова изобразилось беспокойство.

— Что, ему жизнь не мила? Зачем он туда поехал?

— Искать, милостивая панночка, то, чего уж ему не найти.

— Это верно, что не найти, — вмешался Мацько. — Как гвоздя не утвердить без молота, так и волю людскую без воли Божьей.

— О чем это вы толкуете? — спросила Ягенка.

Но Мацько на вопрос ответил вопросом:

— Говорил ли тебе Збышко про дочку Юранда? Слыхал я, что говорил.

Ягенка не сразу ответила.

— Говорил! А почему бы ему не говорить? — спросила она, затаив дыхание.

— Вот и хорошо, теперь мне легче будет рассказывать, — ответил старик.

И он начал рассказывать ей обо всем, что слышал от чеха, и сам диву давался, отчего это так трудно ему говорить и рассказ его так нескладен. Но человек он и в самом деле был хитрый, и уж очень ему не хотелось «отпугивать» Ягенку, поэтому он на всякий случай особенно упирал на то, чему и сам верил, — что Збышко вовсе и не был мужем Дануси и что она пропала навеки.

Чех поддакивал старику, то кивая головой, то повторяя: «Ей-же-ей, правда!» или: «Так оно на самом деле и есть», — а девушка слушала, потупя взор, ни о чем не спрашивала и так притихла, что молчание ее встревожило Мацька.

— Ну, что же ты скажешь? — спросил он, закончив свой рассказ.

Она ничего не ответила, только две слезинки блеснули у нее на ресницах и скатились по щекам.

Через минуту девушка подошла к Мацьку, поцеловала ему руку и сказала:

— Слава Иисусу Христу!

— Во веки веков! — ответил старик. — Что это ты так домой торопишься? Осталась бы с нами.

Но она не захотела остаться, сказала, будто дома на ужин ничего не оставила. Хоть и знал Мацько, что в Згожелицах есть старая шляхтянка Сецехова, которая могла бы заменить Ягенку, но не очень задерживал девушку, понимая, что с печали слезы льются, а не любит человек, чтобы его в слезах видели, вот и прячется, словно рыба, которая, почуяв в себе зуб остроги, уходит поглубже на дно.

Он только погладил девушку по голове и с чехом проводил ее во двор. Чех вывел из конюшни коня, вскочил на него и поехал следом за панночкой.

А Мацько, вернувшись, покачал со вздохом головой и проворчал:

— Ох и дурень же ты, Збышко!.. Даже пахнет сладко после этой девки в хате.

И старик совсем закручинился. Вот, подумал он, женился бы на ней Збышко сразу, как домой воротился, так уж, может, до этой-то поры была бы и радость, и утеха! А теперь что? Только вспомнишь о нем, а у нее уж слеза катится из глаз, а парень бродит где-то по свету и будет в Мальборке

стену лбом пробивать, покуда не разобьет его себе, а в хате пусто, одни доспехи скалятся со стен. Какой толк от хозяйства, к чему все заботы, на что и Спыхов и Богданец, коли некому будет их оставить?

И Мацько распалился гневом.

— Погоди ты, бродяга! — сказал он вслух. — Не поеду я к тебе, делай себе что хочешь.

Но тут, как назло, напала на него страшная тоска по Збышку. «Как же не ехать-то, — подумал старик, — да разве я усижу дома? Не усижу! Наказание Господне! Это чтоб я хоть разок еще этого сорванца не увидел? Не может этого быть! Опять он там тевтонского пса изрубил и добычу взял... Другой поседет, покуда рыцарский пояс получит, а его уже князь опоясал... И по справедливости, потому много удалых молодцов среди шляхты, но другого такого, пожалуй, не сыщешь».

И, совсем растрогавшись, он сперва стал озирать доспехи, мечи и секиры, темневшие в дыму, как бы раздумывая, что взять с собой и что дома оставить, а потом вышел вон, потому что неумоготу ему стало в хате сидеть, да и надо было распорядиться, чтобы конюхи смазали телеги и задали лошадям вдвое больше овса.

Во дворе уже спускались сумерки; старику вспомнилась вдруг Ягенка, которая за минуту до этого садилась здесь на коня, и опять его охватила тревога.

— Ехать-то ехать, — сказал он себе, — а кто будет тут защищать ее от Чтана и Вилька? А чтоб их гром разразил!..

Ягенка тем временем ехала с малым Яськом по лесной дороге в Згожелицы, а чех тащился за ними в молчании, и сердце его было переполнено любовью и жалостью... Он видел слезы девушки и, глядя теперь на ее темную фигуру, едва видную в лесном мраке, догадывался, как тоскует она и печалится. И чудилось ему, что из темной чащи вот-вот протянутся к ней хищные руки Вилька или Чтана, и при одной этой мысли его охватывала дикая жажда битвы. Порой эта жажда становилась такой неодолимой, что парню хотелось схватиться за меч или секиру и хоть сосны рубить у дороги. Он чувствовал, что если бы ему побиться до усталости, так стало бы легче. Подумал он было, не пустить ли хоть коня вскачь, да те впереди ехали медленно, нога за ногу, и больше молчали, потому что малый Ясько хоть и был говорлив, но заметил, что сестре не хочется разговаривать, и тоже примолк.

Но когда они подъезжали к Згожелицам, чех перестал уже гневаться на Чтана и Вилька, одна только жалость владела теперь его сердцем. «Да я бы для тебя жизни не пожалел, — говорил он сам с собою, — только бы тебя

утешить, но что же мне делать, несчастному, что сказать тебе? Сказать разве, что велел он поклон тебе передать, может, даст Бог, ты хоть немного утетишься».

Подумав об этом, он подъехал к Ягенке.

— Милостивая панночка...

— Ты едешь с нами? — спросила девушка, словно очнувшись ото сна. — Что скажешь?

— Забыл я, пан мне вот что велел вам передать. Как уезжал я из Спыхова, позвал он меня и говорит: «Упади к ногам панночки из Згожелиц и скажи, что, горька ли иль счастлива будет моя доля, никогда я ее не забуду, а за то, говорит, что она для дяди и для меня сделала, пусть Бог ее наградит и пошлет ей здоровья».

— Спасибо и ему на добром слове, — ответила Ягенка.

Затем она прибавила таким удивительным голосом, что у чеха совсем растаяло сердце:

— И тебе, Глава.

Разговор у них оборвался; но оруженосец был доволен собой и радовался, что сказал панночке такие хорошие слова. «По крайности, — подумал он про себя, — не скажет она, что отплатили ей неблагодарностью». Потом добрый хлопец стал снова раздумывать, что бы ей еще такое сказать.

— Панночка... — заговорил он через минуту.

— Что тебе?

— Да я хотел вам то же сказать, что и старому пану в Богданце говорил: пропала уж та навеки, никогда уж молодому пану ее не найти, хоть бы и сам магистр стал ему помогать.

— Она жена ему, — возразила Ягенка.

Но чех покачал головой:

— Какая там жена...

Ягенка ничего ему не ответила, но дома, после ужина, когда Ясько и младшие братья пошли спать, велела принести братину меду и сказала чеху:

— Надо мне поговорить с тобою, да ты, может, спать хочешь?

Как ни утомился чех от дороги, но с нею готов был проговорить до утра, и они стали беседовать, вернее, он стал сызнова подробно рассказывать ей обо всем, что случилось за это время со Збышком, с Юрандом, с Данусей и с ним самим.

IX

Мацько готовился в путь, а Ягенка два дня не показывалась в Богданце, все держала совет с чехом. Старый рыцарь встретил ее только на третий день, в воскресенье, по дороге в костел. Ягенка ехала в Кшесню с братом Яськом и с целым отрядом вооруженных слуг, она не была уверена, что Чтан и Вильк все еще лежат, и опасалась, как бы они не учинили на нее нападения.

— Я после обедни хотела заехать к вам в Богданец, — сказала девушка, поздоровавшись с Мацьком, — есть у меня к вам спешное дело, а впрочем, мы и сейчас можем потолковать.

Она проехала вперед, не желая, видно, чтобы слуги слышали их разговор, и, когда Мацько поравнялся с нею, спросила:

— Так вы уже наверняка едете?

— Бог даст, не позднее завтрашнего дня.

— В Мальборк?

— То ли в Мальборк, то ли нет. Куда приведется.

— Так послушайте, что я вам скажу. Долго я думала, что мне делать, а сейчас у вас хочу спросить совета. Раньше, когда батюшка был жив и аббат здоров, все было иначе. Чтан и Вильк думали, что я выберу одного из них, и утихомиривали друг дружку. А теперь я останусь безо всякой защиты, и либо мне придется сидеть за острогом в Згожелицах, как в заточении, либо неминуемое дело ждать от них обиды. Ну, скажите сами, разве это не так?

— Что говорить! — сказал Мацько. — Я и сам думал об этом.

— И что же вы надумали?

— Ничего не надумал, одно только должен тебе сказать, что сторона наша польская, и за насилие над девушкой статут сурово карает обидчика.

— Так-то оно так, да ведь через границу тоже легко перейти. Знаю я, что и Силезия польская сторона, а князья вечно там враждуют и друг на дружку учиняют набеги. Не будь этого, мой дорогой батюшка был бы жив. Поналезло уже туда немцев, мутят они там, обиды чинят, и коли хочет кто укрыться у них, так укроется. Не далась бы я легко в руки ни Чтану, ни Вильку, и не за себя, за братьев я боюсь. Не будет меня в Згожелицах, все будет спокойно, а останусь я, так Бог один знает, что тогда может случиться. Начнутся опять набеги да стычки, а Яську четырнадцать лет, и его не только мне, никому уж не удержать. Последний раз, когда вы еще пришли нам на помощь, он уже рвался вперед; Чтан как метнул тогда в

толпу булавой, так чуть парнишке в голову не угодил. Да что там! Ясько слугам сказал, что вызовет Чтана и Вилька на бой на утоптанной земле. Говорю вам, ни днем, ни ночью не будет покоя, ведь и над младшими братьями может стрястись беда.

— Да что ты! Собачьи дети и Чтан, и Вильк, — с живостью сказал Мацько, — но на детей руки не поднимут. Тьфу! Да такое одни только крестоносцы могут учинить.

— На детей они руки не поднимут, но в суматохе, или случись, упаси Бог, пожар, все может статься. Да что толковать! Старая Сецехова любит братьев, как родных детей, присмотрит она за ними и приглядит, а без меня было бы тут безопасней.

— Может быть, — ответил Мацько.

Затем он бросил на девушку быстрый взгляд:

— Чего же ты хочешь?

Он ответила ему, понизив голос:

— Возьмите меня с собой.

Нетрудно было догадаться, что разговор кончится этим, однако Мацько был вне себя от изумления.

— Побойся ты Бога, Ягенка! — воскликнул он, осадив коня.

Она опустила голову и ответила робко и вместе с тем печально:

— Миленький вы мой! Уж лучше мне не таиться, а всю вам правду сказать. И Глава, и вы говорите, что вовек не найти Збышку Дануськи, а чех еще горшей ждет беды. Бог свидетель, я не желаю ей зла. Пусть хранит ее, бедняжку, Матерь Божия. Милей была она Збышку, что ж, ничего не поделаешь! Такая уж моя доля. Но, видите, покуда Збышко ее не найдет, или, как вы думаете, никогда не найдет, то...то...

— То что? — спросил Мацько, видя, что девушка все больше пугается и смущается.

— То не хочу я ни за Чтана, ни за Вилька, ни за кого не хочу выходить.

Мацько удовлетворенно вздохнул.

— А я уж думал, ты его забыла, — сказал он.

А она ответила с еще большей грустью:

— Где уж там!..

— Так чего ты хочешь? Как же мне взять тебя к крестоносцам?

— Зачем непременно к крестоносцам? Я бы сейчас к аббату съездила, он в Серадзе лежит больной. Нету там при нем родной душеньки, скоморохи-то его, верно, больше в братину заглядывают, чем к нему, больному, а ведь он крестный мой и благодетель. Будь он здоров, я бы все равно искала его покровительства, его ведь люди побаиваются.

— Я не стану противиться, — сказал ей Мацько, который в глубине души рад был решению Ягенки. Уж он-то знал крестоносцев и был совершенно уверен в том, что Данусе живой из их рук не вырваться. — Да ведь с девушкой в дороге хлопот не оберешься.

— Может, с другой и не оберешься, только не со мной. Не доводилось мне еще ни с кем биться, но не в диковину мне стрелять из самострела и на охоту ходить. Надо будет, все вынесу, это вы не опасайтесь. Надену я платье Яська, косы уберу под сетку, маленький меч к поясу пристегну и поеду. Ясько моложе меня, но ростом ничуть не ниже, а лицом так на меня похож, что, когда мы с ним, бывало, перерядимся на масленой, так и покойный батюшка не угадает, где он, а где я... Вот увидите, не признают меня ни аббат и никто другой.

— Ни Збышко?

— Коли только я увижу его...

Мацько на минуту задумался, а потом сказал вдруг с улыбкой:

— А Вильк из Бжозовой и Чтан из Рогова, пожалуй, взбесятся!

— И пускай себе бесятся. Хуже, если они за нами поедут.

— Ну, этого-то я не боюсь. Хоть и стар я, но лучше мне под руку не попадаться. Да и прочим Градам тоже!.. Они уж понюхали, чем кулак Збышка пахнет.

За разговором Мацько и Ягенка не заметили, как доехали до Кшесни. В костеле был и старый Вильк из Бжозовой; он то и дело бросал мрачные взгляды на Мацька, но тот не обращал на него внимания. После обедни с легким сердцем возвращался Мацько с Ягенкой домой. Но когда на распустье они попрощались и Мацько, вернувшись в Богданец, остался один, в голову ему полезли уже не такие веселые мысли. Он знал, что, если Ягенка уедет, ни Згожелицам, ни родным ее не будет грозить опасность. «На девушку парни могли бы напасть, — говорил он про себя, — это совсем другое дело, а на сирот и на их имущество они не посягнут, иначе покрыли бы себя несмываемым позором и все жители поднялись бы на них, как на сущих волков. Но вот Богданец останется на произвол судьбы!.. Межи запашут, стада угонят, мужиков переманят!.. Даст Бог, ворочусь, так все отобью, пошлю вызов и в суд подам, потому не один кулак, но и закон правит у нас... Только ворочусь ли я, да и когда ворочусь?.. Уж очень они на меня взъелись за то, что девки им не даю, а коли она уедет со мною, еще пуще взъедятся».

И страх как жалко стало старику Богданца, где он завел уже большое хозяйство; уверен он был, что, вернувшись домой, найдет опять мерзость запустения.

«Ничего не поделаешь! Надо что-то придумать!» — решил старик.

После обеда он велел оседлать коня, сел и поехал прямо в Бжозовую.

Приехал он уже в сумерки. В светлице за жбаном меду сидел старый Вильк, а молодой, избитый Чтаном, лежал на покрытой шкурами лавке и тоже попивал с отцом мед. Мацько вошел неожиданно в светлицу и остановился на пороге, суровый, высокий, костистый, без брони, но с большим мечом на боку. На лицо старика упал яркий отблеск пламени, и отец с сыном тотчас его признали.

Они вскочили с быстротой молнии и, ринувшись к стенам, схватили первое попавшееся оружие.

Однако старик, человек бывалый и отлично знавший людей и обычай, нимало не смутился, даже до меча не дотронулся; подбоченясь, он сказал спокойным голосом, в котором звучала легкая насмешка:

— Что это? Так вот как в Бжозовой шляхта принимает гостей?

У тех и руки опустились, старик со звоном уронил на землю меч, молодой — копье, они замерли, вытянув шеи, и на враждебных, но уже пристыженных лицах их изобразилось удивление.

— Слава Иисусу Христу! — сказал Мацько с улыбкой.

— Во веки веков!

— И Георгию Победоносцу.

— Мы служим ему.

— Я как сосед приехал, с добрыми намерениями.

— Коли с добрыми намерениями, так милости просим. Гость — особа священная.

Тут старый Вильк бросился к Мацьку, за ним кинулся и молодой, оба они стали пожимать гостю руки, а затем усадили его за стол на переднее место. В один миг подбросили они дров в печку, накрыли скатертью стол, уставили его яствами, баклагами пива, жбанами меду, и стали все пировать. Молодой Вильк то и дело бросал на Мацька испытующие взгляды, видно было, что уважение к старику, как к гостю, борется в нем с ненавистью; и все же парень, хоть и ранен был, так усердно прислуживал Мацьку, что даже побледнел от усталости. Оба они с отцом просто сгорали от любопытства, так хотелось им узнать, зачем приехал Мацько; однако они ни словом не обмолвились, ожидая, что старик сам скажет им о цели своего приезда.

А Мацько, как человек, знающий обычай, все похваливал яства и питания и гостеприимных хозяев и, только наевшись до отвала, поглядел с важностью и сказал:

— Случается людям поссориться и даже подраться, но нет ничего

лучше, когда у соседа с соседом лад!

— Нет ничего лучше, — с такой же важностью поддержал его старый Вильк.

— Бывает и так, — продолжал Мацько, — что надо человеку в дальний путь отправляться и жаль ему уехать, не простясь с соседом, с которым он не в ладу жил.

— Спасибо на добром слове.

— Не на одном только слове, я ведь и приехал к вам.

— От души рады вас видеть. Милости просим хоть каждый день.

— Рад бы и принять вас в Богданце, как подобает принимать людей, которые знают, что такое рыцарская честь, да в дорогу тороплюсь.

— На войну или в святые места?

— Да уж лучше бы на войну или в святые места, а то хуже — к крестоносцам.

— К крестоносцам? — в один голос вскричали отец и сын.

— Да! — подтвердил Мацько. — А кто едет к ним, не будучи им другом, тому лучше и с Богом, и с людьми примириться, чтобы не лишиться не только жизни, но и вечного спасения.

— Удивительное дело! — воскликнул старый Вильк. — Не встречал я еще человека, который не терпел бы от них обид и утеснений.

— Так и все наше королевство! — прибавил Мацько. — Ни Литва до святого крещения, ни татары не причиняли нашему королевству столько обид, сколько эти дьяволы-монахи.

— Истинная правда, но только, знаете, терпели мы, терпели, а теперь уж невмочь, пора кончать с ними, да вот так!

И старик плюнул в кулак, а сын прибавил:

— Только так.

— Так-то оно так, да вот когда? Не нашего ума это дело, королю оно виднее. Может, скоро это будет, а может, и не скоро... Один Бог знает, а покуда мне надо ехать к ним.

— Не с выкупом ли за Збышка?

Когда старый Вильк упомянул имя Збышка, сын мгновенно побледнел от ненависти и лицо его приняло враждебное выражение. Но Мацько спокойно ответил:

— Может, и с выкупом, но только не за Збышка.

Любопытство обоих хозяев Бжозовой было еще больше возбуждено.

— Это ваша воля, — не выдержал старик, — сказать или не сказать, зачем вы туда едете.

— Я скажу вам, скажу! — закивал головой Мацько. — Только сперва я

про другое хочу с вами потолковать. Дело-то вот какое, уеду я и оставлю Богданец на произвол судьбы... Раньше, когда мы оба со Збышком воевали под знаменами князя Витовта, за нашим добром аббат приглядывал, да и Зых из Згожелиц, а теперь и того не будет. Тяжело, как подумаешь, что зря ты трудился, зря старался... Вы ведь сами знаете, как оно бывает: людей у меня переманят, межи запашут, всяк, сколько сможет, угонит скотины из стада, и коли приведет Бог благополучно воротиться домой, так воротимся мы опять в разоренное гнездо. Одно тут средство, одно спасение: добрый сосед. Вот и приехал я к вам просить по-добрососедски присмотреть за Богданцем и не дать разорить его.

Старый и молодой Вильки переглянулись в изумлении при этих словах и не нашлись сразу, что ответить. На минуту воцарилось молчание. Мацько поднес к губам чару меду, осушил ее и продолжал так спокойно и доверительно, будто оба они век были его закадычными друзьями:

— Не таясь, скажу я вам, кого я больше всего опасаюсь. Не кого иного, как Чтана из Рогова. Вас бы я не боялся, даже если бы мы расстались с вами врагами, вы люди благородные, лицом к лицу встретитесь с врагом, а за спиной вымещать ему подло не станете. С вами дело совсем другое!.. Рыцарь — он всегда рыцарь! Но Чтан человек простого звания, от него всего можно ждать, да и знаете, очень он зол на меня за то, что не даю я ему подступиться к Ягенке.

— Для племянника ее бережете! — взорвался молодой Вильк.

Мацько с минуту глядел на него холодным взором, а затем обратился к старику и сказал:

— Мой племянник, скажу я вам, женился на одной мазурской владетельнице и взял за нею богатое приданое.

Снова воцарилось еще более глубокое молчание; отец с сыном, разинув рты, уставились на Мацька.

— Как же так? — воскликнул наконец старик. — Ведь болтали, будто бы... Нет, скажите, как же так?..

А Мацько, пропустив мимо ушей его вопрос, продолжал:

— Потому-то и ехать мне надобно, потому-то и прошу я вас, как достойных и почтенных соседей, заглядывайте время от времени в Богданец, не давайте никому бесчинствовать там, особенно же стерегите его от набегов Чтана!..

Молодой Вильк, парень дошлый, успел тем временем сообразить, что раз Збышко женился, а Ягенка доверяет Мацьку и во всем готова следовать его совету, то лучше жить со стариком в дружбе. Перед молодым буяном открылись вдруг новые виды. «Мало не противиться Мацьку, надо

переманить его на свою сторону!» — сказал он себе. И хоть парень был под хмельком, однако тотчас протянул под столом руку и, сжав колено отца, чтобы старик не сболтнул чего лишнего, сказал:

— Вы Чтана не бойтесь! Ого! Пусть только сунется! Правда, он меня немножко помял, но ведь и я так отделал ему волосатую рожу, что его родная мать не признала. Ничего не бойтесь! Езжайте спокойно. Ни одна ворона не пропадет из Богданца!

— Вижу, вы люди достойные. Обещаете?

— Обещаем! — воскликнули оба.

— Рыцарской честью клянётесь?

— Рыцарской честью.

— И гербом?

— И гербом! Мало того! На Кресте клянемся! Истинный Бог!

Мацько удовлетворенно улыбнулся.

— Ну, я знал, что могу на вас положиться. А коли так, тогда я вам еще вот что скажу... Зых, как вы знаете, оставил мне на попечение своих детей. Потому-то я, хлопец, ни тебе, ни Чтану не дал ворваться в Згожелицы. А теперь, когда я буду в Мальборке или еще бог весть где, какое уж там будет попечение... Правда, на сирот Бог призрит, и тому, кто вздумал бы их обидеть, не только сняли бы голову с плеч, но и отдали бы его на посрамление. И все-таки тяжело мне уезжать. Очень тяжело. Обещайте же мне, что и сирот Зыха вы не только сами не обидите, но и другим не дадите в обиду.

— Обещаем! Обещаем!

— Рыцарской честью и гербом клянётесь?

— Рыцарской честью и гербом!

— И на Кресте тоже?

— И на Кресте!

— Бог тому свидетель. Аминь! — завершил Мацько.

И вздохнул с облегчением, зная, что такую клятву они сдержат, даже если ногти себе будут грызть с досады и со злости.

И старик тут же стал прощаться, но Вильки чуть не силком задержали его. Пришлось Мацьку и выпить, и со старым Вильком покумиться; сын же, который во хмелю всегда всех задирает, грозился на этот раз только Чтану, а за Мацьком так усердно ухаживал, будто завтра же должен был получить у него из рук в руки Ягенку. Около полуночи он, однако, обеспамятел от слабости, а когда его привели в чувство, заснул как убитый. Старик вскоре последовал примеру сына, так что Мацько оставил их обоих за столом, погруженных в непробудный сон.

У самого Мацька голова была крепкая, он не был пьян, только под хмельком, и, возвращаясь домой, весело думал о том, какое дельце ему удалось обстряпать.

— Ну-ну! — говорил он сам с собою. — Богданец в безопасности, и Згожелицы в безопасности. Взбесятся они, как дознаются, что Ягенка уехала, а стеречь и ее добро, и мое будут, потому поклялись. Умишком-то Бог меня не обидел!.. Где нельзя кулаком, надо хитростью взять... Ворочусь, так не миновать мне, верно, со стариком биться, ну да это все пустое... Вот бы так и крестоносцев поймать на удочку... Только дело это нелегкое... У нас и напорешься на собачьего сына, так уж если он поклянется тебе рыцарской честью и гербом, то сдержит клятву, а для них клятву дать — все едино что в воду плюнуть. А может, пособит мне Пресвятая Дева и пригожусь я на что-нибудь Збышку, как пригодился сейчас детям Зыха и Богданцу...

Тут старику пришло в голову, что Ягенка могла бы и не ехать, все равно оба Вилька будут стеречь ее пуще глаза. Однако через минуту он отбросил эту мысль: «Вильки будут стеречь, зато Чтан еще больше навяжется. Бог его знает, кто кого победит, но только без набегов да побоищ дело наверняка не обойдется, а от этого могут пострадать Згожелицы, сироты Зыха, да и сама Ягенка. Один Богданец стеречь Вилькам будет легче, а девушке лучше подальше быть от обоих буянов да поближе к богатому аббату». Мацько не верил, что Дануся вырвется живой из лап крестоносцев, и не терял надежды на то, что Збышко вернется когда-нибудь вдовый и тогда непременно поймет, что Ягенка его суженая.

— Эх, Господи Боже мой! — говорил он себе. — Вот бы в придачу к Спыхову да взял бы он еще потом за Ягенкой Мочидолы и все, что оставит ей аббат, — не пожалел бы я круга воску на свечи!

Раздумывая обо всем этом, старик и не заметил, как доехал до Богданца. Была уже поздняя ночь, и он очень удивился, увидев яркий свет в окнах. Слуги тоже не спали, и не успел Мацько въехать во двор, как навстречу ему выбежал конюх.

— Гости у нас, что ли? — спросил старик, слезая с коня.

— Паныч из Згожелиц с чехом, — ответил конюх.

Мацько еще больше удивился. Ягенка обещала приехать на другой день на рассвете, и они тотчас должны были тронуться в путь. Зачем же приехал Ясько, да еще в такой поздний час? Старый рыцарь испугался, не стряслась ли в Згожелицах какая-нибудь беда, и с беспокойством вошел в дом.

Однако в горнице ярко и весело горели смолистые дрова в большой

глиняной печи, которую поставили вместо обычного, сложенного посреди горницы очага, а над столом пылали в железных подставках два факела, при свете которых Мацько увидел Яська, чеха Главу и юного оруженосца с лицом румяным, как яблочко.

— Как живешь-можешь, Ясько? Как там Ягенка? — спросил старый шляхтич.

— Ягенка велела вам сказать, — целуя старику руку, ответил паренек, — что она раздумала и решила остаться дома.

— Побойся Бога! Как же так? Что это ей пришло в голову?

А паренек поднял на него голубые глаза и залился смехом.

— Чего же ты хохочешь?

Но в эту минуту чех и юный оруженосец тоже разразились веселым смехом.

— Вот видите! — воскликнул мнимый паренек. — Кто же меня узнает, коли даже вы не признали?

Только теперь, присмотревшись к красивой фигурке, Мацько воскликнул:

— Во имя Отца и Сына! Прямо тебе ряженный на масленой! Ты, коротышка, чего сюда явилась?

— Как чего?... Кому в путь-дорогу, тому уж пора собираться!

— Да ведь ты завтра на рассвете хотела приехать?

— Как не так! Завтра на рассвете, чтобы все меня видели! Завтра в Згожелицах подумают, что я у вас в гостях, и хватятся меня только послезавтра. Сецехова и Ясько все знают; но Ясько рыцарской честью поклялся, что расскажет обо всем только тогда, когда дома поднимется переполох. А что, не признали вы меня, а?

Тут засмеялся и Мацько.

— Дай-ка я получше рассмотрю тебя... Эх, и хорош мальчишка!.. И совсем особенный, потому и деток от него можно дождаться... Верно говорю! Эх, будь я помоложе! А ты все-таки, девка, берегись, не больно вертись у меня перед глазами! Берегись!..

И он погрозил ей пальцем, смеясь и глядя на нее с восхищением, потому что такого паренька в жизни не видывал. Волосы Ягенка убрала под шелковую красную сетку, надела зеленый суконный полукафтан и штанишки, широкие в бедрах, а внизу совсем узенькие, причем одна штанина была такого же цвета, как сетка, а другая полосатая. На боку у нее висел небольшой меч с богатой насечкой, ясное, как зорька, личико улыбалось, и вся она была так хороша, что глаз от нее нельзя было отвести.

— Боже ты мой! — восклицал повеселевший Мацько. — То ли

красавец князек, то ли цветочек?

Затем он повернулся к другому пареньку:

— Ну а этот?.. Тоже ряженный?

— Да ведь это дочка Сецеховой, — ответила Ягенка. — Нехорошо мне быть одной среди вас, не так ли? Вот я и взяла с собой Анульку, вдвоем все-таки веселее, да и поможет она мне, и прислужит. Ее тоже никто не признает.

— Вот тебе, бабушка, и свадьба! Мало было одной, на тебе две!

— Не смейтесь.

— Да я не смеюсь, но только днем-то вас всякий признает.

— Это почему же?

— Коленки вместе держишь, да и она тоже.

— Перестаньте!

— Я-то перестану, мое время прошло, а вот перестанут ли Чтан с Вильком, это одному Богу ведомо. Знаешь ли ты, стрекоза, откуда я возвращаюсь? Из Бжозовой.

— Господи! Да что вы говорите?

— Правду говорю! А что Вильки будут охранять от Чтана и Богданец, и Згожелицы — это тоже правда. Ну! Легко вызвать врагов на бой и сразиться с ними, но сделать их хранителями твоего же добра — это тебе не всякий сумеет.

И Мацько стал рассказывать, как он посетил Вильков, как привлек их на свою сторону и поймал на удочку, а Ягенка слушала в изумлении, когда же он наконец кончил, сказала:

— Вам хитрости не занимать стать; думаю, что всегда все будет по-вашему.

Но Мацько грустно покачал головой:

— Эх, милая, кабы всегда было по-моему, так ты бы давно уже была хозяйкой в Богданце.

Ягенка поглядела на старика голубыми глазами, затем подошла к нему и поцеловала в руку.

— Что это ты меня чмокаешь? — спросил старик.

— Да нет, ничего!.. Спокойной ночи, поздно уже, а завтра нам на рассвете в путь.

И, захватив с собой Анульку, Ягенка ушла, а Мацько провел чеха в боковушку, они улеглись там на зубровых шкурах и уснули крепким здоровым сном.

После того как крестоносцы в тысяча триста тридцать первом году предали Серадз огню и мечу и сровняли его с землей, Казимир Великий отстроил город, однако он не был уже так великолепен и не мог идти в сравнение с другими городами королевства. И все же Ягенка, жизнь которой текла до сих пор между Згожелицами и Кшесней, просто потрясена была, когда взору ее открылись стены, башни, ратуша и особенно костелы, каких она, выдавая один кшесенский деревянный костел, и представить себе не могла. Куда девалась вся ее бойкость, в первую минуту девушка не решалась даже громко заговорить и только шепотом расспрашивала Мацька обо всех чудесах, которые ее ослепили; когда же старый рыцарь стал уверять ее, что Серадзу так же далеко до Кракова, как обыкновенной головешке до солнца, она ушам своим не верила, ей казалось совершенно немыслимым, чтобы где-то на свете мог быть еще другой такой великолепный город.

В монастыре их принял тот самый дряхлый приор, который с детских лет помнил резню, учиненную в городе крестоносцами, и недавно принимал у себя Збышка. Вести об аббате очень огорчили и обеспокоили их. Он долго жил в монастыре; но две недели назад уехал к своему другу, епископу плоцкому. Старик все хворал. Днем ему бывало получше, но по вечерам он впадал в беспамятство, срывался с постели, приказывал, чтобы на него надели панцирь, и вызывал на бой князя Яна из Рацибора. Причетникам приходилось силой удерживать его в постели, это было нелегко, а порой даже опасно для них. Только недели две назад аббат совсем пришел в себя и, хотя еще больше ослаб, велел, однако, немедленно везти его в Плоцк.

— Он говорил, что никому так не доверяет, как епископу плоцкому, — кончил свой рассказ приор, — и хочет из его рук принять святое причастие, да и духовную ему оставить. Аббат был очень слабым, и мы всячески уговаривали его не ехать, опасаясь, что он и мили не проедет, кончится. Но разве его уломаешь! Положили скоморохи сена на повозку и увезли его — дай Бог, в добрый час.

— Если бы старик умер где-нибудь неподалеку от Серадза, вы бы об этом прослышали, — заметил Мацько.

— Непременно прослышали бы, — ответил старичок. — Потому мы и думаем, что не умер он, и, уж во всяком случае, до Ленчицы не отдал Богу

душу; но что дальше могло с ним приключиться, этого мы не знаем. Коли вы следом за ним поедете, так узнаете по дороге.

Мацько, очень встревоженный этими вестями, направился на совет к Ягенке, которой чех уже сказал, куда уехал аббат.

— Что же делать? — спросил старик. — Как быть с тобой?

— Вы поедете в Плоцк, и я с вами, — коротко ответила девушка.

— В Плоцк! — тоненьким голоском повторила за нею Анулька.

— Нет, вы только послушайте их! Так-таки в Плоцк, будто туда рукой подать?

— Ну а как же мне возвращаться одной с Анулькой? Уж коли мне дальше нельзя ехать с вами, так лучше было совсем не уезжать. А вы подумали о том, что те еще больше осердились и взъелись там на меня?

— Вильки тебя оборонят от Чтана.

— Я их обороны так же боюсь, как набега Чтана, да и вижу, что вы так только противитесь, лишь бы противиться.

Мацько и впрямь притворялся. Он предпочитал, чтобы Ягенка ехала с ним; поэтому, улыбнувшись на ее слова, старик сказал:

— Юбку скинула и куда как умна стала!

— Ум-то не где-нибудь, а в голове.

— Да ведь мне в Плоцк не по дороге.

— А чех говорил, что по дороге, а коли в Мальборк ехать, так через Плоцк еще ближе.

— Так вы уже с чехом совет держали?

— А как же! Он нам еще вот что сказал: коли, говорит, молодой пан попал в Мальборке в беду, так через княгиню Александру плоцкую можно много сделать, она ведь родная сестра королю, да и с крестоносцами в большой дружбе, они очень ее уважают.

— А ведь правда, ей-ей, правда! — воскликнул Мацько. — Все про то знают, и пожелай она только дать письмо к магистру, так мы бы в полной безопасности разъезжали по всем землям крестоносцев. Они ее любят, да и она их любит... Это дельный совет, и твой чех — неглупый парень!

— Еще какой неглупый! — пылко воскликнула Анулька, подняв к небу свои лазоревые глазки.

Мацько вдруг повернулся к ней:

— А ты чего?

Девушка страшно смутилась и, опустив длинные ресницы, зарумянилась, как роза.

Мацько видел, что нет другого выхода, надо брать с собой обеих девушек, да в душе он и рад был этому, так что на другой день,

простившись со старичком приором, все тронулись снова в путь. Ехать было теперь труднее, — снег уже таял и начинался разлив. По дороге путники расспрашивали везде про аббата; они побывали во многих шляхетских усадьбах, у ксендзов, а то и просто в корчмах, где аббат останавливался на ночлег. Легко было ехать по его следу, старик щедро раздавал милостыню, заказывал обедни, жертвовал на колокола, оказывал помощь обедневшим костелам, так что не один нищий, просивший подаяния, не один костельный служка и даже ксендз вспоминал о нем с благодарностью. Всюду говорили, что «он ехал, как ангел», и всюду молились за его здоровье, хотя многие высказывали опасение, что не жилец уж он на свете. В некоторых местах аббат по причине большой слабости останавливался на два-три дня отдохнуть. Мацьку казалось, что они в самом деле могут догнать старика.

Однако он ошибся в своих расчетах, их задержали воды Нера и Бзуры. Не доезжая до Ленчицы, путники целых четыре дня вынуждены были просидеть в пустой корчме, брошенной хозяином, который, видно, опасался наводнения. Хотя дорога от корчмы до города была вымощена бревнами, однако ее на большом протяжении залило водой, и она превратилась в болото. Слуга Мацька Вит сам был родом из этих мест и слышал, что через болота в лесах есть проходы, но не хотел вести путников, так как знал, что в ленчицких болотах нечисто, что живет там могущественный Борута, который заманивает людей в бездонную трясику, а потом спасает их, если только несчастные продадут ему свою душу. Да и сама корчма пользовалась худой славой, и, хотя в те времена путешественники возили с собой всякий припас и не боялись поэтому голода, все же пребывание в таком месте пугало даже старого Мацька.

По ночам путники слышали какую-то возню на крыше корчмы, а порой кто-то стучался в дверь. Ягенка и Анулька спали в боковушке, рядом с большой горницей, и слышали в темноте шорох маленьких ножек. Это их не очень пугало, обе они в Згожелицах привыкли уже ко всякой нежити; старый Зых в свое время приказывал ее подкармливать, и, по тогдашним верованиям, она не вредила тем, кто не жалел для нее крошек. Но однажды ночью неподалеку от корчмы раздался в лесной чаще глухой и грозный рев, а на другой день на болоте были обнаружены следы чудовищных копыт. Это мог быть зубр или тур, но Вит уверял, что это сам Борута, образ, мол, у него человека, даже шляхтича, но вместо ступней копыта, а сапоги, в которых он показывается среди людей, он из бережливости на болоте снимает. Мацько, дознавшись, что Боруту можно задобрить хмельным, целый день раздумывал, не грех ли это будет — заручиться поддержкой

нечисти, и даже советовался об этом с Ягенкой.

— Повесил бы я на ночь на плетне воловий пузырь с вином или медом, — говорил ей старик, — и коли ночью кто-нибудь выпил бы, так мы бы по крайности знали, что бродит он тут.

— Как бы не оскорбить силы небесные, — ответила девушка, — нам ведь ихнее благословение надобно, чтобы удалось спасти Збышка.

— Да вот и я того же боюсь, ну а ежели пораздумать, так ведь мед — это не душа. Души я не дам, а что для небесных сил один пузырь меда!

Тут он понизил голос и прибавил:

— Это ведь обыкновенное дело, когда шляхтич угощает шляхтича, пусть самого отчаянного головореза, а люди толкуют, будто он шляхтич.

— Кто? — спросила Ягенка.

— Не хочу поминать нечистого.

Однако в тот же вечер Мацько собственноручно повесил на плетне огромный воловий пузырь, в каких обычно возили напитки, а на другой день оказалось, что пузырь выпит до дна.

Правда, чех, когда об этом шел разговор, как-то странно улыбался; но никто на него не обратил внимания, а Мацько в душе радовался и надеялся, что уж теперь-то, когда придется переправляться через болота, на пути их не ждут никакие неожиданные препятствия и случайности.

— Разве только врут, будто знает он, что такое честь, — говорил он себе.

Впрочем, надо было прежде всего разведать, нельзя ли как-нибудь пробраться через болота лесом. Это было вполне вероятно, так как там, где грунт укреплен корнями деревьев и кустов, дожди не так легко размывают землю. Легче всего поискать проход было Биту, уроженцу здешних мест, но не успел Мацько заикнуться об этом, как тот закричал: «Хоть убейте, пан, не пойду!»; напрасно ему толковали, что нежить днем теряет свою власть. Мацько решил уже было сам пойти; но дело кончилось тем, что Глава, парень смелый, любивший показать людям и особенно девушкам свое удалство, сунул за пояс секиру, взял в руки палку и ушел.

Ушел Глава затемно, и ждали его к полудню, однако он не появлялся, и все стали тревожиться. Напрасно после полудня слуги все прислушивались, не раздадутся ли в лесу его шаги. Вит только рукой махал: «Не воротится, а коли и воротится, так на наше же горе, потому Бог один знает, не с волчьей ли мордой, оборотит его нечистая сила в вурдалака!» Все пугались, слушая его речи, Мацьку и то было не по себе, а Ягенка все повертывалась к лесу и осеняла его крестом. Анулька тщетно искала передник на своих обтянутых штанишками коленках, нечего было

ей прижать к глазам, прижимала она пальцы, и они тотчас становились у нее мокрыми от слез, которые катились одна за другой по щекам.

Однако в час вечерней дойки, когда солнце клонилось к закату, чех вернулся, да не один, а с каким-то человеком, которого он гнал впереди на веревке. Все выбежали навстречу ему с радостными криками, но смолкли при виде этого человека, черного, низенького, косолапого и заросшего, одетого в волчьи шкуры.

— Во имя Отца и Сына, что это за чудище ты приволок? — воскликнул, опомнившись, Мацько.

— Мне-то что! — ответил оруженосец. — Говорит, что человек он и смолокур, а правда ли, не знаю.

— Ох, не человек он, не человек! — крикнул Вит.

Но Мацько велел ему замолчать, пристально поглядел на пленника и вдруг сказал:

— Ну-ка, перекрестись! Сейчас же перекрестись!..

— Слава Иисусу Христу! — воскликнул пленник и, скоренько перекрестившись, вздохнул с облегчением, доверчиво на всех поглядел и повторил: — Слава Иисусу Христу! Я ведь тоже не знал, то ли в христианские руки попал, то ли к самому дьяволу. О Господи!..

— Не бойся. Ты среди христиан, которые усердно молятся Богу в костеле. Кто ты такой?

— Смолокур, милостивый пан, будник. Семеро нас в будах с бабами и детьми.

— Далеко ли отсюда?

— Да с полверсты.

— А как же вы в город ходите?

— У нас своя дорога, за Чертовым логом.

— За Чертовым? Ну-ка, перекрестись еще раз.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь!

— Ну ладно, а телега по этой дороге проедет?

— Теперь везде грязь, но там не так, как на большой дороге, потому в логу ветер дует и сушит болото. Вот только до Буд плохо, но кто знает лес, тот потихоньку и до Буд доведет.

— За скоец проведешь? Ну, не за один, так за два!

Смолокур охотно согласился, только выпросил еще полкаравая хлеба — они в лесу хоть и не умирали с голоду, но хлеба уж давно не видали. Порешили выехать на другой день рано поутру, так как под вечер в лесу было «нечисто». Смолокур говорил, что Боруа порой очень в бору «бесится»; но людей простых не обижает и, оберегая от другой нежити

свое ленчицкое княжество, гоняет ее по бору. С ним только ночью нехорошо встретиться, особенно если человек под хмельком, а днем, да трезвому, его нечего бояться.

— А все-таки ты боялся? — спросил Мацько.

— Да ведь этот рыцарь схватил меня так неожиданно и крепко, что я думал, он не человек.

Тут Ягенка стала смеяться над тем, что все они приняли за «нечистого» смолокура, а он почел «нечистыми» их. Смеялась с нею и Ануля, да так, что Мацько сказал ей:

— У тебя еще слезы по Главе не обсохли, а ты уже зубы скалишь.

Чех поглядел на ее розовое личико, увидел ее мокрые ресницы и спросил:

— Это вы обо мне плакали?

— Нет, — ответила девушка, — я только боялась.

— Ведь вы шляхтянка, а шляхтянке стыдно бояться. Ваша пани не такая трусиха. Что худого могло с вами случиться, днем, среди людей?

— Со мной ничего, а вот с вами...

— Ведь вы говорите, что плакали не обо мне?

— Не об вас.

— О чем же вы плакали?

— Я от страха плакала.

— А теперь вы не боитесь?

— Нет.

— Отчего же?

— Ведь вы вернулись.

Чех посмотрел на нее с благодарностью и сказал улыбаясь:

— Так мы с вами до утра можем говорить. Уж больно вы хитры.

Но ее можно было обвинить в чем угодно, только не в хитрости, и Глава, парень лукавый, отлично это понимал. Он понимал и то, что девушка с каждым днем все больше льнет к нему. Сам он любил Ягенку, но так, как подданный любит королеву, смиренно и почтительно, однако без всякой надежды. А тем временем в дороге он все больше сближался с Анулькой.

Старый Мацько ехал обычно впереди с Ягенкой, а за ними чех с Анулей; Глава был парень могучий, как тур, кровь в нем играла, и когда по дороге он поглядывал на ясные глазки Анули, на светлые прядки волос, выбивавшиеся у девушки из-под сетки, на всю ее стройную, ладную фигурку, и особенно на чудные, точеные ноги, которые охватывали бока вороного, его в дрожь кидало. Все чаще заглядывался он на все эти

совершенства, невольно думая, что, если бы дьявол оборотился таким мальчишкой, то легко довел бы его до искушения. К тому же это был мальчишечка сладкий как мед, послушный такой, что только в глаза заглядывал, угадывая его желания, и веселый, как воробей на крыше. Иногда чеху приходили странные мысли в голову, и однажды, когда они с Анулей немного отстали и поравнялись с вьючными лошадьми, он вдруг повернулся к девушке и сказал:

— Еду я, знаете, подле вас, как волк подле ягненка.

А у нее только белые зубки сверкнули в милой улыбке.

— Вам хочется меня съесть? — спросила она.

— Да еще как! С косточками!

Он бросил на Анулю такой взгляд, что она зарумянилась, потом оба они смолкли, только сердца у них бились — у него от страсти, у нее же от сладкого, пьянящего страха.

Но вначале страсть подавляла у чеха нежное чувство, и он правду говорил Анульке, что глядит на нее, как волк на ягненка. Только в тот вечер, когда он увидел ее мокрые от слез щечки и ресницы, сердце его растаяло. Она показалась ему доброй, родной и близкой; он и сам по натуре был парень хороший, настоящий рыцарь, поэтому не только не возомнил о себе, увидев эти сладостные слезы, но стал робким и более внимательным к ней. В разговоре он не был уже развязен, и хотя за ужином иногда еще посмеивался над робостью девушки, но уже иначе, и притом служил ей так, как оруженосец рыцаря должен служить шляхтянке. Хотя старый Мацько думал главным образом о завтрашней переправе и о дальнейшем путешествии, однако он это заметил и похвалил Главу за хороший обычай, которому он, как говорил старик, научился, наверно, у Збышка при мазовецком дворе.

Тут он обернулся к Ягенке и прибавил:

— Эх, Збышко!.. Он и у короля нашелся бы!

После ужина, когда все стали расходиться, Глава поцеловал руку Ягенке, а потом поднес к губам и руку Анульки.

— Вы за меня не бойтесь, — сказал он девушке, — да и при мне ничего не бойтесь, я вас никому не дам в обиду.

Мужчины после ужина легли спать в горнице, а Ягенка с Анулькой в боковушке вдвоем на широкой и мягкой постели. Девушкам что-то не спалось, особенно Ануля все ворочалась на своей холщовой простыне. Через некоторое время Ягенка придвинулась к ней и шепнула:

— Ануля?

— Что тебе?

— Что-то... сдается мне, что тебе очень по сердцу чех... Правда ведь?
Ответа не последовало, тогда Ягенка снова зашептала:

— Я ведь понимаю... Ты скажи мне...

Ануйка не ответила и на этот раз, только прижалась губами к щеке Ягенки и осыпала свою госпожу поцелуями.

У бедной Ягенки девичья грудь стала вздыматься от вздохов.

— Ах, понимаю я тебя, понимаю! — шепнула она так тихо, что Ануля с трудом уловила ее слова.

День после мгливой, теплой ночи встал ветреный, на дворе то прояснялось, то снова хмурилось, когда по небу, гонимые ветром, проносились стаи туч. Мацько велел выступать с рассветом. Смолокур, который взялся довести путников до Буд, уверял, что лошади пройдут всюду, но повозки кое-где придется разбирать и переносить по частям, да и лубяные короба с одеждой и припасом тоже придется перетаскивать на руках. Это было хлопотное и нелегкое дело; но закаленные, привычные к труду люди, чем сидеть сложа руки в пустой корчме, предпочли бы самую тяжелую работу и поэтому охотно двинулись в путь. Перестал бояться даже ободренный смолокуром трусливый Вит.

Сразу же за корчмой путники углубились в высокоствольный чистый лес, где, умело правя лошадьми, можно было подвигаться вперед, даже не разбирая телег. Ветер то затихал, то налетал порывами с неслыханной силой, точно хлопая огромными крыльями по ветвям стройных сосен, пригибая к земле, ломая и выворачивая их и крутя вершины, словно крылья ветряной мельницы; лес гнулся под неистовым дыханием бури и даже в минуту затишья не переставал шуметь, словно негодуя на такой налет ветра и такое насилие. Тучи по временам совсем заслоняли дневной свет; сек дождь вперемешку со снежной крупой, и становилось так темно, словно надвигались вечерние сумерки. Тогда Вит снова терял присутствие духа и кричал, что «нечистая сила осердилась и не дает им идти»; но его никто не слушал, даже пугливая Ануля не принимала близко к сердцу его слов: ведь чех был так близко, что она могла коснуться стремянем его стремени, и так смело глядел вперед, будто хотел вызвать на единоборство самого дьявола.

За высокоствольным бором начиналась лесная дрема, а там глухая чаща, где совсем нельзя было проехать. Пришлось разобрать повозки, что было сделано с большой ловкостью и быстротой. Крепыши слуги перенесли на плечах колеса, дышла и передки, а затем перетаскали узлы и припасы. Такого бездорожья оказалось всего каких-нибудь четверть версты, и все же путники добрались до Буд только к вечеру. Смолокуры радушно приняли их и заверили, что по Чертову логу, вернее — вдоль него, можно добраться до города. Эти люди, привыкшие к лесу, редко видали хлеб и муку, но не страдали от голода. У них было вдосталь копченого мяса и особенно много копченых пескарей, все болота кругом кишели пескарями. Смолокуры щедро угощали ими прибывших, а сами жадно тянулись за

лепешками. Среди них были женщины и дети, черные от смолистого дыма; был также один старый крестьянин, который прожил уже более ста лет и помнил еще ленчицкую резню 1331 года, когда крестоносцы до основания разрушили город. Мацько, чех и обе девушки слышали уже подобный рассказ от приора в Серадзе, и все же они с любопытством слушали старика, который, сидя у костра и шевеля угли, казалось, шевелил и страшные воспоминания своей молодости. Да! В Ленчице, как и в Серадзе, не пощадили даже церквей и священников, и кровь стариков, женщин и детей лилась под ножами захватчиков. Крестоносцы, вечно крестоносцы! Все думы Мацька и Ягенки летели к Збышку, который находился теперь в волчьей пасти, среди враждебного племени, не ведающего ни жалости, ни законов гостеприимства. У Анули сердце замирало при мысли, что и им придется, быть может, гонясь за аббатом, заехать туда, где живут эти жестокие люди...

Но старик стал потом рассказывать о битве под Пловцами, положившей конец набегу крестоносцев; он участвовал в этой битве с железным чеканом в руках в пешем отряде, выставленном крестьянской общиной. В этой битве погиб почти весь род Градов, так что Мацько знал о ней досконально, однако сейчас и он будто впервые слушал рассказ о страшном разгроме немцев, когда они, словно нива под напором ветра, полегли под мечами польского рыцарства, побежденные могущественным королем Локотком...

— Да! Я все помню, — говорил старик. — Набежали они, пожгли города и замки, детей и тех резали в колыбелях; но пришла и для них черная година. Эх! И жаркая битва была! Только закрою глаза, так и вижу поле...

Он закрыл глаза и надолго умолк, шевеля только тихонько угли в костре, пока наконец Ягенка, не дождавшись продолжения рассказа, спросила в нетерпении:

— Как же это все было?

— Как это все было? — переспросил старик. — Помню я поле, будто сейчас его вижу: оно поросло кустами, справа тянулось болото да клочок стерни — так, клин небольшой. Но после битвы не стало видно ни кустов, ни стерни, ни болота — одно только оружие, мечи, секиры, копья да груды отменных доспехов, словно кто ими всю святую землю прикрыл... Отродясь не видывал я столько убитых и таких рек людской крови...

Мацько от этих воспоминаний снова воодушевился.

— Правда! — воскликнул он. — Велик Бог милостию! Они тогда обратили в пепел наше королевство, как чума прошли по нашей земле.

Разрушили не только Серадз и Ленчицу, но и много других городов. И что же? Живуч наш народ, и сила у него великая. Хоть ты, тевтонский пес, и схватишь его за горло, да задушить не сможешь, а он тебе еще зубы выбьет... Поглядите только, как отстроил король Казимир и Серадз, и Ленчицу: они еще краше стали, и съезды собираются там по-старому, а крестоносцы, как разбили их под Пловцами, так и лежат там да гниют. Дай-то, Господи, чтоб им всегда такой был конец!

Старый мужик сперва одобрительно кивнул головой, но потом сказал:

— Нет, не лежат там и не гниют. После битвы повелел король пешим воинам копать рвы, помочь нам пришли и окольные мужики, рыли мы так, что только лопаты звенели. Уложили мы потом немцев во рвы и засыпали для порядка, чтоб не пошла от них какая зараза; но только они там не остались.

— Как так не остались? Что же с ними приключилось?

— Сам я этого не видал, скажу только, что люди потом говорили. Разыгралась после битвы неистовая буря, и двенадцать недель бушевала она, да все по ночам. Днем солнышко сияет, а ночью ветер так и рвет. Это целые тучи чертей кружили в вихре, да все с вилами; подлетит черт, тык вилами в землю, подденет крестоносца да в пекло его и тащит. Народ в Пловцах такой шум слышал, будто целые стаи собак выли, никто только понять не мог, немцы ли это выли со страху и с горя или черти от радости. И так было до той самой поры, покуда ксендзы не освятили ров и покуда земля под новый год не замерзла так, что в нее и вилы не всадишь.

Он умолк, а немного погода прибавил:

— Дай-то, Господи, пан рыцарь, такой конец им, как вы сказали, и хоть я до этого не доживу, да доживут такие парнишки, как эти вот двое, и не увидят они того, что видели мои глаза.

И он стал любоваться то на Ягенку, то на Анульку, дивясь чудным их личикам.

— Словно маки в хлебах, — сказал он, качая головой, — таких я еще не видывал.

За беседой прошла часть ночи, а там все улеглись спать в будах на мохе, мягком, как пух, и покрытом теплыми шкурами. А на другой день, когда богатырский сон укрепил их члены и совсем уже рассвело, путники двинулись дальше. Правда, дорога вдоль лога была нельзя сказать чтобы легкая, но, впрочем, не такая уж и трудная, так что еще до захода солнца путники увидели ленчицкий замок. Город был вознесен из пепла, частью отстроен из красного кирпича и даже камня. Стены были высокие, защищенные башнями, костелы еще великолепнее, чем в Серадзе. У

доминиканцев путники легко разузнали про аббата. Он был в Ленчице, говорил, что ему лучше, что он надеется выздороветь, и несколько дней назад отправился дальше. Мацьку не было теперь надобности непременно догонять аббата, он все равно решил везти девушек в Плоцк, куда повез бы их и аббат; но старый рыцарь спешил к Збышку и потому очень обеспокоился, узнав о том, что уже после отъезда аббата вода в реках так поднялась, что ехать дальше было нельзя. Рыцарю со столь значительной свитой, направлявшемуся, по его словам, к князю Земовиту, доминиканцы оказали радушный прием и на дорогу снабдили даже оливковой дощечкой, на которой была начертана по-латыни молитва архангелу Рафаилу, покровителю путешественников.

Две недели продолжалось вынужденное пребывание путников в Ленчице; один из оруженосцев замкового старосты обнаружил за это время, что у проезжего рыцаря оруженосцы — девушки, и тут же без памяти влюбился в Ягенку. Чех хотел тотчас вызвать его на бой на утоптанной земле, но все это произошло накануне отъезда, и Мацько отсоветовал Главе драться.

Когда они тронулись в путь, ветер уже подсушил дорогу. Правда, часто выпадали дожди, но, как всегда весной, они быстро проносились. Это были теплые и бурные ливни, пришла уже настоящая весна. На полях сверкали в бороздах светлые полосы воды, при каждом дуновении ветра от пашен тянуло прелью. Болота покрылись желтоголовниками, в лесах расцвели подснежники, малиновки весело звенели в ветвях. Путники ощутили прилив новой бодрости и надежды, ехали они хорошо и через шестнадцать дней остановились у ворот Плоцка.

Однако уже спустилась ночь, городские ворота были заперты, и путникам пришлось переночевать у ткача за городской стеной. Девушки легли поздно и после трудного и долгого путешествия уснули крепким сном. Как только отворили ворота, Мацько, который не знал устали, не стал будить их и сам отправился в город; он легко отыскал кафедральный собор и епископский дом, где ему первым делом сообщили, что аббат неделю назад умер.

Умер он неделю назад; но, по тогдашним обычаям, у гроба в течение шести дней служили панихиды, так что хоронить аббата должны были только сегодня, а после похорон должны были править тризну.

Разогорченный Мацько не стал даже осматривать город, с которым он, впрочем, успел немного познакомиться, когда ездил с письмом от княгини Александры к великому магистру, и поспешил за ворота города, к дому ткача.

«Да, помер, Царство ему Небесное! — рассуждал по дороге старик. — Тут уж ничего не поделаешь; но как же мне быть теперь с девчонками?»

И он стал раздумывать, оставить ли их у княгини Александры или княгини Анны Дануты или уж лучше отвезти в Спыхов. Все думалось ему по дороге, что, если Дануси нет в живых, не худо было бы Ягенке быть поближе к Збышку. Он не сомневался, что Збышко долго будет тосковать по той, которую любил больше всех, долго будет ее оплакивать, но не сомневался и в том, что такая девушка, как Ягенка, под боком у парня свое дело сделает. Помнил он, что хоть рвалась душа Збышка через леса и боры в Мазовию, но при Ягенке его всегда брала истома. По этой причине Мацько, твердо уверенный в том, что Дануська погибла, не раз подумывал, что в случае смерти аббата Ягенку никуда усылать не следует. Но жаден был старик до земных благ и поэтому не мог не думать и о наследстве, оставшемся после аббата. Правда, аббат на них разгневался и грозился ничего им не оставить, ну а вдруг он перед смертью раскаялся? Он оставил что-то Ягенке, в этом не было никакого сомнения, он и сам не раз говорил об этом в Згожелицах; а через Ягенку наследство, может статься, и так не минует Збышка. И все же Мацько так и подмывало остаться в Плоцке, обо всем поразведать и заняться всем этим делом; однако он тотчас подавил в себе это желание. «Я тут буду об имениях хлопотать, — думал он, — а мой хлопец, может, руки протягивает ко мне из тевтонского подземелья, спасения ждет от меня». Был, правда, один выход: оставить Ягенку на попечении княгини и епископа с просьбой присмотреть, чтобы девушку не обидели, если аббат ей что-нибудь оставил. Но не очень-то это понравилось Мацьку. «У девчонки и без того богатое приданое, — думал он, — а ежели она получит еще наследство после аббата, то, как Бог свят, подхватит ее какой-нибудь мазур, да и она долго устоять не сможет, ведь еще покойный Зых говорил, что и тогда девка была огонь огнем». И испугался старый рыцарь, что Збышко может тогда остаться и без Дануси, и без Ягенки, а об этом он и думать не хотел.

«Какая ему от Бога назначена, пусть та его и будет, но одна должна ему достаться».

В конце концов он решил прежде всего спасти Збышка, а Ягенку, если уж непременно надо будет с нею расстаться, оставить либо в Спыхове, либо у княгини Дануты, только не в Плоцке, где двор был гораздо более блестящим и где было много красивых рыцарей.

Погруженный в эти мысли, Мацько быстрым шагом шел к дому ткача, чтобы сообщить Ягенке о смерти аббата, а сам в душе давал себе слово сразу ей этого не говорить, чтобы от неожиданной и притом печальной

вести дыхание не сперло в груди у девушки, отчего она впоследствии могла остаться бесплодной. Когда он пришел домой, обе девушки уже были одеты, даже принаряжены и веселы, как птички. Усевшись на скамейку, Мацько велел ученикам ткача принести миску подогретого пива, нахмурил и без того суровое лицо и сказал:

— Слышь, как в городе звонят? Угадай-ка, почему такой звон, нынче ведь не воскресенье, а утрению ты проспала. Хочешь видеть аббата?

— Конечно, хочу, — ответила Ягенка.

— Не видать тебе его как своих ушей.

— Неужто он дальше поехал?

— Как же, поехал! Разве не слышишь, что звонят?

— Помер? — вскричала Ягенка.

— Помолись за упокой души его.

Ягенка и Анулька тотчас опустились на колени и звонкими, как колокольчики, голосами начали читать заупокойную молитву. Слезы текли ручьем по лицу Ягенки, она очень любила аббата, который хоть и был горяч, но никому не причинял зла, а добро творил обеими руками и ее, свою крестницу, любил, как родную дочь. Мацько вспомнил, что аббат и ему со Збышком сродни, и тоже растрогался и всплакнул, а когда от слез им стало легче, взял с собой чеха и обеих девушек и отправился в костел на отпевание.

Похороны были пышные. Погребальное шествие открывал сам епископ Якуб из Курдванова, были все священники и монахи плоцких монастырей, звонили во все колокола, произносили надгробные слова, которых никто не понимал, кроме духовенства, так как произносили их полатыни, а затем и духовенство, и миряне отправились к епископу на богатую тризну.

Пошел на тризну и Мацько в сопровождении двоих оруженосцев, на что он как родственник покойного и знакомый епископа имел неоспоримое право. Епископ и принял его, как родственника покойного, с почетом и радушием и после первых же приветствий сказал:

— Вам, Градам из Богданца, завещаны леса, а все прочее, что не отписано монастырям и аббатству, оставлено крестнице аббата, некой Ягенке из Згожелиц.

Мацько на многое не рассчитывал и рад был и лесам. Епископ не заметил, что один из оруженосцев старого рыцаря при упоминании об Ягенке из Згожелиц поднял к небу голубые, как васильки, глаза, увлажненные слезами, и проговорил:

— Да вознаградит его Бог, но я бы хотела, чтобы он был жив.

Мацько повернулся к оруженосцу и сердито сказал:

— Помолчи, а то осрамишься.

И вдруг оборвал речь, глаза его сверкнули изумлением, лицо посуровело и стало совершенно волчьим: совсем недалеко, у двери, в которую в это время входила княгиня Александра, Мацько увидел склонившегося в изысканном придворном поклоне того самого Куно Лихтенштейна, из-за которого в Кракове едва не погиб Збышко.

Ягенка никогда в жизни не видела Мацька в такой ярости: лицо его перекосилось, оскаленные, точно у злой собаки, зубы блеснули из-под усов, в мгновение ока он повернул наперед пояс и двинулся к ненавистному крестоносцу.

Однако на полпути старый рыцарь остановился и провел широкой рукой по волосам. Он вовремя вспомнил, что при плоцком дворе Лихтенштейн может быть только гостем или, что еще вероятнее, послом, и если он, невзирая ни на что, вздумает напасть на крестоносца, то поступит так же, как Збышко на пути из Тынца.

Старый рыцарь был более рассудителен и опытен, чем Збышко, он укротил свой гнев и повернул назад пояс. Придав приятное выражение своему лицу, он выждал, пока княгиня поздоровается с Лихтенштейном, и заговорил с епископом Якубом из Курдванова, а затем приблизился к ней и с низким поклоном напомнил о себе, заявив, что почитает ее своей благодетельницей за то письмо, которым она его когда-то снабдила.

Княгиня смутно помнила его лицо, но о письме и обо всем деле не забыла. Она тоже знала о событиях, происшедших при соседнем мазовецком дворе, слыхала и про Юранда, и про похищение его дочери, и про свадьбу Збышка, и про смертельный поединок его с Ротгером. Все это было ей ужасно любопытно, как рыцарский роман или одна из тех песен, которые в Германии распевали миннезингеры, а в Мазовии гудочники. Правда, крестоносцы не были ей так ненавистны, как жене Януша, Анне Дануте, особенно потому, что они, стремясь привлечь ее на свою сторону, не скупились на почести и лесть и щедро осыпали ее дарами; но в этом случае сердце ее было на стороне влюбленных. Она готова была помочь им и очень была рада видеть человека, который мог подробно рассказать ей обо всех событиях.

Мацько заранее решил во что бы то ни стало добиться покровительства и поддержки влиятельной княгини и, заметив, с каким увлечением она его слушает, охотно рассказал ей о горькой участи Збышка и Дануси и растрогал ее чуть не до слез, тем более что и сам сокрушался сердцем о своем племяннике и очень жалел его.

— Отродясь не слыхивала я ничего более трогательного, — проговорила наконец княгиня. — И прямо до слез жаль, что он обвенчался уже с этой девушкой, что она уж его была, а утех он с нею не изведal. А вы уверены, что не изведal?

— Всемогуций Боже! — воскликнул Мацько. — Если б изведal, а то ведь он, как венчался с нею, в постели лежал тяжело больной, вечером дело было, а на рассвете ее похитили!

— И вы думаете, что это крестоносцы? У нас толковали тут про разбойников, которые обманули крестоносцев, подсунули им другую девушку. Про письмо Юранда тоже шел разговор...

— Это дело рассудил уже не людской суд, а Божий. Говорят, Ротгер был великий рыцарь и побеждал самых могучих богатырей, а погиб от руки мальчишки.

— Нечего сказать, мальчишка, — с улыбкой заметила княгиня, — которому лучше поперек дороги не становиться. Обидно все это, что и говорить. И вы справедливо жалуетесь, но ведь из четверых крестоносцев троих уже нет в живых, а старик, как я слышала, тоже уцелел только чудом.

— А Дануська?! А Юранд? — возразил Мацько. — Где они? Бог знает, не стряслась ли беда и над Збышком, он ведь поехал в Мальборк.

— Знаю, но крестоносцы не такие уж собаки, как вы думаете. В Мальборке под боком у магистра и его брата Ульриха, человека благородного, ничего худого с вашим племянником не могло случиться, тем более что у него, наверно, были письма от князя Януша. Вот разве только он какого-нибудь рыцаря вызвал на бой и погиб от его руки, ведь в Мальборке всегда много прославленных рыцарей, которые приезжают туда со всех концов света.

— Ну, этого-то я не очень боюсь, — сказал старый рыцарь. — Лишь бы они не заточили его в подземелье и не убили вероломно, а коли есть у него в руках хоть какое-нибудь копьцо, так не очень-то я за него боюсь. Один только раз нашелся рыцарь сильнее Збышка и на ристалище повалил его наземь — это князь мазовецкий Генрик, тот самый, что был здесь епископом и полюбил прекрасную Рынгаллу. Но Збышко был тогда совсем младенцем. А что до вызова, так один только есть человек, которого он вызвал бы, я и сам дал обет драться с ним, да только человек этот тут.

С этими словами Мацько показал на Лихтенштейна, который беседовал с плоцким воеводой.

Но княгиня нахмурила брови и сказала сурово и сухо, как всегда говорила, когда ею овладевал гнев:

— Давали вы обет иль не давали, помните, он у нас в гостях, и кто

хочет быть нашим гостем, тот должен соблюдать наш обычай.

— Знаю, милостивая пани, — ответил Мацько. — Я ведь уж и пояс наперед повернул и пошел было к нему; но как подумал, что он, может быть, посол, укротил свой гнев.

— Да, он посол. И у крестоносцев он важная особа, к его советам сам магистр прислушивается и почти ни в чем ему не отказывает. Счастье, что его не оказалось в Мальборке, пока там был ваш племянник, а то он хоть и знатного рода, но злобен, говорят, и мстителен. Он вас узнал?

— Едва ли, он меня мало видел. На тынецкой дороге мы были в шлемах, а потом я только один раз заходил к нему по делу Збышка, и то вечером, — дело-то было спешное, — да еще раз мы виделись с ним в суде. За это время я переменялся и борода у меня очень поседела. Я сейчас заметил, что он на меня поглядывал; но это он, видно, потому, что я с вами долго беседую, вельможная пани, потом он спокойно отвел глаза. Збышка он узнал бы, но меня не помнит, а про мой обет, может, и вовсе не слышал, есть у него про кого подумать поважнее меня.

— Это про кого же?

— Вызвать его на бой дали обет и Завиша из Гарбова, и Повала из Тачева, и Марцин из Вроцимовиц, и Пашко Злодзей, и Лис из Тарговжка. Любой из них, милостивая пани, с десятком таких, как он, справился бы, а их ведь вон сколько! Да лучше бы ему на свет не родиться, чем знать, что хоть один такой меч занесен над его головой. А я не только не скажу ему про обет, но постараюсь еще войти к нему в доверие.

— Зачем это вам нужно?

Лицо у Мацька сразу стало хитрое, он сделался похож на старую лисицу.

— Чтобы он мне письмо дал, с которым я мог бы безопасно разъезжать по землям крестоносцев и в случае надобности прийти Збышку на помощь.

— Достойно ли это рыцарской чести? — с улыбкой спросила княгиня.

— Достойно, — решительно ответил Мацько. — Вот если бы я, к примеру, напал на него сзади в бою и не крикнул, чтобы он повернулся, тогда я покрыл бы себя позором, но в мирное время поймать врага хитро на удочку — да этого ни один настоящий рыцарь не постыдится.

— Тогда я познакомлю вас, — сказала княгиня.

И, сделав знак Лихтенштейну, она познакомила его с Мацьком, решив, что, если Лихтенштейн даже узнает его, особой беды от этого не будет.

Но Лихтенштейн не узнал Мацька. На тынецкой дороге он действительно видел старого рыцаря в шлеме, а потом только один раз говорил с ним, да и то вечером, когда Мацько приходил к нему с просьбой

простить Збышка.

Однако поклонился крестоносец довольно надменно и, только увидев позади рыцаря двоих красивых оруженосцев в богатых одеждах, подумал, что далеко не всякий может иметь таких слуг; лицо его стало немного приветливей, хотя он по-прежнему надменно выпячивал губы, как всегда при разговоре с особой, не принадлежащей к владетельному двору.

— Этот рыцарь едет в Мальборк, и я сама поручаю его приязни великого магистра; но он знает, каким уважением вы пользуетесь в ордене, и желал бы и от вас получить письмо.

После этого она отошла к епископу, а Лихтенштейн устремил на Мацько холодные стальные глаза и спросил:

— Что побуждает вас посетить нашу благочестивую и скромную столицу?

— Побуждения у меня добрые, побуждения благие, — ответил Мацько, поднимая на него глаза. — Иначе милостивая княгиня не поручилась бы за меня. По обещанию я бы хотел съездить, да и увидеть вашего магистра, славнейшего из рыцарей, который печется о мире на земле.

— Мы убогие, но гостеприимные монахи, и тот, за кого ручается милостивая княгиня, госпожа и благодетельница наша, не будет иметь повода упрекнуть нас; что ж до магистра, то вам трудно будет его увидеть: он уже около месяца в Гданьске, а оттуда собирается в Круглевец и дальше на границу; хоть он и стоит за мир, но вынужден оборонять владения ордена от вероломных посягательств Витовта.

Услышав это, Мацько так огорчился, что Лихтенштейн, от взгляда которого ничто не могло укрыться, сказал:

— Я вижу, что вы в равной мере хотели увидеть великого магистра и выполнить свой обет.

— Да, я хотел, я очень хотел! — поспешно ответил Мацько. — Так война с Витовтом за Жмудь^[94] дело решенное?

— Витовт сам ее начал, оказав вопреки обещаниям помощь бунтовщикам.

На минуту воцарилось молчание.

— Что ж! Да ниспошлет Бог ордену удачу, какой он заслужил! — сказал наконец Мацько. — Не увижу я магистра, так хоть исполню свое обещание.

Сказал он это, а сам, не зная в растерянности, что предпринять, думал только об одном: «Где же мне искать теперь Збышка, где же мне теперь найти его?»

Нетрудно было догадаться, что если магистр покинул Мальборк и отправился на войну, то нечего искать в Мальборке и Збышка; но, во всяком случае, нужно собрать о нем самые подробные сведения. Старый Мацько сильно опечалился; но, будучи человеком предприимчивым, решил не терять времени и завтра же двинуться в путь. С помощью княгини Александры ему легко удалось получить письма от Лихтенштейна, который питал неограниченное доверие к княгине. Это были рекомендательные письма к бродницкому комтуру и к великому госпитальеру в Мальборке. Мацько подарил за них Лихтенштейну довольно большой серебряный кубок тонкой работы вроцлавских мастеров; такие кубки с вином рыцари имели обыкновение ставить на ночь у своих постелей, чтобы в случае бессонницы иметь под рукой и лекарство, и утешение. Щедрость Мацька несколько удивила чеха, знавшего, что старый рыцарь не очень охотно раздает подарки, да еще немцам; но Мацько сказал ему:

— Я потому это сделал, что дал обет вызвать его на бой и мне придется с ним драться, нехорошо будет поднять руку на человека, который оказал тебе услугу. Не в нашем это обычае...

— Но жаль хорошего кубка! — не соглашался чех.

— Не беспокойся, — сказал на это Мацько, — я ничего не делаю не подумавши! Ежели с Божьей помощью я одолею немца, то и кубок верну, и захвачу другую богатую добычу.

Затем они вместе с Ягенкой стали обсуждать, что делать дальше. Мацько подумывал о том, не оставить ли ее и Анульку в Плоцке на попечении княгини Александры, раз у епископа хранится завещание аббата. Однако Ягенка решительно воспротивилась этому и со свойственной ей непреклонностью твердо стояла на своем. Конечно, ехать без них вольготнее, на ночлегах не нужно заботиться об отдельных комнатах и соблюдении благоприличия, а также думать об опасности и всяких иных обстоятельствах. Но не для того же они выехали из Згожелиц, чтобы сидеть в Плоцке. Раз уж завещание у епископа, оно не пропадет, а если надо где-нибудь оставить их, так лучше не у Александры, а у княгини Анны, при дворе которой крестоносцев недолюбливают, зато больше любят Збышка. Правда, Мацько на это ответил, что не бабьего ума дело «рассуждать», а девке это и вовсе не пристало, однако не стал особенно противиться и совсем уступил, когда Ягенка отвела его в сторону и со слезами на глазах сказала:

— Знаете что, Бог видит, что по утрам и вечерам я молюсь за Данусю и за счастье Збышка! Бог в небесах лучше всех это видит! Но и вы, и Глава говорите, что она уже погибла, что живой ей из рук крестоносцев не

вырваться. А коли так, то я...

Она заколебалась; слезы набежали у нее на глаза и медленно скатились по щекам. Наконец она тихо закончила:

— То я хочу быть при Збышке...

Мацька тронули эти слезы и эти слова, все же он сказал:

— Коли та погибнет, Збышко с горя и не взглянет на тебя.

— Я и не хочу, чтобы он глядел, я хочу только быть при нем.

— Ты сама знаешь, что и я хочу того же; но с горя он еще может накинуться на тебя с бранью...

— Пусть бранится, — с печальной улыбкой ответила она. — Только не сделает он этого, потому что и не догадается, что я при нем.

— Он тебя признает.

— Не признает. Ведь и вы не признали. Скажете ему, что это Ясько, а Ясько очень похож на меня. Скажете, что вырос хлопец, — вот и все. Збышку и в голову не придет, что это не Ясько...

Старый рыцарь стал опять что-то бормотать о коленях, которые смотрят внутрь; но такие колени бывали иногда и у хлопцев, так что это не могло служить препятствием, тем более что Ясько и впрямь был как две капли воды похож на Ягенку, да и волосы после последней стрижки отросли у хлопца, так что он уже заправлял их под сетку, как все мальчишки благородного происхождения, да и сами рыцари. Поэтому Мацько уступил, и все заговорили уже о дороге. Собрались выехать завтра. Мацько решил двинуться в земли крестоносцев, добраться до Бродницы, там обо всем поразведать, и если магистр вопреки предположениям Лихтенштейна еще в Мальборке, ехать в Мальборк, в противном же случае направиться вдоль границы владений крестоносцев в сторону Спыхова и по дороге расспрашивать о молодом польском рыцаре и его слугах. Старый рыцарь надеялся даже, что в Спыхове или при дворе варшавского князя Януша скорее удастся узнать про Збышка, чем в каком-нибудь другом месте.

На другой день они выехали. Весна уже вступила в свои права, реки, особенно Скрва и Дрвенца, разлились и замедляли путешествие, так что только на десятый день после выезда из Плоцка Мацько со спутниками переехал границу и очутился в Броднице. Это был чистенький и опрятный городок, но уже при въезде чувствовалась железная немецкая рука — на огромной каменной виселице, воздвигнутой за городом у дороги в Горченицу^[95], качались тела повешенных, среди которых была одна женщина. На сторожевой башне и на замке развевалось знамя с кровавой рукой на белом поле. Самого комтура путники не застали; с частью стражи

он во главе окрестной шляхты выехал в Мальборк. Это объяснил Мацьку старый, слепой на оба глаза крестоносец, который был когда-то комтуром Бродницы, привязался к этим местам и доживал в замке остаток своих дней. Когда местный капеллан прочитал старому крестоносцу письмо Лихтенштейна, он радушно принял Мацька; живя среди польского населения, старик прекрасно изъяснялся по-польски, и с ним легко было разговариваться. Оказалось, что шесть недель назад крестоносец ездил в Мальборк, куда его как опытного рыцаря вызвали на военный совет, и знал поэтому, что творится в столице. Когда Мацько спросил, не слыхал ли он там про молодого польского рыцаря, старый крестоносец сказал, что слыхал, как звали его, позабыл, но помнит, что этот рыцарь сперва всех удивил тем, что, невзирая на молодые годы, был уже опоясан, а потом удачно сражался на ристалище, которое великий магистр устроил, по обычаю, для иноземных гостей перед выступлением в военный поход. Старик вспомнил даже, что этого рыцаря полюбил и взял под особое свое покровительство храбрый и благородный брат магистра, Ульрих фон Юнгинген, и дал ему охранные грамоты, с которыми юноша, кажется, уехал потом на восток. Этим вестям Мацько очень обрадовался; он нимало не сомневался в том, что молодой рыцарь был Збышко. Теперь не было надобности ехать в Мальборк: если даже великий госпитальер или другие оставшиеся в Мальборке старшие братья и рыцари могли дать еще более подробные указания, то они все равно не знали, где сейчас Збышко. Впрочем, сам Мацько отлично знал, где можно найти племянника: нетрудно было догадаться, что он либо кружит где-то около Щитно, либо, не найдя там Дануси, разыскивает ее в более отдаленных восточных замках и комтурах.

Не теряя времени, путники тронулись по землям крестоносцев на восток, к Щитно. Они быстро подвигались вперед, так как часто встречавшиеся на пути города и местечки были соединены удобными дорогами, которые крестоносцы, вернее купцы, жившие в городах, содержали в порядке, так что они были не хуже польских дорог, проложенных при хозяйственном и деятельном короле Казимире. К тому же установилась чудная погода. Ночи были звездные, дни ясные, а в пору обеденной дойки дул теплый, сухой ветерок, наполнявший грудь бодростью и свежестью. На полях зазеленели озими; луга покрылись коврами цветов, а сосновые леса источали уже аромат смолы. На протяжении всей дороги до Лидзбарка, а оттуда до Дзялдова и дальше до Недзбожа путники не видели ни одной тучки. И только в Недзбоже ночью разразилась гроза, и они впервые в эту весну слышали гром; но буря

промчалась, и утро назавтра встало такое ясное, алое, золотое и такое сверкающее, что все кругом, насколько хватает глаз, переливалось алмазами и жемчугами, и казалось, вся земля улыбается небу и радуется жизни, кипящей вокруг.

В такое-то утро путешественники повернули от Недзбожа к Щитно. Мазовецкая граница была не особенно далеко, и они легко могли свернуть к Спыхову. Мацько хотел даже это сделать, но через минуту, взвесив все обстоятельства, предпочел держать путь прямо к страшному гнезду крестоносцев, где так мрачно решилась судьба Збышка. Взяв в провожатые крестьянина, Мацько велел ему вести их в Щитно; правда, особой надобности в провожатом не было, так как от Недзбожа шла прямая дорога, на которой немецкие мили были обозначены белыми камнями.

Провожатый ехал впереди, за ним на расстоянии нескольких десятков шагов следовали верхом Мацько и Ягенка, затем довольно далеко позади чех с красавицей Анулькой, а заключали весь поезд повозки под охраной вооруженных слуг. Было раннее утро. Небо на востоке еще розовело, хотя солнце уже сияло, обращая в опалы капельки росы на листе деревьев и на травах.

— Ты не боишься ехать в Щитно? — спросил Мацько.

— Не боюсь, — ответила Ягенка. — Меня Бог хранит, я ведь сирота.

— Никому нельзя там верить. Правда, самый лютый пес был у них Данфельд, его и Готфрида убил Юранд... Так говорил чех. Другой после Данфельда был Ротгер, он пал под секирой Збышка; однако старик тоже изверг, он продал душу дьяволу... Люди толком ничего не знают, только, думаю я, если Дануська погибла, так от его руки. Болтают, будто он дешево отделался. С ним-то и придется нам иметь дело в Щитно... Хорошо, что у нас есть письмо от Лихтенштейна, сдается, эти собаки боятся его больше, чем самого магистра... Говорят, он особа очень важная и в большом почете у них, да к тому же мстителен. Никакой обиды не прощает. Без этого письма я не ехал бы так спокойно в Щитно.

— А как зовут старика?

— Зигфрид де Лёве.

— Бог даст, мы справимся с ним.

— Бог даст!

Мацько рассмеялся и через минуту продолжал:

— Говорит мне в Плоцке княгиня: «Вы все жалуетесь, жалуетесь, как овечки на волков, а из этих, говорит, волков троих в живых уже нету, невинные овечки их задушили». Сказать по правде, так оно и есть...

— А Дануська, а ее отец?

— Я сказал об этом княгине. Но про себя-то я радуюсь, выходит, и нас обижать опасно. Мы тоже умеем ухватить секиру да ахнуть с размаху. А с Дануськой и Юрандом... это все верно. Я, как и чех, думаю, что их нет уж на свете, но толком никто ничего не знает... Жаль мне Юранда, и при жизни он столько муки за дочку принял, и коли погиб, так тяжкою смертью.

— Только при мне вспомнят о нем, и я тотчас про батюшку думаю, которого тоже нет на свете, — ответила Ягенка.

При этих словах она подняла к небу увлажненные слезами глаза.

— Он, наверно, у Бога в совете, райское блаженство вкушает, — сказал Мацько, покачав головой, — пожалуй, во всем нашем королевстве не было человека лучше его.

— Ох, не было, не было! — вздохнула Ягенка.

Дальнейший разговор был прерван провожатым, который внезапно осадил жеребца, затем повернул его, подскочил к Мацьку и закричал странным, испуганным голосом:

— Господи Боже, поглядите-ка, пан рыцарь: кто это спускается к нам с пригорка?

— Кто, где? — воскликнул Мацько.

— А вон! Великан это, что ли...

Мацько и Ягенка остановили своих иноходцев, посмотрели в указанном провожатым направлении и в самом деле в какой-нибудь сотне шагов увидели на вершине холма человека необычайно высокого роста.

— Он говорит правду, это сущий великан, — пробормотал Мацько.

Затем он поморщился, плюнул вдруг вбок и сказал:

— Чур меня!

— Что это вы чураетесь? — спросила Ягенка.

— Да вспомнил, как в такое же утро на дороге из Тынца в Краков мы со Збышком увидели похожего великана. Тогда говорили, что это Вальгер Прекрасный. А оказалось, что это был пан из Тачева; однако из этого тоже ничего хорошего не вышло. Чур меня!

— Это не рыцарь, он идет пешком, — сказала Ягенка, напрягая зрение. — Я даже вижу, что он безоружен, только в левой руке держит палку...

— И нащупывает дорогу, как ночью, — прибавил Мацько.

— И едва ступает. Слепец это, что ли?

— Слепец, ей-ей, слепец!

Они тронули коней и через некоторое время остановились перед стариком, который медленно-медленно спускался с холма, нащупывая палкой дорогу.

Старик и впрямь был высоченного роста, хотя вблизи уже не казался великаном. Они убедились также, что он совсем слеп. Вместо глаз у него зияли две красные ямы. Не было у него и кисти правой руки, на месте ее болтался узелок из грязной тряпицы. Белые волосы спускались на плечи, борода доходила до пояса.

— Нет у него, бедняги, ни поводыря, ни собаки, сам ощупью ищет дорогу, — проговорила Ягенка. — Боже мой, нельзя же оставить его без помощи. Не знаю, поймет ли он меня, но я хочу поговорить с ним по-нашему.

С этими словами она быстро соскочила с иноходца и, вплотную подойдя к старику, стала искать денег в висевшем у пояса кожаном кошельке.

Услышав конский топот и человеческую речь, старик вытянул палку и поднял вверх голову, как это делают слепцы.

— Слава Иисусу Христу! — сказала Ягенка. — Дедушка, вы понимаете по-христиански?

Услышав ее нежный молодой голос, старик вздрогнул, заволновался, лицо его от умиления на миг как-то странно посветлело, он закрыл веками свои пустые глазницы и, внезапно бросив палку, упал перед Ягенкой на колени и воздел руки к небу.

— Встаньте, я и так вам помогу. Что с вами? — в удивлении спросила Ягенка.

Но старик ничего не ответил, только две слезы скатились у него по щекам, и из уст вырвался стон:

— А-а! а!

— Милосердный Боже, да вы немой, что ли?

— А-а! а!

Он поднял левую руку, изобразил сначала в воздухе крест, а потом стал водить ею по губам.

Ягенка в недоумении взглянула на Мацька.

— Он как будто показывает тебе, что ему язык отрезали, — сказала ей Мацько.

— Вам отрезали язык? — спросила девушка.

— А-а! а! а! а! — кивая головой, несколько раз повторил старик.

После этого он показал пальцами на глаза, а затем вытянул правую руку без кисти, а левой показал, что ему ее отрубили.

Теперь его поняли и Ягенка, и Мацько.

— Кто это вас так? — спросила Ягенка.

Старик снова несколько раз изобразил в воздухе крест.

— Крестоносцы! — воскликнул Мацько.

Старик в знак подтверждения опустил голову на грудь.

На минуту воцарилось молчание. Только Мацько и Ягенка переглянулись в тревоге при виде этого живого доказательства свирепости и бесчеловечности, с какой карали своих узников крестоносцы.

— Жестокие правители! — сказал наконец Мацько. — Тяжко они его покарали, и бог весть, справедливо ли. Об этом мы от него не дознаемся. Хоть бы узнать, куда его отвезти, — он, наверно, здешний. Вишь, по-нашему понимает: простой народ здесь такой же, как и в Мазовии.

— Вы понимаете, что мы говорим? — спросила Ягенка.

Старик утвердительно кивнул головой.

— А вы здешний?

— Нет, — ответил жестами старик.

— Так, может, из Мазовии?

— Да.

— Из княжества Януша?

— Да.

— Что вы делали у крестоносцев?

Старик не мог ответить; но на лице его мгновенно изобразилось такое безутешное горе, что жалостливое сердце Ягенки затрепетало от сострадания, и даже Мацько, который вовсе не отличался чувствительностью, сказал:

— Наверно, обидели его тевтонские псы, может, и безвинно.

Ягенка сунула бедняку несколько мелких монет.

— Послушайте, — промолвила она, — мы вас не оставим. Вы поедете с нами в Мазовию, и мы в каждой деревне будем спрашивать, не ваша ли она. Может, как-нибудь и найдем. А теперь встаньте, мы ведь не святые угодники.

Но старик не встал, напротив, он еще ниже склонился и обнял ее ноги, как бы отдавая себя под ее покровительство и выражая ей свою благодарность; однако на лице его изобразилось при этом удивление и даже как будто разочарование. Судя по голосу, он думал, быть может, что перед ним девушка, а меж тем рука его коснулась яловичных сапог, какие носили в дороге рыцари и оруженосцы.

— Так мы и сделаем, — сказала Ягенка. — Скоро подойдут наши повозки, вы отдохнете и подкрепитесь. Но в Мазовию вы не сразу поедете, нам сперва нужно заехать в Щитно.

При этом слове старик вскочил на ноги. На лице его отразились ужас и изумление. Он распростер руки, словно желая преградить Ягенке путь, и из

уст его вырвались дикие, полные отчаяния звуки.

— Что с вами? — воскликнула в испуге Ягенка.

Но тут чех, который успел подъехать к ним с Анулькой и некоторое время упорно глядел на старика, вдруг переменялся в лице и, обращаясь к Мацьку, странным голосом произнес:

— Раны Господни! Позвольте мне, пан, поговорить с ним, вы и не догадываетесь, кто это может быть!

И, не дожидаясь позволения, он подбежал к старику, положил на плечи ему руки и спросил:

— Вы идете из Щитно?

Словно зачарованный звуком его голоса, старик мгновенно успокоился и кивнул головой.

— Не искали ли вы там свою дочку?

Глухой стон был единственным ответом на этот вопрос.

Глава побледнел, с минуту еще всматривался он своими рысьими глазами в лицо старика, а затем медленно и раздельно сказал:

— Так вы Юранд из Спыхова!

— Юранд! — вскричал Мацько.

Но Юранд в это мгновение пошатнулся и лишился чувств. Пережитые страдания, голод, трудности пути свалили его. Вот уже десятый день брел он ощупью, голодный, изможденный, палкой нашаривая дорогу, сам не зная, по верному ли идет он пути. Он не мог спросить дорогу и днем шел на тепло солнечных лучей, а ночи проводил в придорожных канавах. Проходя через деревню или селение, наталкиваясь на встречных людей, он протягивал руку и стонал, прося подаяния, но редко какая-нибудь сердобольная душа подавала ему милостыню, все принимали его за преступника, которого постигла законная и справедливая кара. Два последних дня он питался древесной корой и листьями и совсем уже потерял надежду попасть когда-нибудь в Мазовию — и вдруг его окружили свои, добрые люди, он услышал родные голоса, один из которых напомнил ему сладкий голос дочери. А когда кто-то произнес его имя, он не выдержал всех этих волнений, сердце сжалось в его груди, мысли вихрем закружились в голове, и он упал бы ничком в дорожную пыль, если бы сильные руки чеха не поддержали его.

Мацько соскочил с коня и, подхватив старика, перенес вместе с Главой к поезду и уложил на устланную сеном повозку. Ягенка и Анулька привели его в чувство, накормили и напоили вином, причем Ягенка, видя, что он не в силах держать кубок, сама подавала ему вино. Юранд погрузился в неодолимый глубокий сон, от которого ему предстояло очнуться только на

третий день.

Меж тем путники стали спешно держать совет.

— Скажу коротко, — начала Ягенка, — не в Щитно, а в Спыхов надо теперь ехать, отвезти надо Юранда в безопасное место, к своим, чтобы они окружили его заботами.

— Ишь распорядилась! — заметил Мацько. — Понятное дело, его надо отправить в Спыхов, только всем туда ехать незачем, достаточно послать с ним одну повозку.

— Вовсе я не распорядилась, думаю только, что от него мы могли бы много узнать и про Збышка, и про Данусю.

— А как ты будешь с ним говорить, коли у него языка нет?

— А разве не он сам показал вам, что у него нет языка? Вот видите, мы и без разговоров узнали все, что нам было нужно, а ведь нам куда легче будет, когда мы привыкнем к его знакам! Мы спросим, к примеру, приезжал ли Збышко из Мальборка в Щитно, а он либо кивнет нам, либо головой покачает. Так мы обо всем будем говорить с ним.

— Это верно! — воскликнул чех.

— Я и не спорю, — сказал Мацько, — мне тоже это приходило в голову, но я сперва люблю подумать, а уж потом говорить.

И он велел поезду повернуть к мазовецкой границе. По дороге Ягенка то и дело подъезжала к повозке, на которой лежал Юранд, опасаясь, как бы он не умер во сне.

— Не признал я его, — говорил Мацько, — да и не мудрено. Богатырь он был, сущий тур! Мазуры говаривали, что только он мог бы помериться силами с Завишей, — а теперь от него один скелет остался.

— Ходили слухи, — сказал чех, — что крестоносцы его запытали; но не хотелось верить, что христиане могли так поступить с опоясанным рыцарем, который тоже Георгия Победоносца почитает своим покровителем.

— Бог помог Збышку хоть немного отомстить за него. Нет, вы только поглядите, какая между нами и крестоносцами разница. Правда, из четырех тевтонских псов трое уже полегли, но они в бою полегли, никто им не вырывал в неволе языка и не выкалывал глаз.

— Бог их покарает! — сказала Ягенка.

— Как ты его признал? — обратился Мацько к чеху.

— Сперва, милостивый пан, и я его не признал, хоть видал его позже вас. Но все мне что-то знакомое чудилось в его лице, и чем больше я смотрел, тем больше сдавалось оно мне знакомым... Ведь тогда у него ни бороды не было, ни седых волос, могучий, крепкий был рыцарь, как же мог

я признать его в таком старике! Но когда панночка сказала, что мы поедем в Щитно, а он застонал, тут меня осенило.

Мацько задумался.

— Надо бы из Спыхова к князю его отвезти, не может князь простить крестоносцам такую обиду, нанесенную знатному рыцарю.

— Они, милостивый пан, отопрутся, похитили же они вероломно его дочку и отперлись, а про пана из Спыхова скажут, что в бою он языка, руки и глаз лишился.

— Это верно, — согласился Мацько. — Ведь когда-то они самого князя похитили. Воевать он с ними сейчас не может, не одолеть ему их, разве только наш король поможет. Толкует и толкует народ про великую войну, а пока и малой-то нет.

— А с князем Витовтом?

— Слава Богу, хоть он их ни во что не ставит... Да, вот это князь так князь! Хитростью им его тоже не одолеть, он один хитрее всех крестоносцев. Бывало, так прижмут его эти собаки, что гибель нависнет над ним, как меч над головой, а он ужом выскользнет да тут же их и укусит... Берегись его, когда он тебя бьет, но еще больше берегись, когда он тебя милует.

— Он со всеми такой?

— Нет, не со всеми, только с крестоносцами. С другими он добрый и щедрый князь!

Тут Мацько задумался, словно силясь получше представить себе Витовта.

— Вовсе не похож он на здешних князей, — сказал он наконец. — Збышку надо было к нему ехать, с ним против крестоносцев куда больше можно сделать.

Помолчав, он прибавил:

— Как знать, не попадем ли мы оба к нему, тогда, пожалуй, и воздадим собакам по заслугам.

Потом все снова заговорили про Юранда, про злополучную его участь и неслыханные обиды, причиненные ему крестоносцами. Убив безо всякого повода его любимую жену и платя потом мстью за мсть, они похитили его дочь, а его самого так люто пытали, что и татарам не измыслить злейших мук, Мацько и чех скрежетали зубами при мысли о том, что само освобождение Юранда было новой, обдуманной жестокостью. Старый рыцарь в душе давал себе слово разузнать, как все было, и потом сторицей отплатить крестоносцам.

В таких раздумьях и разговорах проходил их путь в Спыхов. После

погожего дня спустилась тихая, звездная ночь, и путники, нигде не останавливаясь на ночлег и только три раза хорошенько покормив лошадей, еще затемно пересекли границу и на рассвете в сопровождении нанятого провожатого ступили на спыховскую землю. Старый Толима, видно, держал все в железных руках. Едва поезд углубился в лес, как навстречу выехало двое вооруженных всадников; убедившись, что перед ними не войско, они не только пропустили путников без опроса, но и провели через трясины и болота, где не могли бы пройти люди, незнакомые с местностью.

В городке гостей приняли Толима и ксендз Калерб. Весть о том, что какие-то добрые люди привезли их господина, с быстротой молнии разнеслась среди стражи. Но когда люди увидели, каким вышел Юранд из рук крестоносцев, поднялась такая буря, все разразилось таким негодованием, что, если бы в спыховских подземельях оставался еще хоть один крестоносец, ничто не спасло бы его от страшной смерти.

Конники хотели было тотчас вскочить на коней, помчаться к границе, схватить немцев сколько удастся и бросить их головы к ногам господина; но Мацько укротил их порыв, объяснив им, что немцы засели в городах и крепостях, а в деревнях живут те же поляки, только под иноземным гнетом. Ни шум, ни крики, ни скрип колодезных журавлей не могли пробудить ото сна Юранда, которого на медвежьей шкуре перенесли с повозки в его комнату. При нем остался ксендз Калерб, его старый друг, который любил Юранда, как родного; он стал читать молитвы, прося Всевышнего вернуть несчастному зрение, язык и руку.

Утомленные дорогой путники после завтрака отправились на отдых. Мацько проснулся уже далеко за полдень и велел слуге позвать Толиму.

Зная, что Юранд перед отъездом велел всем повиноваться Збышку и через ксендза завещал ему Спыхов, Мацько сказал старику повелительным голосом:

— Я дядя вашего молодого пана и, пока он не вернется, буду управлять Спыховом.

Толима склонил свою седую голову, которая чем-то напоминала волчью, и, приставив к уху ладонь, спросил:

— Так вы, пан, благородный рыцарь из Богданца?

— Да, — ответил Мацько. — Откуда вы меня знаете?

— Вас ждал тут молодой пан Збышко, он спрашивал про вас. Мацько при этих словах вскочил на ноги и, забыв всю свою важность, воскликнул:

— Збышко в Спыхове?

— Был, милостивый пан, уж два дня как уехал.

— Боже мой, откуда же он прибыл и куда уехал?

— Прибыл он из Мальборка, по дороге заезжал в Щитно, а куда уехал — не сказал.

— Не сказал?

— Может, он ксендзу Калербу говорил.

— Ах ты Господи! Выходит, мы с ним разминулись! — проговорил Мацько, хлопнув себя по ляжкам.

Толима приставил ладонь к другому уху.

— Что вы говорите, милостивый пан?

— Где ксендз Калерб?

— У старого пана он, у его постели.

— Попросите ксендза сюда!.. Или нет... Я сам к нему пойду.

— Я позову! — сказал старик.

Он вышел. Ксендз Калерб еще не появлялся, когда в комнату вошла Ягенка.

— Поди-ка сюда! Знаешь, что случилось? Два дня назад здесь был Збышко.

Ягенка мгновенно переменилась в лице, ее ноги, обтянутые полосатыми штанишками, подкосились.

— Был и уехал? — спросила она с бьющимся сердцем. — Куда?

— Два дня назад, а куда, может, ксендз знает.

— Нам надо скакать за ним! — решительно заявила девушка.

В это время вошел ксендз Калерб и, думая, что Мацько позвал его, чтобы справиться про Юранда, сказал, не ожидая вопроса:

— Он еще спит.

— Я слышал, что здесь был Збышко! — воскликнул Мацько.

— Был, да вот уж два дня как уехал.

— Куда?

— Он и сам не знал... На поиски... К жмудской границе поехал, где теперь война.

— Ради Бога, отче, расскажите нам все, что вы о нем знаете!

— Да я только то знаю, что он сам мне рассказывал. Он побывал в Мальборке, заручился там могущественным покровительством брата магистра, первого рыцаря среди крестоносцев. По его повелению Збышку дозволено во всех замках чинить розыски...

— Юранда и Дануськи!

— Да, но Юранда Збышко не стал искать, ему сказали, что того уж нет в живых.

— Расскажите все с самого начала.

— Сейчас, дайте только передохнуть и прийти в себя, я из иного мира

возвращаюсь.

— Как из иного?

— Да, я возвращаюсь с того света, куда на коне не доскачешь, а с молитвой дойдешь... от стоп Иисуса Христа, которого я молил смилостивиться над Юрандом.

— Вы просили чуда? Это в вашей власти? — с величайшим любопытством спросил Мацько.

— Не в моей это власти, а Спасителя; коли пожелает Он, то вернет Юранду и глаза, и язык, и руку...

— Да, коли пожелает, так, уж конечно, вернет, — ответил Мацько, — хоть и не о пустяке вы просите.

Ксендз Калевб ничего не ответил, может, не расслышал, глаза у него были еще отуманенные, видно, он и впрямь забылся, погрузившись в молитву.

Он закрыл руками лицо и некоторое время сидел в молчании. Наконец, встряхнувшись и протерев руками глаза, он сказал:

— Ну, теперь спрашивайте.

— Как снискал Збышко расположение самбийского правителя?

— Он теперь уже не самбийский правитель. [\[96\]](#)

— Это не важно... Вы знаете, о чем я спрашиваю, и рассказывайте все, что знаете.

— На ристалище снискал он расположение Ульриха. В Мальборк съехалось в гости множество рыцарей, и магистр устроил состязания. Ульрих любит выступать на ристалищах, сражался он и со Збышком. Лопнула тут у Ульриха седельная подпруга, и Збышко легко мог свалить его с коня; однако он, как увидел, что подпруга лопнула, швырнул копье наземь и поддержал покачнувшегося Ульриха.

— Вот видишь, каков он! — воскликнул Мацько, обращаясь к Ягенке. — За это Ульрих его полюбил?

— Да, за это он его полюбил. Он уже больше не пожелал с ним драться ни на острых, ни на тупых копьях и полюбил его. Когда же Збышко рассказал ему о своем горе, Ульрих, который блюдет рыцарскую честь, распалился гневом и повел Збышка жаловаться к своему брату магистру. Бог ниспошлет ему за это спасение; мало среди крестоносцев таких, кто стоит за справедливость. Збышко говорил мне, что много помог ему и рыцарь де Лорш, который там в большом почете за свой знатный род и богатство, он во всем свидетельствовал за Збышка.

— Как же рассудил великий магистр?

— Великий магистр строго-настроено повелел щитненскому комтуру

незамедлительно выслать из Щитно в Мальборк всех невольников и узников, в том числе и самого Юранда. Про Юранда комтур написал, что он скончался от ран и похоронен в Щитно около церкви, прочих же невольников, и среди них юродивую девку, он отослал в Мальборк, но нашей Дануси среди них не было.

— От оруженосца Главы я знаю, — сказал Мацько, — что Ротгер, которого убил Збышко, при дворе князя Януша тоже упоминал про какую-то дурочку. Он говорил, будто они приняли ее за Дануську. Когда же княгиня заметила ему, что они знали подлинную дочку Юранда и видели, что она не была дурочкой, он ответил: «Это верно, но мы думали, что ее оборотил нечистый».

— Комтур тоже написал магистру, что они отбили эту девку у разбойников и не держали ее в заточении, а только опекали, и что разбойники клялись, будто это дочка Юранда, которую оборотил нечистый.

— И магистр поверил?

— Он сам не знал, верить ему или не верить; но Ульрих еще больше распалился гневом и настоял на том, чтобы брат послал в Щитно вместе со Збышком одного из правителей ордена, что тоже было сделано. Но, прибыв в Щитно, Збышко и правитель уже не застали старого комтура; он уехал на войну с Витовтом в восточные замки; нашли они только помощника комтура, которому правитель велел открыть все подвалы и подземелья. Искали они, искали, но так ничего и не нашли. Допросили и людей. Один сам сказал Збышку, что много можно узнать от капеллана, который понимает немного палача. Но старый комтур взял палача с собой, а капеллан уехал в Крулевец на какой-то духовный congressus...^[97] Священники часто съезжаются и посылают папе жалобы на орден, потому что и им, бедным, тяжело сносить иго крестоносцев...

— Удивительно, как они не нашли Юранда, — заметил Мацько.

— Должно быть, старый комтур выпустил его раньше. Это было такое злодейское дело, что уж лучше бы они его просто казнили. Им хотелось, чтобы перед смертью он больше выстрадал, чем может вынести рыцарь... Слепой, немой, без правой руки — храни Господь и помилуй!.. Ни домой дойти, ни дорогу узнать, ни попросить куска хлеба... Они думали, что он умрет от голода под забором или утонет... Что они ему оставили? Ничего, кроме воспоминания о том, кем он был, и мыслей о своем убожестве. А ведь это горшая из мук... Может, он сидел где-нибудь у костела или при дороге, а Збышко проезжал мимо и не признал его. Может, и он слышал голос Збышка, но не мог его окликнуть... Эх! Трудно удержаться от слез!.. Это чудо явил Господь, что вы его встретили, и потому я полагаю, что

Господь явит еще большее чудо, хоть и молят Его об этом недостойные и грешные мои уста.

— Что еще говорил Збышко? Куда он собирался ехать? — спросил Мацько.

— Он говорил так: «Я знаю, что Дануська была в Щитно; но они ее похитили и либо замучили, либо увезли. Это, говорил он, сделал старый де Лёве, и, клянусь Богом, я не успокоюсь до тех пор, пока не схвачу его».

— Збышко так говорил? Ну, тогда он, наверно, поехал в восточные комтурии; но ведь там теперь война.

— Он знал, что там война, и потому поехал к князю Витовту. Он говорил, что с князем скорее найдет управу на крестоносцев, чем с самим королем.

— К князю Витовту! — вскочил Мацько.

И тут же обратился к Ягенке:

— Вот видишь, что такое ум! Не говорил ли я то же самое? Ведь предсказывал же я, что придется и нам ехать к Витовту...

— Збышко надеялся, — вмешался ксендз Калёб, — что Витовт вторгнется в Пруссию и будет осаждать тамошние замки.

— Дай ему только время, он непременно начнет осаду, — ответил Мацько. — Ну, слава Богу, теперь мы хоть знаем, где искать Збышка.

— Вот и надо сейчас же двигаться в путь! — сказала Ягенка.

— Помолчи! — прикрикнул на нее Мацько. — Оруженосцам не подобает соваться со своими советами.

И он бросил на Ягенку многозначительный взгляд, как бы желая напомнить девушке, что она оруженосец; та спохватилась и замолчала.

Мацько подумал с минуту времени и сказал:

— Ну теперь-то мы найдем Збышка, он наверняка при князе Витовте, но хорошо бы дознаться, надобно ли ему еще искать кого по свету, кроме тех немецких голов, которые обещал он добыть.

— А как же об этом дознаешься? — спросил ксендз Калёб.

— Кабы знать, что щитненский капеллан уже вернулся с синода, я бы с ним повидался, — ответил Мацько. — У меня есть письма Лихтенштейна, и я безо всякой опаски могу ехать в Щитно.

— Не было там никакого синода, только congressus, — возразил ксендз Калёб, — и капеллан, наверно, уже давно вернулся.

— Это хорошо. Все прочее я беру на себя. На всякий случай я возьму с собой Главу да двоих слуг с боевыми конями и поеду.

— А потом мы поедem к Збышку? — спросила Ягенка.

— Да, потом мы поедem к Збышку, а покуда ты оставайся здесь и жди

меня. Думаю, что больше трех-четырех дней я не задержусь. Кости у меня крепкие, к трудам мне не привыкать стать. Только сперва я хочу попросить вас, отец Кaleb, дать мне письмо к щитненскому капеллану. Как покажу я ему ваше письмо, он мне скорее поверит... вы, священники, друг дружке всегда больше доверяете.

— Люди о тамошнем капеллане хорошо отзываются, — сказал отец Кaleb. — И уж если кто и знает что-нибудь, так это он.

К вечеру ксендз Кaleb приготовил письмо, а на другой день, еще солнце не успело взойти, старого Мацька уже не было в Спыхове.

XII

Юранд очнулся от своего долгого сна при ксендзе Калебе; забыв во сне, что с ним случилось, не зная, где он находится, он стал ощупывать свою постель и стену, у которой она стояла. Но ксендз Калёб заключил его в объятия и воскликнул со слезами умиления:

— Это я! Ты в Спыхове! Брат Юранд! Господь послал тебе испытание... но ты среди своих... Добрые люди привезли тебя... Брат Юранд! Брат!

И, прижав его к груди, он стал целовать его лоб, его пустые глазницы, и снова прижимать к груди, и снова целовать. Ошеломленный Юранд сперва, казалось, ничего не понимал; наконец он провел левой рукой по голове, словно силясь разогнать и рассеять тягостное оцепенение и сон.

— Ты слышишь меня, понимаешь? — спросил ксендз Калёб.

Юранд утвердительно кивнул головой, затем протянул руку и, сняв со стены серебряное распятие, добытое когда-то в бою с богатым немецким рыцарем, прижал его к устам и груди и передал ксендзу Калебу.

— Я понимаю тебя, брат! — сказал ксендз. — Он остается с тобою и как вывел тебя из неволи, так может вернуть тебе все, что ты потерял.

Юранд показал перстом на небо в знак того, что лишь там ему будет все возвращено, и выжженные глаза его снова наполнились слезами, а на изможденном лице изобразилось безмерное горе.

Ксендз Калёб, увидев это движение и горестное это лицо, решил, что Дануськи нет уже в живых, опустился у ложа на колени и произнес:

— Упокой, Господи, душу ее в селениях праведных, да сияет над нею свет вечный, аминь!

Но слепец при этих словах приподнялся, сел на постели, стал качать головой и махать рукою, как бы силясь остановить ксендза Калеба, дать понять ему, что он ошибается. Однако они так и не поняли друг друга, потому что в эту минуту в комнату вошел старый Толима, а за ним стража городка, управитель, самые почтенные спыховские старики, лесничие и рыбаки. Весть о возвращении господина распространилась уже по всему Спыхову. Люди обнимали колени Юранда, целовали ему руки и горько плакали, глядя на калеку и старца, ничем не напоминавшего прежнего могучего Юранда, грозу крестоносцев и победителя во всех битвах. Соратники его по походам побледили от гнева, и жестокими стали их лица. Собираясь кучками и подталкивая друг дружку локтями, они стали о

чем-то шептаться; наконец из толпы выступил вперед один страж, он же спыховский кузнец, Сухаж. Подойдя к Юранду, он упал ему в ноги и сказал:

— Как привезли вас сюда, милостивый пан, мы тотчас хотели двинуться в Щитно, да рыцарь, который привез вас, не позволил нам. Но теперь позвольте нам пойти на Щитно, потому что не можем мы не отомстить за такую обиду. Пусть будет так, как прежде бывало. Не бесчестили они нас безнаказанно и не будут бесчестить... Ходили мы с вами на них, пойдем и теперь с Толимой, а то и без него. Должны мы взять Щитно и пролить их собачью кровь, да поможет нам Бог!

— Да поможет нам Бог! — повторили десятки голосов.

— На Щитно!

— Кровь за кровь!

И пламя гнева охватило горячие мазурские сердца. Лица нахмурились, глаза засверкали, послышался скрежет зубов. Но вскоре стихли голоса и скрежет, и все взоры устремились на Юранда.

Щеки его сперва разгорелись, словно в рыцаре проснулись былая ярость и былой боевой пыл. Он поднялся и снова стал водить рукой по стене. Людям показалось, что это он ищет меч: но пальцы его наткнулись на крест, который ксендз Калев повесил на прежнее место.

Юранд снова снял крест со стены, лицо его побледнело, и, обратившись к людям, он протянул вперед распятие, подняв к небу пустые глазницы.

Наступило молчание. На улице вечерело. В открытые окна долетал гомон птиц, которые устраивались на ночь под навесами крыш и на липах, росших во дворе. Последние багряные лучи солнца, проникая в комнату, падали на высоко поднятый крест и седые волосы Юранда.

Кузнец Сухаж посмотрел на Юранда, оглянулся на товарищей, повел глазами и, перекрестившись, вышел на цыпочках вон. За ним так же тихо вышли все остальные и, столпившись во дворе, снова стали шептаться:

— Ну, так как же?

— Не пойдем, что ли?

— Не позволил!

— Месть оставил Богу. Видно, и душа его изменилась.

Так оно на самом деле и было.

В комнате Юранда остались только ксендз Калев, старик Толима и Ягенка с Анулькой, которые, увидев во дворе толпу вооруженных людей, пришли поглядеть, в чем дело.

Ягенка, которая была смелее и решительнее Анули, подошла к

Юранду.

— Да поможет вам Бог, рыцарь Юранд! — сказала она. — Это мы, помните, мы привезли вас из Пруссии.

При звуке ее молодого голоса лицо Юранда посветлело. Видно, яснее вспомнилось ему теперь все, что произошло на щитненской дороге, он стал благодарить девушку, кивая головой и прижимая к сердцу руку. Ягенка начала рассказывать Юранду, как они его встретили, как узнал его оруженосец Збышка, чех Глава, и как, наконец, они привезли его в Спыхов. Она рассказала ему и о том, что носит с товарищем меч, шлем и щит за рыцарем Мацьком из Богданца, дядей Збышка, и о том, что Мацько выехал из Богданца на поиски племянника и отправился теперь в Щитно, откуда через три-четыре дня он должен вернуться в Спыхов.

Правда, при упоминании о Щитно Юранд уже не взволновался так, как в первый раз на дороге, все же на лице его изобразилось сильное беспокойство. Но Ягенка уверила его, что рыцарь Мацько столь же хитер, сколь и отважен и никому не попадетсЯ на удочку, а кроме того, у него письма от Лихтенштейна, с которыми он может безопасно разъезжать повсюду. Эти слова успокоили Юранда; было видно, что он хочет расспросить и о многом другом и страдает оттого, что не может этого сделать. Догадливая девушка сразу это заметила.

— Вот будем мы с вами почаще беседовать, — сказала она Юранду, — так обо всем поговорим.

Юранд в ответ опять улыбнулся, положил девушке на голову руку и долго держал так, как бы благословляя ее. Он и впрямь многим был ей обязан, да и видно было, что пришлось ему по сердцу и ее молодость, и ее речи, так живо напомнившие ему щебетанье пташки.

С той поры, когда он не молился, — а молился он по целым дням, — или не был погружен в сон, он всегда искал ее подле себя, а когда ее не было, тосковал по ее голосу и всячески давал понять ксендзу Калебу и Толиме, как хочется ему, чтобы при нем был этот чудный оруженосец.

Она приходила к нему, жалея старика всем своим добрым сердцем, и коротала время с ним, поджидая Мацька, который почему-то задерживался в Щитно.

Он должен был вернуться дня через три, меж тем миновал уже и четвертый, и пятый день. Лишь к вечеру шестого дня, когда обеспокоенная девушка собралась уже просить Толиму послать людей на разведку, со сторожевого дуба дали знать, что к Спыхову подъезжают какие-то всадники.

Спустя немного времени на подъемном мосту и впрямь зацокали

копыта, и во двор въехал оруженосец Глава с одним из слуг. Ягенка уже сбежала сверху и поджидала чеха во дворе; не успел он спешиться, как она бросилась к нему.

— Где Мацько? — спросила она с тревожно бьющимся сердцем.

— Поехал к князю Витовту, а вам велел оставаться здесь, — ответил оруженосец.

XIII

Узнав, что Мацько велел ей остаться в Спыхове, Ягенка от удивления, огорчения и гнева не могла сначала слова вымолвить и только широко открытыми глазами глядела на чеха, который прекрасно понимал, какую неприятную весть он ей привез.

— Я хотел бы рассказать вам о том, что слышали мы в Щитно, есть много новостей, и притом важных, — сказал он.

— И про Збышка?

— Нет, новости только щитненские — понимаете...

— Понимаю! Пусть слуга расседлает коней, а вы ступайте за мной.

И, отдав распоряжение слуге, она повела чеха наверх.

— Почему Мацько нас бросил? Зачем нам оставаться в Спыхове, почему вы воротились? — забросала она чеха вопросами.

— Я воротился потому, что мне велел рыцарь Мацько, — ответил Глава. — Мне тоже хотелось на войну, но приказ есть приказ. Рыцарь Мацько сказал мне так «Воротишься, будешь охранять згожелицкую панну и ждать от меня вестей. Может, говорит, тебе придется проводить ее в Згожелицы, не годится ей одной туда ехать».

— Господи Боже мой, да что же случилось? Неужто нашлась дочка Юранда? Неужто Мацько не к Збышку поехал, а за Збышком? Ты ее видел? Говорил с нею? Почему же ты не привез ее и где она сейчас?

В ответ на град вопросов чех склонился к ногам девушки и сказал:

— Не прогневайтесь, ваша милость, не могу я вам сразу ответить. Коли воля ваша, буду отвечать по порядку.

— Хорошо! Нашлась она или нет?

— Нет, но теперь мы точно знаем, что она была в Щитно и что ее увезли куда-то в восточные замки.

— Почему же мы должны сидеть в Спыхове?

— А вдруг она найдется?.. Тогда, ваша милость... дело такое... незачем тогда...

Ягенка умолкла, только щеки у нее покраснели.

— Я думал и все еще думаю, — продолжал чех, — что нам не вырвать ее живой из лап этих псов, но все в руках Божьих. Расскажу вам по порядку. Приехали мы в Щитно, ну, ладно. Рыцарь Мацько показал помощнику комтура письмо Лихтенштейна, а тот смолodu носил меч за Куно, на наших глазах поцеловал он печать и принял нас радушно, ни в чем

не заподозрил. Будь у нас хоть горсточка людей под рукой, замок можно было бы захватить, так он нам доверял. И с ксендзом видаться нам никто не мешал; две ночи мы с ним протолковали, и рассказал нам ксендз дивные дела, от палача он про них дознался.

— Палач немой.

— Немой, но ксендзу на пальцах умеет показывать, и тот так хорошо понимает, будто палач живым словом все ему рассказывает. Дивные дела, и перст Божий в них виден. Палач отрубил Юранду руку, вырвал ему язык и выжег глаз. Такой он человек, что, коли велят ему мужа пытать, ни перед чем он не остановится, прикажи человека зубами разорвать — разорвет. Но ни на одну молоденькую девушку он руки не поднимет, какими бы пытками ему ни грозили. А стал он таким потому, что когда-то была у него дочка единственная и любил он ее без памяти, а крестоносцы ее...

Глава осекся, не зная, как продолжать. Видя это, Ягенка сказала:

— Что вы мне про дочку палача толкуете!

— Это к делу относится, — ответил чех. — Когда наш молодой пан зарубил рыцаря Ротгера, старый комтур Зигфрид чуть не помешался. В Щитно болтали, будто Ротгер был его сыном, и ксендз говорил нам, что родной отец не мог бы так любить сына, как Зигфрид любил Ротгера. И из мести продал он душу дьяволу, палач это видел! Зигфрид разговаривал с убитым, как вот я с вами, а тот в гробу то смеялся, то зубами скрежетал, то облизывался почернелым языком от радости, что старый комтур пообещал ему голову пана Збышка. Но добыть голову пана Збышка Зигфрид тогда не мог и велел пока мучить Юранда, а потом положил язык его и руку в гроб Ротгеру, который начал пожирать сырое мясо...

— И слушать-то страшно такое. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь! — проговорила Ягенка.

И, поднявшись, подбросила в печку дров, потому что уже совсем свечерело.

— Да! — продолжал Глава. — Не знаю, как он будет на Страшном Суде, ведь все, чего лишили Юранда, должно к нему вернуться. Но не постигнуть этого человеческим разумом. Палач тогда все видел. И вот, накормив упыря человеческим мясом, старый комтур отправился за дочкой Юранда; видно, мертвец шепнул ему, что хотел бы запить мясо невинною кровью... Но палач, который, как я уже говорил, на все способен, только не может вынести, когда девушке чинят обиду, загодя притаился на лестнице... Ксендз говорил, что он не в своем уме и скот суций, одно это отлично понимает, и, когда нужно, никто не сравнится с ним в хитрости. Сел это он на лестнице и ждет, а тут и комтур приходит. Услышал он чье-то

дыхание, увидел сверкающие глаза и очень испугался, решил, что это упырь. А палач как ахнет его кулаком по загорбку! Думал хребет ему перебить, так, чтобы и следа не осталось, однако не убил. Упал комтур без памяти и захворал со страху, а как выздоровел, боялся уже покуситься на дочку Юранда.

— Да, но он увез ее.

— Увез и вместе с нею захватил и палача. Он не знал, что палач защищал ее, думал, сила неведомая, то ли злая, то ли добрая. Все же он решил не оставлять палача в Щитно. Боялся, что ли, как бы тот не выдал его... Он хоть и немой, но дойди дело до суда, так через ксендза мог бы все рассказать... под конец ксендз вот что сказал рыцарю Мацьку: «Старый Зигфрид сам не убьет дочки Юранда, боится, а если и велит кому другому это сделать, так, покуда Дидерих жив, он не даст ее в обиду, тем более что один раз уже спас ее».

— А ксендз знает, куда ее увезли?

— Точно не знает, но слышал, что там про Рагнету^[98] толковали, — это замок неподалеку от литовской или жмудской границы.

— Что же сказал Мацько?

— Выслушал рыцарь Мацько ксендза и сказал мне на другой день: «Коли так, то, может, мы и найдем ее; но мне, не теряя ни минуты, надобно к Збышку спешить, а то крестоносцы заманят его, как Юранда заманили. Стоит им сказать, что они отдадут Дануську, если он сам за нею приедет, и он поедет, а тогда старый Зигфрид так люто отомстит ему за Ротгера, что никто о такой мести и не слыхивал».

— Верно, верно! — воскликнула в тревоге Ягенка. — Это хорошо, коли Мацько потому поторопился!

Немного погодя она снова обратилась к Главе:

— В одном только он ошибся — что услал вас сюда. Ну к чему оберегать нас в Спыхове? Нас и старый Толима убережет, а вы, такой сильный и ловкий, пригодились бы там Збышку.

— А кто вас, панночка, в случае чего отвезет в Згожелицы?

— В случае чего вы могли бы приехать раньше их. Понадобится же им послать сюда весточку, вот они и перешлют ее через вас, а вы тогда и отвезете нас в Згожелицы.

Чех поцеловал ей руку и спросил взволнованным голосом:

— А вы на это время здесь останетесь?

— Бог хранит сироту! Здесь останемся.

— И не будет вам скучно? Что вы будете здесь делать?

— Буду Бога молить, чтобы вернул Збышку счастье и сохранил всех

вас в добром здоровье.

И при этих словах она горько расплакалась.

А оруженосец снова склонился к ее ногам.

— Вы, — сказал он, — как ангел небесный.

XIV

Но Ягенка утерла слезы и, взяв его с собой, пошла к Юранду, чтобы рассказать ему новости. Юранд сидел в большой светлице с ксендзом Калемом, Анулькой и старым Толимой; у ног его лежала ручная волчица. Местный костельный служака, бывший в то же время и песенником, пел под звуки лютни песню о давней битве Юранда с «нечестивыми крестоносцами», а слушатели, подперев руками головы, задумчиво и грустно внимали ему. Сияла луна, и в комнате было светло. После жаркого дня настал тихий, очень теплый вечер. Окна были отворены, и при свете луны было видно, как летают по комнате майские жуки, которые роились в листве лип, росших во дворе. В печи все же тлели головни, и слуга подогревал на огне мед, смешанный с подкрепляющим вином и пахучими травами.

Песенник, вернее, служка ксендза Калеба, затянул как раз новую песню «О счастливой битве»:

Едет Юранд, едет, конь под ним игрений... —

когда в светлицу вошла Ягенка и поздоровалась:

— Слава Иисусу Христу!

— Во веки веков, — ответил ксендз Калев.

Юранд, седой как лунь, сидел на скамье, опершись на подлокотники, и, услышав голос Ягенки, тотчас повернулся к ней и приветливо закивал головой.

— Из Щитно приехал оруженосец Збышка, — сказала девушка, — и привез вести от ксендза. Мацько уже не воротится, он поехал к князю Витовту.

— Как не воротится? — спросил отец Калев.

Ягенка стала рассказывать обо всем, что узнала от чеха: и о том, как Зигфрид отомстил за смерть Ротгера, и о том, как старый комтур хотел отнести Дануську Ротгеру, чтобы тот упился ее невинной кровью, и о том, как неожиданно спас ее палач. Не утаила она и того, что Мацько надеется теперь вдвоем со Збышком найти Данусю, отбить ее и привезти в Спыхов, потому-то и поехал он прямо к Збышку, а им велел остаться здесь.

Голос задрожал у нее под конец, как будто от тоски или горя, а когда

она кончила, в светлице стало тихо. Только в липах, росших во дворе, раздавался соловьиный свист и лился через отворенные окна в комнату. Взоры всех устремились на Юранда, который сидел, закрыв глаза, откинув назад голову, и не подавал признаков жизни.

— Вы слышите? — спросил наконец ксендз Калев.

Он еще больше откинул голову, поднял левую руку и показал перстом на небо.

Свет луны падал прямо на его лицо, на седые волосы, на выжженные глаза, и было в этом лице столько муки и бесконечной покорности судьбе, что всем показалось, будто они видят только душу, освобожденную от плоти, которая навсегда отрешилась от земной жизни, ничего уж не ждет от нее и ни на что не надеется.

И снова воцарилось молчание, и снова только соловьи разливались, наполняя свистом двор и светлицу.

Сердце Ягенки исполнилось вдруг неизъяснимой жалостью и любовью к этому несчастному старику, и, повинаясь порыву, она бросилась к нему и, схватив его руку, стала целовать ее, обливая слезами.

— И я сирота! — вырвалось из глубины ее переполненного сердца. — Никакой я не оруженосец, Ягенка я из Згожелиц. Мацько взял меня, чтобы охранить от злых людей, и теперь я останусь с вами, пока Бог не вернет вам Данусю.

Юранд не удивился, будто давно уже знал, что это девушка; он прижал Ягенку к груди, а она, продолжая осыпать поцелуями его руку, говорила прерывающимся от слез голосом:

— Останусь я с вами, а потом Дануська воротится... И поеду я тогда в Згожелицы... Бог сирот хранит! Немцы и моего батюшку убили, но ваша милая дочка жива и воротится... Дай, Господи милостивый, и Ты, Пресвятая Дева, всех скорбящих утешение...

А ксендз Калев опустился вдруг на колени и торжественно возгласил:

— Kyrie elejson!^[99]

— Chryste elejson!^[100] — хором ответили чех и Толима.

Все стали на колени, поняв, что это литания, которую читают не только в час смерти, но и для избавления близких и любимых от смертельной опасности. Преклонила колена Ягенка, сполз со скамьи и опустился на колени Юранд, и все хором возгласили:

— Kyrie elejson! Chryste elejson!..

— Отче с небеси, помилуй нас!..

— Сыне Божий, искупителю, помилуй нас!..

Человеческие голоса и моления сливались с соловьиной песней.

Ручная волчица поднялась вдруг с медвежьей шкуры, лежавшей у скамьи Юранда, и, подойдя к отворенному окну, положила лапы на подоконник, подняла к луне свою треугольную морду и завывала тихо и жалобно.

Как ни преклонялся чех перед Ягенкой, сердце его все сильнее влеклось к прекрасной Ануле; но, молодой и отважный, он прежде всего рвался в бой. Правда, будучи послушным оруженосцем, он по приказу Мацька вернулся в Спыхов и даже находил некоторое утешение в том, что будет стражем и хранителем обеих девушек; но когда Ягенка сама сказала ему, что в Спыхове им ничто не угрожает, — а так оно на самом деле и было, — и что его долг быть при Збышке, чех с радостью с этим согласился. Мацько не был его прямым господином, и он мог легко оправдаться перед старым рыцарем, сказав, что оставил Спыхов по приказанию своей госпожи, которая велела ему ехать к Збышку.

Ягенка поступила так, зная, что такой сильный и ловкий оруженосец всегда может пригодиться Збышку и вызволить его из всякой беды. Глава уже доказал это на княжеской охоте, когда Збышко едва не погиб в схватке с туром. На войне он тем более мог быть полезен, особенно на такой, какая кипела на жмудской границе. Глава так рвался в бой, что, вернувшись с Ягенкой от Юранда, тут же упал к ее ногам и сказал:

— Лучше мне, ваша милость, сейчас вам поклониться и попросить напутствовать меня добрым словом...

— Как? — спросила Ягенка. — Ты хочешь ехать еще сегодня?

— Завтра на рассвете, чтобы за ночь кони отдохнули. Уж очень отсюда до Жмуди далеко!

— Тогда поезжай, скорее догонишь рыцаря Мацька.

— Догнать его трудно. Старый пан закален в боях и на несколько дней опередил меня. К тому же он поедет напрямик через Пруссию, а я должен ехать окольным путем через дремучие леса. У него есть письма Лихтенштейна, которые он может показывать по дороге, а мне вот что пришлось бы показывать, вот чем прокладывать себе путь.

И чех при этих словах положил руку на рукоять меча, висевшего на боку.

— Будь осторожен! — воскликнула Ягенка. — Раз уж ты едешь, так надо доехать, а не угодить к крестоносцам в подземелье. Но и в дремучем лесу будь настороже, там живут теперь всякие злые божки, которых почитал тамошний народ, пока не перешел в христианство. Я помню, как рыцарь Мацько и Збышко рассказывали об этом в Згожелицах.

— Помню и я, но как-то не боюсь их — какие это божки, так, одна мелкота, никакой у них силы нету. Я и с ними справлюсь, и с немцами, коли встречу их, лишь бы только война разгорелась.

— А разве она не разгорелась? Расскажи-ка, что слышали вы у немцев про войну?

Рассудительный оруженосец нахмурил брови и, подумав с минуту, сказал:

— И разгорелась, и не разгорелась. Мы старались все новости выведать, особливо рыцарь Мацько, который так хитер, что любого немца обойдет. Начнет спрашивать как будто совсем про другое, притворится, будто он на их стороне, ничем себя не выдаст и все новости у них выудит. Коли хотите вы послушать меня, ваша милость, я вам все расскажу. Несколько лет назад князь Витовт замыслил поход против татар и, чтобы немцы его не трогали, уступил им Жмудь. Дружба у них была и полное согласие. Он позволил немцам возводить замки и сам помогал им. Съехались они с магистром на одном острове, пили, ели там и друг друга уверяли в любви. Не возбранял он немцам даже охотиться в тамошней пуще. Когда же бедные жмудины восставали против владычества крестоносцев, князь Витовт помогал немцам и посылал им свои войска, так что вся Литва стала роптать, что восстает он на родную кровь. Все это нам в Щитно помощник комтура рассказывал. Восхвалял он крестоносцев за то, что они посылали в Жмудь и священников, которые должны были крестить жмудинов, и хлеб во время голода. Посылать-то они посылали, потому что им повелел великий магистр, в котором больше, чем у других, страха Божия, но зато забирали у жмудинов детей в Пруссию, женщин бесчестили на глазах у мужей и братьев, а тех, кто сопротивлялся, вешали. Потому-то и началась война.

— А князь Витовт?

— Князь долго закрывал глаза на обиды, которые крестоносцы чинили жмудинам, и дружил с ними. Недавно княгиня, его жена, ездила в гости в Пруссию, в Мальборк. Принимали ее там как самое польскую королеву. Недавно это было, совсем недавно! Крестоносцы осыпали ее дарами, а сколько во всех городах было ристалищ, пиров и всяких чудес — и не сочтешь! Люди думали, что теперь между крестоносцами и князем Витовтом будет вечная дружба, и вдруг князь переменялся к ним...

— Мне и покойный батюшка, и Мацько не раз говорили, что сердце у него переменчивое.

— Не к честным людям, а к крестоносцам, по той причине, что и сами они никогда не держат слова. Недавно они потребовали у него выдать им

беглецов, а он им ответил, что холопов выдаст, а людей вольных и не подумает, потому что вольные люди имеют право жить где хотят. И стали они уже друг на друга коситься, жалобы писать и друг другу грозить. Услыхали про то жмудины — поднялись на немцев! Стражу в городах вырезали, крепостцы разрушили, а теперь даже на Пруссию учиняют набеги, и князь Витовт не только не удерживает их, но и насмехается над немцами и втихомолку посылает жмудинам подмогу.

— Понимаю, — сказала Ягенка, — но коли он втихомолку им помогает, так войны еще нет.

— Со жмудинами уже война, да и с князем Витовтом тоже. Немцы отовсюду идут на оборону пограничных замков, они готовы выступить и в великий поход на Жмудь, да приходится ждать зимы: край это болотистый, и рыцари сейчас не могут там воевать. Где жмудин пройдет, там немец увязнет, а зима — немцу друг. Как ударят морозы, силы крестоносцев двинутся вперед, а великий князь Витовт, с дозволения польского короля, властителя его и всей Литвы, выступит на помощь жмудинам.

— Так, может, и с королем будет война?

— Народ и у нас, и у немцев толкует, что будет. Крестоносцы уже при всех дворах вопят о помощи, — что называется, на воре шапка горит! Королевское могущество — это не шутка, а польские рыцари, если кто только помянет крестоносцев, сразу начинают в кулак поплевывать.

— Парню всегда веселей живется, чем девушке, — со вздохом заметила Ягенка, — ты вот, к примеру, на войну поедешь, как поехали Збышко и Мацько, а мы останемся здесь, в Спыхове.

— А как же, панночка, может быть иначе? Вы останетесь, но в полной безопасности. И по сию пору страшен немцам Юранд, я сам это видел в Щитно; как узнали немцы, что он в Спыхове, сразу переполошились.

— Мы знаем, что они сюда не придут, нас и болота защищают, и старый Толима; но тяжело нам будет сидеть здесь без всяких вестей.

— Случись что, я дам вам знать. Я знаю, что еще перед нашим отъездом в Щитно собирались отсюда на войну по своей воле два добрых молодца. Толима не может не позволить им уехать, они шляхтичи из Ленкавицы. Теперь они поедут вместе со мной, и в случае чего я одного из них тотчас пошлю к вам с вестями.

— Да вознаградит тебя Бог. Я всегда знала, что ты никогда не растеряешься, но за твою доброту и сочувствие до гроба буду тебе благодарна.

Чех преклонил колено и сказал:

— Не видел я от вас обид, одни благодеяния. Рыцарь Зых взял меня в

плен мальчишкой под Болеславом и без выкупа даровал мне волю; но милее воли была мне служба у вас. Дай Бог пролить мне кровь за вас, моя панночка!

— Храни тебя Бог! — ответила Ягенка, протягивая ему руку.

Но он, желая оказать ей еще большую честь, склонился и стал целовать ее ноги. Не вставая с колен, он поднял голову и проговорил смиренно и робко:

— Парень простой я, но шляхтич и верный слуга вам... подарите же мне в дорогу что-нибудь на память. Не отказывайте мне в этом! Уже приходит время кровавых сеч, и Георгий Победоносец свидетель, что не в хвосте я буду, а впереди.

— Что же тебе дать на память? — спросила удивленно Ягенка.

— Опоящите меня на дорогу. Коли придет мне погибель, легче будет с вашей перевязью.

И он снова склонился к ногам девушки, а потом с мольбою устремил на нее взор; но глубокая печаль изобразилась на лице Ягенки, и, помедлив, девушка ответила ему с невольною горечью:

— Ах, мой милый! Не проси меня об этом, ни к чему тебе моя перевязь. Пусть тот тебя опояшет, кто сам счастлив, он и тебе принесет счастье. А что у меня? Одна тоска да печаль! А что ждет меня впереди? Одно горе! Эх, не принесу я счастья ни тебе и никому другому, чего нет у меня, того я и дать не могу. Так мне теперь, Глава, плохо жить на свете, что, что...

Тут она смолкла вдруг, чувствуя, что если вымолвит хоть одно еще слово, то разразится рыданиями, слезы застлали уже ей глаза. Чех очень растрогался, он понял, что тяжело возвращаться Ягенке в Згожелицы и жить рядом со злыми разбойниками Чтаном и Вильком, но так же тяжело ей оставаться в Спыхове, куда рано или поздно мог приехать Збышко с Данусей. Глава прекрасно понимал, что творится в сердце девушки, и, не зная, как утешить ее, обнял ее ноги, приговаривая:

— Эх, жизнь положил бы я за вас! Жизнь положил бы!

— Встань, — сказала она. — А на войну пусть Ануля тебя опояшет или пусть подарит тебе что-нибудь на память, давно уже она на тебя заглядывается.

И Ягенка кликнула Анульку, которая тотчас вышла из соседней комнаты; она слушала под дверью, но не входила из робости, хотя горела желанием проститься с красивым оруженосцем. Она вышла смущенная, испуганная, с бьющимся сердцем и глазами, блестевшими от слез и бессонницы, и, потупясь, стала перед ним, словно цветик яблони, не в

силах слово вымолвить.

Глава не только был горячо привязан к Ягенке, он преклонялся перед нею, боготворил ее, но не смел даже мечтать о ней, зато часто мечтал он об Анульке; горячая кровь текла в его жилах, и он не мог устоять перед очарованием девушки. Теперь она еще больше пленила его сердце своей красотой и особенно смущением и слезами, за которыми любовь была видна, как золотое дно видно в прозрачной воде ручейка.

— Я еду на войну, — обратился к ней Глава, — может, и голову там сложу. Вам не жаль меня?

— Жаль мне тебя! — тоненьким голоском ответила девушка.

И залилась слезами, которые всегда были у нее наготове. Чех окончательно растрогался и стал целовать ей руки, воздерживаясь в присутствии Ягенки от более страстных поцелуев.

— Опояшь его в дорогу или подари что-нибудь на память, чтобы он сражался под твоим знаком, — сказала Ягенка.

Но Анульке нелегко было это сделать, она была в одежде юного оруженосца. Девушка кинулась искать: ни ленты, ни повязки! Все женские уборы еще со времени отъезда из Згожелиц лежали нетронутые в коробах, и Анулька оказалась в большом затруднении, но Ягенка и тут пришла ей на помощь, посоветовав отдать сеточку, которую та носила на голове.

— Слава Богу! Пусть будет сеточка! — воскликнул повеселевший Глава. — Приколю ее к шлему, и несчастной будет мать того немца, который посягнет на нее!

Анулька, подняв обе руки, сняла сетку, и светлые пряди волос рассыпались у нее по плечам и спине. Увидев, как прелестна она с распущенной косой, Глава даже в лице изменился. Он вспыхнул, потом побледнел, взял сеточку, поцеловал ее, спрятал за пазуху, еще раз обнял колени Ягенки, затем крепче, чем следовало, колени Анульки и со словами: «Так пусть и будет!» — вышел из комнаты.

Хотя чех утомился от дороги и не отдыхал, он так и не лег спать. Ночь напролет пил Глава с двумя молодыми шляхтичами из Ленкавицы, которые собирались ехать с ним в Жмудь. Однако он не охмелел и, едва забрезжил свет, был уже во дворе городка, где ждали оседланные кони.

В стене над сараем тотчас приотворилось затянутое пузырем окно, и в щелку выглянули голубые глазки. Заметив это, чех хотел подойти показать Анульке приколотую к шлему сетку и еще раз проститься с девушкой; но ему помешали ксендз Калев и старый Толима, которые вышли дать ему несколько советов на дорогу.

— Поезжай ко двору князя Януша, — сказал ксендз Калев, — может,

там и рыцарь Мацько. Во всяком случае, при дворе ты все узнаешь, знакомых у тебя там достаточно. Дороги оттуда в Литву тебе тоже знакомы, да и провожатого там легче найти, который знает тропы в пуще. Коли хочешь наверняка добраться до пана Збышка, так не ездь прямо в Жмудь, там прусская застава, а скачи через Литву. Помни, что и жмудины могут тебя убить, прежде чем ты крикнешь им, кто ты такой; совсем другое дело, ежели ты приедешь к ним из владений князя Витовта. Да благословит Бог тебя и обоих рыцарей, возвращайтесь в добром здоровье и привозите Данусю, а я всякий день после вечерни и до первой звезды, пав ниц, буду за вас Богу молиться.

— Спасибо, отче, за благословение, — ответил Глава. — Нелегко вырвать жертву живой из дьявольских лап крестоносцев, но все в руках Божьих, и лучше надеяться, чем предаваться унынию.

— Это верно, что лучше, потому я и не теряю надежды. Да... надежда живет, хоть и зреет в сердце тревога... Хуже всего, что сам Юранд, стоит только произнести ее имя, поднимает перст к небу, словно видит ее уже там.

— Как же он может ее видеть, коли нету очей у него?

— Бывает, — сказал ксендз не то чеху, не то сам себе, — что земные очи погасли, а человек видит то, чего другие не могут увидеть. Бывает так, бывает! Но не может этого быть, чтобы Бог допустил обидеть такого кроткого агнца. Чем провинилась она перед крестоносцами? Ничем! А непорочна была, яко лилия, и с людьми-то хороша, и певала, будто пташка в поле! Бог любит детей, сожалеет Он о людских муках... И коли убили Дануську, может, Он и воскресит ее, как Петровина^[101], который, восстав из гроба, долгие годы занимался хозяйством... Поезжай с Богом, и да хранит десница Господня всех вас и ее!

С этими словами ксендз вернулся в часовню служить раннюю обедню, а чех сел на коня, еще раз поклонился у притворенного окна — и уехал, потому что уже совсем рассвело.

Князь Януш и княгиня уехали с частью двора в Черск на весеннюю рыбную ловлю; они очень любили это зрелище и почитали его одной из лучших забав. Все же чеху удалось узнать от Миколая из Длуголяса много важных новостей как о делах частных, так и о войне. Прежде всего он узнал, что рыцарь Мацько отказался, видно, от намерения ехать в Жмудь прямо через «прусскую заставу», так как за несколько дней до этого побывал в Варшаве, где застал еще князя и княгиню. Что до войны, то старый Миколай подтвердил все те слухи, которые дошли до Главы в Щитно. Вся Жмудь, как один человек, поднялась против немцев, а князь Витовт не только перестал помогать ордену против злополучных жмудинов, но, не объявляя пока немцам войны и ведя с ними переговоры, чтобы обмануть их бдительность, снабжал тем временем Жмудь деньгами, людьми, лошадьми и хлебом. И сам он, и крестоносцы слали в то же время послов к папе, к императору римскому и другим христианским государям, обвиняя друг друга в вероломстве, предательстве и измене. От великого князя с письмами поехал мудрый Миколай из Рженева, который умел распутывать нити интриг крестоносцев и убедительно показывать, сколь тяжкие обиды чинят они Литве и Жмуди.

А когда на виленском сейме еще больше укрепился союз Литвы и Польши, крестоносцы содрогнулись от ужаса, ибо нетрудно было предугадать, что Ягайло как властитель всех земель, которыми правил князь Витовт, в случае войны станет на его сторону. Грудзёндский комтур, граф Иоганн Зайн, и гданьский комтур, граф Шварцбург, по повелению магистра отправились к королю с запросом о его намерениях. Король ничего им не ответил, хотя они привезли ему дары: быстролетных кречетов и ценную утварь. Тогда они притворно пригрозили королю войной, хорошо зная, что и магистр, и капитул боятся страшного могущества Ягайла и стремятся отдалить день гнева и поражения.

Как паутина, разрывались все договоры, особенно с Витовтом. Вечером после приезда Главы в варшавский замок пришли свежие вести. Приехал Брониш из Цясноты, придворный князя Януша, посланный недавно князем в Литву за вестями, а с ним два знатных литовских князя с письмами от Витовта и от жмудинов. Вести были грозные. Орден готовился к войне. Всюду укрепляли замки, терли порох, тесали каменные ядра, стягивали к границе кнехтов и рыцарей, а легкие отряды конников и пехоты

учиняли уже набеги на Литву и Жмудь со стороны Рагнеты, Готтесвердера и других пограничных замков. В дремучих лесах, в полях, в деревнях раздавались уже боевые кличи, а по вечерам над темной стеной лесов полыхали зарева пожаров. Витовт взял наконец открыто Жмудь под свое покровительство, послал туда своих правителей, а полководцем вооруженного народа назначил прославившегося своим мужеством Скирвойла, который учинял набеги на Пруссию, жег города и села, уничтожал их, подвергал опустошению. Сам князь продвинул войска к Жмуди, укрепил некоторые замки, другие, как, например, Ковно, разрушил, чтобы они не стали твердыней для крестоносцев. Ни для кого уже не было тайной, что с наступлением зимы, когда мороз скует трясины и болота, а если выдастся погожее лето, то, быть может, и раньше, вспыхнет великая война, которая охватит все литовские, жмудские и прусские земли. Если же на помощь Витовту придет король, то наступит день, когда немецкая волна либо зальет еще полмира, либо, отбитая, на долгие века вернется в свое старое ложе.

Но все это было дело будущего. Пока же по всему свету разносились стоны и призывы к справедливости. В Кракове и в Праге, при папском дворе и в других западных королевствах читали послание злополучного народа. Князю Янушу это послание привезли бояре, прибывшие вместе с Бронишем из Цясноты. Не один мазур невольно нащупывал меч на боку, раздумывая, не встать ли по собственному почину под знамена Витовта. Все знали, что великий князь с радостью встретил бы закаленную родовую шляхту, такую же неукротимую в бою, как литовские и жмудские бояре, но лучше обученную и лучше вооруженную. Одних толкала на это ненависть к старым врагам шляхты, других — жалость. «Внемлите, внемлите! — взывали жмудины к королям, князьям и всем народам. — Мы были вольным и благородным народом, а орден хочет обратить нас в рабов! Не наших душ ищет он, но земли и достояния. Так велика уже наша нужда, что впору нам просить подаяния или разбоем заняться! Как смеют они крестить нас святой водой, коли у них самих руки нечисты! Мы хотим, чтобы нас крестили, но не кровью и мечом, мы хотим веры, но той, какой учат достойные монархи — Ягайло и Витовт. Внемлите и подайте нам руку помощи, ибо мы погибаем! Орден хочет крестить нас для того, чтобы нас легче было поработить, не священников, а палачей посылает он к нам. Они уже отняли у нас наши ульи, наши стада, все плоды земли; нам нельзя уже ни ловить рыбу, ни бить зверя в пуще! Внемлите нашим мольбам, ибо нас, издревле вольных людей, они заставляют гнуть выю, возводить по ночам замки для них; они увезли как заложников наших детей, а наших жен и

дочерей бесчестят на глазах у мужей и отцов. Не говорить, а стенать должно нам. Они пожгли наши дома, увезли в Пруссию наших владык, убили наших великих людей, Коркуца, Вассыгина, Сволька и Сонгайла, и, как волки, пьют нашу кровь. О, внемлите нам! Ведь мы не звери, а люди, и мы взываем к святейшему отцу, дабы он повелел польским епископам крестить нас, ибо всей душой жаждем мы крещения, но не живой кровью, а водою спасения».

Так жаловались жмудины, и, когда жалобы их дошли до мазовецкого двора, несколько рыцарей и придворных тотчас решили отправиться им на подмогу, уверенные, что и позволения просить у князя Януша нет надобности, хотя бы потому, что княгиня была родной сестрой Витовта. Все распалились гневом, когда от Брониша и бояр стало известно, что многие благородные жмудские юноши, взятые в Пруссию заложниками, не вынесли позора и жестоких мук, которым подвергали их крестоносцы, и покончили с собой.

Глава радовался этому порыву мазовецкого рыцарства. Чем больше людей, думал он, отправится из Польши к князю Витовту, тем сильнее разгорится пламя войны с крестоносцами и тем вернее можно будет выказать свою храбрость. Радовался чех и тому, что увидит Збышка, к которому успел привязаться, и старого рыцаря Мацька, у которого, как он думал, стоило поучиться ратному делу, да и тому, что посмотрит новые дикие края, неведомые города, рыцарей и войско, каких он еще не видывал, и самого князя Витовта, чья слава в то время гремела по свету.

Поэтому он решил лететь во весь опор, останавливаясь только для того, чтобы дать отдохнуть коням. Бояре, которые прибыли с Бронишем из Цясноты, и другие литвины, находившиеся при дворе княгини, знали все дороги и переходы, они-то и должны были провожать его и мазовецких рыцарей от селения к селению, от городка к городку через дремучие, необъятные леса, которыми была покрыта большая часть Мазовии, Литвы и Жмуди.

XVI

В какой-нибудь миле от Ковно, уничтоженного самим Витовтом, стояли в лесах главные силы Скирвойла. В случае необходимости Скирвойло перебрасывал их с молниеносной быстротой с места на место, налетая то на прусские владения, то на замки и городки, оставшиеся еще в руках крестоносцев, и раздувая во всем крае пожар войны. Там-то верный оруженосец и нашел Збышка с Мацьком, который приехал только за два дня до этого. Поздоровался чех со Збышком и ночь напролет проспал как убитый; только на другой день вечером пошел он поздороваться со старым рыцарем. Мацько, усталый и злой, разгневался и стал спрашивать, почему это он ослушался его и не остался в Спыхове. Смягчился старик только после того, как чех, улучив удобную минуту, когда Збышка не было в шатре, объяснил ему, какой приказ получил он от Ягенки.

Глава прибавил, что приехал не только по приказу Ягенки и что не одна только жажда битвы привлекла его сюда: случись что-нибудь, он хотел немедленно послать в Спыхов гонца с вестями. «Панночка, — говорил он, — с ее ангельской душой, молится за дочку Юранда, хоть и не сулит ей это добра. Но всему должен быть конец. Коли нет уже Дануськи в живых, царство ей небесное, непорочна она была, как агнец; но коли отыщется она, нужно немедленно предупредить панночку, чтобы она, не дожидаясь, пока прибудет Дануська, поскорее уезжала из Спыхова, а то отъезд ее будет похож на позорное изгнание».

Мацько слушал чеха неохотно, время от времени повторяя, что не его ума это дело. Но Глава решил говорить напрямик и нимало этим не смутился.

— Лучше было панне оставаться в Згожелицах, — сказал он в заключение, — незачем было ей уезжать. Мы все уверяли бедняжку, что дочки Юранда нет в живых, а может выйти совсем по-другому.

— А не ты ли ей говорил, что Дануськи нет в живых? — сердито спросил Мацько. — Надо было держать язык за зубами. А я взял ее потому, что она боялась Чтана и Вилька.

— Это был только предлог, — ответил оруженосец. — Она спокойно могла оставаться в Згожелицах, ведь Вильк и Чтан препоны чинят друг дружке. А вы, пан, боялись, как бы в случае смерти Дануськи и панночка не ускользнула от пана Збышка, потому и взяли ее с собой.

— Что это ты так занесся! Разве ты не слуга уже, а опоясанный

рыцарь?

— Слуга я, но только панны, потому и забочусь о том, чтобы позор не пал на нее.

Мацько нахмурился и задумался, он был недоволен собой. Не раз уже упрекал он себя за то, что взял Ягенку из Згожелиц: старик понимал, что, подсовывая Ягенку Збышку, он умаляет ее достоинство, а если Дануся найдется, так может получиться и того хуже. Чувствовал он и то, что дерзкий чех прав: хоть и взял он с собой Ягенку, чтобы отвезти ее к аббату, но, узнав о его смерти, мог оставить девушку в Плоцке, а вот же не сделал этого, потащил ее в Спыхов только для того, чтобы она была поближе к Збышку.

— Это мне и в голову не пришло, — сказал он, пытаясь обмануть и себя, и чеха, — она сама навязалась.

— Ах, вот как! Навязалась! Да мы же сами уверили ее, что дочери Юранда нет в живых и что братьям спокойнее будет без нее, — вот она и поехала.

— Это ты ее уверил! — вскричал Мацько.

— Да, и я в этом повинен. Но теперь все станет ясно. Надо что-то делать, иначе лучше смерть.

— Что же ты поделаешь с таким войском и на такой войне?.. — нетерпеливо сказал Мацько. — Может, оно и станет получше, да только в июле, немцы, они ведь воюют зимой и в сухое лето, а теперь одна слава, что война. Князь Витовт, толкуют, в Краков поехал на переговоры с королем, хочет заручиться его согласием и помощью.

— Но ведь есть же поблизости замки крестоносцев. Взять хоть два замка, так, может, дочку Юранда удастся найти, а нет, так дознаться про ее смерть.

— А может, ни то ни другое.

— Зигфрид-то сюда ее увез. Об этом нам и в Щитно говорили, и всюду, да и сами мы так думали.

— А видал ты это войско? Выйди-ка из шатра да погляди. У иных одни только палки, у иных медные прадедовские мечи.

— Да, но я слышал, что жмудины добрые вояки.

— Не голыми же руками брать замки, да еще крестоносцев.

Дальнейший разговор был прерван появлением Збышка и Скирвойла, полководца жмудинов. Это был человек невысокого роста, но плечистый и крепкий. Грудь у него была колесом, так что казалось, что спереди у него горб, а руки доходили чуть не до колен. Он похож был на Зындрама из Машковиц, знаменитого рыцаря, с которым Мацько и Збышко в свое время

познакомились в Кракове: такая же огромная голова и такие же кривые ноги. Говорили, что он хорошо знает искусство войны. Жизнь его прошла в стычках с татарами, с которыми он долгие годы воевал на Руси, да с немцами, которых он ненавидел лютой ненавистью. Во время этих войн он научился говорить по-русски, а потом, при дворе Витовта, немного и по-польски; знал он и по-немецки, во всяком случае, повторял три слова: огонь, кровь и смерть. В огромной его голове зрело множество хитрых военных замыслов, которых крестоносцы не могли ни предугадать, ни предупредить, поэтому в пограничных комтуриях его боялись.

— Мы толковали про набеги, — с необычным оживлением сказал Мацьку Збышко, — и пришли послушать, что скажете вы с вашим опытом.

Мацько усадил Скирвойла на сосновый пенёк, покрытый медвежьей шкурой, затем велел слугам принести братину меда, и рыцари стали попивать мед, черпая его из братины жестяными кружками, а когда все подкрепились, Мацько спросил:

— Так вы хотите учинить набег?

— Пустить дымом немецкие замки.

— Какие же?

— Рагнету или Новое Ковно.

— Рагнету, — сказал Збышко. — Четыре дня назад мы были под Новым Ковно, и немцы побили нас.

— То-то и оно, — подтвердил Скирвойло.

— Так как же?

— Да вот так.

— Погодите, — сказал Мацько, — я ведь здешних мест не знаю. Где Новое Ковно и где Рагнета?

— До Старого Ковно отсюда с милёю, — ответил Збышко, — а от Старого до Нового тоже милёя. Замок на острове. Четыре дня назад мы хотели переправиться; но немцы побили нас у переправы. Полдня гнались они за нами, пока мы не укрылись в лесах, а войско все рассеялось, так что некоторые воины вернулись только сегодня утром.

— А Рагнета?

Скирвойло показал своей длинной, как ветвь, рукой на север и произнес:

— Далеко, далеко!..

— Потому-то набег надо учинить на Рагнету, что она далеко! — ответил Збышко. — Там кругом спокойно, все, у кого оружие в руках, пришли сюда, к нам. Не ждут немцы там набёга, и мы их захватим врасплох.

— Это верно, — сказал Скирвойло.

— Так вы думаете, — спросил Мацько, — и замок можно взять?

Скирвойло отрицательно покачал головой, а Збышко ответил:

— Замок крепкий, так что вряд ли, разве только случайно. Но мы опустошим весь край, пожжем деревни и города, уничтожим припасы, а самое главное — захватим пленников, а среди них могут попасться люди знатные, крестоносцы за таких пленников охотно дают выкуп или обменивают их...

Тут он обратился к Скирвойлу:

— Вы сами, князь, сказали, что я верно говорю, а теперь подумайте и про то, что Новое Ковно на острове. Там мы ни деревень не пожжем, ни стад не отобьем, ни пленников не захватим. Да и разбили нас там совсем недавно. Эх! Пойдемте лучше туда, где нас сейчас не ждут.

— Победитель меньше всего ждет набега, — пробормотал Скирвойло.

Но тут слово взял Мацько и стал поддерживать Збышка, понимая, что под Рагнетой он надеется скорее узнать о жене и там легче захватить знатного пленника, которого можно было бы потом обменять. Он тоже считал, что лучше двинуться дальше и неожиданно вторгнуться в край, который немцы хуже охраняют, чем учинять набег на остров, укрепленный самой природой и защищенный к тому же мощным замком с победоносной стражей.

Как человек, искушенный в военном деле, он говорил ясно и приводил такие неопровержимые доводы, что, казалось, мог бы убедить всякого. Его внимательно слушали. Скирвойло время от времени поднимал брови и поводил ими как бы в знак согласия, а иногда бормотал: «Правильно говорит!» Потом он втянул свою огромную голову в широкие плечи, так что показался всем совершенным горбуном, и погрузился в размышления.

Спустя некоторое время он поднялся и, не говоря ни слова о деле, стал прощаться.

— Ну, так как же, князь? — спросил Мацько. — Куда мы двинемся?

Скирвойло коротко ответил:

— Под Новое Ковно.

И вышел из шатра.

Мацько и чех с минуту в удивлении смотрели на Збышка, а затем старый рыцарь, хлопнув себя по ляжкам, воскликнул:

— Тьфу, ну и пень же!.. Как будто и слушает тебя, а потом все равно по-своему повернет!.. Нечего с ним и горло надсаживать!..

— Слышал я, что он таков, — ответил Збышко. — Сказать по правде, и весь здешний народ на диво упрям; и выслушает как будто тебя, а потом

смотришь, говорил ты как на ветер.

— Так зачем же он спрашивает?

— Потому что мы опоясанные рыцари, да и для того, чтобы со всех сторон обсудить дело. Нет, он вовсе не глуп.

— Под Новым Ковно нас, может, тоже не ждут, — заметил чех, — ведь недавно они нас там разбили. Тут-то он прав.

— Пойдем, поглядишь на людей, над которыми я начальствую, — сказал чеху Збышко, которому было душно в шатре, — нужно их предупредить, чтобы были наготове.

И они вышли. На дворе уже спустилась хмурая и темная ночь, озаряемая только огнями костров, у которых сидели жмудины.

XVII

На службе у Витовта Мацько и Збышко насмотрелись на литовских и жмудских воинов, и лагерь не представлял для них ничего нового; но чех разглядывал все с любопытством, думая о том, каковы эти воины в бою, и сравнивая их с польским и немецким рыцарством. Лагерь расположился в низине, окруженной лесом и болотами, и был надежно защищен от нападения: никакое войско не могло бы пробраться сюда через предательские топи. Самая низина, на которой стояли шалаши, тоже была топкой и болотистой; но жмудины нарубили еловых и сосновых ветвей и так густо устлали ее, что расположились прямо как на сухой земле. Князю Скирвойлу на скорую руку соорудили некое подобие «нумы», литовской хаты, сложенной из земли и неотесанных бревен, для других военачальников сплели из ветвей несколько десятков шалашей, а простые воины сидели вокруг костров под открытым небом, защищенные от холода и дождей одними только кожухами да шкурами, надетыми на голое тело. В лагере еще никто не спал; после недавнего поражения делать людям было нечего, и они отсыпались днем. Одни сидели или лежали у ярко пылавших костров, подкидывая в них хворост и ветви можжевельника, другие рылись в кострах уже погасших и подернувшихся пеплом, от которых шел дух печеной репы, обычной пищи литвинов, и горелого мяса. Между кострами виднелись целые горы оружия, сложенного неподалеку, чтобы в случае надобности воин легко мог схватить свою рогатину, кистень или топор. Глава с любопытством рассматривал эти рогатины с длинным и узким острием, выкованным из каленого железа, эти кистени из молодых дубков, усаженные кремнями или гвоздями, эти топоры с короткими рукоятями, как у польских секир, которыми были вооружены всадники, и с длинными рукоятями, как у бердышей, которыми сражались пешие воины. Попадались и медные топоры, сохранившиеся от тех времен, когда железо в этих глухих местах мало еще употреблялось. Часть мечей тоже была из меди; но большинство из доброй стали, которую привозили из Новгорода. Чех брал в руки рогатины, мечи, топоры, смолистые, обожженные на огне луки и при свете костров испытывал их качество. Коней у костров было немного, табуны паслись поодаль в лесах и на лугах под охраной бдительных конюхов; однако знатные бояре пожелали иметь под рукой своих скакунов, и в лагере было несколько десятков коней, которым боярские невольники засыпали корм в ясли. Глава диву давался, глядя на

этих необычайно низкорослых косматых лошадей с могучими шеями, таких странных с виду, что западные рыцари почитали их совершенно особыми лесными зверями, более похожими на единорогов, чем на настоящих коней.

— Тут рослые боевые кони ни к чему, — говорил опытный Мацько, вспоминая давние времена, когда он служил у Витовта, — рослый конь тотчас увязнет в трясине, а здешняя лошадка пройдет всюду, как человек.

— Но на поле боя, — заметил чех, — она не устоит против рослого немецкого коня.

— Это верно, что не устоит. Зато немец и не убежит от жмудина, и не догонит его — жмудские кони такие же резвые, как и татарские, а может быть, еще резвей.

— Все-таки удивительно мне это, видал я пленников-татар, которых привел рыцарь Зых в Згожелицы, все они были небольшого росточка, такого любая клячонка поднимет, — а ведь жмудины рослый народ.

Народ это был и впрямь могучий. При свете огня из-под шкур и кожухов виднелись то широкие плечи, то мощная грудь. Парни были как на подбор, жилистые, костистые и высокие; вообще они были выше жителей других литовских земель, так как обитали в более плодородной местности, где голод, поражавший иногда Литву, реже давал себя знать. Зато они отличались еще большей дикостью, чем литвины. В Вильно был великокняжеский двор, туда стекались священники с Востока и Запада, прибывали посольства, наезжали иноземные купцы, поэтому жители Вильно и его окрестностей немного освоились с чужеземными обычаями, здесь же иноземец появлялся только в образе крестоносца или меченосца, несущего в глухие лесные селения огонь, рабство и крещение кровью. Поэтому все в Жмуди было более грубым и суровым, более близким к старым временам, более враждебным новшествам: и обычай старый, и старые способы войны, и закоренелость языческих верований, ибо поклоняться Кресту жмудина учил не кроткий глашатай благой вести с любовью апостола, а вооруженный немецкий монах с душой палача.

Скирвойло и знатные князья и бояре последовали примеру Ягайла и Витовта и были уже христианами. Остальные, даже самые простые и дикие воины, смутно чувствовали, что прежней их жизни и прежней их вере приходит смерть, конец. Они готовы были поклониться Кресту, лишь бы только этот Крест не возносили ненавистные немецкие руки. «Мы просим крестить нас, — взывали они ко всем князьям и народам, — но помните, что мы люди, а не звери, которых можно дарить, покупать и продавать». Пока же угасала прежняя вера, как угасает костер, в который никто не

подкидывает дров, а от новой отвращались сердца, потому что немцы силой вынуждали принять ее, в душе жмудина росли пустота, тревога, сожаление о прошлом и глубокая печаль. Чех, который с детства привык к веселому говору солдат, к их песням и шумной музыке, впервые в жизни увидел такой тихий и мрачный лагерь. Лишь кое-где, у костров, разложенных подальше от нумы Скирвойла, слышались звуки свирели или пищалки либо тихая песня, которую пел народный певец. Воины слушали певца, опустив головы, устремив на огонь глаза. Некоторые из них сидели у огня на корточках, опершись локтями на колени и закрыв руками лицо, и были похожи в своих шкурах на хищных лесных зверей. Но когда они поднимали головы навстречу проходившим рыцарям, пламя освещало кроткие лица и голубые, вовсе не жестокие и не хищные глаза, а на рыцарей воины смотрели так, как смотрят грустные и обиженные дети. На краю лагеря лежали на мху раненые, которых удалось вынести из последней битвы. Знахари, так называемые лабдарисы и сейтоны, бормотали заклинания или, осмотрев раны, прикладывали к ним целебные травы, а раненые лежали молча, терпеливо перенося боль и страдания. Из лесных недр, с полян и лугов доносился посвист конюхов; по временам поднимался ветер, окутывая лагерь дымом и наполняя шумом темный лес. Уже стояла глухая ночь, костры начали бледнеть и гаснуть, воцарилась еще большая тишина, усиливая впечатление подавленности и тоски.

Збышко отдал приказ своим людям быть наготове, — юноша легко объяснялся с ними, так как среди них была горсточка полочан, — а затем обратился к своему оруженосцу:

— Ну, нагяделся, пора и в шатер.

— Да, нагяделся, — ответил оруженосец, — но не очень меня все это радует, сразу видно, что враг побил этих воинов.

— Дважды побил: четыре дня назад под стенами замка и третьего дня у переправы. А теперь Скирвойло хочет идти туда в третий раз, чтобы потерпеть третье поражение.

— Как же он не понимает, что с таким войском ему не справиться с немцами? Мне об этом уже говорил рыцарь Мацько, а теперь я и сам вижу, что вояки из этих парней плохие.

— Ошибаешься, храбрее народа на свете не сыщешь. Да вот беда, они сражаются кучей, а немцы в бой идут строем. Вот если удастся им прорвать строй, так не немец уложит жмудина, а скорее жмудин немца. Но немцы это знают и тесно в ряд идут.

— О том, чтобы замки брать, и речи быть не может, — заметил чех.

— Нет у нас для этого никаких орудий, — сказал Збышко. — Орудия у

князя Витовта, и, пока он не подойдет, не взять нам ни одного замка, разве только случай поможет или измена.

За разговором они не заметили, как дошли до шатра, перед которым пылал большой костер, поддерживаемый слугами, а на огне коптилось мясо. В шатре было холодно и сыро, поэтому оба рыцаря, а с ними и Глава, расположились на шкурах у костра.

Поужинав, они попытались уснуть, но не могли. Мацько ворочался с боку на бок и, заметив, что Збышко сидит у огня, обхватив руками колени, спросил:

— Послушай, почему ты советовал идти не поближе к Готтесвердеру, а далеко, к Рагнете? Зачем это тебе?

— Что-то говорит мне, что Дануська в Рагнете, да и стерегут этот замок меньше, чем ближние.

— Некогда нам было потолковать с тобой, я притомился, а ты после поражения собирал по лесу людей. А теперь скажи мне прямо: неужто ты всю жизнь думаешь искать эту девушку?

— Это не девушка, а моя жена, — ответил Збышко.

Воцарилось молчание. Мацько прекрасно понимал, что против этого ничего не скажешь. Если бы Дануся и по сию пору оставалась не замужем, старый рыцарь, несомненно, стал бы уговаривать племянника бросить поиски; но святость брака просто обязывала продолжать их, и Мацько не стал бы даже задавать подобный вопрос, если бы не то обстоятельство, что он не был ни на венчании, ни на свадьбе Збышка и невольно почитал Данусю девушкой.

— Так, — сказал он через минуту. — Но сколько я за эти два дня ни спрашивал тебя, улучив минуту, ты отвечал мне, что ничего не знаешь.

— Да, я ничего не знаю, разве только то, что гнев Божий постигнул меня.

Глава быстро приподнялся на медвежьей шкуре, сел и, насторожившись, стал с любопытством слушать.

— Покуда сон тебя не одолел, — сказал Мацько, — Расскажи, что ты видел, что делал и чего добился в Мальборке?

Збышко откинул волосы — он давно не подрезал их на лбу, и они падали ему на глаза, — посидел с минуту в молчании, а затем повел свой рассказ:

— Дай Бог, чтобы я столько узнал про мою Дануську, сколько знаю про Мальборк. Вы спрашиваете, что я там видел? Я видел безмерное могущество ордена, который поддерживают все короли и все народы, и не знаю, может ли кто в мире помериться силами с ним. Я видел замок, какого

нет, пожалуй, и у римского императора. Я видел неисчислимые сокровища, видел доспехи, видел толпы вооруженных монахов, рыцарей и кнехтов, и святыни, как в Риме у святого отца, — и, скажу вам, сердце у меня похолодело. Подумал я, где уж с ними бороться? Кто их одолеет? Кто против них устоит? Кого не сокрушат они?

— Нас! Черт бы их побрал! — не выдержал Глава.

Мацько только диву дался, услышав речи Збышка, и хоть ему очень хотелось узнать обо всем, что приключилось с племянником, однако старик прервал его:

— А ты забыл про Вильно? Мало мы встречались с ними щитом к щиту, лицом к лицу! А ты забыл, как неохотно сражались они с нами, как жаловались на наше упорство, мало, дескать, загнать поляку коня и переломить ему копье, приходится либо ему голову срубить, либо свою сложить. Были ведь гости и там, которые тоже вызывали нас на бой, и все они с позором покинули поле. Что это ты стал так слабодушен?

— Я не стал слабодушен, я и в Мальборке дрался, а там бились и на острых копьях. Но вы не знаете их могущества.

— А ты знаешь польское могущество? — разгневался старик. — Ты видел все польские хоругви? Не видел. Их могущество держится на насилии и вероломстве, у них нет ни пяди собственной земли. Наши князья приняли их, как принимают в дом убогого человека, и осыпали их дарами, а они, укрепившись, искушали дающую руку, как подлые и бешеные псы. Они захватили землю, изменой взяли города — вот оно, их могущество! Но пусть даже все властители мира придут им на помощь, наступит день Суда и возмездия.

— Вы велели мне рассказать, что я видел, а теперь гневаетесь, лучше уж мне помолчать, — сказал Збышко.

Мацько некоторое время сердито пыхтел, однако через минуту сказал, уже успокоившись:

— А разве так не бывает? Стоит в лесу сосна, словно башня несокрушимая, можно подумать, века простоит, а стукнешь ее хорошенько обухом, и в середине окажется одно дупло. И труха сыплется. Так и с тевтонским могуществом. Но я велел тебе рассказать, что ты делал и чего добился. Ты говоришь, что дрался на острых копьях?

— Дрался. Сперва крестоносцы приняли меня надменно и неприязненно, они уже знали, что я бился с Ротгером. Может, все бы кончилось худо, да приехал я с письмом от князя, и к тому же от злобы их оберегал меня рыцарь де Лорш, которого они уважают. Затем начались пиры и ристалища, и тут Бог послал мне удачу. Вы, верно, слышали, что

меня полюбил брат магистра, Ульрих, и дал мне письменное повеление самого магистра о выдаче Дануськи?

— Говорили нам люди, — ответил Мацько, — будто седельная подпруга лопнула у Ульриха, а ты увидел и не стал нападать на него.

— Да, я поднял вверх копье, и с той поры он меня полюбил. Боже милостивый! Дал он мне грамоту со строжайшим наказом, с нею я мог ездить от замка к замку и чинить розыски. Я уж думал, что кончились мои беды и мои муки, а теперь сижу вот здесь, в этом диком краю, и в тоске и печали не знаю, что делать, и с каждым днем все горше мне и все тоскливей...

Он умолк на минуту, а затем с такой силой швырнул щепки в огонь, что от пылавших головней посыпались искры.

— Коли томится она, моя бедняжка, где-нибудь в замке, — произнес он, — и думает, что позабыл я ее, так лучше тогда умереть мне на месте!

И видно, столько муки накопело у него на сердце, что он, словно в приступе внезапной нестерпимой боли, снова стал швырять щепки в огонь. Мацько и Глава просто потрясены были, они никак не думали, что Збышко так любит Данусю.

— Успокойся! — воскликнул Мацько. — Расскажи лучше, как было с этой грамотой? Неужто комтуры не хотели слушать магистра?

— Успокойтесь, милостивый пан, — проговорил чех. — Бог вас утешит, и, может быть, скоро.

Слезы блеснули на глазах у Збышка, однако он овладел собою.

— Эти предатели, — сказал юноша, — открывали предо мною замки и темницы. Я был везде, искал повсюду! Но тут вспыхнула война, и в Гердавах правитель фон Гайдек сказал мне, что военные законы другие и что грамоты, выданные в мирное время, теряют свою силу. Я его тотчас вызвал на бой, но он не принял вызова и велел изгнать меня из замка.

— А в других замках? — спросил Мацько.

— Везде одно и то же. В Крулевце комтур, которому подчинен гердавский правитель, не пожелал даже читать письмо магистра. «Война — это война», — сказал он мне и посоветовал уносить ноги, покуда цел. Спрашивал я и в других местах — везде одно и то же.

— Теперь все ясно, — проговорил старый рыцарь. — Ты увидел, что ничего не добьешься, и решил лучше приехать сюда, где хоть может представиться случай отомстить.

— Да, — ответил Збышко. — Я подумал еще, что мы захватим невольников, возьмем несколько замков; но жмудины не умеют их брать.

— Вот придет князь Витовт, и тогда все будет по-иному.

— Дай-то Бог.

— Он придет. Я при мазовецком дворе слышал, что придет, а может, и король вместе с ним да со всеми польскими силами.

Дальнейший разговор был прерван приходом Скирвойло, который неожиданно появился из мрака и сказал:

— Выступаем в поход.

Рыцари при этих словах тотчас вскочили на ноги, а Скирвойло, вплотную придвинувшись к ним, сказал приглушенным голосом:

— Есть новости: к Новому Ковно подходит подмога. Два рыцаря ведут кнехтов со скотом и припасами. Мы их перехватим.

— Значит, переправимся через Неман? — спросил Збышко.

— Да. Я знаю брод.

— А в замке знают о том, что идет подмога?

— Знают и выйдут навстречу, на тех ударите вы.

И он стал объяснять, где они должны засечь в засаду, чтобы неожиданно ударить на немцев, которые поспешат выйти из замка навстречу подмоге. Ему хотелось дать одновременно два боя и отомстить за последние поражения; это было тем легче, что враг после недавней победы чувствовал себя в полной безопасности. Скирвойло указал польским рыцарям место, куда они должны прийти, и назначил время прибытия, остальное же предоставил их мужеству и находчивости. Те обрадовались, сразу поняв, что имеют дело с опытным и умным полководцем. Затем Скирвойло велел рыцарям следовать за ним и вернулся к себе в нуму, где его ждали князь и бояре-сотники. Там он повторил свой приказ и отдал новые распоряжения, а потом поднес к губам пицалку, вырезанную из волчьей кости, и заиграл так пронзительно и громко, что свист разнесся по лагерю из конца в конец.

Все закипело при этом звуке у потухших костров, то там, то тут стали вспыхивать искры, сверкнули огоньки; с каждой минутой они становились все ярче, и при свете их стали видны дикие фигуры воинов, собиравшихся около сложенного оружия. Лес затрепетал и проснулся. Вскоре из недр его донеслись окрики конюхов, гнавших к лагерю табуны коней.

XVIII

К утру подошли к Невяже и переправились на другой берег, кто верхом, кто уцепившись за конский хвост, а кто на связке ивовых прутьев. Все произошло так быстро, что Мацько, Збышко, Глава и охотники-мазуры удивились ловкости воинов и теперь только поняли, почему ни леса, ни болота, ни реки не могли служить преградой для набегов Литвы. Выйдя из воды, никто не снял одежды, не сбросил кожуха или волчьей шкуры, воины сушились, подставляя спины солнцу, так что пар валил от всех, словно дым из смолокурни; после непродолжительного отдыха войско поспешно двинулось на север. Поздним вечером дошли до Немана. Вода в большой реке поднялась, и переправа здесь тоже была нелегкой. Брод, который был известен Скирвойло, местами стал так глубок, что коням приходилось пускаться вплавь. На глазах у Збышка и чеха двух воинов унесло течением; тщетно пытались они спасти утопающих, было так темно и река так кипела, что Збышко с чехом скоро потеряли их из виду, а те не посмели позвать на помощь, памятуя приказ полководца при переправе хранить немое молчание. Все остальные благополучно добрались до противоположного берега, где без огня просидели до рассвета.

Едва забрезжил свет, все войско разделилось на два отряда. С одним Скирвойло направился навстречу рыцарям, которые вели в Готтесвердер подмогу, другой же отряд Збышко повел назад, к острову, чтобы перехватить стражу замка, которая должна была выйти навстречу рыцарям. В небе загорался ясный и погожий день, а на земле лес, топкие луга и кусты окутал густой белый туман, застилавший даль. Збышку и его людям это было на руку, так как немцы, двигавшиеся от замка, не могли их издали заметить и вовремя уклониться от боя. Молодой рыцарь был очень этому рад.

— В таком тумане, — говорил он Мацьку, который ехал рядом с ним, — мы не увидим врага, а просто столкнемся с ним, дай только Бог, чтобы туман не рассеялся хоть до полудня.

С этими словами он поскакал вперед, чтобы отдать приказы сотникам, ехавшим впереди, однако тотчас вернулся и сказал:

— Мы выйдем скоро на дорогу, которая начинается от перевоза, что против острова, и идет в глубь края. Там заляжем в зарослях и будем ждать.

— Откуда ты знаешь про дорогу? — спросил Мацько.

— От здешних мужиков, их у меня в отряде больше десятка. Они-то и

ведут нас...

— А далеко ли от замка и острова нам придется залечь?

— За милю.

— Это хорошо: если ближе, из замка могут послать кнехтов на подмогу, а так не только послать не успеют, и криков не услышат.

— Я об этом подумал.

— Подумал об одном, так подумай и о другом: коли мужики у тебя народ надежный, вышли двоих-троих вперед, чтобы первый, кто увидит немцев, тотчас дал бы нам знать.

— Ба! И это уж сделано!

— Ну, тогда я тебе еще вот что скажу: прикажи одной-двум сотням не вступать в бой, когда мы с немцами сшибемся, а скакать в обход и отрезать дорогу от острова.

— Это первое дело! — ответил Збышко. — Но и такой приказ уже отдан. Немцы как в ловушку попадут или в западню.

Мацько при этих словах бросил на племянника одобрительный взгляд, он был доволен, что Збышко, невзирая на молодые годы, так хорошо знает военное дело.

— Наша кровь! — пробормотал он с улыбкой.

Оруженосец Глава радовался в душе еще больше Мацька: не было для него большего упоения, как в бою.

— Не знаю, — сказал он, — как будут наши люди сражаться, но идут они без шума, в порядке и, видно, рвутся в бой. Коли Скирвойло все хорошо обдумал, ни одному немцу не уйти живым.

— Даст Бог, мало кто из них вырвется, — ответил Збышко. — Но я отдал приказ брать побольше пленников, а ежели попадется рыцарь или монах, ни в коем случае не убивать их.

— Почему, милостивый пан? — спросил чех.

— Вы тоже смотрите, — сказал Збышко, — пленников берите побольше. Коли рыцарь — гость, он разъезжает по городам, по замкам, видит множество людей, слышит всякие новости, а коли он монах, так и подавно. По чистой совести скажу, я затем сюда и приехал, чтобы захватить кого-нибудь познатней и обменять его на Дануську. Только этот путь у меня и остался... если только остался.

С этими словами он пришпорил коня и снова ускакал вперед, к голове отряда, чтобы отдать последние приказы и уйти от печальных мыслей, для которых и времени уже не оставалось: отряд приближался к месту, выбранному для засады.

— Почему это молодой пан так уверен, что его жена еще жива и что

она в этих местах? — спросил чех.

— Коли Зигфрид ее сразу под горячую руку не убил в Щитно, — ответил ему Мацько, — то и впрямь можно надеяться, что она еще жива. А когда бы он убил ее, так не стал бы щитненский ксендз рассказывать нам все то, что слышал и Збышко. И самому свирепому человеку не так-то легко поднять руку на беззащитную женщину, а тем более на невинное дитя.

— Не так-то легко, да только не крестоносцу. А дети князя Витовта?

— Это верно, что сердце у крестоносца волчье, но верно и то, что Зигфрид не убил ее в Щитно, он уехал сюда и, может, укрыл ее в каком-нибудь замке.

— Эх, кабы взять этот остров и замок!

— Ты только погляди на этих людей, — сказал Мацько.

— Так-то оно так! Но только есть у меня одна мысль, я скажу об этом молодому пану.

— Да будь у тебя их целый десяток, все едино стен копьями не сокрушить.

Мацько показал при этих словах на лес копий, которыми была вооружена большая часть воинов, и спросил:

— Видал ли ты когда такое войско?

Чех и впрямь отродясь ничего подобного не видывал. Перед ними, продираясь сквозь лесную чащобу, где трудно было держать равнение, подвигалась нестройная толпа воинов. Пешие в этой толпе перемешались со всадниками и, чтобы не отстать от них, держались за седла, за конские хвосты и гривы. На плечи у воинов были наброшены волчьи, рысьи и медвежьи шкуры, на головах торчали то кабаньи клыки, то оленьи рога, то косматые уши, и если бы не лес копий и не осмоленные луки да полные стрел колчаны за спинами — сзади, особенно в тумане, могло показаться, что это целые косяки диких зверей двинулись из лесных дебрей и уходят, гонимые жаждой крови или голодом. Было в этом нечто страшное и в то же время такое необычайное, словно взору открылось вдруг поразительное зрелище, когда, по поверью, срываются и уходят из лесу куда глаза глядят не только дикие звери, но даже кусты и камни.

Увидев эту картину, один из ленкавицких шляхтичей, прибывших с чехом, подъехал к нему и сказал:

— Во имя Отца и Сына! Ведь мы не с людьми идем, а со стаей настоящих волков.

Хоть Главе самому это было в диковину, однако он ответил как человек бывалый, который видал виды и которого ничем не удивишь:

— Волки только зимой стаями ходят, а кровью крестоносцев можно и

весной поживиться.

И в самом деле была уже весна — месяц май! Орешник в лесу покрылся яркой зеленью. Из пушистого, мягкого моха, по которому бесшумно ступали воины, пробивались белые и голубые ветреницы, молоденькие кустики ягод и зубчатые листья папоротника. От деревьев, щедро окропленных обильным дождем, пахло сырой корой, а от опавшей хвои и листвы тянуло прелью. Солнце всеми цветами радуги переливалось в каплях росы, повисших на листьях, и птицы радостно щебетали в вышине.

Збышко торопил людей, и отряд все быстрее подвигался вперед. Вскоре юноша опять вернулся в хвост отряда, где ехали Мацько, чех и мазурские охотники. Окрыленный надеждой на удачу, он заметно оживился; лицо его утратило обычное грустное выражение, и глаза засверкали былым огнем.

— Ну! — крикнул он. — Нам теперь не в хвосте плестись, а впереди надо скакать.

И он повел их к голове отряда.

— Послушайте, — продолжал он, — может, мы врасплох нападём на немцев, но если только они спохватятся и успеют построиться, так мы ударим первые, у нас и доспехи покрепче, и мечи получше, чем у жмудинов!

— Так и сделаем! — сказал Мацько.

Одни всадники покрепче уселись в седлах, словно им сейчас же надо было ринуться в бой; другие втянули побольше воздуха в грудь и попробовали, легко ли меч ходит в ножнах.

Збышко еще раз повторил, что, если среди пеших кнехтов окажутся рыцари или монахи в белых плащах поверх доспехов, не убивать их, а брать в плен, затем снова ускакал к провожатым и через минуту остановил отряд.

Они вышли на дорогу, которая от пристани, расположенной напротив острова, бежала в глубь страны. Это не была настоящая большая дорога, а скорее проселок, недавно проложенный в лесу и настолько уезженный, что по нему с трудом, но все же могли пройти войска и повозки. По обе стороны высился лес и громоздились срубленные при прокладке стволы старых сосен. Заросли орешника местами были так густы, что совсем закрывали лесные недра. Збышко выбрал место на повороте, чтобы немцы, приближаясь, не могли заметить отряд и не успели ни отступить, ни построиться в боевые порядки. Он расположил людей по обе стороны дороги и приказал ждать врага.

Привычные к лесной войне жмудины так ловко притаились за пнями и вывороченными бурей корневищами, за кустами орешника и купами молодых елочек, точно в землю ушли. Не слышно стало ни человеческих голосов, ни фыркания коней. Порою мимо притаившихся людей пробежал то мелкий, то крупный лесной зверь и, только наткнувшись на них, фыркнул в испуге и шарахался в сторону. По временам поднимался ветер, наполняя лес торжественным, великим шумом, и снова стихал; тогда слышно было только, как кукуют кукушки да долбят поблизости дятлы.

С радостью внимали жмудины всем этим звукам, особенно стуку дятлов, которых они почитали предвестниками счастья. А дятлов в лесу было полным-полно, и отовсюду долетал их стук, настойчивый, быстрый, напоминавший труд человека. Казалось, что не дерево они долбят, а бьют по наковаленкам, что у всякого тут своя кузница и все они с раннего утра усердно принялись за работу. А Мацьку и мазурам представлялось, что это плотники приколачивают стропила на новом доме, — и они вспоминали родную свою сторону.

Но часы текли, а, кроме лесного шума и птичьего гомона, ничего не было слышно. Туман, одевший землю, успел поредеть, солнце заметно поднялось и стало уже припекать, а воины все лежали. Наконец Глава, которому наскучили ожидание и тишина, нагнулся к уху Збышка и прошептал:

— Милостивый пан... Коли, даст Бог, ни один собачий сын не уйдет живым, нельзя ли нам тогда, подкравшись ночью к острову, переправиться на ту сторону, напасть врасплох на немцев и взять замок?

— Ты думаешь, они лодок не охраняют и пропуска у них нет?

— И лодки они охраняют, и пропуск у них есть, — снова зашептал чех, — но пленники под ножом скажут пропуск, а то и сами окликнут своих по-немецки. Лишь бы до острова добраться, а тогда замок...

Он не кончил, Збышко внезапно зажал ему рукой рот, услышав, как закаркал на дороге ворон.

— Тише! — произнес он. — Это знак!

Спустя несколько минут на дороге показался жмудин на маленьком лохматом коньке, копыта которого были обернуты овчиной, чтобы не слышно было топота и на грязи не оставались следы.

Жмудин быстро озирался по сторонам; услышав из чащи ответное карканье, он нырнул внезапно в лес и через минуту был уже около Збышка.

— Идут!.. — сказал он.

XIX

Збышко стал поспешно расспрашивать, как немцы идут, сколько у них всадников и сколько пеших кнехтов и, самое главное, далеко ли они еще от засады. От жмудина он узнал, что в отряде не более полутораста человек, из них полсотни всадников, и ведет их не крестоносец, а светский рыцарь, что идут они в строю, а за ними следуют повозки с запасными колесами, что впереди отряда на расстоянии двойного полета стрелы идут восемь человек «охранения», которые часто сворачивают с дороги и обшаривают лесную чащобу, и, наконец, что весь отряд находится в четверти мили от засады.

Збышко огорчился, узнав, что крестоносцы идут в строю. Он по опыту знал, как трудно в таких случаях прорвать сомкнутые ряды немцев и как умело обороняется при отступлении такой отряд, отбиваясь от врага, как окруженный собаками вепрь-одинец. Зато он обрадовался, узнав, что немцы от них не больше чем в четверти мили, заключив из этого, что высланная им в обход часть отряда уже зашла врагу в тыл и в случае его поражения не выпустит живым ни одного человека. Охранение мало смущало Збышка: он уже отдал приказ своим жмудиным спокойно пропустить его вперед, если же кнехты вздумают углубиться в лес, переловить их потихоньку всех до единого.

Последний приказ оказался лишним. Охранение вскоре подошло к отряду. Жмудины, укрывшиеся за корневищами поближе к дороге, ясно видели, как кнехты остановились на повороте и начали о чем-то переговариваться. Начальник, плотный рыжебородый немец, знаком приказал им замолчать и стал прислушиваться. С минуту он явно колебался, не свернуть ли с дороги в лес, но, услышав только, как долбят дятлы, решил, что, если бы в лесу укрылись люди, птицы не трудились бы с такой беспечностью, и, махнув рукой, повел отряд дальше.

Збышко выждал, пока немцы не скрылись за следующим поворотом, а затем во главе вооруженных рыцарей подошел к самой дороге. Среди прочих были тут Мацько, чех, двое шляхтичей из Ленкавицы, три молодых рыцаря из Цеханова и человек двадцать лучше вооруженных жмудских бояр. Укрываться не было больше особой надобности, и Збышко решил при появлении немцев тотчас выдвинуться на середину дороги, броситься на врага и прорвать его ряды. Если бы это удалось и вместо общего сражения завязались отдельные бои, он мог бы быть уверен, что

жмудины справятся с немцами.

На минуту снова воцарилась тишина, нарушаемая только обычным лесным шумом. Но вскоре с восточной стороны дороги донесся шум голосов. Сначала смутный и отдаленный, он постепенно приближался и становился все явственней.

В ту же минуту Збышко вывел свой отряд на середину дороги и построил его клином. Сам он стал во главе отряда, а Мацько и чех непосредственно за ним. В третьем ряду стояли три человека, в следующем — четыре. Все были хорошо вооружены; правда, им не доставало ратовищ, то есть длинных рыцарских копий; но в лесу эти копья были бы большой помехой. Зато в руках у рыцарей для первого натиска были жмудские копья покорооче и полегче рыцарских, а для жаркой рукопашной схватки — мечи у седел и секиры.

Глава насторожился и, прислушавшись, шепнул Мацьку:

— Поют, черт бы их побрал!

— Странно мне, почему это лес впереди смыкается, да и их что-то все еще не видно, — заметил Мацько.

Збышко, полагая, что дальнейшие предосторожности излишни и можно уже громко разговаривать, повернулся и сказал:

— Это потому, что дорога идет вдоль реки и часто делает повороты. Мы встретимся неожиданно, да оно и лучше.

— А песню поют веселую! — заметил чех.

Немцы и в самом деле пели вовсе не благочестивую песню, это было ясно по напеву. Прислушавшись, можно было определить, что поют всего человек двадцать, а остальные только подхватывают припев, который как гром разносится по лесу.

Так, веселые и жизнерадостные, шли немцы навстречу смерти.

— Скоро мы их увидим, — сказал Мацько.

При этом лицо его потемнело и приняло волчье выражение; неумолим и упорен был он, да и до сих пор еще не разделался с немцами за ту стрелу, что вонзилась ему в грудь, когда он ехал к магистру с письмом от сестры Витовта.

И теперь все в нем кипело, и жажда мести владела им.

«Несдобровать тому, кто первый сшибется с ним», — подумал Глава, бросив взгляд на старого рыцаря.

Но тут порыв ветерка явственно донес припев, который немцы повторяли хором: «Тантарадай! Тантарадай!» — и вслед за тем чех услышал знакомую песню:^[102]

Bi den rosen, er wol mac,
Tantaradei!
Merken wa mir'z houbet lac...

И вдруг немцы оборвали песню, услышав с обеих сторон такое шумное и громкое карканье, точно в этом уголке леса открыл заседание вороний сейм. Крестоносцы диву дались, откуда взялось здесь столько воронья и почему оно каркает не на вершинах деревьев, а на земле. Как раз в эту минуту первая шеренга кнехтов появилась на повороте дороги и, увидев впереди незнакомых всадников, стала как вкопанная.

В то же самое мгновение Збышко пригнулся в седле и дал шпоры коню:

— Вперед на врага!

Остальные помчались за ним. С обеих сторон леса неся оглушительный клич жмудинов. Около двухсот шагов отделяло отряд Збышка от первой шеренги немцев, которые в мгновение ока наставили навстречу всадникам лес копий, тогда как остальные шеренги с такой же быстротой повернулись лицом направо и налево, чтобы защищаться от нападения с флангов. Польские рыцари удивились бы выучке крестоносцев, если бы у них было время и если бы кони не несли их с бешеной быстротой к направленным на них сверкающим копьям.

По счастливой для Збышка случайности немецкая конница находилась позади своего отряда, при повозках. Правда, она тотчас двинулась на помощь своей пехоте, но не могла ни пробиться сквозь шеренги кнехтов, ни обойти их и тем самым прикрыть от первого натиска. Притом ее самое окружила целая орда жмудинов, которые вылетели из зарослей, точно рой рассерженных ос, когда гнездо их заденет ногой неосторожный путник. Тем временем Збышко со своим отрядом ударил на пехоту.

Но удар был безуспешен. Немцы, воткнув в землю острые концы древков своих тяжелых копий и бердышей, держали их так ровно и крепко, что легкие жмудские кони не могли проломить эту стену. Конь Мацька, раненный в цевку, взвился на дыбы, а затем ткнулся мордой в землю. На мгновение смертельная опасность нависла над старым рыцарем; но искушенный воитель, побывавший во всяких переделках, высвободил ноги из стремян, схватился могучей рукой за острие немецкого копья, которое, вместо того чтобы вонзиться рыцарю в грудь, послужило ему опорой, затем вскочил, скользнул между коней и, обнажив меч, стал рубить копья и бердыши, как хищный кречет, когда он яростно когтит стаю долгоносых

журавлей.

Конь Збышка перед самой стеной немцев остановился внезапно на всем скаку и присел на задние ноги; молодой рыцарь оперся на копье, но копье переломилось, и он тоже схватился за меч. Чех, самым верным оружием почитавший секиру, метнул ее в гущу немцев и на какой-то краткий миг остался безоружным. Один из ленкавицких шляхтичей погиб, другого охватил при этом такой гнев, что он взвыл по-волчьи и, вздыбив окровавленного коня, ринулся очертя голову в самую гущу немцев. Жмудские бояре рубили мечами острия и древки копий, из-за которых выглядывали застывшие от изумления, перекошенные от упорства и ярости лица кнехтов. Но прорвать ряды немцев рыцарям не удалось. Жмудины ударили было на врага с флангов, но тотчас отпрянули, как от ежа. Правда, они тут же бросились на немцев с еще большим ожесточением, но и на этот раз ничего не добились.

Некоторые из них мгновенно взобрались на придорожные сосны и стали стрелять по кнехтам из луков; начальник немцев заметил это и отдал приказ отступать к своей коннице. Немецкие лучники тоже начали отстреливаться из самострелов, и не один жмудин, укрывшийся в ветвях сосны, пал тогда, как зрелая шишка, на землю и, умирая, рвал руками лесной мох или бился, как рыба, выброшенная на берег. Окруженные со всех сторон, немцы не могли рассчитывать на победу, но они успешно оборонялись и надеялись, что хоть горсточке удастся вырваться из кольца и пробиться назад к реке.

Никому из немцев не пришло в голову сдаться; они сами не щадили пленников и знали, что и им нельзя ждать пощады от народа, который в порыве отчаяния с оружием в руках поднялся на своего врага. И они отступали в молчании, тесным строем, плечом к плечу; то занося, то опуская копья и бердыши, они в общем смятении рубили, кололи, разили врага из самострелов, все приближаясь к своей коннице, которая не на живот, а на смерть билась с другим отрядом.

Вдруг произошло нечто неожиданное, что решило участь ожесточенной сечи. Шляхтич из Ленкавицы, которого привела в ярость гибель брата, нагнулся, не слезая с лошади, и поднял с земли его тело, желая, видно, уберечь труп от конских копыт и положить его в укромном месте, чтобы после битвы его легче было найти. Но в ту же минуту новая волна ярости захлестнула его, и, совсем потеряв рассудок, он, вместо того чтобы свернуть с дороги, бросился на кнехтов и швырнул тело брата на острия их копий. Вонзившись в грудь, живот и бедра трупа, копья согнулись под его тяжестью; не успели кнехты выдернуть их, как безумец,

опрокидывая людей, ураганом ринулся в разрыв, образовавшийся между рядами.

Мгновенно десятки рук протянулись к нему, десятки копий пронзили бока его коня; но ряды в это время смешались, и прежде чем строй был восстановлен, один из жмудских бояр, который был поближе, тоже бросился в гущу немцев, за ним ринулись Збышко и чех, и ужасное смятение стало возрастать с каждой минутой. Другие бояре, хватая тела убитых, тоже стали кидать их на острия копий, а с флангов опять нажали жмудины. Стройный отряд заколебался, дрогнул, как дом, в котором треснули стены, раскололся, как дерево под клином, и наконец рассыпался.

Битва в мгновение ока обратилась в резню. В закипевшей свалке немецкие копья и бердыши оказались совершенно бесполезными. Зато клинки конницы со скрежетом рубили головы. Кони напирали на толпу, опрокидывая и топча несчастных кнехтов. Всадникам легко было рубить сверху, и они разили без отдыха, без передышки. С обеих сторон дороги высыпали все новые и новые толпы диких воинов в волчьих шкурах и с волчьей жаждой крови в груди. Их вой заглушал мольбы о пощаде и стоны умирающих. Побежденные бросали оружие; одни пытались скрыться в лесу, другие, притворяясь убитыми, падали наземь, третьи, закрыв глаза, просто замерли на месте, и лица их были бледны как полотно; некоторые молились, а один кнехт, помешавшись, видно, от ужаса, играл на пищалке, улыбаясь и поднимая к небу глаза, пока жмудский воин не размозжил ему дубиной голову. Лес перестал шуметь, словно ужаснулся смерти.

Наконец горсть крестоносцев растаяла. Только по временам из кустов долетал отголосок короткой схватки или пронзительный отчаянный крик. Збышко и Мацько, а за ними все всадники бросились теперь на конницу.

Она еще оборонялась, построившись в круг, как всегда оборонялись немцы, когда неприятелю удавалось окружить их превосходными силами. Под крестоносцами были добрые кони, доспехи у них были лучше, чем у пехоты, и дрались они храбро, с удивительным упорством. Среди них не было ни одного рыцаря в белом плаще; отряд состоял преимущественно из среднего и мелкого прусского дворянства, которое по призыву ордена обязано было идти на войну. Кони большей частью были тоже в броне, некоторые в пополах и все с железными налобниками, посередине которых торчал стальной рог. Командовал конницей высокий, стройный рыцарь в темно-голубом панцире и таком же шлеме с опущенным забралом.

Из лесных недр на немцев летел град стрел, которые отскакивали от налобников, панцирей и каленых наплечников. Тесной толпой окружали врагов пешие и конные жмудины; но немцы так ожесточенно оборонялись,

так рубили и кололи их длинными мечами, что трупы под конскими копытами кругом усеяли землю. Первые ряды нападавших попытались было отойти, но сзади на них напирали новые толпы, отступить было некуда. Началось смятение. Глаза слепил блеск копий и мечей. Кони стали ржать, кусаться и лягаться. Но тут подросли жмудские бояре, подросли Збышко, чех и мазуры. Под их могучими ударами конница дрогнула и колыхнулась, как лес под напором ветра, а они, подобно лесорубам, которые валят лес, стали медленно, напрягая все силы в тяжком ратном труде, подвигаться вперед.

Мацько приказал собрать на поле боя длинные немецкие бердыши и, вооружив ими человек тридцать диких воинов, начал пробиваться сквозь толпу к немцам. «Руби коней по ногам!» — крикнул он, протиснувшись к всадникам. Это сразу решило участь боя. Немецкие рыцари не могли достать мечами жмудинов, а тем временем бердыши беспощадно рубили ноги коням. Тогда голубой рыцарь понял, что приходит конец сече и что ему остается только либо прорваться сквозь толпу, преградившую дорогу назад, либо погибнуть.

Он выбрал первое, и по его приказу ряды рыцарей мгновенно повернули назад. Жмудины тотчас напали на них; но немцы, закинув за спину щиты и рубя направо и налево, прорвали окружавшее их кольцо и ураганом понеслись на восток. Навстречу им бросился отряд, который только что подскочил к полю боя; но, смятый лучше вооруженным врагом, у которого были к тому же рослые кони, он в минуту полег, как нива под дуновением бури. Путь к замку был свободен; но спасение представлялось далеким и надежды на него было мало, так как жмудские кони против немецких обладали большей резвостью. Голубой рыцарь прекрасно это понял.

«Беда! — сказал он про себя. — Никто не спасется. Только ценой собственной крови могу я спасти их».

И он крикнул ближайшим крестоносцам, приказывая остановить коней, а сам повернул своего коня крутом и, не глядя, внял ли кто-нибудь его призыву, стал лицом к неприятелю.

Впереди преследователей несясь Збышко; немец ударил его по нагнетнику, но не разбил шлема и не поранил лица. Тогда Збышко, вместо того чтобы ответить на удар ударом, схватил рыцаря за стан, сшибся с ним и, желая во что бы то ни стало взять врага живым, попытался стащить его с седла. Но от натуги у него лопнуло стремя, и оба рыцаря свалились на землю. Минуту они катались по земле, колотя друг друга руками и ногами; но вскоре необыкновенно сильный Збышко одолел своего противника и,

придавив ему коленями живот, подмял под себя, как волк собаку, которая осмелилась напасть на него в чаще леса.

Впрочем, в этом не было надобности, так как немец лишился чувств. Тем временем подбежал Мацько с чехом, и Збышко, увидев их, закричал:

— Сюда! Вяжите его! Это знатный рыцарь, да к тому же опоясанный!

Чех соскочил с коня, но, увидев, что рыцарь лежит без памяти, не стал его связывать, он только обезоружил его, отстегнул наплечники, снял пояс с висевшей на нем мизерикордией, разрезал подбородные ремни и принялся за винтики, которыми было привинчено забрало.

Но, заглянув рыцарю в лицо, он мгновенно вскочил на ноги с криком:

— Пан, пан, поглядите-ка!

— Де Лорш! — воскликнул Збышко.

А де Лорш лежал недвижим, как труп, с бледным, покрытым потом лицом и закрытыми глазами.

Збышко велел положить его на одну из захваченных повозок, нагруженных новыми колесами и осями для отряда, шедшего на подмогу замку. Сам он пересел на другого коня и вместе с Мацьком пустился в погоню за убегающими немцами. Преследовать их было не особенно трудно: немецкие кони не отличались резвостью, а по размытой весенними дождями дороге бежали и вовсе плохо. На легкой и быстроногой кобылке убитого шляхтича из Ленкавицы Мацько, проскакав с полверсты, обогнал почти всех жмудинов и вскоре настиг первого рейтара. По рыцарскому обычаю, он предложил ему сдаться в плен или вступить в единоборство, но тот, притворяясь глухим, даже щит бросил, чтобы облегчить коня, и, пригнувшись к луке, вонзил ему шпоры в бока; тогда старый рыцарь широкой секирой нанес немцу страшный удар между лопаток и свалил его с коня.

Так мстил Мацько убегающим врагам за пущенную в него когда-то предательскую стрелу, а те, как стадо оленей, бежали от него в смертельном страхе, не желая ни биться, ни обороняться, а только прочь уйти от страшного рыцаря. Человек десять немцев свернули в лес; но один увяз у ручья, и жмудины скрутили его веревкой, а за остальными в лесную чащу бросились целые толпы преследователей, и вскоре началась дикая охота, и лес огласился криками, воплями и призывами. Долго еще отдавались они в его недрах, пока не были переловлены все немцы. После этого старый рыцарь из Богданца вернулся со Збышком и чехом на прежнее поле боя, где лежали зарубленные пешие кнехты. Трупы их были раздеты донага, а некоторые страшно изуродованы мстительными жмудинами. Была одержана крупная победа, и народ ликовал. После последнего поражения Скирвойла под Готтесвердером в душу народа стало закрадываться сомнение, тем более что обещанная Витовтом подмога все еще не подходила; теперь же вновь ожила надежда и вновь разгорелись сердца, словно пламя, когда в огонь подбросишь дров.

Убитых жмудинов и немцев было слишком много, чтобы их хоронить, и Збышко велел вырыть копьями могилы только для двух шляхтичей из Ленкавицы, главных виновников победы, и похоронить их под соснами, на стволах которых он вырубил мечом кресты. Затем он приказал чеху приглядывать за господином де Лоршем, который все еще не приходил в чувство, а сам поспешно повел людей тем же путем к Скирвойлу, чтобы в

случае необходимости прийти ему на подмогу.

После долгого перехода они вышли на пустое поле сражения, усеянное трупами жмудинов и немцев. Збышко сразу понял, что грозный Скирвойло тоже одержал большую победу; если бы он был разбит, они на пути к замку встретили бы немцев. Но, видно, ценой больших потерь досталась Скирвойлу эта победа: даже за пределами поля боя земля была усеяна трупами. Опытный Мацько заключил из этого, что части немцев удалось спастись бегством.

Трудно было сказать, преследовал ли их Скирвойло, следы были плохо видны и затоптаны. Мацько все же пришел к выводу, что сражение разыгралось довольно давно, быть может, даже раньше, чем у Збышка, так как трупы уже почернели и распухли, а некоторые были изъедены волками, которые при приближении вооруженных людей убегали в лесную чащу.

Збышко решил не ждать Скирвойла и вернуться в старый надежный лагерь. Прибыв поздней ночью, он нашел уже в лагере жмудского полководца, который приехал немного раньше. Обычно угрюмое лицо его сияло теперь злой радостью. Он тотчас же стал расспрашивать про битву и, узнав о победе, сказал голосом, похожим на карканье ворона:

— Я тобой доволен и собой доволен. Подмога придет не скоро, а если великий князь прибудет, он тоже обрадуется, потому что замок будет наш.

— Кого ты захватил из пленников? — спросил Збышко.

— Так, плотва, ни одной щуки. Была одна, нет, две, да обе ушли. Зубастые щуки! Нарубили людей и ушли!

— А мне Бог послал одного пленника. Богатый и славный рыцарь, хоть и светский, гость крестоносцев!

Страшный жмудин охватил руками шею, как петлей, затем правой сделал движение вверх, как бы показывая веревку.

— Вот что ему будет! — проговорил он. — Как и прочим... Да.

Но Збышко нахмурил брови.

— Не будет ему ничего такого, он мой пленник и друг. Князь Януш вместе нас опоясывал, и я его пальцем не дам тронуть.

— Не дашь?

— Не дам.

И они, насупя брови, впились друг в друга глазами. Казалось, оба сейчас взорвутся, но Збышко не хотел ссориться со старым полководцем, которого он ценил и уважал, к тому же молодой рыцарь был одушевлен событиями, происшедшими в этот день; обняв вдруг Скирвойла за шею, он прижал его к груди.

— Неужто, — воскликнул он, — ты хочешь отнять его у меня, а с ним

и последнюю надежду? За что ты меня обижаешь?

Скирвойло не вырывался из объятий, он только высвободил голову из рук Збышка, поглядел на него исподлобья и запыхтел.

— Ну, — сказал он, помолчав с минуту времени, — завтра я прикажу повесить моих пленников, но коли кто из них тебе нужен, так я и его подарю тебе.

Затем они снова обнялись и, к великому удовольствию Мацька, разошлись в мире.

— Бранью от этого жмудина, видно, ничего не добьешься, — сказал старый рыцарь, — а лаской из него веревки можно вить.

— Такой уж это народ, — ответил Збышко, — только немцы про то не знают.

И он велел привести к костру господина де Лорша, отдохавшего в шалаше. Вскоре чех привел де Лорша, безоружного, без шлема, в одном кожаном кафтане, на котором отпечатались полосы от панциря, и в мягкой красной шапочке. Де Лорш знал уже от оруженосца, к кому он попал в плен, и потому явился холодный и надменный, на лице его при свете пламени читались упорство и презрение.

— Благодарю Бога, — сказал ему Збышко, — что ты попал в мои руки, у меня тебе не грозит опасность.

И он дружески протянул ему руку, но де Лорш даже не шевельнулся.

— Я не подаю руки рыцарям, которые позорят рыцарскую честь, сражаясь с сарацинами против христиан.

Один из присутствующих мазуров перевел его слова, смысл которых был ясен Збышку и без этого. В первую минуту молодой рыцарь вскипел.

— Глупец! — крикнул он, безотчетно хватаясь за рукоять мизерикордии.

Де Лорш поднял голову.

— Убей меня, — сказал он, — я знаю, что вы не щадите пленников.

— А вы их щадите? — не выдержал мазур. — Разве это не вы повесили на берегу острова всех, кого в прошлый раз захватили в бою? Потому-то Скирвойло и вешает ваших.

— Мы их повесили, — ответил де Лорш, — но это были язычники.

Однако в его ответе чувствовалось смущение, и нетрудно было догадаться, что в душе он не одобряет подобных действий.

Збышко меж тем поостыл и сказал с суровым спокойствием:

— Де Лорш! Из одних рук получили мы пояса и шпоры, ты меня знаешь, и мне не надо говорить тебе, что рыцарская честь дороже для меня жизни и счастья. Так послушай же, что я скажу тебе, поклявшись в том

Георгием Победоносцем: многие из этих людей давно уже приняли крещение, а кто не стал еще христианином, простирает руки ко Кресту как к вечному спасению. Но знаешь ли ты, кто ставит язычникам препоны на пути к спасению, кто не дает им креститься?

Мазур тотчас перевел слова Збышка, и де Лорш устремил на молодого рыцаря вопросительный взгляд.

— Немцы! — сказал Збышко.

— Не может быть! — воскликнул гельдернский рыцарь.

— Клянусь копьем и шпорами Георгия Победоносца, немцы! Когда бы здесь восторжествовала вера Христова, у них не было бы предлога для набегов, для захвата этой земли и угнетения этого несчастного народа. Ты ведь постигнул немцев, де Лорш, и лучше других знаешь, справедливо ли они поступают.

— Но я полагал, что, сражаясь с язычниками и склоняя их к святому крещению, они искупают свои грехи.

— Они крестят их мечом и кровью, а не водою спасения. Прочти это послание, и ты сразу поймешь, что это ты служишь этим обидчикам и хищникам, этому порождению ада, против христианской веры и любви.

С этими словами он протянул де Лоршу послание жмудинов к королям и князьям, которое разошлось по всему свету; де Лорш, взяв его, начал при свете костра пробегать глазами текст.

Он быстро прочел послание, ибо ему не чуждо было трудное искусство чтения.

— Неужели все это правда? — спросил он, вне себя от удивления.

— Клянусь Богом, который видит, что я служу здесь не только своему делу, но и справедливости.

Де Лорш умолк на минуту, а затем сказал:

— Я твой пленник.

— Дай руку, — произнес Збышко. — Ты не пленник мой, а брат.

Они протянули друг другу руки и сели за общий ужин, который чех велел приготовить слугам. Во время ужина де Лорш, к еще большему своему удивлению, узнал, что, невзирая на письма магистра, Збышко не нашел Дануси и что комтуры, ссылаясь на вспыхнувшую войну, признали недействительными его охранные грамоты.

— Теперь я понимаю, почему ты здесь, — сказал Збышку де Лорш, — и благодарю Бога за то, что Он предал меня в твои руки: в обмен на меня рыцари ордена отдадут тебе кого только ты пожелаешь, иначе на Западе поднимется большой шум, а я ведь происхожу из знатного рода...

Тут он хлопнул вдруг себя рукой по шапочке и воскликнул:

— Клянусь всеми реликвиями Аквисграна, что во главе подмоги, которая шла в Готтесвердер, были Арнольд фон Баден и старый Зигфрид де Лёве! Мы знаем это из писем, присланных в замок. Неужели вы не взяли их в плен?

— Нет! — крикнул, вскакивая, Збышко. — Мы не взяли в плен ни одного знатного рыцаря! Но, Боже мой, ты рассказал мне важную новость! Есть ведь другие пленники, от которых я могу узнать, прежде чем их повесят, не было ли при Зигфриде какой-нибудь женщины.

И, кликнув слуг, он велел им захватить горящую лучину и бросился с ними туда, где находились взятые Скирвойлом пленники. Де Лорш, Мацько и чех последовали за ним.

— Послушай! — говорил ему по дороге гелдернец. — Ты отпустишь меня на слово, и я буду искать Данусю по всей Пруссии, а когда найду ее, то вернусь к тебе, и тогда ты обменяешь меня на нее.

— Если только она жива, если только жива! — ответил Збышко.

Они подбежали к взятым Скирвойлом пленникам. Одни из них лежали навзничь, другие стояли под деревьями, крепко привязанные лыком к стволам. Лучина ярко освещала голову Збышка, и все взоры обратились к нему.

Вдруг из глубины раздался чей-то громкий, полный ужаса голос:

— Господин мой и покровитель, спаси меня!

Збышко выхватил из рук слуги несколько пылающих щепок, бросился с ними к дереву, откуда донесся голос, и, подняв их вверх, воскликнул:

— Сандерус!

— Сандерус! — повторил в изумлении чех.

А тот не мог пошевелинуть связанными руками, только вытянул шею и снова закричал:

— Милосердия!.. Я знаю, где дочка Юранда!.. Спасите!

Слуги тотчас развязали Сандеруса, но члены его онемели, и он повалился на землю; всякий раз, когда они снова пытались поднять его, он терял сознание, так как был жестоко избит. Хотя Збышко распорядился подвести его к костру, накормить и напоить, натереть салом и хорошенько укрыть шкурами, однако Сандерус никак не мог опомниться, а потом погрузился в такой глубокий сон, что чех с трудом добудился его только к полудню следующего дня.

Сжигаемый нетерпением, Збышко тотчас пришел к Сандерусу. Однако сначала молодой рыцарь ничего не мог от него добиться. От пережитого ли страха или от чувства облегчения, которое всегда охватывает слабые души, когда минует опасность, Сандерус залился такими слезами, что слова не мог сказать Збышку. Горло его сжималось от рыданий, а из глаз лились такие ручьи слез, как будто вместе с ними должна была уйти из него и сама жизнь.

Овладев наконец собою и подкрепившись кумысом, пить который литвины научились у татар, Сандерус стал жаловаться на «сынов Велиала», которые так избили его копьями, что живого места не осталось, отняли у него лошадь, на которой он вез свои бесценные чудодейственные святыни, а потом привязали к дереву, и муравьи так искусили ему ноги и все тело, что не сегодня-завтра его ждет конец.

Но Збышко, выйдя из себя, вскочил и сказал:

— Отвечай, бродяга, а то смотри, как бы хуже не было!

— Тут недалеко муравейник красных муравьев, — вмешался чех. — Прикажете, пан, положить его туда, небось язык у него сразу развяжется.

Глава сказал это в шутку и даже улыбнулся при этом, он в душе был расположен к Сандерусу, но тот в ужасе завопил:

— Смилуйтесь! Смилуйтесь! Дайте мне еще этого языческого напитка, и я расскажу вам все, что видел и чего не видел!

— Попробуй только соврать, я тебе клин в зубы вобью! — посулил ему чех.

Тем не менее он снова поднес ко рту Сандеруса бурдюк с кумысом; тот схватил бурдюк и, жадно припав к нему губами, как младенец к материнской груди, стал сосать кумыс, то открывая, то закрывая при этом глаза. Высосав таким образом около двух кварт, а то и побольше, он встряхнулся, опустил бурдюк на колени и, как бы подчиняясь

необходимости, сказал:

— Мерзость!..

И тотчас же обратился к Збышку:

— А теперь спрашивай, спаситель!

— Была ли моя жена в отряде, с которым ты шел?

На лице Сандеруса изобразилось удивление. Правда, он слышал, что Дануся — жена Збышка, но обвенчалась она со Збышком тайно и ее тотчас похитили, поэтому Сандерус всегда представлял ее себе только как дочь Юранда.

Однако он торопливо ответил:

— Да, воевода, была! Но Зигфрид де Лёве и Арнольд фон Баден пробились сквозь неприятельские ряды.

— Ты ее видел? — с бьющимся сердцем спросил Збышко.

— Лица ее я, господин, не видел; видел только крытые ивовые носилки, притороченные к седлам между двумя конями; на носилках кого-то везли, а стерегла их та самая змея, та самая послушница, которая приезжала от Данфельда в лесной дом. Я слышал жалобную песню, долетавшую из носилок...

Збышко побледнел от волнения; он присел на пень и с минуту не знал, о чем же еще спрашивать. Услышав эту важную весть, Мацько и чех тоже ужасно взволновались. Чех, может, вспомнил при этом о своей дорогой госпоже, оставшейся в Спыхове, для которой эта весть была приговором судьбы.

На минуту воцарилось молчание.

Наконец хитрый Мацько, который не знал Сандеруса и слышал о нем только мельком, подозрительно взглянул на него и спросил:

— Кто ты такой и что делал у крестоносцев?

— Кто я такой, вельможный рыцарь, — ответил бродяга, — пусть скажут вам этот доблестный князь, — он указал при этом на Збышка, — и этот мужественный чешский граф, которые давно меня знают.

Видно, кумыс начал на него действовать — Сандерус оживился и, обратившись к Збышку, заговорил громким голосом, в котором не осталось и следа недавней слабости:

— Господин, вы дважды спасли мне жизнь. Без вас меня съели бы волки либо постигла кара, ибо враги мои ввели в заблуждение епископов (о, как низок этот мир!), и те повелели преследовать меня за продажу святынь, в подлинности которых они усомнились. Но ты, господин, приютил меня, благодаря тебе и волки меня не сожрали, и карающая рука не настигла, ибо меня принимали за твоего слугу. У тебя я не знал

недостатка ни в пище, ни в питье, которое было получше этого вот кумыса. Противен он мне, но я выпью его еще, дабы доказать, что убогого и благочестивого пилигрима не устрашат никакие лишения.

— Говори скорее, скоморох, что знаешь, и не валяй дурака! — воскликнул Мацько.

Но Сандерус снова поднес ко рту бурдюк, осушил его до дна и, сделав вид, что не слышит слов Мацька, снова обратился к Збышку:

— За это я и полюбил тебя, господин. Святые, как гласит Писание, девять раз в час согрешали, так что и Сандерусу случается иной раз согрешить, но Сандерус никогда не был и не будет неблагодарным. И вот когда над тобою стряслось несчастье, помнишь, господин, что я тебе сказал: пойду я от замка к замку и, поучая по дороге людей, буду искать ту, которую ты потерял. Кого я только не спрашивал! Где я только не побывал! Долго пришлось бы об этом рассказывать. Одно скажу: я нашел ее и с той минуты, как репей к епанче, привязался к старому Зигфриду. Я стал его слугой и неотступно следовал за ним из замка в замок, из комтурии в комтuriю, из города в город — и так до самой последней битвы.

Збышко тем временем совладал с собою.

— Спасибо тебе, — сказал он, — ждет тебя награда. Но теперь ответь мне только: поклянешься ли ты спасением души, что она жива?

— Клянусь спасением души! — серьезно произнес Сандерус.

— Почему Зигфрид уехал из Щитно?

— Не знаю, господин, только догадываюсь: он никогда не был в Щитно комтуром и уехал, опасаясь, должно быть, магистра, который, как говорили, писал ему, чтобы он отдал невольницу княгине мазовецкой. Может, он бежал из-за этого письма, ведь душа его ожесточилась от горя и желания отомстить за Ротгера. Толкуют, будто это был его сын. Не знаю, как оно было, знаю только, что от злобы Зигфрид повредился в уме и, пока жив, не выпустит из рук дочки Юранда, простите, я хотел сказать: молодой госпожи.

— Удивительно мне все это, — вдруг прервал его Мацько, — Коли этот старый пес так ожесточился против Юранда и его кровных, так он убил бы Дануську.

— Он и хотел это сделать, — ответил Сандерус, — да с ним стряслось что-то неладное, он от этого потом тяжело хворал, чуть Богу душу не отдал. Его люди все об этом шепчутся. Одни говорят, будто он шел ночью к башне, чтобы убить молодую госпожу, и встретил злого духа, а другие болтают, будто ангела. Как бы то ни было, но его нашли на снегу около башни без памяти. Даже теперь, когда он вспомнит об этом, волосы у него

встают дыбом, потому-то он и сам не смеет поднять на нее руку, и другим боится приказать. Он возит с собой немного старого щитненского палача, кто его знает зачем, тот ведь тоже боится, как и все.

Слова эти произвели на присутствующих большое впечатление. Збышко, Мацько и чех приблизились к Сандерусу, а тот, осенив себя крестом, продолжал:

— Неладно у них. Не раз слышал и видал я такое, что мурашки бегали у меня по спине. Я уже говорил вам, что старый комтур повредился в уме. Да и как же ему было не повредиться, коли к нему духи являются с того света? Стоит ему только остаться одному, как около него кто-то начинает тяжело дышать, точно воздуха ему не хватает. Это Данфельд, которого убил грозный рыцарь из Спыхова. Тогда Зигфрид говорит ему: «Чего тебе? Обедни тебе ни к чему, зачем же ты приходишь?» А тот только зубами заскрежещет и опять задыхается. Но еще чаще приходит Ротгер, после которого в комнате тоже пахнет серой; с ним комтур еще дольше разговаривает: «Не могу, говорит, не могу! Вот когда сам приду, а сейчас не могу!» Слышал я, как он спрашивал: «Неужели тебе станет легче от этого, сынок?» И так все время. А бывает и так, что за два-три дня он слова не обронит, и на лице у него страшное горе написано. И он сам, и послушница зорко стерегут эти носилки, так что молодую госпожу никто не может увидеть.

— Они ее не мучат? — глухо спросил Збышко.

— Положа руку на сердце, скажу вам, ваша милость, что ни ударов, ни криков я не слышал, но песню жалобную слышал, а порой будто стон пташки...

— Горе мне! — стиснув зубы, произнес Збышко.

Но Мацько прервал дальнейшие расспросы.

— Довольно говорить об этом, — сказал он. — Рассказывай теперь про битву. Ты видал? Как же они убежали и что с ними случилось?

— Видал, — ответил Сандерус, — и все расскажу, как было. Сперва они упорно бились, но как смекнули, что их окружили со всех сторон, стали думать, как бы вырваться. И рыцарь Арнольд — он сущий великан — первым прорвал кольцо и так расчистил путь, что с ним пробился и старый комтур со слугами и носилками, которые были приторочены к седлам между двумя конями.

— Да разве за ними не было погони? Как же их не догнали?

— Была погоня, да ничего не могла поделать: только подъедут воины поближе, а рыцарь Арнольд повернется и давай рубить. Не приведи Бог драться с ним, это человек такой страшной силы, что ему ничего не стоит

принять бой хоть с сотней врагов. Трижды он так повертывался и трижды останавливал погоню. Люди его погибли все до единого. Он и сам, сдается мне, был ранен, и коня его ранили, а все-таки спасся; с ним успел бежать и старый комтур.

Слушая этот рассказ, Мацько подумал, что Сандерус говорит правду, особенно когда вспомнил, что, начиная с того места, где Скирвойло бился с немцами, дорога на большом протяжении была усеяна трупами жмудинов, изрубленных так страшно, точно разила их рука великана.

— Как же ты, однако, мог все это видеть? — спросил Мацько Сандеруса.

— А вот как я все это видел, — ответил бродяга, — ухватился я за хвост одного из коней, что везли носилки, и бежал вместе с ними, покуда не дал мне конь копытом в брюхо. Тут я обеспамятел и потому попал в ваши руки.

— Пожалуй, так оно и было, — сказал Глава, — но ты смотри мне не ври, а то как бы худо не было.

— И след еще виден, — ответил Сандерус, — кто хочет, может поглядеть, но лучше поверить на слово, чем быть осужденным за маловерие.

— Да коли ты иной раз и скажешь нечаянно правду, все равно быть тебе в аду за то, что торгуешь святынями.

И по старой привычке чех с Сандерусом начали в шутку препираться, однако Збышко прервал их.

— Ты проходил по тем местам, стало быть, знаешь их. Какие там поблизости замки и где, по-твоему, могли укрыться Зигфрид и Арнольд?

— Замков там поблизости нет никаких, одна пуща кругом, через которую недавно прорубили дорогу. Деревень и селений тоже нету, что было, немцы сами пожгли, потому как началась война, так и тамошний люд — а живет там то же племя, что и здесь — поднялся против владычества крестоносцев. Думаю, господин, что Зигфрид и Арнольд скитаются теперь по лесу; они попытаются воротиться назад либо пробраться тайком в ту крепость, куда шли мы перед этой злосчастной битвой.

— Так оно, верно, и есть! — сказал Збышко.

И глубоко задумался. По нахмуренным бровям и сосредоточенному лицу видно было, как напряженно он что-то обдумывает, однако длилось это недолго. Через минуту он поднял голову и приказал:

— Глава! Готовь коней и слуг, мы сейчас же трогаемся в путь.

Оруженосец, который не привык спрашивать, почему отдается приказ, поднялся с места и, не говоря ни слова, побежал к коням, зато Мацько

вытаращил на племянника глаза и спросил в изумлении:

— Куда же это ты, Збышко? А?.. Как же так?..

Но Збышко на вопрос ответил вопросом:

— А вы как думаете? Разве это не долг мой?

Старый рыцарь умолк. Лицо его постепенно приняло прежнее выражение. Он покачал головой, глубоко вздохнул и сказал, как бы отвечая самому себе:

— Оно конечно... ничего не поделаешь!

И тоже пошел к коням. Збышко обратился к господину де Лоршу и через мазура, изъяснявшегося по-немецки, сказал ему:

— Не могу я просить тебя помочь мне против людей, с которыми ты служил под одним знаменем, ты свободен и можешь ехать, куда тебе вздумается.

— Не годится мне идти против рыцарской чести и помогать тебе сейчас мечом, — ответил де Лорш, — но и вольным почесть себя я не могу. Я остаюсь твоим пленником на слово и явлюсь по твоему зову, куда ты велишь. Если что случится, помни, что орден отдаст за меня любого невольника, ибо род мой не только знатен, но и имеет заслуги перед крестоносцами.

Они простились, положив, по обычаю, друг другу руки на плечи и поцеловав друг друга в щеки.

— Я поеду в Мальборк либо к мазовецкому двору, — сказал при этом де Лорш, — так что ты найдешь меня если не в Мальборке, то у князя Януша. Пусть твой посланец скажет только два слова: Лотарингия — Гельдерн!

— Ладно, — ответил Збышко. — Я зайду еще к Скирвойлу, чтобы он дал тебе знак, который чтят жмудины.

И он отправился к Скирвойлу. Старый полководец дал знак и не стал чинить препятствий к отъезду де Лорша, он знал обо всем, любил Збышка, был ему благодарен за последнюю битву и к тому же не имел никакого права задерживать иноземного рыцаря, который прибыл сюда по доброй воле. Поблагодарив Збышка за большую услугу, которую он ему оказал, Скирвойло снабдил его припасами, которые могли пригодиться в опустошенной стране, и простился с молодым рыцарем, выразив надежду, что они еще раз встретятся в большой и решительной схватке с крестоносцами.

Збышко торопился, он был как в лихорадке. Вернувшись к себе, он застал всех в боевой готовности и дядю Мацька уже на коне, в кольчуге и шлеме.

— Так и вы со мной? — спросил он, подходя к дяде.

— А что же мне остается делать? — проворчал Мацько.

Збышко ничего не ответил, только поцеловал железную перчатку Мацька, затем вскочил на коня, и все тронулись.

Сандерус ехал с ними. До поля битвы все хорошо знали дорогу, а дальше провожатым должен был служить продавец реликвий. Збышко надеялся, кроме того, что местные крестьяне, если только удастся их встретить, из ненависти к крестоносцам, своим владыкам, помогут им выследить старого комтура и Арнольда фон Бадена, о нечеловеческой силе которого столько рассказывал Сандерус.

До поля битвы, где Скирвойло порубил немцев, дорога была знакомая и потому нетрудная. Быстро добравшись туда, путники торопливо миновали поле, где от непогребенных тел шел невыносимый смрад. Спугнув по дороге не только волков, но и тучи воронья и галок, они принялись искать на земле следы. Хотя перед этим тут прошел целый отряд, опытный Мацько легко различил на затоптанной земле отпечатки огромных копыт, идущие в обратном направлении.

— Счастье, что после боя не было дождя, — стал объяснять он молодежи, менее знакомой с военным делом. — Посмотрите-ка: конь Арнольда нес рыцаря-великана и сам должен был быть рослым. Когда он, убегая от погони, мчался вскачь, то, ясное дело, сильнее бил копытами об землю, чем едучи шагом на поле боя, потому и следы в земле остались поглубже. Гляди глазами, вишь, как на сырых местах видны следы подков! Даст Бог, мы выследим этих собак, только бы они не нашли приюта в стенах какого-нибудь замка.

— Сандерус говорил, — сказал Збышко, — что тут нет поблизости замков, — так оно, верно, и есть, ведь крестоносцы недавно захватили этот край и не успели еще построить тут замков. Куда же им спрятаться? Мужики, которые жили тут, теперь в лагере у Скирвойла, они того же племени, что и жмудины. Деревни, как говорил Сандерус, сами же немцы пожгли, а бабы с детьми укрылись в лесных дебрях. Коли не жалеть коней, так мы их догоним.

— Коней надо жалеть: коли счастливо все обойдется, так потом все равно только в них наше спасение, — сказал Мацько.

— Рыцаря Арнольда, — вмешался в разговор Сандерус, — кто-то в битве ударил кистенем по спине. Он не поглядел на это и по-прежнему бился и разил жмудинов; но потом его должно было разобрать, так всегда бывает: сначала ничего, а потом болит. Не могут они поэтому скакать во весь дух, может, им и на отдых придется останавливаться.

— Ты говорил, что людей с ними нет? — спросил Мацько.

— Двое везут носилки, притороченные к седлам, а кроме них, только Арнольд да старый комтур. Было еще много, да жмудины догнали тех и поубивали.

— Мы вот как сделаем, — сказал Збышко, — людей при носилках свяжут наши слуги, вы, дядя, схватите старого Зигфрида, а я Арнольда.

— Ну, с Зигфридом я как-нибудь справлюсь, — ответил Мацько, — есть еще, слава Богу, сила в костях. Но ты на себя не очень-то надейся: Арнольд, верно, суший великан.

— Эка невидаль! Поглядим! — сказал Збышко.

— Силен-то ты силен, не спорю, но есть и покрепче тебя. Или ты забыл наших рыцарей, которых мы видали в Кракове? Да разве тебе справиться с Повалой из Тачева? А с паном Пашком Злодзеем из Бискупиц? О Завише Чарном я и не говорю. Ты не очень-то нос дери, хвались, да назад оглянись.

— Ротгер тоже был силач, — пробормотал Збышко.

— А для меня найдется работа? — спросил чех.

Ответа не последовало, Мацько был занят другими мыслями.

— Коли Бог благословит, — сказал он, — так нам бы потом только до мазовецких лесов добраться! Там мы будем в безопасности, и все кончится раз навсегда.

Но через минуту он вздохнул, подумав, наверно, что и тогда не все еще кончится, надо ведь будет что-то делать с бедной Ягенкой.

— Эх! — пробормотал он. — Пути Господни неисповедимы. Часто думаю я о том, почему не судил тебе Бог спокойно жениться, а мне спокойно жить при вас... Так ведь оно чаще всего бывает, и из всей шляхты нашего королевства одни мы бродим по чужим сторонам, по дремучим борам, вместо того чтоб хозяйничать, как Бог велит, дома.

— Это верно, но на все воля Божья! — ответил Збышко.

Некоторое время они ехали в молчании, затем старый рыцарь снова обратился к племяннику:

— Ты веришь этому бродяге? Кто он такой?

— Пустой, а может, и дрянной человечиска, но ко мне очень привязан, не боюсь я, не предаст он меня.

— Коли так, пускай едет вперед; догонит крестоносцев, они его не испугаются. Скажет, из неволи бежал, они ему легко поверят. Так будет лучше, а то как завидят они нас издали, либо затаиться успеют, либо подготовятся к обороне.

— Он трус и ночью один вперед не поедет, — ответил Збышко, — но днем, наверно, не побоится, так и впрямь будет лучше. Я ему велю три раза на дню останавливаться и поджидать нас, а коли мы не найдем его на стоянке, так это будет знак, что он уже с ними, тогда мы поедem по его следам и неожиданно нападем на них.

— А он не упредит их?

— Нет. Я ему больше по душе, чем они. Надо Сандерусу сказать, что

мы и его свяжем, как нападём на немцев, чтоб ему потом не опасаться их мести. Пускай притворится, будто вовсе нас и не знает...

— Так ты думаешь захватить их живыми?

— А как же быть-то? — озабоченно сказал Збышко. — Будь это в Мазовии или у нас где-нибудь, так мы бы вызвали их на бой, как я вызвал Ротгера, и дрались бы с ними насмерть; но тут, на их земле, это дело немыслимое... Нам Данусю надо спасать, и медлить нельзя. С ними мигом надо справиться да втихомолку, чтоб беды не нажить, а потом, как вы говорили, скакать во весь опор в мазовецкие леса. Коли мы нападём на них врасплох, так они, может, будут без доспехов, а то и без мечей! Как же их тогда убивать? Страшусь я позора! Оба мы теперь опоясанные рыцари, да и они...

— Это верно! — сказал Мацько. — Но, может, все-таки придется драться.

Збышко нахмурил брови, и лицо его приняло выражение той суровой непреклонности, которая была, видно, присуща всем мужам из Богданца, потому что в эту минуту он стал так похож на Мацька, особенно выражением глаз, точно был родным его сыном.

— Чего бы я хотел, — глухо сказал он, — так это бросить этого кровавого пса Зигфрида к ногам Юранда! Дай-то Бог!

— Дай Бог, дай Бог! — тотчас повторил Мацько.

Они долго ехали, беседуя таким образом; ночь уже спустилась безлунная, но ясная. Надо было сделать привал, дать отдохнуть коням, подкрепиться самим и поспать. Перед отходом ко сну Збышко предупредил Сандеруса, что завтра ему придется ехать вперед одному, на что тот охотно согласился, выговорив себе только право в случае нападения зверей или местных жителей бежать назад к отряду. Кроме того, он попросил позволения останавливаться не три, а четыре раза, так как в одиночестве ему всегда жутко даже в христианских странах, что же говорить о таком дремучем и страшном лесе, как этот.

Расположившись на ночлег и подкрепившись, все улеглись на шкурах у небольшого костра, разложенного за вывороченным корневищем в полусотне шагов от дороги. Покормив коней, которые повалялись по траве и дремали теперь, положив друг другу головы на шеи, слуги по очереди стерегли их. Не успели, однако, первые лучи дня посеребрить деревья, как Збышко поднялся и разбудил всех; с рассветом снова тронулись в путь. Отряду опять легко удалось обнаружить следы огромных копыт коня Арнольда; хотя места были низкие, болотистые, но стояла засуха, и следы ясно отпечатались в подсохшем грунте. Сандерус поехал вперед и скрылся

из глаз; однако, когда солнце поднялось на полпути между восходом и полуднем, отряд нашел его на стоянке. Сандерус рассказал, что не встретил ни живой души, кроме огромного тура, от которого, однако, не стал убегать, потому что зверь первый уступил ему дорогу. Зато в полдень, когда все сели в первый раз подкрепиться, Сандерус сказал, что видел бортника с лазевом, но не задержал его, опасаясь, что в глубине леса могут быть еще другие мужики. Он попытался расспросить бортника, но они так и не поняли друг друга.

Когда отряд двинулся дальше, Збышком начала овладевать тревога. Что, если они окажутся в местах повыше и посуше и на дороге исчезнут следы, по которым они сейчас идут? А вдруг придется долго преследовать крестоносцев и отряд попадет в места более населенные, где жители издавна привыкли повиноваться ордену? Тогда напасть на немцев и освободить Данусю будет просто невысказано — если Зигфрид и Арнольд даже не укроются в стенах какого-нибудь замка или городка, местные жители, несомненно, возьмут их под защиту!

К счастью, опасения оказались напрасными; на следующей стоянке отряд в условленное время не нашел Сандеруса на месте, зато на придорожной сосне обнаружил большую зарубку в форме креста, совсем, видно, свежую. Все переглянулись, лица воинов посуровели, чаще забились сердца. Мацько и Збышко тотчас соскочили с коней, чтобы проверить следы на земле; искать пришлось недолго, оба сразу напали на них.

Сандерус, видно, свернул с дороги в бор, следуя за отпечатками огромных копыт, не такими глубокими, как на дороге, но тоже довольно явственными; грунт здесь был торфянистый, и тяжелый конь с каждым шагом вдавливал в землю хвою подковными шипами, от которых оставались черные по краям ямки.

От острого глаза Збышка не укрылись и другие следы; он сел на коня, Мацько последовал его примеру, и они стали совещаться с чехом, понизив голоса до шепота, точно враг был уже рядом.

Чех советовал идти пешком, но рыцари, не зная, далеко ли придется пробираться лесом, не согласились. Пешком должны были пойти вперед только слуги, чтобы, обнаружив врага, дать знать об этом своим.

Вскоре отряд свернул в лес. Обнаружив зарубку на другой сосне, все убедились, что след Сандеруса не потерян. А спустя немного времени отряд выехал на дорожку, вернее, на лесную тропинку, протоптанную людьми. Теперь все были уверены, что выедут к какой-нибудь лесной деревушке и найдут там крестоносцев.

Солнце уже стало клониться к закату и золотом сияло в просветах между деревьями. Вечер обещал быть ясным. В лесу стояла тишина, звери и птицы собирались уже на покой. Лишь местами в залитых солнцем ветвях мелькали белки, огненные в зареве заката. Збышко и Мацько с чехом и слугами ехали гуськом друг за другом. Зная, что пешие слуги ушли далеко вперед и вовремя предупредят их, старый рыцарь говорил с племянником, почти не понижая голоса.

— Поглядим по солнцу, — сказал он. — От последней стоянки до места, на котором была зарубка, мы вон уж сколько проехали. На краковских часах было бы около трех... Выходит, Сандерус уже давно догнал крестоносцев и успел рассказать им свои приключения. Только бы он не предал нас.

— Не предаст, — ответил Збышко.

— И только бы они ему поверили, — закончил Мацько, — не поверят — парню тогда несдобровать.

— Отчего же им не поверить? Разве они слыхали про нас? А его все-таки знают. Пленники часто бегут из неволи.

— Я чего боюсь: скажет он им, что из неволи бежал, а они, испугавшись погони, возьмут да сразу и снимутся.

— Нет. Он сумеет заговорить им зубы. Да и они подумают, что никто не станет так далеко гнаться за ними.

Некоторое время они молчали; вдруг Мацьку показалось, что Збышко что-то шепчет ему, он повернулся и спросил:

— Что ты говоришь?

Но глаза Збышка были устремлены к небу, и не к дяде он обращался, а к Богу, поручая Ему Данусю и молясь за свое смелое дело.

Мацько тоже хотел перекреститься, но не успел он сотворить крест, как из зарослей орешника вынырнул один из посланных вперед слуг.

— Смолокурня! — произнес он. — Здесь они!

— Стой! — шепнул Збышко и мгновенно соскочил с коня.

Вслед за ним соскочили с коней Мацько, чех и слуги. Трое из них получили приказ оставаться с конями и держать их наготове, следя за тем, чтобы какой-нибудь скакун, упаси Бог, не заржал. Остальным пяти слугам Мацько сказал:

— Там будут два конюха и Сандерус, вы должны в один миг связать их, ну а если кто окажется при оружии и станет сопротивляться, бей его!

И они тотчас двинулись вперед. По дороге Збышко еще раз шепнул дяде:

— Вы берите на себя старого Зигфрида, а я Арнольда.

— Смотри берегись! — ответил старик.

И моргнул чеху, давая понять, что в любую минуту он должен прийти на помощь молодому господину.

Тот кивнул головой, втянул в грудь воздух и попробовал, легко ли ходит меч в ножнах.

Заметив это, Збышко сказал:

— Нет! Тебе я приказываю тотчас бежать к носилкам и во время схватки не отходить от них ни на шаг.

Они быстро и бесшумно пробирались в зарослях орешника; однако далеко идти им не пришлось — через какую-нибудь сотню шагов заросли внезапно кончились и открылась небольшая поляна с потухшими смолокурными кучами и двумя избушками, или нумами, где, вероятно, жили смолокуры, пока их не выгнала оттуда война. Заходящее солнце ярким светом озаряло луг, смолокурные кучи и избушки, довольно далеко отстоявшие друг от дружки. У одной из них сидели на колоде два рыцаря, у другой — плечистый рыжий слуга вдвоем с Сандерусом протирал тряпками панцири; у ног Сандеруса лежали два меча, которые он тоже, видно, собирался чистить.

— Глянь, — сказал Мацько, изо всей силы сжимая плечо Збышка, чтобы удержать его еще на минуту. — Он нарочно взял у них мечи и панцири. Очень хорошо! Этот с седой головой, должно быть, и есть...

— Вперед! — крикнул вдруг Збышко.

И они вихрем вылетели на поляну. Немцы тоже повскакали с мест, но не успели добежать до Сандеруса; грозный Мацько схватил старого Зигфрида за грудь, перегнул его назад и в мгновение ока подмял под себя. Збышко и Арнольд сшиблись, как два ястреба, и, охватив друг друга руками, стали яростно бороться. Плечистый немец, сидевший рядом с Сандерусом, схватился было за меч, но не успел он взмахнуть им, как слуга Мацька, Вит, хватил его обухом по рыжей голове и уложил на месте. По приказу старого рыцаря слуги кинулись вязать Сандеруса, который знал, что это делается только для видимости, и все же заревел от страха, точно теленок, когда его режут.

Збышко был так силен, что мог выжать сок из ветки дерева; однако он почувствовал, что попал не в человеческие руки, а прямо в медвежьи лапы. В голове у него мелькнула мысль, что не будь панциря, который он надел на случай, если придется сразиться на копьях, этот великан сокрушил бы ему не только ребра, но и хребет. Все же Збышку удалось приподнять Арнольда, но тот поднял его еще выше и, собрав все силы, хотел бросить наземь так, чтобы он больше уже не встал.

Но Збышко сжал немца с такой силой, что у того глаза налились кровью, и, просунув ему между коленями ногу, ударил под колени и повалил рыцаря наземь.

Вернее, они оба упали на землю, причем Збышко оказался под Арнольдом; в ту же минуту всевидящий Мацько бросил полузадушенного Зигфрида на руки слугам, подбежал к Збышку и Арнольду, в мгновение ока скрутил немцу поясом ноги и, вскочив на него, как на убитого кабана, приставил ему к затылку острие мизерикордии. Арнольд пронзительно вскрикнул, руки его бессильно соскользнули с боков Збышка, и он застонал не столько от укола, сколько от внезапного приступа нестерпимой боли в спине, по которой ему нанесли кистенем удар еще во время сражения со Скирвойлом.

Мацько схватил немца обеими руками за шиворот и стащил его со Збышка; юноша приподнялся с земли, присел и попытался встать, но не смог; несколько минут он оставался недвижим. Лицо у него побледнело и покрылось потом, глаза налились кровью, губы посинели, в полубеспамятстве уставился он в пространство.

— Что с тобой? — спросил Мацько в тревоге.

— Ничего, только я очень устал. Помогите мне подняться.

Мацько подхватил Збышка под мышки и помог ему встать.

— Можешь стоять?

— Могу.

— Что-нибудь болит у тебя?

— Нет. Только дышать нечем.

Тем временем чех, увидев, что на поляне все кончено, появился перед избушкой, держа за шиворот послушницу. При виде ее Збышко забыл об усталости, силы сразу вернулись к нему, и он ринулся в избушку так, точно за минуту до этого и не боролся с грозным Арнольдом.

— Дануська! Дануська!

Никто не ответил на его зов.

— Дануська! Дануська! — повторил Збышко.

И умолк. В избушке было темно, и в первую минуту юноша ничего не мог разглядеть. Но вдруг из-за камней, на которых был сложен очаг, донеслось прерывистое громкое дыхание, как будто там притаился какой-то зверек.

— Дануська! Боже мой! Это я, Збышко!

Внезапно он увидел во мраке широко открытые, остановившиеся от ужаса глаза Дануси. Збышко подбежал к ней, схватил ее в объятия, но она совершенно не узнала мужа и стала вырываться из его рук, все шепча

захлебывающимся голосом:

— Боюсь, боюсь, боюсь!..

Не помогали ни слова любви, ни ласки, ни моления — Дануся никого не узнавала и не приходила в себя. Единственным чувством, которое владело всем ее существом, был страх, подобный страху, какой испытывают пойманные пугливые птички. Когда ей принесли еду, она не стала есть на людях, но по жадным взглядам, какие она бросала на пищу, было видно, что ее мучит голод, и, быть может, уже давно. Оставшись одна, она набросилась на еду с жадностью дикого звереныша, но, когда Збышко вошел в избушку, тотчас кинулась в угол и спряталась за вязанку сухого хмеля. Тщетно Збышко раскрывал объятия, тщетно простирали к ней руки, тщетно молил ее, еле сдерживая слезы. Она не вышла из угла даже тогда, когда в избушке зажгли огонь и она могла хорошо разглядеть лицо Збышка. Казалось, вместе с сознанием она потеряла и память. Збышко глядел на нее, на ее исхудалое лицо, на котором застыло выражение ужаса, на ввалившиеся глаза, на отрепья, которые прикрывали ее тело, и сердце его надрывалось от муки, и все в нем кипело, когда он думал о том, в каких руках она побывала и как с нею обошлись. Им наконец овладела такая дикая ярость, что, схватив меч, он бросился к Зигфриду и, наверное, убил бы его на месте, если бы Мацько не удержал его руку.

Они, как враги, схватились друг с другом, но Збышко так обессилел после боя с Арнольдом, что старый Мацько одолел его и, скрутив ему руку, воскликнул:

— Ты что, в своем уме?

— Пустите! — скрежеща зубами, ответил Збышко. — У меня душа разрывается.

— Пускай разрывается! Не пуцу! Лучше голову разбей себе о дерево, только не позорь себя и весь наш род.

И, сжимая, как в клещах, руку Збышка, Мацько сурово заговорил:

— Опомнись! Месть от тебя не уйдет, а ты опоясанный рыцарь. На что это похоже! Зарубить связанного пленника? Дануське ты этим не поможешь, а что тебе от этого? Один срам. Ты скажешь, что королям и князьям не раз доводилось убивать пленников? Да, но только не у нас! И то, что прощают им, тебе не простят. У них королевства, города, замки, а у тебя что? Рыцарская честь. Тот, кто им за это ничего не скажет в укор, тебе плюнет в глаза. Опомнись, ради Бога!

— Пустите! — мрачно сказал Збышко. — Я не зарублю его.

— Пойдем к костру, посоветоваться надо.

И он взял Збышка за руку и повел его к костру, который слуги разожгли около смолокурных куч. Усевшись, Мацько помолчал с минуту времени, а затем сказал:

— Помни, ты этого старого пса Юранду обещал. Уж он-то ему отомстит и за себя, и за Данусю! Уж он-то ему оплатит, не бойся! Должен ты Юранда потешить. Это его право. Чего тебе нельзя делать, Юранду можно, не захватил он пленника, а получил его в дар от тебя. Он из его спины ремней может накроить, и никто не станет его за это срамить и позорить, — понял?

— Понял, — ответил Збышко. — Это вы верно говорите.

— Ну, я вижу, ты образумился. А коли станет дьявол еще смущать тебя, помни, что ты обещал отомстить и Лихтенштейну, и другим крестоносцам, а зарежешь беззащитного пленника и слуги разгласят это, так ни один рыцарь не примет твоего вызова и будет прав. Упаси тебя Бог! И без того горя много, так пусть же хоть сраму не будет. Потолкуем лучше о том, что делать теперь и как быть.

— А что вы советуете? — спросил молодой рыцарь.

— Я вот что советую: эту змею, что была при Данусе, можно бы и кончить, да не пристало рыцарям марать себя, проливать бабью кровь; отдадим мы ее князю Янушу. Она и тогда уже, в лесном доме, при князе и княгине строила козни, пусть же судит ее мазовецкий суд, и если не колесуют ее, то, выходит, перед Богом согрешат. Покуда не найдем другой бабы, которая прислуживала бы Данусе, она нам нужна, а потом мы ее привяжем к конскому хвосту. А сейчас надо спешить в мазовецкие леса.

— Ну не сейчас, ведь уж ночь. Может, Бог даст, и Дануська завтра придет в себя.

— Да и кони отдохнут. На рассвете отправимся в путь.

Их разговор был прерван Арнольдом фон Баденом, который, лежа поодаль на спине, привязанный, как к колоде, к собственному мечу, стал кричать что-то по-немецки. Старый Мацько поднялся и подошел к нему, однако не мог разобрать, что тот кричит, и стал искать глазами чеха.

Но Глава был занят другим делом и не мог прийти. Пока Мацько и Збышко вели у костра разговор, он подошел к послушнице, схватил ее за шиворот и, трясая, как грушу, сказал:

— Послушай ты, сука! Пойдешь в хату и постелешь пани постель из шкур, но сперва переоденешь ее в свое хорошее платье, а сама натянешь те отрепья, в которых вы велели ей ходить... черт бы вас подрал!

И, не в силах сдержать охватившего его гнева, он так потряс

послушницу, что у той глаза вышли из орбит. Он, пожалуй, свернул бы ей шею, да знал, что она еще понадобится, поэтому отпустил ее со словами:

— А потом мы выберем для тебя сук.

Послушница в ужасе обняла его колени, а когда чех в ответ толкнул ее ногой, бросилась в хату и, упав к ногам Дануси, завопила:

— Заступись! Не дай в обиду!

Но Дануся только закрыла глаза, и из уст ее вырвался обычный прерывистый шепот:

— Боюсь, боюсь, боюсь!

Затем она впала в оцепенение, как всегда, когда к ней подходила послушница. Она дала снять с себя отрепья и переоделась в новое платье. Приготовив постель, послушница уложила Данусю, как деревянную или восковую куклу, а сама села у очага, боясь выйти из хаты.

Но чех через минуту вошел сам. Обратившись сперва к Данусе, он сказал:

— Вы среди друзей, пани, спите спокойно, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

И он осенил Данусю крестом, а затем, не повышая голоса, чтобы не испугать ее, сказал послушнице:

— Я свяжу тебя, и ты лежишь у порога, а если только попробуешь поднять крик и напугаешь мне пани, так я тут же сверну тебе шею. Вставай, пойдем!

Он вывел послушницу из хаты, связал ее крепко, как посулил, а сам направился к Збышку.

— Я велел переодеть пани в то платье, что было на этой змее, — сказал он. — Постель постлана, и пани спит. Вы уж лучше туда не ходите, чтобы не испугать ее. Даст Бог, завтра, отдохнувши, она придет в чувство, а теперь и вам надо подумать про еду да про отдых.

— Я лягу на пороге хаты, — проговорил Збышко.

— Тогда я эту суку оттащу в сторонку, к тому трупу с рыжими космами. Но сейчас вам надо поесть, впереди у вас трудный путь.

С этими словами Глава пошел достать из переметных сум копченого мяса и репы, которыми путники запаслись, уезжая из жмудского лагеря; но не успел он выложить перед Збышком все эти запасы, как Мацько позвал его к Арнольду.

— Послушай-ка хорошенько, чего надобно этой орясине, — сказал он, — хоть я кое-что понимаю, а все-таки никак не разберу, чего это он хочет.

— Я, пан, подтащу его к костру, там вы с ним как-нибудь

договоритесь, — ответил чех.

Он снял пояс и, просунув его Арнольду под мышки, взвалил немца на спину. Глава здорово согнулся под тяжестью великана, но парень он был крепкий и донес его до костра, где и бросил, как мешок с горохом, наземь около Збышка.

— Развяжите меня, — сказал крестоносец.

— Это можно, — ответил через чеха старый Мацько, — коли только ты поклянешься рыцарской честью, что признаёшь себя нашим пленником. Впрочем, я и так велю вытащить у тебя меч из-под колен и развязать тебе руки, чтобы ты мог сесть рядом с нами, ну а веревки на ногах оставлю, покуда мы не поговорим с тобой.

По знаку Мацька чех перерезал веревки на руках немца и помог ему сесть. Арнольд надменно поглядел на Мацька и Збышка и спросил:

— Кто вы такие?

— Как смеешь ты спрашивать нас об этом? Тебе какое дело? Сперва скажи нам, кто ты.

— Какое мне дело? Да ведь рыцарское слово я могу дать только рыцарям.

— Тогда смотри!

И, отвернув плащ, Мацько показал рыцарский пояс на бедрах.

Крестоносец был поражен.

— Как? — спросил он, помолчав с минуту времени. — Вы разбойничаете по лесам ради добычи? И помогаете язычникам против христиан?

— Ты лжешь! — воскликнул Мацько.

Так начался у них разговор, неприязненный, заносчивый, вот-вот готовый перейти в ссору. Но когда Мацько крикнул в запальчивости, что это орден не дает Литве креститься, и привел веские доводы, пораженный Арнольд умолк, — правда была столь очевидна, что нельзя было ни закрывать на нее глаза, ни оспаривать ее. Немец просто потрясен был, когда Мацько, сотворив крестное знамение, сказал: «Кто вас знает, кому вы на самом деле служите, коли не все, так кое-кто из вас!» — потрясен потому, что даже в ордене некоторых комтуров подозревали в том, что они поклоняются сатане. Их не обвиняли в этом открыто и не предавали суду, чтобы не навлечь позора на весь орден; но Арнольд хорошо знал, что братья шепчутся об этом и что слухи такие ходят об ордене. Мацько, который от Сандеруса знал о странном поведении Зигфрида, совсем растрогал добродушного великана.

— А Зигфрид, — сказал он, — с которым ты пошел на войну, разве

служит Богу и Христу? Разве ты никогда не слыхал, как он говорит со злыми духами, как шепчется с ними, смеется и скрежещет зубами?

— Это верно! — пробормотал Арнольд.

Но Збышко, которого захлестнула новая волна горя и гнева, воскликнул вдруг:

— И ты толкуешь тут о рыцарской чести? Позор тебе, ибо ты помогал извергу, исчадию ада! Позор тебе, ибо ты спокойно взирал на муки беззащитной женщины, дочери рыцаря, а может, и сам терзал ее! Позор тебе!

Арнольд вытаращил глаза и, перекрестившись, проговорил в изумлении:

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!.. Как... Эта одержимая, в которую вселилось двадцать семь дьяволов?.. Я?..

— Горе мне! Горе! — хриплым голосом перебил его Збышко.

И, схватившись за рукоять мизерикордии, он снова устремил дикий взор в сторону Зигфрида, который лежал поодаль в темноте.

Мацько спокойно положил племяннику руку на плечо и сжал изо всей силы, чтобы заставить его опомниться. Сам же обратился к Арнольду:

— Эта женщина — дочь Юранда из Спыхова, жена этого молодого рыцаря. Теперь ты понимаешь, почему мы преследовали вас и почему ты попал к нам в плен?

— Клянусь Богом! — проговорил Арнольд. — Откуда? Как? Она ведь помешанная...

— Крестоносцы похитили ее, агнца невинного, и до тех пор терзали, пока не довели до этого.

При словах «агнца невинного» Збышко поднес к губам руку и закусил большой палец, а из глаз его покатались одна за другой крупные слезы безутешного горя. Арнольд сидел, погрузившись в задумчивость. Чех коротко рассказал ему о предательстве Данфельда, о похищении Дануси, о муках Юранда и поединке с Ротгером. Когда он кончил, воцарилась тишина, которую нарушал только шум леса да треск пылающего костра.

Так просидели они некоторое время, наконец Арнольд поднял голову и сказал:

— Не только рыцарской честью, но и Крестом Спасителя клянусь вам, что я почти не видел этой женщины, не знал, кто она, и неповинен в ее муках.

— Тогда поклянись еще, что по доброй воле последуешь за нами и не будешь пытаться бежать, и я прикажу развязать тебя совсем, — произнес Мацько.

— Пусть будет по-твоему, — клянусь! Куда вы меня поведете?

— В Мазовию, к Юранду из Спыхова.

С этими словами Мацько сам разрезал веревку на ногах Арнольда, а затем показал ему на мясо и репу. Через некоторое время Збышко поднялся и пошел отдохнуть на пороге избышки; он не застал уже там послушницы ордена, которую слуги перетащили к коням. Молодой рыцарь лег на шкуру, которую ему принес Глава, и решил бодрствовать всю ночь в ожидании, не принесет ли рассвет счастливой перемены в здоровье Дануси.

Чех вернулся к костру; он хотел поговорить со старым рыцарем из Богданца о том, что терзало теперь его душу. Мацька он застал погруженным в раздумье, старик словно и не слышал, как храпит Арнольд, который, поглотив за ужином невероятное количество копченого мяса и репы, заснул от усталости как убитый.

— А вы, пан, не хотите отдохнуть? — спросил оруженосец.

— Сон бежит моих глаз, — ответил Мацько. — Дал бы Бог завтра день счастливый.

С этими словами он поднял глаза к звездам.

— Вон уже Воз в небе виден, а я все думаю, что-то будет.

— И мне не до сна, панночка из Згожелиц нейдет у меня из головы.

— Это, верно, новая беда. Она ведь в Спыхове.

— То-то и есть, что в Спыхове. Бог весть, зачем увезли мы ее из Згожелиц.

— Она сама хотела к аббату, а когда аббата не стало, что же мне было делать? — нетерпеливо возразил Мацько, он не любил говорить об этом, чувствуя в душе свою вину.

— Да, но как быть теперь?

— Как? Отвезу ее домой, и твори Бог волю Свою!..

Однако через минуту он прибавил:

— Да, твори Бог волю Свою, но хоть бы Дануська-то была здорова, на человека похожа, знал бы по крайности, что делать. А так кто его знает! А вдруг она не выздоровеет... и не умрет. Хоть бы уж что-нибудь одно послал Господь!

Но чех в эту минуту думал только о Ягенке.

— Видите, ваша милость, — сказал он, — как уезжал я из Спыхова и прощался с панночкой, сказала она мне так: «В случае чего приезжайте сюда прежде Збышка и Мацька, ведь им, говорит, надо будет послать гонца с вестями, так вот пусть вас пошлют, вы и отвезете меня в Згожелицы».

— Эх! — воскликнул Мацько. — Что и говорить, не годится ей оставаться в Спыхове, когда приедет Дануська. Что и говорить, надо ей

ехать в Згожелицы. Жаль мне ее, сиротинку, от души жаль, да коли не судил Бог, ничего не поделаешь! Только как все это уладить? Погоди-ка... Ты говоришь, она наказывала тебе воротиться прежде нас с вестями и потом отвезти ее в Згожелицы?

— Я все вам сказал, что она наказывала.

— Что ж! Так, может, тебе прежде нас и поехать. Да и старого Юранда надо загодя известить, что дочка нашлась, а то как бы не кончился он от нечаянной радости. Ей-ей, лучше ничего не придумашь. Возвращайся! Скажи, что мы отбили Дануську и скоро с нею приедем, а сам бери бедняжку и вези домой.

Вздыхнул тут старый рыцарь, страх как жаль ему было и Ягенки, и тех замыслов, которые он лелеял в душе.

Через минуту он снова спросил:

— Я знаю, ты малый ловкий и сильный, да сумеешь ли ты уберечь ее от обиды или какой нечаянности? В дороге все может случиться.

— Сумею, хоть бы голову довелось сложить! Возьму с собой добрых слуг, их для меня спыховский пан не пожалеет, и доставлю панночку благополучно хоть на край света.

— Ну, ты не очень-то заносись. Да помни, что и на месте, в самих Згожелицах, тоже нужно стеречься Вильков из Бжозовой да Чтана из Рогова... Впрочем, что это я говорю! Их тогда надо было стеречься, когда мы другое замышляли. А теперь все уж кончено, будь что будет.

— От этих рыцарей я панночку тоже буду стеречь, ведь Дануся у пана Збышка на ладан дышит, бедняжечка... а ну как помрет!

— Истинную правду говоришь: на ладан дышит, бедняжечка, а ну как помрет...

— Все мы под Богом ходим, а теперь давайте думать про згожелицкую панночку...

— Сказать по правде, мне бы самому следовало отвезти ее в родной дом, — сказал Мацько. — Да, вишь, трудное это дело. Не могу я сейчас Збышка оставить, и причина важная. Видал ты, как он зубами заскрежетал и бросился к старому комтуру, чтоб прирезать его, как кабана. Ты вот говоришь, что Дануська в дороге может кончиться; не знаю, удастся ли мне тогда укротить его. А уж если меня не будет, так его никому не удержать. Вечный позор пал бы тогда на него и на весь род, избави Бог от такой беды, аминь!

— Да ведь есть простой способ, — ответил чех. — Дайте мне этого изверга, а уж я-то его не выпущу, только в Спыхове вытряхну из мешка пану Юранду.

— Дай Бог тебе здоровья! Вот умница! — радостно воскликнул Мацько. — Простое дело! Простое дело! Забирай его и только живым доведи до Спыхова, а так делай с ним что хочешь.

— Тогда дайте мне и эту щитненскую суку! Не будет она мне в дороге мешать, доведу, а нет — так на сук ее!

— Да и у Дануськи, может, скорее страх пройдет, когда она не будет видеть их, скорее, может, опомнится. Но как она обойдется без женской помощи, коли ты забереешь послушницу?

— В лесу вы встретите кого-нибудь из местных жителей или из беглых мужиков с бабами. Возьмите первую попавшуюся, небось любая будет лучше этой. А пока не найдете, пан Збышко за нею присмотрит.

— Ты сегодня рассудителен, как никогда. И это верно сказал. Коли будет Дануська видеть при себе Збышка, может, скорее придет в чувство. А уж он и отца и мать ей заменит. Ну ладно. А когда же ты поедешь?

— Не стану я ждать рассвета, только пойду немного прилягу. Пожалуй, еще и полуночи нет.

— Я уж говорил тебе, Воз светит, а Утиное Гнездо еще не взошло.

— Слава Богу, порешили мы с этим делом, а то уж очень тяжело у меня было на душе.

И чех улегся около угасающего костра, укрылся лохматой шкурой и мгновенно уснул. Однако небо еще не начинало светлеть, стояла глубокая ночь, когда он проснулся, вылез из-под шкуры, поглядел на звезды и, расправив онемевшие члены, разбудил Мацька.

— Мне пора собираться! — сказал он.

— Куда это? — спросил Мацько, протирая спросонья глаза.

— В Спыхов.

— Ах да! Кто это тут так храпит? Мертвого и то разбудил бы.

— Рыцарь Арнольд. Подкину я сучьев в костер и пойду к слугам.

Он ушел, однако через минуту вернулся торопливым шагом и еще издали тихо сказал:

— Худые вести, пан!

— Что случилось? — крикнул Мацько, срываясь с места.

— Послушница сбежала. Притащили ее слуги к коням и развязали ей ноги, чтоб им ни дна ни покрывки! А как уснули они, она ужом проползла между ними и убежала. Подите поглядите.

Обеспокоенный Мацько поспешно направился с Главой к коням; они нашли там одного только слугу, остальные побежали на поиски беглянки. Пустое это было дело искать ее ночью в потемках, и все они вскоре вернулись повесив головы. Мацько молча надавал им тумачков и вернулся к

костру, делать-то было нечего.

Через некоторое время пришел Збышко; он не спал, сторожил избушку и, услышав шаги, решил узнать, что случилось. Мацько рассказал ему сперва о том, что они с чехом порешили сделать, а затем и о том, что сбежала послушница.

— Невелика беда, — сказал старый рыцарь, — она либо с голоду подохнет в лесу, либо мужики найдут ее и отдают, коли раньше волки не съедят. Жаль только, что ушла она от кары в Спыхове.

Збышко тоже пожалел, что ушла она от кары, но к вести отнесся спокойно. Не стал он противиться и отъезду чеха с Зигфридом; все, что прямо не касалось Дануси, было ему сейчас безразлично.

— Завтра, — заговорил он тут же о ней, — я посажу ее к себе на коня, и мы поедем.

— Как она там? Спит? — спросил Мацько.

— Порой постанывает, не знаю, сквозь сон или наяву, а входить не хочу, боюсь, как бы не испугалась.

Разговор был прерван чехом, который, увидев Збышка, воскликнул:

— О, и вы, ваша милость, на ногах? Ну, мне пора! Кони готовы, и старый черт привязан к седлу. Скоро рассвет, нынче ночи коротки. Оставайтесь с Богом, пан Мацько и пан Збышко!

— С Богом! Будь здоров!

Но Глава отвел Мацька в сторону и сказал ему:

— Очень хочу я попросить еще вас, коли что случится... ну, несчастье, что ли... немедля шлите гонца в Спыхов. А коли мы уже выедем, пусть скачет вдогонку!

— Ладно, — сказал Мацько. — Я тебе тоже забыл сказать, ты Ягенку в Плоцк вези, понимаешь! Сходи к епископу и скажи ему, кто она, скажи, крестница, мол, аббата, духовная, мол, у вас, да попроси епископа взять Ягенку под свое покровительство, об этом тоже сказано в духовной.

— А если епископ велит нам оставаться в Плоцке?

— Слушайся его во всем и сделай так, как он посоветует.

— Ладно, ваша милость. С Богом!

— С Богом!

Узнав на другой день о бегстве послушницы, рыцарь Арнольд улыбнулся в усы, но сказал, как и Мацько, что ее либо волки съедят, либо убьют литвины. Это было весьма вероятно, так как местные жители, литвины по происхождению, ненавидели орден и все, что было связано с ним. Часть мужиков бежала к Скирвойлу, остальные взбунтовались и, перебив немцев, скрылись с семьями и пожитками в недоступных лесных дебрях. Послушницу искали и на другой день, правда, не очень усердно; Мацько и Збышко, озабоченные другими делами, не отдали приказа обшарить кругом лес, и поиски оказались безуспешными. Оба рыцаря торопились в Мазовию, рассчитывая отправиться в путь с восходом солнца; однако уехать им не удалось, так как Дануська под утро уснула глубоким сном, и Збышко не позволил будить ее. Он слышал, как ночью Дануська стонала, понял, что она не спит, и теперь возлагал на этот сон большие надежды. Дважды прокрадывался он в избушку и при свете, проникавшем сквозь щели между бревнами, дважды видел ее закрытые глаза, полуоткрытые губы и яркий румянец на щеках, какой пылает обычно у крепко спящих детей. Сердце его таяло от нежности, и, обращаясь к возлюбленной, он говорил ей: «Дай тебе Бог отдохнуть и поправиться, цветик ты мой милый!» А потом он еще говорил ей: «Конец теперь твоим бедам, конец слезам, даст Бог, жизнь твоя потечет теперь счастливо, как река плноводная!» Человек с открытой и доброй душой, он вознесся в мыслях к Богу, вопрошая себя, чем отблагодарить Его, чем Ему отплатить, что какому костелу пожертвовать — зерном ли, скотом ли, воском ли или иными дарами, угодными Богу. Он бы тут же дал обет и подробно перечислил бы все, что пожертвует, но решил подождать, — не зная, в каком состоянии проснется Дануся и вернется ли к ней память, он еще не был уверен, будет ли за что благодарить Бога.

Хоть Мацько и понимал, что они будут в полной безопасности только во владениях князя Януша, однако тоже думал, что не следует будить Данусю, так как сон может стать для нее спасением; он держал наготове слуг и выючных лошадей и ждал.

Однако миновал полдень, а Дануся все еще не просыпалась; дядя и племянник стали тогда беспокоиться. Збышко все время заглядывал в щели и в дверь избушки, а после полудня в третий раз вошел к Данусе и присел на пенек, который послушница накануне вечером притащила к постели,

чтобы переодеть на нем Данусю.

Присел он и вперил в Данусю взор, но она не открыла глаз. Только спустя некоторое время губы ее дрогнули, и она прошептала так, словно видела сквозь сомкнутые веки:

— Збышко...

В одно мгновение он упал перед ней на колени, схватил ее исхудалые руки и, в восторге целуя их, заговорил прерывистым голосом:

— Слава Богу! Дануська! Ты узнала меня!

Его голос разбудил ее совсем, она открыла глаза, села на постели и повторила:

— Збышко...

И заморгала глазами, удивленно озираясь кругом.

— Ты уже не в неволе! — говорил Збышко. — Я вырвал тебя у них, и мы едем в Спыхов!

Она высвободила из его рук свои ручки и сказала:

— Это все потому, что батюшка не благословил нас. Где княгиня?

— Проснись же, ягодка моя! Княгиня далеко, а мы отбили тебя у немцев.

Словно не слыша его и как будто что-то припоминая, она проговорила:

— Лютню они отняли у меня, об стенку разбили!

— Господи милостивый! — воскликнул Збышко.

Только теперь он заметил, что глаза у нее блуждают и горят, а щеки пылают. В ту же минуту у него мелькнула мысль, что она, может, тяжело больна и дважды назвала его имя только потому, что он примерещился ей в бреду.

Он содрогнулся от ужаса, и на лбу у него выступил холодный пот.

— Дануська! — воскликнул он. — Ты видишь меня, понимаешь?

А она попросила покорно:

— Пить!.. Воды!..

— Боже милостивый!

И он выбежал из избышки. В дверях он столкнулся со старым Мацьком, который решил посмотреть, что с Данусей, и, бросив дяде на ходу одно слово: «Воды!» — помчался к ручью, протекавшему поблизости среди лесных зарослей и мхов.

Через минуту он вернулся с полным кувшином и подал его Данусе, которая стала жадно пить воду. Мацько еще раньше вошел в хату и, взглянув на больную, помрачнел.

— У нее горячка? — спросил он.

— Да! — простонал Збышко.

— Она понимает, что ты говоришь?

— Нет.

Старый рыцарь нахмурил брови и почесал в затылке.

— Что же делать?

— Не знаю.

— Остается одно... — начал Мацько.

Но Дануся прервала его. Она кончила пить и, устремив на него свои широко открытые от жара глаза, сказала:

— И перед вами я ни в чем не провинилась. Сжальтесь надо мной!

— Я жалею тебя, дитя мое, и хочу тебе только добра, — с волнением ответил старый рыцарь.

Затем он обратился к Збышку:

— Послушай! Оставлять ее тут ни к чему. Обдует ее ветерком, солнышком пригреет, так, может, ей станет лучше. Не теряй, парень, головы, клади ее на те самые носилки, на которых ее везли, либо сажай в седло, и в путь! Понял?

С этими словами он вышел из избушки, чтобы отдать последние распоряжения, поднял глаза и стал вдруг как вкопанный.

Сильный пеший отряд, вооруженный копьями и бердышами, с четырех сторон стеной окружал избушку, смолокурные кучи и поляну.

«Немцы!» — подумал Мацько.

Ужас охватил его, однако он мгновенно схватился за рукоять меча, стиснул зубы и замер, подобный дикому зверю, когда тот, окруженный внезапно собаками, готовится к отчаянной защите.

Меж тем от смолокурной кучи к нему направился великан Арнольд с каким-то другим рыцарем.

— Быстро вертится колесо фортуны, — сказал Арнольд, подойдя к нему. — Я был вашим пленником, а теперь вы стали моими пленниками.

И он свысока поглядел на старого рыцаря, как на существо низшее. Арнольд вовсе не был злым или жестоким человеком, у него просто был недостаток, свойственный всем крестоносцам, которые, попав в беду, становились кроткими и даже покладистыми, но когда чувствовали, что сила на их стороне, никогда не умели скрыть ни своего презрения к побежденным, ни безграничного своего высокомерия.

— Вы пленники! — надменно повторил он.

Старый рыцарь мрачно огляделся по сторонам. В груди его билось вовсе не робкое, напротив, отчаянно смелое сердце. Если бы он был в доспехах и на боевом коне, если бы рядом с ним был Збышко и в руках у них мечи и секиры или те страшные тяжелые копья, которыми так ловко

владела тогдашняя польская шляхта, Мацько, может, попытался бы прорваться сквозь этот лес копий и бердышей. Но он стоял перед Арнольдом пеший, один, без панциря; увидев, что люди его побросали оружие, и вспомнив, что Збышко в избушке у Дануси совсем безоружен, Мацько, как человек опытный, искушенный в военном искусстве, понял, что сопротивляться бесполезно.

Он медленно вынул меч из ножен и бросил его к ногам рыцаря, стоявшего рядом с Арнольдом. Незнакомый рыцарь так же надменно, как и Арнольд, но все же учтиво заговорил на хорошем польском языке:

— Ваше имя? Я поверю вам на слово и не дам приказа вас связывать, ибо вижу, что вы опоясанный рыцарь и по-человечески обошлись с моим братом.

— Слово! — ответил Мацько.

Он назвался, спросил, можно ли ему пройти в избушку предупредить племянника, «чтобы тот не совершил какого-нибудь безрассудства», и, получив разрешение, исчез в дверях.

— У моего племянника даже меча не было при себе, — сказал он, вернувшись через некоторое время с мизерикордией в руках. — Он просит позволить ему, пока вы не тронетесь в путь, остаться при жене.

— Пусть остается, — сказал брат Арнольда, — я пошлю ему еды и питья. В дорогу мы не сразу отправимся, люди устали, да и нам надо подкрепиться и отдохнуть. Просим и вас разделить с нами компанию.

И оба немца направились к тому самому костру, у которого Мацько провел ночь; но то ли из спеси, то ли по свойственной крестоносцам неучтивости они прошли вперед, предоставив Мацьку следовать за ними. Старый рыцарь, человек бывалый, знавший до тонкостей правила обхождения во всех случаях жизни, спросил:

— Вы просите меня как гостя или как пленника?

Брат Арнольда смутился и, давая ему дорогу, сказал:

— Проходите, пожалуйста.

Старый рыцарь прошел вперед, но, не желая задевать самолюбие человека, от которого многое зависело, промолвил:

— Вы, видно, не только разные языки знаете, но и весьма обходительны.

Арнольд, который понимал лишь отдельные слова, спросил:

— В чем дело, Вольфганг, что это он говорит?

— Дело говорит! — ответил Вольфганг, явно польщенный словами Мацька.

Они сели у костра, слуги принесли еду и напитки. Урок, преподанный

Мацьком, не пропал даром. Вольфганг все блюда предлагал ему первому. Из разговора старый рыцарь узнал, как они попали в ловушку. Вольфганг, младший брат Арнольда, вел члуховскую пехоту в Готтесвердер для усмирения взбунтовавшихся жмудинов; немцы шли из отдаленной комтурии и не могли нагнать свою конницу. Арнольд, зная, что по дороге он встретит другие пешие отряды из городов и замков, расположенных вблизи литовской границы, не стал ждать младшего брата. Тот отстал на несколько дневных переходов и по дороге, неподалеку от смолокурни, узнал от бежавшей ночью послушницы ордена об участии, постигшей старшего брата. Арнольд, слушая этот рассказ, повторенный ему по-немецки, заметил с самодовольной улыбкой, что он на это рассчитывал.

Хитрый Мацько умел найтись при всяких обстоятельствах, он решил, что не худо было бы расположить к себе немцев.

— Всегда тяжело попасть в неволю, — сказал он, помолчав с минуту времени, — но, благодарение Создателю, он предал меня в ваши руки, вы настоящие рыцари и блюдете рыцарскую честь.

Вольфганг опустил глаза и кивнул головой, правда, довольно надменно, но с видимым удовлетворением.

А старый рыцарь продолжал:

— И как хорошо вы знаете наш язык! Видно, Бог щедро наделил вас талантами!

— Я знаю ваш язык, потому что в Члуховой народ говорит по-польски, а мы с братом уже семь лет служим под начальством тамошнего комтура.

— Придет пора, наступит время, и вы займете его место! Это уж как пить дать... Вот брат ваш не говорит так по-нашему.

— Арнольд немного понимает, но не говорит. Он посильнее меня, хоть и я крепыш, зато он не так сообразителен.

— Что вы, он мне вовсе не кажется глупым! — сказал Мацько.

— Вольфганг, что он говорит? — снова спросил Арнольд.

— Хвалит тебя, — ответил Вольфганг.

— Да, хвалю, — прибавил Мацько, — он настоящий рыцарь, а это первое дело! Скажу вам прямо, сегодня я хотел отпустить его на слово, пускай, думаю, едет, куда ему заблагорассудится, лишь бы явился потом, хоть через год. Так ведь приличествует поступать опоясанным рыцарям.

И он уставился испытующим оком в лицо Вольфганга.

— Может, я и отпустил бы вас на слово, — сказал тот, поморщившись, — когда бы вы не помогали против нас собакам-язычникам.

— Это неправда, — возразил Мацько.

И снова между ними возник такой же горячий спор, как накануне у Мацька с Арнольдом. Хотя старый рыцарь был прав, однако на этот раз ему пришлось круто: Вольфганг и впрямь был умнее своего старшего брата. Но спор оказался полезен, так как и младший брат узнал обо всех щитненских злодеяниях, клятвопреступлениях и предательствах, а вместе с тем и о судьбе несчастной Дануси. Вольфганг ничего не сумел ответить на все обвинения, которые бросал в лицо ему Мацько. Он вынужден был признать, что месть была справедлива и что польские рыцари имели право поступить так, как они поступили.

— Клянусь благословенными костями святого Либерия, — сказал он, — я не стану жалеть Данфельда. Говорили, будто он был чернокнижником; но всемогущество Божие и правда сильнее чернокнижия! Не знаю, служил ли и Зигфрид Сатане, но в погоню за ним я не стану пускаться: и конницы у меня для этого нет, да и пусть горит он в геенне огненной, коли замучил, как вы говорите, эту девушку!

Тут он перекрестился и прибавил:

— Не остави меня, Господи, в смертный мой час!

— А что же будет с этой несчастной мученицей? — спросил Мацько. — Неужели вы не позволите отвезти ее домой? Неужели ей придется погибать в ваших темницах? Вспомните про гнев Божий!..

— Женщина мне не нужна, — жестко ответил Вольфганг. — Пусть один из вас отвезет ее отцу, лишь бы потом явился, но обоих вас я не отпущу.

— Ну а если я поклянусь своей рыцарской честью и копьем Георгия Победоносца?

Вольфганг заколебался, ибо это была страшная клятва, но в это время Арнольд спросил в третий раз:

— Что он говорит?

Узнав, в чем дело, он запальчиво и грубо начал возражать против освобождения обоих рыцарей на слово. У него были на этот счет свои соображения: он потерпел поражение и в битве со Скирвойлом, и в схватке с этими польскими рыцарями. Как солдат, он знал, что брату с его пешими воинами придется вернуться в Мальборк, так как продолжать поход в Готтесвердер после уничтожения передних отрядов значило вести людей просто на гибель. Он знал, что ему придется предстать перед магистром и маршалом, и понимал, что меньше будет сраму, если он приведет хотя бы одного знатного пленника. Живой рыцарь значит больше, чем рассказ о том, что двое рыцарей захвачены в плен.

Слушая хриплые выкрики и проклятия Арнольда, Мацько сразу понял,

что большего от них ему не добиться и надо брать, что дают.

— Вот о чем я еще хочу вас попросить, — сказал он, обращаясь к Вольфгангу, — я уверен, что мой племянник сам поймет, что ему надо ехать с женой, а мне оставаться с вами. Однако на всякий случай позвольте мне сказать ему, что об этом и говорить не приходится, ибо такова ваша воля.

— Ладно, мне все едино, — ответил Вольфганг. — Давайте только поговорим о выкупе, который ваш племянник должен привезти за себя и за вас, от этого зависит все.

— О выкупе? — переспросил Мацько, который предпочел бы отложить этот разговор. — Разве у нас мало времени впереди? Когда имеешь дело с опоясанным рыцарем, слово его — это те же деньги, да и насчет цены можно положиться на совесть. Мы вот под Готтесвердером захватили одного знатного вашего рыцаря, некоего господина де Лорша, и мой племянник, — это он взял его в плен, — отпустил его просто на слово, вовсе не договариваясь о цене.

— Вы взяли в плен де Лорша? — быстро спросил Вольфганг. — Я его знаю. Это знатный рыцарь. Но почему же мы не встретились с ним по дороге?

— Верно, он не сюда поехал, а в Готтесвердер или в Рагнету, — ответил Мацько.

— Это рыцарь богатый и знатного рода, — повторил Вольфганг. — Вы за него много получите! Хорошо, что вспомнили об этом, теперь и я за грош вас не отпущу.

Мацько закусил язык, но гордо поднял голову.

— Мы и без того знаем себе цену.

— Тем лучше, — сказал младший фон Баден.

Однако он тут же оговорился:

— Тем лучше, но не для нас, ибо мы смиренные монахи, давшие обет бедности, а для ордена, который употребит ваши деньги во славу Божию.

Мацько ничего не ответил, он только взглянул на Вольфганга так, точно хотел сказать ему: «Рассказывай сказки!» — и через минуту они стали торговаться. Тяжелое и щекотливое это было дело для старого рыцаря: с одной стороны, его очень огорчали всякие убытки, а с другой — он понимал, что не подобает ему слишком дешево ценить себя и Збышка. Он вьюном вертелся, тем более что Вольфганг, на словах как будто мягкий и учтивый, на деле оказался непомерно жадным и твердым, как камень. Единственным утешением была для Мацька мысль, что за все заплатит де Лорш, и все-таки он сожалел об утраченной надежде на барыш, тем более

что не рассчитывал получить выкуп за Зигфрида, уверенный, что ни Юранд, ни Збышко ни за какие деньги не отпустят старого крестоносца живым.

После долгих переговоров они пришли наконец к соглашению о том, сколько гривен и к какому сроку должен привезти Збышко, и точно определили, сколько людей и лошадей он возьмет с собою. Мацько отправился сообщить об этом племяннику; опасаясь, видно, как бы немцы не передумали, старик посоветовал ему выезжать немедленно.

— Такая она, эта рыцарская жизнь, — говорил он, вздыхая, — вчера ты был сверху, а сегодня подмяли тебя! Что делать! Бог даст, придет опять наш черед! А сейчас не теряй времени. Коли поторопишься, догонишь Главу, вместе вам будет безопаснее, а как выберетесь из пущи и попадете к своим, в Мазовию, так у любого шляхтича, в любой усадьбе найдете приют, любой окажет вам помощь, позаботится о вас. У нас чужим в этом не отказывают, так что же говорить о своих! Для бедняжки Дануси это может быть тоже спасением.

Он поглядывал при этом на Данусю, которая часто и тяжело дышала в полусне. Ее прозрачные руки, лежавшие на темной медвежьей шкуре, лихорадочно дрожали.

Мацько перекрестил ее и сказал:

— Эх, бери ее и уезжай! Все в руках Божьих, только видится мне, что она уж на ладан дышит!

— Не говорите так! — воскликнул Збышко в отчаянии.

— Все мы под Богом ходим! Я велю сюда подать тебе коня, и поезжай с Богом!

И, выйдя из избушки, он велел приготовить все к отъезду. Турки, подаренные Завишей, подвели к избушке коней с носилками, устланными мохом и шкурами, а слуга Вит — верхового коня Збышка; спустя некоторое время Збышко вышел из избушки с Данусей на руках. Это была такая трогательная картина, что оба брата фон Бадены, подойдя из любопытства к избушке и увидев полудетскую фигурку Дануси, ее лицо, живо напомнившее им лик святой на иконе, и заметив, как тяжело и бессильно опустила она ослабелую голову на плечо молодого рыцаря, переглянулись в изумлении, и сердца их зажглись гневом против виновников ее несчастья. «У Зигфрида сердце не рыцаря, а палача, — шепнул Вольфганг брату, — а эту змею, хоть она и помогла тебе вызволяться, я прикажу высечь». Их растрогало и то, что Збышко нес Данусю на руках, словно мать родное дитя, они поняли, как любит он ее, ибо в жилах их текла еще молодая кровь.

Збышко с минуту колебался, посадить ли больную с собой на седло и держать в дороге в объятиях, или положить ее на носилки. Он остановился на последнем, решив, что ехать лежа ей будет удобнее. Затем он подошел к дяде и нагнулся, чтобы поцеловать на прощанье ему руку. Мацько, который действительно горячо любил племянника, не хотел проявлять при немцах слабость, но не мог сдержаться и, крепко обняв Збышка, прижался губами к его густым золотистым волосам.

— Храни тебя Бог! — сказал он. — А старика не забывай — неволя, она всегда тяжка.

— Не забуду, — ответил Збышко.

— Дай тебе счастья Пресвятая Дева!

— А вас да вознаградит Бог за все... за все.

Через минуту Збышко уже сидел на коне; но Мацько, вспомнив вдруг что-то, подбежал к нему, положил ему на колено руку и сказал:

— Послушай! Догонишь Главу, смотри с Зигфридом не опозорь себя и мои седины. Юранд — это дело другое, но не ты! Поклянись мне в этом честью на своем мече!

— Пока вы не воротитесь, я и Юранда удержу, чтоб они не стали мстить вам за Зигфрида, — ответил Збышко.

— Так ялюб тебе?

Молодой рыцарь грустно улыбнулся:

— Сами знаете.

— Ну, в путь! Будь здоров!

Кони тронулись и вскоре скрылись в яркой зелени орешника. Мацьку стало вдруг невыносимо грустно и одиноко, душа его рвалась за дорогим хлопцем, в котором заключалась вся надежда их рода. Но Мацько тут же стряхнул с себя грусть, он был человек стойкий и умел владеть собою.

«Слава Богу, — сказал он себе, — что не он в неволе, а я...»

И обратился к немцам:

— А вы когда тронетесь в путь и куда?

— Когда нам вздумается, — ответил Вольфганг, — а поедем мы в Мальборк, где вам прежде всего придется предстать перед магистром.

«Эх, чего доброго, срубят они мне голову за помощь жмудинам!» — подумал Мацько.

Правда, его успокаивала мысль о господине де Лорше и о том, что сами братья фон Бадены будут хранить его голову, хотя бы ради того, чтобы не лишиться выкупа.

«Впрочем, — сказал он себе, — Збышку не придется тогда ни являться к ним, ни расточать достояние».

И эта мысль принесла ему некоторое облегчение.

Збышко не мог догнать своего оруженосца; тот ехал днем и ночью, отдыхая лишь по мере надобности, чтобы кони не пали; захирев на одной траве, они не могли совершать такие большие переходы, как там, где было легче с овсом. Себя Глава не щадил, не обращал он внимания и на годы и слабосилие Зигфрида. Старый крестоносец жестоко страдал, тем более что его порядком-таки помял жилистый Мацько. Но больше всего досаждали Зигфриду комары, роившиеся в сырой пуще, он не мог защититься от них, так как руки у него были связаны, а ноги припутаны к брюху коня. Никаким особенным мукам оруженосец его не подвергал, но и не жалел нимало и развязывал ему только правую руку на привалах во время еды. «Ешь, собака, чтобы мне живым привезти тебя к спыховскому пану!» В таких выражениях приглашал он крестоносца подкрепиться. В начале пути Зигфрид решил было уморить себя голодом; но, когда его предупредили, что ему будут разжимать зубы ножом и кормить насильно, он смирился, не желая допустить оскорбления своего монашеского сана и рыцарского достоинства.

Чтобы избавить от позора свою обожаемую панночку, чех непременно хотел приехать в Спыхов раньше «пана и пани». Он был простой, но толковый и не лишенный благородства шляхтич и прекрасно понимал, что Ягенке унизительно оставаться при Данусе в Спыхове. «В Плоцке, — думал он, — можно будет сказать епископу, что старому пану из Богданца пришлось взять ее с собой как опекуну; а там пусть только разгласят, что она на попечении епископа и что, кроме Згожелиц, за нею владения аббата, так и воеводич будет для нее не велика честь». Когда он думал об этом, ему становилось легче переносить тягости пути, и терзался он только мыслью о том, что счастливая весть, которую он везет в Спыхов, для панночки будет приговором судьбы.

Часто ему представлялась и румяная, как яблочко, Ануля. Он вонзал тогда шпоры в бока коню и, торопясь в Спыхов, гнал его вперед, насколько позволяла дорога.

Они ехали наугад, вернее, совсем без дороги, напрямик через лес. Чех знал, что если держать путь все время на юг, отклоняясь немного на запад, то непременно доберешься до Мазовии, а там все будет хорошо. Днем он ехал по солнцу, а когда в дороге их застигала ночь, — по звездам. Казалось, пуще конца-краю не будет. Дни и ночи текли в ночном мраке. Глава не раз

думал, что молодому рыцарю не провезти живой свою жену через эту жуткую, безлюдную пущу, где неоткуда ждать помощи, негде добыть пищу, где по ночам приходится стеречь коней от волков и медведей, а днем уступать дорогу стадам зубров и туров, где страшные вефри-одинцы точат кривые клыки о корни сосен, где часто по целым дням приходится оставаться голодным, если не удастся пронзить стрелой или проткнуть копьем пятнистых боков оленя или молодого вефра.

«Как тут ехать, — думал Глава, — с нею, полуживой; она ведь на ладан дышит!»

Нередко им приходилось объезжать большие болота или глубокие овраги, на дне которых шумели потоки, вздувшиеся от весенних дождей. Много было в пуще и озер; на закате солнца путники видели, как в их румяных прозрачных водах купались целые стада лосей и оленей. Порою они замечали дым — вестник близости человека. Несколько раз Глава подъезжал к лесным деревушкам; но навстречу ему высыпали дикари в звериных шкурах, наброшенных на голое тело; вооруженные кистенями и луками, они так враждебно глядели из-под шапки густых волос, свалывшихся от колтуна, что, пользуясь замешательством, которое вызывал в толпе вид рыцарей, чех быстро уезжал прочь.

Дважды вслед Главе свистели стрелы и раздавались возгласы «Вокили!» («Немцы!»); но он спешил скрыться, не входя в объяснения. Прошло еще несколько дней, и ему наконец показалось, что они переехали границу; но спросить об этом было не у кого. Только от переселенцев, говоривших по-польски, он узнал, что ступил наконец на мазовецкую землю.

По всей восточной Мазовии тоже шумел дремучий лес; но пробираться здесь было легче. Край по-прежнему был безлюден; но если встречалось человеческое жилье, обитатель его уже не дышал такой злобой, быть может, потому, что ему не приходилось ненавидеть угнетателей лютой ненавистью, а может, и потому, что чех говорил на понятном ему языке. Досаждало только непомерное любопытство лесных жителей, которые толпами окружали всадников, забрасывая их вопросами, а узнав, что они везут пленника-крестоносца, просили:

— Подарите нам его, пан, уж мы-то с ним разделаемся!

И просили так настойчиво, что чех порою даже сердился или объяснял им, что это княжеский пленник. Тогда они отступали. Позже в местах, где жил уже оседлый народ, трудно было со шляхтой. В сердцах людей кипела ненависть к крестоносцам, все живо помнили об их предательстве и обиде, нанесенной в свое время князю, когда в мирное время они схватили его под

Злоторьей и держали как пленника. Правда, здесь уже не хотели «разделаться» с Зигфридом; но какой-нибудь упрямый шляхтич говорил: «Развяжите его, я дам ему оружие и за межой вызову на смертный бой». Всякому такому шляхтичу чех должен был разжевать да в рот положить, что право на месть в первую очередь принадлежит несчастному владельцу Спыхова, что это его неотъемлемое право.

Путешествовать по людному краю было легко, здесь уже были кой-какие дороги, и коней кормили всюду овсом или ячменем. Чех ехал быстро, стараясь нигде не задерживаться, и за десять дней до праздника тела Господня явился в Спыхов.

Приехал он вечером, как и тогда, когда Мацько прислал его из Щитно с вестью о своем отъезде в Жмудь, и так же, как тогда, выбежала Ягенка, увидев оруженосца в окно, а он упал к ее ногам и сперва слова не мог вымолвить. Она подняла Главу и тотчас потащила наверх, не желая расспрашивать его при людях.

— Что нового? — спросила она, дрожа от нетерпения и едва переводя дух. — Живы, здоровы?

— Живы, здоровы!

— А она нашлась?

— Нашлась. Мы отбили ее.

— Слава Иисусу Христу!

Но лицо ее словно застыло при этом: все ее надежды сразу рухнули.

Однако девушка не потерялась и не лишилась чувств; овладев через минуту собою, она спросила:

— Когда они будут здесь?

— Через несколько дней! Тяжкий это путь — с больною.

— Она больна?

— Ее замучили. От страданий она помешалась.

— Господи милостивый!

На минуту воцарилось молчание, только побледневшие губы Ягенки шевелились, словно девушка шептала молитву.

— Она не опомнилась при Збышке? — снова спросила Ягенка.

— Может, и опомнилась, не знаю, я ведь сразу уехал, чтобы вас, панночка, известить, прежде чем они приедут сюда.

— Да вознаградит тебя Бог. Рассказывай все, как было.

Чех в коротких словах рассказал, как они отбили Данусю и взяли в плен великана Арнольда и Зигфрида. Он сообщил также, что привез с собой Зигфрида, которого молодой рыцарь прислал в дар Юранду для отмщения.

— Мне надо пойти к Юранду! — сказала Ягенка, когда чех кончил рассказ.

Она ушла; но Глава недолго оставался один, из боковуши к нему выбежала Ануля; то ли оттого, что чех не пришел еще в себя от усталости после неслыханно трудной дороги, то ли оттого, что очень тосковал он по девушке, но только, увидев ее, он вдруг позабылся, схватил Анулю в объятия и, прижав к груди, стал осыпать поцелуями ее глаза, щеки и губы так, словно давно уже сказал ей все то, что принято говорить девушке, прежде чем ее целовать.

Быть может, в душе он и впрямь сказал ей все в пути, потому что целовал и целовал ее без конца и прижимал к груди с такой силой, что у девушки дух захватывало. Она не защищалась — сперва от изумления, а потом от такой сладкой истомы, что, верно, упала бы, если бы ее не держали такие крепкие руки. К счастью, все это продолжалось недолго, на лестнице послышались шаги, и через минуту в комнату вбежал ксендз Калев.

Они отскочили друг от друга, а ксендз Калев засыпал Главу вопросами, на которые тот, не успев отдышаться, едва мог ответить. Ксендз решил, что это от усталости. Когда чех подтвердил, что Данусю нашли и отбили, а палача ее привезли в Спыхов, он упал на колени, чтобы вознести благодарственную молитву Богу. За это время кровь поостыла в жилах Главы, и, когда ксендз поднялся, он уже мог спокойно повторить рассказ о том, как они нашли и отбили Данусю.

— Не для того Бог ее спас, — сказал ксендз, выслушав чеха, — чтобы оставить рассудок ее омраченным и душу во власти злых сил! Юранд возложит на нее свои святые руки и одной молитвой вернет ей рассудок и здоровье.

— Рыцарь Юранд? — спросил в удивлении чех. — Он имеет такую силу? Может, он при жизни стал святым?

— Пред лицом Господа он святой еще при жизни, а когда скончается, у людей на небесах будет еще один мученик-покровитель.

— Вы все-таки, преподобный отче, сказали, что он возложит на главу дочери руки. Неужели у него отросла правая рука? Я помню, вы молили об этом Иисуса Христа.

— Я сказал: «руки», как всегда говорят, — ответил ксендз, — но коли будет на то милость Господня, то достаточно и одной.

— Это верно! — согласился Глава.

Но в голосе его слышалось некоторое разочарование, он думал, что увидит настоящее чудо. Дальнейший разговор был прерван приходом

Ягенки.

— Я рассказала ему все осторожно, — сказала она, — чтобы нечаянная радость не убила его, а он тотчас пал ниц и молится.

— Он и без того по целым ночам лежит, простершись ниц, а сегодня тем более не встанет до утра, — заметил ксендз Калерб.

Так оно и случилось. Несколько раз заглядывали они к Юранду и всякий раз заставляли его простертым ниц; но старый рыцарь не был погружен в сон, он молился так жарко, что позабылся в молитве. Только на другой день, когда уж кончилась утренья, Ягенка снова заглянула к Юранду, и он дал знак, что хочет видеть Главу и пленника. Зигфрида с руками, связанными крестом на груди, вывели из подземелья, и все вместе с Толимой направились в старому рыцарю.

В первую минуту Глава не мог хорошо рассмотреть Юранда: затянутые пузырями окна пропускали мало света, да и день был хмурый, тучи обложили все небо, предвещая страшную грозу. Но когда зоркие глаза чеха привыкли к темноте, он едва узнал Юранда, так похудел тот и осунулся. Огромный человек превратился в огромный скелет. Лицо его было так бледно, что почти не отличалось от серебряных седи, а когда он склонился на подлокотник кресла и закрыл веками свои пустые глазницы, то показался Главе просто мертвецом.

Около кресла стоял стол, а на нем распятие, кувшин с водой и каравай черного хлеба с воткнутой в него мизерикордией, страшным ножом, которым рыцари добивали раненых. Кроме хлеба и воды, Юранд давно уже не принимал никакой другой пищи. Одеждой ему служила грубая власяница, препоясанная соломенным жгутом, которую он носил на голом теле. Так со времени возвращения из щитненской неволи жил богатый и некогда страшный рыцарь из Спыхова.

Заслышав шаги, он отстранил ногой ручную волчицу, которая грела его босые ноги, и откинулся назад. Именно в эту минуту он показался чеху покойником. Все замерли в ожидании, уверенные, что он даст знак, чтобы кто-нибудь начал говорить; но он сидел неподвижно, бледный, спокойный, с полукрытыми губами, словно и впрямь спал вечным сном.

— Глава здесь, — сказала наконец нежным голосом Ягенка, — не хотите ли вы послушать его?

Юранд утвердительно кивнул головой, и чех в третий раз начал свой рассказ. Он коротко упомянул о сражениях с немцами под Готтесвердером, рассказал о схватке с Арнольдом фон Баденом и освобождении Дануси, однако, не желая омрачать радость старого страдальца и будить в нем новую тревогу, утаил, что от долгих дней тяжкой неволи у Дануси

помутился рассудок.

Но он питал злобу против крестоносцев и, желая, чтобы Зигфрид был сурово наказан, умышленно не скрыл, что Дануся страшно напугана, измождена и больна, что с нею, видно, обращались со звериной жестокостью, и если бы она осталась еще в страшных руках крестоносцев, то увяла бы и угасла, как вянут и гибнут растоптанные ногами цветы. Этот страшный рассказ сопровождался таким же страшным громом надвигающейся бури. Медно-черные громады туч все сильнее клубились над Спыховом.

Юранд не дрогнул и не шевельнулся, слушая этот рассказ, так что присутствующим могло показаться, что он погружен в сон. Но он все слышал и все понимал. Когда Глава стал говорить о страданиях Дануси, две крупные слезы показались в пустых глазницах старого рыцаря и скатились по его щекам. Из всех земных чувств у него осталось только одно: любовь к дочери.

Затем его синие губы стали шептать молитву. На дворе раздались первые, еще отдаленные раскаты грома, молния сверкнула в окнах. Юранд долго молился, и слезы снова капали на его седую бороду. Наконец он кончил молитву, воцарилось молчание, такое долгое, что всем стало тягостно, никто не знал, что же делать.

Тогда старый Толима, правая рука Юранда, его товарищ во всех битвах и главный хранитель Спыхова, сказал:

— Перед вами, пан, стоит этот дьявол, этот кровопийца крестоносец, который истязал вас и вашу дочку. Дайте знак, что мне с ним делать и как его покарать?

При этих словах словно луч света скользнул по лицу Юранда, он кивнул, чтобы к нему подвели пленника.

В то же мгновение двое слуг схватили крестоносца за плечи и подвели его к старику; Юранд протянул руку и сперва провел по лицу Зигфрида, словно желая припомнить или навсегда запечатлеть в памяти его черты, потом нащупал на груди крестоносца скрещенные руки, коснулся веревок и, снова закрыв глаза, откинул голову.

Все решили, что старик погрузился в раздумье. Но это продолжалось недолго, через минуту Юранд очнулся и протянул руку к хлебу, в котором торчала страшная мизерикордия.

Увидев это, Ягенка, чех, даже старый Толима со слугами затаили дух. Стократ была заслужена кара, справедлива месть; но сердца содрогнулись у всех при мысли о том, что этот полуживой старик будет ощупью резать связанного пленника.

Держа нож за середину, Юранд провел указательным пальцем к его острию, чтобы знать, чего он касается, и стал перерезать веревки на руках крестоносца.

Все были потрясены, когда поняли его намерение, никто не хотел верить своим глазам. Это было уж слишком. Первый возроптал Глава, за ним Толима и слуги. Только ксендз Калев, не в силах удержать слезы, прерывистым голосом спросил:

— Брат Юранд, чего вы хотите? Неужели вы хотите возвратить пленнику свободу?

— Да! — движением головы ответил Юранд.

— Вы хотите отпустить его без отщипления и кары?

— Да.

Громче стал ропот гнева и возмущения; но ксендз Калев, не желая, чтобы тщетным остался этот неслыханный порыв милосердной души, воскликнул, обращаясь к ропщущим:

— Кто смеет противиться святому? На колени!

И сам, преклонив колена, стал читать молитву:

— Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое...

Он прочел всю молитву. При словах: «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим», — глаза его невольно обратились на Юранда, лицо которого светилось каким-то подлинно неземным светом.

Это зрелище в соединении со словами молитвы сокрушило сердца всех присутствующих, и старый Толима с его закаленной в постоянных битвах душой обнял колени Юранда и сказал:

— Если ваша воля, пан, должна быть исполнена, то пленника надо проводить до границы.

— Да! — кивнул Юранд.

Молния все чаще озаряла окна, буря надвигалась все ближе и ближе.

Ветер дул, и порой срывался бурный ливень, когда два всадника — Зигфрид и Толима — приближались к спыховской границе. Толима провожал немца из опасения, как бы по дороге его не убили мужики, стоявшие на страже, или спыховские слуги, которые ненавидели его лютой ненавистью и жаждали мести. Зигфрид ехал без оружия, но и без цепей. Тучи, гонимые вихрем, нависли уже над всадниками. По временам, когда раздавался неожиданный удар грома, кони приседали на задние ноги. Всадники ехали в немом молчании по такой узкой дороге, пролежавшей в овраге, что стремя порою касалось стремени. Толима, который за много лет привык стеречь невольников, и сейчас то и дело поглядывал зорко на Зигфрида, словно опасаясь, как бы тот не обратился неожиданно в бегство, и всякий раз его пронимала при этом невольная дрожь, все казалось ему, что глаза крестоносца горят во мраке, как у злого духа или упыря. Толима даже подумывал, не осенить ли его крестом, но при одной мысли, что от крестного знамения он вззоет вдруг нечеловеческим голосом, оборотится каким-нибудь чудовищем и начнет щелкать зубами, его охватывал еще больший страх. Старый воин мог один смело броситься на целую толпу немцев, как ястреб бросается на стаю куропаток, но боялся нечистой силы и не желал иметь с нею дела. Ему хотелось просто показать немцу дорогу и вернуться назад, но стыдно было перед самим собою, и он проводил Зигфрида до самой границы.

Когда они добрались до опушки спыховского леса, дождь утих, и тучи озарились каким-то удивительным желтым светом. Кругом посветлело, и глаза Зигфрида утратили свой зловеющий блеск. Но тут Толимой овладело другое искушение. «Мне велели, — говорил он себе, — довести этого бешеного пса целым и невредимым до границы, и я довез его; но неужто он так и уедет, не понеся возмездия и кары, этот палач моего господина и его дочки, и не будет ли делом, угодным и приятным Богу, убить его? А что, если вызвать его на смертный бой? Правда, при нем нет оружия, но за милю отсюда, в усадьбе пана Варцима, ему дадут какой-нибудь меч или секиру, и я смогу биться с ним. Бог даст, свалю его, а там и добыю, как положено, и голову зарюю в навоз!» Так говорил себе Толима и, поглядывая алчно на немца, раздувал ноздри, словно почуяв запах свежей крови. Нелегко было ему подавить это желание, нелегко бороться с собой; но когда он подумал, что Юранд даровал невольнику жизнь и свободу не для

того, чтобы тот доехал только до границы, и что, если он убьет Зигфрида, доброе дело, совершенное его господином, останется втуне и меньше будет за него награда небесная, он превозмог себя и, остановив коня, сказал:

— Вот наша граница, отсюда недалеко и до вашей. Поезжай свободно, и коли не загрызет тебя совесть и гром небесный не разразит, то от людей тебе ничто не угрожает.

С этими словами он повернул коня, а крестоносец, с дико окаменелым лицом, поехал вперед, не проронив ни слова, будто не слыша, что кто-то с ним говорит.

Он ехал все дальше и дальше, уже по большой дороге, и, казалось, был погружен в сон.

Недолгим было затишье, и не надолго прояснилось небо. Снова оно потемнело так, будто вечерний сумрак пал на землю, и тучи спустились низко, нависли над самым лесом. В вышине зловеще погромыхивало, словно ангел бури еще сдерживал нетерпеливый рокот и грохотанье громов. Но молния уже поминутно озаряла ослепительным блеском грозное небо и потрясенную землю, и тогда видна была широкая дорога, бегущая между двумя черными стенами леса, а посреди нее одинокий всадник на коне. Зигфрид ехал в полубеспамятстве, томимый жаром. От отчаяния, снедавшего его душу со времени смерти Ротгера, злодеяний, совершенных из мести, угрызений совести, страшных видений и душевных мук ум его давно мутился, старик был на грани безумия и держался лишь чудовищным усилием воли, порою все же теряя рассудок. Тяжести пути под жестким надзором чеха, ночь, проведенная в спыховском подземелье, страх перед неизвестностью и этот неслыханный, непостижимый акт всепрощения и милосердия, который просто потряс его, — все это вконец сокрушило Зигфрида. Порою ум его цепенел, так что старик переставал понимать, что с ним творится; но жар заставлял его очнуться, снова пробуждая в нем смутное чувство отчаяния, подавленности, гибели, чувство, что все уже миновало, угасло, оборвалось, что пришел конец, что вокруг только ночь да ночь, небытие и ужасная бездна, полная страхов, к которой он все же должен идти.

— Иди, иди! — внезапно прошептал у него над ухом чей-то голос.

Он обернулся — и увидел смерть. Белая, в образе скелета, сидела она на скелете коня и, гремя костями, двигалась бок о бок с ним.

— Это ты? — спросил крестоносец.

— Да. Иди, иди!

Но в это мгновение он заметил, что и с другой стороны его сопровождает спутник: стремя в стремя с ним ехало чудище с телом

человека, но с головой зверя; длинная, острая, с торчащими ушами, она поросла черной шерстью.

— Кто ты? — воскликнул Зигфрид.

Вместо ответа чудище оскалило зубы и глухо зарычало.

Зигфрид закрыл глаза и в то же мгновение услышал, как загремели кости и голос сказал ему на ухо:

— Пора! Пора! Торопись! Иди!

И он ответил:

— Иду!..

Но собственный голос показался ему чужим.

И, словно движимый непреодолимой силой, побуждаемый толчками извне, он спешил, снял с коня высокое рыцарское седло и узду. Его спутники тоже спешили и, не отходя от Зигфрида ни на мгновение, повели его с середины дороги на опушку леса. Здесь черный упырь наклонил сук и помог крестоносцу привязать к нему ремень узды.

— Торопись! — прошептала смерть.

— Торопись! — зашумели голоса в вершинах деревьев.

Зигфрид как во сне продел в пряжку другой конец повода, сделал петлю и, встав на седло, которое положил под деревом, надел ее на шею.

— Оттолкни седло!.. Так! А-а!

Отброшенное ногой седло откатилось на несколько шагов — и тело несчастного крестоносца тяжело повисло в петле.

На один краткий миг ему почудилось, что он слышит хриплый, сдавленный рев, что ужасный упырь, бросившись на него, раскачал его тело и рвет зубами грудь, чтобы впиться в сердце. Потом угасающий его взор увидел, как смерть расплылась в белесое облако; оно медленно надвигалось на него, охватило его, обняло, окружило и наконец все закрыло жуткой, непроницаемой пеленой.

В эту минуту налетел неистовый порыв бури. Гром грянул в середину дороги с таким ужасающим грохотом, словно сама земля заколебалась в своем основании. Весь лес склонился под дыханием вихря. Шум, свист, вой, скрип стволов и треск ломающихся сучьев наполнили лесные недра. Струи дождя, гонимые ветром, заслонили весь мир, и только при мгновенных огненных вспышках молнии можно было увидеть дико раскачивающийся над дорогой труп Зигфрида.

На другой день по той же дороге подвигался довольно большой отряд. Впереди ехала Ягенка с Анулей и чехом, а за ними следовали повозки под охраной четырех слуг, вооруженных самострелами и мечами. У каждого возницы были под рукой рогатина и секира, не считая окованных вил и

другого оружия, которое могло пригодиться в пути. Это было необходимо для защиты и от диких зверей, и от разбойничьих шаек, которые всегда злодействовали на границе ордена, на что в письмах и во время личных встреч в Рацёнке с горечью жаловался великому магистру Ягайло.

Но с опытными, хорошо вооруженными слугами можно было не опасаться разбойников, и отряд подвигался вперед уверенно и спокойно. После вчерашней бури встал чудный день — свежий, тихий и такой ясный, что там, где не было тени, путники щурились от солнечного блеска. Ни один лист не шевелился на деревьях, и на каждом повисли крупные капли дождя, переливаясь на солнце всеми цветами радуги. На иглах сосен словно сверкали крупные алмазы. После ливня по дороге с веселым журчаньем сбегали вниз ручейки, образуя в ложбинах маленькие озерца. Все кругом было окроплено водой, все было мокрое, но все улыбалось в сиянье утренних лучей. В такие утра радость овладевает человеческим сердцем, и возницы со слугами мурлыкали песни, дивясь молчанию, которое хранили всадники, ехавшие впереди.

А те молчали потому, что над Ягенкой стряслось большое несчастье. Что-то оборвалось в ее жизни, что-то надломилось, и хоть девушка не особенно была склонна к раздумью и не могла дать себе отчет в том, что же с нею творится, что с нею случилось, однако она чувствовала, что все, чем она до сих пор жила, обмануло ее, прахом пошло, что все ее надежды пропали, как пропадает утренний туман над полями, что от всего нужно теперь отречься, от всего отказаться, все предать забвению и как бы начать новую жизнь. Она думала, что если даже, по воле Божьей, эта новая жизнь и не будет вовсе плоха, она может быть только унылой и никогда не будет такой хорошей, какой могла быть та, которая кончилась.

И сердце ее сжималось от безграничной тоски по минувшему, к которому нет возврата, и слезы ручьем готовы были хлынуть из глаз. Но она не хотела плакать; кроме всей тяжести бремени, давившего ее душу, она сгорала от стыда. Уж лучше было ей никогда не выезжать из Згожелиц, чем вот так возвращаться теперь из Спыхова. Нет, в душе она не могла отпереться, что приехала сюда не только затем, что не знала после смерти аббата, как быть ей, не только затем, чтобы не дать Чтану и Вильку повода для набега на Згожелицы! Знал об этом и Мацько, который и взял-то ее вовсе не по этой причине; неминуемо узнает и Збышко. При этой мысли щеки у девушки запылали, и горько стало у нее на душе. «Мало было у меня гордости, — говорила она в душе, — вот теперь и расплачиваюсь». И к тревоге, к неуверенности в завтрашнем дне, к тоске, терзавшей ее, и невыразимым сожалениям о прошлом прибавилось еще чувство унижения.

Но эти тяжелые мысли были прерваны неизвестным, торопливо шагавшим навстречу отряду. Осторожный чех двинул к нему коня и по самострелу на плече, барсучьей сумке и шапке, украшенной перьями сойки, узнал в неизвестном лесника.

— Эй, кто там, стой! — крикнул он все же из предосторожности.

Лесник торопливо подошел к ним, лицо у него было взволнованное, как всегда бывает, когда человек хочет сообщить нечто необычайное.

— У дороги висит удавленник! — воскликнул он.

Чех встревожился, не разбойничьих ли это рук дело, и стал живо расспрашивать лесника:

— Далеко ли отсюда?

— Да на выстрел из лука. У самой дороги.

— При нем никого нет?

— Никого. Я только волка спугнул, который его обнюхивал.

Упоминание о волке успокоило Главу, это доказывало, что поблизости не было ни людей, ни засады.

— Посмотри, в чем там дело, — велела Ягенка.

Глава поехал вперед. Через минуту он вернулся уже вскачь.

— Это висит Зигфрид, — крикнул он, осаживая перед Ягенкой коня.

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Зигфрид? Крестоносец?

— Крестоносец! Повесился на узде!

— Сам?

— Видно, сам, седло лежит подле. Если бы это были разбойники, они просто убили бы его и седло забрали — оно дорогое.

— Как же нам ехать?

— Не надо туда ехать, не надо! — закричала пугливая Ануля. — Еще нечисть привяжется!

Ягенка тоже испугалась, она верила, что у трупа самоубийцы собираются тучи злых духов; но смелый Глава, который ничего не боялся, сказал:

— Ну вот! Я был около него, даже рогатиной его тронул, а не слышу, чтоб на шее у меня дьявол сидел.

— Не богохульствуй! — воскликнула Ягенка.

— Я не богохульствую, — возразил чех, — я только верую во всемогущество Божие. Но коли вы боитесь, так можно объехать лесом.

Ануля стала просить объехать лесом; но Ягенка, подумав немного, сказала:

— Нет, нехорошо оставлять умершего без погребения! Это дело христианское, Христос так велел, а Зигфрид все-таки человек.

— Да, но крестоносец, висельник и палач! Им воронье займется да волки.

— Не говори глупостей! За грехи его Бог будет судить, а мы должны сделать свое дело. Коли исполним заповедь Божью, никакая нечисть к нам не привяжется.

— Что ж, быть по-вашему! — ответил чех.

И отдал соответствующее приказание слугам, которые послушались его неохотно и с отвращением. Они все же побаивались Главы и, захватив, за неимением лопат, вилы и топоры, отправились рыть могилу. Желая показать пример, чех тоже пошел с ними и собственноручно перерезал ремень, на котором висел труп.

Лицо Зигфрида уже посинело на воздухе, вид его был страшен, в открытых глазах застыло выражение ужаса, разинутым ртом он словно ловил последний вздох. Могилу вырыли тут же рядом, рукоятями вил сбросили в нее тело вниз лицом, присыпали землей и пошли искать камней, чтобы, по древнему обычаю, завалить ими самоубийцу, который иначе стал бы вставать по ночам и пугать путников.

Камни валялись и на дороге, и среди лесных мхов, и над крестоносцем вскоре поднялась высокая могила. Глава вырубил тогда секирой крест на стволе сосны, не для Зигфрида, а для того, чтобы злые духи не собирались в этом месте, и вернулся к отряду.

— Душа его в аду, а тело уже в земле, — сказал он Ягенке — Теперь можно ехать.

И они тронулись. Проезжая мимо могилы, Ягенка сорвала сосновую ветку и бросила ее на камни; ее примеру последовали все остальные — так велел обычай.

Долгое время все ехали в задумчивости, вспоминая о зловещем рыцаре-монахе и постигшей его каре.

— Правосудие Божие не знает снисхождения, — сказала наконец Ягенка. — За Зигфрида нельзя даже заупокойную молитву прочесть, нет ему прощения.

— У вас и так душа жалостливая, коли велели вы похоронить его, — ответил чех.

И он заговорил с некоторым колебанием:

— Люди толкуют, а может и не люди, а колдуны да колдуньи, будто веревка или ремень угнетенника счастье приносит во всем; но не взял я ремня Зигфрида, не от колдовской силы, от Бога желаю я счастья вам.

Ягенка сперва ничего ему не ответила, потом только сказала со вздохом словно про себя:

— Эх, не впереди, а позади уже мое счастье!

Только через девять дней после отъезда Ягенки Збышко прибыл на границу Спыхова; но Дануся была уже при смерти, и он совсем потерял надежду привезти ее к отцу живой. На другой же день после того, как Збышко услышал бессвязный лепет Дануси, он заметил, что у нее не только ум помутился, но что ее снедает какой-то недуг, с которым это дитя, изнуренное неволей, темницей, страданиями и непрерывным страхом, уже не в силах бороться. Быть может, отголоски ожесточенной битвы, которую Збышко и Мацько вели с немцами, переполнили чашу ее страданий, и именно в эту минуту сломил ее недуг, во всяком случае, с этой поры горячка не оставляла ее всю дорогу. Отчасти это было не так уж плохо, потому что через страшные лесные дебри Збышко, преодолевая невероятные трудности, вез ее как мертвую, в беспамятстве, и она ничего не сознавала. Когда, миновав леса, они вступили в «христианский» край, здесь, среди деревень и шляхетских усадеб, кончились для них опасности и лишения пути. Узнав, что это везут дочь их народа, отбитую у крестоносцев, к тому же родное дитя славного Юранда, о котором гуслеры пели песни по городкам, усадьбам и хатам, люди наперебой предлагали свои услуги. Они доставляли припасы и коней. Все двери были открыты для путников. Теперь Збышко уже не вез Данусю на носилках, притороченных к седлам между конями; сильные юноши несли ее на носилках от деревни к деревне, заботливо и осторожно, словно святыню. Женщины окружали ее нежными заботами. Мужчины, слушая рассказы о причиненных ей обидах, скрежетали зубами, и не один из них, тут же надев железные доспехи, хватался за меч, секиру или копье и отправлялся вслед за Збышком, чтобы сторицей воздать за эти обиды, ибо для тогдашнего поколения, ожесточившегося в войнах, простая месть показалась бы недостаточной.

Но не о мести думал Збышко в эту минуту, а о Дануське. Он жил между проблесками надежды, когда больной на мгновение становилось лучше, и порывами немощного отчаяния, когда состояние ее явно ухудшалось. Он не мог уже больше обманываться.

Не раз в начале пути у него мелькала суеверная мысль, что, быть может, в дебрях, через которые они пробираются, их по пятам преследует смерть, выжидая только удобной минуты, чтобы кинуться на Данусю и высосать из нее остаток жизни. Это видение, вернее, это ощущение,

особенно в темные ночи, было так явственно, что его не раз охватывало отчаянное желание повернуться и вызвать костлявую на бой, как вызывают рыцаря, и драться с ней до последнего издыхания. Но еще хуже стало в конце пути, когда он почувствовал, что смерть уже не позади, а здесь, среди них, невидимая, но такая близкая, что от нее веяло могильным холодом. Он понимал, что против этого врага бессильно мужество, бессильна крепкая рука, бессильно оружие и что самую дорогую для него жизнь ему придется без борьбы отдать ей в добычу. И это было самое страшное чувство, ибо оно сочеталось со скорбью, сильной, как порыв бури, и глубокой, как море. Как же было Збышку не стонать, как же было не терзаться от муки, когда, глядя на возлюбленную, он говорил ей с невольным укором: «Ужели для того я любил тебя, для того нашел и отбил, чтобы наутро засыпать землей и никогда уж больше не увидеть?» Он глядел при этом на ее пылающие от жара щеки, на ее помутненные зрачки и невидящий взор и снова вопрошал: «Покинешь меня? И не жаль тебе? Хочешь покинуть, не хочешь оставаться со мною?» Он думал тогда, что сам потеряет рассудок, стон раздирает ему грудь; но, охваченный злобой и гневом на безжалостную силу, слепую и холодную, сокрушившую невинное дитя, он не мог разрешиться слезами. Если бы проклятый крестоносец находился в эту минуту в отряде, Збышко, как дикий зверь, растерзал бы его.

Добравшись до охотничьего княжеского дома, Збышко хотел остановиться; но весною дом был пуст. От сторожей молодой рыцарь узнал, что князь и княгиня отправились в Плоцк к брату князя, Земовиту, и отказался поэтому от намерения ехать в Варшаву, где придворный лекарь мог бы спасти больную. Нужно было продолжать путь в Спыхов, а это было страшно: ему казалось, что конец уже близок и что он привезет Юранду лишь труп его дочери. Но в последние часы дороги, уже перед самым Спыховом, в сердце Збышка закрался светлый луч надежды. Щеки у Дануси перестали пылать, глаза уже не были такими мутными, дыхание стало ровней. Збышко сразу заметил это и велел сделать последний привал, чтобы больная могла спокойно подышать. Это было в какой-нибудь миле от Спыхова, вдали от человеческого жилья, на узкой дороге между полем и лугом. Дикая груша росла неподалеку, давая тень от солнца, и отряд остановился под ее развесистой вершиной. Спешившись, слуги разнуздали коней, чтобы им легче было щипать траву. Две женщины, нанятые для ухода за Данусей, и юноши, которые ее несли, утомленные дорогой и зноем, прилегли в тени и уснули, один Збышко бодрствовал подле носилок и, сидя на корнях груши, не спускал с больной глаз.

А она в послеполуденной тишине спокойно лежала с закрытыми

глазами. Збышку, однако, казалось, что она не спит. И действительно, когда на другом конце широкого луга остановился косарь и начал править оселком свою косу, Дануся вздрогнула, на мгновение открыла глаза, но тотчас их снова закрыла; грудь ее поднялась от глубокого вздоха, а с уст слетел едва слышный шепот:

— Цветы пахнут...

Это были первые не горячечные, не бредовые слова, которые она вымолвила с начала путешествия; ветерок и впрямь приносил с нагретого солнцем луга сильный смешанный аромат сена, меда и душистых трав. При мысли о том, что к Данусе возвращается память, сердце у Збышка затрепетало от радости. В порыве восторга он хотел броситься к ногам Дануси, но, боясь напугать ее, укротил свой порыв и только опустил у носилок на колени и, наклонившись, тихо позвал:

— Дануся, Дануся!

Она снова открыла глаза и некоторое время глядела на него, затем лицо ее озарилось улыбкой, и также, как в избушке смолокуров, но уже более сознательно, она произнесла его имя:

— Збышко!..

И попыталась протянуть к нему руки, но так уже ослабела, что не смогла этого сделать; он обнял ее с сердцем, исполненным радости, словно благодарил за великую милость.

— Ты проснулась! — сказал он. — Слава Богу... Слава Богу...

Голос его пресекся, и некоторое время они в молчании глядели друг на друга. Тишину полей нарушал только благоуханный ветерок с луга, шелестевший листьями груши, стрекотание кузнечиков в траве и далекая, едва слышная песня косаря.

Взгляд Дануси становился все более осмысленным, она не переставала улыбаться, словно дитя, которое видит во сне ангела. Но вот в ее глазах изобразилось удивление.

— Где я?.. — спросила она.

Из уст Збышка посыпался град ответов, голос его прерывался от радости:

— Ты со мной! Под Спыховом! Мы к батюшке едем. Кончились твои беды! О моя Дануська, моя Дануська! Я искал тебя и отбил. Теперь ты уже не во власти немцев. Не бойся! Скоро уж Спыхов. Ты хворала, но Бог над тобой смилосердился. Сколько было мук, сколько слез! Дануська!.. Теперь все будет хорошо!.. Впереди тебя ждет одно только счастье. Ох, сколько же мне пришлось искать!.. Сколько ездить по свету!.. Господи Боже мой!

И он вздохнул с глубоким стоном, словно сбросил с плеч последнюю

тяжесть страданий.

Дануся лежала спокойно, она словно что-то припоминала, о чем-то раздумывала.

— Так ты не забыл меня? — спросила она наконец.

И две слезы медленно покатались по ее лицу на изголовье.

— Как же мог я забыть тебя! — воскликнул Збышко.

В этом сдавленном крике было больше силы, чем в самых торжественных клятвах и увереньях, ведь он всей душой любил ее всегда, а с той минуты, как нашел, она стала ему дороже всего на свете.

Но вот снова воцарилась тишина; только косарь вдаль перестал петь и опять стал править оселком свою косу.

Губы Дануси снова зашевелились, но шептала она так тихо, что Збышко не мог расслышать и, наклонившись, спросил:

— Что ты говоришь, моя ягодка?

— Цветы пахнут... — повторила она.

— Мы подле луга, — ответил он, — скоро поедem дальше... К батюшке, который тоже на воле. Ты будешь моей до гроба. Ты хорошо меня слышишь? Понимаешь меня?

Вдруг его охватила тревога: он заметил, что по лицу Дануси разливается бледность и на нем выступают капельки пота.

— Что с тобой? — спросил Збышко в смертельном страхе. Он почувствовал, что волосы дыбом встают у него на голове и мороз пробегает по коже.

— Скажи мне, что с тобой? — повторил он.

— Темно! — прошептала она.

— Темно? Солнышко светит, а ты говоришь — темно? — спросил он, задыхаясь. — Ведь только что ты была в памяти! Молю тебя, скажи хоть слово!

Она пошевелила губами, но уже не смогла ничего прошептать. Збышко угадал только, что она произносит его имя, что она зовет его. Затем ее исхудалые руки задрожали и стали быстро перебирать покрывало, которым она была укрыта. Это продолжалось с минуту. Обманываться было нельзя — она кончалась!

В ужасе и отчаянии он стал умолять ее, словно мольбы могли принести ей спасение:

— Дануська! Боже милосердный!.. Подожди хоть до Спыхова! Подожди! Подожди! О Боже! Боже! Боже!

От этих воплей проснулись женщины и прибежали слуги, которые поблизости стерегли на лугу коней. С первого взгляда они поняли, что

происходит, и, опустившись на колени, громко начали читать литанию.

Ветер умолк, перестали шелестеть листья груши, только слова молитвы раздавались в глубокой тишине полей.

Перед самым концом литании Дануся еще раз открыла глаза, словно желая в последний раз взглянуть на Збышка и на мир, залитый солнцем, и уснула навеки.

Женщины закрыли ей глаза и пошли на луг за цветами. Слуги последовали за женщинами, и все они ходили под солнцем, по буйным травам, подобные духам полей, нагибаясь, срывали цветы и плакали, ибо сердца их прониклись жалостью и состраданием. Збышко стоял на коленях в тени подле носилок, припав головой к коленям Дануси, без слов, без движения, как мертвый, а они всё бродили по лугу, то приближаясь, то удаляясь, и рвали золотистые цветки калужницы, и колокольчики, и усеявшую весь луг розовую дрему, и белые, медом пахнущие медуницы. В сырых ложбинках они нашли полевые лилии, а на меже у перелога — дрок. И только набрав полные охапки цветов, печальным хороводом окружили они носилки и стали их украшать. Они убрали покойницу цветами и травами, оставив открытым только лицо, которое тихо белело среди лилий и колокольчиков, погруженное в непробудный сон, светлое, как ангельский лик.

До Спыхова не оставалось и мили, и когда от слез всем стало легче, юноши подняли носилки, и все направились к лесу, где начинались уже владения Юранда.

Слуги, замыкая шествие, вели коней. Сам Збышко нес покойную, он держал носилки в головах; впереди шли женщины с охапками трав и цветов, они пели духовные песнопения; медленно-медленно, как погребальная процессия, подвигались все между зеленым лугом и ровным серым перелогом.

На голубом небе не было ни облачка, и весь мир купался в золотом сиянии солнца.

XXVIII

Они подошли наконец с телом Дануси к спыховскому лесу, на опушке которого днем и ночью стояли на страже вооруженные слуги Юранда. Один из них поскакал с вестью к старому Толиме и ксендзу Калебу, другие повели процессию сперва низом, по извилистой, а там по широкой дороге, до самого конца леса, где начинались обширные кочковатые луга и трясины, кишевшие болотными птицами, а за ними на сухой возвышенности стоял спыховский городок. Не успела процессия выйти из лесного мрака на залитый солнцем луг, как до слуха людей долетел погребальный звон, и все поняли, что печальная весть дошла уже до Спыхова. Вскоре навстречу процессии вышла огромная толпа мужчин и женщин. Когда толпа приблизилась на расстояние двух-трех выстрелов из лука, можно было уже различить отдельные лица. Во главе ее, нащупывая посохом дорогу, шел Юранд, поддерживаемый Толимой. Его легко было узнать по огромному росту, по красным пустым глазницам и белым, ниспадающим на плечи волосам. Рядом с ним с крестом в руках шел в белом стихаре ксендз Калерб. За ними несли знамя со знаком Юранда, которое сопровождали вооруженные спыховские «вои», затем шли замужние женщины в покрывалах и девушки с непокрытыми головами. Шествие замыкала колесница, на которую должны были положить покойницу.

Увидев Юранда, Збышко велел опустить на землю носилки, которые он все время нес, поддерживая изголовье, и, подойдя к старому рыцарю, воскликнул неистовым голосом, каким взывает безграничная скорбь и отчаяние:

— Я искал ее, пока не нашел, я отбил ее, но небо она предпочла Спыхову!

Горе совсем сломило его, и, упав Юранду на грудь, он обнял его за шею и застонал:

— О Иисусе Христе! Иисусе!

Это зрелище так взволновало вооруженных спыховских слуг, что, не зная, как иначе выразить свое горе и жажду мести, они стали ударять копьями о щиты. Женщины заголосили, запричитали, поднеся передники к глазам или совсем закрыв ими головы: «Ах ты, доля, долюшка! Тебе радость, а нам слезы. Смерть тебя скосила, унесла, костлявая!»

Некоторые, откинув головы и закрыв глаза, вопили: «Ужель худо тебе

было с нами, горlinka, ужель было худо? Оставила ты батюшку в горькой печали, а сама ходишь по Божьим чертогам!»

Иные, наконец, укоряли покойницу за то, что не пожалела она отца и мужа, горькими оставила сиротами. Полунапевен был этот жалостный плач: народ в те времена иначе не умел изливать свою скорбь.

Высвободившись из объятий Збышка, Юранд вытянул посох в знак того, что хочет подойти к Данусе. Тогда Толима и Збышко подхватили его под руки и подвели к носилкам; он опустился перед телом на колени, провел рукой от чела умершей до ее рук, сложенных крестом на груди, и закивал головой, словно желая сказать, что это не кто иной, как она, его Дануся, и что он узнаёт свою дочь. Затем он обнял ее одною рукой, а другую, с отрубленной кистью, поднял к небу, и все поняли эту немую жалобу, обращенную к Богу, более красноречивую, чем всякие слова скорби. После короткого взрыва отчаяния лицо Збышка снова застыло; он стоял на коленях по другую сторону носилок, безгласный, подобный каменному изваянию, и такая тишина воцарилась вокруг, что слышно стало, как муха пролетит, как застрекочет кузнечик. Наконец ксендз Калёб окропил святой водой Данусю, Збышка и Юранда и запел «Requiem aeternam»^[103]. Кончив песнопение, он долго молился вслух, и людям казалось, что они слышат пророческий глас, особенно когда ксендз молился о том, чтобы муки невинного дитяти стали той каплей, которая переполнила бы чашу беззакония, молился о том, чтобы настал день Суда и возмездия, гнева и кары Господней.

Затем все направились в Спыхов; но Данусю не положили на колесницу, а несли во главе шествия на украшенных цветами носилках. Колокол звонил не переставая и, казалось, звал всех к себе, и все шли с песнопением по широкому лугу, в сиянии золотой вечерней зари, словно умершая и впрямь вела их к вечному сиянию и свету. Когда дошли до Спыхова, вечер спустился, и стада возвращались с пастбищ. Часовня, в которой поставили тело, пылала огнями факелов и свечей. Семь девушек, по приказанию ксендза Калёба, до рассвета читали попеременно над усопшей литании. До рассвета не отходил от Дануси и Збышко, а во время утрени он сам положил ее в гроб, который искусные мастера вытесали за ночь из ствола дуба, вделав в крышку над головой лист золотого янтаря.

Юранда при этом не было, с ним творилось что-то неладное. Сразу же после возвращения домой у него отнялись ноги, а когда его уложили в постель, он остался лежать недвижимо, потерял память и перестал понимать, где он и что с ним творится. Тщетно ксендз Калёб к нему обращался, тщетно спрашивал, что с ним: Юранд не слышал, не понимал;

лежа навзничь, с просветлевшим счастливым лицом, он только поднимал веки над пустыми глазницами и улыбался, шевеля порою губами, словно с кем-то беседуя. Ксендз и Толима понимали, что это он беседует со своей дочерью в раю и ей улыбается. Понимали они и то, что он уже кончается и что душа его созерцает собственное вечное блаженство; однако ошиблись в этом: бесчувственный, ко всему глухой, Юранд много недель так улыбался, и когда Збышко уехал наконец с выкупом за Мацька, то оставил еще Юранда живым.

После погребения Дануси Збышко не слег в постель; но жил он в каком-то оцепенении. В первые дни ему не было так худо: он ходил, говорил о покойной жене, навещал Юранда и сиживал подле него. Он рассказал ксендзу о том, что Мацько в неволе, и они решили послать Толиму в Пруссию и в Мальборк разведать, где Мацько, и выкупить его, уплатив сразу и за Збышка столько гривен, сколько Мацько уговорился дать Арнольду фон Бадену с братом. Много было серебра в спыховских подвалах: накопил его Юранд в свое время, хозяйничая в Спыхове и захватывая добычу; ксендз поэтому полагал, что, получив деньги, крестоносцы и старого рыцаря отпустят и не станут требовать, чтобы молодой сам к ним явился.

— Поезжай в Плоцк, — напутствовал ксендз Толиму, — да возьми от тамошнего князя охранную грамоту. Иначе тебя первый попавшийся комтур ограбит и посадит в подземелье.

— Да уж я-то их знаю, — ответил старый Толима. — Они умеют грабить и тех, кто приезжает с охранными грамотами.

И старик уехал. Но вскоре ксендз Калеп пожалел, что не послал самого Збышка. Правда, он боялся, что в первые дни утраты молодому рыцарю это будет не под силу; к тому же, встретясь с крестоносцами, он мог не сдержать своего сердца и не посчитаться с опасностью; понимал ксендз и то, что рана Збышка свежа и тяжело будет ему, осиротелому, да еще после ужасного и тягостного пути из далекого Готтесвердера в Спыхов, покинуть свежую могилу. Но жалел потом ксендз, что принял все это во внимание, так как Збышку день ото дня становилось все хуже. До смерти Дануси он жил, охваченный могучим порывом, жил в страшном напряжении всех своих сил: ездил на край света, сражался, отбивал жену, продирался с нею сквозь дикие дебри; и вдруг все оборвалось, все как отрезало, осталось лишь сознание, что все пошло прахом, что тщетны были все усилия, и хоть кончилось все, но ушла и часть жизни, умерла надежда, погибла любовь, ничего не осталось. Всякий живет завтрашним днем, всякий лелеет какие-то замыслы, строит планы на будущее, а для Збышка завтрашний день стал безразличен, и, думая о будущем, он испытывал такое же чувство, как и Ягенка, когда, уезжая из Спыхова, она говорила: «Не впереди, а позади мое счастье». Но в душе Збышка это чувство потерянности, пустоты и сознания своей горькой участи росло на почве безграничной скорби и все большей

тоски по Данусе. Эта тоска овладела им безраздельно, обуяла его, стеснила грудь его так, что не осталось в ней места ни для каких других чувств. Он думал только о своей тоске, ей одной предавался, ею одною жил; безучастный ко всему остальному, словно погруженный в полусон, он замкнулся в себе и не замечал, что творится вокруг. Все силы его духа и плоти, весь прежний жар его души и пыл пропали. Его взгляд и движения стали медлительны, как у старика. Дни и ночи просиживал он либо в склепе у гробницы Дануси, либо на завалинке, греясь на солнце в полуденные часы. По временам он впадал в забытие и не отвечал на вопросы. Ксендз Калев, который любил Збышка, начал опасаться, что горе точит его, как ржа железо, что иссушит оно хлопца, и с грустью думал, что, может, лучше было отправить его с выкупом к крестоносцам. «Нужно, — говорил он своему служке, которому, за неимением другого собеседника, поверял свои горести, — чтобы какое-нибудь событие встряхнуло его, как вихрь дерево, не то он совсем пропадет». Служка рассудительно поддакивал и прибавлял для сравнения, что человека, который подавится костью, лучше всего хорошенько стукнуть кулаком по спине.

Никакого события в ту пору не произошло; но спустя несколько недель неожиданно приехал господин де Лорш. Збышко потрясен был, увидев лотарингского рыцаря; ему сразу вспомнился поход на Жмудь, освобождение Дануси. Сам де Лорш не колеблясь касался этих горестных воспоминаний. Узнав о несчастье, он тотчас отправился со Збышком помолиться у гроба Дануси и говорил о ней не умолкая, а затем, будучи отчасти менестрелем, сложил о ней песню, которую ночью под аккомпанемент лютни спел у решетки склепа так трогательно и жалостно, что хоть Збышко и не понимал слов, но от одного напева невольно разрыдался и плакал ночь напролет до рассвета.

А потом, обессилев от горя и слез, он погрузился, усталый, в долгий сон, а когда проснулся, ему стало легче от слез, он стал бодрее, чем раньше, и взгляд его стал живее. Он очень обрадовался господину де Лоршу, поблагодарил его за приезд и начал расспрашивать, откуда тот узнал про его несчастье.

Де Лорш через ксендза Калеба ответил, что о смерти Дануси он узнал в Любаве от старого Толимы, которого видел в оковах у тамошнего комтура, но что в Спыхов он ехал для того, чтобы отдаться в руки Збышка.

Весть о том, что Толима в неволе, сильно поразила и Збышка, и ксендза. Они поняли, что выкуп пропал; не было ничего труднее на свете, как вырвать у крестоносцев заграбленные деньги. Нужно было, таким образом, ехать к ним с другим выкупом.

— Горе! — воскликнул Збышко. — Бедный дядя ждет меня там, думает, что я его забыл! Теперь мне нужно спешить к нему.

Затем он обратился к господину де Лоршу:

— Знаешь ли ты, как все случилось? Знаешь ли ты, что он в руках крестоносцев?

— Знаю, — ответил де Лорш, — я его видел в Мальборке и потому приехал сюда.

Ксендз Калек стал тут сокрушаться.

— Плохо мы сделали, — говорил он, — но ведь в ту пору все потеряли головы... Да и думал я, что Телима умнее. Почему он не поехал в Плоцк, почему отправился к этим разбойникам безо всякой охранной грамоты?

В ответ на это господин де Лорш только пожал плечами:

— Что им охранные грамоты! Разве мало обид терпит от них сам плоцкий князь? А ваш? На границе вечно битвы и набеги, потому что ваши тоже не остаются в долгу. Любой комтур — да что там! — любой правитель делает что хочет, и алчностью они стараются превзойти друг друга...

— Тем более Телима должен был ехать в Плоцк.

— Он так и хотел сделать; но по дороге на границе немцы схватили его на ночлеге. Они бы, наверно, убили старика, если бы он не сказал, что везет деньги любавскому комтуру. Это его спасло, но комтур может выставить теперь свидетелей, что Телима сам сказал об этом.

— А как дядя Мацько, здоров? Не грозит ли ему опасность? — спрашивал Збышко.

— Он здоров, — ответил де Лорш. — Крестоносцы очень озлоблены на «короля» Витовта и на тех, кто помогает жмудинам, и они, наверно, обезглавили бы старого рыцаря, когда бы им не жаль было выкупа. Братья фон Бадены по той же самой причине защищают его, наконец, капитулу важна моя голова, ведь если бы они ею пожертвовали, против них возмутилось бы рыцарство и во Фландрии, и в Гельдерне, и в Бургундии. Вы же знаете, что я графу Гельдернскому сродни.

— А при чем тут твоя голова? — с удивлением перебил его Збышко.

— Да ведь я твой пленник. В Мальборке я вот что сказал: «Если срубите вы голову старому рыцарю из Богданца, молодой срубит мне...»

— Не срублю, клянусь Богом!

— Я знаю, что не срубишь; но они-то этого боятся, потому и Мацьку ничего не сделают. Говорили мне, будто и ты пленник, будто фон Бадены только отпустили тебя на рыцарское слово и мне не нужно являться к тебе. Но я им ответил, что, когда ты захватил меня, ты был свободен. Вот я и

приехал! А покуда я в твоих руках, они ни тебе, ни Мацьку ничего не сделают. Ты фон Баденам уплати выкуп, а за меня потребуй вдвое, а то втрое больше. Придется им заплатить. Я не потому так говорю, что больше вас стою, нет, я хочу наказать их за алчность, которая противна мне. Когда-то я иначе думал про них, а теперь омерзели мне и они, и их гостеприимство. Я отправлюсь искать рыцарских приключений в Святую землю, а им не хочу больше служить.

— А то останьтесь у нас, господин, — сказал ксендз Калев. — Думаю, что так и придется вам сделать; сомнительно, чтоб они заплатили за вас выкуп.

— Они не заплатят, так я сам заплачу, — ответил де Лорш. — Со мною много слуг и полные повозки добра, хватит...

Ксендз Калев повторил Збышко эти слова, к которым Мацько, наверно, не остался бы равнодушным; но Збышко был молод, о богатстве не думал, он ответил де Лоршу:

— Клянусь честью, этому не бывать. Ты был мне братом и другом, и никакого выкупа я от тебя не возьму.

И они обнялись, чувствуя, что связаны отныне новыми узами. Де Лорш сказал с улыбкой:

— Ладно. Пусть только немцы про то не знают, иначе они станут артачиться с Мацьком. Должны они все-таки заплатить за меня, небось побоятся, что я разглашу при дворах и среди рыцарства, что они охотно зовут в гости и принимают рыцарей, но стоит только гостю попасть в неволю, как они тотчас забывают о нем. А теперь ордену гости очень нужны, боится он Витовта, а еще больше поляков и их короля.

— Быть по-твоему, — сказал Збышко, — оставайся здесь или в другом каком месте в Мазовии, где пожелаешь, а я поеду в Мальборк за дядей и притворюсь, будто страх как против тебя ожесточился.

— Сделай это во имя Георгия Победоносца! — воскликнул де Лорш. — Но сперва послушай, что я тебе скажу. Толкуют в Мальборке, будто польский король должен приехать в Плоцк и встретиться с магистром то ли в самом Плоцке, то ли где-то на границе. Крестоносцы очень хотят этой встречи, чтобы выведать у короля, будет ли он помогать Витовту, когда тот открыто объявит им войну за Жмудь. О, они хитры, как змеи, но Витовт похитрее их. Орден боится его, ведь никогда нельзя знать, что он замышляет и что думает делать. «Он отдал нам Жмудь, — говорят в капитуле, — но из-за нее меч его всегда занесен над нашей головой. Одно его слово, — говорят они, — и бунт готов!» Так оно на самом деле и есть. Я должен как-нибудь посетить его двор. Может, подвернется случай принять

участие в состязаниях, к тому же я слышал, что дамы там отличаются ангельской красотой.

— Вы, господин, говорили о приезде польского короля в Плоцк? — перебил де Лорша ксендз Калёб.

— Да. Пусть Збышко присоединится к королевскому двору. Магистр хочет привлечь на свою сторону короля и ни в чем ему не откажет. Вы знаете, если надо, никто не умеет быть покорней крестоносца. Пусть Збышко присоединится к свите короля и требует своего, пусть громче всех кричит о беззакониях ордена. При короле и при краковских прославленных рыцарях, чьи приговоры знает все рыцарство, его совсем иначе станут слушать.

— Дельный совет, клянусь Богом, дельный! — воскликнул ксендз.

— Да! — подтвердил де Лорш. — И повод найдется. В Мальборке я слышал, что будут пиры и ристалища, ибо иноземные гости непременно хотят сразиться с рыцарями короля. Боже мой, да ведь должен приехать и сам Хуан из Арагонии, славнейший рыцарь во всем христианском мире. Вы об этом не знаете? Говорят, он вашему Завише прислал из Арагонии перчатку, чтобы при дворах не говорили, будто на свете есть рыцарь, равный ему.

Приезд господина де Лорша, самый вид его и его речи вывели Збышка из того тяжелого оцепенения, в котором он до сих пор находился, и молодой рыцарь с любопытством слушал все новости. Он знал о Хуане из Арагонии; в те времена всякий рыцарь обязан был знать и помнить имена всех прославленных воителей, слава же об арагонском дворянстве, особенно о Хуане, облетела весь мир. Ни один рыцарь не мог устоять в состязании против Хуана, мавры рассеивались при одном виде его доспехов, и все почитали его первым рыцарем в христианском мире.

Вот почему, когда де Лорш упомянул его имя, в Збышке проснулся боевой рыцарский дух, и он стал оживленно расспрашивать:

— Он вызвал на бой Завишу Чарного?

— Похоже, что уж год, как Завиша получил его перчатку и послал ему свою.

— Так Хуан из Арагонии наверно приедет.

— Кто его знает, наверно ли, но слух такой ходит. Крестоносцы давно послали ему приглашение.

— Дай-то Бог увидеть такой бой!

— Дай Бог! — повторил де Лорш. — Пусть даже Хуан победит Завишу, а это легко может случиться, все равно великая будет слава для польского рыцаря, да и для всего вашего народа, что его вызвал на

поединок сам Хуан из Арагонии.

— Поглядим! — сказал Збышко. — Я только говорю: дай-то Бог увидеть!

— Да и я то же говорю.

Однако на этот раз желанию их не суждено было исполниться, ибо в старых хрониках упоминается, что поединок между Завишей и прославленным Хуаном из Арагонии состоялся только лет через пятнадцать в Перпиньяне в присутствии императора Сигизмунда, папы Бенедикта XIII, короля арагонского и множества князей и кардиналов. Завиша Чарный из Гарбова первым же ударом копья свалил с коня своего противника и одержал над ним блестящую победу. А пока и Збышко, и де Лорш радовались при мысли, что, если даже Хуан из Арагонии не сможет явиться в назначенный срок, они и без того увидят славные рыцарские подвиги, ибо в Польше не было недостатка в рыцарях, мало в чем уступавших Завише, а среди гостей ордена всегда можно было найти первостатейных французских, английских, бургундских и итальянских фехтовальщиков, всегда готовых сразиться за первенство.

— Послушай, — сказал Збышко господину де Лоршу, — скучно мне без дяди Мацька, хочется поскорей его выкупить, поэтому завтра на рассвете я выеду в Плоцк. Зачем тебе здесь оставаться? Ты ведь как будто мой пленник, что ж, поедем со мной, увидишь короля и двор.

— Я как раз хотел просить тебя об этом, — ответил де Лорш, — давно уж мне хочется увидеть ваших рыцарей, да и слышал я, что ваши придворные дамы скорей похожи на ангелов, нежели на обительниц сей земной юдоли.

— Ты то же самое сказал только что о дворе Витовта, — заметил Збышко.

В душе Збышко укорял себя за то, что, предавшись горю, забыл о дяде, а так как, замыслив дело, он привык тотчас приводить свой замысел в исполнение, то на следующий же день на рассвете выехал с господином де Лоршем в Плоцк. Даже в мирное время пограничные дороги не были безопасными из-за многочисленных разбойничьих шаяк; крестоносцы покровительствовали этим шайкам и оказывали им поддержку, за что их жестоко упрекал король Ягайло. Несмотря на жалобы, которые доходили даже до Рима, несмотря на угрозы и строгие меры, соседние комтуры часто разрешали своим наемным кнехтам вступать в разбойничьи шайки; правда, они отрекались от тех, кто имел несчастье попасть в руки поляков, но в то же время укрывали не только в деревнях, но и в своих замках тех, кто возвращался с разбоя с добычей и невольниками.

Нередко в лапы разбойников попадали и путники, и пограничные жители, особенно же часто разбойничьи шайки похищали ради выкупа детей богатых родителей. Но два молодых рыцаря, сопровождаемые, кроме возниц, несколькими десятками вооруженных пеших и конных слуг, не боялись нападения и безо всяких приключений добрались до Плоцка, где их ждала приятная неожиданность.

В корчме они нашли Толиму, который явился в Плоцк накануне их приезда. Оказывается, любавский правитель, узнав, что Толима во время нападения, совершенного на него неподалеку от Бродницы, успел спрятать часть выкупа, отправил старика в бродницкий замок, поручив местному комтуру вынудить пленника сознаться, где спрятаны деньги. Толима воспользовался случаем и бежал. Когда рыцари спросили в удивлении, как ему удалось это сделать, старик объяснил им:

— Всему причиной их алчность. Бродницкий комтур не хотел, чтобы разнесся слух об этих деньгах, и приставил ко мне небольшую стражу. Может, он уговорился с любавским комтуром поделить деньги, и оба они опасались, как бы не раскрылась тайна, а то им пришлось бы тогда отослать львиную долю в Мальборк, а может, и отдать все деньги фон Баденам. Поэтому комтур приставил ко мне только двух человек: своего верного кнехта, который должен был грести со мной, когда мы плыли по Дрвенце, и какого-то писца... Не хотел комтур, чтобы кто-нибудь нас видел, и отправил нас на ночь глядя, а вы знаете, граница там рядом. Дали мне дубовое весло... ну, с Божьей помощью... я вот теперь и в Плоцке.

— Вижу, ну а те не вернулись? — воскликнул Збышко.

Суровое лицо Толимы озарилось улыбкой.

— Да ведь Дрвенца в Вислу течет, — сказал он. — Как же могли они вернуться против течения? Крестоносцы их найдут разве только в Торуни.

Помолчав с минуту времени, старик прибавил, обращаясь к Збышку:

— Часть денег заграбил у меня любавский комтур, а те, что я спрятал, когда немцы на меня напали, я нашел и отдал на хранение вашему оруженосцу; он живет в княжеском замке, там безопасней, чем здесь, в корчме.

— Мой оруженосец в Плоцке? Что он здесь делает? — спросил в удивлении Збышко.

— Да ведь он привез Зигфрида в Спыхов, а сам уехал потом с той панной, что была там; она стала теперь придворной здешней княгини. Так он мне вчера рассказывал.

Будучи в Спыхове, Збышко после смерти Дануси был так подавлен горем, что ни о чем не расспрашивал и ничего не знал; только теперь он вспомнил, что он и Мацько послали чеха с Зигфридом вперед; при воспоминании о крестоносце сердце его сжалось от боли и жажды мести.

— Верно! — сказал он. — А где же этот палач? Что с ним?

— Разве ксендз Калев вам не говорил? Зигфрид повесился, и вы, пан, наверно, проезжали мимо его могилы.

На минуту воцарилось молчание.

— Оруженосец сказал мне, — заговорил наконец Толима, — будто собирается к вам; он давно приехал, да пришлось за панной присматривать: она после приезда из Спыхова заболела тут.

Страхнув с себя, как сон, печальные воспоминания, Збышко снова спросил:

— За какой панной?

— Ну, за вашей сестрой не то родичкой, — ответил старик, — той, что, перерядившись оруженосцем, приезжала в Спыхов с рыцарем Мацьком, что пана нашла, когда он ощупью брел по дороге. Кабы не она, так ни рыцарь Мацько, ни ваш оруженосец не признали б его. Очень ее потом наш пан полюбил, а уж она за ним как родная дочка ходила, только она одна да ксендз Калев его и понимали.

Молодой рыцарь в изумлении раскрыл глаза.

— Ни о какой панне мне ксендз Калев не говорил, да и родички у меня нет никакой.

— Не говорил он потому, что вы от горя себя не помнили, ничего не знали, не видели.

— Как же звали эту панну?

— Звали ее Ягенка.

Збышку показалось, что все это сон. Мысль о том, что Ягенка могла приехать из далеких Згожелиц в Спыхов, просто не укладывалась в его голове. Зачем? Почему? Правда, для него не было тайной, что он пришелся по сердцу девушке, что она льнула к нему в Згожелицах; но он ведь признался ей, что женат, и никак не мог предположить, что старый Мацько мог взять ее с собой в Спыхов с намерением выдать за него замуж. Впрочем, ни Мацько, ни чех и не заикнулись ему об Ягенке. Все это показалось Збышку чрезвычайно странным и совершенно непонятным; не веря своим ушам и желая еще раз услышать невероятную новость, он снова засыпал Толиму вопросами.

Но Толима больше ничего не мог прибавить к своему рассказу; он тотчас отправился в замок искать оруженосца и вскоре вернулся с ним, еще даже солнце не зашло. Чех, который уже знал обо всем, что произошло в Спыхове, с радостью, но вместе с тем и с некоторой грустью приветствовал молодого господина. Чувствуя в нем верного товарища и друга, Збышко от души ему обрадовался, ибо в беде человек больше всего нуждается в дружеском участии. Он растрогался и расчувствовался, рассказывая чеху о смерти Дануси, и Глава, как брат с братом, разделил с ним его горести и сожаления и поплакал вместе со своим господином. На все это ушло довольно много времени, тем более что, по просьбе Збышка, господин де Лорш, став у отворенного окна и устремив глаза к звездам, пропел еще раз под звуки цитры печальную песню, сложенную им в честь покойной.

Только тогда, когда всем стало легче, заговорили они о делах, которые ждали их в Плоцке.

— Я заехал сюда по дороге в Мальборк, — сказал Збышко, — дядя Мацько в неволе, и я еду за ним с выкупом.

— Знаю, — ответил чех. — Вы хорошо сделали, пан. Я сам хотел скакать в Спыхов, чтобы посоветовать вам ехать через Плоцк; король собирается в Рацёнже вести переговоры с великим магистром^[104], а при короле легче чего-нибудь добиться: в присутствии его величества крестоносцы не так заносчивы и стараются напустить на себя христианскую добродетель.

— Толима говорил, что ты хотел ехать ко мне, но тебя задержала болезнь Ягенки. Я слышал, что ее сюда привез дядя Мацько и что она была в Спыхове. Я очень удивился! Ну, рассказывай, по какой причине дядя Мацько взял ее из Згожелиц?

— Много было причин. Рыцарь Мацько опасался оставить ее там безо

всякой опеки, а то рыцари Вильк и Чтан стали бы учинять набеги на Згожелицы, и при этом могли бы пострадать младшие дети. А без панны детям было бы спокойнее; вы ведь знаете, в Польше случается, что шляхтич, коли иначе у него ничего не выходит, похищает девушку силой, ну а на малых сирот никто руки не поднимет, ведь за это грозит и меч палача, и, что еще горше, позор! Но была и другая причина: аббат умер и отказал панне все свои владения, а здешнего епископа назначил ее опекуном. Рыцарь Мацько и решил привезти панну в Плоцк.

— Но зачем он взял ее с собой в Спыхов?

— Взял на то время, пока не было епископа и князя с княгиней, не на кого ему было оставить ее. Счастье, что взял. Не будь панночки, мы со старым паном миновали бы рыцаря Юранда, как незнакомого нищего. Только когда она над ним сжалилась, узнали мы, что это за нищий. Это все Господь устроил, сердце дал ей доброе.

И чех начал рассказывать, как Юранд потом не мог обойтись без Ягенки, как любил он и благословлял ее, а Збышко, хоть и знал уже об этом от Толимы, с волнением слушал его рассказ, и сердце его проникалось чувством благодарности к Ягенке.

— Дай ей Бог здоровья! — сказал он наконец. — Удивительно только мне, что вы ничего о ней не сказали.

Чех смутился и, желая выиграть время, спросил:

— Где, господин?

— Да у Скирвойла, там, в Жмуди.

— Разве мы не говорили? В самом деле! А мне кажется, что говорили, но вы были заняты другим.

— Вы говорили, что Юранд вернулся, а про Ягенку не сказали ни слова.

— Ой, не забыли ли вы? А впрочем, кто его знает! Может, рыцарь Мацько думал, что я вам рассказал, а я на него понадеялся. Да и рассказывать вам тогда было дело напрасное. И не удивительно! А теперь я вам другое скажу: счастье, что панночка здесь, она может помочь и рыцарю Мацьку.

— А что она может сделать?

— Пусть только замолвит слово княгине, которая очень любит ее! А княгине крестоносцы ни в чем не отказывают, она ведь родная сестра королю да к тому же большой друг ордена. Вы, может, слышали, князь Скиргайло^[105], — он тоже родной брат королю, — восстал сейчас против князя Витовта и бежал к крестоносцам, которые хотят помочь ему и посадить его на стол Витовта. Король крепко любит княгиню и, говорят,

очень прислушивается к ее советам, а крестоносцы хотят, чтобы она склонила его на сторону Скиргайла и восстановила против Витовта. Они понимают, черт бы их побрал, что стоит им только избавиться от Витовта — и ордену не будет больше грозить никакая опасность! Вот послы ордена с утра до ночи только и делают, что челом бьют княгине, стараются угадать всякое ее желание.

— Ягенка очень любит дядю Мацька и, наверно, вступится за него, — сказал Збышко.

— Это уж непременно! Идите, пан, в замок и расскажите ей, что и как она должна говорить.

— Мы и так с рыцарем де Лоршем собирались отправиться в замок, — ответил Збышко, — за тем я сюда и приехал. Нам надо только завить волосы и приодеться.

Через минуту он прибавил:

— Хотел я в горе волосы себе обрезать, да позабыл.

— Оно и лучше! — заметил чех.

И вышел, чтобы позвать слуг. Когда чех вернулся с ними, оба молодых рыцаря стали наряжаться, чтобы отправиться в замок на пир, а он продолжал рассказывать о том, что делается при королевском и княжеском дворах.

— Крестоносцы, — рассказывал он, — всё строят козни против князя Витовта, они знают, что, покуда он жив и по милости короля правит могущественной страной, им не знать покоя! Они и в самом деле только его и боятся! Ох и подкапываются же, ох и подкапываются, как кроты! Восстановили уже против него здешних князя и княгиню, князь Януш, по их проискам, и то косится уже на Витовта за Визну^[106]...

— Так князь Януш и княгиня Анна тоже здесь? — спросил Збышко. — Да, знакомых здесь пропасть найдется, ведь я не в первый раз в Плоцке.

— Как же! — ответил оруженосец. — Оба они здесь. У них много дел с крестоносцами, они в присутствии короля хотят предъявить свои жалобы магистру.

— А как король? На чьей он стороне? Ужель не гневается на крестоносцев, ужель не грозит поднять меч на них?

— Король не любит крестоносцев и, говорят, давно грозит им войной... Что ж до князя Витовта, то король его больше любит, чем родного брата Скиргайла, буяна и пьяницу... Потому-то рыцари его величества толкуют, будто король не пойдет против Витовта и не даст крестоносцам обещания не помогать ему. Так оно, верно, и есть, уж очень здешняя княгиня Александра увивается в последние дни около короля, и

что-то очень она приуныла.

— Завиша Чарный здесь?

— Его нет, но и на тех, кто уже приехал, любо-дорого поглядеть, и уж если дело дойдет до драки — только перья полетят от немцев!

— Мне жалеть их не приходится.

Вскоре пышно одетые рыцари направились в замок. Пир в этот вечер должен был состояться не у князя, а у городского старосты Анджея из Ясенца в его обширной усадьбе, расположенной в стенах замка у большой башни. Стояла чудная, необыкновенно теплая ночь, и староста, опасаясь, чтобы гостям в покоях не было душно, велел поставить столы во дворе, где между каменными плитами росли рябины и тисы. Пылающие смоляные бочки освещали их ярким желтым пламенем, но еще ярче их освещала луна; словно серебряный рыцарский щит, сверкала она на безоблачном небе среди мириад звезд. Коронованные гости еще не прибыли, но во дворе было полным-полно местных рыцарей, духовенства, королевских и княжеских придворных. Збышко знал многих из них, особенно придворных князя Януша, а из старых краковских знакомых он увидел Кшона из Козихглов, Лиса из Тарговиска, Марцина из Вроцимовиц, Домарата из Кобылян, Сташка из Харбимовиц и, наконец, Повалу из Тачева, встрече с которым он особенно обрадовался, вспомнив, как сердечно отнесся к нему в свое время в Кракове этот прославленный рыцарь.

Однако ни к одному из краковских рыцарей Збышко не мог подступить: местные мазовецкие рыцари окружили каждого из них тесной толпой и расспрашивали про Краков, про двор, про потехи и боевые подвиги; они разглядывали пышные наряды рыцарей, их чудные кудри, смазанные для большей крепости завивки яичным белком, и все у них представлялось мазурам образцом изысканности и благополучия.

Но тут Збышка заметил Повала из Тачева и, растолкав мазуров, подошел к нему.

— Я узнал тебя, юноша, — сказал он, пожимая ему руку. — Как живешь-можешь и как ты сюда попал? Боже мой, ты, я вижу, уже носишь рыцарский пояс и шпоры! Другие до седых волос этого ждут, а ты, видно, доблестно служишь Георгию Победоносцу.

— Да пошлет вам Бог счастья, благородный рыцарь, — ответил Збышко. — Если бы я свалил с коня самого славного немца, и то не обрадовался бы так, как сейчас, увидев вас в добром здоровье.

— Я тоже рад. А где твой отец?

— Не отец, а дядя. Он в неволе у крестоносцев, и я еду к ним с выкупом за него.

— А та девочка, которая накрыла тебя покрывалом?

Збышко ничего не ответил, только поднял к небу глаза, полные слез.

— Юдоль плачевная, — сказал, заметив эти слезы, пан из Тачева, — истинно юдоль плачевная! Пойдем-ка присядем на скамью под рябиной, расскажешь мне про свои горести.

И он увлек молодого рыцаря в угол двора. Там они сели рядышком, и Збышко стал рассказывать Повале о горькой участи Юранда, о похищении Дануси, о том, как искал он ее и как она умерла после того, как он отбил ее у немцев. Повала внимательно слушал, и на лице его отражались то изумление, то гнев, то негодование, то сожаление. Когда Збышко кончил, он сказал:

— Я расскажу об этом королю, нашему государю! Он и так собирается потребовать у магистра выдачи маленького Яська из Креткова и сурового наказания похитителей. А похитили его крестоносцы потому, что он богат, они хотят получить выкуп. Им ничего не стоит поднять руку даже на ребенка.

Он задумался и, как бы говоря с самим собой, продолжал:

— Ненасытное это племя, хуже турок и татар. В душе они боятся и короля, и нас, а все-таки не могут удержаться от грабежей и убийств. Учиняют набеги на деревни, режут крестьян, топят рыбаков, как волки хватают детей. А что было бы, когда б они не боялись!.. Магистр шлет иноземным дворам жалобы на короля, а в глаза лебезит перед ним, зная лучше других, как мы сильны. Но есть предел терпению!

И он снова умолк.

— Я расскажу королю, — повторил он, положив Збышку руку на плечо, — в нем давно кипит гнев, и будь уверен, что виновникам твоего несчастья не миновать жестокой кары.

— Их никого уж нет в живых, — сказал Збышко.

Повала поглядел на него с горячей приязнью.

— Так вот ты какой! Видно, никому не прощаешь. Одному только Лихтенштейну еще не отплатил; но я знаю, что ты не мог этого сделать. Мы в Кракове тоже дали обет биться с ним, да, верно, придется ждать войны, если б только Бог послал ее! Ведь Лихтенштейн без дозволения магистра не может драться, а магистр, доверяя его уму, все посылает его с поручениями к разным дворам и вряд ли позволит ему выйти на поединок.

— Сначала я должен выкупить дядю.

— Да... а впрочем, я спрашивал про Лихтенштейна. Здесь его нет, не будет и в Рацёнке, магистр послал его к английскому королю за лучниками. А о дяде не беспокойся. Стоит королю или здешней княгине слово сказать,

и магистр никаких плутней с выкупом не допустит.

— Тем более что у меня в неволе рыцарь де Лорш; он человек богатый и знатный и в почете у них. Рыцарь де Лорш за честь почтет прийти к вам с поклоном и свести с вами знакомство; никто не преклоняется так перед славными рыцарями, как он.

С этими словами он сделал знак господину де Лоршу, стоявшему неподалеку, и тот, еще раньше узнав, с кем беседует Збышко, поспешил к нему, горя желанием познакомиться с таким славным рыцарем, как Повала.

Когда Збышко представил его Повале, изысканный гельдернский рыцарь отвесил изящный поклон и сказал:

— Пожать вашу руку — великая честь, но еще большая — сразиться с вами на ристалище или в битве.

Могучий рыцарь из Тачева, который по сравнению с маленьким и щуплым господином де Лоршем казался просто горой, с улыбкой ответил:

— А я рад, что мы встретимся с вами только за полными чарами, и дай Бог нам никогда иначе не встречаться.

После минутного колебания де Лорш с некоторой робостью сказал:

— Если бы, однако, благородный рыцарь, вы пожелали утверждать, что панна Агнешка из Длуголяса — не самая прекрасная и добродетельная дама на свете... для меня было бы большой честью... не согласиться с вами и...

Он прервал свою речь и бросил на Повалу почтительный, даже восхищенный, но в то же время пристальный и настороженный взгляд.

Но то ли потому, что Повала мог раздавить его, как орех, двумя пальцами, то ли потому, что он был человек необыкновенно добродушный и веселый, только он громко рассмеялся и сказал:

— Ба, в свое время я избрал дамой сердца герцогиню Бургундскую, которая была тогда лет на десять старше меня, и если вы, рыцарь, желаете утверждать, что моя герцогиня не старше вашей панны Агнешки, что ж, нам надо сейчас же садиться на конь...

Де Лорш, услышав эти слова, воззрился в изумлении на пана из Тачева, затем лицо его затряслось от смеха, и он разразился неудержимым хохотом.

А Повала наклонился, обхватил рукой де Лорша, поднял его и стал раскачивать в воздухе с такой легкостью, словно тот был младенцем.

— «Рах! Рах!» — как говорит епископ Кропило... Вы пришли мне по сердцу, рыцарь, и, ради Бога, не надо драться из-за всяких дам.

Затем он сжал его в объятиях и поставил на землю, так как в это время у ворот внезапно загремели трубы и появился князь Земовит плоцкий с

супругой.

— Князь и княгиня прибывают раньше короля и князя Януша, — сказал Повала Збышку. — Хоть пир и у старосты, но в Плоцке-то они хозяева. Пойдем со мной к княгине, ты знаешь ее еще по Кракову, она ходатайствовала тогда за тебя перед королем.

И, взяв Збышка за руку, он повел его через двор. За князем и княгиней следовали придворные дамы и кавалеры; все они были так разодеты по случаю присутствия короля, что казалось, весь двор покрылся цветами. Идя с Повалой, Збышко издали приглядывался, не встретится ли знакомое лицо, и вдруг замер в изумлении.

Позади княгини он и впрямь увидел знакомую фигуру и знакомое, но такое серьезное, такое прекрасное и такое благородное лицо, что молодой рыцарь подумал сперва, не обманывает ли его зрение.

«Ягенка это или, быть может, дочь князя плоцкого?»

Но это была Ягенка из Згожелиц; когда глаза их встретились, она улыбнулась ему дружеской и сочувственной улыбкой и потупилась; побледнев, стояла она с золотой повязкой на темных волосах, в ослепительном сиянии своей красоты — высокая, печальная и прекрасная, словно княжна или подлинная королева.

Збышко преклонил колена перед княгиней плоцкой и предложил ей свою верную службу; но княгиня, которая давно его не видела, в первую минуту не признала молодого рыцаря. Только когда Збышко назвалсЯ, она сказала ему:

— Ах вот что! А я думала, это кто-нибудь из свиты короля. Збышко из Богданца! Как же, как же! У нас гостил ваш дядя, старый рыцарь из Богданца; помню, мы с дамами ручьи слез лили, когда он рассказывал нам о вас. Нашли ли вы свою жену? Где она сейчас?

— Она умерла, милостивейшая пани...

— Господи Иисусе! Нет, нет, не говорите, я не могу удержаться от слез. Одно утешение, что она, наверно, на небесах, а вы еще так молоды. Всемогущий Боже! Женщина — такое слабое существо. Но на небесах нас ждет за все награда, и вы ее там найдете. А старый рыцарь из Богданца с вами?

— Нет, он в неволе у крестоносцев, и я еду к ним, чтобы выкупить его.

— Так и ему не повезло. А он казался мне человеком ловким и бывалым. Когда выкупите его, заезжайте к нам. Мы примем вас с радостью: сказать по правде, он ума палата, а вы уж очень хороши собою.

— Мы так и сделаем, милостивейшая пани, тем более что я нарочно приехал сюда просить вас замолвить слово за дядю.

— Хорошо. Зайдите завтра перед выездом на охоту, — у меня будет свободное время...

Но тут ее прервал гром труб и литавр, возвестивших о прибытии князя Януша мазовецкого с женой. Збышко с княгиней плоцкой стояли у самого входа, так что княгиня Анна Данута сразу заметила молодого рыцаря и тотчас к нему подошла, не обращая внимания на поклоны старосты, хозяина дома.

Когда Збышко увидел Анну Дануту, снова стало рваться пополам его сердце; он преклонил колена перед княгиней, обнял ее ноги и замер, безгласный, она же наклонилась над ним и, сжав его виски, роняла слезы на его светлую голову, как мать, плачущая по горю сына.

К большому удивлению придворных и гостей, она долго так плакала, все повторяя: «О Иисусе, Иисусе милостивый!» — а затем велела Збышку встать и сказала:

— Я плачу о ней, о моей Дануське, и плачу по твоему горю. Но так уж

угодно Богу, что напрасны все твои труды, как напрасны теперь и наши слезы. Расскажи мне про нее и про ее кончину, до полуночи могу я слушать и не наслушаться.

И она увлекла его в сторону, как увлек его раньше пан из Тачева. Гости, не знавшие Збышка, стали расспрашивать о его приключениях, и, таким образом, некоторое время все говорили только о нем, о Данусе и Юранде. Расспрашивали про Збышка и послы крестоносцев — торуньский комтур Фридрих фон Венден, присланный для встречи короля, и комтур из Остероде Иоганн фон Шенфельд. Последний хоть и был немцем, но родился в Силезии и хорошо изъяснялся по-польски; он легко дознался, в чем дело, и, выслушав рассказ придворного князя Януша, Яська из Забежа, сказал:

— Сам магистр подозревал, что Данфельд и де Лёве были чернокнижниками.

Но тут же спохватился, что рассказ о подобных вещах может набросить на орден такую же тень, как в свое время на тамплиеров^[107], и поспешил прибавить:

— Болтуны переносили такие сплетни; но это неправда, среди нас нет чернокнижников.

Однако пан из Тачева, стоявший неподалеку, возразил:

— Кому не с руки было крестить Литву, тому может быть противен и Крест.

— Мы на плащах носим Крест, — гордо ответил Шенфельд.

— А его надо носить в сердцах, — отрезал Повала.

Но тут еще громче заиграли трубы, и появился король в сопровождении гнезненского архиепископа, епископа краковского и епископа плоцкого, краковского каштеляна и множества других сановников и придворных, среди которых был и Зындрам из Машковиц герба Солнце, и приближенный короля, молодой князь Ямонт. Король мало изменился с той поры, как Збышко его видел. На щеках его играл такой же яркий румянец, длинные волосы он, как и тогда, поминутно закладывал за уши, и по-прежнему беспокойно бегали его глаза. Збышку показалось, что король стал более важен и величествен, он как будто почувствовал себя уверенней на троне, от которого после смерти королевы хотел отказаться, не надеясь его удержать, как будто стал сознавать непобедимое свое могущество и силу. Оба мазовецких князя стали по бокам короля, впереди отвечивали поклоны послы-немцы, а вокруг расположились сановники и придворная знать. Стены, которыми был обнесен двор, сотрясались от непрерывных кликов, звуков труб и грома литавр.

Когда наконец воцарилась тишина, посол ордена фон Венден начал что-то говорить о делах ордена; но король, с первых же слов догадавшись, куда он клонит, махнул в нетерпении рукой и сказал своим низким и зычным голосом:

— Помолчи-ка! Мы пришли сюда для забавы и не твои пергаменты хотим видеть, а яства и питья.

Однако король добродушно при этом улыбнулся, чтобы крестоносец не подумал, будто на него гnevаются, и прибавил:

— О делах мы успеем поговорить с магистром в Рацёнже.

Затем он обратился к князю Земовиту:

— А завтра как, в пущу на охоту?

Этот вопрос означал, что нынче вечером король ни о чем не хочет говорить, кроме охоты; он был страстным охотником и с удовольствием приезжал поохотиться в Мазовию, так как Малая и Великая Польша не были особенно лесисты, а некоторые земли там были уже так густо заселены, что лесов оставалось вовсе немного.

Лица присутствующих оживились, все знали, что за разговором об охоте король бывает и весел, и чрезвычайно милостив. Князь Земовит стал рассказывать, куда они поедут и на какого зверя будут охотиться, а князь Януш велел одному из придворных привести из города двух своих «хранителей», которые выводили из лесных дебрей зубров за рога и ломали кости медведям; князь желал показать королю своих богатырей.

Збышку очень хотелось подойти и поклониться государю, но он не мог к нему подступить. Только князь Ямонт, позабыв, видно, какой резкий отпор дал ему в свое время молодой рыцарь в Кракове, дружески кивнул ему издала головой, знаками приглашая при первой же возможности подойти к нему. Но в эту минуту чья-то рука коснулась плеча молодого рыцаря, и он услышал нежный, печальный голос:

— Збышко...

Молодой рыцарь повернулся и увидел Ягенку. Он все был занят, то приветствовал княгиню Александру, то беседовал с княгиней Анной Данутой, и не мог подойти к девушке; воспользовавшись замешательством, вызванным прибытием короля, Ягенка сама подошла к нему.

— Збышко, — повторила она, — да будет Бог тебе утешением и Пресвятая Дева.

— Пусть Бог вознаградит вас за ваши слова, — ответил рыцарь.

И с благодарностью заглянул в ее голубые глаза, которые в эту минуту словно подернулись влагой. В молчании стояли они друг перед другом; хоть она пришла к нему как добрая и печальная сестра, но так царственна

была ее осанка и так пышен придворный наряд, что она показалась Збышку совсем непохожей на прежнюю Ягенку, и в первую минуту он не посмел обратиться к ней на ты, как когда-то в Згожелицах и Богданце. Она же подумала, что нет у нее больше слов, не знает она, о чем говорить с ним.

И на лицах их изобразилось смущение. Но в эту минуту шум поднялся во дворе: это король садился за ужин. Княгиня Анна снова подошла к Збышку и сказала ему:

— Печален будет этот пир для нас обоих, а все же ты служи мне, как прежде служил.

Молодой рыцарь вынужден был оставить Ягенку и, когда все гости заняли свои места, встал у скамьи позади княгини, чтобы менять ей блюда и наливать воды и вина. Молодой рыцарь при этом невольно поглядывал на Ягенку, которая, как придворная княгини плотькой, сидела рядом с нею, и любовался красотой девушки. За эти годы Ягенка сильно выросла; но не от того она так изменилась, что стала выше ростом, с виду стала она величава, чего раньше у нее не было и следа. Прежде, когда она в колушке, с листьями в растрепанных волосах скакала на коне по борам и лесам, ее можно было принять за хорошенькую поселанку, теперь же по спокойствию, разлитому на ее лице, в ней сразу можно было признать девушку знатного рода и благородной крови. Збышко заметил также, что прежняя ее веселость пропала, но не очень этому удивился, зная о смерти Зыха. Но больше всего изумило его то достоинство, с каким держалась Ягенка; сначала ему даже показалось, что это наряд придает ей столько достоинства. Он все поглядывал то на золотую повязку, охватывавшую ее белоснежное чело и темные косы, падавшие на плечи, то на голубое узкое платье с пурпурной каймой, плотно облегавшее ее стройный стан, ее девическую грудь, и думал: «Княжна — да и только!» Но потом он понял, что не один наряд тому причиной, что надень она сейчас даже простой колушок, все равно он не сможет уже держаться с нею так свободно и смело, как раньше.

Потом он приметил, что многие рыцари помоложе и даже постарше пожирают Ягенку глазами, а меняя княгине блюдо, перехватил устремленный на девушку восторженный взгляд господина де Лорша и возмутился в душе. От внимания Анны Дануты не ускользнул этот взгляд, и, узнав вдруг гелдернского рыцаря, она сказала:

— Погляди на де Лорша! Верно, опять в кого-нибудь влюбился, опять его кто-то ослепил.

Она слегка наклонилась при этом над столом и, поглядев в сторону Ягенки, заметила:

— Не диво, что при этом факеле гаснут все свечки!

Збышка влекло к Ягенке, она казалась ему родною душой, любимой и любящей его сестрой; он чувствовал, что ни в чьем сердце не найдет больше сочувствия, что никто полней не разделит с ним его печаль; но в тот вечер ему не пришлось больше поговорить с нею и потому, что он прислуживал княгине, и потому, что на пиру все время пели песенники или так оглушительно гремели трубы, что даже соседи едва слышали друг друга. Обе княгини со своими дамами вышли из-за стола раньше короля, князей и рыцарей, имевших обыкновение засиживаться за кубками до поздней ночи. Ягенке, которая несла за княгиней подушку для сидения, неудобно было задержаться, и она тоже ушла, улыбнувшись Збышку и кивнув ему на прощанье головой.

На рассвете молодой рыцарь и господин де Лорш возвращались со своими двумя оруженосцами в корчму. Некоторое время они шли молча, погрузившись в свои мысли, и только у самого дома де Лорш сказал что-то своему оруженосцу, поморянину, хорошо знавшему польский язык.

— Мой господин хотел бы кой о чем вас спросить, ваша милость, — обратился тот к Збышку.

— Пожалуйста, — ответил Збышко.

— Мой господин спрашивает: смертна ли плотью та панна, с которой вы, ваша милость, беседовали перед пиром, или это ангел, иль, может, святая?

— Скажи твоему господину, — с некоторым нетерпением ответил Збышко, — что он меня об этом уже раньше спрашивал и что мне странно слышать это. В Спыхове он говорил мне, что собирается ко двору князя Витовта ради красоты литвинок, затем по той же причине хотел съездить с Плоцк, сегодня в Плоцке собирался вызвать на поединок рыцаря из Тачева из-за Агнешки из Длуголяса, а теперь уж ему понравилась другая. Где же его постоянство и рыцарская верность?

Господин де Лорш выслушал этот ответ из уст своего поморянина, глубоко вздохнул, поглядел с минуту на бледнеющее ночное небо и вот что ответил на упреки Збышка:

— Ты прав. Ни постоянства, ни верности! Грешен я и недостойн носить рыцарские шпоры. Что до Агнешки из Длуголяса — это верно, я поклялся служить ей и, даст Бог, сдержу свою клятву, но ты сам возмутишься, когда я расскажу тебе, как жестоко обошлась она со мною в черском замке.

Он снова вздохнул, снова поглядел на небо, которое на востоке алело уже от яркой полосы зари, и, подождав, пока поморянин переведет его

слова, повел свой рассказ:

— Сказала она мне, будто есть у нее враг чернокнижник, живет он будто в башне среди лесов и каждый год весною посылает к ней дракона, который, приблизясь к стенам черского замка, высматривает, нельзя ли ее похитить. Как услышал я про это, тотчас сказал ей, что сражусь с драконом. Нет, ты только послушай, что было дальше! Пришел я на указанное место и вижу: ждет меня, замерев на месте, свирепое чудище. Радость залила мою грудь, как подумал я, что либо паду, либо спасу деву от мерзкой драконьей пасти и покрою себя бессмертной славой. Но как ты думаешь, что я увидел, когда ткнул чудовище копьем? Большой мешок соломы на деревянных подпорках с хвостом из соломенного жгута! И не славу снискал я себе, а стал всеобщим посмешищем, так что потом мне пришлось вызвать на поединок двоих мазовецких рыцарей, которые в единоборстве порядком меня помяли. Так поступила со мною та, которую я боготворил и которую одну только хотел любить...

Переводя рассказ рыцаря, поморянин то щеку подпирал языком, то прикусывал его, чтобы не прыснуть со смеху, да и Збышко в другое время тоже, наверно, хохотал бы; но от страданий и горестей он совсем разучился смеяться.

— Может, — серьезно заметил молодой рыцарь, — она это не по злобе сделала, а по легкомыслию?

— Я все ей простил, — ответил де Лорш, — и лучшее тому доказательство то, что, защищая ее красоту и добродетель, я хотел драться с рыцарем из Тачева.

— Не надо с ним драться, — еще серьезнее сказал Збышко.

— Я знаю, что это идти на верную смерть, но лучше погибнуть, чем жить в вечной тоске и печали...

— Пану Повале все это уже ни к чему. Давай лучше сходим к нему завтра, и ты сведешь с ним дружбу.

— Так я и сделаю, он ведь и сам прижал меня к сердцу, только завтра он едет с королем на охоту.

— Тогда сходим к нему пораньше. Король страстный охотник, но и отдохнуть не прочь, а сегодня он пировал допоздна.

Так они и сделали, да только не застали Повалу дома; чех пораньше поспешил в замок, чтобы повидать Ягенку, он-то и сказал им, что Повала эту ночь провел не у себя, а в королевских покоях. Хоть Збышко и де Лорш потерпели тут неудачу, зато встретили князя Януша, который предложил им присоединиться к его свите; с князем они попали на охоту. По дороге в пущу Збышко, улучив время, поговорил с князем Ямонтом, от которого

узнал добрую весть.

— Стал я раздевать короля перед отходом ко сну, — сказал Ямонт, — и тут же напомнил ему о тебе и твоём краковском деле. А рыцарь Повала, который был при этом, прибавил, что крестоносцы схватили твоего дядю, и стал просить, чтобы король потребовал у ордена отпустить его на волю. Король страх как гневается на крестоносцев за похищение маленького Яська из Креткова и за другие злодеяния, а тут еще больше распалился. «Не с добрым словом к ним надо идти, — воскликнул он, — а с копьем! С копьем! С копьем!» А Повала нарочно стал подливать масла в огонь. Утром король даже не взглянул на послов ордена, которые ждали его у ворот, хотя они ему земно кланялись. Ну, теперь уж им не вырвать у него обещания не помогать князю Витовту, завертятся они теперь. А ты не сомневайся, король за твоего дядю самого магистра к стене прижмет.

Так утешил Збышка княжич Ямонт, но еще больше утешила его Ягенка; сопровождая в пущу княгиню Александру, она на обратном пути постаралась ехать рядом со Збышком. На охоте все пользовались свободой и назад возвращались обычно парами, а так как ни одной паре не хотелось ехать поблизости от другой, то на свободе можно было и поговорить. О том, что Мацько в неволе, Ягенка еще раньше узнала от Главы и даром времени не теряла. По ее просьбе княгиня написала магистру письмо, мало того — и торуньского комтура фон Вендена заставила упомянуть про Мацька в письме, в котором он давал магистру отчет обо всем, что происходило в Плоцке. Комтур сам хвалился княгине, что сделал к письму такую приписку: «Коли мы желаем смягчить гнев короля, нельзя в этом деле чинить препятствий». А магистру в это время непременно надо было смягчить гнев могущественного владыки, чтобы, не опасаясь удара с его стороны, обрушить все силы на Витовта, с которым орден до сих пор никак не мог справиться.

— Так что я все сделала, что только было в моих силах, лишь бы не было задержки, — закончила Ягенка. — В важных делах король сестре не уступает, а в таком деле, наверно, постарается угодить ей, и я надеюсь, что все будет хорошо.

— Не будь немцы такими предателями, — ответил Збышко, — я бы просто отвез выкуп, и дело с концом; но когда имеешь с ними дело, может случиться так, как с Толимой, что и деньги заграбят, и тебя не помилуют, если только сильный за тебя не постоит.

— Я понимаю, — ответила Ягенка.

— Вы все теперь понимаете, — заметил Збышко, — и я до гроба буду вам благодарен.

Она подняла на него печальные добрые глаза и спросила:

— Почему ты не называешь меня на ты, мы ведь с детства знакомы.

— Не знаю, — чистосердечно признался Збышко. — Как-то неловко... да и вы уже не прежняя девчонка, а... не знаю, как бы это сказать... что-то совсем...

Он не мог найти нужного слова, но Ягенка сама ему помогла:

— Постарше я стала... да и немцы в Силезии батюшку убили.

— Правда! — ответил Збышко, — Царствие ему Небесное!

Некоторое время они задумчиво ехали рядом в молчании, словно заслушавшись вечернего шума сосен.

— А после выкупа Мацька вы останетесь в здешних краях? — прервала молчание Ягенка.

Збышко поглядел на нее в удивлении: он так был поглощен своим горем, что ему и в голову не приходило подумать о будущем. Он поднял глаза, как бы раздумывая, и через минуту сказал:

— Не знаю! Господи Иисусе! Откуда же мне знать? Одно только я знаю: куда бы я ни пошел, моя горькая доля всюду пойдет за мною. Ох, горька, горька она, моя доля!.. Выкуплю дядю и отправлюсь, наверно, к Витовту бить крестоносцев, исполнять свои обеты, — там, может, и погибну!

Глаза девушки затуманились от слез, и, слегка наклонившись к молодому рыцарю, она прошептала:

— Не гибни, не гибни!

Они снова умолкли, и только у самой городской стены Збышко стряхнул докучные думы и сказал:

— А вы... а ты останешься здесь при дворе?

— Нет, — ответила она. — Скучно мне без братьев и без Згожелиц. Чтан и Вильк, верно, там женились, а если и нет, так я их уже не боюсь.

— Бог даст, дядя Мацько отвезет тебя в Згожелицы. Он такой тебе друг, что ты во всем можешь на него положиться. Но и ты его не забывай...

— Клянусь Богом, я буду для него родной дочерью.

И при этих словах Ягенка горько расплакалась, такая злая тоска стеснила ей сердце.

На другой день в корчму к Збышку пришел Повала из Тачева.

— После праздника Тела Господня, — сказал он, — король тотчас уезжает в Рацёнж на свидание с великим магистром; ты зачислен в королевские рыцари и поедешь с нами.

Збышко, услышав эти слова, вспыхнул от радости: зачисление в

королевские рыцари не только избавляло его от происков и козней крестоносцев, но и являлось высокой честью. К королевским рыцарям принадлежали и Завиша Чарный, и его братья — Фарурей и Кручек, и сам Повала, и Кшон из Козихглов, и Стах из Харбимовиц, и Пашко Злодзей из Бискупиц, и Лис из Тарговиска, и множество других грозных и славных рыцарей, имена которых гремели и в Польше, и за границей. Король Ягайло не всех взял с собою, некоторые остались дома, иные же искали приключений в далеких заморских краях; но король знал, что и с этими рыцарями можно ехать хоть в самый Мальборк, не опасаясь вероломства крестоносцев: в случае чего они стены сокрушат своими могучими руками и мечами прорубят ему дорогу сквозь ряды немцев. При мысли о том, что у него будут такие товарищи, молодой рыцарь ощутил в своем сердце гордость.

В первую минуту он даже забыл о своей горе и, пожимая руки Повале из Тачева, радостно воскликнул:

— Вам, только вам, пан Повала, я этим обязан!

— И мне, — ответил Повала, — и здешней княгине, но больше всего нашему милостивейшему государю, к которому тебе следует сейчас же пойти с поклоном, чтобы он не почел тебя неблагодарным.

— Клянусь Богом, я готов умереть за него! — воскликнул Збышко.

Съезд в Рацёнже, расположенном на одном из островов Вислы, куда король отправился накануне праздника Тела Господня, проходил при дурных предзнаменованиях и не привел к такому соглашению, какое было достигнуто спустя два года, когда король на съезде в том же Рацёнже добился возвращения добжинской земли вместе с Добжином и Бобровниками, вероломно отданной князем опольским в залог крестоносцам. Ягайло прибыл в Рацёнж, разгневанный клеветой, которую крестоносцы распространяли о нем при западных дворах и в самом Риме, и возмущенный бесчестностью ордена. Магистр преднамеренно не хотел вести переговоры о Добжине; и сам он, и другие сановники ордена каждый день твердили полякам: «Мы не хотим войны ни с вами, ни с Литвой; но Жмудь наша, сам Витовт отдал ее нам. Обещайте, что не станете ему помогать, войну мы с ним скоро кончим, тогда и наступит время говорить о Добжине, и мы пойдем на большие уступки». Но королевские советники, обладая проницательным умом и большим опытом и зная, как лживы крестоносцы, не поддавались на обман. «Коли прибавится у вас силы, вы станете еще дерзче, — отвечали они магистру. — Вы толкуете тут, будто вам нет дела до Литвы, а сами хотите посадить Скиргайла в Вильно на престол. Господь с вами! Это ведь престол Ягайла, он один может посадить князем на Литве кого пожелает, образумьтесь же, дабы не покарал вас наш великий король!» Магистр отвечал на это, что если король подлинный владыка Литвы, то пусть прикажет Витовту прекратить войну и вернуть ордену Жмудь, в противном случае орден вынужден будет ударить на Витовта там, где его легче всего будет достигнуть и поразить. С утра до ночи тянулись эти споры, получался заколдованный круг. Не желая давать ордену никаких обязательств, король все больше терял терпение; он говорил магистру, что, если бы Жмудь была счастлива под рукой крестоносцев, Витовт пальцем никого бы не тронул, ибо у него не было бы для этого ни повода, ни причины. Магистр, будучи человеком мирным, лучше других рыцарей-монахов отдавал себе отчет в том, как велико могущество Ягайла, он старался смягчить гнев короля и, не обращая внимания на ропот некоторых заносчивых и надменных комтуров, не скупился на льстивые слова, а иногда даже прикидывался смиренным. Но и за этой смиренностью чувствовалась порой скрытая угроза, и все усилия магистра пропадали даром. Переговоры по важным делам кончились

ничем, и уже на следующий день съезд занялся второстепенными делами. Король обрушился на орден за поддержку разбойничьих шаек, за набеги и грабежи, чинимые на границе, за похищение дочери Юранда и маленького Яська из Креткова, за убийство крестьян и рыбаков. Магистр отпирался, изворачивался, клялся, что все это творилось без его ведома, и, в свою очередь, делал упреки в том, что не только Витовт, но и польские рыцари помогали язычникам-жмудинам против крестоносцев, в подтверждение чего напомнил о Мацьке из Богданца. К счастью, король знал уже от Повалы, кого разыскивали в Жмуди рыцари из Богданца, и сумел ответить магистру, тем более что в его свите был Збышко, а в свите магистра — оба фон Бадены, которые приехали сюда в надежде принять участие в состязаниях с польскими рыцарями.

Но состязаться им не пришлось. Крестоносцы хотели, если дело у них пойдет гладко, пригласить великого короля в Торунь и там устроить в его честь пиры и ристалища; но неудачные переговоры породили взаимное недовольство и озлобление, поэтому было не до забав. Только в утренние часы рыцари похвалялись силой и ловкостью, да и то, как говорил веселый князь Ямонт, поляки немцам утерли нос, ибо Повала из Тачева оказался сильнее Арнольда фон Бадена, Добек из Олесницы победил всех в состязании на копьях, а Лис из Тарговиска — в прыжках через коней. Пользуясь случаем, Збышко стал уговариваться с Арнольдом фон Баденом про выкуп. Де Лорш, как граф и знатный рыцарь, смотрел на Арнольда свысока, он возражал против выкупа и говорил, что все возьмет на себя. Однако Збышко считал, что рыцарская честь обязывает его заплатить столько гривен, сколько было договорено, и хотя сам Арнольд предлагал сбавить цену, не принял ни этой уступки, ни посредничества господина де Лорша.

Арнольд фон Баден, человек недалекий и простоватый, едва ли не единственное достоинство которого заключалось в непомерной физической силе, хоть и жаден был до денег, но честен. Хитрить, как крестоносцы, он не умел и не скрывал поэтому от Збышка, почему он готов уступить. «Король с магистром не заключит договора, — утверждал он, — а пленниками они обменяются, тогда ты дядю вовсе даром возьмешь. Чем ничего, так лучше хоть что-нибудь, кошелек-то у меня всегда пуст, и случается, что деньжонок еле хватает на три ковши пива в день, а мне без пяти-шести худо». Но Збышко сердился на него за такие речи. «Я потому плачу, что дал рыцарское слово, мне дешевле не надо, знай, что столько мы и стоим». Арнольд обнял молодого рыцаря, а польские рыцари и крестоносцы стали похваливать Збышка: «По заслугам носит он в такие

молодые годы рыцарский пояс и шпоры, помнит о своем достоинстве и чести».

Тем временем король и магистр действительно договорились об обмене пленниками; при этом обнаружилось странные вещи, о которых епископы и сановники королевства писали впоследствии папе и иноземным государям: у поляков, правда, было много пленников, но все это были мужчины в расцвете сил, захваченные в вооруженной борьбе во время пограничных битв и столкновений. А в подземельях у крестоносцев оказались по большей части женщины и дети, схваченные ради выкупа во время ночных набегов. Сам папа римский^[108] обратил на это внимание и, невзирая на всю изворотливость прокуратора крестоносцев в апостольской столице, Иоганна фон Фельде, открыто выражал по этому поводу свой гнев и свое негодование.

С Мацьком встретились препятствия. Магистр чинил их только так, для видимости, чтобы каждой своей уступке придать больше веса. Он утверждал, что рыцарь-христианин, воевавший на стороне жмудинов против ордена, по справедливости должен быть присужден к смертной казни. Напрасно королевские советники снова и снова повторяли все то, что было им известно об Юранде и Данусе, а также о вопиющих обидах, нанесенных отцу с дочерью и рыцарям из Богданца слугами ордена. По странному совпадению, магистр в своем ответе привел почти те же слова, которые в свое время княгиня Александра сказала старому рыцарю из Богданца:

— Вы себя агнцами почитаете, а наших людей волками. А меж тем из четырех волков, которые принимали участие в похищении дочери Юранда, ни одного не осталось в живых, агнцы же беззаботно разгуливают по свету.

Это была правда, но присутствовавший на советах пан из Тачева на эту правду ответил таким вопросом:

— Да, но разве кто-нибудь из них был убит вероломно? Разве не пали все они с мечом в руке?

Магистру нечего было ответить на это, и, заметив, что король начинает хмуриться и сверкать глазами, он сразу уступил, не желая доводить грозного владыку до вспышки гнева. Затем уговорились, что каждая сторона вышлет представителей для приема пленников. Со стороны поляков были назначены Зындрам из Машковиц, который желал поближе поглядеть на могущество ордена, и рыцарь Повала, а с ними и Збышко из Богданца.

Эту услугу оказал Збышку князь Ямонт. Он ходатайствовал за него перед королем, полагая, что если молодой рыцарь поедет как королевский

посол, то и дядю раньше увидит, да и домой его скорее доставит целым и невредимым. Король не отказал в этой просьбе молодому князьку, который был так весел, добр и пригож, что снискал любовь и самого короля, и всех придворных, и притом никогда ничего не просил для себя. Збышко от всего сердца благодарил Ямонта, уверенный теперь, что вырвет Мацька из рук крестоносцев.

— Многие позавидуют, — сказал Збышко князю, — что ты остаешься при его величестве, но это справедливо, ибо ты пользуешься своей близостью к королю лишь на благо людям, и, пожалуй, ни у кого нет такого доброго сердца, как у тебя.

— При его величестве хорошо, — ответил тот, — но, по мне, лучше было бы выйти на бой с крестоносцами, и завидую я тебе, что ты уже бился с ними.

Помолчав с минуту времени, он прибавил:

— Вчера прибыл торуньский комтур фон Венден, а сегодня вечером вы поедете к нему на ночь с магистром и его свитой.

— А оттуда в Мальборк?

— А оттуда в Мальборк.

Тут князь Ямонт начал смеяться:

— Недалек да уныл будет этот путь, ничего-то немцы у короля не добились, да и Витовт их не порадует. Собрал он, сдастся, все литовские силы и идет к жмудицам.

— Коли поможет ему король, так быть великой войне.

— Все наши рыцари молят Бога об этом. Но если король, жалеючи кровь христианскую, и не начнет великой войны, так поможет Витовту деньгами и хлебом, да и из польских рыцарей кое-кто пойдет к Витовту по своей воле.

— Это уж как пить дать, — подтвердил Збышко. — Но за это сам орден может объявить войну королю.

— Ну нет! — возразил князь. — Покуда жив нынешний магистр, этому не бывать.

Он оказался прав. Збышко давно знал магистра; но теперь, по дороге в Мальборк, находясь с Зындромом из Машковиц и Повалой почти все время при нем, он мог лучше к нему приглядеться и лучше узнать его. Это путешествие утвердило его в убеждении, что великий магистр, Конрад фон Юнгинген, не был злым и безнравственным человеком. Он вынужден был часто чинить беззакония, ибо весь орден держался на беззаконии. Он вынужден был чинить обиды, ибо весь орден покоился на людских обидах. Он вынужден был лгать, ибо ложь унаследовал вместе со знаками своего

достоинства и издавна привык почитать ее лишь политической хитростью. Но сам он не был извергом, боялся Суда Божия и, насколько это было в его силах, сдерживал тех надменных и заносчивых сановников, которые умышленно толкали орден на войну с могущественным Ягайлом. И все же он был слабым человеком. С незапамятных времен орден так привык посягать на чужое добро, грабить, обманом или силой захватывать соседние земли, что Конрад не только не мог умерить алчность и кровожадность крестоносцев, но и сам невольно поддался соблазну, и сам стал хищен и жаден. Времена Винриха фон Книпрوده^[109], времена железной дисциплины, повергавшей в изумление весь мир, давно миновали. Уже при предшественнике магистра Юнгингена, Конраде Валленроде, орден так обуян был гордыней от своего все возраставшего могущества, которое не смогли поколебать временные поражения, так упился своей славой, успехами и людскою кровью, что стали расшатываться самые устои, на которых зиждились его мощь и единство. Магистр по мере сил соблюдал законность и правосудие, по мере сил облегчал участь стонавших под железной рукою ордена крестьян, горожан, духовенства и дворянства, владевшего землями ордена по ленному праву. Какой-нибудь крестьянин из окрестностей Мальборка, а то и горожанин мог похвалиться не только достатком, но и богатством. Но в более отдаленных землях своевластные, жестокие и разнузданные комтуры попирали закон, угнетали и притесняли народ, отнимали у него последние гроши, облагая самовольно налогами или открыто грабя его, проливали народную кровь, так что в целых обширных землях царила нужда, лилось море слез, стон стоял и ропот. Если даже для блага ордена надо было действовать мягче, например по временам в Жмуди, то при беззаконии и природной жестокости комтуров все указания магистра оставались втуне. Конрад фон Юнгинген чувствовал себя возницей, у которого понесли кони, а сам он выпустил вожжи из рук и бросил свою колесницу на произвол судьбы. Душу его часто томило злое предчувствие, и на память часто приходили пророческие слова: «Я поставил их, яко тружениц пчел, и утвердил на рубеже земли христианской: но они восстали против меня. Ибо не пекутся они о душе и не щадят плоти народа, который обратился в веру католическую. Они в рабов его обратили, не учат заповедям Божиим и, лишая его святых таинств, обрекают на вечные муки, горшие тех, кои терпел бы он, коснея в язычестве. А воюют они для утоления своей алчности. Посему придет время, когда будут выбиты зубы у них, и отсечена будет правая рука, и охromeют они на правую ногу, дабы познали грехи свои».

Магистр знал, что таинственный глас в откровении святой Бригитты справедливо обвинял крестоносцев. Он понимал, что здание, воздвигнутое на чужой земле и на чужих обидах, основанное на лжи, жестокости и кознях, не может быть долговечным. Он боялся, что это здание, долгие годы подмываемое кровью и слезами, рухнет от одного удара могучей польской руки; предчувствовал, что колесница, которую понесли кони, неминуемо свалится в пропасть, и старался хотя бы оттянуть час суда, гнева, поражения и опустошения. По этой причине, невзирая на свою слабость, он в одном только решительно противодействовал своим надменным и дерзким советникам: не допускал до столкновения с Польшей. Напрасно его упрекали в трусости и беспомощности, напрасно пограничные комтуры рвались на войну. Когда пламя вот-вот готово было разгореться, магистр в последнюю минуту всегда отступал, а потом в Мальборке благодарил Бога за то, что ему удалось удержать меч, занесенный над головою ордена.

Но он знал, что конец неизбежен. И от сознания того, что орден покоится не на законе Божиим, но на беззаконии и лжи, от ожидания близкой гибели он чувствовал себя самым несчастным человеком в мире. Крови своей не пожалел бы он, жизнью пожертвовал, только бы все изменить, только бы направить орден на путь истинный, но сам признавал, что уже поздно! Направить на путь истинный — это означало вернуть законным владельцам богатые и плодородные земли, бог весть когда захваченные орденом, а вместе с ними множество таких богатых городов, как Гданьск. Мало того! Это означало отказаться от Жмуди, отказаться от посягательств на Литву, вложить меч в ножны, наконец, совсем покинуть эти края, где ордену некого уже было обращать в христианство, и снова осесть в Палестине или на одном из греческих островов, чтобы там защищать Крест Господень от подлинных сарацин. Но это было делом немыслимым, это обрекло бы орден на уничтожение. Кто бы на это согласился? И какой магистр мог бы этого потребовать?

Мрачна была душа Конрада фон Юнгингена, безрадостна его жизнь; но если бы кто-нибудь пришел к нему с подобным советом, он первый велел бы водворить его как безумца в темную келью. Надо было идти все вперед и вперед, до того самого дня, когда Богом назначен предел. И он шел вперед, но шел, объятый тоскою, в душевном смятении. Волосы в бороде и на висках уже стали у него серебриться, отяжелелые веки прикрыли зоркие когда-то глаза. Збышко ни разу не заметил улыбки на лице магистра. Оно не было ни грозным, ни хмурым, а словно усталым от тайных страданий. В доспехах, с крестом на груди, посредине которого в

четырехугольнике был изображен черный орел, в широком белом плаще, тоже украшенном крестом, он оставлял впечатление суровости, величия и печали. Когда-то Конрад был веселым человеком и любил забавы; он и теперь не избегал роскошных пиров, турниров и зрелищ и даже сам их устраивал; но ни в толпе блестящих рыцарей, приезжавших в Мальборк в гости, ни в радостном шуме, когда трубы гремели и бряцало оружие, ни за наполненным мальвазией кубком он никогда не был весел. Когда все вокруг него, казалось, дышало мощью, великолепием, неиссякаемым богатством, неодолимой силой, когда послы римского императора и других западных государей кричали в восторге, что орден может противостоять всем царствам и могуществу всего мира, он один не обольщался, он один помнил зловещие слова откровения святой Бригитты: «Посему придет время, когда будут выбиты зубы у них, и отсечена будет правая рука, и охромеют они на правую ногу, дабы познали грехи свои».

Великий магистр со своей свитой и польскими рыцарями ехал по грунтовой дороге через Хелмжу до Грудзёндза, где он задержался на сутки, чтобы рассмотреть дело о рыбной ловле, возникшее между правителем замка, крестоносцем, и местной шляхтой, земли которой прилегали к Висле. Оттуда на ладьях крестоносцев все поплыли по реке в Мальборк. Зындрам из Машковиц, Повала из Тачева и Збышко все время находились при магистре, которому любопытно было, какое впечатление произведет на польских рыцарей, особенно на Зындрама из Машковиц, могущество ордена, когда они всё увидят собственными глазами. Это было важно для магистра потому, что Зындрам из Машковиц был не только могучим рыцарем, страшным в поединке, но и весьма искушенным воителем. Во всем королевстве не было лучше военачальника, никто не умел лучше его построить войско для битвы, не знал лучше его способов сооружения и разрушения замков, наведения мостов через широкие реки, никто не разбирался лучше его в «бранном оружии», то есть вооружении различных народов, и во всяких военных хитростях. Зная, что в королевском совете многое зависит от этого мужа, магистр полагал, что если удастся поразить Зындрама богатством ордена и численностью войска, то войны еще долго не будет. Вселить тревогу в сердце всякого поляка мог прежде всего самый вид Мальборка^[110], ибо никакая другая крепость в мире не могла сравниться с этой твердыней, заключавшей Высокий и Средний замки и предзамковое укрепление. Плывя по Ногату, рыцари издали увидели рисовавшиеся в небе могучие башни. День стоял светлый, прозрачный, и башни ясно были видны; когда же ладьи подплыли поближе к крепости, еще ярче засверкали шпили храма в Высоком замке и громоздящиеся один на другой уступы высоченных стен; лишь часть их была кирпичного цвета, остальные были покрыты той знаменитой светло-серой штукатуркой, которую умели готовить только каменщики крестоносцев. Громады стен превосходили все, что польские рыцари видели когда-либо в жизни. Казалось, дома вырастают над домами, образуя на низменном от природы месте целую гору, вершиной которой был Старый замок, а склонами — Средний и разбросанные предзамковые укрепления. От этого огромного гнезда вооруженных монахов веяло такой несокрушимой силой и могуществом, что даже продолговатое и обычно угрюмое лицо магистра при виде его на минуту прояснилось.

— Ex luto Marienburg — из глины Мариенбург^[111], — сказал он, обращаясь к Зындраму, — но этой глины не сокрушить никакой человеческой силе.

Зындрам не ответил; безмолвно озирает он башни и высоченные стены, укрепленные чудовищными эскарпами.

А Конрад фон Юнгинген, помолчав с минуту времени, прибавил:

— Вы, рыцарь, знаете толк в крепостях; что скажете вы нам об этой твердыне?

— Твердыня сдается мне неприступной, — как бы в задумчивости ответил польский рыцарь, — но...

— Но что? Что можете вы сказать против нее?

— Но всякая твердыня может переменить господина.

Магистр нахмурил брови:

— Что вы хотите этим сказать?

— Что веления и предначертания Бога скрыты от людских очей.

И он по-прежнему задумчиво глядел на стены, а Збышко, которому Повала точно перевел ответ Зындрама, смотрел на него с удивлением и благодарностью. Его поразило в эту минуту сходство между Зындрамом и жмудинским вождем Скирвойлом. У обоих одинаково большие головы словно ушли в широкие плечи. У обоих была могучая грудь и одинаково кривые ноги.

Но магистр не желал, чтобы последнее слово осталось за польским рыцарем.

— Говорят, — сказал он, — что наш Мариенбург в шесть раз больше Вавеля.

— Там, на скале, куда меньше места, чем здесь, на равнине, — возразил пан из Машковиц, — но сердце у нас в Вавеле больше.

Конрад в удивлении поднял брови:

— Я вас не понимаю.

— Что же, как не храм, является сердцем всякого замка? А наш кафедральный собор втрое больше вашего.

С этими словами он указал на небольшой замковый храм, на куполе которого сверкало на золотом фоне мозаичное изображение Пресвятой Девы.

Такой оборот разговора опять не понравился магистру.

— У вас на все готов ответ, только странны мне ваши речи, — проговорил магистр.

В это время они подъехали к реке. Отборная полиция ордена, видно, предупредила уже город и замок о прибытии великого магистра, и у реки,

кроме нескольких братьев, Конрада ждали городские трубачи, которые всегда трубили в трубы при его переправе. На другом берегу ждали кони под седлом, и магистр со свитой проехали верхом город и через Сапожные ворота, мимо Воробьиной башни, въехали в предзамковое укрепление. У ворот магистра приветствовали: великий комтур Вильгельм фон Гельфенштейн, который только носил этот титул, так как обязанности его уже в течение нескольких месяцев исполнял Куно Лихтенштейн, находившийся в это время в Англии; затем родственник Куно, великий госпитальер Конрад Лихтенштейн, великий ризничий Румпенгейм, великий казначей Буркгард фон Вобеке и, наконец, малый комтур, начальник всех мастерских и правитель замка. Кроме этих сановников, магистра встречало много братьев, которые руководили церковными делами в Пруссии и всячески притесняли прочие монастыри и белое духовенство, принуждая последнее даже прокладывать дороги и колоть лед, а с ними целая толпа светских братьев, то есть рыцарей, не совершавших церковных служб. Рослые и сильные (слабых крестоносцы не принимали), широкоплечие, с курчавыми бородами и свирепым взглядом, они не на монахов были похожи, а скорее на кровожадных немецких рыцарей-разбойников. В глазах их сверкали отвага, кичливость и безмерная спесь. Они не любили Конрада за то, что он боялся войны с могущественным Ягайлом, на советах капитула открыто обвиняли его в трусости, рисовали его на стенах и подговаривали шутов насмехаться над ним. Однако при виде его они с притворным смирением склонили головы, тем более что магистр въезжал в сопровождении иноземных рыцарей, и толпой подбежали к нему, чтобы поддержать за узду и стремя его коня.

Спешившись, магистр тотчас обратился к Гельфенштейну с вопросом:
— Есть ли вести от Вернера фон Теттингена?

Великий маршал, или командующий вооруженными силами крестоносцев, Вернер фон Теттинген, ушел в поход против жмудинов и Витовта.

— Важных вестей нет, — ответил Гельфенштейн, — но есть потери. Дикари сожгли деревни под Рагнетой и городки около других замков.

— Будем уповать на Бога, что одна великая битва сломит их злобу и упорство, — ответил магистр.

С этими словами он поднял очи горé, уста его шептали молитву о ниспослании победы войскам ордена.

Затем он указал на польских рыцарей:

— Это посланцы польского короля: рыцарь из Машковиц, рыцарь из Тачева и рыцарь из Богданца, они прибыли с нами, чтобы обменяться

пленниками. Пусть замковый комтур укажет им покои для гостей, примет и попотчует их как подобает.

Рыцари-монахи, услышав эти слова, с любопытством уставились на послов, особенно на Повалу из Тачева, прославленного рыцаря, чье имя было знакомо некоторым крестоносцам. Кто не слышал о его подвигах при бургундском, чешском и краковском дворах, был поражен, увидев его огромную фигуру и рослого боевого коня, который бывалым воителям, в молодые годы посетившим святую землю и Египет, невольно напомнил верблюдов и слонов.

Некоторые рыцари узнали Збышка, который в свое время выступал на ристалищах в Мальборке, и приветствовали его довольно учтиво, памятуя, что могущественный и влиятельный брат магистра, Ульрих фон Юнгинген, выказывал ему свое искреннее расположение и приязнь. Меньше всего удивил толпу рыцарей и меньше всего обратил на себя ее взоры тот, кому в недалеком будущем суждено было нанести ордену сокрушительный удар, — Зындрам из Машковиц; когда рыцарь спешился, он показался всем чуть не горбатым — такая приземистая была у него фигура и такие высокие плечи. Глядя на его непомерно длинные руки и кривые ноги, молодые монахи насмешливо улыбнулись. Один из них, известный шутник, подошел даже к Зындраму с намерением задеть его, но, взглянув в глаза пану из Машковиц, потерял охоту шутить и отошел в молчании.

Тем временем замковый комтур повел гостей за собою. Они вошли сперва в небольшой двор, где, кроме школы, старого склада и седельной мастерской, находилась часовня святого Николая, затем через Николаевский мост прошли в собственно предзамковое укрепление. Некоторое время комтур вел их вдоль мощных стен, то там, то тут защищенных разной высоты башнями. Зындрам из Машковиц внимательно осматривал укрепления, а провожатый, не ожидая вопросов, охотно показывал различные здания, как будто в его планы входило, чтобы гости как можно лучше все рассмотрели.

— Огромное здание, которое вы видите слева, — говорил он, — это наши конюшни. Мы убогие монахи, но народ толкует, что в иных местах и рыцари так не живут, как у нас кони.

— Народ не почитает вас убогими, — возразил Повала. — Да у вас тут, верно, не одни конюшни, уж очень высокое здание, не водите же вы коней по лестницам.

— Внизу конюшни на четыре сотни коней, а наверху хлебные склады, — ответил замковый комтур. — Хлеба у нас на добрых десять лет хватит. До осады дело никогда не дойдет, а если бы и дошло, так голодом

нас не возьмешь.

С этими словами он повернул направо и снова через мост, между башнями святого Лаврентия и Панцирной, провел гостей на другой, огромный двор, расположенный в самом центре предзамкового укрепления.

— Обратите внимание, дорогие гости, — сказал немец, — все, что вы видите отсюда к северу, Божьей милостью неприступно, но это только «Forburg»^[112], эти твердыни и сравнивать нельзя ни со Средним замком, куда я вас веду, ни тем более с Высоким.

Особый ров и особый подъемный мост отделяли Средний замок от двора; в воротах этого замка, расположенных гораздо выше, рыцари повернулись, по совету комтура, и еще раз окинули взглядом весь огромный квадрат, образующий предзамковое укрепление. Здания там стояли одно подле другого, так что взору Зындрама открылся как бы целый город. Здесь были неисчислимые запасы леса, сложенного в штабеля высотой в дом, пирамиды каменных ядер, кладбища, лазареты, склады. Немного поодаль, у пруда, который лежал посредине укрепления, краснели крепкие стены большого здания с трапезной для наемников и слуг. У северного вала виднелись другие конюшни, где стояли кони рыцарей и отборные кони магистра. У мельничной запруды высились казармы для оруженосцев и наемного войска, а по другую сторону прямоугольника — покои всяких правителей и служащих ордена, затем снова склады, амбары, пекарни, цейхгаузы, литейни, огромный арсенал, тюрьмы, старая пушкарня, мастерская, всё здания настолько прочные и хорошо защищенные, что в каждом из них можно было обороняться, как в крепости; все они были обнесены стеной с многочисленными грозными башнями, за стеною был виден ров, обнесенный острогом, и только за острогом на западе катил свои желтые воды Ногат, на северо-востоке сверкала гладь огромного пруда, а с юга высились еще лучше укрепленные замки — Средний и Высокий.

Страшное гнездо, от которого веяло неумолимой мощью и в котором сосредоточились две наибольшие из известных тогда в мире сил: сила религии и сила меча. Кто сопротивлялся одной силе, того сокрушала другая. Кто поднимал на них руку, тот встречал отпор во всех христианских странах за то, что идет против Креста.

Рыцарство всех стран немедленно поднималось тогда на помощь ордену. Гнездо поэтому вечно кишело рабочим людом и солдатами, жужжавшими в нем, как в улье. Перед зданиями, в проходах, у ворот, в мастерских — везде, как на ярмарке, суетился народ. Эхом отдавался стук молотов и долот, которыми тесари тесали каменные ядра, шум мельниц и

конных приводов, ржание коней, лязг оружия, звуки труб и пищалок, оклики и команды. Во дворах можно было услышать наречия всего мира и встретить солдат всех племен: метких английских лучников, которые на сто шагов пронизывали стрелою голубя, привязанного к столбу, и панцирь пробивали, как сукно, и страшных швейцарских пеших воинов, сражавшихся двуручными мечами, и храбрых, но неводержанных в пище и питье датчан, и французских рыцарей, одинаково склонных к шуткам и ссоре, и гордых, немногоречивых испанских дворян, и блестящих итальянских рыцарей, самых лучших фехтовальщиков, разряженных в шелк и бархат, а на войне закованных в железную броню, изготовленную в Венеции, Милане и Флоренции, и бургундских рыцарей, и фризов, и, наконец, немцев из всех немецких земель. Среди них мелькали «белые плащи», хозяева и военачальники. «Башня, полная золота», верней, отдельная комната, пристроенная во дворе Высокого замка к покоям магистра и доверху наполненная деньгами и слитками драгоценных металлов, давала ордену возможность достойно принимать «гостей» и держать на жалованье наемных солдат, которых орден посылал отсюда в походы и направлял в замки в распоряжение правителей и комтуров. Так сила меча и сила креста сочетались здесь с несметным богатством и в то же время с железным порядком, который в ту эпоху кичливые, упоенные своим могуществом крестоносцы уже нарушали в провинциях, но по старой традиции еще поддерживали в самом Мальборке. Монархи приезжали сюда не только сражаться с язычниками или занимать деньги, но и учиться искусству управления, а рыцари — учиться военному искусству. Ибо во всем мире никто не умел так управлять и так воевать, как крестоносцы. В ту эпоху, когда орден появился в этих краях, ему не принадлежало здесь ни пяди земли, кроме того клочка и тех нескольких замков, которые подарил ему неосмотрительный польский князь, — а теперь он владел обширной страной, обильной плодородными землями, которая была больше многих государств и насчитывала немало крупных городов и неприступных замков. Он владел этой страной, бодрствуя, как паук над своей паутиной, все нити которой он держит под собой. Отсюда, из этого Высокого замка, почтовые гонцы во все стороны развозили приказы магистра и «белых плащей» ленному дворянству, городским советам, бургомистрам, правителям и их помощникам и капитанам наемных войск, и все то, что рождали и утверждали здесь мысль и воля, там тотчас воплощали в жизнь сотни и тысячи железных рук. Сюда текли деньги, хлеб, всевозможные припасы и дань от белого духовенства, стонавшего под тяжелым ярмом, и от других монастырей, на которые косо

смотрел орден; отсюда, наконец, хищные щупальца простирались ко всем соседним землям и народам.

Многочисленные прусские племена, говорившие на литовском языке, уже были стерты с лица земли. До недавнего времени Литва изнывала под железной пятою ордена, так страшно теснившей ей грудь, что при каждом вздохе из сердца ее струилась кровь; Польша, правда, вышла победительницей из страшной битвы под Пловцами, однако в царствование Локотка потеряла свои владения на левом берегу Вислы вместе с Гданьском, Тачевом, Гневом и Свецем. Ливонский рыцарский орден посягал на русские земли, и оба эти ордена надвигались на славянские земли, словно первый вал немецкого моря, которое все шире и шире заливало славянский восток.

И вдруг туча заслонила победное сияние крестоносцев. Литва приняла крещение из польских рук, а краковский престол вместе с рукой прекрасной королевны достался Ягайлу. Правда, орден не потерял от этого ни одной своей земли, ни одного замка, но он почувствовал, что силе противостоит теперь сила, он утратил цель, ради которой существовал в Пруссии. После крещения Литвы крестоносцам оставалось только вернуться в Палестину и охранять паломников, направляющихся к святым местам. Но вернуться туда — это означало отказаться от богатств, власти, могущества, господства, от городов, земель и целых королевств. И вот орден заметался в страхе и ярости, словно чудовищный дракон, которому вонзилось в бок копье. Магистр Конрад боялся поставить все на карту и трепетал при мысли о войне с великим королем, властелином польских и литовских земель и обширных русских владений, которые Ольгерд отнял у татар; но большинство крестоносцев стремились к войне, сознавая, что нужно схватиться с врагом не на жизнь, а на смерть, пока силы еще не растрачены, пока не померкла еще слава ордена и весь мир спешит ему на помощь, пока папа еще не мечет грома и молнии на их гнездо, для которого делом жизни и смерти стало теперь не распространение христианства, а сохранение язычества.

А тем временем перед народами и государями они обвиняли Ягайла и Литву в ложном, притворном крещении, утверждая, будто за один год нельзя осуществить то, чего меч крестоносца не мог добиться в течение столетий. Они возбуждали королей и рыцарей против Польши и ее властелина как против покровителей и защитников язычества, и их голоса, которым не доверял только Рим, разносились по всему свету, привлекая в Мальборк князей, графов и рыцарей с Юга и с Запада. Орден обретал уверенность в себе, сознание своей силы. Мариенбург со своими грозными

замками и предзамковым укреплением больше чем когда бы то ни было ослеплял людей своей мощью, богатством, видимостью порядка, и весь орден казался теперь еще более властительным и несокрушимым. И никто из князей, никто из рыцарей — гостей ордена, даже никто из крестоносцев, кроме магистра, не понимал, что со времени крещения Литвы произошло нечто такое, что, как и волны Ногата, которые как будто защищали страшную твердыню, тихо и неумолимо подмывает ее стены. Никто не понимал, что хоть и осталась еще сила в теле великана, но душа у него улетела; при взгляде на этот воздвигнутый «ex luto Marienburg», на эти стены, башни, на черные кресты на воротах, домах и одеяниях всякому вновь прибывшему прежде всего приходила в голову мысль, что даже силам ада не одолеть этой северной твердыни Креста Господня.

С такой же мыслью смотрели на нее не только Повала из Тачева и Збышко, который уже бывал здесь раньше, но и более проницательный Зындрам из Машковиц. Когда он глядел на этот муравейник вооруженных солдат, обрамленный башнями и высоченными стенами, лицо его омрачилось, и на память ему невольно пришли дерзкие слова крестоносцев, которые пригрозили когда-то королю Казимиру: «Мы сильнее тебя, не уступишь — так до самого Кракова будем гнать тебя своими мечами».

Но тут замковый комтур повел рыцарей дальше, в Средний замок, в восточном крыле которого находились покои для гостей.

Мацько и Збышко долго сжимали друг друга в объятиях; они всегда любили друг друга, а теперь, после всех злоключений и несчастий, которые им вместе пришлось пережить, любовь их стала еще крепче. При первом же взгляде на племянника старый рыцарь догадался, что Дануси уже нет в живых, поэтому он не стал ни о чем расспрашивать, а только прижимал к груди молодого рыцаря, желая показать ему, что не круглым сиротою остался он на свете, что есть еще рядом близкая живая душа, готовая разделить с ним его горькую участь.

И только тогда, когда им стало легче от слез, Мацько после долгого молчания спросил:

— Опять ее отняли, или умерла она у тебя на руках?

— Умерла у меня на руках под самым Спыховом, — ответил молодой рыцарь.

И стал подробно обо всем рассказывать, прерывая свой рассказ слезами и вздохами, а Мацько внимательно слушал и тоже вздыхал.

— А Юранд еще жив? — спросил он, когда Збышко кончил наконец свой рассказ.

— Юранда я живым оставил, но не жилец он на свете, и, верно, больше я его не увижу.

— Так, может, лучше было не уезжать?

— Как же я мог оставить вас здесь?

— Ну, на одну-две недели позже, какая разница!

Збышко пристально на него поглядел и сказал:

— Вы и так, должно быть, хворали здесь? Краше в гроб кладут.

— Хоть и пригревает солнышко землю, а в подземелье всегда холодно и очень сыро, кругом-то замка вода. Думал, совсем захирею. Дышать тоже нечем, и рана от всего этого опять у меня открылась, ну... та самая, знаешь... из которой осколыш вышел в Богданце от бобровой струи.

— Помню, помню, — сказал Збышко, — мы ведь за бобром ходили с Ягенкой. Так эти псы держали вас в подземелье?

Мацько кивнул головой.

— Сказать по правде, — продолжал он, — косо они на меня смотрели, думал я, что добром это дело не кончится. Уж очень злы они на Витовта и на жмудинов, а еще больше на тех из нас, кто помогает им. Напрасно толковал я им, зачем пошли мы к жмудинам. Они бы мне голову отрубили,

но жаль было выкупа — деньги-то им, ты знаешь, слаще мести, — да и доказательство надо было иметь в руках, что польский король помогает язычникам. Мы-то были там и знаем, что бедные жмудины просят крестить их, только не хотят принять крещение из рук крестоносцев, а те притворяются, будто не знают об этом, и жалуются на них при всех дворах, а с ними и на нашего короля.

Тут у Мацька началось удушье, так что он вынужден был на минуту умолкнуть; оправившись, старик продолжал:

— Может, я бы так и зачах в подземелье. Правда, за меня заступался Арнольд фон Баден, которому тоже важно было получить выкуп. Но он у них не в почете, они его медведем чествуют. К счастью, от Арнольда обо мне дознался де Лорш и поднял страшный шум. Не знаю, говорил ли он тебе об этом, скрывает он свои добрые дела... Он-то у них в почете, ведь один из де Лоршей был когда-то в ордене важным сановником, да и этот тоже знатен и богат. Де Лорш сказал крестоносцам, что он сам наш пленник, и коли они мне голову отрубят или я зачыхну от голода и сырости, так и ему не сносить головы. Он грозился капитулу, что расскажет при всех западных дворах о том, как крестоносцы обходятся с опоясанными рыцарями. Немцы испугались и перевели меня в лазарет, где и воздух, и пища получше.

— С де Лорша я ни одной гривны не возьму, клянусь Богом!

— С недруга брать — милое дело, а другу надо прощать, — сказал Мацько, — а раз немцы, как я слышал, уговорились с королем обмениваться пленниками, так и тебе не придется платить за меня.

— А наше рыцарское слово? — воскликнул Збышко. — Уговор уговором, но ведь Арнольд вправе будет упрекнуть нас в бесчестности.

Мацько, услышав эти слова, огорчился.

— Можно бы поторговаться, — сказал он, поразмыслив.

— Мы сами себе цену назначили. Ужели мы сейчас меньше стоим?

Мацько еще больше огорчился; но в умиленном его взоре засветилась как будто еще большая любовь к Збышку.

— Умеешь ты блюсти свою честь!.. Такой уж ты уродился, — пробормотал он под нос себе.

И завздохал. Збышко подумал, что это он по гривнам вздыхает, которые придется уплатить фон Бадену, и сказал:

— Эх! Денег у нас и так хватит, а вот участь наша горькая.

— Все переменится! — с волнением сказал старый рыцарь. — Мне уже недолго осталось жить.

— Не говорите! Вы поправитесь, пусть только вас ветром обвеет.

— Ветром? Ветер молодое дерево к земле пригнет, а старое ломает.

— Эва! Не болят еще у вас кости, и до старости вам далеко. Не печальтесь!

— Будь тебе весело, так и я бы смеялся. Да и есть у меня причина печалиться, и, сказать по правде, не у одного меня, а у всех нас.

— Что ж за причина такая? — спросил Збышко.

— Помнишь, как в лагере Скирвойла я тебя выбранил за то, что ты славил могущество крестоносцев? Оно конечно, тверд наш народ в бою; но только сейчас я поближе присмотрелся к здешним собакам.

Как бы из опасения, чтобы его не подслушали, Мацько понизил голос:

— И вижу я теперь, что не я, а ты был прав. Господи, спаси и помилуй, что за сила, что за могущество! Руки чешутся у наших рыцарей, рвутся они в бой, а того не ведают, что крестоносцам все народы и все короли помогают, что денег у них больше и обучены они лучше, что замки у них крепче и оружие не чета нашему. Господи, спаси и помилуй!.. И у нас, и здесь толкует народ, что быть великой войне, так оно, верно, и будет, и уж если начнется война, Господи, смилуйся тогда над нашим королевством и нашим народом!

Мацько сжал тут руками свою сидящую голову, оперся о колени локтями и примолк.

— Вот видите! — сказал ему Збышко. — Порознь многие из нас покрепче их будут, а как дойдет дело до великой войны, сами понимаете...

— Ох, понимаю, понимаю! Даст Бог, и королевские послы поймут, особенно рыцарь из Машковиц.

— Видел я, как он помрачнел. Искушенный воитель он, никто, говорят, на всем свете лучше его в бранном деле не разбирается.

— Коли так, то, пожалуй, войны не будет.

— Как увидят крестоносцы, что они сильнее, не миновать нам воевать с ними. И, сказать по правде, чем так жить, так уж лучше скорей конец...

Подавленный мыслями о своей горькой доле и народном бедствии, Збышко тоже поник головой.

— Жаль нашего великого королевства, — сказал Мацько, — и боюсь я, как бы не покарал нас Господь за чрезмерную дерзость. Помнишь, как в Вавеле, когда тебе хотели голову срубить и не срубили, наши рыцари перед обедней на паперти кафедрального собора похвалялись сразиться с самим Тимуром Хромым, повелителем сорока царств, который целые горы сложил из человеческих черепов... Мало им крестоносцев! Они со всеми зараз хотели бы драться, а это, может, и грех.

Збышко, вспомнив о том, как ему хотели срубить голову, схватился за свои светлые волосы и вскричал в невыносимой тоске:

— А кто меня спас тогда из рук палача? Она! Она! О Иисусе! Дануська моя!.. Иисусе!..

И он стал рвать на себе волосы и кусать пальцы, чтобы унять слезы, — так заболело у него сердце от внезапного порыва отчаяния.

— Збышко, побойся Бога!.. Перестань! — воскликнул Мацько. — Ну что поделаешь? Возьми себя в руки! Перестань!..

Но Збышко долго не мог успокоиться, он опомнился только тогда, когда Мацько, который и в самом деле был еще болен, так ослабел, что покачнулся и без памяти повалился на скамью. Молодой рыцарь уложил его в постель, подал ему вина, которое прислал замковый комтур, и сидел над ним до тех пор, пока старый рыцарь не уснул.

На другой день они проснулись поздно, бодрые и посвежевшие.

— Ну, — сказал Мацько, — видно, не пришло еще мое время, думаю, как обвеет меня ветром в поле, так и я верхом доеду.

— Послы задержатся здесь еще на несколько дней, — ответил Збышко, — к ним все приходят люди, просят отпустить невольников, которых наши схватили, когда они разбойничали в Мазовии или Великой Польше; ну а мы можем ехать, когда вам вздумается, станет вам лучше — и поедем.

В эту минуту вошел Глава.

— Ты не знаешь, что делают послы? — спросил его старый рыцарь.

— Они осматривают Высокий замок и храм, — ответил чех. — Водит их сам замковый комтур, а потом они пойдут обедать в большую трапезную; магистр и вас собирается позвать на обед.

— А что ты делал с утра?

— Да все присматривался к наемной немецкой пехоте, которую обучали капитаны, и сравнивал ее с нашей, чешской.

— А разве ты помнишь чешскую пехоту?

— Мальчишкой взял меня в плен рыцарь Зых из Згожелиц, ну а все-таки я хорошо помню: сызмальства занимало меня это дело.

— Ну и что же ты думаешь?

— Да ничего! Сильная у крестоносцев пехота и хорошо обучен народ, а все-таки волы они, а наши чехи — волки. Случись война, так ведь вы знаете, что волы волков не едят, а волки очень до говядины лакомы.

— Это верно, — сказал Мацько, который, видно, кое-что знал об этом, — кто на вас наткнется, как от ежа отскочит.

— В битве конный рыцарь десятка пехотинцев стоит, — сказал Збышко.

— Но Мариенбург может взять только пехота, — возразил

оруженосец.

На этом разговор о пехоте кончился, так как Мацько, следуя за ходом своих мыслей, сказал:

— Послушай, Глава, сегодня поем я поплотнее, и, как почувствую, что набрался сил, поедем.

— А куда? — спросил чех.

— Ясное дело, в Мазовию. В Спыхов, — ответил Збышко.

— Там и останемся?..

Мацько вопросительно взглянул на Збышка; до сих пор у них не было разговора о том, что они будут делать дальше. Может, молодой рыцарь и принял уже решение, но, не желая, видно, огорчать дядю, он уклончиво ответил:

— Сперва вам надо поправиться.

— А потом?

— Потом? Вы вернетесь в Богданец. Я ведь знаю, как вы любите Богданец.

— А ты?

— И я люблю.

— Я не хочу сказать: не езди к Юранду, — медленно проговорил Мацько, — коли помрет он, надо ведь достойно похоронить его; но ты только послушай, что я тебе скажу: ты еще молод и умом со мной не можешь равняться. Несчастливое место этот Спыхов. Коли и бывала тебе в чем удача, так только не в Спыхове, ничего ты там не изведal, кроме тяжкого горя да мук.

— Это все так, — сказал Збышко, — но ведь там Дануся моя похоронена...

— Перестань! — воскликнул Мацько, опасаясь, как бы Збышко опять не впал в такое отчаяние, как накануне.

Но на лице молодого рыцаря изобразились только печаль и умиление.

— У нас еще будет время поговорить, — сказал он, помолчав с минуту времени. — В Плоцке вам все равно придется отдохнуть.

— Уж там, ваша милость, о вас позаботятся, — вмешался Глава.

— Правда! — воскликнул Збышко. — Знаете ли вы, что там Ягенка? Она придворная княгини Александры. Ну, конечно, вы знаете, вы же сами ее туда привезли. Она была и в Спыхове. Странно мне только, что вы ничего не сказали мне о ней у Скирвойла.

— Мало того что она была в Спыхове, без нее Юранд и по сию пору бродил бы ощупью по дорогам, а нет, так помер бы где-нибудь под забором. Я привез ее в Плоцк получить наследство аббата, а не говорил тебе потому,

что толку в этом было тогда мало, ты, бедняга, ничего в ту пору не видел.

— Она очень вас любит, — сказал Збышко. — Слава Богу, что не понадобились нам никакие письма; но ведь она насчет вас получила письмо от княгини, а через княгиню и от послов ордена.

— Да благословит ее Бог, лучше девушки на всем свете не сыщешь! — сказал Мацько.

Дальнейший разговор был прерван появлением Зындрама из Машковиц и Повалы из Тачева, которые услышали о том, что Мацьку накануне было худо, и пришли проведать его.

— Слава Иисусу Христу! — переступив порог, поздоровался Зындрам. — Ну, каково вам нынче?

— Спасибо! Ничего, помаленьку! Збышко вот толкует, что обвеет меня ветерком, и все будет хорошо.

— Что ж... конечно, все будет хорошо, — вмешался Повала.

— И отдохнул я славно! — продолжал Мацько, — Не то что вы. Слышал я, что вам пришлось встать спозаранку.

— Сперва к нам здешние люди приходили просить пленников обменять, — сказал Зындрам, — а потом мы осматривали хозяйство ордена — и предзамковое укрепление, и оба замка.

— Крепкое хозяйство и крепкие замки! — угрюмо проворчал Мацько.

— Да, крепкие. В храме у них арабские украшения, — крестonosцы говорят, что научились такой лепке в Сицилии от сарацин, — а в замках покои со сводами, утвержденными то на одной, то на многих колоннах. Вы сами увидите большую трапезную. А какие везде укрепления, нигде таких не найдешь. Самое большое каменное ядро не пробьет таких стен. Любо-дорого смотреть...

Зындрам говорил так весело, что Мацько воззрился на него в изумлении.

— А вы видели, как они богаты, — спросил старый рыцарь, — какой у них порядок, сколько войска, гостей?

— Они все нам показывали будто бы из гостеприимства, а на самом деле для того, чтобы у нас упало сердце.

— Ну и что же?

— Ну, коли, Бог даст, дело дойдет до войны, погоним мы их прочь за моря и горы, туда, откуда они к нам пришли.

Мацько от удивления даже с места вскочил, позабыв о своей болезни.

— Да неужто? — воскликнул он. — Вы, говорят, умный человек... А то ведь я просто сомлел, когда увидал, какие они сильные... Господи Боже мой! А почему же вы так думаете?

Тут он обратился к племяннику:

— Вели-ка, Збышко, вина принести, что нам вчера прислали. Садитесь, гости дорогие, да рассказывайте! Лучшего лекарства против моей болезни ни один лекарь не выдумает.

Збышко, которого тоже взяло любопытство, сам поставил братину вина и кубки, все уселись за стол, и пан из Машковиц начал:

— Укрепления — это дело пустое: что человеческая рука сотворила, то она и разрушить может. Вы знаете, что связывает кирпичи? Известка. А что связывает людей? Любовь.

— Раны Божьи! — воскликнул Мацько. — С вами разговориться — что меду напиться!

Зындрам, в душе польщенный похвалой, продолжал:

— У одного из здешних брат у нас в цепях, у другого — сын, у третьего зять или другой родич. Пограничные комтуры велят им ходить к нам на разбой, и не один из них еще голову сложит, не один попадет в наши руки. Но народ уже прознал про договор между королем и магистром, и с самого утра к нам стали приходить люди, чтобы наш писец записал имена их родных, которые в неволе у нас. Первым пришел здешний бочар, зажиточный горожанин, немец, дом у него свой в Мальборке. И сказал он мне напоследок: «Кабы мог я вашему королю и королевству службу сослужить, не то что богатства, головы не пожалел бы!» Я его отослал, подумал — иуда. Но потом пришел просить за брата ксендз из Оливы, и вот что он мне сказал: «Правда ли, пан рыцарь, что вы пойдете войной и на наших прусских владык? Скажу я вам, что когда наш народ повторяет слова молитвы: «Да приидет Царствие Твое!» — то думает про вашего короля». Потом пришли просить за сыновей два дворянина, они держат лен около Шмута, пришли купцы из Гданьска, ремесленники, мастер из Квидзыня, что колокола льет, пропасть народу, и все одно и то же твердили.

Тут пан из Машковиц умолк, поднялся, поглядел, не подслушивает ли кто за дверью, вернулся на место и, понизив голос, закончил:

— Я долго про все расспрашивал. Во всей Пруссии крестоносцев ненавидят и священники, и дворяне, и горожане, и мужики. И ненавидит их не только народ, который говорит по-нашему или по-прусскому, но даже сами немцы. Кто должен служить — служит, но крестоносцы для них хуже чумы. Вот оно дело какое...

— Да, но при чем тут могущество ордена? — спросил с беспокойством Мацько.

Зындрам провел рукой по своему могучему лбу, подумал, словно подыскивая сравнение, и наконец с улыбкой спросил:

— Вам случилось когда-нибудь драться на поединке?

— Еще бы! Не раз! — ответил Мацько.

— Ну а как вы думаете, разве не свалится с коня при первой же сшибке даже самый могучий рыцарь, коли у него подрезаны подпруга и стремяна?

— Это уж как пить дать!

— Ну вот видите! Орден и есть такой рыцарь.

— Истинная правда! — воскликнул Збышко. — И в книжке, пожалуй, ничего лучше не вычитаешь.

А Мацько дрожащим от волнения голосом проговорил:

— Спасибо вам на добром слове. Броннику на вашу голову приходится, пожалуй, особый шлем делать, готового для нее нигде не найдешь.

Мацько и Збышко собирались тотчас уехать из Мальборка; однако в тот день, когда их так подбодрил Зындрам из Машковиц, им не удалось выехать, так как в Высоком замке состоялся обед, а потом ужин в честь послов и гостей, на который Збышка пригласили как королевского рыцаря, а с ним позвали и Мацька. Обед состоялся в узком кругу, в великолепной большой трапезной, освещенной десятью окнами, пальчатый свод которой, по способу, редко применявшемуся в зодчестве, поддерживала одна колонна. Кроме королевских рыцарей, из иноземцев были приглашены к столу только швабский граф и граф бургундский, который хоть и был подданным богатых властителей, однако приехал занять от их имени у крестоносцев денег. Из местных сановников рядом с магистром восседали за столом четыре так называемых столпа ордена: великий комтур, милостынник, ризничий и казначей. Пятый столп, то есть маршал, ушел в поход против Витовта.

Невзирая на то что крестоносцы давали обет бедности, за столом ели на золоте и серебре и запивали мальвазией, ибо магистр хотел ослепить блеском польских послов. Кушаний подавали множество, и хозяева усердно потчевали; но гости скучали, разговор не клеился, все должны были держаться чинно. Зато за ужином в огромной общей трапезной (Convents Remter) было куда веселее; собрались все рыцари-монахи и все те гости, которые не успели отправиться с маршалом в поход против Витовта. Ни один спор, ни одна ссора не омрачили веселья. Правда, иноземные рыцари знали, что не миновать им биться с поляками, и косо смотрели на них; но крестоносцы заранее их предупредили, что надо соблюдать спокойствие, и, опасаясь в лице послов оскорбить короля и все королевство, убедительно просили гостей держать себя учтиво. Но крестоносцы предостерегли гостей о запальчивости поляков, проявив и в этом случае свое недоброжелательство: «Они как подвыпьют, так за неосторожное слово сразу вырвут вам бороду или пырнут ножом». Поэтому гости удивились добродушию Повалы из Тачева и Зындрама из Машковиц, а более догадливые сообразили, что не у поляков грубые нравы, а у крестоносцев ядовитые и длинные языки.

Кое-кто из гостей, привыкших к изысканным развлечениям при блестящих западных дворах, вынес не особенно благоприятное представление о нравах самих крестоносцев, ибо музыканты за ужином

играли чересчур громко, «шпильманы» распевали непристойные песни, шуты отпускали грубые шутки, плясали медведи и босоногие девки. А когда кто-то выразил удивление по поводу присутствия в Высоком замке женщин, оказалось, что орден уже давно забыл о запрете и что сам великий Винрих Книпроде плясал здесь в свое время с красавицей Марией фон Альфлебен. Рыцари-монахи пояснили, что женщинам не разрешается только жить в замке, но они могут присутствовать на пирах в трапезной, и что в прошлом году супруга князя Витовта, которая жила в убранной с царской роскошью старой пушкарне в предзамковом укреплении, всякий день приходила сюда играть в золотые шашки, которые ей тут же каждый вечер дарили.

И в этот вечер играли не только в шашки и шахматы, но и в зернь; многие занялись игрой, так как разговор заглушали песни и слишком шумный оркестр. Однако среди общего шума по временам наступала на минуту тишина, и, воспользовавшись одной из таких минут, Зындрам из Машковиц притворился, будто ничего не знает, и спросил у магистра, очень ли любят орден подданные всех его земель.

— Кто любит Крест, — ответил ему Конрад фон Юнгинген, — тот должен любить и орден.

Ответ понравился и крестоносцам, и гостям, и все стали восхвалять за него магистра, а тот, довольный похвалой, продолжал:

— Кто друг нам, тому хорошо живется под нашей рукой, а против врагов есть у нас два средства.

— Какие же? — спросил польский рыцарь.

— Вы, ваша честь, может, не знаете, что из своих покоев я спускаюсь сюда по маленькой лестнице в стене, а рядом с этой лестницей сводчатая комната; если бы я, ваша честь, проводил вас туда, вы узнали бы первое средство.

— Истинно так! — воскликнули рыцари-монахи.

Пан из Машковиц догадался, что магистр говорит о той «башне», полной золота, которой бахвалились крестоносцы; он задумался на минуту, а потом сказал:

— Давно-давно один немецкий государь показал нашему послу, по имени Скарбек, такую же кладовую и сказал: «Есть у меня чем побить твоего господина!» А Скарбек бросил туда свой драгоценный перстень и проговорил: «Иди, золото, к золоту, мы, поляки, больше железо любим...» И знаете, ваша честь, что было потом? Потом был Хундсфельд^[113]...

— Что за Хундсфельд? — раздались голоса рыцарей.

— Это, — спокойно ответил Зындрам, — поле такое, на котором не

успевали убирать немцев, и в конце концов псы их убрали.

Услышав такой ответ, рыцари и монахи смешались и не знали, что сказать, а Зындрам из Машковиц прибавил в заключение:

— С золотом против железа ничего не поделаешь.

— Ба! — воскликнул магистр. — Другое наше средство — как раз железо. Вы видели, ваша честь, в предзамковом укреплении наши бронные мастерские? День и ночь там куют молоты, и нигде в мире вы не найдете ни таких панцирей, ни таких мечей.

В ответ на это Повала из Тачева протянул руку, взял лежавший посередине стола тесак для рубки мяса длиною в локоть и шириною больше чем в полпяди и, легко, как пергамент, свернув его в трубку, поднял вверх, так, чтобы все его видели, а затем подал магистру.

— Коли и мечи ваши из такого железа, — сказал он, — то немногого вы с ними добьетесь.

И, довольный собой, он улыбнулся, а духовные и светские рыцари поднялись со своих мест и, подбежав гурьбою к великому магистру, стали передавать друг другу свернутый в трубку тесак; все они хранили молчание, ибо дрогнули сердца их, когда увидели они такую силу.

— Клянусь головой святого Либерия! — воскликнул наконец магистр. — У вас железные руки.

А бургундский граф прибавил:

— И железо получше. Скрутил тесак, будто он слеплен из воска.

— И не покраснел, и жилы не вздулись! — воскликнул один из монахов.

— Это потому, — ответил Повала, — что народ наш простой, но закаленный, не знает он таких недостатков и роскоши, какие я вижу здесь.

Тут к нему подошли итальянские и французские рыцари и заговорили с ним на своих звучных языках, о которых старый Мацько говорил, что они похожи на звон оловянных мисок. Они восхищались его силой, а он чокался с каждым и отвечал:

— У нас на пирах часто скручивают тесаки. А коли тесак поменьше, так его иной раз и девушка скрутит.

Но немцам, которые любили похвастаться перед иноземцами своим ростом и силой, было стыдно, зло их брало, и старый Гельфенштейн крикнул через весь стол:

— Это позор для нас! Брат Арнольд фон Баден, покажи, что и у нас кости не из церковных свечей! Дайте ему тесак!

Слуги тотчас принесли тесак и положили его перед Арнольдом; но то ли немец смутился стольких свидетелей, то ли пальцы у него и впрямь

были не такие сильные, как у Повалы, только согнул он тесак, а скрутить не смог.

Не один иноземный гость, кому крестоносцы нашептывали, что зимой начнется война с королем Ягайлом, крепко призадумался в эту минуту и вспомнил, что зима в этом краю бывает жестокая и что лучше, пожалуй, пока есть еще время, вернуться под ласковое небо в родной замок.

И вот что удивительно: подобные мысли пришли им в голову в июле, в самый зной, в чудную погоду.

В Плоцке Збышко и Мацько княжеского двора не застали: князь и княгиня, взяв с собой всех своих восьмерых детей, по приглашению княгини Анны Дануты уехали в Черск. От епископа рыцари узнали, что Ягенка решила остаться в Спыхове у одра Юранда до смерти старика. Это было им на руку, они сами тоже собирались в Спыхов. Мацько до небес превозносил Ягенку за ее доброту, за то, что она пренебрегла черскими забавами, танцами и увеселениями и предпочла уехать к умирающему, который не был ей даже сродни.

— Может, она это для того сделала, чтобы с нами не разминуться, — говорил старый рыцарь. — Давно уж я ее не видал и рад буду встретиться с нею. Знаю, что и она будет рада. Верно, выросла девка, еще краше стала.

— Очень она изменилась, — сказал Збышко. — Всегда она была хороша собою, но я помню ее простой девушкой, а теперь ей... и в королевские покои впору.

— Так изменилась? Да ведь Ястжембцы из Згожелиц — это древний род, их боевой клич: «На пир!»

На минуту воцарилось молчание, затем снова заговорил старый рыцарь:

— Верно, так оно и будет, как я говорил тебе, потянет ее в Згожелицы.

— Мне и то было удивительно, что она оттуда уехала.

— Она хотела присмотреть за больным аббатом, некому ведь было за ним поухаживать. Да и Чтана с Вильком боялась, я сам ей сказал, что братьям без нее будет спокойнее.

— Да, уж на сирот они не стали бы учинять набеги.

Мацько задумался.

— Не отомстили ли они мне за то, что я увез ее, может, уж Богданец по бревнышку растащили, Бог один знает! Да и не знаю, одолею ли я их, как ворочусь. Парни они молодые, крепкие, а я старик.

— Ну, это уж вы кому-нибудь другому пойте, — ответил Збышко.

Мацько и в самом деле говорил не совсем искренне, у него другое было на уме, и старик только рукой махнул.

— Кабы я в Мальборке не хворал, тогда бы еще ничего! — возразил он. — Но об этом мы поговорим в Спыхове.

Переночевав в Плоцке, они на другой день двинулись в Спыхов.

Дни стояли ясные, дорога была сухая, легкая и к тому же безопасная;

крестоносцы после последних переговоров прекратили на границе разбой. Впрочем, оба рыцаря принадлежали к числу тех путников, которых и разбойнику лучше не трогать, а поклониться издали, поэтому они быстро подвигались вперед и утром на пятый день после выезда из Плоцка благополучно добрались до Спыхова.

Ягенка, для которой Мацько был самым задушевым другом в мире, встретила его как отца родного, а он, хоть и не отличался особой чувствительностью, был глубоко тронут сердечностью девушки, которую и сам крепко любил; и когда Збышко, расспросив про Юранда, пошел к нему и к гробу Дануси, старый рыцарь сказал с глубоким вздохом:

— Что ж! Кого Бог захотел прибрать, тот и прибрался, а кого захотел оставить, тот и остался; думаю, что кончились наши мытарства и наши скитанья по миру.

А затем прибавил:

— Эх, куда только нас за последние годы не носило!

— Господь хранил вас, — сказала ему Ягенка.

— Это верно, что хранил, только, сказать по совести, пора и домой.

— Покуда Юранд жив, нам надо здесь остаться, — заметила девушка.

— Ну а как он?

— В небо глядит и улыбается, верно, рай уж видит, а в нем Данусю.

— Ты за ним присматриваешь?

— Присматриваю, но ксендз Калёб говорит, что за ним и ангелы смотрят. Вчера здешняя ключница видела двоих.

— Говорят, — сказал на это Мацько, — что шляхтичу всего приличней умирать в поле, но так, как Юранд умирает, можно и на одре.

— Не ест, не пьет он, только все улыбается, — сказала Ягенка.

— Пойдем к нему. Збышко, верно, там.

Но Збышко, недолго побыв у Юранда, который никого не узнавал, ушел в склеп, к гробу Дануси. Там он пробыл до тех пор, пока старый Толима не пришел его звать подкрепиться. Уходя, Збышко заметил при свете факела, что гроб весь покрыт веночками из васильков и ноготков, а чисто выметенный глинобитный пол устлан аиром, желтоголовником и липовым цветом, от которого струился медовый дух. Умилилось сердце молодого рыцаря, и он спросил:

— Кто это украшает так гроб?

— Панна из Згожелиц, — ответил Толима.

Молодой рыцарь ничего не сказал; но когда увидел Ягенку, упал вдруг к ногам девушки и, обняв ее колени, воскликнул:

— Да вознаградит тебя Бог за твою доброту и за эти цветы для

Дануськи!

И горько расплакался, а она, как сестра, которая хочет успокоить плачущего брата, сжала руками его голову и проговорила:

— О мой Збышко, я бы и не так рада была тебя утешить!

И слезы ручьем полились у нее из глаз.

XXXVII

Через несколько дней Юранд умер. Целую неделю ксендз Калёб служил панихиды над его телом, которое совсем не разлагалось, в чем все усматривали чудо Божье, — и целую неделю в Спыхове было полно гостей. Потом воцарилась тишина, как всегда бывает после похорон. Збышко спускался в склеп, а иногда, захватив самострел, уходил в лес, но зверей не стрелял, а только бродил в задумчивости; наконец как-то вечером он зашел в горницу, где сидели девушки с Мацьком и Главой, и неожиданно обратился к ним с такими словами:

— Послушайте, что я вам скажу! Печаль человека не украсит; чем сидеть тут да кручиниться, возвращайтесь-ка лучше в Богданец да в Згожелицы!

Воцарилось молчание, все поняли, что разговор будет важный; только Мацько, помолчав, бросил:

— Оно и для нас, да и для тебя лучше.

Но Збышко только тряхнул светлыми волосами.

— Нет! — сказал он. — Бог даст, и я вернусь в Богданец, но теперь не туда лежит мне путь.

— Вот тебе на! — воскликнул Мацько. — Я говорил, что уж конец, а выходит, нет! Побойся ты Бога, Збышко!

— Вы ведь знаете, что я дал обет.

— Так вот что за причина? Нет Дануськи, нет и обета. Смерть ее освободила тебя от клятвы.

— Моя смерть освободила бы, а ее не может. Я рыцарской честью поклялся! Вы понимаете? Рыцарской честью!

Всякий раз слово о рыцарской чести оказывало на Мацька магическое действие. Немногим руководствовался он в жизни кроме заповедей Божьих и Церковных, но зато в этом немногом был непоколебим.

— Я и не говорю, что тебе надо нарушать клятву, — сказал он.

— А что же вы говорите?

— Что ты молод и что впереди у тебя еще много времени. Поезжай теперь с нами; отдохнешь, стряхнешь с себя горе да печаль, а потом поедешь, куда хочешь.

— Тогда я вам все скажу как на духу, — промолвил Збышко — Езжу я, как видите, всюду, куда надо, говорю вот с вами, ем, пью, как все люди, но, по совести, неладное что-то со мною творится, не могу я взять себя в руки.

Одна тоска да печаль на сердце у меня, одни горькие слезы, сами они льются из глаз!

— С чужими тебе будет еще тяжелей.

— Нет! — сказал Збышко. — Видит Бог, совсем я зачыхну в Богданце. Сказал, не могу — значит, не могу. На войну надо мне, в битве я скорее забудусь. Чует мое сердце, что как исполню я свой обет и смогу сказать этой спасенной душе: «Все сделал я, что тебе обещал», — станет мне легче. А так — нет! Вы меня в Богданце и на привязи не удержите.

В горнице после этих слов Збышка стало так тихо, что слышно было, как муха пролетит.

— Чем в Богданце чахнуть, пусть лучше едет, — промолвила наконец Ягенка.

Мацько заложил руки за голову, как всегда делал в минуту тревоги, и с тяжелым вздохом сказал:

— Эх, Господи милостивый!

— А ты, Збышко, — продолжала Ягенка, — поклянись, что не останешься здесь, коли Бог тебя сохранит, а к нам воротишься.

— Отчего же мне не воротиться, я, разумеется, и в Спыхов заеду, но не останусь здесь.

— А коли ты про Дануську думаешь, — понизив голос, продолжала девушка, — так мы ее гроб в Кшесню перевезем...

— Ягуся! — воскликнул растроганный Збышко.

И в порыве восторга и благодарности упал к ее ногам.

XXXVIII

Старый рыцарь непременно хотел ехать со Збышком в войско князя Витовта, но тот и слышать не хотел об этом. Он настаивал, что поедет один, без людей, без повозок, с тремя конными слугами, из которых один повезет припасы, другой оружие и одежду, а третий медвежьи шкуры для спанья. Напрасно Ягенка и Мацько умоляли его взять с собой хоть Главу, сильного и верного оруженосца. Збышко уперся на своем, он говорил, что ему нужно забыть горе, которое его точит, а оруженосец своим присутствием будет напоминать ему обо всем, что было, что миновало.

Перед его отъездом держали совет о том, как быть со Спыховом. Мацько советовал продать Спыхов. Он говорил, что несчастливая это земля, ничего она никому не принесла, кроме горя и мук. Много богатств было в Спыхове, начиная от денег и кончая доспехами, конями, одеждой, кожухами, ценными мехами, дорогой утварью и стадами, и Мацько в душе лелеял надежду укрепить этими богатствами Богданец, который был ему милее всех прочих владений. Долго держали совет; но Збышко ни за что не соглашался на продажу.

— Как же мне продавать кости Юранда? — говорил он — Ужели так отплачу я ему за все милости, которыми он осыпал меня?

— Мы обещали тебе перевезти прах Дануси, — сказал Мацько, — что ж, можно перевезти и прах Юранда.

— Да, но здесь он лежит с отцами, а в Кшесне без отцов ему будет скучно. Возьмете Дануську, останется он вдали от дочки, а возьмете и его, отцы останутся одни.

— Не знаешь ты, что Юранд на небе всякий день видит своих, ведь отец Калев говорит, что он в раю, — возразил старый рыцарь.

Но ксендз Калев был на стороне Збышка.

— Душа в раю, — вмешался он в разговор, — но плоть на земле до Страшного Суда.

Мацько задумался, однако, следуя за ходом своих мыслей, прибавил:

— Да, коли кто не достиг вечного спасенья, того Юранд не видит; но тут уж ничего не поделаешь.

— Чего там рассуждать о том, что кому Богом уготовано! — заметил Збышко. — Не приведи только Бог, чтобы чужой жил здесь, где покоится священный прах. Да лучше я всех здесь оставлю, а Спыхова не продам, даже если мне за него целое княжество будут давать.

Мацько убедился, что спорить бесполезно: он хорошо знал, как упорен племянник, и в душе восхищался этим упорством, как и другими его душевными свойствами.

Помолчав с минуту времени, старик сказал:

— Что и говорить, не по душе мне эти речи, но ведь парень-то прав.

И закручинился, не зная, что и делать.

Но тут Ягенка, которая молчала до сих пор, подала новый совет:

— Подыскать бы честного человека, да и оставить его здесь управителем или сдать ему Спыхов в аренду, вот и чудесно было бы. Лучше всего в аренду сдать, никаких хлопот, знай гребь денежки. А не сдать ли Толиме? Нет, он уже стар, да и не в хозяйстве, а в ратном деле знает он толк. Что ж, коли не ему, так, может, ксендзу Калебу?..

— Милая панна! — ответил на это ксендз Калёб. — Ждет нас с Толимой мать сыра-земля, да не та, что по ней мы ходим, а та, что покроеет нас.

И обратился к Толиме:

— Правда, старик?

Холима приставил ладонь к длинному уху и спросил:

— О чем речь-то?

Когда ему повторили вопрос погромче, он сказал:

— Истинная правда. Не приучен я к хозяйству. Секира глубже берет, чем плуг... Вот отомстить бы за пана с дочкой, это я бы с радостью...

И, вытянув худые, но жилистые руки с пальцами кривыми, как когти у хищной птицы, он повернул к Мацьку и Збышку седую, похожую на волчью, голову и прибавил:

— Немцев бить вы меня возьмите — это моя служба!

Он был прав. Приумножил старик богатства Юранда, но не хозяйничая в Спыхове, а на войне добывая их.

Тут снова вмешалась Ягенка, которая, пока шел разговор, думала, что бы еще предложить.

— Нужен тут человек молодой и бесстрашный — рядом ведь граница крестоносцев, — такой, что не только не прятался бы от немцев, а сам их искал. Вот и думаю я, что очень бы подошел Глава...

— Нет, вы только поглядите, как она рассуждает! — воскликнул Мацько, в голове которого, несмотря на всю его любовь к Ягенке, никак не укладывалось, что в таком деле может поднять голос женщина, да еще незамужняя.

Но чех поднялся с лавки, на которой сидел, и сказал:

— Видит Бог, рад бы я пойти с паном Збышком на войну, мы уж с ним

немного немцев нащелкали, может, и еще привелось бы... Но коли надо здесь оставаться, что ж, я бы остался... Толима мне друг и знает меня... Граница крестоносцев близко, ну что ж? Тем лучше! Мы еще посмотрим, кто первый станет пенять на соседство. Чем мне бояться их, пусть лучше они меня боятся. И сохрани Бог, чтобы я в хозяйстве ущерб вам причинил, все себе загребал бы. Уж в этом-то за меня панночка поручится, да лучше мне сквозь землю провалиться, как я тогда и в глаза-то ей гляну... В хозяйстве я не очень разбираюсь, так кой-чему научился в Згожелицах, только думаю я, что здесь больше придется не плугом, а секирой да мечом орудовать. По душе мне все это, как будто... можно бы и остаться...

— Так в чем же дело? — спросил Збышко. — Что же ты тянешь?

Глава совсем смешался и продолжал, заикаясь:

— Да ведь уедет панночка, а с нею все уедут. Воевать хорошо, хозяйничать тоже, но одному... без всякой помощи... Очень уж мне было бы скучно без панночки и без... ну, как бы это сказать... не одна ведь панночка ездила по свету... так коли мне никто здесь не поможет... право, не знаю!

— О чем этот парень толкует? — спросил Мацько.

— Человек вы большого ума, а не догадываетесь, — ответила Ягенка.

— А что?

Но Ягенка ему не ответила.

— Ну а если бы с тобой осталась Ануля, — обратилась она к оруженосцу, — ты бы выдержал?

Чех при этих словах повалился ей в ноги так, что пыль столбом поднялась.

— Да с нею я бы и в пекле выдержал! — воскликнул он, обнимая ноги Ягенки.

Услышав этот возглас, Збышко в изумлении воззрился на оруженосца; он ничего не знал и ни о чем не догадывался, а Мацько в душе тоже диву давался, думая о том, как много значит женщина во всех земных делах, любое дело может с нею и удаться, и прахом пойти.

— Слава Богу, — пробормотал он, — мне уж они не нужны.

Ягенка опять обратилась к Главе:

— Нам теперь надо только знать, выдержит ли с тобой Ануля.

И она позвала Анульку, которая, видно, знала или догадывалась обо всем, потому что вошла, опустив голову и закрывшись рукавом, так что виден был только пробор в ее светлых волосах, которые в солнечных лучах казались еще светлее. Ануля сперва остановилась на пороге, потом бросилась к Ягенке, повалилась ей в ноги и спрятала лицо в складках ее

юбки.

А чех преклонил колена рядом с нею и сказал Ягенке:

— Благословите нас, панночка.

На другой день Збышко уезжал. Высоко сидел он на рослом боевом коне, окруженный своими близкими. Стоя у стремени, Ягенка в молчании все поднимала на молодого рыцаря свои печальные голубые глаза, словно перед разлукой хотела на него наглядеться. Мацько и ксендз Калёб стояли у другого стремени, а рядом с ними — оруженосец с Анулькой. Збышко повертывал голову то в одну, то в другую сторону, обмениваясь с близкими теми короткими словами, какие обыкновенно говорят перед долгим расставаньем: «Оставайтесь здоровы!» — «С Богом!» — «Уже пора!» — «Да, пора, пора!» Он еще раньше простился со всеми и с Ягенкой, которой повалился в ноги, благодаря ее за сочувствие. А теперь, когда он глядел на девушку с высокого рыцарского седла, ему хотелось сказать ей еще какое-нибудь доброе слово; и взор ее, и все лицо так ясно говорили ему: «Вернись!» — что сердце его прониклось глубокой признательностью к ней.

Как бы отвечая на немую ее мольбу, он проговорил:

— Ягуся, я тебя как родную сестру... Понимаешь!.. Больше я ничего не скажу!

— Знаю. Да вознаградит тебя Бог.

— И дядю не забывай!

— Не забывай и ты.

— Ворочусь, коли не погибну.

— Не гибни.

Уже однажды в Плоцке, когда он упомянул о походе, она сказала ему те же слова: «Не гибни», — но теперь они вырвались из самой глубины ее души, и, быть может, для того, чтобы скрыть слезы, она так наклонила голову, что лоб ее на мгновение коснулся колена Збышка.

Меж тем слуги, уже готовые в путь и державшие у ворот выючных лошадей, запели:

Златой мой перстень, заветный перстень
Не пропадет;
Подруге ворон, да с поля ворон
Его снесет.

— В путь! — воскликнул Збышко.

— В путь!

— Да хранит тебя Бог и Пресвятая Дева!..

Копыта зацокали по деревянному подъемному мосту, один конь протяжно заржал, другие громко зафыркали, и отряд тронулся в путь.

Ягенка, Мацько, ксендз, Толима, чех с женой и слуги, оставшиеся в Спыхове, вышли на мост и провожали глазами уезжающих. Ксендз Калёб долго осенял их крестным знамением, а когда они скрылись за высокими ольхами, сказал:

— Под этим знамением не постигнет их беда на пути!

А Мацько прибавил:

— Ещё бы, но и то хорошая примета, что кони так фыркали.

Мацько с Ягенкой тоже недолго оставались в Спыхове. Через две недели старый рыцарь, уладив все дела с чехом, который стал арендатором Спыхова, во главе целого обоза под охраной вооруженных слуг двинулся с Ягенкой в Богданец. Ксендз Калёб и старый Толима довольно мрачно взирали на повозки, так как Мацько, сказать по правде, порядком ободрал Спыхов; но Збышко передал ему бразды правления, и никто не посмел воспротивиться старому рыцарю. Он бы ещё больше захватил, да Ягенка его удержала; старик хоть и спорил с девушкой, хоть и высмеивал её «бабий ум», однако во всем её слушался.

Гроб с останками Дануси они не стали брать — раз Спыхов не был продан, Збышко решил оставить Данусю с отцами.

Зато они увозили кучу денег и много всякого добра, по большей части захваченного Юрандом в битвах у немцев. Поглядывая теперь на покрытые рогожами телеги с кладью, Мацько радовался в душе при мысли о том, как поднимет он и устроит Богданец. Эту радость омрачало опасение, как бы не погиб Збышко; зная, однако, что племянник его искушенный воитель, Мацько не терял надежды на благополучное его возвращение и предвкушал сладостную минуту встречи.

«Может, так Богу было угодно, — говорил он себе, — чтобы Збышко сперва Спыхов заполучил, а потом Мочидолы и все, что осталось после аббата. Лишь бы только он благополучно воротился, уж я ему поставлю в Богданце крепкий городок, а там посмотрим!..» Тут он вспомнил, что Чтан из Рогова и Вильк из Бжозовой окажут ему, наверно, не очень ласковый прием и что придется, пожалуй, драться с ними; но старый рыцарь об этом не беспокоился, как не беспокоится старый боевой конь, выступая в сражение. Здоровье к нему вернулось, он чувствовал ещё силу в костях и

знал, что легко справится с этими забияками, которые хоть и опасны, но не прошли никакой рыцарской выучки. Правда, недавно он совсем другое говорил Збышку, но это только для того, чтобы склонить племянника вернуться в Богданец.

«Да, щука я, а они пескари, — думал он, — лучше пусть с головы ко мне не суются!»

Зато его другое тревожило: бог весть когда Збышко воротится, да и на Ягенку он смотрит только как на сестру. А что, если девушка тоже почитает его только за брата и не станет дожидаться его возвращения?

— Послушай, Ягна, — обратился он к ней, — я не говорю про Чтана и Вилька, парни они грубые, не пара тебе. Ты теперь придворная!.. Но ведь года-то идут... Еще покойный Зых говорил, что пришла твоя пора, а с того времени вон уж сколько лет миновало... Почему знать? Говорят, коли девке тесен венок, она сама готова искать хлопца, чтобы снял его с головы... Понятное дело, ни Чтан, ни Вильк... ну а как же ты все-таки думаешь?

— О чем вы спрашиваете?

— Замуж-то пойдешь?

— Я?.. Я в монашки пойду.

— Не болтай глупостей! А коли Збышко воротится?

Она покачала головой:

— Я в монашки пойду.

— Ну а коли он полюбит тебя? Коли слезно станет упрашивать?

Девушка при этих словах повернула к полю зарумянившееся лицо, но ветер-то дул с поля, он и принес Мацьку тихий ответ:

— Тогда не пойду в монашки.

Мацько и Ягенка остановились на некоторое время в Плоцке, чтобы уладить дело с наследством и духовной аббата. Запасшись нужными документами, путники снова пустились в дорогу; они делали короткие привалы, потому что ехать теперь было легко и безопасно: болота высохли от зноя, реки обмелели, и путь их лежал по мирной стране, где жил их родной и гостеприимный народ. Однако из Серадза осторожный Мацько послал в Згожелицы слугу предупредить, что они едут, и брат Ягенки, Ясько, встретил их на полдороге во главе двух десятков вооруженных слуг и проводил до дома.

В Згожелицах их встретили радостными кликами и приветствиями. Ясько, как две капли воды похожий на Ягенку, перерос ее. Парень из него вышел — загляденье; смелый, веселый, как покойный Зых, от которого он унаследовал страсть к пению, суший огонь. Ясько думал, что вошел уже в возраст, в силу, почитал себя взрослым мужчиной и распоряжался слугами, как заправский хозяин, и те мигом исполняли каждое его приказание, видно, побаивались парня с его хозяйской замашкой.

Мацько и Ягенка просто диву дались, а он тоже не мог наглядеться на свою красавицу сестру, которую давно не видал и которая стала такой важной. Он говорил, что собрался уже было к ней, еще немного — и они не застали бы его дома, надо ведь и ему свет повидать, людей посмотреть, рыцарскому делу поучиться и поискать случая сразиться на поединке со странствующими рыцарями.

— Свет и людей посмотреть — это дело хорошее, — ответил ему Мацько, — научишься, как найтись и что сказать в любом случае жизни, ума-разума наберешься. Что ж до поединка, так уж лучше я тебе скажу, что ты еще молод для этого, а то чужой рыцарь не преминет еще высмеять тебя.

— Как бы ему с того смеху не заплакать, — ответил Ясько, — а не ему, так его жене и детям.

И он поглядел с такой дерзкой отвагой, словно хотел сказать странствующим рыцарям всего света: «Готовьтесь к смерти!» Но старый рыцарь из Богданца спросил его:

— А Чтан и Вильк оставили вас здесь в покое? Они ведь заглядывались на Ягенку.

— Да ведь Вилька убили в Силезии. Он хотел взять один немецкий

замок и уж взял его, да его бревном придавило, которое бросили с замковой стены, через два дня он Богу душу и отдал.

— Жаль парня. Отец его тоже ходил в Силезию на немцев, которые притесняют там наш народ, и возвращался оттуда с добычей... Хуже всего замки штурмовать, не помогают тут ни доспехи, ни рыцарское искусство. Даст Бог, князь Витовт не станет осаждать замки, будет только в поле бить крестоносцев... А Чтан? Что о нем слышно?

Ясько рассмеялся:

— Чтан женился. Взял из Высокого Бжега крестьянскую дочку, писаную красавицу. Она у него не только красавица, но и в обиду не даст себя, Чтану многие поперек дороги не встанут, а она хлещет его по волосатой роже и водит, как медведя на цепи.

Услышав это, старый рыцарь повеселел:

— Вот она какая! Все бабы одинаковы! Ягенка, и ты такой будешь! Слава Богу, что с этими двумя забияками не было хлопот; сказать по правде, я просто дивлюсь, что они не выместили свое зло на Богданце.

— Чтан хотел было, да Вильк, тот умнее был, не дал. Приехал он к нам в Згожелицы и спрашивал, где Ягенка. Я ему говорю: поехала, мол, за наследством, которое осталось после аббата. А он говорит: «Почему Мацько ничего не сказал мне об этом?» — «А разве Ягенка твоя, — говорю я ему, — чтоб тебе докладывать?» Парень он был дошлый, видно, сразу смекнул, что задобрит и вас, и нас, коли Богданец будет стеречь от Чтана. Они даже дрались на Лавице около Поясков и помяли друг дружку, а потом пили, покуда не свалились под лавку, как всегда у них бывало.

— Упокой, Господи, душу Вилька! — сказал Мацько.

И вздохнул с облегчением, радуясь, что не найдет в Богданце никакого урона, кроме разве того, что мог приключиться от долгого его отсутствия.

Все и впрямь обошлось без урона; напротив, стада стали больше, от небольшого табунка кобылиц уже были жеребята-двухлетки, некоторые из них, от боевых фризских коней, рослые и сильные необычайно. Мацько потерпел урон только в людях — бежали невольники, но всего несколько человек, потому что бежать они могли только в Силезию, а тамошние немецкие или онемеченные рыцари-разбойники обходились с невольниками хуже, чем польская шляхта. Но старый обширный дом пришел в еще больший упадок. Глиняный пол потрескался, стены и потолки покосились, а лиственничные балки, поставленные назад тому лет двести, если не больше, стали уже гнить. Во всех горницах, где некогда обитал обширный род Градов Богданецких, от обильных летних дождей появились потеки. Крыша продырявилась и поросла целыми островками

зеленого и рыжего моха. Все строение осело и напоминало большой трухлявый гриб.

— Кабы приглядывать, дом бы еще постоял, ветшать-то стал недавно, — говорил Мацько старому приказчику Кондрату, который в отсутствие хозяина управлял Богданцем.

Помолчав, он прибавил:

— Я бы как-нибудь дожил свой век, а вот Збышку надо замок построить.

— Господи! Замок?

— Да, а разве что?

Построить замок для Збышка и для будущего его потомства — это было заветное желание старика. Он знал, что если шляхтич живет не в простой усадьбе, а за рвом и острогом, да стража у него со сторожевой башни озирает околицу, так он и у соседей «в почете», и вельможей ему легче стать. Самому Мацьку не много уж было надобно, но для Збышка и его сыновей он не хотел мириться на малом, особенно теперь, когда так разрослись владения.

«Эх, женился бы он на Ягенке, — думал Мацько, — да взял за нею Мочидолы и наследство аббата, ну, тогда никто во всей околице не мог бы с нами равняться. Вот бы дал Бог!»

Но все зависело от того, вернется ли Збышко, а тут можно было только уповать на Бога. Говорил себе Мацько, что надобно ему теперь угождать Богу и не только не гневить Его, но постараться задобрить. Потому-то и не жалел он для кшесненского костела ни воска, ни хлеба, ни дичи, а однажды, приехав вечером в Згожелицы, сказал Ягенке:

— Завтра еду в Краков поклониться гробу нашей святой королевы Ядвиги.

Та со страху даже с лавки вскочила.

— Ужель худые вести?

— Никаких вестей не было, да и быть пока не могло. А вот помнишь, как хворал я от железного осколыша в боку, — вы еще в ту пору ходили со Збышком за бобрами, — дал я обет тогда, коли Бог вернет мне здоровье, сходить ко гробу королевы. Все вы очень тогда меня одобряли. Оно и правильно! Святых у Господа Бога не занимать стать, да не всякий святой столько значит, сколько наша королева, а ее я еще потому не хочу прогневить, что речь идет о Збышке.

— Правда! Истинная правда! — воскликнула Ягенка. — Но ведь вы едва успели воротиться из таких трудных странствий...

— Ну что ж! Лучше уж сразу от всего отделаться, а потом спокойно

сидеть дома да Збышка поджидать. Коли только будет ему королева перед Богом заступницей, так с ним, при доброй-то броне, и десятку немцев не справиться... А потом я в доброй надежде примусь строить замок.

— Угомону вы не знаете!

— Ничего, я еще крепкий. Я тебе еще вот что скажу. Ясько из дому рвется, пускай съездит со мной. Человек я опытный и сумею его удержать. А случись что — руки-то у парня чешутся, — так ты знаешь, что драться мне не внове и пешему и конному, и на мечях и на секирах...

— Знаю! Никто лучше вас его не убережет.

— Только, думаю я, драться не придется; покуда жива была королева, в Кракове полным-полно было иноземных рыцарей, они наезжали на красу ее любоваться, а теперь предпочитают держать путь на Мальборк, там пузатее бочки с мальвазией.

— Да, ведь у нас новая королева. [\[114\]](#)

Мацько поморщился и махнул рукой:

— Видал я ее, и говорить-то неохота, поняла?

Помолчав, он прибавил:

— Через три-четыре недельки домой воротимся.

Так оно и случилось. Старый рыцарь заставил Яська рыцарской честью и головой Георгия Победоносца поклясться, что он не будет настаивать на том, чтобы ехать еще куда-нибудь, и они отправились в путь.

В Краков они прибыли без приключений: в стране было спокойно, онемеченные пограничные князьки и немецкие рыцари-разбойники, устрасая могущества королевства и храбрости его жителей, прекратили набеги. Побывав у гроба королевы, Мацько и Ясько через Повалу из Тачева и княжича Ямонта попали к королевскому двору. Мацько думал, что и при дворе, и у правителей все кинутся расспрашивать его про крестоносцев, как человека, который хорошо их узнал и присмотрелся к ним. Но после разговора с канцлером и краковским мечником он, к своему удивлению, убедился, что о крестоносцах они знают больше его самого. Им до мельчайших подробностей было известно все, что делалось и в самом Мальборке, и в других, даже самых отдаленных, замках. Они знали, кто где предводительствует, сколько где солдат и пушек, сколько времени требуется на сбор и что думают делать крестоносцы в случае войны. Они даже знали, какого нрава тот или иной комтур — порывист он, горяч или рассудителен, — и все записывали так тщательно, будто завтра должна была уже вспыхнуть война.

Старый рыцарь очень этому обрадовался, он понял, что в Кракове к войне готовятся с большим толком, умом и размахом, чем в Мальборке.

«Храбрости дал нам Бог, может, столько же, а может, и побольше, но уж дальновидности наверняка побольше отпустил», — говорил себе Мацько. Так оно в ту пору и было. Вскоре Мацько узнал, откуда поступают все сведения: их доставляли сами жители Пруссии, люди всех сословий, и поляки, и немцы. Орден возбудил против себя такую ненависть, что все в Пруссии, как избавленья, ждали прихода войск Ягайла.

Вспомнилось тут Мацьку, что в свое время говорил в Мальборке Зындрам из Машковиц.

«Вот это голова! Что и говорить, ума палата!» — повторял в душе старик.

Он припомнил слово в слово, что говорил тогда Зындрам, а когда юный Ясько стал расспрашивать про крестоносцев, даже позаимствовал мудрые мысли славного рыцаря.

— Сильны они, собаки, — сказал Мацько, — но как ты думаешь, не вылетит ли из седла даже самый могучий рыцарь, коли у него подрезаны подпруги и стремяна?

— Вылетит, как пить дать вылетит! — ответил юноша.

— Вот видишь! — громовым голосом воскликнул Мацько. — Я и хотел, чтоб ты это смекнул!

— А что?

— Да то, что орден и есть такой рыцарь.

И через минуту прибавил:

— Небось не всяк тебе такое скажет!

И пустился растолковывать все юному рыцарю, которому невдомек было, к чему старик клонит; однако позабыл прибавить при этом, что не он придумал это сравнение, а родилось оно от слова до слова в светлой голове Зындрама из Машковиц.

В Кракове Мацько пробыл с Яськом недолго, он бы, пожалуй, и раньше уехал, да Ясько просил остаться — уж очень хотелось юному рыцарю поглядеть и на людей, и на город, где все казалось ему волшебным сном. Но старый рыцарь очень спешил к своим пенатам, да и страда подоспела, так что не очень помогли все просьбы Яська, и к Успению путешественники были уже дома — один в Богданце, другой в Згожелицах, при сестре.

С той поры потянулась жизнь довольно однообразная, заполненная трудами по хозяйству и обычными деревенскими заботами. Урожай в Згожелицах, расположенных в низине, и особенно в Ягениных Мочидолах собрали богатый; но в Богданце по причине засушливого лета хлеб не уродился, так что немного понадобилось труда, чтобы убрать его. Вообще пахотной земли в Богданце было мало, вся земля была еще под лесом, а за время долгого отсутствия хозяев даже те клинья, которые аббат успел раскорчевать и подготовить к пахоте, пришли в запустение, так как в Богданце некому было работать. Но хоть старый рыцарь и чувствителен был ко всякой потере, однако он не принял это близко к сердцу, зная, что с деньгами нетрудно навести во всем порядок и лад — было бы только для кого трудиться и хлопотать. Но в этом-то он и сомневался, это-то и отравляло ему жизнь и труды. Правда, рук он не опускал, вставал до рассвета, ездил на пастбища, присматривал за работами в поле и в лесу, выбрал даже место для замка и готовил строевой лес; но когда после знойного дня солнце закатывалось, пламенея в золотых и багряных отблесках зари, им не раз овладевала гнетущая тоска, а вместе с ней и тревога, которых он никогда до этого не испытывал. «Я тут хлопочу, я тут тружусь в поте лица, — думал он, — а парень мой лежит, может, там где-нибудь в поле, пронзенный копьем, и волки зубами перезванивают по покойнику». При мысли об этом сердце его сжималось и от великой любви, и от великой скорби. Он прислушивался тогда напряженно, не раздастся ли конский топот, возвещая, что едет Ягенка; девушка всякий день навещалась к старому рыцарю, который притворялся при ней, будто полон надежды, а на самом деле старался ее обрести, укрепить свою страждущую душу.

А Ягенка приезжала обычно под вечер, с самострелом у седла и рогатиной для защиты в случае опасности на обратном пути. Было

совершенно невероятно, чтобы она могла неожиданно застать Збышка дома, даже сам Мацько не ждал его раньше чем через год-полтора, но, видно, надежда теплилась в душе девушки, и она приезжала не так, как прежде — нечесаная, в завязанной тесемкой рубашке, в колушке шерстью наружу, — теперь коса у нее была красиво заплетена и стан обтянут платьем из цветного серадзского сукна. Мацько выходил навстречу девушке, и первый ее вопрос был неизменно: «Ну что?» — а его ответ: «Да ничего!»; потом он вводил ее в горницу, и, сидя у огня, они беседовали про Збышка, про Литву, про крестоносцев и про войну — всякий раз начинали сначала и всякий раз говорили об одном и том же, но беседы эти никогда им не прискучивали, мало того: они никогда не могли досыта наговориться.

Так проходили месяцы. Случалось, что и Мацько наезжал в Згожелицы, но чаще Ягенка навещала Богданец. Порой, когда в окрестностях бывало беспокойно или старые медведи преследовали медведиц в охоте и могли напасть на человека, Мацько провожал девушку домой. Хорошо вооруженный, он не боялся никаких диких зверей, зная, что он для них опаснее, чем они для него. Старый рыцарь ехал тогда с Ягенкой стремя в стремя, бор грозно шумел; но они, позабыв обо всем, говорили только про Збышка: где он? Что делает? Убил ли или скоро убьет столько крестоносцев, сколько дал обет убить Данусе и ее матери, и скоро ли воротится? Ягенка задавала при этом Мацьку вопросы, которые задавала ему уже сотни раз, а он отвечал на них так внимательно и обдуманно, словно слышал их от нее в первый раз.

— Так вы говорите, — спрашивала она, — что битва в поле рыцарю не так страшна, как осада замка?

— А ты вспомни, что случилось с Вильком. От бревна, сброшенного с вала, не защитит никакая броня, а в поле, коли только рыцарь хорошо обучен, он и против десятерых устоит.

— А Збышко? Добрая ли у него броня?

— У него их несколько добрых, но лучше всех та, что захватил он в добычу у фриза, она в Милане выкована. Еще год назад она была Збышку великовата, а теперь как раз впору.

— А что, такую броню никаким оружием не возьмешь, а?

— Что сотворила рука человека, то рука человека и одолеть может. На миланскую броню есть миланский меч или английские стрелы.

— Английские стрелы? — спрашивала в тревоге Ягенка.

— Разве я тебе не говорил? Англичане — самые меткие лучники на всем свете... поистине их разве только мазуры в пуще, да у них нет таких добрых луков и стрел. Английский самострел на сто шагов пробьет самую

лучшую броню. Я видал под Вильно. Английский лучник никогда не промахнется, а есть и такие, что ястреба бьют на лету.

— Ах, негодники! Как же вы от них спасались?

— Одно только средство: сразу ударить на них! Да они, собаки, и бердышами ловко орудуют, но уж в рукопашной схватке наши их одолеют.

— Хранила вас десница Господня, сохранит теперь и Збышка.

— И я часто так говорю: «Господи Боже, раз уж Ты нас сотворил и поселил в Богданце, гляди теперь, чтобы нам не пропасть!» Да это уж дело Божье. Сказать по правде, приглядывать за целым светом и ничего не забывать — дело нешуточное, но человек сам о себе напоминает, чем может, не скупится на святую Церковь, да и голова у Бога не то, что у нас грешных.

Так они не раз беседовали, подбадривая друг друга и пробуждая друг у друга надежду в сердце. А тем временем уходили дни, недели и месяцы. Осенью у Мацька произошло столкновение со старым Вильком из Бжозовой. Между Вильками и аббатом давно шел спор из-за нови: держа в залоге Богданец, аббат раскорчевал делянку в лесу и завладел росчистью. В свое время он за эту росчисть вызвал даже обоих Вильков драться на копьях или на длинных мечах, но те не захотели выходить на поединок с духовным лицом, а в суде ничего не могли добиться. Теперь старый Вильк потребовал свою землю; но такая корысть одолела Мацька, который до земли был особенно жаден, а тут еще вспомнил, что ячмень нигде так хорошо не родится, как на нови, что он и слушать не хотел о том, чтобы уступить Вильку росчисть. Они бы непременно стали жаловаться в шляхетский суд, если бы случайно не встретились у настоятеля в Кшесне. Когда старый Вильк в конце шумной ссоры сказал вдруг: «Покуда нас люди рассудят, я положусь на Бога, который воздаст вашему роду за мою обиду», — упрямый Мацько сразу сник, побледнел, умолк на минуту, а потом вот что сказал своему сварливому соседу:

— Послушайте, не я, а аббат начал все дело. Бог его знает, кто тут прав, но коли вы хотите накликать беду на Збышка, так лучше уж берите новь, уступаю ее вам от чистого сердца, а Збышку пусть Бог пошлет здоровье и счастье.

И он протянул Вильку руку, а тот, с давних пор зная соседа, просто диву дался, он и не подозревал, что в суровом, казалось бы, сердце Мацька таится такая любовь к племяннику и такая тревога за его судьбу. Вильк долго не мог слова вымолвить, только когда кшесненский настоятель, обрадовавшись, что дело приняло такой оборот, благословил обоих, старик обрел дар речи:

— Вот это другой разговор! Не в барыше дело, — стар я, некому мне наследство оставлять, — а в справедливости. Кто со мной по-хорошему, для того я и своим готов поступиться. А племянника вашего пусть Бог благословит, чтоб не плакать вам о нем на старости лет, как я о своем единственном сыне плачу...

Они бросились друг другу в объятия, а потом долго спорили, кому же взять новь. Однако Мацько в конце концов поддался на уговоры, ведь Вильк и впрямь был один как перст и наследство ему некому было оставлять.

Мацько в душе так обрадовался, что зазвал старика в Богданец и угостил его на славу. Он тешил себя надеждой, что ячмень на нови хорошо взойдет, и доволен был, что отвратил от Збышка гнев Божий.

«Только бы воротился, а земли и достатка с него хватит!» — думал он.

Ягенка тоже была очень рада этому примирению.

— Коли захочет теперь Господь милосердный показать, что мир Ему милей раздоров, должен Он целым и невредимым воротить вам Збышка, — сказала она, выслушав, как было дело.

Лицо Мацька просветлело при этих словах, словно на него упал солнечный луч.

— И я так думаю! — воскликнул он. — Что и говорить, всемогущ Господь, но есть средство и на небесные силы, надо только умом пораскинуть...

— Хитрости вам не занимать стать, — ответила девушка, поднимая глаза.

А через минуту, словно надумавшись, прибавила:

— Ох и любите вы вашего Збышка! Ох и любите!

— Кто ж его не любит! — возразил старый рыцарь. — А ты? Так уж будто ненавидишь?

Ягенка напрямик ничего не ответила, только еще ближе придвинулась к Мацьку, сидевшему рядом на лавке, и, отворотившись, легонько толкнула старика локтем.

— Оставьте! И в чем только я перед вами провинилась!

Война крестоносцев с Витовтом за Жмудь живо занимала умы людей в королевстве, и все напряженно следили за ее ходом. Некоторые были уверены, что Ягайло придет на помощь двоюродному брату и скоро начнется великий поход против ордена. Рыцарство рвалось в бой, и во всех шляхетских усадьбах толковали о том, что многие краковские вельможи, заседающие в королевском совете, склоняются к тому, что надо начать войну, что надо раз навсегда покончить с врагом, который никогда не довольствуется своим и помышляет о захватах даже тогда, когда трепещет перед могущественным соседом. Но Мацько, человек рассудительный, бывалый и искушенный, не верил, что скоро начнется война, и не раз говорил об этом юному Яську из Згожелиц и другим соседям, которых встречал в Кшесне:

— Покуда жив магистр Конрад, ничего не будет, он умнее других и знает, что это была бы не простая война, а как бы это сказать: «Не тебе смерть, так мне!» Он знает, как могуществен король, и до войны не допустит.

— А ну как король первый объявит войну? — спрашивали соседи.

Но Мацько качал головой:

— Видите ли... Всего я насмотрелся и многое уразумел. Будь король из нашего древнего королевского рода, что правил у нас испокон христианских веков, может, он и ударил бы первый на немцев. А наш Владислав Ягайло (я не хочу умалять его достоинство, благородный он государь, дай Бог ему здоровья!), прежде чем мы выбрали его королем, был великим князем литовским и язычником. Христианство он принял недавно, и немцы брешут везде, будто душа у него все еще языческая. Не подобает ему первому объявлять войну и проливать христианскую кровь. По этой причине он и не выступает на помощь Витовту, хоть руки у него и чешутся; я-то знаю, что крестоносцы для него хуже чумы.

Такими речами Мацько снискал себе славу человека проницательного, который всякое дело растолкует тебе и разжует. По воскресеньям в Кшесне его после обедни окружала толпа народа, а потом у соседей повелось со свежими новостями отправляться в Богданец к старому рыцарю, который тут же разъяснял то, чего не могла уразуметь простая шляхетская голова. Мацько радушно принимал всех и охотно беседовал с каждым, а когда гость, наговорившись всласть, уезжал, неизменно провожал его такими

словами:

— Вы дивитесь моему уму, вот воротится, даст Бог, Збышко, тогда будете дивиться! Ему в королевском совете впору заседать, уж и башковит же, шельма, уж и хитер!

Внушая гостям эту мысль, он в конце концов внушил ее и самому себе, а заодно и Ягенке. Збышко казался им обоим прямо сказочным королевичем. Когда наступила весна, они с трудом могли усидеть дома. Прилетели ласточки, прилетели аисты, на лугах засвистели коростели, в зелених закричали перепелки, еще раньше прилетели вереницы журавлей и чирков; один Збышко не возвращался. Птицы тянули с юга, а с севера крылатый ветер приносил вести о войне. Рассказывали о битвах и многочисленных стычках, в которых ловкий Витовт то побеждал крестоносцев, то терпел поражение; рассказывали о большом уроне, который понесли немцы от зимних морозов и болезней. Наконец по всей стране прогремела радостная весть о том, что храбрый сын Кейстута взял Новое Ковно, или Готтесвердер, и разрушил его до основания, камня на камне не оставил. Когда эта весть дошла до Мацька, он вскочил на коня и во весь опор помчался в Згожелицы.

«Да! — говорил он. — Мне эти места знакомы, мы там со Збышком и Скирвойлом здорово поколотили крестоносцев. Там захватили мы достойного рыцаря де Лорша. Слава Богу, оплошала немчура, нелегкое было дело взять такой замок».

Но еще до приезда Мацька до Ягенки дошел слух о разрушении Нового Ковно, услышала она и еще одну весть: Витовт начал переговоры о мире. Эта весть потрясла ее больше первой: ведь если мир будет заключен, Збышко, если только он жив, должен вернуться домой.

Она стала спрашивать старого рыцаря, может ли это случиться, а он, подумав, ответил:

— С Витовтом все может случиться, совсем он непохож на других, и из всех христианских государей он самый хитрый. Когда ему нужно расширить свою власть в сторону Руси, он заключает с немцами мир, а достигнет цели, опять немцев бьет! Не могут они справиться ни с ним, ни с несчастной Жмудью. То он ее отнимает у них, то назад отдает, и не только отдает, но и сам помогает притеснять жмудинов. И у нас, да и в Литве осуждают Витовта за то, что это несчастное племя стало игрищем в его руках. Сказать по правде, не будь это Витовт, и я бы почел это позором. А так нет-нет да и подумаю: «А может, он мудрее меня и знает, что делает?» Я от самого Скирвойла слышал, что Витовт из Жмуди сделал язву, которая вечно гноится на теле ордена, чтобы никогда не вернулось к нему

здоровье... Матери в Жмуди всегда будут рожать, а крови не жалко, лишь бы не лилась она напрасно.

— Я одно только хочу знать — воротится ли Збышко.

— На все воля Божья, но дай Бог, чтобы в добрый час ты молвила, девушка!

Миновало еще несколько месяцев. Пришли вести, что мир и впрямь заключен; зазолотились отягченные колосьями хлеба, побурела уж гречиха на нивках, а о Збышке не было ни слуху ни духу.

Вот и жатва началась; немоготу стало Мацьку, и объявил он, что едет в Спыхов, — оттуда, мол, поближе к Литве, можно новости узнать и заодно поглядеть, как хозяйничает чех.

Ягенка собралась было с ним, но старик не согласился взять ее, и целую неделю они из-за этого спорили. Однажды вечером в Згожелицах, когда у них снова разгорелся спор, во двор усадьбы ураганом влетел на коне мальчишка из Богданца: босой, без шапки на русой голове, охлябь, он подскакал к крылечку, где Мацько сидел в это время с Ягенкой, и крикнул:

— Молодой пан воротился!

Збышко и впрямь вернулся, но какой-то странный: не только исхудалый, обожженный ветром полей, осунувшийся, но и безучастный и молчаливый. Чех, который сопровождал со своей женой Збышка из Спыхова, говорил и за него, и за себя. Он рассказывал, что поход был, видно, удачен, потому что в Спыхове молодой рыцарь возложил на гроб Дануси и ее матери целый пук павлиньих и страусовых рыцарских султанов. Вернулся он с богатой добычей — с конями и доспехами, причем двум броням цены не было, хотя в битве они страшно были иссечены мечом и секирой. Мацько сгорал от любопытства, ему хотелось услышать все подробности из уст племянника, но тот только махал рукой и отделялся полусловами, а на третий день захворал и слег. Оказалось, что у него помят левый бок и сломаны два ребра, которые сместились и мешали ему ходить и дышать. Дал себя знать и старый случай с туром, а дорога из Спыхова домой вконец подорвала силы Збышка. Все это не было опасно — Збышко был молод и крепок, как дуб, но им овладела вдруг страшная усталость, словно только сейчас сказались сразу все перенесенные им невзгоды. Мацько сперва думал, что за два-три дня парень отлежится и встанет. Но не помогли ни мази, ни окуривание травами, которые присоветовал местный овчар, ни отвары, которые присылали Ягенка и кшесненский ксендз; Збышко все слабел, все хирел и грустил.

— Что с тобой? Может, тебе чего хочется? — допытывался у него

старый рыцарь.

— Ничего я не хочу, и ничего мне не надо, — отвечал Збышко.

Так проходил день за днем. Ягенке пришло на ум, что, может, это у Збышка не простая хворь, а что-нибудь похуже, может, молодого рыцаря гнетет какая-то тайна, и она стала уговаривать Мацьку попытаться еще раз вывести у Збышка, что бы это могло быть.

Мацько согласился без колебаний, однако, подумав, сказал:

— А может, он скорее тебе откроется. Что ты ему по душе, об этом и говорить нечего, но я и другое приметил: когда ты по горнице ходишь, он с тебя глаз не сводит.

— Вы заметили? — спросила Ягенка.

— Коли сказал, что не сводит, значит, не сводит. А когда тебя долго нет, он все на дверь поглядывает. Спроси-ка лучше ты.

На том и порешили. Но тут оказалось, что Ягенка не знает, как к Збышку приступить, робеет. Пораздумав, она поняла, что ей надо говорить про Данусю, про любовь Збышка к покойной, а говорить про это ей было невмочь.

— Вы похитрей меня, — сказала она Мацьку, — у вас и ума, и опыта побольше, вот и поговорите с ним, а я не могу.

Волей-неволей пришлось Мацьку взяться за дело. Как-то утром, когда Збышко показался ему как будто пободрей, старик затеял с ним такой разговор:

— Говорил мне Глава, что ты в Спыхове возложил на гробницы целый пук павлиньих чубов.

Лежа на спине, Збышко глядел в потолок; не повертывая головы, он утвердительно кивнул.

— Что ж, сподобил Господь, ведь и на войне не на рыцаря, а на солдата легче наткнуться... Кнехтов можно перебить пропасть, а рыцаря еще надо поискать... Неужто они сами лезли тебе под меч?

— Многих рыцарей я вызвал на бой на утоптанной земле, а один раз они в битве меня окружили, — лениво ответил Збышко.

— И добычу ты привез богатую...

— Много даров князя Витовта.

— Он по-прежнему щедр?

Збышко снова кивнул головой, не имея, видно, охоты продолжать разговор.

Но Мацько не счел себя побежденным и решил приступить к делу.

— Скажи мне всю правду, — начал он, — когда ты покрыл чубами гробницу Дануси, у тебя, верно, стало легче на душе?.. Это ведь всегда

большая радость — выполнить обет... Ты был рад, а?

Збышко оторвал свои грустные глаза от потолка и, устремив взор на Мацька, ответил как бы с удивлением:

— Нет.

— Нет? Побойся Бога! А я-то думал, что, когда ты порадуешь души Дануськи и ее матери на небесах, так уж всему будет конец.

Молодой рыцарь смежил на минуту глаза, словно задумавшись, и наконец сказал:

— Ни к чему, должно быть, спасенным душам людская кровь.

На минуту воцарилось молчание.

— Так зачем же ты ходил на войну? — спросил наконец Мацько.

— Зачем? — с некоторым оживлением переспросил Збышко. — Да я сам думал, что мне станет легче, я сам думал, что и Дануську утешу, и себя... А потом мне даже чудно стало. Выхожу я из склепа, а тяжело мне, как и прежде. Ни к чему, видно, спасенным душам людская кровь.

— Тебе это, верно, кто-нибудь сказал, сам бы ты не додумался.

— Нет, сам я уразумел из того, что не стало мне веселее. Ксендз Калёб сказал мне только, что это правда.

— Убить врага на войне вовсе не грех, напротив, это даже похвально, а крестоносцы — враги нашего племени.

— А я и не почитаю это за грех и крестоносцев не жалею.

— Все о Дануське тоскуешь?

— Всякий раз, как вспомню ее, затоскую. Но на все воля Божья! Лучше ей в небесных чертогах, и я уже привык.

— Так почему ж ты не стряхнешь с себя печаль? Чего тебе надобно?

— Откуда мне знать...

— Ты хорошо отдыхаешь, хворь твоя скоро пройдет. Сходи в баню, попарься, чару меду выпей, чтобы пропотеть, — и гопля!

— И что же тогда?

— Сразу повеселеешь.

— С чего мне веселеть-то? Нет в моем сердце веселости, а занять — так ведь никто не займет.

— Ты что-то скрываешь!

Збышко пожал плечами:

— Невесел я, но скрывать мне нечего.

Он сказал это так искренне, что у Мацька сразу рассеялись всякие сомнения; как всегда в минуту глубокого раздумья, он широкой рукой стал поглаживать свою седую чуприну и наконец проговорил:

— Тогда я скажу, чего тебе не хватает: одно у тебя кончилось, а другое

еще не началось: понял?

— Не очень, но, может, и понял! — ответил молодой рыцарь.

И потянулся так, словно его стало клонить ко сну.

Мацько был уверен, что отгадал истинную причину его печали, он очень обрадовался и совсем перестал беспокоиться. Еще больше уверовал старый рыцарь в свой ум; в душе он говорил себе: «Что же удивительного, что люди со мной советуются?»

А когда после этого разговора в тот же день приехала вечером Ягенка, старик и с коня не дал ей сойти, тут же сказал, что знает, чего не хватает Збышку.

Девушка в один миг соскользнула с седла и стала допытываться:

— Чего же? Ну же, говорите!

— У тебя для него есть лекарство.

— У меня? Какое?

Он обнял ее стан и стал ей что-то нашептывать на ухо, но через минуту она отскочила от него, словно кипятком ошпаренная, и, спрятав пылающее лицо между чепраком и высоким седлом, крикнула:

— Уходите! Не терплю я вас!

— Ей-ей, правда! — смеясь, сказал Мацко.

Отгадать Мацько отгадал, да только наполовину. Старая жизнь и впрямь кончилась для Збышка совсем. Жаль было ему Дануськи, когда вспоминал он ее; но сам он сказал, что, верно, лучше ей в небесных чертогах, чем было в княжеских. Он уже сжился с мыслью, что ее нет на свете, привык к этому и думал, что иначе и быть не могло. В свое время в Кракове он восторгался цветными изображениями святых дев на окнах костелов; вырезанные из стекла и оправленные в свинец, они светились на солнце; теперь такой представлялась ему и Дануся. Он видел ее неземной, прозрачной, она стояла боком к нему, сложив ручки на груди и подняв к небу глаза, или играла на своей маленькой лютне среди всяких спасенных Божьих музыкантов, которые на небесах играют на своих скрипочках Божьей Матери и младенцу. В ней не было уже ничего земного, и для него она стала таким чистым и бесплотным духом, что когда он вспоминал иногда, как в охотничьем доме она прислуживала княгине, смеялась, разговаривала, садилась с другими за стол, то начинал сомневаться, было ли все это на самом деле. Уже в походе под знаменами Витовта, когда боевые дела и сражения поглощали все его внимание, он перестал тосковать по своей покойнице, как тоскует муж по жене, и думал о ней так, как человек благочестивый думает о своей покровительнице. Так любовь его, утрачивая постепенно земные черты, все больше и больше обращалась в сладостное, лазурное, словно небеса, воспоминание, просто в предмет поклонения.

Если бы он телом был хил и обладал глубоким умом, то пошел бы в монахи и в тихой монастырской жизни, как святыню, сохранил бы это небесное воспоминание до той поры, когда душа его, освободившись от плотских уз, улетела бы в бесконечные просторы, как птица из клетки улетает на волю. Но ему едва минуло двадцать лет, он мог еще выжать рукой сок из свежей ветви и задушить коня, стиснув его ногами. Он был таким, какими бывали в те времена шляхтичи, которые если не умирали в детстве и не становились священниками, то, не зная никаких границ и никакой меры в удовлетворении плотских вожделений, либо предавались разбою, разврату и пьянству, либо женились молодыми и впоследствии, по королевскому указу о созыве ополчения, шли на войну с двадцатью четырьмя, а то и больше, сыновьями, сильными, как вепри.

Но Збышко не знал, что и сам он таков, тем более что на первых порах

хворал. Однако его сместившиеся ребра постепенно срослись, остался лишь небольшой бугорок на боку, который не мешал Збышку и был незаметен не только под панцирем, но и под обычной одеждой. Слабость проходила. Густые русые волосы, остриженные в знак траура по Данусе, отросли и снова ниспадали на плечи. Возвращалась и неописанная его красота. Когда несколько лет назад он шел, чтобы принять смерть от руки палача, то похож был на знатного юношу, а теперь стал еще краше, — сущий королевич, плечи, грудь, ноги и руки как у великана, а лицом красная девица. Он весь кипел силой и жизнью; от целомудрия и долгого отдыха огонь разливался у него по жилам. Не понимая, что с ним творится, он думал, что все хворает, и вылеживался в постели, довольный, что Мацько и Ягенка присматривают и ухаживают за ним и во всем ему угождают. По временам он чувствовал, что ему хорошо, как на небе, по временам же, особенно когда рядом не было Ягенки, ему было невыносимо плохо и грустно. Тогда он зевал, томился, метался в жару и объявлял Мацьку, что после выздоровления снова отправится хоть на край света — на немцев ли, на татар или иных дикарей, лишь бы только сложить свою голову, потому что жизнь страшно его тяготит. Мацько, вместо того чтобы возражать, только кивал головой и поддакивал, а тем временем посылал за Ягенкой, после приезда которой мысли Збышка о новых военных походах пропадали, как пригретый солнцем вешний снег.

Ягенка приезжала с готовностью и по зову, и по своей охоте, потому что полюбила Збышка всем сердцем. В Плоцке при епископском и княжеском дворах ей привелось видеть таких же красивых рыцарей, которые также прославились своей отвагой и силой, многие из них преклоняли перед нею колени и клялись ей в верности до гроба, но он был ее избранником, его полюбила она первой любовью на заре своей жизни, а от несчастий, которые он пережил, ее любовь только окрепла, и он стал милее и стократ дороже ей не только всех рыцарей, но и всех князей земли. Теперь, когда он выздоравливал и с каждым днем становился все краше, любовь ее обратилась в страсть и заслонила от нее весь мир.

Однако даже самой себе не признавалась она в этом и таилась со своей любовью от Збышка, боясь, что он опять пренебрежет ею. Даже с Мацьком, которому раньше она поверяла все свои тайны, Ягенка была теперь осторожна и молчалива. Ее могла выдать только заботливость, с какой ухаживала она за Збышком, но и этой заботливости она старалась дать другое объяснение и с этой целью вот что однажды лукаво сказала ему:

— Коли и гляжу я за тобой немножко, так только из приязни к Мацьку, а ты небось уже бог весть что подумал? Скажи-ка?

И, как будто поправляя волосы на лбу, она закрылась рукой и сквозь пальцы пристально поглядела на Збышка, а он, захваченный врасплох неожиданным вопросом, вспыхнул, как красная девица, и не сразу ответил ей:

— Я ничего не думал. Ты теперь другая.

На минуту снова воцарилось молчание.

— Другая? — переспросила наконец девушка тихим и мягким голосом. — Да, пожалуй, другая. Но разве я, избави Бог, совсем уж не люблю тебя?

— Спасибо и на том, — ответил Збышко.

С тех пор им было хорошо вместе, но как-то не по себе, непривычно. Порой могло показаться, что они говорят об одном, а думают совсем про другое. Часто они надолго умолкали. Вылеживаясь в постели, Збышко, как говорил Мацько, следил за девушкой глазами, куда бы она ни пошла; порой она казалась ему такой красавицей, что он не мог на нее налюбоваться. Случалось им неожиданно встретиться глазами — тогда они краснели, и высокая грудь девушки волновалась, а сердце билось словно в ожидании, что вот-вот услышит она нечто такое, от чего замлеет, растает ее душа. Но Збышко молчал, он утратил всю свою прежнюю смелость, боялся спугнуть девушку неосторожным словом и вопреки тому, что видели его глаза, убеждал себя, что она из дружбы к Мацьку выказывает ему только сестринскую любовь.

Однажды Збышко заговорил об этом с Мацьком. Он старался говорить спокойно, даже безразлично, но сам не заметил, как его речи все больше стали походить на полугорькую-полугрустную жалобу. Мацько терпеливо его выслушал, а в конце сказал одно только слово:

— Дурень!

И вышел вон.

Но во дворе он от большой радости стал потирать руки и хлопать себя по бедрам.

«Вот, — говорил он сам с собою, — когда она задаром могла тебе достаться, так ты и смотреть на нее не хотел, натерпись-ка теперь страху, коли ты глуп. Я тебе буду замок ставить, а ты пока облизывайся. Ничего я тебе не скажу и глаз тебе не открою, хоть ржать будешь громче всех жеребцов в Богданце. Коли щепки лежат на жару, пламя рано или поздно вспыхнет, но я-то не стану дуть на жар, думаю, нет в этом надобности».

И он не только не раздувал огня, но даже досаждал Збышку и дразнил его, как старый лукавец, который любит потешиться над неопытным юнцом. И вот однажды, когда Збышко опять повторил, что отправится,

наверно, в какой-нибудь далекий поход, потому что жизнь ему опостылела, Мацько сказал:

— Покуда у тебя голо было под носом, я тобой руководил, а теперь — воля твоя! Хочешь только своим умом жить — ну что ж, иди.

Збышко от удивления даже сел на постели.

— Как? Так вы уж и этому не противитесь?

— Чего же мне противиться? Жаль только рода, который может вымереть с тобой, но и против этого найдется средство.

— Какое средство? — в тревоге спросил Збышко.

— Какое? Что и говорить, года мои немалые, но все-таки я еще крепкий. Оно конечно, Ягенке хотелось бы парня помоложе, но я был дружен с ее отцом, и как знать...

— Вы были дружны с ее отцом, но мне вы никогда не желали добра, никогда, никогда!..

У Збышка задрожал подбородок, и он смолк, а Мацько сказал:

— Коли ты непременно хочешь идти на смерть, что же мне остается делать?

— Ладно! Делайте что хотите, а я еще сегодня уеду куда глаза глядят!

— Дурень! — повторил Мацько.

И вышел вон присмотреть за богданецкими людьми, да и теми, которых прислала Ягенка из Згожелиц и Мочидолов, чтобы помочь обнести рвом будущий замок.

Угрозы своей Збышко, разумеется, не привел в исполнение и никуда не уехал, а здоровье его через неделю настолько поправилось, что он не мог уже больше валяться в постели. Мацько сказал, что теперь им следует съездить в Згожелицы и поблагодарить Ягенку за заботы. Однажды, хорошенько попарившись в бане, Збышко решил ехать немедленно. Он велел достать из сундука нарядное платье, чтобы сменить свою будничную одежду, а затем занялся завивкой волос. Дело это было нелегкое и нешуточное, потому что волосы у Збышка были очень густые и сзади, как грива, спускались пониже лопаток. В повседневной жизни рыцари убрали волосы в сетку, которая смахивала на гриб и во время походов была очень удобна, так как шлем не так сильно жал голову; но, отправляясь на всякие торжества, на свадьбы или в гости в такие семейства, где были девушки, рыцари завивали волосы красивыми локонами и для крепости завивки и придания блеска волосам смазывали их обычно белком. Именно так и хотел причесаться Збышко. Но две бабы, которых кликнули из людской, не были приучены к такой работе и не могли справиться с его гривой. Просохшие после бани и взлохмаченные волосы никак не укладывались в локоны и торчали на голове, словно ворохи плохо уложенной соломы на стрехе халупы. Не помогли ни захваченные у фризов красиво отделанные гребни из буйволового рога, ни даже скребница, за которой одна из баб сходила на конюшню. Збышко уже стал терять терпение и сердиться, когда в горницу вошли вдруг Мацько и Ягенка, которая неожиданно приехала к ним.

— Слава Иисусу Христу! — поздоровалась девушка.

— Во веки веков! — ответил, просияв, Збышко. — Вот и отлично! Мы собирались в Згожелицы ехать, а ты сама тут как тут!

И глаза его заблестели от радости. Всякий раз, когда Збышко видел ее, на душе у него становилось так светло, словно он видел восходящее солнце.

А Ягенка, взглянув на растерянных баб с гребнями в руках, на лежавшую на скамье подле Збышка скребницу и на его растрепанную чуприну, залилась смехом.

— Ну и вихры, вот так вихры! — воскликнула она, и из-за ее коралловых губ блеснули чудные белые зубы. — Да тебя можно в коноплянике или вишеннике выставить птиц пугать!

Збышко насупился.

— Мы собирались в Згожелицы ехать, — сказал он, — небось в Згожелицах тебе неловко было бы обижать гостя, а здесь можешь издеваться надо мной, сколько тебе угодно, что, впрочем, ты всегда охотно делаешь.

— Охотно делаю! — воскликнула девушка. — Всемогуций Боже! Да ведь я приехала позвать вас на ужин и не над тобой смеюсь, а над этим бабами. Небось я бы мигом справилась.

— И ты бы не справилась!

— А Яська кто причесывает?

— Ясько твой брат, — ответил Збышко.

— Это верно...

Но тут старый и искушенный Мацько решил прийти им на помощь.

— В шляхетских домах, — сказал он, — обстригут мальчику по седьмому году волосы, а потом, как они отрастут у него, их ему сестра завивает, а в зрелую пору это жена делает. Но есть такой обычай, что коли у рыцаря нет ни сестры, ни жены, то ему служат шляхетские девушки, даже вовсе чужие.

— Неужели есть такой обычай? — спросила, потупясь, Ягенка.

— И не только в шляхетских домах, но и в замках, — да что там! — даже при королевском дворе, — ответил Мацько.

Затем он обратился к бабам:

— Ни на что вы не годитесь, ступайте-ка в людскую!

— Пусть они принесут мне горячей воды, — прибавила девушка.

Мацько вышел с бабами, будто бы для того, чтобы поторопить их, и через минуту прислал горячей воды, после чего молодые люди остались одни. Намочив полотенце, Ягенка стала обильно смачивать Збышку волосы, и когда вихры перестали торчать и влажные волосы упали на плечи, взяла гребень и села рядом с молодым рыцарем, чтобы продолжить работу.

Так сидели они друг подле друга, млея любовью, оба чудно прекрасные, но смущенные и безмолвные. Наконец Ягенка стала укладывать его золотистые волосы, а он затрепетал, почувствовав близость ее поднятых рук, и лишь усилием воли сдержался, чтобы не схватить ее в объятия и не прижать крепко к груди.

В тишине слышалось только жаркое их дыхание.

— Ты не болен? — спросила вдруг девушка. — Что с тобой?

— Ничего! — ответил молодой рыцарь.

— Ты так дышишь.

— И ты...

И они снова умолкли. Щеки у Ягенки расцвели, как розы, она почувствовала, что Збышко глаз с нее не сводит, и, чтобы скрыть свое смущение, снова спросила:

— Что ты так смотришь?

— Тебе неприятно?

— Нет, я только спрашиваю.

— Ягенка?

— Что?..

Збышко глубоко вздохнул, пошевелил губами, словно собираясь начать долгий разговор, но, видно, ему не хватило мужества, и он снова повторил:

— Ягенка?

— Что?

.....

— Я боюсь сказать тебе...

— Не бойся. Я простая девушка, не дракон.

— Ясное дело, не дракон! Вот дядя Мацько говорит, будто хочет брать тебя!..

— Хочет, да не за себя.

И она умолкла, словно испугавшись собственных слов.

— Господи Боже! Ягуся, милая... А что же ты, Ягуся? — воскликнул Збышко.

Ее глаза неожиданно наполнились слезами, красивые губы дрогнули, а голос стал таким тихим, что Збышко едва ее расслышал:

— Батюшка и аббат хотели... а я — ты... ты знаешь!..

Радость, как пламя, охватила вдруг при этих словах его сердце, он схватил девушку на руки, поднял ее вверх, словно перышко, и закричал в упоении:

— Ягуся! Ягуся! Золото ты мое! Солнышко мое!..

Он кричал так, что старый Мацько подумал, не стряслось ли что-нибудь, и вбежал в горницу. Увидев Ягенку на руках Збышка, он изумился, что все случилось так неожиданно скоро, и воскликнул:

— Во имя Отца и Сына! Опомнись, парень!

А Збышко подбежал к нему, опустил Ягенку на землю, и оба они хотели повалиться старику в ноги; но не успели они это сделать, как Мацько обнял их своими жилистыми руками и крепко прижал к груди.

— Слава Богу! — сказал он. — Знал я, что этим дело кончится, а все-таки какая радость! Благослови вас Бог! Легче будет помирать... Золото — не девка... И для Бога, и для людей! Верно говорю! А теперь, коли дождался я такой радости, будь что будет! Бог послал испытания, но Бог и

утешил. Надо ехать в Згожелицы, Яську сказать... Эх, если бы жив был старый Зых!.. И аббат... Но я вам их обоих заменю, ведь, сказать по совести, так я вас обоих люблю, что и говорить-то стыдно...

И хотя в груди его билось твердое сердце, он так растрогался, что ком подкатил у него к горлу; он еще раз поцеловал Збышка, затем в обе щеки Ягенку и, пробормотав сквозь слезы: «Не девка — мед!» — отправился на конюшню, чтобы приказать седлать коней.

Выйдя во двор, он от радости зашагал прямо по цветам царского скипетра, которые росли перед домом, и, как пьяный, устоялся на их темные венчики, окаймленные желтыми лепестками.

— Ну вот, целая куча вас тут, — сказал он, — но Градов Богданецких, даст Бог, побольше будет.

И, направляясь к конюшням, стал под нос себе пересчитывать:

— Богданец, владения аббата, Спыхов, Мочидолы... Бог всегда знает, к чему ведет, а пробьет час старого Вилька, так стоит купить и Бжозовую... Отличные луга!..

Тем временем Ягенка и Збышко тоже вышли во двор, радостные, счастливые, сияющие, как солнце.

— Дядя! — позвал издали Збышко.

Мацько обернулся к ним, раскрыл объятия и начал кричать, как в лесу:

— Эй! Эй! Сю-да!..

Они жили в Мочидолах, а старый Мацько в Богданце возводил для них замок. Он усердно трудился, потому что фундамент хотел вывести из камня на известке, а сторожевую башню поставить из кирпича, который нелегко было добыть в округе. В первый год он вырыл рвы, что не составило особого труда: холм, на котором должен был выситься замок, был когда-то, быть может, еще в языческие времена, обнесен рвами, так что пришлось только расчистить эти старые рвы, выкорчевать деревья и шиповник, которыми они поросли, а затем углубить их и укрепить. При углублении докопались до родника, который забил с такой силой, что в короткое время все рвы наполнились водой, и Мацьку пришлось подумать о том, как отвести ее. После этого старый рыцарь возвел на валу острог и стал готовить лес для стен замка: дубовые балки толщиной в три обхвата и лиственничные, не гниющие ни под глиняной обмазкой, ни под дерновым покрытием. Несмотря на постоянную помощь згожелицких и мочидольских мужиков, возводить стены Мацько начал только через год, но работал с усердием, потому что Ягенка незадолго до этого разрешилась от бремени близнецами. Словно свет увидел старый рыцарь, было теперь для кого хлопотать и трудиться, знал он теперь, что не угаснет род Градов и Тупая Подкова не раз еще обогрится вражеской кровью.

Близнецов называли Мацьком и Яськом.

— Парни — загляденье, — говорил старик, — таких во всем королевстве днем с огнем не найдешь.

Он сразу без памяти их полюбил, а в Ягенке души не чаял. Кто только хвалил ее при нем, мог от него чего угодно добиться. Все искренне завидовали Збышку и прославляли Ягенку не из корысти, а потому, что она и впрямь была гордостью всей округи, прекрасная, словно самый роскошный цветок на лугу. Мужу она принесла большое приданое и нечто еще большее — большую любовь, красу, которой ослепляла людей, и такой закал, что им мог бы похвалиться не один рыцарь. Ей ничего не стоило через несколько дней после родов встать с постели и заняться хозяйством, а потом поехать с мужем на охоту или рано утром поскакать верхом из Мочидолов в Богданец, а к обеду вернуться к Мацьку и Яську. Муж любил ее и берег как зеницу ока, любил старый Мацько, любили слуги, с которыми она обходилась по-людски, а когда по воскресеньям она входила в кшесненский костел, ее встречал шепот удивления и восторга. Прежний

ее поклонник, грозный Чтан из Рогова, женатый на крестьянской дочери, любил после обедни выпить в корчме со старым Вильком из Бжозовой; подгулявши, он говаривал старику:

— Мы с вашим сыном не раз из-за нее друг дружку калечили, жениться на ней хотели; но это было все едино, что месяц с неба достать.

Иные заявляли во всеуслышание, что такую встретишь разве только в Кракове при королевском дворе. Кроме богатства, красоты и осанки, ее почитали за здоровье и силу. Тут все были единодушны. «Вот это баба! — говорили люди. — Да она в лесу медведя подопрет рогатиной, и орехи грызть ей незачем: разложит на лавке да присядет, небось расплющатся, как под мельничным жерновом!» Так нахваливали ее и в приходе в Кшесне, и в соседних деревнях, и даже в воеводском Серадзе. Однако, завидуя Збышку из Богданца, никто особенно не дивился, что ему досталась такая жена, он и сам был окружен сиянием славы, какой не добился никто во всей округе.

Молодые шляхтичи рассказывали друг другу целые легенды про немцев, которых Збышко «нащелкал» в битвах под предводительством Витовта и в поединках на утоптанной земле. Говорили, что из его рук не ушел ни один крестоносец, что в Мальборке он сбил с коня двенадцать рыцарей, в том числе брата магистра, Ульриха, что, наконец, он мог выйти на состязание даже с краковскими рыцарями, и сам непобедимый Завиша Чарный был его закадычным другом.

Некоторые не хотели верить этим необыкновенным легендам; но и они, когда речь заходила о том, кого выбрать из округи, если польским рыцарям придется сразиться с другими, говорили: «Кого же, как не Збышка», — и только потом называли волосатого Чтана из Рогова и других местных силачей, которым по части рыцарской выучки было далеко до молодого владельца Богданца.

Богатый и славный Збышко снискал всеобщее уважение. Взятые за Ягенкой Мочидолы и крупные владения аббата не шли в счет, Збышко и до этого владел уже Спыховом с его неисчислимыми богатствами, накопленными Юрандом; люди к тому же шепотком передавали, что одна только военная добыча, захваченная рыцарями из Богданца, — доспехи, кони, одежда и драгоценности, — стоит трех-четырех добрых деревень.

В этом усматривали особую милость Бога к роду Градов, герба Тупая Подкова, который так было захирел, что ничего у него не осталось, кроме одного голого Богданца, а теперь поднялся выше всех других родов в округе. «В Богданце после пожара один покосившийся домишко остался, — толковали старики, — из-за недостатка работников хозяевам

пришлось всю деревню родичам заложить, а теперь вон замок возводят». Все диву давались, но чувствовали, что и весь народ так же стремительно идет по пути к невиданному богатству и что, по воле Бога, таким и должен быть порядок вещей, так что в удивлении этом не было злобной зависти. Напротив, вся округа гордилась и похвалялась рыцарями из Богданца. Они являли как бы наглядный пример того, чего может достичь шляхтич, если у него крепкая рука и отважное сердце и если им владеет жажда рыцарских приключений. Не один шляхтич, глядя на рыцарей из Богданца, чувствовал, что ему тесно дома, на своей стороне, что за рубежом в руках врагов неисчислимые богатства и обширные земли, которые можно захватить с большой пользой для себя и для королевства. И от этого избытка сил, который ощущали шляхетские роды, кипело все общество, подобно сосуду, из которого вот-вот вырвется кипящая струя. Мудрые краковские советники и миролюбивый король могли до поры до времени сдерживать эти силы и на долгие годы откладывать войну с извечным врагом; но никто в мире не в состоянии был ни подавить их совсем, ни сдержать стремление народного духа вперед, на пути к величию.

Мацько дожил до счастливых дней. Не раз говорил он соседям, что получил больше, чем ожидал. Даже старость только убелила его сединами, но не отняла ни сил, ни здоровья. И сердце его преисполнилось таким весельем, какого он никогда еще не испытывал. Его суровое когда-то лицо становилось все добродушнее, а глаза улыбались людям приветливой улыбкой. В душе он был уверен, что все зло кончилось навсегда и что никакая забота, никакое несчастье не омрачат уже дней его жизни, текущих спокойно, как прозрачный ручей. Воевать до старости, а на старости хозяйничать и умножать для внучат достояние — это во все времена было его заветное желание, и вот оно исполнилось. В хозяйстве все шло как по маслу. Леса Мацько повырубил и расчистил; на нови каждую весну зеленели всякие хлеба; росло богатство; на лугах выгуливали сорок кобылиц с жеребятами, которых старый шляхтич осматривал каждый божий день; стада овец и коров паслись по перелескам и перелогам; Богданец совсем переменялся: заброшенная усадьба стала людной и зажиточной деревней; взор путника издали поражали сторожевая башня и стены замка, которые не успели еще потемнеть и отливали золотом на солнце и багрянцем в сиянии вечерней зари.

Старый Мацько радовался в душе достаткам, хозяйству, счастливой доле и не спорил, когда люди говорили, что у него легкая рука. Через год после близнецов появился на свет мальчик, которого Ягенька в честь отца и в память о нем назвала Зыхом. Мацько принял его с радостью и нимало не смутился, что если так пойдет дальше, то раздробится богатство, накопленное ценою таких трудов и стараний.

— Что у нас было? — говорил он однажды по этому поводу Збышку. — Ничего! А вот Бог и послал нам. У старика Пакоша из Судиславиц, — говорил он, — одна деревня да двадцать два сына, а не мрут же они с голоду. Мало ли земель в королевстве и на Литве? Мало ли деревень и замков в руках этих псов крестоносцев? Эх! А ну как сподобит Господь! Неплохой был бы дом, замки-то у них из красного кирпича, и наш милостивейший король сделал бы их каштелянствами.

Примечательно, что орден был на вершине своего могущества, богатством, силой, численностью обученных войск превзошел все западные королевства, а старый рыцарь думал о замках крестоносцев как о будущем жилище своих внуков. Верно, многие думали так в королевстве

Ягайла не только потому, что это были древние польские земли, захваченные орденом, но и потому, что народ признавал свою могучую силу, которая кипела в его груди и искала себе выхода.

Замок был достроен лишь на четвертом году женитьбы Збышка, да и то с помощью не только местных, згожелицких и мочидольских, мужиков, но и соседей, особенно старого Вилька из Бжозовой, который, оставшись после смерти сына совсем одиноким, очень подружился с Мацьком, а потом полюбил и Збышка с Ягенкой.

Покои замка Мацько украсил всем, что захватили они со Збышком в добычу на войне или получили в наследство от Юранда из Спыхова, прибавив утварь, оставшуюся после аббата и привезенную Ягенкой из дому; из Серадза старик привез стеклянные окна, и дом получился великолепный. Однако Збышко переселился в замок с женой и детьми только на пятый год, когда были окончены и другие постройки — конюшни, скотные сараи, кухни и бани, а вместе с ними и подвалы, которые старик строил из камня на известке, чтобы они стояли века. Но сам Мацько в замок не перебрался: он остался жить в старом доме и на все просьбы Збышка и Ягенки отвечал отказом.

— Помру уж там, где родился, — толковал им старик. — Во время войны Гжималитов с Наленчами Богданец наш сожгли дотла — сгорели все постройки, все хаты, даже все изгороди, один этот домина остался. Толковал народ, будто оттого он не сгорел, что крыша вся мохом поросла; но я думаю, что была в этом милость и воля Всевышнего, хотел он, чтобы мы воротились сюда и чтобы снова поднялся здесь наш род. Пока мы воевали, я часто горевал, что некуда нам воротиться; но не совсем я был прав, хозяйничать нам и впрямь было не на чем и есть было нечего, но было где голову приклонить. Вы молоды, с вами дело другое; но я так думаю, что коли дал нам приют этот старый дом, то и мне не пристало оставлять его в небрежении.

И он остался. Однако он любил приходить в замок полюбоваться его великолепием и пышностью, сравнить его со старым гнездом и заодно поглядеть на Збышка, Ягенку и внучат. Все, что он видел, было по большей части делом его рук и все же наполняло его гордостью и удивлением. Иногда к нему приезжал старый Вильк «покалякать» у огня, а то Мацько навещал его с той же целью в Бжозовой; однажды старый рыцарь и выложил ему свои мысли о «новых порядках»:

— Мне, знаете, иногда даже чудно. Все знают, что Збышко бывал в королевском замке в Кракове, — ему ведь только чуть голову не срубили! — и в Мазовии, и в Мальборке, и у князя Януша, Ягенка тоже в

достатке выросла, но замка своего у них все-таки не было... А теперь они так живут, будто иначе никогда и не жили... Похаживают себе да похаживают по покоям да все слугам приказывают, а устанут, так сядут, посидят. Прямо тебе каштелян с каштеляншей! Есть у них горница, где они обедают с солтысами^[115], приказчиками и челядью, так и лавки там для нее и для него повыше, прочие ниже сидят и ждут, покуда пан и пани себе на блюдо положат. Таков уж придворный обычай, а мне всякий раз приходится напоминать себе, что это не какие-нибудь важные паны, а мой племянник с женой, которые меня, старика, в руку чмокают, на первое место сажают и называют своим благодетелем.

— За это Господь Бог и ниспослал им Свое благословение, — заметил старый Вильк.

Затем, грустно покачав головой, он прихлебнул меда, пошевелил железной кочергой головни в печке и сказал:

— А вот мой парень погиб!

— Воля Божья.

— Это верно! Старшие сыны — пятеро их у меня было — полегли задолго до него. Да вы сами знаете. Что и говорить, воля Божья. Но этот был самый крепкий. Настоящий Вильк, и когда бы не погиб он, так, может, сегодня тоже жил бы в собственном замке.

— Уж лучше бы Чтан погиб.

— Что там Чтан! Он взваливает себе на спину мельничные жернова, а сколько раз мой трепал его! У моего была рыцарская выучка, а Чтана жена теперь по роже хлещет; он хоть и силач, а дурак.

— Да, никудышный! — подтвердил Мацько.

И, воспользовавшись случаем, стал превозносить до небес не только рыцарское искусство Збышка, но и его ум: он, мол, в Мальборке состязался с первейшими рыцарями, а «с князьями говорить для него все едино, что орехи щелкать». Старик хвалил Збышка и за рассудительность, и за хозяйственность, без чего замок поглотил бы скоро все их достояния. Не желая, однако, чтобы старый Вильк подумал, будто им грозит что-нибудь подобное, он сказал, понизив голос:

— Ну, по милости Божьей, добра у нас полны сундуки, побольше, чем люди думают, только вы про то никому не рассказывайте.

Люди, однако, и догадывались, и знали, и друг другу рассказывали, раздувая все и преувеличивая, особенно богатства, которые богданецкие рыцари вывезли из Спыхова. Болтали, будто деньги из Мазовии везли целыми бочонками. Мацько как-то выручил знатных владетелей

Конецполя^[116], дав им займы десятка два гривен, и все окончательно уверились в несметности его «сокровищ». От этого богданецкие рыцари еще больше значили в глазах людей и пользовались еще большим почетом, и в замке у них всегда полно было гостей, на что Мацько, хоть и был бережлив, никогда не смотрел косо, зная, что это помогает возвеличению рода.

Особенно пышно справляли крестины, а раз в год после Успения Збышко устраивал для соседей большой пир, на который приезжали и шляхтянки поглядеть на рыцарские состязания, послушать песенников и при свете смоляных факелов до утра поплясать с молодыми рыцарями. Вот тогда-то старый Мацько тешился и радовался, любуясь на Збышка и Ягенку, которые с виду были так горделивы и величавы. Збышко возмужал, раздался в плечах, но, хоть ростом был высок и могуч, лицо у него по-прежнему было юношеским. Когда же, охватив пышные волосы пурпурной повязкой, он облачался в богатое платье, затканное серебряными и золотыми нитями, не только Мацько, но и многие шляхтичи говорили про себя: «Господи, сущий тебе князь в своем замке». А перед Ягенкой, которая сияла молодостью, здоровьем, силой и красотой, рыцари, знакомые с западными обычаями, не раз преклоняли колени и просили ее стать дамой их сердца. Сам старый владетель Конецполя, который был серадзским воеводой, при виде ее приходил в восторг и сравнивал ее с утренней зарей и с «солнышком», «которое озаряет мир и даже старую кровь заставляет играть в жилах».

XLVII

Но вот на пятом году, когда во всех деревнях был заведен образцовый порядок, когда над законченной сторожевой башней уже несколько месяцев развевалась хоругвь с Тупой Подковой, а Ягенка благополучно родила четвертого сына, которого называли Юрандом, старый Мацько сказал как-то Збышку:

— Все на свете случается, вот бы послал Бог счастье еще в одном деле, и можно умереть спокойно.

Збышко поглядел на него испытующим взором и, помолчав с минуту, спросил:

— Уж не о войне ли с крестоносцами вы говорите, больше ведь вам и желать-то нечего?

— Я скажу тебе, что и раньше говорил, — ответил Мацько, — покуда жив магистр Конрад, войны не будет.

— Не век ему жить!

— Да и мне не век, вот почему я совсем про другое думаю.

— Про что же?

— Э! Лучше не загадывать. А пока что съезжу я в Спыхов, а коли приведет Бог, так и к князьям в Плоцк да в Черск.

Збышко не очень удивился, — Мацько за последние годы не раз ездил в Спыхов, — он только спросил:

— Долго ли пробудете?

— Да на этот раз подольше, в Плоцке придется задержаться.

Спустя неделю Мацько и впрямь уехал, захватив с собой несколько повозок и добрые доспехи, «на случай, если придется с кем-нибудь драться». Прощаясь, он еще раз предупредил, что, может, задержится, и действительно задержался: целых полгода не было о нем ни слуху ни духу. Збышко стал уж беспокоиться и наконец отправил в Спыхов нарочного, но тот встретил Мацька за Серадзом и вернулся с ним домой.

Старый рыцарь был что-то мрачен, но, порасспросив Збышка обо всем, что делалось в его отсутствие, и узнав, что все в порядке, успокоился, повеселел и сам заговорил о своей поездке.

— Знаешь, я был в Мальборке, — сказал он.

— В Мальборке?

— А то где же?

Збышко воззрился на него в изумлении, затем хлопнул себя по ляжке и

воскликнул:

— Господи! А я-то совсем забыл!

— Ты-то мог забыть, потому что выполнил свой обет, — ответил Мацько, — но не приведи Бог, чтобы я от обета своего отступился и честь свою замарал. Не в обычае это у нас, и клянусь Крестом Святым, что, покуда жив, я этого обычая не нарушу.

Мацько при этом нахмурился, и лицо его стало таким ужасным и грозным, каким Збышко видел его только в былые годы у Витовта и Скирвойла, когда надо было сражаться с крестоносцами.

— Ну и что же? — спросил Збышко. — Не одолели?

— Как же я мог его одолеть, коли он не принял моего вызова.

— Почему?

— Он стал великим комтуром.

— Куно Лихтенштейн стал великим комтуром?

— Ба! Его, может, и великим магистром изберут. Как знать! Но он уже сейчас почитает себя равным князьям. Говорят, в ордене он вершит всеми делами, все лежит на его плечах, магистр без него шагу не ступит. Да разве он выйдет драться на утоптанной земле? Только на смех меня люди подняли бы.

— Неужели посмеялись над вами? — спросил Збышко, гневно сверкнув глазами.

— Посмеялась княгиня Александра в Плоцке. «Поезжай, говорит, и вызови римского императора! Я, говорит, знаю, что ему — это Лихтенштейну! — послали вызовы и Завиша Чарный, и Повала, и Пашко из Бискупиц, но он даже таким мужам ничего не ответил — не может. Не потому, что трус, нет, он монах и занимает, говорит, столь важный и почетный пост, что ему совсем не до этого и честь его больше пострадала бы, когда бы он принял вызов». Вот что она сказала.

— А что вы ей сказали на это?

— Огорчился я страх как и говорю ей, что мне все едино не миновать в Мальборк ехать, чтобы мог я Богу и людям сказать: «Я все сделал, что мог». И упросил я княгиню придумать что-нибудь и послать меня в Мальборк с письмом: знал я, что не унести мне иначе ног из этого волчьего логова. А про себя так думал: «Что ж, не принял ты вызова ни Завиши, ни Повалы, ни Пашка, но коли я при самом магистре, при всех комтурах да при гостях вцеплюсь тебе в бороду да вырву ее вместе с усами, небось придется тебе драться».

— Ах, чтоб вас! — в восторге воскликнул Збышко.

— А что? — сказал старый рыцарь. — На все можно средство найти,

была бы только голова на плечах. Да не сподобил меня на сей раз Господь: не застал я Лихтенштейна в Мальборке. Не знал я, что мне делать: то ли ждать его, то ли следом ехать. Боялся разминуться. Но с давних пор знаком я с магистром и великим ризничим и решил открыть им, зачем приехал. Как они закричат тут на меня: не бывать, мол, этому!

— Почему же?

— А магистр мне вот что сказал: «Что бы ты про меня подумал, когда бы я стал принимать вызовы от всех рыцарей из Мазовии или из Польши?» Что там говорить, прав он был, его бы уж давно и на свете не было. Они с ризничим долго удивлялись, а потом возьми да и расскажи все за ужином. Что тут поднялось, словно кто в улей дунул! Особенно гости как зашумят: «Куно не может, кричат, так мы можем!» Выбрал я себе троих, хотел по очереди с ними драться, долго просил магистра, но он позволил драться только с одним, тоже Лихтенштейном, родичем Куно.

— Ну и что же? — вскричал Збышко.

— Что ж, привез я его латы, но так они порублены, что за них и гривны никто не даст.

— Побойтесь Бога, вы же исполнили обет!

— Сперва я было обрадовался и сам подумал, что исполнил, но потом решил: «Нет! Это не то!» А теперь совсем потерял покой: может, и впрямь не то!

Но Збышко стал его утешать:

— Вы знаете, в таких делах я ни себе, ни другим не даю поблажки, но когда бы со мной приключилось такое, я бы почел, что исполнил обет. Вот что я вам скажу: самые славные рыцари в Кракове подтвердят мои слова. Сам Завиша — а он лучше всех разбирается в делах рыцарской чести, — наверно, то же скажет.

— Ты так думаешь? — спросил Мацько.

— Да вы сами подумайте: они ведь на весь мир прославились и тоже его вызвали; но никто из них не добился даже того, чего добились вы. Вы дали обет убить Лихтенштейна и Лихтенштейна зарубили.

— Может, так оно и есть, — проговорил старый рыцарь.

А Збышко, которого живо занимали рыцарские дела, стал спрашивать:

— Ну рассказывайте: молодой он был или старый? И как вы дрались? Конными или пешими?

— Ему было лет тридцать пять, и борода у него была до пояса, а дрались мы на конях. С Божьей помощью я его копьем пощупал, а там дошло дело и до мечей. И так, говорю тебе, кровь у него хлестала изо рта, что вся борода слиплась, стала как сосулька.

— А все жаловались, что стареете!

— Когда я сяду на коня или ноги на земле раскорячу, так еще крепко держусь, но в доспехах на коня мне уже не вскочить.

— Но и Куно из ваших рук не ушел бы.

Старик пренебрежительно махнул рукой, давая понять, что справиться с Куно ему было бы куда легче; затем они пошли осматривать трофейные латы, которые Мацько захватил только как доказательство своей победы: они были совсем изрублены и не имели никакой цены. Целыми остались только набедренники да наколенники работы отличных мастеров.

— Все-таки лучше, если бы это были латы Куно, — мрачно сказал Мацько.

— Всевышний знает, что лучше, — возразил Збышко. — Коли Куно станет магистром, вам уж его не достать, разве только встретитесь в большой битве.

— Послушал я там, что люди толкуют, — заметил Мацько. — Одни говорят, что после Конрада будет Куно, а другие — будто брат Конрада, Ульрих.

— По мне, уж лучше Ульрих, — сказал Збышко.

— И я так думаю, а знаешь почему? Куно умнее и хитрее, а Ульрих горяч. Это настоящий рыцарь, он блюдет рыцарскую честь, но рвется в бой с нами. Говорят, коли станет он магистром, такая сразу начнется война, какой еще не бывало на свете. А Конрад что-то хиреет. Как-то раз ему при мне стало худо. Что ж, может, и дождемся мы войны!

— Дай-то Бог! А что, у них новые разногласия с королевством?

— И старые, и новые. Крестоносец — он всегда крестоносец. Хоть и знает, что ты сильнее и трогать тебя опасно, все едино будет на твое посягать, иначе он не может.

— Крестоносцы думают, что орден сильнее всех государств.

— Не все, но многие из них так думают, в том числе и Ульрих. Они и впрямь очень сильны.

— А помните, что говорил Зындрам из Машковиц?

— Как не помнить, с каждым годом все хуже дела у крестоносцев. Брат брата так не примет, как меня там люди принимали, когда немцы этого не видели. Вот где у народа сидят крестоносцы.

— Выходит, недолго ждать осталось!

— То ли долго, то ли недолго, — проговорил Мацько.

И, подумав, прибавил:

— А пока суд да дело, надо усердно трудиться, приумножать достояние, чтобы с честью выступить на войну.

Магистр Конрад умер только через год. О его смерти и избрании Ульриха фон Юнгингена первым узнал в Серадзе брат Ягенки, Ясько из Згожелиц. Он-то и привез в Богданец эту весть, которая потрясла сердца не только в Богданце, но и в прочих шляхетских усадьбах. «Времена настают небывалые», — торжественно провозгласил старый Мацько, а Ягенка тотчас повела к Збышку всех детей и сама стала прощаться с мужем, словно завтра он уже должен был выступить в поход. Мацько и Збышко знали, конечно, что война не разгорается вдруг, как огонь в очаге, и все же верили, что она непременно начнется, и стали готовиться в поход. Они отбирали коней и доспехи, обучали ратному делу оруженосцев, слуг, деревенских солтысов, которые, по магдебургскому праву, обязаны были выступать в поход на конях, и мелкопоместную шляхту, которая льнула к знати. Так было и во всех прочих шляхетских усадьбах: повсюду в кузницах били молоты, повсюду люди чистили старые панцири, смазывали луки и ремни салом, вытопленным в салотопнях, оковывали повозки, готовили припас — крупу да копченое мясо. По воскресным дням и в праздники народ собирался перед костелами и расспрашивал про новости, досадуя, когда приходили мирные вести; в душе все были глубоко убеждены, что надо раз навсегда покончить со страшным врагом всего польского племени, что могущественное польское королевство до тех пор не сможет процветать и польский народ до тех пор не сможет трудиться в мире, пока, по словам святой Бригитты, «у крестоносцев не будут выбиты зубы и не будет отсечена правая рука».

В Кшесне толпы народа окружали всякий раз Мацька и Збышка, которые хорошо знали крестоносцев и умели с ними воевать. Богданецких рыцарей расспрашивали не только про новости, но и про то, как же воевать с немцами: как лучше ударить на них, как они дерутся, в чем превосходят поляков и в чем уступают им, и чем легче сокрушить их доспехи, коли поломаются копья, — секирою или мечом?

Мацько и Збышко были и впрямь сведущи в этих делах, поэтому их слушали с особым вниманием, тем более что все были уверены, что война будет нелегкая, ибо сражаться придется с самыми прославленными рыцарями всех земель и нельзя будет задать недругу страху да этим и удовольствоваться, а придется либо разбить его наголову, либо погибнуть самим. «Что ж, коль надо, ничего не поделаешь, либо им, либо нам —

смерть». Поколение, которое носило в сердцах предощущение грядущего величия, не малодушествовало, — напротив, с каждым часом, с каждым днем оно все больше воодушевлялось; но люди принимались за дело без пустой похвальбы, без бахвальства, а сосредоточенно и упорно, с величайшей готовностью умереть.

— Либо нам, либо им умереть на роду написано.

Меж тем время шло, а войны все не было. Правда, поговаривали о разногласиях между королем Владиславом и орденом, о добжинской земле, хотя она уже давно была выкуплена, да о пограничных спорах из-за какого-то Дрезденка^[117], о котором многие слыхали первый раз в жизни и из-за которого спорили будто бы обе стороны; но войны все не было. Кое-кого стало уже брать сомнение, да будет ли она, споры-то всегда бывали, но дело обыкновенно кончалось тем, что скликали съезды, заключали договоры да снаряжали посольства. Но вот распространилась весть, что и сейчас в Краков явились послы ордена, а польские уехали в Мальборк. Заговорили о посредничестве чешского и венгерского королей и даже самого папы. Вдали от Кракова никто толком ничего не знал, и в народе ходили всякие слухи, часто самые нелепые и невероятные; а войны все не было.

В конце концов и Мацько, на чьей памяти над королевством не раз нависала угроза войны и оно не раз заключало договоры, не знал, что думать, и поехал в Краков обо всем разведать. В Кракове он пробыл недолго; на шестой неделе старый рыцарь вернулся домой сияющий. Когда в Кшесне его окружила как всегда жадная до новостей шляхта, он на многочисленные вопросы ответил вопросом:

— А отточены ли у вас копья да секиры?

— А разве что? Да говорите же! Раны Божьи! Какие вести? Кого вы видели? — кричали со всех сторон.

— Кого я видел? Зындрама из Машковиц! Какие вести? Такие, что скоро, пожалуй, придется седлать коней.

— Господи! Да неужто? Рассказывайте!

— А вы про Дрезденко слыхали?

— Ну, слыхали. Да ведь это маленький замок, таких много, и земли там не больше, чем у вас в Богданце.

— Ничтожный повод для войны, верно?

— Ясное дело, ничтожный; бывали и поважнее, а все-таки до войны дело не доходило.

— А знаете, какую притчу рассказал мне про Дрезденко Зындрам из Машковиц?

— Говорите скорей, страх как это все любопытно.

— Вот что он мне сказал: «Шел по дороге слепец, споткнулся о камень и упал. Упал он потому, что был слеп, ну а все-таки причиной был камень». Вот и Дрезденко такой же камень.

— Как так? Ведь орден еще крепко стоит.

— Не понимаете? Ну, тогда я скажу вам иначе: когда чаша полна, одной капли достаточно, чтобы полилось через край.

Рыцари так тут воодушевились, что Мацько едва удалось сдержать их, они хотели тотчас седлать коней и двигаться в Серадз.

— Будьте готовы, — сказал он, — но терпеливо ждите. Теперь уж и про нас не забудут.

И рыцари ждали, готовые к походу, ждали долго, так долго, что многих снова взяло сомнение. Но Мацько не сомневался: как по прилету птиц узнают приближение весны, так он, человек искушенный, по отдельным признакам умел заключить, что война приближается, притом война великая.

Прежде всего во всех королевских борах и пущах велено было начать такую охоту, какой старики не запомнят. На облавы собирали тысячи загонщиков, убивали целые стада зубров, туров, оленей, вепрей и всякой мелкой дичи. Целые недели и месяцы поднимался дым над лесами, а в дыму копилось соленое мясо, которое потом отправляли в воеводские города, а оттуда на склады в Плоцк. Ясно было, что готовится припас для великого войска. Мацько прекрасно понимал, что это значит, ибо Витовт на Литве приказывал устраивать такие охоты перед каждым большим походом. Но были и другие признаки. Целые толпы мужиков стали убегать от немцев в королевство и в Мазовию. В окрестностях Богданца появились главным образом подданные немецких рыцарей из Силезии; но было известно, что повсюду творится то же самое, особенно в Мазовии. Чех, хозяйничавший в Спыхове, в Мазовии, прислал оттуда человек двадцать мазуров, которые бежали в Спыхов из Пруссии. Беглецы просили разрешить им принять участие в войне «пешими», они хотели отомстить за свои обиды крестоносцам, которых ненавидели лютой ненавистью. Они рассказывали, что некоторые пограничные деревни в Пруссии почти совсем опустели, так как мужики с женами и детьми переселились в мазовецкие княжества. Правда, крестоносцы вешали пойманных беглецов; но ничто не могло удержать несчастных, и многие предпочитали смерть жизни под тяжким немецким ярмом. Затем всю страну наводнили «нищие» из Пруссии. Все они направлялись в Краков. Они стекались из Гданьска, Мальборка, Торуня, даже из далекого Крулевца, изо всех прусских городов,

изо всех командорий. Среди них были не только нищие, но и пономари, органисты, всякие монастырские служки и даже причетники и священники. Все догадывались, что они приносят вести обо всем, что творится в Пруссии: о военных приготовлениях, об укреплении замков, о страже, наемных войсках и гостях. Люди шепотом передавали друг другу, что воеводы в воеводских городах, а в Кракове королевские советники запираются с ними на целые часы, слушают и записывают все, что они рассказывают. Некоторые из них тайно возвращались в Пруссию, а потом опять появлялись в королевстве. Из Кракова доходили вести, что король и советники знают от них о каждом шаге крестоносцев.

Совсем не то было в Мальборке. Один духовный, который бежал из столицы крестоносцев и остановился у владетелей Конецполя, рассказывал, что магистр Ульрих и другие крестоносцы знать не хотят, что творится в Польше, они уверены, что одним ударом покорят все королевство и с лица земли сотрут на вечные времена, «так что от него и следа не останется». При этом беглец повторил слова, сказанные магистром на пиру в Мальборке: «Чем больше их будет, тем дешевле станут в Пруссии кожухи». С радостью и с одушевлением готовились крестоносцы к войне, уверенные в своей силе и в том, что на помощь им придут все, даже самые отдаленные государства.

Невзирая на все признаки близящейся войны и на все приготовления к ней, она все не начиналась, как ни желал этого народ. Молодому владетелю Богданца дома было уже скучно. Все было давно готово, он рвался в бой, душа его жаждала славы, невыносим был ему каждый день промедления, и часто он упрекал во всем дядю, как будто война и мир зависели от старого рыцаря.

— Ведь вы обещали, что война наверняка будет, — говорил он, — а ее все нет как нет!

— Умен ты, да не очень! — отвечал ему Мацько. — Ужели ты не видишь, что творится?

— А ну как король в последнюю минуту пойдет на мировую? Говорят, он не хочет войны.

— Это верно, что не хочет, но разве не он воскликнул: «Не будь я король, если позволю захватить Дрезденко», — а немцы как взяли Дрезденко, так по сию пору и держат. Да, король не хочет проливать христианскую кровь; но советники у него мудрые, они чувствуют, что наше королевство сильнее, и прижимают немцев к стене, и я тебе скажу, что не будь Дрезденка, так нашелся бы другой предлог.

— Слышал я, что Дрезденко захватил еще магистр Конрад, а уж он-то

боялся короля.

— Боялся, потому что лучше других знал, как могущественна Польша, однако и он не мог удержать алчных крестоносцев. В Кракове мне вот что рассказывали: когда крестоносцы захватили Новую Мархию, старый фон Ост, владетель Дрезденка, явился, как вассал, с поклоном к королю, ибо его земля испокон веков была польской и он хотел, чтобы ею владело королевство. Но крестоносцы зазвали его в Мальборк, напоили там и выманили письмо о передаче им Дрезденка. Тогда терпение короля истоцилось.

— Еще бы! — воскликнул Збышко.

— Вышло так, — прервал его Мацько, — как говорил Зындрам из Машковиц: Дрезденко — это только камень, о который споткнулся слепец.

— А если немцы отдадут Дрезденко, что тогда будет?

— Тогда найдется другой камень. Но крестоносец не отдаст того, что пожрал, разве только брюхо ему вспорешь, дай-то Бог поскорей это сделать.

— Нет! — воскликнул, ободрившись, Збышко. — Конрад, может, и отдал бы, но Ульрих не отдаст. Это подлинный рыцарь, его ни в чем не упрекнешь, только очень уж он горяч.

Пока они вели такие беседы, события следовали одно за другим с такой быстротой, с какой камень, сдвинутый ногою путника на горной тропе, неудержимо катится в пропасть.

Вдруг по всей стране прогремела весть, что немцы напали на старопольский замок Санток, отданный в залог иоаннитам, и овладели им. Новый магистр, Ульрих, когда прибыли польские послы с поздравлениями по поводу его избрания, нарочно уехал из Мальборка; с первой минуты своего правления он повелел, чтобы в сношениях с королем и Польшей вместо латыни употреблялся немецкий язык, и тем самым показал наконец подлинное свое нутро. Краковские советники, которые втайне готовили войну, поняли, что Ульрих готовит ее открыто, притом очертя голову и с такой дерзостью, которой великие магистры не допускали с польским народом даже тогда, когда орден действительно был могущественней королевства.

Не такие горячие, как Ульрих, и более хитрые сановники ордена, которые хорошо знали Витовта, старались склонить его на свою сторону, то осыпая великого князя дарами, то раболепствуя перед ним без всякой меры, словно в те древние времена, когда римским цезарям при жизни воздвигали храмы и алтари. «У ордена два благодетеля, — говорили послы-крестоносцы, земно кланяясь наместнику Ягайла, — первый — Бог и

второй — Витовт; каждое желание и каждое слово Витовта для крестоносцев закон». Они умоляли великого князя принять на себя посредничество в деле о Дрезденке, рассчитывая, что, взявшись судить своего государя, Витовт оскорбит его и их добрые отношения будут нарушены если не навсегда, то, во всяком случае, на долгое время. Но королевские советники знали, что творится в Мальборке и что затевают крестоносцы, и король также избрал Витовта своим посредником.

Ордену пришлось пожалеть о своем выборе. Сановники ордена думали, что знают великого князя, а оказалось, что они мало его знают: Витовт не только присудил Дрезденку полякам, но, предвидя, чем может кончиться все это дело, снова поднял Жмудь ^[118] и, грозя ордену войной, стал помогать жмудицам людьми, оружием и хлебом, доставляемым из плодородных польских земель.

Тогда во всех землях обширного государства люди поняли, что пробил решительный час. Он и в самом деле пробил.

Однажды, когда старый Мацько, Збышко и Ягенка сидели у ворот богданецкого замка, наслаждаясь чудной, теплой погодой, перед ними внезапно вырос незнакомый всадник; осадив у ворот взмыленного коня, он бросил к ногам рыцарей венок, сплетенный из ветвей лозы и ивы, крикнул: «Вицы! Вицы!» — и поскакал дальше. Рыцари в неописуемом волнении вскочили на ноги. Лицо у Мацька стало грозным и торжественным. Збышко бросился в замок, чтобы послать оруженосца с вицей дальше; вернувшись, он воскликнул, сверкая глазами:

— Война! Наконец-то Бог послал! Война!

— И такая, какой мы доселе не видавали! — сурово прибавил Мацько. Затем он кликнул слуг, которые мгновенно окружили хозяев.

— Трубите в рога со сторожевой башни на все четыре стороны света! Бегите в деревни за солтысами. Выводите и запрягайте коней! Живо!

Не успел он кончить, как слуги рассыпались в разные стороны исполнять приказания, что было нетрудно, так как все давно было готово: люди, повозки, кони, доспехи, оружие, припасы, — только садись и поезжай!

Но Збышко обратился к Мацько с вопросом:

— А не останетесь ли вы дома?

— Я? Да ты в своем уме?

— По закону вы можете остаться, человек вы немолодой, были бы опорой Ягенке и детям.

— Послушай, я до седых волос ждал этого часа.

Достаточно было взглянуть на его холодное, суровое лицо, чтобы

понять, что все уговоры будут напрасны. Впрочем, Мацько, хоть ему и шел уже седьмой десяток, был еще крепок, как дуб, руки у него легко ходили в суставах, и секира так и свистела в этих сильных руках. Правда, он не мог уже в полном вооружении вскочить без стремян на коня; но этого не могли сделать и многие молодые рыцари, особенно западные. Зато рыцарская выучка была у него замечательная, и во всей округе не было столь искусственного воина.

Ягенка тоже, видно, не боялась остаться одна. Услышав слова мужа, она встала и, поцеловав ему руку, сказала:

— Не тревожься обо мне, милый Збышко, замок у нас крепкий, да и сам ты знаешь, что я не робкого десятка и ни самострел, ни копье мне не в диковину. Не время думать о нас, когда надо спасти королевство, а хранителем нашим здесь будет Господь.

Крупные слезы набежали ей вдруг на глаза и покатались по прекрасному белоснежному лицу. Показав на детей, она продолжала взволнованным, дрожащим голосом:

— Эх, кабы не эти мальчуганы, я б до тех пор валялась у тебя в ногах, пока ты не взял бы меня с собой на войну!

— Ягуся! — воскликнул Збышко, заключив ее в объятия.

А она обхватила его шею и, крепко прижимаясь к нему, говорила:

— Только воротись ты, мой золотой, мой единственный, мой ненаглядный!

— А ты каждый день благодари Бога за то, что Он послал тебе такую жену! — басом прибавил Мацько.

Спустя час со сторожевой башни была спущена хоругвь в знак отсутствия хозяев. Збышко и Мацько согласились, чтобы Ягенка с детьми проводила их до Серадза, и после сытного обеда все они с людьми и целым обозом двинулись в путь.

День был ясный, безветренный. Леса неподвижно стояли в тишине. Стада на полях и перелогах тоже прилегли отдохнуть после полудня и медленно и как будто задумчиво жевали жвачку. Было сухо, и по дорогам клубилась кое-где золотистая пыль, а под нею словно вспыхивали бесчисленные огоньки, ярко сверкая на солнце. Збышко показывал на них жене и детям и говорил:

— Знаете, что там сверкает над пылью? Это сулицы и копья. Должно быть, вицы дошли уже до всех, и народ отовсюду движется на немцев.

Так оно и было. Недалеко от границы Богданца они повстречали брата Ягенки, молодого Яська, который, как довольно богатый шляхтич, шел с двумя копейщиками и вел с собой двадцать человек.

Вскоре на перекрестке из-за облака пыли показалось заросшее бородой лицо Чтана из Рогова, который хоть и не был другом богданецких рыцарей, но сейчас крикнул им издали: «Вперед, на немецких псов!» — и с приятным поклоном поскакал дальше в сером облаке пыли. Повстречали они и старого Вилька из Бжозовой. Голова у него уже тряслась от старости, но и он двинулся на войну, чтобы отомстить за смерть сына, которого немцы убили в Силезии.

По мере того как они приближались к Серадзу, все чаще клубилась пыль на дорогах, а когда вдали показались городские башни, весь тракт был уже запружен рыцарями, солтысами и вооруженными местными жителями, которые двигались к месту сбора. Увидев эти толпы народа, крепкого и сильного, упорного в бою, привычного к лишениям, непогоде, холоду и тяжким трудам, старый Мацько исполнился бодрости и в душе пророчил себе верную победу.

И вот вспыхнула наконец война^[119]: вначале стычек с врагом было не так уж много, да и судьба на первых порах не особенно благоприятствовала полякам. Пока подошли польские силы, крестоносцы взяли Бобровники, сровняли с землей Злоторью и снова заняли несчастную, с таким трудом возвращенную недавно добжинскую землю. При посредничестве чехов^[120] и венгров пожар войны на время был притушен, Польша и орден заключили перемирие^[121], во время которого чешский король Вацлав должен был их рассудить.

Но противники не перестали стягивать свои войска; всю зиму и весну они продвигали их навстречу друг другу, так что, когда чешский король, подкупленный орденом, решил дело в пользу крестоносцев^[122], снова возникла угроза войны.

Меж тем наступило лето, а вместе с ним подошли и народы под предводительством Витовта. После переправы у Червинска^[123] оба войска и хоругви мазовецких князей соединились. По другую сторону реки, в лагере под Свенцем, стояло сто тысяч закованных в броню немцев. Король хотел переправиться через Дрвенцу и идти кратчайшим путем в Мальборк, но переправа оказалась невозможной, и он повернул от Кужентника к Дзялдову и, разгромив замок крестоносцев Домбровно^[124], или Гильгенбург, расположился там лагерем.

И сам король, да и польские, и литовские вельможи знали, что вскоре должно произойти решительное сражение, но думали, что это может случиться не раньше, чем через несколько дней. Они полагали, что магистр, преградив дорогу королю, пожелает дать отдых своим войскам, чтобы на смертный бой они вышли свежими, неутомленными. А тем временем королевские войска остановились на ночь в Домбровно. Взятие этой крепости без приказа и даже вопреки воле военного совета воодушевило короля и Витовта; это был сильно укрепленный замок с толстыми стенами и многочисленной стражей, защищенный озером. Польские рыцари захватили его молниеносно и с такой неукротимой яростью, что, прежде чем подошло все войско, от города и замка остались только дымящиеся развалины, среди которых дикие воины Витовта и татары Саладина добивали остатки отчаянно защищавшихся немецких кнехтов.

Пожар длился недолго, его погасил короткий, но сильный ливень. Вся

ночь с четырнадцатого на пятнадцатое июля была необыкновенно переменчивой и бурной. Ветер приносил одну за другой грозовые тучи. По временам все небо, казалось, пылало от молний, и гром с ужасающим грохотом перекатывался между востоком и западом. От частых ударов воздух наполнялся запахом серы, и снова шум дождя заглушал все звуки. Затем ветер разгонял тучи, и из разрывов их смотрели звезды и яркая полная луна. Только после полуночи гроза поутихла, и воины смогли разложить костры. Тысячами огней запылал вскоре огромный польско-литовский лагерь. Воины сушили на огне промокшие одежды и пели боевые песни.

Король тоже бодрствовал; на самом краю лагеря, в доме, куда он укрылся от грозы, заседал военный совет и рассматривал дело о взятии Гильгенбурга. В штурме принимала участие серадзская хоругвь, и начальника ее, Якуба из Конечполя, вызвали вместе с другими на военный совет, чтобы потребовать у них объяснений, на каком основании, не имея приказа, они пошли на приступ и не перестали штурмовать замок даже тогда, когда король выслал к ним своего подвойского и нескольких оруженосцев с приказом остановить штурм.

Опасаясь, что с него взыщут за самовольство и что его, быть может, ждет даже кара, воевода прихватил с собой лучших рыцарей, в том числе старого Мацька и Збышка, как свидетелей того, что подвойский добрался до них только тогда, когда они были уже на стенах замка и вели ожесточенный бой со стражей. Что ж до самовольного штурма, то воевода толковал, что «трудно испросить на все дозволение, когда войско растянулось на несколько миль». Будучи послан вперед, он полагал своим долгом сметать все преграды на пути войска и бить врага, где бы он ни встретился. Выслушав объяснения, король, князь Витовт и советники, в душе довольные всем происшедшим, не только не стали упрекать воеводу и серадзян, но даже похвалили их за отвагу и за то, что они «так быстро взяли замок с храброй его стражей». Мацько и Збышко имели при этом возможность насмотреться на великих людей королевства, ибо, помимо короля и мазовецких князей, на совете присутствовали два предводителя всех войск^[125]: Витовт, который был военачальником литвинов, жмудинов, русинов, бессарабов, валахов и татар, и Зындрам из Машковиц «того же герба, что и солнце», краковский мечник, главный военачальник польской армии, превосходивший всех знанием ратного дела. Кроме них, на совете присутствовали многие военачальники и вельможи: краковский каштелян, Кристин из Острова; краковский воевода, Ясько из Тарнова; познанский воевода, Сендзивой из Острога; сандомирский воевода, Миколай из

Михаловиц; настоятель костела Святого Флориана, он же подканцлер, Миколай Тромба; маршалок королевства, Збигнев из Бжезя; краковский подкоморий, Петр Шафранец, и, наконец, Земовит, сын плотского князя Земовита, единственный юноша в этом совете, но на редкость «способный полководец», мнение которого высоко ценил сам король.

В соседней просторной горнице ждали лучшие рыцари, чья слава гремела в Польше и за границей; они должны были быть под рукой у короля, чтобы в случае надобности помочь советом. Мацько и Збышко увидели там и Завишу Чарного Сулимчика с братом его Фаруреем, и Скарбка Абданка из Гур, и Добка из Олесницы, который в свое время на турнире в Торуне выбил из седла двенадцать немецких рыцарей, и великана Пашка Злодзеля из Бискупиц, и Повалу из Тачева, их задушевного друга, и Кшона из Козихглов, и Марцина из Вроцимовиц, который носил большую хоругвь всего королевства, и Флориана Елитчика из Корытницы, и страшного в рукопашном бою Лиса из Тарговиска, и Сташка из Харбимовиц, который в полном вооружении мог перескочить через двух рослых коней.

Было и много других знаменитых рыцарей из разных земель и из Мазовии, которые в бой шли в первых рядах. Все знакомцы, особенно Повала, радостно приветствовали Мацька и Збышка и тотчас завели с ними разговор о старых временах и подвигах.

— Эх, — говорил Збышку пан из Тачева, — старые у тебя счета с крестоносцами, надеюсь, теперь ты с ними за все разотчешься.

— Кровью разотчусь, как и все мы! — ответил Збышко.

— А знаешь ли ты, что твой Куно Лихтенштейн теперь великий комтур? — спросил Пашко Злодзей из Бискупиц.

— Знаю, и дядя мой знает.

— Дай-то Бог повстречаться с ним, — вмешался Мацько, — у меня к нему дело особое.

— Да и мы его вызывали на бой, — воскликнул Повала, — но он ответил, что драться ему сан не позволяет. Ну, теперь-то, пожалуй, и сан позволит.

Неизменно рассудительный Збышко заметил:

— Он тому достанется, кому Бог его предназначил.

Любопытствуя узнать мнение Завиши о деле Мацька и решив тотчас представить это дело на суд славного рыцаря, Збышко спросил, можно ли почесть обет исполненным, если Мацько сражался с родичем Лихтенштейна, который принял вызов вместо Куно и был убит старым рыцарем. Все закричали, что этого больше чем достаточно. Непреклонный

Мацько, хоть и был обрадован таким решением, все же заявил:

— Так-то оно так, но я больше уповал бы на вечное спасение, когда бы дрался с самим Куно!

Затем рыцари заговорили о взятии Гильгенбурга и о предстоящей великой битве, которой они ждали в самом непродолжительном времени, ибо магистру ничего другого не оставалось, как преградить дорогу королю.

Когда рыцари ломали голову над тем, через сколько дней может произойти эта битва, к ним подошел худой, долговязый рыцарь в одежде из красного сукна и такой же шапочке и, раскрыв объятия, мягким, почти женским голосом промолвил:

— Привет тебе, рыцарь Збышко из Богданца!

— Де Лорш! — вскричал молодой рыцарь. — Ты здесь!

И Збышко, сохранивший наилучшие воспоминания о гельдернском рыцаре, заключил его в объятия, а когда они расцеловались, как самые душевные друзья, с радостью стал расспрашивать:

— Ты здесь, на нашей стороне?

— Быть может, много гельдернских рыцарей находится на той стороне, — ответил де Лорш, — но я владетель Длуголяса, и мой долг служить моему господину, князю Янушу.

— Так ты после смерти старого Миколая стал владетелем Длуголяса?

— Да. После смерти Миколая и его сына, убитого под Бобровниками, Длуголяс достался прекрасной Ягенке, а она вот уж пять лет моя супруга и госпожа.

— Боже мой! — воскликнул Збышко. — Расскажи, как все это случилось?

Но де Лорш, поздоровавшись со старым Мацьком, сказал:

— Ваш старый оруженосец, Гловач, сказал мне, что я найду вас здесь, а сейчас он ждет нас у меня в шатре и приглядывает за ужином. Правда, это далековато, на другом конце лагеря, но верхом мы скоро доскачем, так что прошу вас — поедemте со мной.

Затем, обратившись к Повале, с которым он когда-то познакомился в Плоцке, де Лорш прибавил:

— И вас прошу, благородный рыцарь. Я буду счастлив и весьма польщен.

— Извольте, — ответил Повала. — Приятно побеседовать со знакомыми, а по дороге мы к тому же осмотрим лагерь.

И рыцари вышли. Когда они хотели уже садиться на коней, слуга де Лорша набросил им на плечи епанчи, которые предусмотрительно прихватил с собою. Приблизившись к Збышку, он поцеловал молодому

рыцарю руку и сказал:

— Честь и хвала вам, господин. Я ваш бывший слуга, только в темноте вы не можете признать меня. Помните Сандеруса?

— Боже мой! — воскликнул Збышко.

И на минуту в памяти его воскресли воспоминания о пережитых горестях, печалях и муках, так же, как недели две назад, когда при соединении королевского войска с хоругвями мазовецких князей он после долгой разлуки встретил своего старого оруженосца Главу.

— Сандерус! — воскликнул Збышко. — Помню я и старое время, и тебя! Что же ты до сих пор поделывал, где шатался? Неужели не торгуешь больше святынями?

— Нет, господин. До последней весны я был причетником в костеле в Длуголясе, но покойный отец мой занимался военным делом, и, когда вспыхнула война, противна мне стала колокольная медь, и проснулась во мне страсть к железу и стали.

— Что я слышу! — вскричал Збышко, который никак не мог представить себе Сандеруса с мечом, рогатиной или секирой, выступающего в бой.

А Сандерус, поддерживая его стремя, сказал:

— Год назад, по распоряжению плоцкого епископа, я ходил в прусские края и оказал королевству большую услугу, но об этом расскажу потом, а сейчас садитесь, ваша светлость, на коня, чешский граф, которого вы зовете Главой, ждет вас с ужином в шатре моего господина.

Збышко сел на коня и, приблизившись к господину де Лоршу, поехал рядом с рыцарем, чтобы поговорить на свободе о его делах.

— Я очень рад, что ты на нашей стороне, — сказал он, — но все же мне удивительно это, ты ведь служил у крестоносцев.

— Служат те, кто получает жалованье, — возразил де Лорш, — а я его не получал. Нет! Я приехал к крестоносцам только в поисках приключений да рыцарский пояс хотел добыть, — ты знаешь, я получил его из рук польского князя. Долгие годы провел я в этой стране и понял, на чьей стороне правда, а когда вдобавок женился и остался здесь жить, то как же мне было идти против вас? Я уже здешний, ты только послушай, как я научился вашему языку, я даже свой начинаю уже забывать.

— А твои гельдернские поместья? Я слыхал, ты родич тамошнего герцога и владетель многих замков и деревень?

— Свои владения я уступил родичу, Фулькону де Лоршу, который заплатил мне за них. Пять лет назад я был в Гельдерне и привез оттуда большие деньги, на которые приобрел поместья в Мазовии.

— А как же ты женился на Ягенке из Длуголяса?

— Ах! — ответил де Лорш. — Кто может разгадать женщину? Она всегда насмеялась надо мной, а когда мне это наскучило и я объявил, что с горя поеду на войну в Азию и больше никогда не вернусь, она вдруг расплакалась и сказала: «Тогда я пойду в монастырь». Услышав эти слова, я упал к ее ногам, а спустя две недели плоцкий епископ обвенчал нас в костеле.

— А дети у вас есть? — спросил Збышко.

— После войны Ягенка собирается ко гробу вашей королевы Ядвиги, чтобы испросить ее благословения, — со вздохом ответил де Лорш.

— Вот и отлично. Это, говорят, верное средство, и в таких делах нет лучше заступницы, чем наша святая королева. Через несколько дней решительная битва, а там будет мир.

— Да.

— Но крестоносцы почитают тебя, верно, изменником.

— Нет! — сказал де Лорш. — Ты знаешь, как я блюду рыцарскую честь. Сандерус, по поручению плоцкого епископа, ездил в Мальборк, и я послал с ним письмо магистру Ульриху, в котором отказался от службы и изложил причины, по которым перехожу на вашу сторону.

— Сандерус! — воскликнул Збышко. — Он говорил, что ему опротивела колокольная медь и что в нем проснулась страсть к железу; это мне удивительно, он всегда был труслив, как заяц.

— Сандерус, — ответил господин де Лорш, — только тогда имеет дело с железом, когда бреет меня и моих оруженосцев.

— Ах вот как! — воскликнул, развеселившись, Збышко.

Некоторое время они ехали в молчании, затем де Лорш поднял глаза к небу и проговорил:

— Позвал я вас на ужин, но пока мы доедем, будет, наверно, завтрак.

— Луна еще светит, — ответил Збышко. — Едем.

И, поравнявшись с Мацьком и Повалой, они поехали дальше вчетвером по широкой лагерной улице, какую по приказу военачальников всегда вешали между шатрами и кострами, чтобы оставался свободный проезд. Рыцарям надо было проехать вдоль всего лагеря, чтобы добраться до стоявших на другом его конце мазовецких хоругвей.

— С той поры как Польша стоит, — промолвил Мацько, — не видывала она еще такого войска, сюда стеклись люди со всех концов земли.

— Ни одному королю не выставить такого войска, — поддержал его де Лорш, — ибо ни один из них не правит такой могучей державой.

А старый рыцарь обратился к Повале из Тачева:

— Сколько, вы говорите, хоругвей привел князь Витовт?

— Сорок, — ответил Повала. — Наших польских с мазурами пятьдесят, но наши не так велики, как у Витовта, у него под одной хоругвью служат иногда несколько тысяч человек. Да! Слыхали мы, будто магистр сказал, что эта голытьба не мечами, а ложками ловчей орудует; дай-то Бог, чтобы в недобрый для крестоносцев час он молвил, думаю, что обагрятся их кровью литовские сулицы.

— А что это за люди, мимо которых мы сейчас проезжаем? — спросил де Лорш.

— Это татары, их привел данник Витовта, Саладин.

— А как они дерутся?

— Литва умеет с ними воевать и много их покорила, потому им и пришлось выступить на эту войну. Но западным рыцарям с ними тяжело, при отступлении они страшнее, чем в бою.

— Посмотрим на них поближе, — предложил де Лорш.

И рыцари подъехали к кострам, у которых виднелись люди с совершенно голыми до плеч руками, одетые, невзирая на летнюю пору, в тулупы без рукавов овчиной наружу. Бóльшая часть их спала прямо на голой земле или на мокрой соломе, от которой от жара поднимался пар; но многие сидели на корточках у пылающих костров; некоторые коротали часы ночи, гнуся дикие песни, при этом они подыгрывали себе, постукивая лошадиными цевками, которые издавали странные, неприятные звуки; иные играли на бубенцах или перебирали пальцами натянутые тетивы луков. Многие выхватывали прямо из огня дымящееся мясо и пожирали кровавые куски, дуя на них оттопыренными синими губами. Вид у татар был такой зловещий и дикий, что их скорее можно было принять не за людей, а за страшных лесных чудовищ. От костров поднимался едкий дым, пахнувший конским и бараньим жиром, который топился на огне; невыносимый чад шел от горелой шерсти и нагретых тулупов, и смердело свежесодранными шкурами и кровью. По другую сторону улицы стояли кони, оттуда несло лошадиным потом. Это несколько сотен коней поставили поближе для разъездов; выщипав всю траву под ногами, они кусались, пронзительно ржали и храпели. Конюхи усмиряли их, с криком стегая кнутахми из сыромятной кожи.

Забираться сюда в одиночку было небезопасно, дикари отличались неслыханной свирепостью. Непосредственно за ними стояли почти такие же дикие бессарабы с рогами на головах, длинноволосые валахи, которые вместо панцирей закрывали грудь и спину деревянными досками с неуклюжими изображениями упырей, скелетов или зверей; дальше

расположились сербы, лагерь которых сейчас погружен был в сон, а днем на постое, казалось, звучал как одна огромная лютня — столько было у сербов флейт, балалаек, дудок и других инструментов.

Пылали костры, а в небе из разрывов туч, которые рассеивал сильный ветер, смотрела яркая полная луна, и при свете ее наши рыцари озирали лагерь. За сербами стояли несчастные жмудины. Реки жмудской крови пролили немцы, однако по первому призыву Витовта они поднимались на новые и новые битвы. И сейчас, словно предчувствуя, что скоро конец всем их бедам, они пришли сюда, проникнутые духом Скирвойла, одно имя которого приводило немцев в трепет и ярость. Костры жмудинов горели рядом с кострами литвинов — это был один народ, с одинаковыми обычаями и языком.

При въезде в литовский лагерь взорам рыцарей открылось мрачное зрелище. Два трупа висели на сколоченной из бревен виселице; ветер раскачивал их, кружил, трепал и подкидывал с такой силой, что перекладыны виселицы жалобно скрипели. Почуввав трупы, кони захрапели и присели на задние ноги, а рыцари набожно перекрестились.

— Князь Витовт, — сказал Повала, когда они миновали виселицу, — был у короля, когда привели этих преступников, и я в ту пору был при короле. Наши епископы и вельможи еще раньше жаловались, что литвины на войне очень свирепствуют и не щадят даже костелов. И вот когда привели этих бедняг (это были знатные бояре, но они совершили святотатство), князь так разгневался, что на него страшно было глядеть, он приказал им самим повеситься. Несчастные сами должны были поставить себе виселицу и сами повесились, при этом они еще подгоняли друг дружку: «Живей, а то князь еще пуще разгневается!» Теперь все татары и литвины в страхе, они не смерти боятся, а княжеского гнева.

— Да, да, я помню, — сказал Збышко, — когда король разгневался на меня в Кракове за Лихтенштейна, молодой князь Ямонт, приближенный короля, тоже советовал мне самому повеситься. Он от чистого сердца дал мне этот совет, хоть я за это вызвал бы его на бой на утопанной земле, когда бы мне не собирались и так отрубить голову.

— Князь Ямонт теперь уже держится рыцарских обычаев, — заметил Повала.

Беседуя таким образом, они миновали огромный литовский лагерь и три отборных русских полка, из которых самым многочисленным был смоленский, и въехали в польский лагерь. Здесь стояло пятьдесят хоругвей — ядро и вместе с тем головная колонна всей армии. Доспехи у поляков были лучше, кони рослей, рыцари тоже были лучше обучены и ни в чем не

уступали западным. Избалованных воителей Запада шляхтичи превосходили и физической силой, и способностью переносить голод, холод и ратный труд. Обычаи их были проще, панцири грубее, но закал крепче, а их презрению к смерти и беспримерной стойкости в бою даже в те времена не раз удивлялись приезжавшие издалека французские и английские рыцари.

— Здесь, — заметил де Лорш, который давно знал польское рыцарство, — вся сила и вся наша надежда. Помню, в Мальборке не раз жаловались, что в битвах с вами за каждую пядь земли приходится платить реками крови.

— Кровь и теперь польется рекой, — ответил Мацько. — Ведь и орден никогда еще не собирал такого войска.

— Рыцарь Кожбуг, — сказал Повала, — ездил к магистру с письмами от короля, он рассказывал, что крестоносцы думают, будто ни римский император и никакой другой государь не могут сравниться с ними могуществом и что орден мог бы покорить все царства.

— Да, только нас-то побольше! — заметил Збышко.

— Это верно, но они ни в грош не ставят войско Витовта, думают, что оно вооружено кое-как и от первого удара рассыплется, как глиняный горшок под молотом. Не знаю, правда это или нет.

— И правда, и неправда, — ответил рассудительный Мацько. — Мы со Збышком знаем литвинов, вместе воевали. Что и говорить, оружие у них похуже и лошадки неказисты, случается, что не выдерживают литвины натиска рыцарей, но сердца у них отважные, пожалуй, отважнее немецких.

— Скоро можно будет испытать их, — сказал Повала. — У короля слезы стоят в глазах, когда он думает о том, сколько прольется христианской крови, в любую минуту готов он заключить справедливый мир, но кичливые крестоносцы этого не допустят.

— Это уж как пить дать! Знаю я крестоносцев, да и все мы их знаем, — подтвердил Мацько. — У Бога и чаши весов уже готовы, на которые положит он нашу кровь и кровь врагов нашего племени.

Они были недалеко от мазовецких хоругвей, где виднелись шатры господина де Лорша, когда заметили вдруг, что посреди «улицы» сбилась толпа и смотрит в небо.

— Эй, стойте, стойте! — раздался голос в толпе.

— Кто это говорит? Что вы тут делаете? — спросил Повала.

— Клобуцкий ксендз. А вы кто?

— Повала из Тачева, рыцари из Богданца и де Лорш.

— Ах, это вы, пан рыцарь, — таинственным голосом произнес ксендз,

подходя к Повале. — Взгляните на луну, посмотрите, что там творится. Это вещая, чудесная ночь!

Рыцари подняли головы и стали глядеть на луну, которая уже побледнела и склонялась к закату.

— Ничего не могу разобрать! — сказал Повала. — А что вы видите?

— Монах в капюшоне сражается с королем в короне! Посмотрите! Вот там! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! О, как страшно они бьются... Боже, будь милостив к нам, грешным!

Тишина воцарилась вокруг, все затаили дыхание.

— Смотрите, смотрите! — кричал ксендз.

— Правда! Что-то видно! — сказал Мацько.

— Правда! Правда! — подтвердили другие.

— О! Король повалил монаха, — вскрикнул внезапно клобуцкий настоятель, — поставил на него ногу! Слава Иисусу Христу!

— Во веки веков!

В эту минуту большая черная туча закрыла луну, и стало темно. Только от костров кровавыми полосами ложились поперек дороги трепетные отблески пламени.

Рыцари двинулись дальше.

— Вы что-нибудь видели? — спросил Повала, когда они отделились от толпы.

— Сперва ничего, — ответил Мацько, — а потом я ясно видел и короля, и монаха.

— И я.

— И я.

— Это знамение, — произнес Повала. — Видно, невзирая на слезы нашего короля, мира не будет.

— И битва будет такая, какой люди не запомнят, — прибавил Мацько.

И они в молчании поехали дальше, воодушевленные и торжественные.

Они уже подъезжали к шатру господина де Лорша, когда снова поднялся ураган такой силы, что в одно мгновение разметал костры мазуров. Тысячи головней, пылающих щепок и искр закружились в воздухе, и все кругом окуталось клубами дыма.

— Ну и буря! — воскликнул Збышко, опуская епанчу, которую порывом ветра закинуло ему на голову.

— А в буре как будто стоны слышны и рыдания.

— Скоро рассветет, но никто не знает, что принесет ему грядущий день, — прибавил де Лорш.

Ветер к утру не только не стих, но усилился, так что нельзя было раскинуть шатер, в котором король с самого начала похода слушал каждый день три обедни. Прибежал наконец Витовт, стал просить и молить отложить службу до более подходящего времени, когда войско сможет укрыться в лесу, и не задерживать выступления. Волей-неволей пришлось покориться.

С восходом солнца войско левой двинулось вперед, а за ним — необозримые вереницы повозок. Через час ветер поутих, и хорунжие смогли развернуть хоругви. Все поле кругом, насколько хватает глаз, покрылось словно пестрыми цветами. Не окинуть глазами было эту рать и лес знамен, под которыми двигались вперед полки. Шла краковская земля под красной хоругвью с белым орлом в короне; это была главная хоругвь всего королевства, великое знамя всего войска. Нес его Марцин из Вроцимовиц, герба Пулкозы, могучий и славный рыцарь. Далее шли королевские полки, один под двойным литовским крестом, другой под Погоней. Под знаменем Георгия Победоносца двигался сильный отряд иноземных наемников и охотников, состоящий преимущественно из чехов и моравов. На войну их много пришло, вся сорок девятая хоругвь состояла из моравов и чехов. Дикие и необузданные, особенно в пехоте, которая следовала за копейщиками, они были, однако, столь закалены в бою и с такой яростью бросались на врага, что все прочие пешие воины, сшибаясь с ними, отскакивали от них, как собака от ежа. Оружием им служили бердыши, косы, секиры и особенно железные чеканы; действовали они ими просто с устрашающей силой. Нанимались чехи и моравы ко всякому, кто платил деньги, ибо война, грабеж и сеча были их родной стихией.

Рядом с ними шли под своими знаменами шестнадцать хоругвей польских земель, в том числе одна перемышльская, одна львовская, одна галицкая и три подольские, а за ними пехота тех же земель, вооруженная больше рогатинами и косами. Мазовецкие князья, Януш и Земовит, вели двадцать первую, двадцать вторую и двадцать третью хоругви^[126]. За ними шли двадцать две хоругви епископов и вельмож: Яська из Тарнова, Ендрека из Тенчина, Спытка Леливы и Кшона из Острова, Миколоя из Михалова, Збигнева из Бжезя, Кшона из Козихглув, Кубы из Конецполя, Яська Лигензы, Кмиты и Заклики, а кроме того, родовые хоругви Грифитов, Бобовских, Козих Рогов и многих других, которые выходили на войну под

хоругвями с одним гербом, и клич у них был тоже один.

Земля расцвела под ними, как расцветают весною луга. Волна за волной текли кони и люди; над ними колыхался лес копий с пестрыми, словно цветочки, значками, а в хвосте выступали в облаках пыли пешие воины городов и деревень. Все знали, что идут на страшный бой, но знали и то, что это их долг, и с радостью шли вперед.

На правом крыле шли хоругви Витовта под разноцветными знаменами, но с одинаковым изображением литовской Погони^[127]. Не окинуть взором было всю эту рать, которая растянулась вширь среди полей и лесов на целую немецкую милю.

К полудню войско подошло к деревням Логдау и Танненберг и остановилось на опушке леса. Место как будто было удобное для отдыха, защищенное от неожиданного нападения; с левой стороны его ограждал плес Домбровского озера, с правой — озеро Любень, а впереди открывалось поле шириною с милю. Посреди этого поля, плавно поднимавшегося к западу, зеленели болотистые леса Грюнвальда, а поодаль серели соломенные крыши и пустые унылые перелогы Танненберга. Если бы крестоносцы стали спускаться к лесам с возвышенности, их легко можно было бы заметить, но поляки не ждали врагов раньше следующего дня. Войско остановилось здесь только на отдых; искушенный в военном деле Зындрам из Машковиц даже в походе сохранял боевой порядок, и потому хоругви расположились так, чтобы в любую минуту быть готовыми к бою. По приказу военачальника в сторону Грюнвальда, Танненберга и дальше были посланы гонцы на легких и быстроногих конях, чтобы разведать окрестности, а тем временем для Ягайла, который жаждал молитвы, на высоком берегу озера Любень раскинули часовенный шатер, чтобы король мог прослушать свои три обедни.

Ягайло, Витовт, князья мазовецкие и военный совет направились в часовню. Перед ней собрались славнейшие рыцари, чтобы накануне решительного дня поручить себя Богу да и поглядеть на короля. Все видели, как он шел в серой походной одежде, на суровом лице его лежала печать тяжелых забот. Годы мало изменили его, не покрыли морщинами лица и не убелили волос, которые он и сейчас заправлял за уши таким же быстрым движением, как и тогда, когда Збышко впервые увидел его в Кракове. Но теперь король шел, словно согбенный страшной ответственностью, тяготевшей на нем, словно погруженный в глубокую печаль. В войске говорили, что он все время плачет о христианской крови, которую придется пролить; так оно на самом деле и было. Ягайло содрогался при мысли о войне, особенно с людьми, у которых крест на

плащах и хоругвях, и всей душой жаждал мира. Напрасно польские вельможи и даже венгерские посредники^[128], Сцибор^[129] и Гара^[130], обращали его внимание на то, что магистр Ульрих, обуянный гордыней, как и все крестоносцы, готов вызвать на бой весь мир; напрасно собственный посол короля, Петр Кожбуг, клялся Крестом Господним и рыбами своего герба, что крестоносцы и слышать не хотят о мире, что они глумились и издевались над единственным человеком, который склонял их к миру, — над гневским комтуром, графом фон Венде, — король все еще лелеял надежду, что враг признает правоту его требований, пожалеет людскую кровь и страшный раздор окончится справедливым миром.

И теперь король направился в часовню молиться о мире, ибо страшной тревогой была объята его простая и добрая душа. Когда-то он сам предавал огню и мечу земли крестоносцев, но он был тогда языческим литовским князем, а теперь, увидев полыхающие селения, пепелища, слезы и кровь, он, польский король и христианин, устрасился гнева Божия, а ведь это было только начало войны. О, если бы на этом остановиться! Но не сегодня-завтра народы схватятся, и земля напится кровью. Воистину, творит беззаконие враг, но он носит крест на плаще и столь великие святыни охраняют его, что при мысли о них трепещет душа христианина. Все войско со страхом думало о них, и не копий, не мечей, не секир боялись поляки, а прежде всего этих священных останков. «Как же поднять руку на магистра, — говорили рыцари, не знавшие страха, — коли на панцире у него ковчежец, а в нем святые кости и древо животворящего Креста Господня!» Да, Витовт жаждал битвы, он толкал Ягайла к войне и рвался в бой, но исполненный страха Божия король просто трепетал при мысли о тех силах, которыми орден прикрывал свои беззакония.

Ксендз Бартош из Клобуцка уже кончил первую обедню, калишский ксендз Ярош должен был скоро начать вторую^[131], и король вышел из шатра поразмять ноги, затекшие от стояния на коленях; в эту минуту на взмыленном коне ураганом прискакал шляхтич Ганко Остойчик и крикнул, не успев соскочить с коня:

— Всемиловейший король, немцы идут!

Рыцари при этих словах схватились за оружие, король же изменился в лице, умолк на мгновение, а затем воскликнул:

— Слава Иисусу Христу! Где ты их видел, сколько хоругвей?

— Я видел одну хоругвь у Грюнвальда, — задыхаясь, ответил Ганко, — но за холмом пыль поднималась, их, верно, больше шло!

— Слава Иисусу Христу! — повторил король.

При первых же словах Ганки кровь бросилась Витовту в лицо, глаза его разгорелись, как угли; повернувшись к придворным, великий князь крикнул:

— Отменить вторую обедню, коня мне!

Но король положил ему руку на плечо и сказал:

— Брат, ты поезжай, а я останусь и прослушаю вторую обедню.

Витовт и Зындрам из Машковиц вскочили на коней, но не успели они повернуть к лагерю, как примчался второй гонец, шляхтич Петр Окша из Влостова, и закричал еще издали:

— Немцы! Немцы! Я видел две хоругви!

— По коням! — раздались голоса в толпе придворных и рыцарей.

Не успел Петр кончить, как снова раздался конский топот и прискакал третий гонец, за ним четвертый, пятый и шестой: все видели, что движутся всё новые и новые немецкие хоругви. Сомнений не было: вся рать крестоносцев преграждала дорогу королевскому войску.

Рыцари во весь дух понеслись к своим хоругвям. С королем у походной часовни осталась только горсточка придворных, ксендзов и оруженосцев. В эту минуту колокольчик возвестил, что калишский ксендз выходит служить вторую обедню. Ягайло воздел руки, молитвенно сложил их и, подняв очи горе, медленным шагом направился в шатер.

Когда кончилась обедня и он снова вышел из шатра, то собственными глазами увидел, что гонцы говорили правду: на краю широкой равнины, плавно поднимавшейся в гору, что-то темнело, словно лес вырос неожиданно

на пустынных полях, а над лесом, переливаясь на солнце всеми цветами радуги, развевались хоругви. Еще дальше, за Грюнвальдом и Танненбергом, к небу поднималась туча пыли. Король окинул взором всю грозную эту картину, а затем спросил у ксендза подканцлера Миколая:

— Какого нынче святого мы поминаем?

— Нынче день Апостолов, — ответил ксендз подканцлер.

Король вздохнул:

— Итак, день Апостолов станет последним днем жизни для многих христиан, которые схватятся сегодня на этом поле.

И он указал рукой на широкую пустынную равнину, посредине которой, на полпути к Танненбергу, виднелась лишь купа вековых дубов.

Тем временем королю подвели коня, а в отдалении показались шестьдесят копейщиков, которых Зындрам из Машковиц прислал для личной охраны его величества.

Королевской стражей предводительствовал Александр^[132], младший сын плотского князя, брат того самого Земовита, который обладал особым даром полководца и заседал в военном совете. Следующее за ним место занимал в охране литовский племянник государя, Зигмунт Корибут^[133], юноша беспокойный, но подававший большие надежды, которому пророчили великую будущность. Из рыцарей наиболее прославленными были: Ясько Монжик из Домбровы, сущий великан, очень схожий статью с Пашком из Бискупиц, а в силе мало чем уступавший самому Завише Чарному; чешский барон Жулава, щуплый, худощавый, но на диво искусный воитель, прославившийся своими поединками при чешском и венгерском дворах, где он положил десятка два австрийских рыцарей; и другой чех, Сокол, лучник над лучниками; Бениаш Веруш из Великой Польши; Петр Миланский; литовский боярин Сенко из Погоста, отец которого, Петр, предводительствовал одной из смоленских хоругвей; родич короля, князь Федушко; князь Ямонт и, наконец, польские рыцари, «избранные из тысяч», которые поклялись до последней капли крови защищать короля и охранять его в битве от опасности. Непосредственно при особе короля находились: ксендз подканцлер Миколай и писец — Збышко из Олесницы, ученый юноша, искусный в чтении и письме и вместе с тем сильный, как вепрь. Оружие государя охраняли три оруженосца: Чайка из Нового Двора, Миколай из Моравицы и Данилко Русин, который держал лук короля и колчан. В свите стояло также десятка два придворных, которые на быстрых скакунах должны были доставлять войску приказы.

Оруженосцы облачили короля в пышные блестящие доспехи, а затем подвели ему гнедого коня, тоже «избранного из тысяч», который в знак доброго предзнаменования фыркал из-под стального налобника и, оглашая воздух ржанием, приседал, будто птица, готовая взмыть кверху. Почувствовав под собой коня, а в руке копье, король мгновенно преобразился. Выражение грусти пропало на его лице, маленькие черные глаза сверкнули огнем, на щеках заиграл румянец; но это длилось лишь один краткий миг — когда ксендз подканцлер стал осенять его крестом, король снова стал мрачен и смиренно склонил голову в серебристом шлеме.

Тем временем немецкое войско, медленно спускаясь с холмов, миновало Грюнвальд, миновало Танненберг и в полном боевом порядке остановилось посередине поля. Снизу из польского лагеря были прекрасно видны грозные ряды рослых, закованных в броню коней и рыцарей. Когда ветер не так сильно развевал хоругви, зоркий глаз мог даже явственно различить знаки, которыми были расшиты доспехи: кресты, орлы, грифы, мечи, шлемы, агнцы, головы зубров и медведей.

Старый Мацько и Збышко, которые воевали уже с крестоносцами и знали их войско и гербы, показывали своим серадзянам две хоругви магистра, в которых служили цвет и гордость рыцарства, главную хоругвь ордена, которой предводительствовал Фридрих фон Валленрод, могучую хоругвь Георгия Победоносца, под знаменем с красным крестом на белом поле, и множество других хоругвей крестоносцев. Мацько и Збышко не знали только знамен разных иноземных гостей, тысячи которых стекались сюда со всех концов света: из Австрии, Баварии, Швабии и Швейцарии, из Бургундии с ее прославленным рыцарством, из богатой Фландрии, из солнечной Франции, о рыцарях которой Мацько в свое время рассказывал, что, даже поверженные в прах, они говорят дерзкие слова, из заморской Англии — родины метких лучников, и даже из далекой Испании, где в непрерывных сражениях с сарацинами расцвели, как нигде, мужество и рыцарская доблесть.

При мысли о том, что через минуту им придется схватиться с немцами и всем этим блестящим рыцарством, кровь закипела в жилах непреклонных шляхтичей из Серадза, Конецполя, Кшесни, Богданца, Рогова и Бжозовой и из прочих польских земель. У стариков лица стали суровы и сосредоточенны, они знали, какой тяжкий и суровый ждет их бранный труд. Зато у молодых сердца забились, как бьются, скуля, на своре собаки, завидев издали дикого зверя. Одни крепче сжимали копья, рукояти мечей и секир и осаживали коней, словно готовясь к прыжку; другие пылали; иные дышали тяжело, словно им стал вдруг тесен панцирь. Однако искушенные

опытом воители успокаивали их. «Не минует сия чаша и вас, — говорили они, — хватит на всех, дай только Бог, чтобы не стала она чашей смертной».

Озирая с холмов лесистую низменность, крестоносцы видели на опушке леса лишь десятка два польских хоругвей и не знали, все ли это королевское войско. Правда, слева, у озера, тоже виднелись серые толпы воинов, а в кустах сверкали как будто сулицы, то есть легкие копья литвинов. Но это мог быть и крупный разведочный польский отряд. И лишь беглецы из разрушенного Гильгенбурга, десятка два которых привели к магистру, заверили, что крестоносцам противостоит все польско-литовское войско.

Но напрасно говорили беглецы о том, сколь сильно это войско. Магистр Ульрих не хотел им верить, ибо с самого начала этой войны он верил только в то, что было ему на руку и предвещало несомненную победу. Разведчиков и гонцов он не рассылал, полагая, что решительная битва все равно должна разыгаться, а кончиться она может только страшным разгромом врага. Уверенный в силе своего неисчислимого войска, какого еще ни один магистр не выводил доселе на битву, он пренебрегал врагом; когда же гневский комтур, который по собственному почину производил разведку, докладывал ему, что у Ягайла войско все же больше, магистр отвечал ему:

— Что это за войско! Только с поляками придется повозиться, а все прочие — будь их хоть тьма тем — просто сброд, который не оружием ловко орудует, а ложкой.

Двигаясь с неисчислимой силой в бой, магистр вспыхнул от радости, когда, представ вдруг перед неприятелем, увидел пурпурную хоругвь всего королевства, приметную на темном фоне леса, и перестал сомневаться в том, что перед ним стоят главные силы короля.

Но немцы не могли ударить на поляков, стоявших под лесом и в самом лесу, ибо рыцарство было страшным только в открытом поле, а сражаться в лесной чаще не любило и не умело.

Магистр созвал военачальников на краткий совет, чтобы решить, как выманить врага из лесу.

— Клянусь Георгием Победоносцем! — воскликнул он. — Мы проехали без отдыха две мили, изнываем от жары, обливаемся под доспехами потом. Не станем же мы ждать, пока врагу вздумается выйти в поле.

В ответ на это умудренный годами и опытом граф Венде сказал:

— Посмеялись уже здесь над моими словами, и посмеялись те, кто,

чего доброго, побежит с этого поля, на котором я сложу свою голову. — Тут он бросил взгляд на Вернера фон Теттингена. — И все же я скажу то, что повелевают мне сказать совесть и любовь к ордену. Нет, не трусы поляки; знаю я, что король до последней минуты ждет посланцев мира.

Ничего не ответил ему Вернер фон Теттинген, только фыркнул пренебрежительно; но речи Венде не по вкусу пришлись магистру.

— Разве время теперь думать о мире! — воскликнул он. — О другом надо держать нам совет.

— Делу, которое угодно Богу, всегда время, — возразил фон Венде.

Но свирепый члуховский комтур Генрих, который поклялся, что прикажет носить перед собою два обнаженных меча до тех пор, пока не обагрит их польскою кровью, обратил на магистра свое жирное, лоснящееся от пота лицо и вскричал в диком гневе:

— По мне, лучше смерть, чем позор! Я один ударю с этими мечами на все польское войско!

Ульрих насупился.

— Ты непокорствуешь, — сказал он.

А затем обратился к комтурам:

— Подумайте, как выманить врага из лесу.

Каждый военачальник давал свой совет; но комтурам и славнейшим иноземным рыцарям понравился совет Герсдорфа отправить к королю двух герольдов, которые возвестили бы, что магистр посылает ему два меча и вызывает поляков на смертный бой, а коли мало им поля, то он, магистр, отойдет с войском, чтобы дать и им место.

Не успел король покинуть берег озера и направиться на левое крыло к польским хоругвям, где он должен был опоясать многих рыцарей, как ему дали вдруг знать, что со стороны войска крестоносцев едут два герольда.

Сердце Владислава преисполнилось надеждой:

— А может, они едут со справедливым миром!

— Дай-то Бог! — ответили духовные.

Король послал за Витовтом, но великий князь был занят построением своих хоругвей и не мог прибыть, а герольды тем временем не спеша приближались к лагерю.

В ярких лучах солнца было ясно видно, как они подъезжают на рослых, покрытых попонами боевых конях; у одного из них на щите был императорский черный орел на золотом поле, у другого, который был герольдом князя щецинского^[134], — гриф на белом поле. Ряды воинов расступились перед ними, и, спешившись, герольды через минуту предстали перед великим королем; склонив головы и воздав тем самым ему

почесть, они приступили к делу.

— Магистр Ульрих, — сказал первый герольд, — вызывает вас, ваше величество, и князя Витовта на смертный бой и, дабы поднять дух ваш, а храбрости у вас, видно, мало, посылает вам эти два обнаженных меча.

С этими словами он сложил мечи у королевских ног. Ясько Монжик из Домбровы перевел его слова королю, и как только он кончил переводить, выступил вперед второй герольд, с грифом на щите, и сказал:

— Магистр Ульрих повелел возвестить вам, государь, что, коли мало вам поля для битвы, он отойдет со своим войском, дабы не тратили вы в лесу праздное время.

Ясько Монжик перевел и его слова; воцарилась тишина, только рыцари королевской свиты, услышав эти дерзостные и оскорбительные речи, заскрежетали тихо зубами.

Последняя надежда Ягайла пропала. Он ожидал посланцев мира и согласия, а перед ним предстали посланцы гордыни и войны.

Подняв горе увлажненные слезами глаза, он ответил:

— Нет у нас недостатка в мечах; но я принимаю и эти, как предвозвестие победы, которое через вас ниспосылает мне Сам Бог. И поле битвы определит Всевышний, к Суду коего я взываю, коему жалобу приношу на обиду, нанесенную мне, на беззаконие ваше и гордыню, аминь.

И две крупные слезы скатились по его смуглым щекам.

Но тут в толпе рыцарей раздались голоса:

— Немцы отходят. Дают нам поле!

Герольды удалились, и через минуту их увидели снова; они поднимались в гору на своих рослых конях, и шелковые одежды, надетые поверх доспехов, переливались в солнечных лучах.

Польское войско стройными боевыми порядками выступило из лесной чащи. В передних рядах шли самые могучие рыцари, за ними, отступив, — главная хоругвь, а уж за главной хоругвью — пешие и наемные воины. Таким образом, между рядами войска образовались две длинные улицы, вдоль которых пролетали на конях Зындрам из Машковиц и Витовт. Последний без шлема, в блестящих доспехах был подобен зловещей звезде или пламени, гонимому вихрем.

Рыцари втягивали полной грудью воздух и крепче усаживались в седлах.

Вот-вот должна была начаться битва.

Тем временем магистр озирает королевское войско, которое выступало из лесу.

Долго глядел он на бесчисленные его ряды, на два распростершихся, словно у огромной птицы, крыла, на радужные переливы колеблемых ветром хоругвей, и вдруг сердце его сжалось от незнакомого страшного предчувствия. Быть может, духовному взору его представились горы трупов и реки крови. Он не страшился людей; но, быть может, убоялся Бога, который там, на небесах, держал уже чаши весов победы...

Впервые пришло ему на ум, что настал страшный день, и только сейчас он почувствовал, сколь безмерна тяжесть ответственности, которую принял он на свои плечи.

Лицо его побледнело, губы задрожали, и из глаз полились слезы. Комтуры с изумлением смотрели на своего вождя.

— Что с вами? — спросил граф Венде.

— Вот уж поистине подходящее время для слез! — воскликнул комтур члуховский, свирепый Генрих.

А великий комтур Куно Лихтенштейн произнес, выпятив губы:

— Я открыто осуждаю вас за это, магистр, ибо ныне вам приличествует поднимать дух рыцарей, а не расслаблять сердца их. Воистину, не таким мы доныне видели вас.

Но магистр не мог унять слезы, и они все текли на его черную бороду, словно это не он плакал, а кто-то другой.

Наконец, совладав с собою и обратив суровый взор на комтуров, он крикнул:

— К хоругвям!

И так властен был этот призыв, что все бросились к своим хоругвям, а он протянул руку и приказал оруженосцу:

— Подай мне шлем.

У воинов обеих ратей уже давно молотом стучали сердца, а трубы все еще не давали сигнала к бою.

Наступила минута ожидания, которая всем показалась тягостней самой битвы. Между немцами и королевским войском, ближе к Танненбергу, высилась в поле купа вековых дубов, на которые взобрались местные крестьяне, чтобы поглядеть на схватку несметных ратей, каких мир не видывал с незапамятных времен. Одна только эта купа дубов и видна была в поле, а так все оно было пустынным, унылым и серым, подобным мертвой степи. Только ветер гулял по нему да над ним тихо витала смерть. Взоры рыцарей невольно обращались к этой зловещей, безмолвной равнине. Тучи, проносясь по небу, по временам застилали солнце, и тогда на равнину падала тень смерти.

И вдруг поднялась буря. Она зашумела в лесу, сорвала множество листьев, ринулась в поле, подхватила сухие стебли трав, подняла тучи пыли и швырнула их в глаза крестоносцам. И в эту минуту воздух сотрясли звуки труб, рогов и пищалок, и все литовское крыло ринулось вперед, словно несметная стая птиц. Литвины, по своему обычаю, с места пустились вскачь. Вытянув шеи и прижав уши, кони во весь дух мчались вперед; размахивая мечами и сулицами, всадники с оглушительным криком летели на левое крыло крестоносцев.

Именно там был магистр. Тревога его смирилась, слезы иссякли, глаза сверкали. Увидев тьму литвинов, он обратился к Фридриху Валленроду, который предводительствовал левым крылом:

— Витовт выступил первым. Начинайте и вы во имя Бога.

И манием правой руки он двинул в бой четырнадцать хоругвей железного рыцарства.

— Gott mit uns!^[135] — воскликнул Валленрод.

Наклонив копья, хоругви сперва тронулись шагом. Но как сброшенный с горы камень набирает при падении все большую скорость, так и крестоносцы перешли с шага на рысь, затем на галоп и мчались страшные, неукротимые, словно лавина, которая должна все сокрушить, все смести с лица земли, что только встретится на ее пути.

Земля дрожала и сотрясалась под ними.

С минуты на минуту битва должна была разлиться и разгореться по всему строю, и польские хоругви запели старую боевую песнь святого Войцеха^[136]. Тысячи одетых бронею голов поднялись к небу, тысячи очей устремились ввысь, и из тысяч грудей вырвался один могучий голос, подобный небесному грому:

Божья Мать, Дева Мать,
О Пречистая Мария,
Ты Христа нам Иисуса
Ниспошли, низведи...
Кирие элейсон!..

И они тотчас ощутили силу в своих жилах и в сердце своем готовность принять смерть. И такая неодолимая победная мощь слышалась в их голосах, словно по небу и в самом деле перекачивался гром. Колыхнулись копья в руках рыцарей, колыхнулись хоругви и значки, колыхнулся воздух,

затрепетали ветви в лесу, разбуженное эхо отозвалось в его недрах и, как бы вторя песне, понесло ее по озерам и лугам, по всей необъятной шири:

Ниспошли, низведи...
Кирие элейсон!..

А поляки все пели:

Христе, Сыне Божий, на Тя уповаем,
Услыши глас наш, к Тебе взываем,
Услышь, Господи, моления,
Ниспошли благословенье,
Житие во смирении
И по смерти спасение...
Кирие элейсон!..

И эхо подхватило: «Кирие элейсон!» А на правом крыле, все приближаясь к середине поля, уже кипела жестокая битва.

Гром, ржание коней, страшные крики воителей смешались со звуками песни. Но по временам крики стихали, словно у людей спирало дух, и тогда снова можно было услышать гром голосов:

Адам, ты у Бога в совете,
Взывают к тебе твои дети,
Исполнили мы обеты,
В чертог нас райский прими!
Там радость,
Там сладость,
Там Бога мы узрим, Всевышнего узрим...
Кирие элейсон!

И снова эхом раскатилось по лесу: «Кирие элейсон!» Крики на правом крыле стали громче; но никто не мог ни увидеть, ни рассказать, что там творится, ибо магистр Ульрих, наблюдавший с холма за битвой, обрушил в эту минуту на поляков двадцать хоругвей под предводительством Лихтенштейна.

К передним рядам поляков, состоявшим из прославленных рыцарей, ураганом примчался Зындрам из Машковиц и, указывая мечом на надвигавшуюся тучу немцев, крикнул так громко, что кони в первом ряду присели на задние ноги:

— Вперед! На врага!

Припав к шеем коней и наставив копья, рыцари ринулись вперед.

Но Литва дрогнула под страшным натиском немцев. Полегли в бою первые ряды лучше вооруженных знатных бояр. Следующие яростно схватились с крестоносцами; но никакое мужество, никакая стойкость, ничто не могло спасти их от разгрома и гибели. Да и как могло быть иначе, когда на одной стороне сражались рыцари, закованные в броню, на защищенных бронею конях, а на другой — крепкий и рослый народ, но на маленьких лошадках и покрытый одними звериными шкурами?.. Тщетно упорный литвин силился добраться до шкуры немца. Сулицы, сабли, рогатины, палицы с насаженными на них кремнями или гвоздями отскакивали от железных доспехов, словно от каменной глыбы или замковой стены. Люди и кони теснили злосчастные рати Витовта, их рубили мечи и секиры, пронзали и крушили бердыши, топтали конские копыта. Тщетно князь Витовт бросал на смерть все новые и новые рати, тщетно было упорство, напрасно презрение к смерти, напрасны реки крови! Сначала рассыпались татары, бессарабы и валахи, а вскоре дала трещину стена литвинов, и дикое смятение охватило всех воинов.

Большая часть литовского войска бежала в сторону озера Любень, а за ней бросились в погоню главные немецкие силы; тысячами косили крестоносцы бегущих, так что весь берег озера усеялся трупами.

Другая, меньшая часть войска Витовта, состоявшая из трех смоленских полков, отступала к польскому крылу, теснимая шестью хоругвями немцев, к которым присоединились потом и те, что преследовали литвинов. Но смоленцы были лучше вооружены и упорно сдерживали натиск врага. Битва обратилась в кровавую сечу. За каждый шаг, за каждую пядь земли лились реки крови. Один из смоленских полков был почти совсем уничтожен. Два другие боролись с яростью и отчаянием. Но воодушевленных победой немцев уже ничто не могло остановить. Некоторые их хоругви пришли в иступление. Многие рыцари, вонзая шпоры в бока коням и поднимая своих скакунов на дыбы, очертя голову бросались с занесенной секирой или мечом в самую гущу врагов. Удары их мечей и бердышей достигли страшной силы, и вся лавина, тесня, топча и круша смоленских витязей, зашла наконец во фланг переднему и главному польским отрядам, которые уже час сражались с немцами, предводимыми

Куно Лихтенштейном.

Но с поляками Лихтенштейну не так легко было справиться, потому что и броня, и кони были у них лишь немногим хуже, а рыцарская выучка одинакова. Польские тяжелые копья остановили немцев и отбросили их назад; первыми на крестоносцев обрушились три грозных хоругви: краковская, конная под предводительством Ендрека из Брохоциц и королевская, которой предводительствовал Повала из Тачева. Однако самая жестокая битва разгорелась только после того, как рыцари, переломав копья, схватились за мечи и секиры. Щит ударялся о щит, сшибались воители, падали кони, повергались знамена; под ударами мечей и обухов трещали шлемы, наплечники и панцири; обагрялось кровью железо, и рыцари валились с седел, как подрубленные сосны. Те крестоносцы, которые уже сражались с поляками под Вильно, знали, как «дик» и «необуздан» этот народ; но потрясенные новички и иноземные гости испытали чувство, подобное страху. Не один из них, невольно осадив коня, потерянно глядел вперед и погибал от удара польской длани, так и не успев сообразить, что же ему делать. Словно град, который сыплется из медно-черной тучи, безжалостно выбивая ржаное поле, сыпались на врага страшные удары; разили мечи, разили топоры, разили секиры, разили без пощады, без отдыха и передышки; лязгали, словно в кузнице, железные доспехи; смерть, как вихрь, гасила жизни; стон рвался из груди, потухали глаза, смертная бледность разливалась по лицам, и молодые воины погружались в вечный сон.

Летели искры, высеченные железом, обломки копий, значки, страусовые и павлиньи перья. Конские копыта скользили по лежавшим на земле окровавленным панцирям и убитым коням. Раненых кони топтали подковами.

Но никто не пал еще из прославленных польских рыцарей; выкрикивая имена своих патронов или родовые кличи, они шли вперед в шуме и смятении, как огонь идет по сухой степи, пожирая кусты и травы. Лис из Тарговиска первый напал на могучего комтура из Остероды, Гамрата, который, потеряв щит, обвил руку своим белым плащом и прикрывался им от ударов.

Лезвием меча Лис рассек плащ и наплечник и отрубил Гамрату руку, а другим ударом проткнул ему живот так, что острие уперлось в спинной хребет. Увидев гибель вождя, воины из Остероды в тревоге подняли крик; но Лис ринулся на них, как орел на журавлей. Сташко из Харбимовиц и Домарат из Кобылян бросились к нему на помощь, и втроем они в ярости

щелкали крестоносцев, словно медведи, когда, забравшись на поле гороха, они луцат молодые стручки.

Там же Пашко Злодзей из Бискупиц убил прославленного брата Кунца Адельсбаха. Увидев великана с окровавленной секирой, к которой вместе с кровью прилипли человеческие волосы, Кунц испугался и хотел сдаться в плен. Но Пашко, не расслышав его в шуме, привстал на стремянах и, будто яблоко, надвое рассек ему голову вместе со стальным шлемом. Вслед за тем он кончил Лёха из Мекленбурга, Клингенштейна, шваба Гельмсдорфа из знатного графского рода, Лимпаху и Нахтервица из Могунции; объятые ужасом немцы бросились от него в стороны, а он все крушил их, словно стену, которая уже валится, и видно было только, как, замахиваясь секирой, он поднимается в седле, как сверкает секира и вслед за ударом немецкий шлем валится под ноги коням.

Там же могучий Енджей из Брохоциц, сломав меч на голове рыцаря с совой на щите и забралом в виде совиной головы, схватил немца за руку, сломал ему ее, вырвал у него меч и мгновенно зарубил врага. Юного рыцаря Дингейма, почти ребенка, который остался уже без шлема и смотрел на него детскими глазами, Енджей пожалел и взял в плен. Он бросил Дингейма своим оруженосцам, не подозревая, что берет в плен будущего зятя: юный рыцарь впоследствии женился на его дочери и навсегда остался в Польше.

Немцы в ярости бросились на Енджея, чтобы отбить молодого Дингейма, который происходил из знатного рода прирейнских графов; но доблестные рыцари Сумик из Надброжа, два брата из Пломыкова, Добко Охвя и Зых Пикна осадили их, как лев осаживает быка, и отбросили к хоругви Георгия Победоносца, неся смерть и опустошение в ряды крестоносцев.

С иноземными рыцарями схватилась королевская хоругвь, которой предводительствовал Цёлек из Желехова. Повала из Тачева, обладавший нечеловеческой силой, опрокидывал здесь людей и коней, разбивал, как яичные скорлупки, железные шлемы, один бросался на целые полчища, а рядом с ним шли Лешко из Горая, другой Повала, из Выгуча, Мстислав из Скшинна и чехи Сокол и Збиславек. Долго сражались они, ибо на одну польскую хоругвь ударили сразу три вражеских; но когда на помощь полякам пришла двадцать седьмая хоругвь Яська из Тарнова, силы стали примерно равными и крестоносцы были отброшены на половину полета стрелы, пущенной из самострела.

Еще дальше отбросила их большая краковская хоругвь, которой предводительствовал сам Зындрам; в голове ее шел с прославленными

рыцарями самый грозный из всех поляков — Завиша Чарный, герба Сулима. Бок о бок с ним сражались его брат Фарурей, Флориан Елитчик из Кoryтницы, Скарбек из Гур, славный Лис из Тарговиска, Пашко Злодзей, Ян Наленч и Стах из Харбимовиц. От страшной руки Завиши гибли храбрые воины, словно навстречу им шла в черных доспехах сама смерть, а он бился, сдвинув брови и сжав губы, спокойный, внимательный, словно делал самое обыкновенное дело; время от времени он мерно двигал щитом, отражая удар; но за каждым взмахом его меча раздавался ужасный крик сраженного рыцаря, а он даже не оглядывался и шел вперед, разя врага, словно черная туча, которая непрерывно разражается громом.

Познанская хоругвь, на знамени которой был орел без короны, тоже билась не на жизнь, а на смерть, а архиепископская и три мазовецкие соревновались с нею. Но и все прочие старались превзойти одна другую в упорстве, отваге и стремительности. В серадзской хоругви молодой Збышко из Богданца бросался, как вепрь, в самую гущу врагов, а рядом с ним шел старый грозный Мацько и разил немцев, нанося рассчитанные удары, словно волк, который если кусает, то только насмерть.

Он повсюду искал глазами Куно Лихтенштейна, но не мог углядеть его во всеобщем смятении и выбирал пока других рыцарей, одетых побогаче, и худо было тому, кто встречался с ним. Неподалеку от обоих богданецких рыцарей ожесточенно бился мрачный Чтан из Рогова. В первой же стычке у него был разбит шлем, и теперь он сражался с обнаженной головой, пугая своим окровавленным волосатым лицом немцев, которым казалось, что они видят не человека, а какое-то лесное чудовище.

Сотни и тысячи рыцарей полегли уже с обеих сторон, когда наконец под ударами разъяренных поляков дрогнули немецкие ряды; но тут произошло нечто такое, что в одно мгновение могло решить участь всей битвы.

Возвращаясь из погони за литвинами, воодушевленные и опьяненные победой, немецкие хоругви ударили сбоку на польское крыло.

Уверенные, что все королевское войско уже разбито и одержана решительная победа, они возвращались беспорядочными толпами с криками и пением и вдруг увидели жестокую сечу и поляков, готовых торжествовать победу, которые окружали немецкие полчища.

Нагнув головы, крестоносцы сквозь решетки забрал уставились в изумлении на открывшуюся перед ними картину, а затем, вонзив шпоры в бока коням, ринулись в самое пекло.

Одна за другой мчались их толпы, и вскоре тысячи монахов-рыцарей обрушились на уставшие уже польские хоругви. Увидев, что пришла

подмога, немцы радостно закричали и с новой яростью ударили на поляков. По всему строю закипела ожесточенная битва, земля обагрилась потоками крови, небо омрачилось, и слышались глухие раскаты грома, словно сам Бог пожелал вмешаться в ряды сражающихся.

Победа стала склоняться на сторону немцев... В польских рядах начиналось смятение, и исступленные полчища крестоносцев уже дружно запели победную песнь:

Christ ist erstanden!.. [\[137\]](#)

Но в это время произошло нечто еще более страшное.

Один из поверженных в прах крестоносцев вспорол ножом брюхо коня, на котором сидел Марцин из Вроцимовиц, держа большую, священную для всего войска краковскую хоругвь с орлом в короне. Мгновенно рухнули скакун и всадник, а вместе с ними заколебалась и упала хоругвь.

Миг один — и сотни железных рук протянулись за нею, а немцы заревели от восторга. Им казалось, что это уже конец, что страх овладеет теперь поляками и в рядах их начнется смятение, что приходит для врага час поражения, истребления и резни, а им остается только преследовать и уничтожать бегущих.

Но они жестоко обманулись в своих ожиданиях.

Правда, при виде падающей хоругви у польских воителей вырвался из груди крик отчаяния; но не страх, а ярость звучала в этом отчаянном крике. Словно жаром обдало панцири. Самые грозные рыцари обеих ратей, как разъяренные львы, ринулись к поверженному хорунжему, и буря поднялась вокруг польской хоругви. Люди и кони свились в один чудовищный клубок, в котором мелькали руки, скрежетали мечи, свистели секиры, сталь лязгала о железо, а гром, стоны и дикие крики сраженных слились в один ужасный хор, словно все грешники возопили вдруг из недр преисподней. Столбом взвилась пыль, и из клубов ее, ничего не видя от страха, вырвались одни кони без всадников, с налитыми кровью глазами и дико развевающимися гривами.

Недолгим был этот бой. Ни один немец не вышел живым из жаркой схватки, и над польским войском снова взвилась отбитая хоругвь. Ветер повеял на нее, развернул полотнище, и хоругвь раскрылась, как огромный цветок, как символ надежды, как символ гнева Божия, настигающего крестоносцев, и победы поляков.

Кликами торжества приветствовало свое знамя все войско и с таким ожесточением ударило на немцев, словно каждая хоругвь стала вдвое больше и сильнее.

Без пощады, без отдыха, ни на миг не переводя дыхания, били крестоносцев поляки; они теснили врагов со всех сторон, преследовали их, безжалостно разили ударами мечей, секир, топоров, дубин, и крестоносцы снова дрогнули и стали отступать. То там, то тут раздавалась мольба о пощаде. То там, то тут из свалки вырывался иноземный рыцарь с потрясенным, побелевшим от страха лицом и бежал куда глаза глядят на обезумевшем своем коне. Большая часть белых плащей, которые рыцари-монахи носили поверх доспехов, валялась уже на земле.

Страшная тревога объяла сердца военачальников ордена, они поняли, что все их спасение только в магистре, который стоял наготове во главе шестнадцати запасных хоругвей.

И магистр, глядя с холма на битву, тоже понял, что час настал, и послал в бой свои железные хоругви, как вихрь, который насыляет тяжелую градовую тучу, несущую гибель и смерть.

Но еще раньше перед третьим строем польского войска, не принимавшим до этого участия в бою, появился на разгоряченном коне Зындрам из Машковиц, который недремлющим оком озирает все поле и следил за ходом битвы.

Здесь с польской пехотой стояло несколько рот наемных чехов. Одна из них дрогнула еще перед началом битвы, но ее вовремя пристыдили, и, прогнав своего начальника, она осталась в строю и теперь рвалась в бой, чтобы искупить свою минутную слабость. Но главные силы составляли польские полки, состоявшие из конных, но не панцирных, бедных шляхтичей, а также из пеших воинов городов и главным образом деревень, которые были вооружены рогатинами, тяжелыми копьями и косами, насаженными торчком на древка.

— К бою, к бою! — кричал могучим голосом Зындрам из Машковиц, как молния пролетая вдоль рядов.

— К бою! — повторили младшие военачальники.

Поняв, что пришел их черед, крестьяне уперли в землю древка копий, чеканов и кос и, осенив себя крестным знаменем, поплевали в свои большие натруженные руки.

По всему строю разнесся этот зловещий звук, а затем каждый воин, вздохнув полной грудью, схватился за свое оружие. В эту минуту к Зындраму подскочил гонец с приказом от короля и прерывистым голосом прошептал ему что-то на ухо; повернувшись к пешим воинам, Зындрам

взмахнул мечом и крикнул:

— Вперед!

— Вперед! Лавой! Равняйся! — раздалась команда военачальников.

— Эй, хлопцы! На немецких псов! Бей их!

И рать потекла. Чтобы не сбиваться с ноги и не ломать строя, все хором повторяли:

— Бо-го-ро-ди-це Де-во, ра-дуй-ся, бла-го-дат-на-я Ма-ри-я, Го-сподь с то-бо-ю!..

Они шли, как вешние воды. Шли наемные полки, горожане, крестьяне из Малой и Великой Польши, силезцы, которые перед войной нашли убежище в королевстве, и мазуры из Элка, которые бежали от крестоносцев. Все поле засверкало, заискрилось на солнце от кос и остриев копий.

Но вот они дошли.

— Бей! — крикнули военачальники.

— Ух!

И каждый крякнул, как добрый дровосек, когда первый раз взмахнет топором, и пошли ратники рубить что было силы.

Гром и крики взметнулись к небесам.

Король, который с холма руководил всей битвой, рассылая во все концы гонцов, и даже охрип, отдавая приказы, увидел наконец, что сражается уже все войско, и сам стал рваться в бой.

Боясь за священную особу государя, придворные не пускали его. Жулава схватил за узду его коня и не отпустил даже тогда, когда король ударил его копьем по руке. Другие преграждали королю дорогу, заклиная его не ехать, уверяя, что это не решит участи битвы.

А меж тем над королем и всей его свитой нависла грозная опасность.

Следуя примеру хоругвей, которые вернулись после разгрома литвинов, магистр тоже решил напасть на поляков сбоку и пошел в обход; шестнадцать отборных его хоругвей должны были поэтому пройти неподалеку от холма, на котором стоял Владислав Ягайло.

В свите тотчас заметили опасность, но отступить было поздно. Свернули только королевское знамя, да писец короля, Збигнев из Олесницы, во весь дух поскакал к ближайшей хоругви, которая под предводительством рыцаря Миколая Келбасы готовилась как раз встретить врага.

— Король в западне! На помощь! — крикнул Збигнев.

Но Келбаса, который потерял уже шлем, сорвал с головы окровавленную, пропотелую шапочку и, показав ее гонцу, воскликнул в

страшном гневе:

— Вот погляди, как мы здесь бездельничаем! Безумец! Ужели ты не видишь, что эта туча движется на нас и что мы навели бы ее на короля? Пооди прочь, покуда я не ткнул тебя мечом.

Позабыв о том, с кем он говорит, задыхаясь от гнева, он и впрямь замахнулся на гонца, но тот понял, с кем имеет дело, и, сознавая, что старый воитель прав, понесся назад к королю и передал ему все, что слышал.

Королевская стража стала стеной, чтобы грудью защитить государя. Однако на этот раз придворные не смогли удержать короля, и он выехал на коне в первый ряд. Пока они построились, немецкие хоругви подошли так близко, что можно было ясно различить гербы на щитах. Самое отважное сердце содрогнулось бы от одного вида крестоносцев, ибо в бой шел цвет рыцарства. В блистательных доспехах, на рослых, как туры, конях, не уставшие от битвы, в которой они пока не принимали участия, а, напротив, хорошо отдохнувшие, они мчались, как ураган, с громом и топотом, шумя знаменами и значками, и сам великий магистр летел впереди в широком белом плаще, развевающемся на ветру, как огромные крылья орла.

Магистр уже миновал королевскую свиту и несся туда, где кипела самая жаркая битва, ибо что могла значить для него горсточка рыцарей, стоявших в стороне, в которой он не помышлял найти короля и совсем его не заметил! Но от одной хоругви отделился великан немец и, то ли узнав Ягайла, то ли соблазнившись серебристыми королевскими доспехами, то ли, наконец, желая блеснуть рыцарской своею отвагой, нагнул голову, наставил копье и понесся прямо на короля.

Не успела стража броситься к королю, как тот вонзил шпоры коню в бока и ринулся на немца. Они неминуемо сшиблись бы в смертельной схватке, когда бы не тот самый Збигнев из Олесницы, молодой писец короля, который в одинаковой мере был сведущ в латыни и в рыцарском деле. С обломком копья в руке он сбоку подскакал к немцу и, ударив его по голове, разбил шлем и свалил крестоносца наземь ^[138]. В ту же минуту сам король ударил немца острием в открытый лоб и собственноручно изволил его убить.

Так погиб прославленный немецкий рыцарь Дипольд Кикериц фон Дибер. Коня его поймал князь Ямонт, а сам он лежал сраженный, в белом кафтане поверх доспехов, опоясанном золотым поясом. Глаза его затуманились, ноги еще судорожно дергались, пока смерть, великая упокоительница, не одела его голову мраком и не упокоила его навеки.

Рыцари хелминской хоругви бросились было на поляков, чтобы

отмстить за смерть товарища, но сам магистр преградил им путь и с криком: «Nerum! Nerum!»^[139] послал их туда, где должна была решиться участь этого кровавого дня, где кипела жестокая битва.

И снова произошло нечто удивительное. Миколай Келбаса стоял ближе всех и узнал крестоносцев; но другие польские хоругви не разглядели их в облаках пыли и, решив, что это возвращаются в бой литвины, не поторопились встретить врага.

Только Добко из Олесницы помчался наперерез летевшему впереди великому магистру и узнал его по плащу, щиту и большому золотому ковчежцу, который тот носил на груди поверх панциря. Но польский рыцарь не посмел ударить копьем в ковчежец, и, хотя он был гораздо сильнее магистра, тот толкнул кверху его копье и легко ранил коня, после чего они разминулись и, описав круг, поскакали к своим.

— Немцы! Сам магистр! — крикнул Добко.

Услышав эти слова, польские хоругви ураганом ринулись на врага. Первым бросился на крестоносцев Миколай Келбаса со своей хоругвью, и битва разгорелась снова.

Но то ли рыцари из хелминской земли, среди которых было много поляков по крови, не ударили на врага с должной силой, то ли поляков уже ничто не могло удержать, только новый наскок крестоносцев не принес того успеха, на который рассчитывал магистр. Ему казалось, что это будет последний удар по королевским силам, а меж тем он обнаружил вскоре, что поляки нападают на крестоносцев, что они теснят, бьют, разят и окружают его хоругви, сжимая их, как в клещах, а его рыцари не наступают, а лишь отражают удары врага.

Тщетно ободрял он крестоносцев, тщетно мечом гнал их в бой. Правда, они оборонялись, и оборонялись стойко; но не было у них ни той неукротимости, ни той ярости, которая поднимает дух победоносного войска и которая владела сейчас поляками. В измятых доспехах, израненные, окровавленные, с иззубренным оружием в руках, польские рыцари в молчании самозабвенно бросались в самую гущу врагов, которые уже начали осаживать коней, уже начали озираться назад, как бы желая убедиться, не сомкнулось ли железное кольцо, которое сжималось все беспощадней, и медленно, но безостановочно отступали, словно стремясь незаметно выбраться из смертельной схватки. Вдруг со стороны леса донеслись новые оглушительные крики. Это Зындрам привел и бросил в бой своих мужиков. Тотчас залязгали косы о железо, загремели под чеканами панцири, ручьем полилась на истоптанную землю кровь, поле усеялось трупами, и началась кровавая сеча, ибо немцы постигли, что

спасение только в мече, и стали отчаянно защищаться.

Поляки бились, еще не уверенные в том, что одолеют врага, когда неожиданно справа взвились клубы пыли.

— Литвины идут назад! — раздались радостные голоса поляков.

Они угадали. Литвины, которых можно было разбить, но нельзя сокрушить, возвращались назад и с диким воем ураганом летели в бой на своих быстроногих конях.

Тогда несколько комтуров во главе с Вернером фон Теттингенем подскакали к магистру.

— Спасайтесь! — крикнул побелевшими губами комтур Эльблонга. — Спасайте себя и орден, пока нас не окружили.

Но благородный Ульрих мрачно поглядел на него и, подняв руку к небу, воскликнул:

— Оставить это поле, на котором погибло столько храбрых? Нет! Не приведи Бог! Не приведи Бог!

И, крикнув крестоносцам, чтобы они следовали за ним, он бросился туда, где кипела битва. Тем временем подоспели литвины, и началось такое смятение, такое побоище и кровопролитие, что человеческий глаз ничего уже не мог различить.

Раненный острием литовской сулицы в рот и дважды в лицо, магистр еще некоторое время отражал удары слабеющей правой рукой; но когда рогатина вонзилась ему в шею, он, словно дуб, повалился на землю.

Целая орда воинов в звериных шкурах ринулась на него.

Вернер Теттинген с несколькими хоругвями бежал с поля битвы, а вокруг всех прочих хоругвей сомкнулось железное кольцо королевского войска. Битва обратилась в побоище, в такой неслыханный разгром крестоносцев, какие редко случались в истории человечества. Никогда во времена христианства, начиная с борьбы римлян и готов с Атиллой^[140] и Карла Мартелла с арабами^[141], не сражались столь могучие рати. Но теперь одна из них вся почти полегла, словно сжатая нива. Сдались хоругви, которые напоследок были введены в бой магистром. Хелминцы воткнули в землю значки. Некоторые немецкие рыцари спешили в знак того, что сдаются в плен, и стали на колени на залитой кровью земле. Во главе со своим предводителем сдалась вся хоругвь Георгия Победоносца, в которой служили иноземные гости.

Но битва продолжалась, ибо многие хоругви крестоносцев предпочитали умереть, чем сдаться на милость победителей. По своему боевому обычаю, немцы стали в огромный круг и защищались, как стадо вепрей, окруженное волчьей стаей. Польско-литовское войско взяло в кольцо этот круг рыцарей, словно удав, обвивающий быка, и сжимало кольцо все тесней. Снова мелькали руки, гремели чеканы, лязгали косы, рубили мечи, пронзали рогатины, свистели топоры и секиры. Как лес, рубили немцев поляки, и те умирали в молчании, огромные, мрачные, неустрашимые.

Одни, приподняв забрало, прощались друг с другом, обмениваясь перед смертью поцелуем; другие, словно обезумев, бросались очертя голову в самое пекло; третьи сражались как бы во сне; наконец, некоторые вонзали сами себе в горло мизерикордию или, сорвав нашейник, молили товарища: «Режь!»

Вскоре под ожесточенным натиском поляков большой круг распался на десятки меньших, и тогда отдельным рыцарям легче стало бежать. Но даже разрозненные кучки крестоносцев сражались с бешенством отчаяния.

Редко кто становился на колени и просил пощады, и даже тогда, когда под страшным напором поляков рассеялись наконец и эти кучки, отдельные рыцари не хотели сдаваться живыми в руки победителей. Этот день был для ордена и для всего западного рыцарства днем величайшего поражения, но и величайшей славы. У ног великана Арнольда фон Бадена, окруженного пешими воинами, вырос целый вал польских трупов, а он, могучий и непобедимый, стоял над ним, словно пограничный столб на холме, и всякий, кто приближался к нему на длину меча, погибал, словно сраженный молнией.

Наконец на него наехал сам Завиша Чарный Сулимчик; увидев пешего рыцаря и не желая нарушать рыцарский закон и нападать на него сзади, он тоже соскочил с коня и стал издали кричать крестоносцу:

— Поверни ко мне голову, немец, да сдавайся, а нет, так выходи со мной на бой!

Арнольд повернулся и, узнав Завишу по черным доспехам и Сулиме на щите, сказал про себя: «Смерть моя пришла, пробил мой час, ибо никто не уходит из его рук живым. Но если бы я одолел его, то снискал бы бессмертную славу, а может, спас бы и свою жизнь».

С этой мыслью он бросился на противника, и они схватились, как два вихря, на усеянной трупами земле. Но всех превзошел силой Завиша, и горе было отцам, чьи сыны должны были биться с ним. Под ударом его меча треснул выкованный в Мальборке щит, как глиняный горшок треснул

стальной шлем, и храбрый Арнольд упал с разрубленной надвое головой.

Члуховский комтур Генрих, тот самый лютый враг польского племени, который поклялся, что велит до тех пор носить перед собою два обнаженных меча, пока не обагрит их польскою кровью, теперь бежал украдкой с поля, как лисица бежит из окруженного охотниками леса; но внезапно ему преградил дорогу Збышко из Богданца. Увидев занесенный меч, комтур вскричал: «*Erbarme dich meiner!*»¹ — и в страхе сложил руки; молодой рыцарь, услышав эти слова, уже не смог удержать занесенную руку, но все же успел повернуть меч и только плашмя ударил комтура по жирной потной роже. Затем он бросил его своему оруженосцу, который, закинув немцу веревку на шею, потащил его, как вола, туда, куда сгоняли всех пленников-крестоносцев.

А старый Мацько все искал на кровавом побоище Куно Лихтенштейна, и судьба, порадевшая в этот день о поляках, отдала наконец ему в руки крестоносца, который притаился в кустах с горсточкой немецких рыцарей, убегавших от страшного разгрома. Блеск солнца, отразившись в броне, выдал их присутствие. Все они разом упали на колени и тотчас сдались, но Мацько, узнав, что среди пленников находится великий комтур ордена, приказал привести его и, сняв с головы шлем, спросил:

— Узнаешь ли ты меня, Куно Лихтенштейн?

Нахмуря брови и уставя на Мацька глаза, тот через минуту ответил:

— Я видел тебя при плоцком дворе.

— Нет, — возразил Мацько, — ты видел меня раньше! Ты видел меня в Кракове, когда я заклинал тебя спасти жизнь моему племяннику, которого за безрассудное нападение на тебя присудили к смерти. Тогда-то дал я обет Богу и рыцарской честью поклялся найти тебя и вызвать на смертный бой.

— Знаю, — сказал Лихтенштейн и надменно выпятил губы, хотя страшно побледнел при этом, — но теперь я твой пленник, и ты покрыл бы себя позором, когда бы поднял на меня меч.

Лицо у Мацька зловеще сжалось, и старый рыцарь стал похож на волка.

— Куно Лихтенштейн, — сказал он, — я не подниму меча на безоружного, но вот что я тебе скажу: коли ты откажешься биться со мной, я велю повесить тебя на веревке, как собаку.

— У меня нет выбора, становись! — воскликнул великий комтур.

— Не на неволю, а на смерть! — еще раз предупредил Мацько.

— На смерть!

И через минуту они схватились при немецких и польских рыцарях.

Куно был моложе и проворней, но руки и ноги у Мацька были гораздо сильнее, и он в мгновение ока повалил крестоносца на землю и коленом прижал ему живот.

Глаза у комтура от страха вышли из орбит.

— Пощади! — простонал он, брызгая слюною и пеной.

— Нет! — ответил непреклонный Мацько.

И он дважды вонзил мизерикордию в горло врагу; Лихтенштейн страшно захрипел, изо рта у него ручьем хлынула кровь, по телу прошла смертельная судорога, затем он вытянулся, и великая упокоительница рыцарей упокоила его навеки.

Битва кончилась, началась резня и преследование. Кто не хотел сдаваться, погибал. Много бывало в те времена битв и поединков, но люди не помнили такого страшного побоища. К ногам великого короля пал не только орден крестоносцев, но и вся Германия, прославленное рыцарство которой поддерживало тевтонский «форпост», все глубже проникавший в земли славян.

Из семисот «белых плащей», предводительствовавших в этом германском нашествии, остались в живых едва ли пятнадцать. Свыше сорока тысяч спали вечным сном на кровавом побоище.^[142]

Все хоругви, которые еще в полдень развевались над неисчислимым тевтонским войском, попали в обгаренные кровью победоносные руки поляков. Ни одна не осталась в руках крестоносцев, ни одна не была спасена, и теперь польские и литовские рыцари повергали их к ногам Ягайла, который, молитвенно поднимая очи горе, все повторял в волнении: «Такова была воля Божья!» К королю привели также знатных пленников. Абданк Скарбек из Гур привел щецинского князя Казимира, чешский рыцарь Троцновский^[143] — олесницкого князя Конрада^[144], а Пшедпелко Копидловский герба Дрыя — изнемогшего от ран Георга Герсдорфа, который под хоругвью Георгия Победоносца предводительствовал всеми иноземными рыцарями.

Двадцать два народа участвовали в этой битве ордена против поляков, а теперь королевские писцы записывали имена пленников, которые, преклоняя колена перед Ягайлом, молили о пощаде и просили позволить им вернуться домой за выкупом.

Войско крестоносцев перестало существовать. Польская погоня захватила огромный обоз ордена, в котором, кроме уцелевших крестоносцев, оказалось неисчислимое множество повозок, груженных цепями для поляков и вином, приготовленным для великого победного

пиршества.

Солнце клонилось к закату. Прошел короткий, но обильный дождь и прибил пыль. Король, Витовт и Зындрам из Машковиц собирались ехать на побоище, когда начали свозить тела павших вождей. Литвины принесли исколотое сулицами, покрытое пылью и кровью тело великого магистра Ульриха фон Юнгингена и положили его перед королем, который вздохнул с сожалением и, глядя на огромный труп, лежавший навзничь на земле, произнес:

— Это тот, кто еще сегодня утром мнил себя превыше всех властителей мира.

И слезы, как жемчужины, покатались по его щекам; помолчав, король продолжал:

— Но он погиб смертью храбрых, и потому мы будем славить его отвагу и похороним его с почестями, по-христиански.

И король тотчас повелел обмыть тело в озере, обрядить в лучшие одежды и, пока не будет сколочен гроб, прикрыть белым плащом.

А тем временем слуги несли все новые и новые трупы, которых опознавали пленники. Принесли тело великого комтура Куно Лихтенштейна, у которого горло было страшно рассечено мизерикордией, маршала ордена Фридриха Валленрода, великого ризничего графа Альберта Шварцберга, великого казначея Томаша Мерхейма, графа Венде, который пал от руки Повалы из Тачева, и более шестисот прославленных комтуров и братьев. Слуги укладывали их в ряд, и трупы лежали, словно срубленные стволы, обратив к небу белые, как их плащи, лица с открытыми остекленевшими глазами, в которых застыли гнев и гордыня, боевая ярость и страх.

В головах у них водрузили захваченные хоругви — все до единой! Вечерний ветерок то свивал, то развивал цветные полотнища, и они шумели, словно навеяв павшим сон. Вдали, в отблесках зари, было видно, как литовские отряды тащат отбитые пушки, которые крестоносцы впервые применили в открытом сражении, но которые не причинили победителям никакого урона.

На холме короля окружили славнейшие рыцари; тяжело дыша от утомления, смотрели они на хоругви и трупы, лежавшие у их ног, как усталые жнецы смотрят на сжатые и связанные снопы. Тяжел был этот день, и страшна была эта жатва, но наступал великий, благословенный, радостный вечер.

И от неизъяснимого счастья посветлели лица победителей; все поняли,

что это вечер, который кладет предел бедствиям и мукам не только этого дня, но и целых столетий.

А король, хоть и постигал умом, сколь тяжкое поражение нанесено немцам, все же глядел изумленно и наконец воскликнул:

— Ужели здесь лежит весь орден?

Подканцлер Миколай, который знал пророчество святой Бригитты, произнес в ответ:

— Пришло время, и выбиты зубы их и отсечена правая рука!

Затем он поднял руку и стал благословлять и тех, что лежали поближе, и все поле битвы между Грюнвальдом и Танненбергом. Пылала заря; воздух стал прозрачен после дождя, и кровавое побоище было видно как на ладони, необъятное, дымящееся; повсюду виднелись горы конских и человеческих трупов, торчали обломки копий, рогатин и кос, руки, ноги, копыта; усеянное десятками тысяч тел, скорбное поле смерти простиралось далеко-далеко, исчезая на горизонте из глаз.

По необозримому этому кладбищу сновали слуги, собирая оружие и снимая с убитых доспехи.

А вверху, в румянном небе, уже кружили орлы, и стаи воронья громко каркали, радуясь добыче.

Не только вероломный орден крестоносцев лежал поверженный [\[145\]](#) у ног короля: в этот день искупления о польскую грудь разбилось все немецкое могущество, доныне заливавшее, как волна, несчастные славянские земли.

Честь и хвала тебе во веки веков, великое, священное прошлое, и тебе, жертвенная кровь!

LII

Мацько и Збышко вернулись в Богданец. Старый рыцарь жил еще долгие годы, а Збышко в расцвете сил и здоровья^[146] дождался той счастливой минуты, когда в одни ворота выезжал из Мальборка со слезами на глазах магистр крестоносцев^[147], а в другие во главе войска въезжал польский воевода, дабы именем короля и королевства принять под свою руку город и весь край до седых волн Балтики.

notes

Примечания

В Тынце, в корчме «Свирепый тур», принадлежавшей аббатству... — Тынец — место под Краковом (ныне часть города), где в древние времена было заложено аббатство бенедиктинцев, старейшего из католических монашеских орденов.

...ненависть, которая при Локотке разделяла горожан и рыцарство... — Сохранился памятник польско-латинской поэзии XIV в. «Песнь о краковском войте Альберте», где описывается бунт немецкого патрициата в Кракове (1311), не без труда в течение года подавленный князем Владиславом (1260–1333) — польским королем с 1320 г., по прозвищу Локоток, из династии Пястов.

3

платить наличными (*лат.*).

Тогдашние фамилии, вернее, прозвания. — *Примеч. авт.*

...*после Миколая из Москожова*... — Подканцлера, которого в 1389 г. король направил в Вильно, звали Клеменс (ум. в 1408). Ошибка перекочевала в роман, по-видимому, из написанной на латинском языке «Истории Польши» Яна Длугоша (1415–1480), которая использовалась Сенкевичем в качестве одного из источников.

Исторический факт. — *Примеч. авт.*

...при дворе Вацлава, короля римского и чешского... — Вацлав IV (1361–1419) из династии Люксембургов был чешским королем (1378–1419), императором «Священной Римской империи» (1378–1400), вел борьбу против брата, венгерского короля Сигизмунда (1361–1437), в связи с этим иногда поддерживал Польшу.

...*святой Станислав*. — Краковский епископ Станислав из Щепанова (ок. 1030–1079), выступивший против короля Болеслава Смелого (1039–1081) и за это казненный, был канонизирован в 1254 г.

Рынгалла (в крещении Елизавета, ум. в 1433) — историческое лицо, жена молдавского господаря.

Генрик (1366–1398) — епископ плоцкий, младший брат князя Земовита IV (ок. 1352–1426) и Януша (1340–1429), был, в нарушение церковных канонов, женат.

...папа, если не римский, то авиньонский... — Речь идет о «великом расколе» 1378–1417 гг., когда католический клир разделился на две, а потом на три церкви, во главе которых стояли соперничавшие папы. В годы, описанные в «Крестоносцах», в Авиньоне был папа Бенедикт XIII (1394–1423), в Риме — Бонифаций IX (1389–1404), Иннокентий VII (1404–1406), Григорий XII (1406–1415). Собор в Пизе, низложив в 1409 г. двух пап, избрал третьего, но его не признали местные курии. «Троепапие» ликвидировал в 1417 г. Констанцский собор.

Свидригайло (в католичестве Болеслав, ок. 1370–1452) — младший из Ольгердовичей. Будучи недоволен сближением Ягайла с Витовтом (см. Предисловие) и передачей последнему власти в Литве, бежал к крестоносцам, признал себя их вассалом и отдал им Жемайтию (см. примеч. к с. 449). Несколько лет воевал с Витовтом, пока не получил в удел Подолию и Северскую землю. После смерти Витовта стал великим князем литовским (1430–1432), вступил в конфликт с польскими феодалами из-за подольских земель и был низложен, боролся за власть, найдя опору в русских землях и принимая помощь ордена, но потерпел неудачу.

Магистр Конрад — великий магистр ордена в 1391–1393 гг. Конрад фон Валленрод. Польский поэт Адам Мицкевич (1798–1855) сделал его героем одноименной поэмы, наделив судьбой и мотивами действий, которые являются плодом художественного вымысла и далеки от реальности.

...самбийского правителя. — Самбия — часть Пруссии, завоеванная орденом к середине XIII в.

Затор — город в Силезии (ныне в Бельском воеводстве), находившийся во владении одной из ветвей местных Пястов.

...поход на татар. — Витовт принял у себя изгнанного золотоордынского хана Тохтамыша (ум. в 1406), разбитого в 1395 г. Тимуром (Тамерланом) (1336–1405) и в 1398 г. ханом Заволжской орды Темир-Кутлуем (Тимур-Кутлуком). Витовт взял Тохтамыша в союзники, чтобы получить через него владычество над всей Русью. На реке Ворскле в 1399 г. они были разбиты главой золотоордынского войска Едигеем (1352–1419).

Спытко (Спытек) из Мельштына (до 1362–1399) — краковский воевода. Выдвинулся на одно из первых мест среди знати; не принадлежа к княжескому роду, получил от короля в 1387 г. в управление Подолию.

Комес (лат.) — звание, которым в Польше титуловали в XI–XII вв. высших сановников. В XIII в. оно распространилось на знать вообще, встречалось в документах до середины XIV в.

Злоторыя. — По утверждению Длугоша, в 1394 г. Януш «воздвиг на реке Нареве, на земле и в княжестве своего удела, новую крепость, которую назвал Злоторыей», а появившиеся крестоносцы сожгли все укрепления еще не законченного деревянного замка, князя же посадили «на кобылу и, связав ему под брюхом той кобылы ноги», отвезли к «прусскому магистру» (Длугош Я. Грюнвальдская битва. М.; Л., 1962. С. 34).

Повесть о Вальгере Прекрасном (Вальцеже Удалом) — польская переработка западного сюжета о Вальтере Аквитанском, приведена в «Великопольской хронике» Годзислава Башко (конец XIII в.).

аббат ста деревень (лат.).

...святой Бенедикт из Нурсии, святой Маурус, святой Бонифаций, святой Бенедикт из Аниана и Иоанн из Фтоломеи... — Бенедикт Нурсийский (480–543) — реформатор западноевропейского монашества, основатель монастыря Монтекассино (близ Неаполя) и ордена бенедиктинцев. Далее перечислены другие чтимые этим орденом святые.

Бригитта (1303–1373) — шведская принцесса, основательница женского монашеского ордена. Была причислена к лику святых в 1391 г. Тут роль сыграли хлопоты враждовавшей с Тевтонским орденом Маргариты (1353–1412) — королевы Дании, Норвегии (с 1387) и Швеции (с 1389). До нас дошли фрагменты польского перевода «Откровений святой Бригитты», сделанного, согласно одному из предположений, в конце XIV в.

Филипп Смелый (1342–1404) — бургундский герцог с 1363 г.

Добко (Добеслав) из *Олесницы* (ум. в 1440 г.). — Длугош сообщает, что на турнире, устроенном в Торуне в честь польского короля, он обращал на себя «взоры всех зрителей силой духа и тела», «сев на коня по королевскому приказанию, настолько превзошел своих противников, что вынудил всех их покинуть поле» и «даже в третьем часу ночи только он один оставался на виду на арене, хотя против него несколько раз выступали, сменяя один другого, новые и новые придворные рыцари магистра Пруссии» (Длугош Я. Там же. С.40). Эпизод этот историк, однако, датирует 1404 г.

Сташек (Станислав) *Цёлек* (до 1383–1437) — сын мазовецкого воеводы Анджея, учился в 1392–1402 гг. в Пражском университете, позднее стал подканцлером и епископом, писал стихи на латинском языке.

Исторический факт. — *Примеч. авт.*

Карл — Карл IV Люксембургский (1316–1378) — чешский король с 1346 г., император «Священной Римской империи» с 1347 г. Отец Вацлава и Сигизмунда (см. примеч. к с. 24).

Исторический факт. — *Примеч. авт.*

...общественные здания: костел Девы Марии... Сукенницы... — Когда Краков стал столицей объединенного польского государства (1320–1609), были сооружены такие известные памятники старопольского зодчества, как Мариацкий костел (XIII–XV вв.), Сукенницы (здание цеха суконщиков, XIV–XVI вв.) и др.

Торг, гостиный двор (*лат.*).

Кафедральный собор — был построен в Кракове на Вавельском холме в 1320–1361 гг.

...от Витовта и супруги его Анны. — Витовт был тогда женат на дочери князя Дмитрия Ольгердовича (ум. в 1399 г.) Анне (ум. в 1418 г.).

...на трон кипчаков... — Восточные половцы (кипчаки) после завоевания составили основную часть населения Золотой Орды, ассимилировав монгольских пришельцев и передав им свой язык.

Синяя орда — так в русских источниках называли Ак-Орду (Белую Орду), объединение тюркско-монгольских племен (на северо-востоке от Аральского моря и в бассейне Сырдарьи), покоренное в конце XIV в. Тимуром.

Сакристия — ризница.

Золото и драгоценности шли... на Академию... — т. е. на будущий Ягеллонский университет, основанный королем Казимиром III в 1364 г. и в первые века называвшийся Краковской академией, а в 1400 г. обновленный и реорганизованный, чему содействовала королева Ядвига (см. Предисловие), которая завещала университету принадлежавшее ей имущество.

«Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое» (лат.).

Смоленский наместник. — Смоленск был захвачен Витовтом в 1395 г. В 1401 г. смоляне восстали, убили литовского наместника и поставили своего князя. Витовт снова взял город в 1404 г. после осады. В 1514 г. Смоленск был отвоеван Русским государством, в 1611 г. опять, несмотря на героическое сопротивление, захвачен Сигизмундом III (1566–1632). Взят войсками царя Алексея Михайловича (1629–1676) в 1654 г.

Мир вам!..Мир! Мир! (*лат.*)

адский огонь (*лат.*).

Фризский рыцарь... — Речь идет о рыцаре из Фрисландии (историческая область у берегов Северного моря, ныне провинция Нидерландов).

Казимеж — в древности пристольный городок, ныне район Кракова.

...окрестил новорожденную... — Ее назвали Эльжбетой-Бонифацией; первое имя — в честь Елизаветы Боснийской, матери королевы Ядвиги.

Станислав из Скарбимежа (из Скальбмежа, 1360–1431) — юрист и философ, первый ректор Краковской академии после ее реорганизации.

Остров — Остров-Велькопольский (ныне Калишское воеводство).

Олькуш — город в Краковской земле, в XIV–XVI вв. переживал пору расцвета рудных промыслов (добыча серебра, свинца). Ныне в Катовицком воеводстве.

...всяких дворян, как они там зовутся, отроков, что ли... — Отроками в средневековой Руси (X–XI вв.) звали младших дружинников князей и крупных феодалов.

Уменьшительное от Пшецлав. — *Примеч. авт.*

Вильк (wilk) — волк (*польск.*).

школяры (*лат.*).

...он даже не знает, как зовут византийского императора... —
Константинопольский престол занимал (до 1412) Мануил III.

Все законы, любое право позволяет отражать силу силой и защищаться всеми средствами! (*лат.*)

женщину (*лат.*).

распутную и пьяницу (*лат.*).

служила Бахусу (лат.).

прелюбодейка (лат.).

супругу (*лат.*).

Яблоко от яблони недалеко падает (*лат.*).

помои (лат.).

Во веки веков, аминь! *(лат.)*

Скоец — денежная единица. Был равен двум грошам и составлял $\frac{1}{24}$ часть гривны (при польском короле Казимире III, 1310–1370, гривна равнялась 197 г серебра). На один скоец можно было купить четырех цыплят, на шесть — бочку пива.

Виклиф, Джон (Уиклиф, 1330–1384) — английский богослов, выступавший против папской теократии, церковной собственности, культа святых, торговли индульгенциями и оказавший влияние на движение Реформации в других европейских странах.

Целия — город Целье и Цельское графство в Словении.

Винцентий из Шамотул (ум. в 1332 г.) — познаньский воевода, «генеральный староста» великопольских земель, за измену отстраненный от должности Локотком (см. примеч. к с. 21) и перешедший на сторону ордена; участвовал в опустошительном походе крестоносцев на Великопольшу в июле 1331 г., но затем перешел на сторону короля.

Курпы — название обитателей лесных пущ по нижнему течению реки Нарев (северная Мазовия). Курпы занимались охотой, бортничеством, смолокурением. Христианство в Мазовии распространялось медленнее, нежели в других частях Польши, но уже во второй половине XI в. было создано мазовецкое епископство с центром в Плоцке.

Святой Иаков из Компостеллы — патрон основанного в XII в. духовно-рыцарского ордена Сантьяго-де-Компостела.

Мир! Мир! (*лат.*)

Цымбарка, которая вышла замуж за Эрнеста Железного, Габсбурга. —
Примеч. авт.

Цымбарка (ок. 1395–1429) — дочь мазовецкого князя Земовита IV (ок. 1352–1426). Потомки ее и Эрнеста Железного были императорами «Священной Римской империи».

...какой-нибудь *Мерлин*... — волшебник, персонаж популярных средневековых легенд о короле бриттов Артуре и рыцарях Круглого стола. На основе этих легенд создавались произведения певцов-бардов и рыцарские романы.

Рыцарь Утер, влюбившись в целомудренную Игерну, жену герцога Горласа, с помощью Мерлина оборотился Горласом и имел от Игерны сына, короля Артура. — *Примеч. авт.*

О подобных случаях вспоминает Виганд из Марбурга. — *Примеч. авт.*
Виганд из Марбурга. — Виганд Марбургский — герольд Тевтонского
ордена в 1391–1394 гг., автор хроники, охватывающей 1293–1393 гг.

Святой Бонифаций — основатель и глава германской Церкви, заложивший ряд монастырей и епархий. Убит в 755 г. шайкой разбойников.

опоясанный воин (лат.).

Епископ Якоб из Курдванова. — Якуб Курдвановский из Кожкви —
плоцкий епископ (1396–1425).

Ладно! Ладно! (лат.)

В случае смерти... (лат.)

Се Агнец Господень (лат.).

Господи, недостоин я (*лат.*).

Богородице, Дево, радуйся (*лат.*).

Вицы — ветви лозы, рассылавшиеся при созыве всеобщего ополчения как приказ явиться в войско. Позднее их заменили королевские грамоты.

Бартош Наленч из Одолянова (ум. в 1393 г.) — участник войн с Гжималитами, был старостой Куявии и познанским воеводой.

Козмин — город, ныне в Калишском воеводстве.

Кто там? (нем.)

Каппадокия — местность в восточной части Малой Азии, римская провинция, откуда был родом, согласно христианской житийной литературе, воин-мученик Георгий Победоносец (II–III вв. н. э.).

Падерборн — город в Вестфалии (исторической области в Германии), в соборе которого (XI–XIII вв.) хранились мощи святого Либерия.

«Иисус!» (нем.).

...в... *Анжуйской стране* — т. е. в герцогстве Анжу во Франции.

...погиб со славой... — Ян (Иоганн) Люксембургский (1296–1346), чешский король с 1310 г. Был женат на дочери Вацлава II (1271–1305) из династии Пршемысловичей и соперничал одно время с Локотком (см. примеч. к с. 21) в борьбе за польский престол, участвовал во многих сражениях и турнирах, погиб в битве при Креси (26 июня 1346) во время Столетней войны (1337–1453).

Господи Иисусе! (нем.)

Месяц лютый... — февраль.

...поехали к отцу князя Пшемка, к старому Носаку... — Пшемысл (из силезской ветви Пястов) — князь освенцимский, погиб в 1406 г. Носак — его отец, цешинский князь Пшемысл, жил до 1409 г.

...Ясько, князь *рациборский*. — Януш II (1375–1424) — князь рациборский, женатый на племяннице Ягайла, союзник Сигизмунда Люксембургского (см. примеч. к с. 24).

...война с Витовтом за Жмудь... — Жмудь — русское и польское название жемайтов — одного из древних литовских племен. В марте 1401 г. в Жемайтии вспыхнуло восстание, которое приобрело всенародный характер, сопровождалось уничтожением орденских замков и было поддержано Витовтом (см. примеч. к с. 29). Крестоносцы предприняли опустошительные походы на литовские земли.

Руины этой виселицы сохранились до 1818 года. — *Примеч. авт.*

Он теперь уже не самбийский правитель. — Ульрих в 1397–1407 гг. был великим маршалом (см. Предисловие).

Сбор, съезд (*лат.*).

Рагнета (до 1946 г. — Рагнит) — ныне г. Неман в Калининградской области.

Господи, помилуй! (*греч.*)

Христе, помилуй! (*греч.*)

Петровин — герой житийного рассказа (XIII в.) о чудесах святого Станислава. Петровин продал епископу, согласно легенде, свою деревню и вскоре умер. Спустя три года понадобилось подтвердить акт продажи, а свидетелей у Станислава не было. Тогда, по его молитве, Петровин воскрес и дал нужное свидетельство.

...услыхал знакомую песню... — «По розам может он узнать, где покоилась моя голова» — строки из любовной лирики немецкого поэта-миннезингера Вальтера фон дер Фогельвейде (ок. 1170 — ок. 1230).

«Вечный покой» (*лат.*).

...в том же Рацёнже... — В результате переговоров в Рацёнже на Висле (между Нешавой и Цехоцинком, в нынешнем Влоцлавском воеводстве), состоявшихся в мае 1404 г., был заключен мирный договор, которым предусматривался выкуп польским королем Добжинской земли. (Для этой цели шляхта согласилась на выплату специального налога.) Жемайтию Витовт снова должен был уступить ордену. Такая уступчивость была связана с тем, что Витовт (хотя он, как и король, не собирался навечно оставлять Жемайтию крестоносцам) не отказался от военных планов на востоке и начал в 1404 г. поход на Смоленск и Псков. Заключение в 1408 г. на реке Угре мира с Московским государством позволило Литве мобилизовать силы на борьбу с орденом.

Скиргайло (1354–1397) — брат Ягайла. К тому времени Скиргайла не было в живых. Имеется в виду Свидригайло (см. примеч. к с. 29).

Визна — в описываемое время укрепление на берегу Нарева, ныне деревня в Ломжинском воеводстве Польши. В XV в. окончательно отошла к Мазовии.

Тамплиеры (или храмовники) — рыцарский орден, существовавший в XII в. и накопивший огромные богатства и земли; был уничтожен в начале XIV в. французским королем Филиппом IV Красивым (1268–1314) после процесса, в ходе которого против ордена были выдвинуты обвинения в ереси, служении сатане и т. д.

Сам папа римский... — В булле 1403 г. Бонифаций IX (см. примеч. к с. 27) запретил ордену вести против Литвы войну, которую считал наносящей ущерб христианству, и призвал решить спор папскому суду. Крестоносцы пренебрегли запретом.

Винрих фон Книпроде — великий магистр (1351–1382). Это было время наибольшего могущества ордена.

Мальборк был разрушен до основания прусским королем Фридрихом Вторым после падения Речи Посполитой. — *Примеч. авт.*

Мариенбург — немецкое название Мальборка.

Предзамковое укрепление (*нем.*).

Хундсфельд (Песье поле) — деревня под Вроцлавом (ныне часть города), где в 1109 г. поляки разбили осаждавшие город войска германского короля и императора «Священной Римской империи» Генриха V (1081–1125). Недостоверно, однако, приводимое в романе объяснение названия деревни.

...у нас новая королева. — Ею стала Анна (ок. 1380–1416), внучка польского короля Казимира III (1310–1370). Она была повенчана с Владиславом II Ягелло (см. Предисловие) 29 января 1402 г., а коронована годом позже.

Солтыс — староста. В описываемые времена солтысы деревень и городов имели значительные права и доходы.

Коньцполь (ныне в Ченстоховском воеводстве) — в 1403 г. получил права города. Далее Сенкевич упоминает Якуба (Кубу) из Коньцполя, воеводу серадзского в 1394–1430 гг. Коньцпольские стали влиятельным магнатским родом.

Дрезденко — замок на реке Нотец (ныне город в Гожовском воеводстве). Казимир III, не желая соединения земель ордена и Бранденбурга, одного из крупнейших княжеств Германии, сделал в 1365 г. ленным владением рыцарей-иоаннитов фон ден Остен замки Дрезденко и близлежащий Санток (у впадения Нотеца в Варту). В 1370 г. оба замка были захвачены Сигизмундом Люксембургским (1368–1437), а когда последний заложил ордену в 1402 г. Новую Марку (правобережье Одры, на север от нижней Варты и Нотеца), вместе с ней попали в руки крестоносцев. Когда польский король стал в 1408 г. добиваться возврата Дрезденко, орден купил его у Остенов. В 1434 г. замком Дрезденко завладел Бранденбург.

...снова поднял Жмудь... — Восстание в Жемайтии снова разгорелось в мае 1409 г. с ведома и согласия Витовта, оказавшего повстанцам поддержку. Орден пытался выяснить, придет ли король на помощь Витовту, и услышал от польских послов, что врагов Литвы Польша считает своими врагами.

...вспыхнула... война... — Речь идет о Великой войне (1409–1411) между Тевтонским орденом, с одной стороны, и Польским королевством и Великим княжеством Литовским — с другой. Крестоносцы перешли границу в середине августа 1409 г., сожгли замки в Добжине на Висле (ныне Влоцлавское воеводство), Бобровниках, Злоторые, вырезав гарнизоны и не пощадив мирного населения. Король 28 сентября осадил Быдгощ и на восьмой день взял его.

При посредничестве чехов... — Посольство Вацлава IV (см. примеч. к с. 24) прибыло во время осады Быдгоща.

...заключили перемирие... — 8 октября 1409 г. сроком до 24 июня следующего года.

...решил дело в пользу крестоносцев... — Вацлав IV, получивший от крестоносцев 60 тысяч флоринов, 15 февраля 1410 г. вынес в Праге решение, согласно которому орден обязывался возвратить Добжинскую землю только в том случае, если получит Жемайтию. Польские послы опротестовали решение, зачитанное не по-латыни, а на немецком языке, и демонстративно покинули зал. Польша отвергла приговор третейского суда и не отправила послов во Вроцлав на его формальное оглашение 14 мая.

...переправа у Червинска... — Переправа у Червинска и соединение войск произошли 30 июня — 2 июля 1410 г.

Домбровно — было взято 13 июля 1410 г.

...два предводителя всех войск... — В настоящее время среди историков доминирует следующая точка зрения: объединенными польско-литовско-русскими силами командовал под Грюнвальдом Владислав II Ягелло, в расстановке польских войск на левом крыле ему помогал Зындрам из Машковиц, командование правым крылом осуществлял Витовт. Полагают, что недооценка полководческой роли короля шла от Длугоша, который описывал Грюнвальдскую битву под влиянием рассказов Збигнева Олесницкого.

...вели... хоругви. — Земовита IV под Грюнвальдом не было. Он выслал на битву две хоругви и сыновей.

...хоругви... с одинаковым изображением литовской Погони. — Т. е. скачущего всадника (герб Литвы).

...венгерские посредники... — Они были направлены Сигизмундом в Пруссию через Польшу с разрешения Ягелло. Результатом было лишь заключение десятидневного перемирия (24 июня — 4 июля). Роль венгерского короля в конфликте трудно назвать миротворческой. Сигизмунд безуспешно пытался склонить Витовта к разрыву с Польшей, суля ему королевский титул. За 40 тысяч флоринов он согласился объявить польскому королю войну. Владиславу Ягелло 12 июля доставили послание о разрыве мирного договора (в ответ на вторжение в орденские земли) и одновременно дали понять, что решительных действий не последует (король мог даже не сообщать об этом послании войску накануне битвы).

Сцибор из Сцибожиц (ок. 1347–1414) — поляк по происхождению, перешел на венгерскую службу, усердно помогал Сигизмунду (особенно в 1401 г., когда венгры свергли короля и заточили в тюрьму), за что был награжден поместьями и титулами, став одним из богатейших венгерских магнатов (палатин Трансильвании). В 1410 г. привел в Польшу отряд, спаливший Старый Сонч.

Гара, Миклош (1386–1433) — венгерский палатин, женился на свояченице Сигизмунда (см. примеч. к с. 668).

...начать вторую... — В литературе высказывалось мнение, что король не торопился с началом битвы, желая, чтобы его войска заняли более удобные позиции, и что богослужение было одним из средств удержать воинов от преждевременного выступления.

Александр (1400–1444) — сын Земовита; впоследствии ректор Краковской академии; епископ и кардинал.

Зигмунт Корибут (ум. в 1435 г.) — племянник Ягайла. Сыграл заметную роль в истории Чехии. Гуситы предлагали чешскую корону сначала польскому королю, затем Витовту, который и послал в 1422 г. Зигмунта в Прагу наместником. Зигмунт примкнул к гуситскому движению, деятельно участвовал в войнах. Под конец жизни принял участие в выступлении Свидригайла против Польши, в одной из битв попал в плен и умер от ран.

...князя *щецинского*. — Имеется в виду Казимир V (ум. в 1435 г.).

С нами Бог! *(нем.)*

Войцех (ок. 955–997) — чех, пражский епископ, прибыл в Польшу в 996 г., отправился к пруссам с религиозной миссией и был убит. Канонизирован в 999 г. Цитируемый ниже боевой гимн, Песнь о Богородице, — старейшее из польских религиозных песнопений. Легенда XVI в. приписала авторство Войцеху. Лингвистические данные не исключают разнобоя в гипотезах (от X по XIV в.).

Христос воскресе!.. (нем.)

...свалил крестоносца наземь. — Эпизод воспроизведен вслед за Длугошем, который, как отмечалось в литературе, явно хотел возвысить своего покровителя. В латинской хронике, появившейся через год после битвы, говорится, что рыцаря свалил с коня сам король.

Назад! Назад! (*нем.*)

...борьбы римлян и готов с Атиллой... — Речь идет о знаменитой «битве народов» на Каталаунских полях (451 г.), когда римский полководец Аэций (ок. 390–454) вместе с союзными войсками разбил полчища гуннов.

...*Карла Мартелла с арабами...* — Карл Мартелл (ок. 688–741), фактический правитель Франкского государства (с 715 г.). В 732 г. при Пуатье разгромил арабов, остановив их продвижение в Западную Европу.

Свыше сорока тысяч спали вечным сном... — В реляциях описываемого времени численность войск и потери обычно преувеличивались. В современных исторических трудах говорится о 18–20 тысячах убитых и 14 или 30 тысячах пленных крестоносцев.

...чешский рыцарь Троцновский... — Ян Жижка (ок. 1360–1424) — полководец, чешский национальный герой.

Олесницкий князь Конрад. — Конрад IV Старший (до 1384–1447) — вроцлавский епископ в 1417 г. Вассал и сообщник Сигизмунда Люксембургского, участвовал в его антипольских акциях, был врагом гуситов.

...орден крестоносцев лежал поверженный... — Здесь уместно напомнить, чем окончилась начавшаяся в 1409 г. Великая война против Тевтонского ордена. После Грюнвальда, взяв множество городов и замков в Пруссии, Владислав II Ягелло осадил Мариенбург, но взять его не смог. 26 сентября он снял осаду, 10 октября одержал победу в битве под Короновом и в декабре заключил перемирие. Многие историки, начиная с Длугоша, говорили, что плоды Грюнвальдской победы не были должным образом использованы. Но следует учитывать и неблагоприятные для польского короля обстоятельства: уровень имевшейся военной техники, состояние войска, не подготовленного к штурму первоклассных укреплений, угрозу со стороны союзника ордена, венгерского короля Сигизмунда, ставшего в 1410 г. императором, поддержку, оказанную крестоносцам римской курией, и т. д. По Торуньскому миру (1 февраля 1411 г.) орден отказался от претензий на Жемайтию до смерти Ягелло и Витовта, отдал Добжинскую землю, выплатил крупную контрибуцию. Борьба с крестоносцами продолжалась. Военные действия возобновлялись в 1414 г. (но под давлением римской курии кончились перемирием и пристрастным, в пользу крестоносцев, папским арбитражем), а затем — в 1422 г., в результате чего орден отказался от Жемайтии уже навечно. Лишь после Тринадцатилетней войны (1454–1466) Польша вернула себе, согласно условиям мира, заключенного опять-таки в Торунь, Восточное Поморье, Хелминскую и Михаловскую земли, Мальборк, Эльблонг и епископство Вармию. Орден (столицей его стал теперь Кенигсберг) признал себя вассалом польского короля. В 1525 г. орденское государство было ликвидировано, возникло государство светское — герцогство Пруссия, причем до 1657 г., до времен, описанных в «Потопе», ленная зависимость его от Польши сохранялась.

...в расцвете сил и здоровья... — Герою должно было тогда быть примерно 76 лет.

...выезжал... магистр крестоносцев... — Великий магистр (им был тогда Людвиг фон Эрлихсгаузен) покинул Мариенбург 6 июня 1457 г., через два дня состоялся въезд короля Казимира IV Ягеллончика (великий князь литовский, 1440–1492; король польский, 1447–1497). После этого борьба за город продолжалась, крестоносцы отбивали его. Окончательно польское войско заняло Мальборк в августе 1460 г.